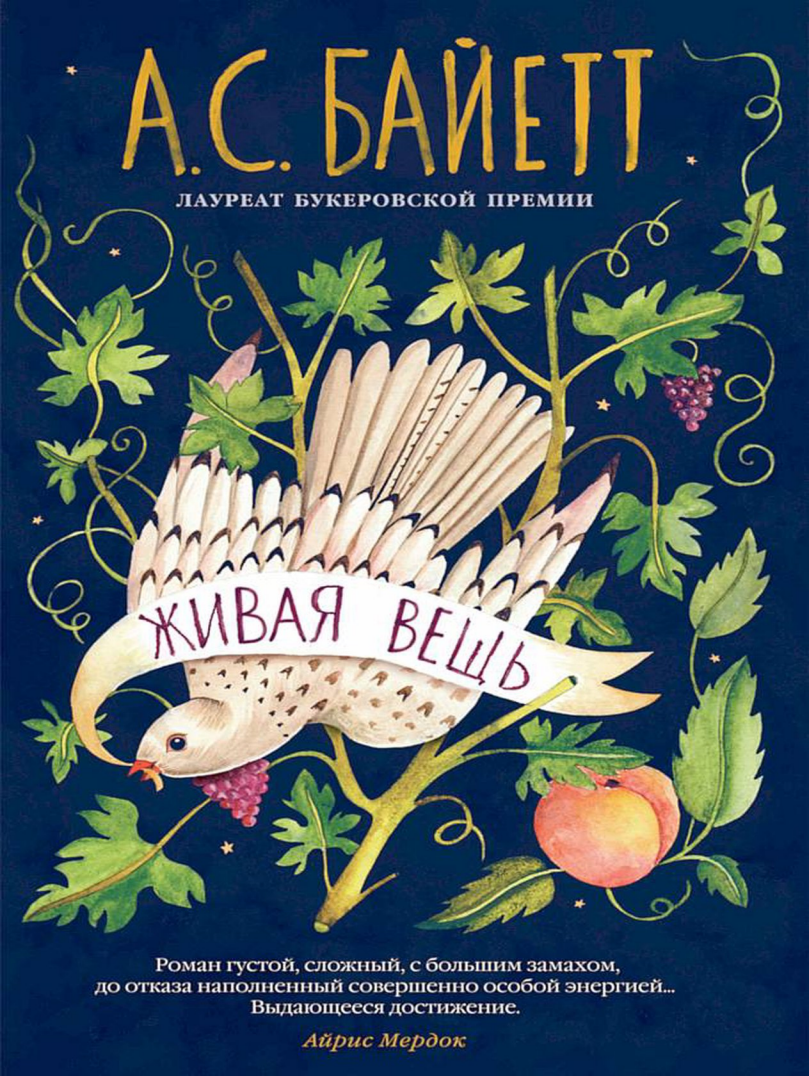
А.С. БАЙЕТТ

ЛАУРЕАТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ



Роман густой, сложный, с большим замахом,
до отказа наполненный совершенно особой энергией...
Выдающееся достижение.

Айрис Мердок

Живая вещь
Антония Сьюзен Байетт

Аннотация
А. С. Байетт. Живая вещь
Слова благодарности
Пролог. Выставка постимпрессионистов. Королевская академия художеств. Лондон, 1980
1. Предродовое: декабрь 1953
2. Дела домашние
3. Рождество
4. Юг
5. Ма-Роз. Ма-Кабестань
6. Морской пейзаж
7. Рождение
8. Под сенью юношей в цвету, I
9. Под сенью юношей в цвету, II
10. Нормы и монстры, I
11. Нормы и монстры, II
12. Узри дитя
13. Мумички
14. Фигуры речи
15. Вейннобел
16. Брожение ума
17. Полевые исследования

18. Hic Ille Raphael
19. Поэтический вечер
20. Рост
21. «Из множества дерев, одно…»
22. Имена
23. Комос
24. Двое мужчин
25. Культура
26. История
27. Имена злаков
28. Соломенный стул
29. Лондон
30. Единственный воробей
31. Крошки света
32. Скорбные страницы
33. Три линии

Аннотация

«Живая вещь» — это второй роман «Квартета Фредерики», считающегося, пожалуй, главным произведением кавалерственной дамы ордена Британской империи Антонии Сьюзен Байетт. Тетралогия писалась в течение четверти века, и сюжет ее также имеет четвертьвековой охват, причем первые два романа вышли еще до удостоенного Букеровской премии международного бестселлера «Обладать», а третий и четвертый — после. Итак, Фредерика Поттер начинает учиться в Кембридже, неистово жадная до знаний, до самостоятельной, взрослой жизни, до любви, — ровно в тот момент истории, когда традиционно изолированная Британия получает массированную прививку европейской культуры и начинает необратимо меняться. Пока ее старшая сестра Стефани жертвует учебой и научной карьерой ради семьи, а младший брат Маркус оправляется от нервного срыва, Фредерика, в противовес Моне и Малларме, настаивавшим на «счастье постепенного угадывания предмета», пред-

почитает называть вещи своими именами. И ни Фредерика, ни Стефани, ни Маркус не догадываются, какая в будущем их всех ждет трагедия…

Впервые на русском!

А. С. Байетт
Живая вещь

A. S. Byatt
Still Life

Copyright © 1985 by A. S. Byatt
All rights reserved

Перевод с английского Дмитрия Псурцева, Дарьи Устиновой
Оформление обложки Виктории Манацковой
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».



Серия «Большой роман»

© Д. В. Псурцев, Д. О. Устинова, перевод, 2022
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

А.С. БАЙЕТТ



Нечасто приходится видеть, чтобы британский писатель осмелился продолжить с того места, на котором остановилась Вирджиния Вулф, и госпожа Байетт с её «Живой вещью» — отрадное исключение.

New York Times

Антония Байетт английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файф-о-клок.

TimeOut

«Живая вещь» — невероятное и притом непрерывное удовольствие.

Анита Брукнер (автор «Отеля „У озера“», лауреат Букеровской премии)

Роман густой, сложный, с большим замахом, до отказа наполненный совершенно особой энергией… Выдающееся достижение.

Айрис Мердок

Байетт препарирует своих персонажей решительной рукой, но бережно: как добрый хирург — скальпелем.

Тони Моррисон (лауреат Нобелевской премии по литературе)

Байетт не умеет писать скупо. «Квартет Фредерики» — богатейшее полотно, где каждый найдёт что пожелает: подлинный драматизм, пёстрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову… Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык.

The Times

В её историях дышит тайна, живёт страсть, пульсирует древняя магия.

Marie Claire

Интеллект и кругозор Байетт поражают.

Times Literary Supplement

Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.

Scotsman

Роман дискурсивный и аналитичный и в то же время — полный удивительных наблюдений и языковых красот, а в основе всего — поразительная внимательность к вещам и людям.

London Review of Books

Антония Байетт — один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум и душу.

Daily Telegraph

Байетт принадлежит к редким сегодня авторам, для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих… Байетт населяет свои книги думающими людьми.

The New York Times Book Review

В лучших книгах Байетт груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю персонажам.

The Baltimore Sun

Один из героев «Живой вещи» замечает, что «Фрейд… наделяет функциями света — Эрос». Так и сама Байетт, подобно Эросу («он же свет»), «вдыхает жизнь в застывший, неорганический мир» и побуждает нас влюбляться в язык снова и снова.

The Independent

Перед вами — портрет Англии второй половины XX века. Причём один из самых точных. Немногим из ныне живущих удаётся так щедро наполнить роман жизнью.

The Boston Globe

Байетт — Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в её волшебном саквояже! Пёстрые россыпи идей: от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Витгенштейна. Яркие, живые характеры. И конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок.

Elle

Байетт, как никто, умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски используя всё богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю.

Denver Post

«Квартет Фредерики» — современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты.

Entertainment Weekly

Байетт — несравненная рассказчица. Она сама знает, о чём и как говорить, а нам остаётся лишь, затаив дыхание, следить за хитросплетениями судеб в её романах.

Newsday

Литература для Байетт — удовольствие чувственное. Её бунтари, чудаки и монстры абсолютно достоверны.

Town & Country

От богатства повествования подчас захватывает дух. Байетт — это безупречный интеллект, беспощадная наблюдательность, чёткие и правдивые портреты героев.

Orlando Sentinel

Мало кто сравнится с Байетт в мудрой зоркости к жизни.

Hartford Courant

Герои Байетт останутся с вами ещё долго после того, как вы перевернёте последнюю страницу.

New York Times

Чтение русских писателей многое сообщает о том, что такое роман. Русская классика поражает, и если ты читаешь её в молодости, кажется, что тебе ничего похожего не написать. Вот почему нельзя её не читать — она открывает иные горизонты… Я пишу ради языка и ещё — ради сюжета.

А. С. Байетт

Слова благодарности

Появлению этой книги способствовала стипендия Художественного совета, за которую я весьма благодарна. Я также признательна Монике Диккенс за одну подсказку по поводу сюжета, о которой она знает. Роман не мог бы осуществиться без подспорья Лондонской библиотеки и Дугласа Мэттьюза, её библиотекаря. Помощь и поощрение со стороны моих издателей, «Чатто энд Уиндус», превосходили пределы договорных отношений и простой вежливости. Благодарю Уилла Вона и Джона Хауса за разговоры со мной о живописи; Джеки Браун — за точное печатание рукописи с невероятной скоростью; Майкла Уортона — за некоторые полезные французские выражения, но в ещё большей степени — за эстетическое понимание и общую поддержку.

Признательна издательству «Теймз энд Хадсон лимитед» за разрешение цитировать «Полное собрание писем Винсента Ван Гога».

Посвящается Дженни Флауэрдью
4 мая 1936 г. — 11 октября 1978 г.

Talis, inquiens, mihi videtur, rex, vita hominum praesens in terris, ad conparationem eius, quod nobis incertum est, temporis, quale cum te residente ad caenam cum ducibus ac ministris tuis tempore brumali… adveniens unus passerum domum citissime pervolaverit; qui cum per unum ostium ingrediens, mox per aliud exierit… Mox de hieme in hiemem regrediens, tuis oculis elabitur.

Bede. Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum

«Таковою, — сказал он, — о Король, представляется мне нынешняя жизнь людей на земле, в сравнении с тем временем, которое нам неведомо: как если бы, в пору пирования твоего с приближёнными и советниками зимним вечером, влетел вдруг проворно в залу единственный воробей, попав в одну дверь и в другую вскоре вылетев. Так же, из зимы переходя обрат-

но в зиму, из глаз теряется»[1].

[1] Примечания: 1

На русский язык нами переведён не латинский текст эпиграфа, взятого из «Церковной истории народа Англов» Беды Достопочтенного (книга 2, гл. XIII), но английская авторская версия этого эпиграфа, принадлежащая перу А. С. Байетт и помещённая автором под латынью: «Such», he said, «o King, seems to me the present life of men on earth, in comparison with that time which to us is uncertain, as if when on a winter's night you sit feasting with your ealdormen and thegns — a single sparrow should fly swiftly into the hall, and coming in at one door, fly out through another. Soon, from winter going back into winter, it is lost to your eyes». *(Здесь и далее примеч. перев.)*

О вещах слова шлют нам ясное, обыденное представление, наподобие тех картинок, что развешены на стенах классной комнаты, чтобы дать детям пример того, что́ есть *верстак, птица, муравейник*, — чтобы воспринимались сходственно и вещи, относящиеся к одному понятию.

М. Пруст. По направлению к Свану

...я пытался отыскать красоту там, где прежде и не думал найти, — в вещах самых обыденных, в глубине жизни «натюрмортов».

М. Пруст. Под сенью девушек в цвету

Вещества мёртвые, — говорил Кювье, — доставляются в тела живые и, занявши там некое место, совершают действие сообразно природе тех сочетаний, в какие вступили, покуда однажды не приходит им срок выбраться из этих сочетаний и вернуться под власть законов натуры мёртвой.

Ж. Кювье, цит. Мишелем Фуко. Слова и вещи

Пролог
Выставка постимпрессионистов Королевская академия художеств Лондон, 1980

В «Книге друзей Королевской академии» он, согласно заведённым здесь правилам, сделал запись своим изящным почерком: «Александр Уэддерберн, 22 января 1980 г.».

Когда договаривались о походе на выставку, она — как всегда, не терпящим возражений тоном — промолвила: «Меня не дожидайтесь, ступайте прямиком в Зал III, где и устроено это собрание чудес». И вот уже он, известный общественник и тоже своего рода художник, послушно, будто мальчик, сам немного своей послушливости удивляясь, проходит насквозь Зал I («Французская живопись 1880–1890»), затем, также не задерживаясь, — Зал II («Британская живопись 1880–1900») и вступает в Зал III. За окнами свинцово-серое утро; стены в этом зале тоже серые, но серые бледно; не слышны пока под лепными сводами голоса посетителей… зато

лампы ярко светят, ликующе отдаются от красок на полотнах… и фраза о «чудесах» начинает казаться едва ли не правдивой.

По одной длинной стене, в ряд, — холсты Ван Гога, среди них написанный в Арле «Сад поэтов», одна из четырёх картин под таким названием, живьём раньше видеть не доводилось, но узнал по маленьким фото, вспомнил по истовым рассказам в письмах самого художника. Присел на банкетку и вгляделся. Парковая дорожка раздваивается и, словно тихо кипя на первом плане от белёсо-золотистого зноя, обтекает островок с большой пихтой, чьи зелёно-чёрно-синие лапы нацелены вниз, но стремятся ввысь и в стороны, так что кажется, взмыла бы пихта всем своим раздольным шатром, когда бы не мешала ей рама. Чинно, рука об руку, вступают под густой, чутко нависший хвойный полог — двое. На заднем плане — другой зелёный островок, весь в кровавых пятнах цветков герани…

Александра не беспокоило, появится ли Фредерика вовремя. Она утратила привычку опаздывать, жизнь её научила обращаться с временем точно и уж наверняка считаться с чужими минутами. Сам же он, в свои шестьдесят два года, полагал, хотя и без полной уверенности, что

уже слишком стар и степенен, чтоб она, или кто-нибудь ещё, могла вывести его из душевного равновесия. Она где-то должна быть на подходе, так он думал, с теплотой. В стародавние времена в его жизни господствовал круговорот, слишком явное повторение событий, отношений, и во всё это ей совершенно невозможно было встроиться. Надоедой, угрозой, пыткой — вот кем она была в те поры для него; а теперь стала почти родственной душой. И сама предложила сходить вместе посмотреть Ван Гога, учреждая — намеренно, хитроумно, эстетски! — совсем новый мотив отношений. Его пьеса «Соломенный стул» первый раз поставлена в 1957 году; но не хочется отчего-то теперь вспоминать эту пьесу слишком пристально, как, впрочем, и любые свои старые произведения. Он воззрился на другой, безмятежный, но страстный сад: из круговых жёлтых мазков вылеплено небо, пастозна изумрудная зелень травы на первом плане, яростно и густо воздеты сине-зелёные перья древесных крон на среднем, кое-где прокинулись и повисли в листве тонкие, резкие закорючки чёрных теней и с болезненной ясностью проступают потёки и брызги оранжево-красного на стволе плакучей ивы, на макушке чуть отдалённого левого

дерева… Подобрать язык, передающий одержимость Ван Гога материальным, но как бы дивно подсвеченным изнутри миром, — оказалось чрезвычайно трудно. Ограничиться внешней, привычному сознанию доступной драмой? Вот, мол, ссорятся, мечут стрелы гнева и раздражения друг в друга два великих художника в жёлтом общежительском доме в Арле, между тем как далёкий незаменимый брат Тео шлёт Винсенту свою любовь — и тюбики краски; вот забрезжило отрезанное ухо и отправилось к проститутке в бордель; и страх, страх в душе перед больницей для умалишённых… Ограничиться только всем этим — было б ложью!.. Поначалу Александр думал, что возможно написать обыденным, точным стихом, без использования переносных значений: чтобы жёлтый соломенный стул был бы самой вещью, то есть просто соломенным стулом, золотистое круглое яблоко — просто яблоком, а подсолнух — подсолнухом. До сих пор ему иногда удавалось увидеть эти чуткие мазки — просто мазками, в обнажающей оптике, так что невольно спадала прочь более мудрёная, метафорическая мысль об этом саде, не мерещились в чёрным прописанных закоулках листвы — будущие чёрные крылья, от изображений гераней

отмывалось пошловатое их сравнение с пятнами крови. Но, увы, подобное словесное предприятие оказалось невозможным. Ведь, во-первых, мешает сам язык. В имени подсолнуха лежит, калачиком свернулась метафора: подсолнух не только повёрнут к солнцу, но и подобен солнцу, источнику света.

Во-вторых, мешает представление Ван Гога о вещах. Соломенный стул, помимо того, что он — мазки и краски, и помимо своей соломенности как таковой, — входит ещё и в набор из двенадцати таких стульев, приобретённый Ван Гогом для артели вольных художников, которой предстояло населить Жёлтый дом, чьим белым стенам предстояло озариться подсолнухами, наподобие того, как окна готических соборов озарены переплётчатым светом витражей. Здесь не только метафора, но и — культурный мотив, имманентность религии, веры и храма. Всякая вещь непременно связана с другими вещами. Так и «Сад поэтов», изначально предназначенный к украшению спальни «поэта Гогена», собою являет нечто большее.

Арль, 1888 г.

Некоторое время назад я прочёл статью

о Данте, Петрарке, Боккаччо и Боттичелли. Боже мой, какое же сильное впечатление произвели на меня письма этих людей. И Петрарка жил совсем неподалёку отсюда, в Авиньоне, и я вижу те же кипарисы и олеандры…

Есть, и весьма немало, древнегреческого по духу в этом забавном краю Тартарена и Домье[2], где здешний добрый народ имеет особенный выговор, ну ты знаешь какой. Здесь есть своя Венера Арльская наряду с Венерой Лесбосской, и, несмотря ни на что, легко можно ощутить во всём этом некую вечную младость…[3]

Не правда ли, что в этом саду чувствуется какой-то странный, необычный стиль,

---

[2] Примечания: 2

Тартарен — герой книги А. Доде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872). *Домье Оноре* (1808–1879) — французский график, живописец и скульптор.

[3] Примечания: 3

Из письма Тео Ван Гогу 18 сентября 1888 г. (Здесь и далее переводы отрывков из писем художника, а также их точные даты сверены с французскими и нидерландскими оригиналами по новейшему и самому авторитетному на настоящий момент изданию, авторизованному музеем художника в Амстердаме: http://www.vangoghletters.org.) Как указывают современные источники, Венера Арльская, виденная Ван Гогом в Арльском музее античности, на самом деле была гипсовой копией начала XIX в. Оригинал же, найденный при раскопках Античного театра в Арле в 1651 г., был подарен в 1684 г. Людовику XIV для его дворца в Версале. Говоря о Венере Лесбосской, художник, скорее всего,

путает её с Венерой Милосской из Лувра, в Арльском музее в его время находилась лишь голова, причём некой другой Венеры.

позволяющий вообразить здесь поэтов Возрождения, как они выступают среди этих кустов по траве, покрытой цветами?..[4]

Что есть вечная младость? — спросил себя Александр. Сочиняя свою пьесу, он ощущал усталость от мира. А Ван Гог спустя два года после этого письма, в июле 1890 года, несуразно выстрелил себе в пах и умер медленной смертью, в возрасте тридцати семи лет. В 1954 году Александр, как всегда бродя мыслью вокруг дат, прочёл выпущенное к столетию художника собрание писем. Самому ему вскоре тоже должно было исполниться тридцать семь; когда же была поставлена пьеса, он уже благополучно миновал этот возраст, «пережил» Ван Гога; точно так же, как в 1940-е годы миновал возраст Джона Китса и почувствовал, пусть и кратко, свою силу, оттого что выжил, вознёсся над временем. Вот ведь чушь: вечная младость Прованса… Сразу вспомнились ему жаркие и блестящие, точно намасленные, автомобильные дороги этого края. Нет уж, лучше видеть вознесённые навсегда над

---

[4] Примечания: 4
Из письма Тео Ван Гогу, Арль, 26 сентября 1888 г.

временем оливковые деревья и поля пшеницы на холстах Винсента…

Между тем она начала подниматься вверх по ступеням палладианской[5] мраморной лестницы. Какой-то знакомый художник подлетел, поцелуем клюнул в щёку; помахал рукой на ходу журналист. Бойко, чуть ли не вприпрыжку, в сопровождении некой мелкой особы в большеватой куртке зеленохвойного цвета, напоминавшей палатку, сбежал по ступеням Джон Хаус, организатор выставки. Он также чмокнул Фредерику в щёку и представил их друг дружке, неразборчиво промямлив: «Коллега мнм…», «Фредерика… — замялся, добавил находчиво: — Простите, не знаю, под какой вы выступаете фамилией, нынче женщины многолики, как Протей». Фредерика даже не стала пытаться уточнить имя дамы, ибо утратила давно интерес к побочным людям, от которых ни жарко ни холодно. Лишь предположила (ошибочно), что она тоже историк искусств, раз «коллега». «Коллега» рассеянно-внимательно скользнула взглядом по Фредерике. Джон Хаус принялся рассказывать, какой это был труд, из многих стран собрать и развесить полотна,

[5] Примечания: 5

В стиле знаменитого архитектора позднего Ренессанса Андреа Палладио (1508–1580).

приходилось бороться то с внезапной пустотой (Иаков — с ангелом?), то со светом, который бьёт слишком ярко, портит впечатление. Фредерика сосредоточенно слушала. Затем отдрейфовала к книге посетителей, записалась: *Фредерика Поттер, Форум критиков, Радио 3*. Выговорила себе бесплатный каталог. После чего непоспешно направилась в сторону того зала, где её должен ждать Александр…

Пожилая посетительница, вооружённая аудиогидом, возбуждённо дёргала подругу за рукав: «Эй, смотри-ка, эту картину написал сам Уинстон Черчилль[6], называется… — Тщательно, по слогам: — Кап-д'Ан-тиб. Да, так и называется».

Фредерика изумлённо-проворно метнула взгляд сбоку: *Claude Monet. Au Cap d'Antibes par vent de mistral*[7]. Вихрь синих и розовых тонов, бесформенные тугие формы воды и ветра. Сразу вспомнился прустовский вымышленный художник Эльстир — «не писать вещи такими, какими их знаешь». Писать свет и воздух между глазом и предметами.

«Вот я и говорю, моя дорогая, что Уинстона Чер-

---

[6] Примечания: 6
У. Черчилль занимался живописью в качестве хобби.

[7] Примечания: 7
Клод Моне. «Вид с мыса Антиб, ветер мистраль».

чилля… — (Вторая старушка между тем кое-как освободила от цепких пальцев рукав.) — Черчилля не годится ставить в один ряд с этим… как его…» — переводя нервно взгляд с Фредерики на крупную подпись художника в левом нижнем углу.

Сияло и танцевало море, заключённое в раму. В каталоге Джон Хаус приводил слова Моне о том, как написанный вокруг стогов свет окутывает их словно вуалью. Цитировался и Малларме: «Я полагаю, что следует… действовать лишь намёком. *Назват*ь предмет — значит уничтожить на три четверти наслаждение стихами, которое заключается в счастье постепенного угадывания предмета. *Внушит*ь мысль о нём исподволь — вот мечта»[8]. Нельзя сказать, чтобы Фредерике подобная философия была по нраву; она предпочитала называть вещи своими именами. Но потупилась всё же на миг перед зыбким, нежным, но тщательно выделанным ослепительно-красочным руном; розово-голубые завихрения ветра над морем, призматического покроя облачные нимбы вкруг таинственных чертогов… Накорябала какие-то слова, заметки на полях каталога…

---

[8] Примечания: 8
Анкета о литературной эволюции (1891).

Дэниел приобрёл билет и — с неведомой целью — каталог напрокат. Пришёл он сюда, кажется, затем, чтобы обсудить с Фредерикой некое дело. При этом он догадывался, что она хочет одарить его встречей с искусством. Под мышкой у него была сложенная газета с сегодняшним главным заголовком: «Мирная мать найдена мёртвой». С годами он всё острее чувствовал свою беззащитность перед плохими новостями, от них прямо-таки саднило на душе, хотя давно пора бы закалиться. Он смотрел на полотна — и не мог их взять в толк. Вот край пшеничного поля с маками, которое почему-то сразу напоминает маленькие или большие, выцветшие почти до призрачности, репродукции картины Ван Гога «Жатва», украшающие бесчисленные коридоры и приёмные покои больниц, директорские кабинеты школ. Эти изобильные поля, так же как и геометрические зелёно-коричневые кустарники Поля Сезанна, наблюдал он не в одном фойе учреждений для душевнобольных. Ну не странно ли, учитывая, что сам Ван Гог скончался в безумии и отчаянии в подобной же обстановке? В полях этих нет безмятежности; напротив, в них лихорадочное возбуждение. Терпение Дэниела с нервнобольными за последние годы изрядно пои-

стощилось. Будучи на четырнадцать лет моложе Александра, Дэниел, однако, тоже привык думать о себе как о пережившем своё время человеке, которого жизнь обветрила и потрепала.

Александр заметил приближение Фредерики. Чуть поодаль стайка старших школьниц прилежно заполняла какую-то рукописную, размноженную на ксероксе анкету, где отвечать полагалось не многими словами; Александр, закоренелый знаток моды, немедленно сравнил наряды девушек с нарядом Фредерики и сделал интересное наблюдение. Мода теперешних юных созданий — неумелое подражание пятидесятым годам, годам юности Фредерики; ну а Фредерика даёт им остроумный и тонкий ответ, отсылая к оригиналу и вместе с тем прибавляя ещё что-то, весьма изысканное. На ней чопорно-традиционный костюм — жакет из тонкой шерстяной ткани, неброской, с приглушённым геометрическим узором, в тёмно-зелёных и не вполне обычных коричнево-соломенных тонах, перехваченный поясом в талии — по-прежнему чрезвычайно тонкой, — отчего возникает эффект фижмы; юбка же — длинная и прямая, до колена. У блузки — в меру лихой, но гофрированный воротник. На голове — маленькая бархатная шляпка, из тех, к

которым можно прикреплять вуалетку (впрочем, вуалетки нет). Бледные рыжие волосы собраны на затылке пучком-восьмёркой, наподобие шиньона, сразу вспоминаются обитательницы парижских кафе на утончённых рисунках Тулуз-Лотрека. Да, пятидесятые *плюс* постимпрессионизм — тут же соединилось в сознании Александра. Фредерика подошла и поцеловала его. Он высказал свою мысль о юных модницах. Она с готовностью подхватила:

— О да. Посмотреть только на их юбки-карандаш, свитеры «летучая мышь», лодочки на сверхкаблуках, таких чтоб специально ходить вот так, цокая и оттопыривая стройные попки… Ну и тонны яркой, красной помады. Кстати, я ведь помню, был момент, когда я думала — всё, конец вообще помаде, прощай мечта о губном экспрессионизме. Прощайте платья из тафты… Все мы, девы, тогда в Кембридже разом перешли на сатин. Помнишь такое событие?

— Ну ещё бы.

— А эклектичные шестидесятые? Помнишь, приходим в Национальную портретную галерею, а публика как только не разодета, от индийских пиджаков-шервани до мундиров с эполетами и ливрей. А нынешние девушки… они истово и

неловко подражают какому-то одному образцу и становятся одинаковыми. И я не могу отделаться от мысли, что образец — *я*. Ну разве это не возмутительно?

— Подражание — это оскорбление вашего величества! А ты? Почему ты заново пришла к моде пятидесятых?

— Ну, это же моя природная стихия. В пятидесятых я как рыба в воде. Сороковые — тут я пас, все эти подкладные плечики, крепдешин, будь он неладен, причёски под пажа — это, кстати, была чистой воды эдиповщина. В общем, сороковые, конец сороковых, — это *родительский* гардеробчик, из него я рвалась на волю. А теперь вот настали мои лучшие годы.

— Истинно так.

— И денежки у меня завелись.

— В наше новоаскетичное время ты роскошествуешь?

— В наше аскетичное время я уже большая и могу распоряжаться суммами.

Оба заметили, что к ним шагает Дэниел.

— Дэниел, по-моему, вообще не меняется, — сказал Александр.

— Вот уж кому не мешало бы… — отозвалась Фредерика.

Дэниел и впрямь нисколько не изменился. На нём были такие же чёрные вещи, в которых он проходил все шестидесятые и семидесятые: мешковатые вельветовые брюки, толстый свитер, рабочая куртка. Как и у многих других власатых мужчин, волосы у него немного поредели на макушке, там, где раньше были гуще и жёстче всего; зато имелась крепкая, аспидно-чёрная борода; телом он был не то чтобы слишком обширен, но очень плотен, увесист. В окружении картинной галереи кто-то мог принять его за художника. Он приветствовал Фредерику и Александра взмахом сложенной газеты и посетовал на холодный день. Фредерика поцеловала его в щёку, подумав, что одет он как человек, от которого не должно приятно пахнуть, но нет — от Дэниела пахло чисто, хорошо: старинным одеколоном и ещё как будто хлебной корочкой из тостера. В гладко причёсанных избура-чёрных волосах кое-где пробилась, мерцала серебристо проседь.

— Есть разговор… — начал Дэниел.

— Прежде ты посмотришь картины. Отвлечёшься от дел хоть немного.

— Я только и делаю, что отвлекаюсь. Был на службе в Королевском колледже в Кембридже, слушал рождественские песнопения.

— Молодец. — Фредерика взглянула на него лукаво. — Ну а теперь *займёмся картинами*.

Перед ними был гогеновский «Мужчина с топором».

— Кстати, вот, прошу любить и жаловать, — обратилась Фредерика к Александру, мельком считывая пояснения с таблички. — Андрогин. Так утверждает Джон Хаус. Нет, сам Поль Гоген вроде это сказал. А твоё мнение?

Александр поизучал декоративное золотистое тело, повторяющее мотив с фриза Парфенона. Тёмно-синяя набедренная повязка, плоские груди. Пурпурное море с плоским, накидным узором кораллов. Цвета богатые и непривычные, но почему-то совсем не трогает. Фредерике он сказал, что предпочитает у этого живописца не столь явные, более замаскированные андрогинные формы, лишь *внушающие* смутную мысль об андрогинности. И привлёк её внимание к другой картине Гогена, под названием «Натюрморт. Именины Глоанек. 1888». Неодушевлённые предметы — в том числе две крупные спелые груши, тугой пучок цветов — как бы плывут по красно-оранжевой поверхности столика с тёмной эллиптической каймой. Картина подписана именем Мадлен Бернар, Гоген всерьёз ухаживал за

этой юной особой (стал рассказывать Фредерике Александр), и Гоген воображал Мадлен, в соответствии с модой того времени, как женщину, обладающую желанным и недостижимым андрогинным совершенством, безмерно чувственную и глубоко самодостаточную. Фредерика, заглянув в каталог, сообщила, что растительная часть натюрморта, скорее всего, являет собой шутливый иносказательный портрет Мадлен: груши — это её груди, а пучок цветов в бумажном «чепце» — её волосы.

— Но возможно ведь и другое толкование, — сразу оживился Александр. — Груши — сами по себе андрогинны, с таким же успехом это и мужская часть.

— Да и волосы растут не обязательно на голове, — громко заявила Фредерика, шокируя нескольких посетителей и ещё у нескольких вызывая улыбку. — Однако тебя посещают очень свежие, оригинальные образы, почему бы это?

— Сказывается возраст, — мирно, хотя и несколько лицемерно, отозвался Александр.

К ним — словно к экскурсии — уже начала понемногу примагничиваться публика.

Они переместились к «Сборщикам олив» Ван Гога. Душа Дэниела, однако, странствовала да-

леко. Он представлял, как некогда, в часовне Королевского колледжа, золотая груда рыжих волос, более золотых, чем рыжелисые волосы Фредерики, понемногу освобождаясь от стеснявших её заколок, медленно ложилась на воротник белой блузки. И веснушки, множество чудесных, сплошных веснушчатых пятен, тёплые пятна на упрямых скулах, на лбу… Взвиваются в холодную высь бесполые голоса: «Народился Божий Сын… Ирод, гневом обуян…»[9] Голоса, словно играя, обпевают смерть невинных детей, сопрано и дискант гоняются по лесенке нот друг за дружкой; а она склоняет голову, не смеет попадать в эти ноты…

Оливы написаны были, когда Винсент находился в психиатрическом отделении монастырской больницы в Сен-Реми, в 1889 году.

> Что же до меня, то признаюсь Вам по-дружески: перед подобной натурой я чувствую себя бессильным, мой северный мозг охвачен в этих мирных краях кошмаром, что надо быть лучшим, чтобы справиться с задачей. Конечно, я не хотел

---

[9] Примечания: 9
Строки рождественского гимна, переведённого в Англии с латыни.

вовсе отказываться от дела, не сделав ни малейшей попытки, но она ограничилась лишь двумя вещами — кипарисами да оливами, — пусть другие, более сильные и умелые, чем я, истолкуют их символический язык…

Видите ли, мне на ум приходит ещё один вопрос. Что за люди в настоящее время живут в этих оливковых, апельсиновых, лимонных садах?[10]

Фредерика с Александром завели беседу о натуральном супернатурализме[11]. А Дэниел смотрел на жёлто-розовое небо, корявые стволы, серебристо-зелёную листву, землю, смётанную из ритмичных мазков жёлтой охры, розового, и бледно-голубого, и коричнево-красного… Оливы, согласилась Фредерика с Александром, не могли не быть связаны — для Ван Гога, пасторского сына, проповедника без духовного сана! — с

[10] Примечания: 10

Из письма Йозефу Якобу Исааксону, 25 мая 1890 г.

[11] Примечания: 11

Философское понятие, восходит к идеям английского публициста, историка и философа Томаса Карлейля (роман «Sartor Resartus. Жизнь и мысли герра Тойфельсдрека» (1831), книга 3, гл. VIII); относится к явлениям сверхъестественного и чудесного, подспудно присутствующим в естественном и обыденном.

мыслью о Масличной горе, о Гефсиманском саде. Тогда как кипарисы, хоть и всякий раз по-разному, символизируют смерть. Дэниел спросил, больше из вежливости, поддержать разговор: а в чём, собственно, было сумасшествие Ван Гога, это не просто одержимость? Не исключено, отвечал Александр, что это была форма эпилепсии, усугублённая возмущениями атмосферного электричества в пору, когда в Провансе дует мистраль или стоит зной. Но можно, впрочем, дать и фрейдистское объяснение, продолжал Александр: Винсент терзался виной по отношению к брату, первенцу, который умер, не прожив и дня, и чьё имя ему досталось. Винсент родился, как известно, 30 марта 1853 года. А брат — тоже Винсент и тоже Ван Гог — 30 марта 1852 года. Винсент бежал от семьи, от своего мёртвого альтер эго, от неопределённости личностного самоопределения. «Надеюсь, что ты не „Ван Гог“, — писал он брату Теодорусу, Тео. — Я всегда смотрел на тебя как на „Тео“. Я ведь и сам, в сущности, не „Ван Гог“»[12]. Дэниел сказал, что не видит в оливах той боли, которая там присутствует (по мнению Фредерики). Александр, словно лекцию

---

[12] Примечания: 12
Письмо Тео Ван Гогу, Нюэнен, ок. 8 декабря 1883 г.

читая, объяснил, что Винсент возражал против отвлечённо-обобщённых изображений Христа в Гефсиманском саду Эмилем Бернаром и другими глашатаями символизма, свою попытку в подобном роде уничтожил и в трактовке темы предпочёл обойтись одними оливами. Есть ещё одно страшное полотно, созданное в Сен-Реми, продолжал Александр, спалённое молнией дерево, чёрные контуры ствола, так называемая «чёрно-красная гамма», «нуар-руж»… Дэниел ответил: да, но почему этими, с позволения сказать, садами теперь украшают стены психиатрических клиник, разве можно ими кого-то развеселить или утешить?..

Деревья стояли под своими розово-зелёными нимбами: то была всего лишь краска, затвердевшие её мазки, но мазками, взмахами кисти руководили лёгкие, скачкообразные движенья обоих глаз при внимательном разглядывании души предметов…

Эмилю Бернару, Сен-Реми, 26 ноября 1889 г.

Вот описание холста, который в эту минуту передо мной. Вид парка при лечебнице, где я нахожусь: справа —

невзрачного тона терраса и боковая стена дома, несколько кустов полуотцветших роз, а слева — участок парка, красная охра, земля, выжженная солнцем и устланная опавшими сосновыми иглами. Эта парковая кромка засажена большими соснами, их стволы и сучья — красная охра, а кроны — зелёные, с редкой чёрной примесью-грустинкой. Эти высокие деревья выделяются на вечернем небе, жёлтом его фоне с фиолетовыми бороздами, но повыше желтизна переходит в розовую зелень. Дальний план загорожен стенкой, тоже красно-охристой, и поверх виднеется одна только макушка холма, фиолетового и жёлто-охристого. Ближняя к нам сосна имеет исполинский главный ствол, который, однако же, спалило молнией, и его пришлось отпилить. Впрочем, оставшийся боковой сук вздымается довольно высоко, ниспадая тёмной зеленохвойной лавиной. Этот угрюмый великан — подобно побеждённому гордецу — даёт перекличку, если продолжить сравнение с живыми существами, с бледной улыбкой последней

розы на увядающем перед ним кусте…

Как ты понимаешь, это сочетание красной охры, зелени с грустной примесью серого, и чёрной обводки контуров само по себе вызывает ощущение той тоски, от которой часто страдают некоторые из моих здешних товарищей по несчастью, тоску эту называют «красным зрением»…[13]

Я пишу [об этом] затем, чтоб тебе напомнить: можно найти способ создать впечатление той самой мучительной тоски и без прямой оглядки на исторический Гефсиманский сад…

Дэниел задумался между тем о погибшей Энн Магуайр, которая, как и супруга голландского пастора Анна ваг Гог, назвала своего нового ребёнка, с которым связывала новую надежду, именем ребёнка умершего. (Впрочем, в случае Ван Гога имена Теодорус, Винсент, Винсент, Те-

[13] Примечания: 13

В английском тексте: «тоску эту называют чёрно-красной». Однако, как указано в комментариях к упомянутому новейшему изданию полного собрания писем Ван Гога (http://www.vangoghletters.org), это место прежде неверно читалось по рукописному французскому оригиналу как «чёрно-красная гамма» (noire-rouge), в действительности же речь о «красном зрении» (voir-rouge), что подтверждается изучением факсимильной рукописной копии.

одорус появлялись вновь и вновь из поколения в поколение, составляя культурную параллель к некоторым повторяющимся чертам семейной физиономии — массивному лбу, ярко-голубым глазам, выпирающим скулам, хрящеватому носу.) На кладбище при церкви в его последнем приходе ему попалась одна старинная английская семья, которая в 70-е годы XIX века трижды пыталась назвать сына Уолтером Корнелиусом Бриттаном и схоронила трёх сыновей под этим сложным именем — в возрасте пяти лет, трёх лет и одного месяца, — а в промежутках ещё и трёх дочерей, но уже с разными именами — Дженет, Мариан, Ева.

…В августе 1976 года автомобиль, за рулём которого находился боевик Ирландской республиканской армии, к этому мгновению, скорее всего, уже убитый английскими солдатами, вылетел на тротуар и задавил трёх детей миссис Магуайр — Джоанну восьми лет, Джона двух лет, Эндрю шести недель от роду, — в живых остался лишь семилетний Марк. Как всегда в подобных случаях, множество людей были буквально сражены количеством жертв в одной семье, равно как и бессмысленностью смерти! Сестра миссис Магуайр вместе с подругой основали фонд под

названием «Мирные люди», о смелой первоначальной деятельности и грустном конце которого здесь говорить не стоит. Энн Магуайр перебралась в Новую Зеландию, где родила ещё одну Джоанну, однако вскоре, не выдержав пересадки на новую почву, вернулась в Англию. Хотя в газетах её полюбили называть «Мирной матерью», в работе фонда она фактически не участвовала. Она подала иск на денежную компенсацию в связи с гибелью детей и своими страданиями, редко высказывалась публично, первую предложенную ей сумму компенсации назвала «мизерной». В день слушаний по повторному иску Энн Магуайр была найдена мёртвой. Дэниел восстановил для себя суть происшедшего из сообщений по радио: «раны на горле… следов преступления не обнаружено» — да из газет, каждая давала свою версию орудия самоубийства: «большие садовые ножницы», «нож для разделки мяса», «электрический нож для разделки мяса, найден поблизости». Мотивы покойной, заключил следователь-коронер, «представляются не вполне ясными». Дэниелу, которого жизнь давно сделала знатоком злых ударов судьбы, подумалось, что неясного здесь не так уж много.

Он не стал молиться за Энн Магуайр. Не был он

благостным священником.

Лишь яростно — но, увы, бессильно — воздел метафорический кулак, погрозил вражескому злому полю и продолжил работу, свою работу.

Вслед за Фредерикой и Александром он прошёл в сумеречный отдел выставки, где располагались Нижние земли, Нидерланды. Здесь подымались и одновременно спускались по холодновато-серой лестнице монахини в крылатых чепцах[14]. Пасмурно сиял Лорьерграхт, канал Лавров, в Амстердаме. «Вечер» Пита Мондриана[15] был облачно-мрачноват. Эти полотна пришлись Дэниелу по душе. У него были «северные мозги», как и у Винсента (хотя Дэниел не знал об этой мысли Винсента), — именно поэтому и биологически и духовно он отзывался на тона чёрные, коричневато-серые, вообще различные серые, на смутную белизну, проступающую во мраке. «…Одна из самых прекрасных вещей, что удались художникам в нашем веке, — это темнота, кото-

[14] Примечания: 14

Картина Ксавье Меллери (1845–1921) «После вечерней молитвы» (Dopo la preghiera della sera).

[15] Примечания: 15

Питер Корнелис (Пит) Мондриан (1872–1944) — нидерландский художник, одновременно с Кандинским и Малевичем положил начало абстрактной живописи.

рая всё же является светом»[16], — писал Винсент из Голландии. Про работы Меллери, автора монахинь, в каталоге было сказано: «Они создают свет, который является в некотором роде отрицанием нашего непосредственного зрительного восприятия вещей; это скорее внутренний свет сознания, души». К такому языку Дэниел был привычен — если не каждодневная, то еженедельная словесная пища. Он прекрасно знал, что такое свет, сквозящий из темноты, и давно научился — по причинам, совершенно отличным от Александра, во всём ищущего точности понятий, — не доверять языку переносных смыслов. Он никогда не основывал своих проповедей на метафоре, не проводил отвлечённых аналогий; учил исключительно на жизненных примерах, живых поступках. Но тёмные эти голландские полотна ему понравились, с этими художниками он, если так можно выразиться, на одной длине волны.

Дэниел наконец отошёл в сторонку с Фредерикой.

---

[16] Примечания: 16

Из письма Тео Ван Гогу, 21 апреля 1885 г. Любопытно, что в нидерландском оригинале употреблено слово «kleur», то есть «цвет» (как и в новейшем переводе на английский, «colour»): «…темнота, которая всё же является цветом». Но автор опирается на старый перевод писем, где это передано через слово «свет» (light), что удачно сочетается с мыслями Дэниела.

— Ты сказала, у тебя есть новости об Уильяме.

— Да, получила от него открытку.

— Откуда на сей раз?

— Из Кении. Направляется, кажется, в Уганду, где голод.

— Хипповские штучки, — чуть поморщился Дэниел.

— Хочет кому-то помочь, принести пользу.

— Какая… может быть польза-то?.. От человека без медицинской… вообще без подготовки… Лишний рот в голодной стране. Что за нелепая причуда.

— Мне кажется, он порой помогает людям *по-своему*. Ты судишь его слишком строго.

— Он тоже меня судит. Судить других — это у нас семейная черта.

— Да уж.

— Однажды, — сказал Дэниел, — я был в больнице Чаринг-Кросс. У дочери одной моей прихожанки случилась передозировка, чаще всего их откачивают, дело прямо на конвейер поставлено, но эта девочка умерла, печень не выдержала… И вот, значит, иду я по этому бесконечному коридору, думаю, что же теперь с матерью-то делать… а мать винит во всём себя — и, кстати, не без оснований, — такая, знаешь, *ведьма*, из тех, что

незаметно пьют энергию, в данном случае от этого только хуже… Иду я, а рядом со мной санитары толкают тележку с телом покойной девушки, лицо у неё закрыто простынёй, как положено… санитары в таких мягких музейных тапочках, шапочки у них вроде купальных… я чуть в сторону отступил, они какую-то дверь открывают… и вдруг один из них поворачивается ко мне, и что ты думаешь — на меня из-под этой дурацкой шапочки смотрит моё собственное изображение! В первый миг я даже глазам не поверил. А у него все волосы подпиханы под шапочку-то… с волосами он не очень на меня похож, а тут — полное портретное. «Добрый день, — говорит. — Ну что, ты, как обычно, у отца на побегушках?» Я его спрашиваю: «Ты-то здесь какими судьбами? Где был всё это время?» — «Скитался по земле и обошёл её всю»[17], — отвечает он мне. И начинает завозить тележку туда, в помещение. Я за ним, а мать покойной уже начинает вопить и стенать. Уильям мне и говорит: «Ну, я, пожалуй, пойду, это уже по твоей части». — «А что ты вообще делать собираешься?» — «Наверно, ещё по земле поскитаюсь». С тех пор я Уильяма и не видел…

---

[17] Примечания: 17

Иов. 1: 7: «И сказал Господь сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу, и сказал: я ходил по земле, и обошёл её».

В нескончаемом прохладном молчании монахини подымались по ступеням.

— Писание цитирует себе на потребу… — вздохнул Дэниел.

— А мне показалось, остроумно, — не согласилась Фредерика.

— А в открытке не было… про возвращение?

— Нет.

Иногда ей хотелось, чтобы Уильям ей вообще не писал, раз уж с Дэниелом связи не поддерживает. Но может быть, эти открытки или письма-каракули на тетрадных листках — и есть послания Дэниелу? С другой стороны, возражала она себе, никогда не следует пренебрегать очевидным толкованием в пользу чего-то подразумеваемого — эти чёртовы письма и открытки предназначены ей, Фредерике!

— Такие вот дела… — сказала Фредерика.

— Ладно, справимся, — сказал Дэниел. — Ну, я потопал. Ещё увидимся.

— Ты не посмотрел *картины*.

— Не то настроение.

— Мы собирались выпить кофе в «Фортнуме и Мейсоне»…[18]

---

[18] Примечания: 18

Фешенебельный магазин кондитерских изделий, чая, кофе, спиртных напитков и подарков на улице Пиккадилли.

— Сейчас нет, но всё равно спасибо.

1
Предродовое: декабрь 1953

(I)

Над входом в краснокирпичный корпус, золотыми буквами на лаково-лиловой вывеске: «Гинекология и акушерство». Внутри арки знак перста, первый из многих последующих, указует на большую табличку. «Предродовое отделение — первое направо». Под сводами арки темно.

Подъехав, она пристегнула велосипед цепью к высоким перилам. Она была на шестом месяце. Под тяжестью корзинки переднее крыло аж немного прогнулось. Из корзинки она достала верёвочную сумку, в которой был бумажный пакет с вязаньем, завёрнутая в пергаментную бумагу бутылка с лимонадом и две тяжёлые книги. Толкнула дверь и оказалась внутри.

Пол в центральном фойе выложен красновато-бурой плиткой, стены — чуть ли не до потолка — тоже в кафеле, цвета запёкшейся крови; окна же находятся гораздо выше глаза. Старшая медсестра, в ярчайше-синем медицинском халате и

высоченном, точно башня, белом плоёном чепце, важно восседала за конторским столом. К ней стояла очередь из женщин. Двенадцать, тут же сосчитала Стефани. Взглянула на часы: ровно 10:30. Кажется, сегодня быстро не отделаешься. Она угнездила верёвочную сумку между ног на полу, достала книгу, подняла страницу к тусклому свету…

В распашную двустворчатую дверь вошла четырнадцатая женщина и, словом не обмолвившись с тринадцатью, обратилась напрямую к сестре:

— Моя фамилия Оуэн. Миссис Фрэнсис Оуэн. Мне назначено.

— Всем остальным тоже, — отвечала сестра.

— На десять тридцать, к доктору Каммингсу!

— Всем остальным тоже.

— А я вообще на десять пятнадцать, — послышался из очереди робкий голос, а может, и не один.

— Но ведь…

— Пожалуйста, встаньте в очередь, ждите спокойно.

— Я… — начала было миссис Оуэн, но сама уже пристроилась за Стефани.

Опустив книгу, Стефани принялась шёпотом

объяснять:

— Люди записываются оптом. Некоторые сёстры не особенно толковые, всё перепутают, сложат в кучу записки, и последние у них оказываются первыми. Тут нужно тонко рассчитать, что́ выгоднее — явиться совсем рано или уже под конец. Лучше всего опередить всех. Попасть на девять тридцать. Правда, доктора тоже часто опаздывают.

— Я в первый раз.

— Ну, значит, быстро не получится, сестра станет всё подробно записывать в вашу карточку. А очередь мимо вас…

— Сколько же это займёт?

— Лучше не рассчитывать на определённое время.

— Понимаете, у меня…

Стефани читала Уильяма Вордсворта. Какое-то время назад она решила, что в этих очередях прочтёт все его стихи, медленно и вдумчиво. Но было три загвоздки: книга очень тяжёлая; на каждом этапе обследования всё меньше на тебе одежды, к поэзии не располагает; да и сосредоточиться всё труднее, болят ноги, беременная усталь не даёт понимать, заканчивать мысль, свою ли, Вордсворта ли, миссис ли Фрэнсис Оуэн. Которая

пока что примолкла.

Мой дух оделся странным сном…[19]

Книга легко открывалась на этом месте.

И, страхов вовсе чужд людских…

Слова не столь уж необычные, лишь составлены вместе необычным образом. Но как узнаём мы эту необычность?.. Потихоньку перекантовывая верёвочную сумку своими удобными, без каблука, туфлями, она постепенно, в свой черёд, дошаркала до сестры. Та извлекла из левой стопки папку с надписью «Ортон, Стефани Джейн, ПДР 13.04.54» и переложила в другую, правую от себя стопку, после чего Стефани обрела возможность — ещё на полчаса — расположиться поблизости на стуле, трубчато-каркасно-металлическом, с коричневым брезентовым сиденьем.

Её я видел существом
Вне обращенья лет земных.

Ну да, конечно, *вне*. Стефани посмотрела на женщин. Шляпки, платки, громоздкие куртки и пальто, ноги с варикозными венами, сумки,

---

[19] Примечания: 19

A slumber did my spirit seal (1798), одно из самых знаменитых стихотворений Уильяма Вордсворта.

корзинки, бутылочки…

И, страхов вовсе чужд людских…

Прежде сердце у неё радостно подпрыгнуло бы от одного ритма этой строчки. Но теперь оно само бьётся не слишком ритмично, порою вяло. Внутри у неё, никому больше неведомый, порхает другой сердечный ритм, похоже, в унисон. Она погружалась в дремоту с открытыми глазами, уставленными в скудные оконца. «Погрязла в биологии… — произнесла она про себя, фраза показалась ей удачной, и она ещё раз повторила: — Именно, погрязла в биологии». Это не было жалобой. Биология — интересная штука. Ни за что бы раньше Стефани не подумала, что биологическое сжирает так много времени и внимания. Медленно повела глазами по строкам:

Движенье, силу, зренье, слух
Утратив, сделалась она…

Ну, *движенья* и *силы* в ней, напротив, заметно прибавилось, правда не её собственных… Её выкликнули по фамилии. Она тут же вышла в коридор с деятельной поспешностью, словно не знала прекрасно, что её просто пересаживают на другой стул, в следующую очередь, и что сроч-

ность этих окликов мало связана с чьим-либо — во всяком случае, с её собственным — приближением к минутам осмотра.

Сзади раздался голос миссис Оуэн:

— У меня ужасно разболелась спина…

— Это всё от стояния и от этих стульев, — отозвалась Стефани. — Хуже бы придумать стулья, да некуда…

В собственном голосе ей вдруг услышалась типичная нотка, с какой говорят жёны священников, выдавая очередную порцию бодрого, слегка фальшивого участия. Лучше бы так никогда не говорить! В церкви целый сонм неискренних голосов. Беседовать Стефани не хотелось. Очереди в предродовом отделении стали единственным прибежищем её частной жизни (если не считать ребёнка внутри, который шевелится, выгибается).

— Может быть, кого-нибудь позвать из персонала? — спросила Стефани.

— Нет-нет, не надо, — поспешно сказала миссис Оуэн, успевшая усвоить, что врачей с сёстрами нельзя донимать напрасно. — Ничего страшного.

Стефани вновь подняла к глазам тяжёлую книгу.

Собственно предродовое отделение — куда вход

был через красный зев арки и узкую шейку фойе — было, как и всё родовое крыло, частью военного госпиталя, пристроенного к основному зданию наспех в начале Второй мировой, в расчёте на множество так сюда и не явившихся раненых солдат. Отделение имело временные внутренние перегородки и располагалось на одном первом этаже; по двум его длинным сторонам симметрично, как ножки буквы «Н», шли два коридора, переходы были с уклоном и выкрашены в ярко-голубой, но какой-то безотрадный цвет. Стефани и миссис Оуэн, не выпуская из рук своих медицинских карточек, а также бутылок с водой, вязанья, Вордсворта, повернули сначала налево, потом направо и там были встречены толстой медсестрой. Она поместила их бутылки на поднос, где уже стояли баночки джема в целлофановых рюшечках, флаконы с какими-то лекарствами, бутылка джина и плошка с кетчупом. Их провели затем в кабинки с горе-шторками, где полагалось полностью раздеться и облачиться в чистый банный халат. Халат, доставшийся Стефани, был жизнерадостно-пляжного вида, в оранжево-голубую полоску, напоминая расцветкой не то пижаму, не то палубный шезлонг. В длину доходил ей лишь до половины бедра, никак не желал сходиться

на выпирающем животе, подпояска отсутствовала. К подобному бесправию Стефани привыкла, хоть и не до конца с ним смирилась. Вновь вооружилась Вордсвортом и верёвочной сумкой. Тем временем по соседству сурово отчитывали миссис Оуэн: зачем, мол, повернула налево и направо, а не направо и налево; коли она в первый раз, то ей не сюда, а в гематологию! Говорили с ней так, словно она из тех, кто не вникает, отворачивается от собеседника, — ребёнок-неслух, недееспособная старуха?

— У меня очень болит спина, — говорила миссис Оуэн. — Просто невмо…

Медленно, но верно её увлекли в гематологию.

В одном из углов этого выгороженного помещения находились весы, к которым выстроилась новая длинная очередь. И всего два стула на всех этих женщин — а их никак не меньше дюжины, причём на большинстве ни корсета, ни бандажа (одни казённые халаты).

На весовой площадке стояла женщина настолько огромная, с таким непомерным множеством свисающих и выступающих жировых холмиков, складок, что невозможно понять, где же у неё плод, высоко или низко, — живота не разглядеть. Медсёстры суетились вокруг, перекладывали

грузики на коромысле весов, она же, как свойственно некоторым толстушкам, похохатывала. У неё был диабет, медикам впору забеспокоиться. Сёстрам импонировала её отвага да и сама серьёзность положения. Да, среди обилия всей этой плоти, различной плоти, Вордсворт воспринимался по-другому.

Движенье, силу, зренье, слух
Утратив, сделалась она…

Вордсворт был «человек, говорящий с людьми». Так он сам определил себя, своё звание поэта. Нужно будет докопаться до некоторых вещей, до технической их сути, понять, что это вообще за речь такая, поэзия, почему и как работает ритм, как подбираются существительные, как располагаются относительно друг друга. Только тогда и сможешь объяснить, отчего это под силу ему, Вордсворту, облекать мысль в слова с такой окончательностью, что ничьими другими словами её лучше не выразить, что в каждом слове живёт простая истина. Моё образование не успело ещё толком начаться… — так думала Стефани.

Воротилась миссис Оуэн: бледное, совершенно бескровное лицо над аккуратно запахнутым коротеньким халатом… И почему-то у неё по

внутренней стороне ноги стекала струйка крови.

— Что это у вас, миссис Оуэн? — тут же спросила Стефани.

Миссис Оуэн склонилась — нелепо качнув высокой, тщательно уложенной причёской — к своей нагой худобе.

— Как неловко, какой ужас… Я их спрашивала… — затараторила она, — спрашивала, нет ли беды… у меня небольшое кровотечение… болит спина… но с медсестрой поговорить не получилось… кровотечение, правда, совсем *малюсенькое*…

Она сделала преуменьшительный, извиняющийся жест — и вдруг, коротко вскрикнув, повалилась навзничь. Из-под халата, словно каким-то толчком, разом вышло изрядное количество крови, растеклось по чистому кафелю пола.

— Сёстры, на помощь! — воззвала Стефани.

Почти мгновенно: слитный шум множества резиновых подошв по кафелю, тележка, груда полотенец, марлевых тампонов. Из матово-стеклянной клетушки за весами — доктор. Белую как мел, недвижную миссис Оуэн увезли на тележке за перегородку. Приглушённый гомон других беременных. Ещё ряд ног прошуршал по кафелю.

Стефани между тем повели прочь и, совлёкши халат, усадили на высокое жёсткое сиденье под ажурным трикотажным одеяльцем. Но даже и здесь, знала Стефани, ожидание может быть долгим. Она осторожно оперла Вордсворта о твёрдый край живота.

Движенье, силу, зренье, слух
Утратив, сделалась она
Камням, дубам причастна, в круг
Земной диурны включена.

Описать всё земное, всё, что за сутки обращается вокруг земной оси, с помощью двух существительных, какую же надо иметь власть над словом. И как слитно они поданы ритмически, с ударением на созвучных окончаниях — камня́м, дуба́м. Вещь, названная отдельно, становится частью целого. Среди простых слов — одно затейливое, латинское, *диурна*.

Появился молодой врач. Пощупал её твёрдые, неподатливые бока своими сильными, но чуткими пальцами. Приткнув стетоскоп к чреву, послушал. В глаза Стефани не смотрел, по обыкновению этих врачей.

— Ну-с, миссис Ортон, как у нас дела?

Ответить она не сумела. Слёзы бежали из глаз

ручьём.

— В ночной моче сахарок. Вы уверены, что взяли анализ с утра натощак? Миссис Ортон, да что такое с вами?

— Наша чёртова… английская… *вежливость*. Часами… часами… мы стоим… без бандажа… в холодном помещении на сквозняке. Эта женщина… эта… миссис Оуэн. Она потеряла ребёнка… я знаю… потому… потому что ей не позволили рассказать!.. Я сама не позволила… Здесь все такие…

— Прекратите истерику. Это плохо для ребёнка. Для вашего ребёнка.

Стефани продолжала всхлипывать.

— Всё равно почти наверняка она бы его потеряла, — сказал врач таким тоном, словно отдавал ей очко в некой игре.

— Но не таким же *глупым* образом.

Этот слегка необычный речевой оборот заставил его впервые, кажется, заинтересоваться. Он выпрямился, уставился в лицо. Во всё ещё всхлипывающее лицо.

— Почему это вас так особенно расстроило?

— Я её не слушала! Никто её не слушал. Мы только учили её стоять в очереди как паинька.

— В таком состоянии у любого человека должно хватить элементарной сообразительности

нарушить очередь.

— Очень сомневаюсь. Очередь здесь главный закон. Как только ты сюда вошла, изволь занять за кем-то. Потом стоишь — *часами*, на ногах, без бандажа! Потому что многие записываются про запас, а стульев на всех беременных — две штуки. *Заболит всё на свете*. Здесь становишься другой. Я сама ей велела стоять, не думать. Врачей нельзя беспокоить, у них мало времени.

При упоминании времени он машинально взглянул на часы. Верно, в обрез. Стефани у него не впервые, один раз точно была. Смутно: блондинка, умеренно-округлые формы, настроение спокойное, жалоб нет… с книгой почему-то не расстаётся даже на приёме, кладёт себе на живот — в этом как будто есть что-то странное, неподобающее; хотя что здесь такого?..

— Ваш ребёнок, — сказал он, — чувствует себя прекрасно. Сердцебиение хорошее, отчётливое. Положение правильное. Всё идёт отлично. Избытка веса у вас нет, чувствуете себя хорошо. Перестаньте плакать. Это вам ни к чему. Беременность у некоторых мам ведёт к повышению тревожности. Для блага ребёнка лучше быть поспокойнее. Учтите, пожалуйста. Послушайте… если вы расстроены, поговорите с нашим соцра-

ботником, она опытный…

— Не хочу я ни с кем разговаривать. Я сама почти… соцработница. Без оплаты. У меня муж священник. Я просто пыталась немного отдохнуть. Читать Вордсворта, забыть про эту идиотскую очередь.

— Ну хорошо. Спускайте, пожалуйста, ноги…

Стефани подумала, не извиниться ли? Нет, не стану. Она не испытывала к нему злости; нетрудно вообразить, как это непросто для него: одна, вторая, третья, четвёртая… все одинаковые, все разные, какая-нибудь порой да и разрыдается, от страха, скуки, боли, отчаяния, унижения… Как он вообще может всё это принимать на себя, с частотой в десять минут, *неисцелимое*? Совсем молодой человек. Может докторски заглянуть ей зеркальцем во влагалище, но встречаясь глазами с её глазами — краснеет. И однако ж, она не стала просить прощения за свою вспышку, за слёзы. Мог, по крайней мере, несмотря на личную неприступность, обещать разобраться с недостаточным количеством стульев…

Тут она его, впрочем, сильно недооценила. Стулья он признал частью своей ответственности. В её следующий визит было шесть дополнительных стульев.

(II)

На открытом воздухе она снова, пускай и частично, почувствовала себя собой. По-деловому проворно, без апатии и уже без слезливости, взобралась на велосипед. Спину держа подчёркнуто прямо. Плоду или ребёночку велосипед, кажется, был по нраву; как только начинала жать на педали, дитя переставало ёрзать внутри, делалось — чувствовала она — вполне счастливо. Дороги вокруг Блесфорда, как и в стародавние времена, представляли собой деревенские просёлки, с глубокими канавами и нагими терновыми изгородями по бокам; и только-только стали появляться редкие самостоятельные домишки в один этаж, с их небольшими земельными участками, на концах совсем уж тоненьких капилляров-дорожек, отходивших от просёлка. Она вспомнила свою езду здесь же летом, как цвели по обочинам своими зонтиками бу́тени и пахло нагретой солнцем листвой, но собственного своего лёгкого телесного движения не припомнить. *Придёт в упадок стройность девы*, пишет доктор Спок, словно завзятый поэт. И конечно, Спок прав.

Стефани притормозила, чтоб разминуться со

встречным ездоком, это был её собственный муж Дэниел, чёрный и увесистый, чуть лязгающий на ходу, оттого что цепь у него тёрлась о щиток. Они мирно покатили бок о бок, оба увесистые, сноровисто крутя педали.

— Как там дела?

— Нормально. Просто дольше обычного. А у тебя как день сложился?

Дэниел совершал обряд на похоронах.

— Не слишком весело. Старушки-товарки из дома престарелых. Дочка с тремя или четырьмя детками паровозиком. Сначала крематорий. Потом грусть-печаль, заупокойная молитва. Старые птички в кружок на пятачке зелёной травы на задворках, который им на пару часов выделили… посерёдке табличка, вроде садовой, воткнута в землю — «миссис Эдна Моррисон». Хризантемы рядками разложены. Того и гляди ветер унесёт этих старушенций. Но они собой довольны, пока ещё на своих ногах, в вечность не отчалили. Слава Богу, что потом не было чаепития. Дому престарелых откуда ж деньги взять. А дочке только поскорее с детьми убраться домой, в Сандерлэнд.

— У нас сегодня в очереди одна потеряла ребёнка. В отделении. Прямо на полу. Никто и охнуть не успел.

Вообще-то, она не собиралась сообщать Дэниелу о происшествии. Дэниел гораздо больше неё подвержен мыслям о гинекологических и биологических ужасах близящихся родов. Велосипед его, немного вильнув, снова пошёл ровно.

— Значит, это часто… бывает?

— Нет, конечно. Но у меня тяжёлое чувство. Она мне пыталась рассказать, как ей плохо, а я читала книжку…

Дэниел мрачно сдвинул свои густые чёрные брови.

Когда они вошли в свой маленький дом, он был пуст. Ощущение непривычное. Стефани поставила чайник, развела огонь. Дэниел нарезал хлеб для тостов, достал масло, мёд, чашки. Обхватил большими руками её толстое тело:

— Я тебя люблю.

— Знаю.

Они уселись рядом на коврике перед камином. Огонь разгорелся; Дэниел прислонил тостерную вилку к каминной решётке, и запах жареного хлеба начал мешаться со смутным запахом краски (крепко поселившимся в доме вследствие попыток сделать его более обжитым).

— А где же Маркус? — спросил Дэниел.

— В больнице, в своей очереди. Ездит на ав-

тобусе.

— Раз в неделю по полчаса у психиатра — никому ещё не было пользы от такого «лечения». Я так считаю. А что ему в самом деле *надо*, я бы, конечно, сказал…

— Дэниел, — Стефани положила руку на колено мужа, — не заводись, пожалуйста. Давай будем лучше с тобой пить чай.

— Ты не подумай, я не жалуюсь.

— Конечно нет.

Маркус Поттер, младший брат Стефани, жил вместе с ними, и его отъезда пока не предвиделось. Летом 1953 года у Маркуса случился нервный срыв, или кризис, который был вызван (по одной версии) или усугублён (по другой, более основательной) его странными отношениями с Лукасом Симмонсом, учителем биологии в школе Блесфорд-Райд (где преподавал отец Маркуса и Фредерики). В этом деле имелась некая религиозная подоплёка, вернее, блажь, а ещё — возможно — склонение к гомосексуальным отношениям. Решено было, что Маркус прервёт на один год занятия в школе, чтоб психологически восстановиться, и что ему не следует оставаться под одной крышей с отцом, человеком капризного нрава, к нему Маркус испытывает чрезвычайный, необъ-

яснимый ужас. Никто, однако ж, не определил, чем Маркусу заполнять досуг. В результате он, судя по всему, ничего или почти ничего не делал, говорил по минимуму и всё с большей неохотой покидал дом и даже спальню. Не определили, и сколь долго пребывать ему на жительстве у сестры. Дэниел, по природе своей любивший деятельно искать и находить решения, изо всех сил старался сдержать свой порыв — хорошенько встряхнуть Маркуса, разъяснить ему губительность этой апатии. Время от времени в Дэниеле пробуждалась по отношению к Маркусу ярость, которую приходилось подавлять. Хватит того, что отец мальчика, Билл Поттер, отличается необузданностью характера.

Тут же Стефани увидела в окошко, как Маркус — словно призванный их разговорами и мыслями — возвращается домой. Испытывая какие-то странные, непонятные трудности. Шагнув было в садовую калитку, он тут же запятился, словно оттолкнуло его неведомым полем, встретило злым порывом ветра, который, впрочем, никак не отразился на ветвях деревьев и вечнозелёных кустарников в садиках перед соседними домами. Свои тонкие длинные руки он несёт перед собой чуть впереди, скрещёнными, как будто от чего-то

себя оберегает. Голова, с тускло-соломенными волосами, в круглых очках, понурена. Вот он медленно, то ли пришаркивая ногами, то ли приплясывая, два шага вперёд, один шаг назад, протащился чуть ли не по самой кромке мощёной дорожки. Стефани захотелось защитить его; словно что-то угрожающее висело в воздухе. Дэниел заметил, как тень заботы легла на её лицо.

Какое-то время за дверью слышалось неясное звяканье — Маркус сражался с ключом. Дэниел легко победил желание встать и открыть дверь. Повернул вместо этого тосты. Маркус явился из-за двери, тревожный, насторожённый, точно слепой на мгновение пристывая пальцами к кромкам, поверхностям на пути через гостиную. Сюда-то, в гостиную, и вела входная дверь, но он почему-то оказался в замешательстве, увидев здесь сестру и её мужа.

— Чаю с тостом, Маркус, — предложила Стефани уже знакомым для себя тоном, которым недавно разговаривала с миссис Оуэн.

К этому тону, ей самой довольно неприятному, она тем не менее прибегала всё чаще. Разговоры с Маркусом становились односложными, что мало помогало успеху общения.

— Нет, — ответил Маркус блёкло и совсем уж

только губами прошевелил: — Спасибо.

И начал медленно «красться» (так Дэниел называл в мыслях его походку) к ступеням лестницы, ведущей наверх, в его спальню.

Гостиная — тусклая, с маленькими окнами — была наполовину лишь обставлена и покрашена тоже наполовину. Кресла, маленький обеденный стол, старинный, хорошего красного дерева письменный стол Стефани — стояли на не покрытых ковром половицах, здесь и там забрызганных краской. Перед камином лежал большой ковёр, вязанный крючком из разноцветных тряпиц, в других частях комнаты была ещё парочка циновок из кокосового волокна. Стены оклеены обоями с узором крупных голубых роз в окружении сизоватых, с серебристыми прожилками листьев. Примерно половина стен была частично прогрунтована белой краской. У Дэниела не хватало времени — да, честно говоря, и воли — довести покраску стен до конца. Он давно приучил себя не замечать обстановки, в которой находится. Стефани попробовала красить самолично, но от паров краски её начинало тошнить, да и ребёнку, полагала она, это, наверное, вредно. Дэниелу, зоркому к вещам глубинным, истинным, невдомёк было, как раздражает Стефани

неоконченность и неопрятность этого жилища. В том, что́ в жизни главное и не главное, она бы с ним большей частью согласилась, но этот хаос её попросту угнетал.

Перед тем как начать подниматься по лестнице, Маркус зыбко оглянулся назад. Потом, уже не таким бочком, пошёл вверх по ступеням; вскоре они услышали, как открылась и затворилась дверь спальни. И больше ни звука. Дэниел снял тост с вилки.

Верхняя тишина словно поселилась и внизу. Стефани смотрела на Дэниела, ей хотелось защитить его от Маркуса.

— Давай поговорим друг с другом, — сказала она. — Какие у тебя ещё были сегодня дела?

Ну, Поттеры, ну говорильщики, подумал Дэниел. Даже мирная Стефани. Слова помогают им справиться с жизнью. А его «дела» лучше оставить как они есть, не подкрашивать ни брюзжаньем, ни шуткой, не превращать в трепещущий рассказ. Уже описанные похороны. Потом двое пьяных бродяг. Очередное длинное внушение викария о том, что не следует вмешиваться в семейные раздоры прихожан. Он посмотрел на свою жену, золотисто-бледную, сложившую руки на животе. И молвил только:

— Хлеб.

И протянул ей в меру поджаренный, тёплый, пахучий, в золотистом масле, намазанный мерцающим мёдом — ломтик.

Погрязла в биологии, снова подумала она, вслушиваясь чутко, нет ли наверху шагов, стонов, вслушиваясь в мягкое шевеление у себя в животе, облизывая пальчики от масла. Фраза хорошая, всё объясняет, но Дэниелу лучше её не скажу…

Напрягая ухо к звукам наверху, Стефани услыхала другой звук, снаружи, — резкий тормоз велосипедных шин по гравию. То была Фредерика. Вбежала, нет — влетела она, рухнув картинно на колени перед камином, рядом с сестрой. Вскричала: «Смотри!»

В руках у неё — два светло-коричневых бумажных свитка, уклеенных белыми полосками.

ПРЕДЛАГАЕМ СТИПЕНДИЮ МЕНЬШИНСТВ[20] ТЧК НЬЮНЭМ ТЧК ДИРЕКТОР ТЧК

ПРЕДЛАГАЕМ СТИПЕНДИЮ СОМЕРВИЛЛ ТЧК ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЧК ДИРЕКТОР ТЧК

---

[20] Примечания: 20

Женщины относились к студенческим меньшинствам. Ньюнэм и Сомервилл — женские колледжи в Кембридже и Оксфорде, соответственно.

— Ну вот видишь, — сказала Стефани. — Всё у тебя получилось.

В 1948 году она получила такие же телеграммы, почти слово в слово. Что она тогда почувствовала?.. Почувствовала, что с души спало, хотя бы ненадолго, бремя отцовских неумолимых ожиданий?.. Какой тяжкой была эта ноша, она поняла, лишь когда ноша исчезла. Настоящая же радость появилась потом, а гордость и довольство собой пришли ещё позднее, накануне отъезда из родительского дома… Стефани протянула телеграммы Дэниелу.

— Значит, это удача? — спросил Дэниел, не вполне разумея значимость той или иной стипендии. — Вроде бы чин чином предлагают.

— Выиграла, ура, я выиграла! — ликующе завопила Фредерика. — В Оксфорде я вообще устный держала, одна перед всеми преподавателями в парадных облачениях и мантиях на меху! Я стояла у доски, шуровала мелом, объясняла про английские и латинские слова у Мильтона. Ни разу в жизни не говорила я так много, они меня слушали, увлечённо слушали! Про что я там только не ввернула — про «Британика», про «Разбитое сердце», про «Генриха Восьмого» и «Зимнюю

сказку»…[21] про женские окончания строк. И они говорят, продолжайте, продолжайте, очень интересно… и я выдала им про речь Сатаны к Еве в райском саду…[22] я сама была как в раю… славный, упоительный миг!

Стефани кивала, слушая этот отчёт; Дэниел за нею наблюдал. Какие-то события её прошлой жизни известны ему лишь как факт, без настоящих подробностей. Однажды она тоже получила такие же телеграммы; но вот кричала ли в таком же непритворном восторге про *славный, упоительный миг*, он не знал, тут у него закрадывалось сомнение. Учительствовать, скорее всего, она продолжит, это сродни его пасторскому порыву — заботиться, помогать, — в этом она с ним едина. В их домике раньше нередко гостями бывали неприкаянные школьники, которым нужно доброе наставление, человеческое тепло. Раньше — до того, как здесь поселился Маркус и распугал их всех своим невидящим, но таким упорным взглядом. Дэниел ждал теперь, что Стефани вспомнит про свой устный экзамен в Оксфорде, заполнит ему белое пятно, но Стефани

---

[21] Примечания: 21
Пьесы Ж. Расина, Дж. Форда, У. Шекспира.

[22] Примечания: 22
Дж. Мильтон. Потерянный рай. Книга IX.

молчала. Зато Фредерика, словно отзываясь на его мысли, сообщила:

— Они все тебя вспомнили, Стеф. Преподаватели в Ньюнэме спросили, чем ты сейчас занимаешься. И в Сомервилле тоже тебя помнят. В Ньюнэме одна тётка сказала, что всегда надеялась, что ты вернёшься за докторской степенью. Ну, я ей, конечно, объяснила, ты вся в домашних заботах, ждёшь ребёнка, и всё такое прочее. А она — да, мол, сейчас очень многие хорошие студентки выбирают в жизни этот путь…

— А тебе ведь тоже дорога в Ньюнэм… — определила Стефани.

— Да. Несмотря на чудесный устный в Оксфорде. Как ты догадалась?

— Что ж здесь трудного. Такова воля *батюшки*.

— Вообще-то, я могла взбунтоваться.

— Могла. Но у тебя скорее кембриджская голова. Высокие моральные принципы врощены в тебя с детства. Так что прощай оксфордское краснобайство, филологические разговорчики.

— Они сказали, что ждут меня в Оксфорде через три года — писать докторскую диссертацию. *Представляешь?* Спросили, про кого я хотела бы написать. Я говорю, про Джона Форда. Это был мучительный момент. Они как заржут, до самого

конца собеседования не могли остановиться. Кстати, до сих пор не пойму, что здесь смешного. Ну да не суть. Я сдала, сдала вступительные! Стипендия у меня в кармане!

— Мы это уже поняли, — сказал Дэниел.

— Ладно, не буду вам надоедать. Я не нарочно, просто не могу остановиться… Я заговорила всех девушек за утренним кофе, битых полчаса толковала им про китайскую вазу из «Квартетов» Элиота, как она постоянно движется в своей неподвижности. Это было ужасно забавно: вижу, что они думают, *когда же ты, чёрт побери, заткнёшься?!* Но ничего не могу с собой поделать. Прости меня, Дэниел. Мне нужно выпустить пар. До меня только сейчас доходит, постепенно. Получается, я могу теперь ехать на все четыре стороны? Подальше от дома, от *них*? Свобода!

— Как они там вообще? — спросила Стефани.

— Плоховато. Всё никак не могут оправиться после Маркуса, после всей этой истории. Это как будто разрушило их представление о себе как о хороших родителях. Хороших, несмотря ни на что. И образ дома, Дома с большой буквы, у них в голове поломался. Отец часами сидит без дела, что-то себе под нос бормочет, а мать тоже *ушла в себя* — не начинает первая разговор, ни о

чём таком не спрашивает… казалось бы, я у них осталась последний ребёнок, им впору волноваться, у меня экзамены и всё такое… может, они и беспокоятся, но выражают это как-то странно. Отец как будто себя нарочно взвинтил по поводу экзаменов — завалил мне весь стол всякими вторичными источниками… ну не готова я пока читать всякую литературную критику, нет у меня на неё времени… думаю, почти уверена, что он не душит своих умненьких мальчиков в школе этими статьями да книжками. Моя подготовка — это *моя собственная подготовка*, мои мысли — *мои мысли*, пусть бы оставил меня в покое!.. Как пришли все эти телеграммы, я побежала вниз, открыла дверь почтальону и сразу показала их матери. Она начала было за здравие: «Как чудесно, моя дорогая, у тебя сегодня праздник». А потом вдруг давай рыдать и заперлась у себя в комнате. Не очень-то празднично. Но теперь я ведь могу уехать? Могу, да?

Повисло молчание.

— А как там Маркус?

Дэниел и Стефани молча, разом показали на потолок.

— Ему там пришла куча писем. Вернее, три штуки. От того человека. Отец разрезает их на

тонкие полоски — *опасной бритвой*, я сама видела, — а потом сжигает. Он звонил в больницу, орал по телефону как припадочный… наверное, во всех окрестных домах было слышно: «Сделайте так, чтобы тот человек никогда не слал больше писем!» Я уже думаю, может быть, таинственному психиатру в больнице поработать заодно и с ним?..

— А мама как?

— Я же говорю, из комнаты редко выходит. Правда, поручила мне узнать у вас по поводу Рождества, как встречать будем?

— Могла бы сама зайти поговорить, — заметил Дэниел.

— Разучилась она наносить нам визиты, — сказала Стефани.

В первое время после помещения — для покоя ли, для спокойного ли течения болезни? — Маркуса в семью дочери Уинифред заглядывала постоянно; Билл не приходил, отчасти потому, что «Маркуса не велели беспокоить», отчасти же оттого, что ему глубоко претили — Дэниел, англиканская церковь, христианство, обступившие Стефани стеной, заточившие в плен её талант. Его либерально-атеистическое отношение ко всем этим вещам окрасилось в тона, больше напоми-

навшие религиозный фанатизм семнадцатого века, чем терпимость агностика. В некотором смысле Стефани была для него потеряна так же, как и Маркус.

Уинифред в свои визиты сиживала в этой гостиной на софе, рядом с Маркусом, который старался отодвинуться от матери подальше, и, словно пародийно исполняя обет неведомого религиозного послушания, подражала его коротким ответам и долгим молчаниям, в результате чего и сама усвоила подобную манеру общения. «Нет ему от меня пользы», — сказала она дочери в конце концов. «Кто это определил?» — спросила Стефани. «Я», — отвечала Уинифред.

Уинифред в чём-то походила на Маркуса. Или Маркус походил на неё. Дух поражения успешно сообщается, передаётся от одного человека к другому. В отличие от эйфории, подумала Стефани, глядя на Фредерику. Странно, что упоением, торжеством — не заразишь. Когда-нибудь Фредерика это поймёт; пока же она всё никак не налюбуется на свои телеграммы, разглаживает, складывает.

— К Рождеству ведь ещё приедет моя мама, — сказал Дэниел воодушевлённо, с некоторым напором. — Отпразднуем в лучшем виде.

2
Дела домашние

Начала, концы, фазы, сроки… Моя личная жизнь, думала Стефани, в *этой* фазе перестанет быть интимной; ей не приходило в голову, что интимность, быть может, покинула её навсегда. Её знание о мире, интеллектуальное и биологическое, знание молодой женщины с молодым телом, сопряжено было с циклами — менструальными, семейными, учебными; со сроками смены плоти и крови; с временем обрядов и экзаменов. Беременность была одним из жизненных отрезков, который имеет начало и конец, но сам составлен из частей.

В декабре подошло к концу её учительство в Блесфордской женской школе. На последнем актовом собрании (где Фредерика, как некогда и сама Стефани, получила Приз попечителей за отличные успехи в учёбе) Стефани вручили памятные подарки от коллег и учениц. Выйдя с мрачновато-серьёзным видом к сцене, Фредерика стала обладательницей двух солидных оксфордских справочников, по английской и

по классической литературе. Подарки Стефани отличались многообразием и полезностью: электрическая заварная машинка с будильником, набор огнеупорных стеклянных лотков «Пайрекс» с подогревом, а также вручную изготовленный, от седьмого и восьмого классов, комплект приданого для новорождённого (крошечные вышитые фланелевые ночные сорочки, вязанные крючком поярковые распашонки, вязаные чепчики и ботиночки, миленькие пушистые одеялки, игрушечная овечка с чёрными стежками глаз и слегка изогнутой шеей, свисающая на алой ленте). Директриса произнесла длинную и совершенно правдивую речь о том, как школе будет не хватать Стефани, и коротенькую речь о выдающемся и прекрасном будущем Фредерики. Затем все хором запели гимн «Господи, благослови нас…». У Стефани слёзы навернулись на глаза, не от любви к школе, а от осознания завершения некоего жизненного этапа.

Выводя в последний раз (официально!) велосипед со школьного двора, она увидела идущую впереди — обходящую до сих пор не заделанную воронку от бомбы — изрядно навьюченную Фредерику. Кроме портфеля, у младшей сестры какой-то большой свёрток, два мешочка с обувью,

бумажный пакет с ручками.

— Эй, не хочешь загрузить что-нибудь ко мне на борт? — окликнула её Стефани.

Фредерика, подпрыгнув от неожиданности, поворотилась. Волосы Фредерики уже разметались по плечам вольно и запретно, хотя кое-где и хранили следы тугих школьных лент.

— Не стоит тебе ездить на велике. Наделаешь ещё беды себе и своему потомству.

— Чушь. Мы очень степенны и прекрасно умеем держать равновесие. Давай-ка сюда пакет.

Некоторое время шли рядом молча.

— А ты вообще куда, Фредерика?

— В Ним. Это такой город.

— Что-что?

— Директриса нашла для меня местечко. «Французская семья ищет помощницу по хозяйству, благовоспитанную английскую девушку-гувернантку к своим дочерям». Так что после Рождества только вы меня и видели. Хорошо, что надо будет говорить по-французски. Хорошо, что можно улизнуть отсюда. Насчёт дочек пока не знаю.

— Я, собственно, спрашивала, куда ты направляешься сейчас.

— Да так, хочу исполнить один обряд. Тебе он

может прийтись не по нраву. Но если хочешь, можешь поучаствовать. Если, конечно, не свалишься с велика.

— Что за обряд?

— Вроде искупительной жертвы. В жертву будут принесены некие атрибуты. — Фредерика распахнула свой непромокаемый плащ: на ней был чёрный в облипку свитер, длинный, подпоясанный широким эластичным поясом, и длинная серая юбка-карандаш. — Атрибуты отправятся на дно Блесфордского канала. Ты пойдёшь со мной?

— Что ты хочешь выбросить?

— Я же говорю, атрибуты. Женской школы. Блузку, галстук, берет, юбку, длинные носки, спортивную форму. Жалко, плащ нельзя. Он у меня единственный. Для надёжности я утяжелила свёрток…

— И чем же? — подозрительно спросила Стефани, опасаясь за судьбу двух оксфордских справочников по литературе.

— Камнями, идиотка. Книжки топить я никогда б не стала. Как ты могла подумать.

— Топить тёплую хорошую одежду… это ужасно *небережливо*. Какая-нибудь бедная девочка…

— Я же говорила, не хочешь — не участвуй. Особенно если ты уже с головы до пят превратилась

в жёнушку священника. Как можно добровольно взять на себя эту роль, я вообще не понимаю. Вот скажи, Стеф, тебе нужна была эта уродливая электрическая заварная машинка, ты о ней *мечтала*? Неужто ты и правда хочешь спасти этот ужасный школьный наряд, символ косности и убожества? Чтоб Дэниел отдал какой-нибудь бродяжке? Даже и слушать противно. Пойдём, поможешь. Это делается один раз.

В Блесфордском канале не было ровным счётом ничего примечательного. Он изрядно подзарос тиной и с каждым годом зарастал пуще. В тёмных водах его жили странные растения, которые поводили тонкими длинными чёрными листами, точно щупальцами из сажи. На поверхности кое-где цвела тускловатая ряска. Берега, сложенные из шатких, щербатых кирпичей, во многих местах осыпались в воду. Случалось, в этом канале тонул какой-нибудь маленький мальчик. Сёстры взошли на узкий мост, в окрестностях которого также не имелось ничего занятного, если не считать газового резервуара да замусоленного рекламного щита табачных изделий «Кэпстан». Стефани прислонила велосипед к парапету. Фредерика взгромоздила бумажный куль на перила.

— Обряд простой. Никаких высоких слов, ни-

каких особых ритуальных танцев. Я взрослая женщина. Но я хочу, чтоб хотя бы одна живая душа услышала, что всё это — вся эта гимназическая *фанаберия* с самого начала и до самого конца была для меня обузой, и ничем, кроме обузы! Я ни капли не жалею, что покидаю эту гимназию, и никогда — слышите, никогда! — не переступлю больше её порога, не будь я Фредерика Поттер! Никогда больше я не буду жить *коллективной* жизнью. Не буду принадлежать к никакой артели. Только *самой себе!* Ты мне *пособишь*?..

Стефани подумала про славное, мягонькое и, в общем-то, так тщательно изготовленное приданое для младенца. Вспомнила Фелисити Уэллс, заместительницу директрисы, горячую поклонницу стихов Джорджа Герберта[23] и англокатоличества[24], как она всю жизнь посвятила тому, чтобы искушать девочек этого мокрого и грязного городка вещами прекрасными и высокими. Подумала о Джоне Китсе, который жил в лондонском районе Хэмпстед, а скончался в Риме, читают же его и в Кембридже, и здесь, в Блесфордской жен-

[23] Примечания: 23

Джордж Герберт (1593–1633) — английский поэт-метафизик.

[24] Примечания: 24

Наиболее консервативная разновидность англиканства с ориентацией на католические ценности.

ской школе. Подумала о почерневшем красном кирпиче школьного здания, о меловой пыли, о металлических рундучках с обувью, о высоких холщовых сапожках на шнуровке, для игры в девичий хоккей на траве, заляпанных грязью, о запахе всего того, чем пахнет девичий класс…

— Эх, ладно, давай.

— Вот и отлично. Раз-два-три, готово. За борт!

Свёрток тяжело плюхнулся в воду, вздохнул — и ушёл ко дну, оставив за собой густую, словно склеенную, цепочку ленивых пузырьков.

— Что ещё положено делать во время этой службы? — чуть богохульственно осведомилась Стефани.

— Ничего. Я же тебе сказала. Это просто мой личный поступок, и значит он только то, что значит. А теперь… ты не могла бы меня угостить чаем… если я зайду сейчас к вам в гости? Ну пожалуйста. Что-то мне домой пока не хочется, хочется не очень.

Наконец приехала мать Дэниела. Её уже и не ждали — так долго, в течение многих месяцев, откладывала она свой приезд.

Из муниципальной квартиры, в своё время выбранной Дэниелом в качестве жилья, они переехали в этот частично отремонтирован-

ный, маленький и простенький двухэтажный коттедж, затем чтобы она тоже смогла с ними разместиться (как только вполне оправится от падения и перелома шейки бедра). Третью маленькую спальню они отремонтировали и подготовили для неё прежде своей собственной, наклеили обои с узором в виде веточек, а обстановку Дэниел доставил из покинутого дома в Шеффилде — и пузатое кресло, и туалетный столик со стеклянной крышкой, и настольную лампу с бахромой, и атласное покрывало… Навестив мать в больнице, Дэниел сделался насупленно-молчалив, Стефани, конечно, заметила это, но спрашивать ни о чём не стала. Дэниел в конце концов обмолвился, что, скорее всего, привёз не самые правильные вещи из старой обстановки, разве что туалетный столик хорош, сам по себе довольно уникальный. Пятьдесят процентов вероятности, что мать объявит: слишком много всего для маленькой комнатки, человеку негде дышать. Впрочем, такие речи слыхивал он и прежде.

В день приезда свекрови Стефани поднялась наверх и поставила на туалетный столик цветы — цикламен в горшочке, почти коричневый в своей тёмно-красной лиловости, и ещё букет астр —

фиолетовых, вишнёво-розовых, розовых, как губа раковины, — в хрустальной вазе (ваза была некогда подарена им на свадьбу). Храбрые, изящные цветы. Когда Дэниел уже отправился на станцию встречать мать, Стефани вдруг вспомнила, что лампа вроде бы довольно неприятно мигает. Ещё раз проверила — да, так и есть. Спустилась вниз за отвёрткой и запасным предохранителем. Отметила, что подъёмы по лестнице стали для неё утомительны. Согнулась над лампой, меняя плавкий предохранитель, а в это время ручка или ножка, твёрденькая, толкнулась под кожей пониже рёбер. Послышались звуки у входа, она хотела вскочить и поспешить вниз, но не смогла из-за этих внутренних буйств. А ведь собиралась открыть дверь, встретить приветливо.

Голос свекрови проник под своды гостиной, негромкий, унывный, но бесперебойный и на удивление хорошо разносившийся:

— …ещё раз когда-нибудь куда-нибудь поехала на поезде Британских железных дорог. Прежде пусть вынесут меня отсюда вперёд ногами…

Стефани сошла вниз. Миссис Ортон уже расположилась, расстегнув пальто, в кресле Дэниела, как горка пухлых подушек. Её одежда, лицо, руки, полные ноги в глянцевитых чулках состав-

ляли множество разных оттенков того цвета, который Фредерика позже научилась от неё называть «грустненько-лиловеньким», этот цвет не напоминал — но почему-то диким образом напоминал! — невинные яркие астры и цикламен, а в воображении Стефани он ассоциировался с кровоизлияниями на теле. На миссис Ортон была литая овальная фетровая шляпа, с подчёркнуто лихим заломом на макушке. Из-под этой шляпы выбивались многочисленные овечьи кудельки, серо-стальные, с сиреневатым отливом, который, возможно, происходил от близкого соседства с изобилием сверкающего искусственного, в лиловых цветочных узорах, шёлка её наряда. Стефани, задев ребёнком о ручку кресла, склонилась и поцеловала круглый, как яблочко, и оттого какой-то отдельный, алый румянец щеки.

— Может быть, выпьете чаю с дороги?

— Спасибо, душечка, не надо. Я как раз вот рассказывала нашему Дэниелу, каким пакостным чаем — словно и не чаем вовсе — нынче на железной дороге пытаются людей потчевать. Не полез он в меня, ну никак. Так что от чая покуда воздержусь. Надеюсь, ты не вздумала никакую такую еду особенную для меня готовить, я ведь теперь и не ем почитай что ничего, после больницы-то, ка-

кой может быть аппетит после еды-то тамошней: не тощая добрая говядина у них, а всё субпродукт, жирные куски подсердечника, салаты с половинкой яйца, а яйца-то старые, двухнедельные, ещё положат на край тарелки листок-другой салата отдельно да варёной свёклы ломтик — такое не только что сварить в желудке не под силу, но и проглотить! А что, у нас многие и не прикасались к их еде-то. На завтрак, бывало, дадут яйцо, редко когда оно свежее, чаще прямо от какой-то курицы подземной адовой, не яйцо, а вонь в скорлупке, но разве ж уговоришь сестру-хозяйку понюхать да другое взамен принести? Даже не знаю, что бы я и делала, когда б не старушка на соседней кровати, у ней дочка в Йорке на шоколадном производстве работает, и у них там тоже брак всякий приключается. Ну так вот, она чего сама не осилит съесть-то… а она, странное дело, хоть на шоколаде служит на этом, не любит всякую такую сладость, ей солёненького хочется, за арахисными орешками солёными то и дело бегает в лавку «Смит»… и носит она шоколадные отходы к матери в больницу, целые такие пакеты. Ну, мать-то старушка её тоже не очень могла шоколады есть, у неё и так было высокое сахарное содержание, мне вот и перепадало, от этих шоко-

ладных щедрот. Да, хорошо мне жилось, до самой её, старушки, можно сказать, кончины, а кончина её две недели как произошла… И ведь когда Дэниел меня проведать-то явился в колоратке своей, в собачьем ошейнике, то все и подумали, что я тоже скоро концы отдам… в больнице ошейник собачий просто так к тебе не жалует, кроме как для соборования…

Через полчаса, избавившись наконец от пальто и шляпы, сложив значительную часть привезённых вещей стопкой у кровати Стефани (в её собственную спальню они никак не помещались), она сказала:

— А нельзя ли, душечка, у вас где-то попить хорошего чайку?

Лишь через некоторое время Стефани осознала: миссис Ортон всегда отказывается от любого угощения в тот момент, когда оно предложено. Почему она это делала — из превратного ли представления о воспитанности, из строптивости ли, — Стефани так толком и не поняла.

Когда спустя пару часов явился к ужину Маркус, свекровь по-прежнему беседовала — со Стефани, которая то входила на кухню, то выходила (готовя мясо, подливку, овощи, накрывая на стол), и с сыном, который время от времени осторожно пе-

ремещал свой вес на кухонном стуле и всё более мрачнел, наморщивал лоб. За всё это время она не сказала ни слова ни о Дэниеле, ни о Стефани, ни о будущем их ребёнке; её разговор был — таковым, в общем-то, останется он и впредь — исключительно, до забвения самой себя, описательным. Стефани узнала страшно много: о железнодорожной поездке, о стоянке в Дарлингтоне, о распорядке Шеффилдской городской больницы, о двух или трёх больничных подругах, дорогих миссис Ортон до пристального умопомрачения, и ещё о полудюжине более отдалённых знакомых, описанных схематично, несколькими штрихами. Что же представляет собой сама миссис Ортон, понять оказалось крайне сложно. На Стефани навалилась страшная усталость…

Всего-то разок-другой — день выпал не слишком тяжёлый — попятившись-откачнувшись от им же самим открываемой двери, Маркус, по обыкновению, проворно вступил в гостиную. И застыл в дверях, перед огромным и несомненным фактом присутствия матери Дэниела.

— А этот молодой человек кто таков будет? — осведомилась она.

— Мой брат Маркус. Он живёт с нами, — объяснила Стефани.

Маркус воззрился на миссис Ортон с идиотическим видом.

— Это мать Дэниела, Маркус. Она теперь тоже будет с нами жить.

Ни Маркус, ни миссис Ортон не говорили друг другу ни слова. Дэниел подумал: кажется, ни один из них до этого мгновения не удосужился осознать, что теперь они под одной крышей (хотя и той и другому всё было заранее тщательным образом объяснено). Стефани поставила на стол еду: ростбиф, йоркширский пудинг, жареный картофель, цветную капусту. Хорошее мясо оказалось страшно дорогим. (Стефани и Дэниел старались питаться по средствам: сельдь, говяжьи голяшки, ньокки, пирог с луком.) Миссис Ортон, туго втиснувшись в кресло Дэниела, пытливо наблюдала за каждым движением невестки. Маркус причудливо скрутил руки. Миссис Ортон наконец удостоила его вниманием:

— Молодой человек, не суетись.

Он поспешно сунул руки в карманы и, склонив голову, окольно пробрался к своему месту за столом.

Дэниел стал нарезать ростбиф, звенящим голосом выражая восторг от столь редкого мяса. Миссис Ортон не сказала ничего. От своих кусоч-

ков она отреза́ла боковую коричневую кромку и поедала, на краю тарелки росла горка красных, израненных говяжьих серединок. Жевала равномерно и громко. Маркус поперхнулся и отодвинул почти не тронутое блюдо. Миссис Ортон принялась рассказывать Стефани, как в их-то время пекли такие правильные большие йоркширские пирожки, коричневые, и подавали отдельно, не жалея к ним подливы, чтоб мяса-то есть поменьше, мясо — оно дорогое, в те дни приходилось скряжничать… Не отказалась ещё от одной порции мяса и ещё от одной, только попросила сына отрезать ей от краешков, мол, от кровяного-то ростбифа у неё всегда тошнота и рвота, у всех ведь вкусы разные или нет? Тут же выговорила Маркусу:

— Гляжу, ничегошеньки ты не ешь, дружок такой-сякой. И вид у тебя болезный, подкрепиться б не мешало. — Она громко засмеялась. — Ну-ка, жуй да глотай.

Маркус, побледнев, уставился в тарелку.

— Я смотрю, какой-то он у вас неразговорчивый. Мы вот в детстве не знали фокусничать, перед нами поставят, мы носа не отворачиваем. А чем ты вообще, молодой человек, в жизни занимаешься?

Маркус молча потыкал вилкой в скатерть. Стефани объяснила свекрови, что брат был серьёзно болен, а теперь выздоравливает. (Собственно, всё это сообщено было ещё в Шеффилде Дэниелом.) Тут миссис Ортон вдруг проявила к Маркусу невиданный интерес, которого ни Дэниел, ни Стефани не удостоились, сразу же задала ему несколько резких вопросов: в чём же болезнь и как его лечат? Маркус не отвечал. Миссис Ортон начала высказывать разные предположения, почему тот молчит, и всё более возбуждённо обсуждать его нездоровье с Дэниелом и Стефани, как будто самого Маркуса рядом и не было. Дэниел подумал: в каком-то смысле это и есть состояние, к которому, возможно, стремится Маркус, — присутствовать и одновременно отсутствовать, быть вроде вещи, непринимаемой в расчёт. В последующие дни миссис Ортон довела свойский разговор о Маркусе (при Маркусе) до неприличного, бесцеремонного совершенства.

Поздним вечером, по пути в спальню, Стефани споткнулась о цикламен, выставленный на лестничную площадку. Тяжело рухнула, разом замызгав ночную рубашку землёй, глиняными чешуйками горшка, тёмными потёками воды из-под разлетевшихся астр. Дэниел так и застал

её — на четвереньках, по лицу текут слёзы. За дверями комнат все замерли, слушают чутко?.. Дэниел, недолго думая, обхватил её рукой за огромную талию, молча поставил на ноги и потянул в спальню. Стефани упиралась — гневно и немо указывая на воду, грязь, лепестки на линолеумном полу. Дрожала, плакала беззвучно.

— Ну, милая, ну не надо… — приговаривал он, а сам уже искал у неё в комоде чистую ночную рубашку.

— Ты перепутаешь все мои вещи!

— Ладно тебе. Когда я вообще лазил в твои вещи.

Он осторожно потащил её испятнанную рубашку вверх, через покорные плечи, через голову, и на мгновение она осталась нагой: налитые груди, странно приподнятый пупок; руки же и ноги — хрупкие и невещественные по отношению к весомой середине. Дэниел тихонько погладил её по спине и одел в новую рубашку, она продолжала плакать. Хрипло прошептал:

— Ложись в постель. Милая, ну пожалуйста!..

— Мне нужно там прибраться. Я же просто хотела встретить её цветами, порадовать. Даже оттенки правильно подобрала, чтоб сочетались…

— Послушай… — сказал он. — Это не то, что ты подумала. Ей понравилось! Но понимаешь, она считает, что цветы выделяют углекислый газ — вообще-то, так оно и есть, — поэтому, мол, на ночь их нужно выставлять. Она всегда так делает. С тех пор, как в больнице, когда папа умирал, нянечки цветы из палаты на ночь выкатывали. Цветочные подставки на колёсиках. Она это переняла.

— Ну зачем же так далеко выставила, прямо под ноги? — спросила Стефани с детской обидой.

— Она не нарочно. Устала, спина у неё плохо гнётся. Все мы устали, каждый по-своему. Ты ложись, а я там приберусь.

Стефани легла, накрылась одеялом. Прислушалась. Заметает в совок… прошёл по коридору на цыпочках к задней двери, вышел… Наверняка прикапывает клубень цикламена. Исправный, аккуратный Дэниел… Вот тихонько поднимается обратно по лестнице на второй этаж, тихо звякнул блюдцем из-под цикламена о хрустальную вазу… Когда он наконец тоже улёгся в постель, они прильнули друг к другу, чистые, холодные, прильнули молча, ведь даже эти тихие копошения будут услышаны. Мышцы её медленно, понемногу расслабились, и ребёнок тут же начал

выгибаться и сновать как дельфинчик. День и ночь он различает, но активнее почему-то ночью… Дэниел, при всём неистовом обожании тела жены, даже и брюхатого, не был мужчиной, который способен проникнуться любопытством к невидимой пока маленькой жизни. Чем сильнее вертелся ребёнок, тем дальше отодвигался Дэниел. Даже в постели нельзя быть только вдвоём… А вот Вордсворт, подумала она, уже погружаясь в сон, а вот Вордсворт… ещё одна неоконченная, лишь чреватая чем-то фраза… Ей снилось, как ещё не один раз будет сниться, будто ребёночек выбрался на свет прежде времени, как зародыш кенгуру, и, беленький, слепенький, маленький, карабкается вверх по колышущимся складкам лилового жабо миссис Ортон, а та всё говорит, говорит, шевелит своими брыжами, так что того и гляди в какой-нибудь складке зародыш завязнет, нечаянно задохнётся…

Маркус посматривал на психиатра, психиатр посматривал на Маркуса. Фамилия психиатра была Ройс, он был, как время от времени вспоминалось Маркусу, среднего роста, с волосами умеренно-коричневого цвета и с умеренно-высоким тенористым голосом (впрочем, раздавался этот голос нечасто). Иногда он виделся Маркусу

в очках, а иногда с голым, без очков, лицом. Его кабинет, располагавшийся в ряду множества таких же одинаковых в больнице общего профиля в Калверли, был в умеренно-коричневых и умеренно-серых тонах, с зеленоватыми стенами. Там стояла коричневая кожистая кушетка, два стула, тоже кожистых, на металлическом каркасе, дубовый стол. Ещё был шкаф для документов и шкаф-гардероб, оба металлические, серо-голубого военно-морского цвета. На стене над столом — репродукция картины Мунка «Крик». На другой стене — потрёпанный календарь с цветными репродукциями великих полотен, в этом месяце выставлявший яблоки Сезанна на клетчатой скатерти. На окошке — жалюзи, чаще всего опущенные, но со светом сквозь ребра пластинок. Жалюзи загораживали вид на трубы водопровода, пожарный выход, кусок чёрного от сажи кирпичного дворового колодца… Маркус не лежал на кушетке. Он сидел на стуле напротив стола, но взгляд его редко касался психиатра, гораздо чаще, с наклоном головы, уходил по касательной, ловя в жалюзийном окне расслоённый тонко угол здания, весь причудливо-полосатый узор отражённого света.

Он не верил, что психиатр Ройс способен ему

«помочь». Не верил, возможно, потому, что «помощь» он определял для себя как некоторое исправление чего-то, что пошло неправильно, как восстановление более раннего, хорошего или «нормального» состояния, — а вот в том, что такое состояние когда-либо существовало или вообще достижимо, он склонен был сомневаться. Люди время от времени называли нормальными какие-то из своих поступков и привязанностей — опыт же подсказывал ему, что говоримое людьми об этих вещах мало соответствует вещам реальным. Билл Поттер, его отец, бывало, *рассказывал* об отношениях отцов и сыновей, сестёр и братьев, мальчиков и девочек, а потом начинал в запальчивости городить *определения*, которые не соответствовали рассказанному. «Хороший товарищ», «добрый малый», «талантливый парнишка» — все эти понятия, применяемые к его одноклассникам, тоже выглядели до нелепости приблизительными. Нормальность представлялась Маркусу наподобие сложной, из многих частей, головоломки; кое-как срастив части головоломки, можно начертить на кальке её отражение, график, с пиками и скруглениями, но если попробовать наложить этот идеальный график на подлинные скопления точек жиз-

ненного сумбура, то идеальный график едет, плывёт, получается такая головоломка, что её уже не решить. Привлекательность Лукаса Симмонса заключалась в том, что тот сумел создать крепкую, несомненную, неодолимую, счастливую видимость «нормальности» — отличный товарищ, добрый малый, надёжный вожатый, талантливый человек, это впечатление подкреплялось всем его обликом, от спортивных брюк и спортивного пиджака до улыбающегося лица. «Нормальным» же он сумел представиться потому, что на самом деле был ненормальным, был безумным посторонним, но зато желал нормальности, ухватив сверхзрением её истинную идеальную суть.

Маркус не рискнул бы высказать что-нибудь из этих мыслей психиатру Ройсу. Он этого не делал отчасти по скрытности, отчасти же оттого, что, будучи наделён своей особой толикой поттеровского самомнения, полагал, что Ройс попросту не сумеет оценить всей значимости его размышлений. Но была и третья причина: как предполагал Маркус, психиатра Ройса больше всего интересовали вопросы пола. Судя по некоторым признакам, психиатр вознамерился выяснить, «является» ли он (Маркус) гомосексуа-

листом. Это Маркусу и самому было любопытно; но, хотя он вспоминал единственный откровенно сексуальный момент своих отношений с Лукасом с дрожью и отвращением, он совершенно не хотел пускаться с психиатром в разговоры об этом. Он имел глубокое, чётко осознанное и сформулированное желание остаться вообще вне половых влечений, но выскажи он это Ройсу, тот, скорее всего, не поверит. Всякого рода предположения психиатра он вежливо отвергал, паузы становились всё длиннее, по маленькому кабинету шла как бы долгая и тихая рябь тишины, по мере того как камень слов погружался всё глубже и глубже в тину. Психиатр Ройс обращался к нему так, словно был он меньше своих лет — простым, совсем не башковитым пареньком. Это облегчало ему задачу казаться младше, проще, бездумнее. Он подумал, что они с психиатром Ройсом изрядно уже наскучили друг другу. Но между ними словно существует какой-то тайный сговор, сидеть, разговаривать по инерции.

На этой неделе психиатр Ройс попытался выяснить (на самом деле его подтолкнуло к этому письмо Билла, аргументированное и весьма обеспокоенное), не подумывает ли Маркус о возвращении домой, и если уж вспомнить о доме,

то какие у него мысли. Маркус ответил, что возвращаться не хотел бы, хотя, конечно, придётся, наверное, когда-нибудь. А почему не хотел бы? — спросил психиатр Ройс. Маркус ответил: не знаю, пугает мысль об этом, там будешь как в ловушке, там страшно шумно, ну просто вот не хотел бы. А *что именно* тебе там не нравится? — спросил Ройс, Маркус сказал потерянно: всё, всё не нравится, особенно шум, но, вообще-то, всё.

В действительности же при слове «дом» в голове у него — покуда они обменивались этими вымученными фразами — возник образ, который он ни за что бы не рискнул описать психиатру Ройсу.

Маркусу представился некий дом или даже конкретный, наподобие тех, что ребёнок рисует в детском саду: четыре оконца, труба, дверь, садовая дорожка, цветы, как будто вышитые петельками, на квадратных клумбах, только этот дом к тому же был трёхмерный, чем-то напоминал лёгонькую картонную коробку, и в нём сидело, едва помещалось что-то очень большое и очень живое, покрытое тёмно-рыжей шубой, так что в каждое оконце начинал выползать наружу этот мех, отчего оконца выпучивались и трещали; вот на одном из подоконников мелькнул

коготь, вот где-то в глубине мышца взбугрилась под рыжей шкурой. И это непонятное существо, обитавшее в доме, в центре собственной слепой борьбы, рычало и ярилось само на себя.

Разговор на несколько мгновений замер: слишком тяжело, неравно отвесилась вниз качель, на которой был Маркус, охваченный страхом перед гневом Билла. Он всегда в гневе, сказал наконец Маркус. Ты всегда этого и боялся? — осведомился психиатр. Да, да, ответил Маркус. Расскажи мне, как ты боялся в детстве, когда был маленький, попросил Ройс.

— Однажды я увидел медведя, — сказал Маркус беззащитно, и вправду вспомнив.

— Какого медведя?

— Ненастоящего. Я сидел за софой, играл с молоковозом, у меня была такая машинка. Меня стали старшие звать, я вылез и вдруг вижу: между мной и мамой огромный медведь сидит, ну знаете, как они обычно сидят, такой высокий, башкой достаёт до люстры. Он мне показался совершенно настоящим. То есть я был уверен, что он настоящий. И я не мог по ковру прийти к маме. Подошли, взяли меня на руки, отругали как следует…

— А с чем у тебя медведи ассоциируются?

— С «Тремя медведями», конечно же. Мне всегда рассказывали эту сказку.

Психиатр Ройс оживился:

— Какие же чувства были у тебя по поводу этой сказки?

— Ну… вообще-то, я плохо помню.

— Было ли тебе страшно?

— Вы имеете в виду, когда медведи стали рваться в погоню, кричать из окошек и девочка бежала в страхе и ужасе? Да, конечно, мне было страшно.

Трудная это сказка. В ней слишком много требуется для всех сочувствия. Ребёнок потерялся в лесу, заглядывает в окошки домика, стучится в дверь, кое-как пролезает внутрь, потому что хочет найти там что-нибудь подходящее для себя — пригодную еду, пригодный стул, пригодную постель. Прежде всего следует посочувствовать медведям. Они аккуратно накрыли на стол, поставили себе тёплый завтрак, а ребёнок без спроса повозил ложкой в трёх тарелках, нахально посидел на трёх стульях, а потом дерзко смял три медвежьи постели. Но ведь ребёнок — маленькая девочка, бледненькая, измождённая, с лучами бледно-золотых волос, такой он обычно её представлял — тоже нуждается в сочувствии. Она

хоть и хитрая привереда, и сломала стульчик маленького медведя, но когда они все начинают кричать, гневаться на неё и она из тёплого гневного нутра медвежьего домика должна выскользнуть обратно в холод, наружу…

— А стульчик маленького медведя эта девочка разломала на части… Мне было очень жалко.

— Жалко кого? Девочку или маленького медведя?

— Не знаю. Наверное, обоих. Маленького медведя, ведь это был его стульчик. И девочку жалко, когда они все стали на неё гневаться, кричать… — В тоне Маркуса сквозило отвращение к дальнейшим расспросам на эту тему.

Психиатр Ройс спросил, какие мысли приходят Маркусу в голову, когда тот думает о доме. Нынешние мысли Маркуса не были яркими и подробными. В своё время и он, и Стефани брали верх над другими в «шпионской игре»: на поднос клали разные вещицы, смотрели, убирали, а дальше нужно было вспоминать, что здесь лежало. Но если Стефани побеждала благодаря памяти на сами предметы со всеми их мельчайшими свойствами (обозначала их у себя в голове какими-то особыми словами и словечками), то он вызывал вещицы из памяти с помощью воображаемой

карты их точного пространственного расположения относительно друг друга. Дом для него в детстве был сетью отношений, линий, пролёгших между стульями, продолговатыми фигурами окон, вереницей ступеней на треугольничках, прилепленных к боковинам лестницы; тогда как Стефани помнила каждый пропущенный стежок на обмётке скатерти, каждую щербинку на эмалированных кувшинах, каждое сточенное место на столовых мясных ножах. Сейчас Маркус не убеждён был в постоянстве мест, вещей, да и людей. Например, туалет в больнице Калверли ни разу не показался ему *конкретным*, тем же самым, в который он заходил неделю назад, месяц назад, год назад, а всегда представлялся некоторым туалетом *вообще*. Точно так же он не сознавал, что ест знакомой ложкой со знакомой тарелки. Он не догадывался о том, что к нему на остановку может прийти знакомый автобус, со знакомой крупной штопкой на кресле. Маршрутные линии автобусов образовывали в его сознании подобие карты, по которой один за другим шли неиссякаемо новые автобусы. Всё носило отпечаток новизны. А вот родительский дом для Маркуса до сих пор являлся местом пребывания странных, опасных в своём постоянстве

предметов, являвшихся продолжением людей: пепельница и трубка Билла, резиновые перчатки матери, его собственная кровать в спальне, с моделькой истребителя «спитфайр» на полочке… Ничего этого психиатру Ройсу он не поведал, лишь сказал вяленько, что, кажется, немного скучает по своей спальне. Психиатру захотелось взять его за плечи и встряхнуть хорошенько, но, увы, профессионалу так делать не годилось. Позёвывая, Ройс спросил Маркуса, какие у него вообще сегодня планы, взглянул на часы…

Этой ночью, в доме у Стефани, Маркусу приснилось, будто он вернулся домой и Билл в честь его возвращения нарезает ножом мясное блюдо. Мясо было цилиндрическим и кровавым, с неснятой мохнатою кожей. Да и подушечки имелись с когтями на одном из его концов… Одной из расплат за разговоры, а вернее, за упрямую неразговорчивость на приёмах у психиатра Ройса были сны, последующие странные сны. Итак, они сидят за столом, у матери на голове шляпа, напоминающая шлем. Отец нарезает кровавую лапу, никакой другой пищи не предлагая. Нарезает, а эта лапа, по всему судя, ещё живая и болезненно сокращается.

Психиатр Ройс — получи он доступ к этой бла-

годатной метафоре, вступи он в её кущи, опознай он её корни, уходившие в фольклор, в детскую культуру, в бред, в сновидения, — может быть, сумел бы, или не сумел бы, понять о Маркусе что-то, чего ещё не понял. И тогда ему, может быть, удалось бы, или б не удалось, предложить, исходя из своего понимания, Маркусу помощь или совет. Маркус же только отметил про себя, что в этот сон замешались медведи. Поразмыслив, он пришёл к выводу: нет в этом сне ничего, чего бы уже он не знал; право, не стоит докладывать психиатру. Медведи — воображаемые, разве в них суть дела?

3
Рождество

В прежние годы семья Поттеров, ядерная её часть, имела обыкновение справлять британский семейный рождественский обряд в некой его ослабленной и бесцельной форме. Сосредоточиваться на вещах, которые мрачновато воспел Диккенс, — определённых обильных кушаньях и напитках, желанных и нежелательных подарках, собрании друзей и родственников — у них недоставало духу. Не существовало и большой родни, с которой бы они общались постоянно; конечно, были родственники-Поттеры, разбросанно обитавшие по Северному Йоркширу, но с тех пор, как родители Билла, закоренелые конгрегационалисты[25], изгнали его за безбожие, связь с теми Поттерами прервалась. Уинифред была единственным ребёнком у своих родителей, те давно умерли. Таким образом, Билл и Уинифред не унаследовали, а сами создали домашних божков — смирных, почти бесплотных. Скромность

[25] Примечания: 25

Конгрегационалистская церковь выросла из движения английских пуритан в период Реформации.

празднования была связана — если рассуждать в диккенсовской традиции — с неопределённостью правил хорошего тона в условиях сословного роста. У них имелись представления о том, как приличествует устраивать рождественский стол, хотя как интеллектуалы они презирали то, чего сами были не чужды как едоки. Отец Дэниела, машинист паровоза, при жизни своей на Рождество напивался, вначале в пивной, а потом ещё и дома; за это время в нём друг друга сменяли — задор, веселье, дремливость и, наконец, грусть-тоска. Билл Поттер выпивал стаканчик хереса и разливал по бокалам шампанское. Соседи не наведывались к ним на огонёк, и они не посещали соседей. К праздничному вождению в пьяном виде они были непричастны, даже более чем обычно замыкались на это время в своём мирке, благо что все магазины были закрыты, единственным занятием оставалось «весёлое времяпрепровождение», да ещё — как часто отмечала Фредерика — бесконечное мытьё посуды.

В еде они были воздержанны; за время войны научились довольствоваться простым, использовать все остатки, а что-то и по нескольку раз. Уинифред не обладала выраженным эстетическим чувством. Подобно тому как она не умела

наряжаться (лишь порой осенял её смутный страх, что какое-нибудь платье или шляпка, которые она готовится надеть, возможно, безвкусны), так и не было у неё понятия о том, как, в каком стиле можно украсить дом, или хотя бы стол, на Рождество. Незадачу с гардеробом она решала с помощью неукоснительной непритязательности и похожим образом — хотя и с гораздо меньшим успехом — подходила к рождественским затеям. Когда дети были малы, в доме делали бумажные цепочки, а также нанизывали на бечеву нарядные картонные крышечки от молочных бутылок и всем этим увешивали зеркала. (Длины их никогда не хватало, чтоб эффектно подвесить под потолком поперёк комнаты.) И ставилась искусственная ёлочка, под которую дети клали в сочельник украшенные носки для подарков. Ни Билл, ни Уинифред не могли себя заставить солгать детям о происхождении этих даров. И дело здесь было даже не в принципиальной правдивости, а в том, что жил в супругах внутренний запрет на выдумку, фантазию. Рассказывать какие-то байки — это казалось им признаком легкомыслия. Фредерика, чья вера в рождественское волшебство оказалась разрушенной в самом раннем возрасте, отыгралась на одноклассницах,

безжалостно лишив и их подобной веры. Впрочем, ни счастья, ни дружбы ей это не прибавило.

В семье не пели на Рождество, так как не умели петь. Не играли в игры, отчасти от незнания игр, отчасти же потому, что все пятеро если и были в чём-то едины, так это во мнении о костях, картах, шарадах как о пустой трате времени. Вскоре после раскрытия подарков они начинали скучать, поглядывали искоса друг на друга и ждали, когда же каникулы закончатся и можно будет вернуться к напряжённым трудам и занятиям, каждому к своим собственным.

Для Стефани этот год отличался от прежних. Церковь, которую она помогла украсить остролистом, омелой, вечной зеленью… Приходские рождественские вечера… И теперь у неё две семьи. Поразмыслив, она попросила мать доставить остальных Поттеров — Билла и Фредерику — на рождественский ужин в коттедж. Благодаря этому семейному сбору, говорила она, создастся, может быть, новый мостик между Маркусом и родителями. Уинифред выразила по этому поводу сомнение; казалось, она уже не уповала, что жизнью можно управлять и даже направлять события в нужную сторону. Стефани также поговорила — в резковатом для себя

тоне — с Маркусом: мол, визит родителей — дело решённое, она рассчитывает на его помощь, на доброе поведение. И в нём как будто бы что-то отозвалось, и, к её радостному, облегчённому удивлению, он вдруг стал, впервые за полгода, участвовать в семейном событии — в приготовлениях к празднику.

Ей хотелось придать дому праздничный вид, в основном ради Дэниела. Она потратила деньги — лишнего! — на можжевеловые веночки, но главное — купила на блесфордском рынке большую настоящую ёлку. Доставили ёлку упелёнатой в рафию, сквозь которую покусывались тёмненькие иголки. Развернув осторожно этот конический кокон, Стефани разгладила и расправила колючие стержни веток, потом, не жалея времени и сил, пристроила дерево в ведро с землёй, для равновесия добавив гири от кухонных весов. Ёлка стояла, дыша отдельной густохвойной жизнью: сине-зелёная, угрюмая, смолистая, лесная. Миссис Ортон, все дни сиднем сидевшая в тесном кресле Дэниела, воззрилась на Стефани, предостерегла, как бы та не причинила себе вреда, — но помощи не предложила. Маркус бледной тенью просквозил мимо, лишь соизволил — по просьбе Стефани — ровно подержать ствол,

покуда Стефани возилась, трамбовала землю, обвязывала страховочной бельевой верёвкой ствол и ветви. Впрочем, заметил тонкоголосо, что запах хвои в доме приятен. Миссис Ортон возразила, что одно беспокойство от этих иголок, «потом их век не вывезешь».

Стефани воображалась эта ёлка увешанной золотыми и серебряными плодами, с ярко горящими свечками. Имея простую поттеровскую натуру, ей хотелось, чтобы и плоды были *простые*, а не покрытые аляповатым узором глазури, не расписанные по трафарету цветочками пуансеттии, символа Рождества. Из игрушек в Блесфорде можно было найти лишь гномов и гномистого же обличья Дедов Морозов да уродливые «под старину» фонарики в виде рождественской звезды. В один прекрасный день ей захотелось попробовать прошить картонные пробки от молочных бутылок золотой и серебряной канителью и, хитро сплетя и разбросив нити, получить лучистые созвездия. Маркус немало поразил её, сказав: почему, мол, тогда не из проволоки? — и ещё сильнее поразил, тут же изготовив из серебристой и золотистой проволоки целую серию звёзд, шестиугольников, каких-то наполовину полых, вдавленных звёздных шаров, сложных

многогранников, — абстрактные эти звёздо-плоды ярко сверкали, вплетая нити света в тёмное хвоистое тканьё.

Она предпочитала Рождество всем другим христианским праздникам, оттого что за ним стояло волшебное предание, славящее рождение, обиходное чудо. Билл, сколько она себя помнила, всегда был привержен антипроповеди. Словно какой-нибудь Давид Штраус или Эрнест Ренан, он истово указывал детям на неосуществимость непорочного зачатия, на хрупкость доказательств того, что вообще были — пастухи, звезда, хлев; можно подумать, что доказуемая историческая истина являлась свободой, которой он желал для своих чад. Возможно, его *правда*, его *свобода* были бы, могли бы стать желанней, будь его ораторский стиль менее устрашающ, сух, предлагай он взамен голосов, астральных и ангельских, какие-то свои краски, свет, теплоту…

Вдруг возникла незадача: Дэниел не велел ей приходить в больницу, где он должен был предстать перед детским отделением в образе Деда Мороза.

— Но я хочу на тебя полюбоваться.

— Не там же.

— Ты стесняешься?

— Моя работа — не для стеснительных. Просто… понимаешь, я думаю, что…

Он не сказал, что думает: ей впору бояться этой больницы. Как он сам боится.

Она, однако, пришла.

Чем дальше от входа в отделение располагалась кровать, тем хуже дела того или иного пациента; в тихом тупиковом конце, с глаз подальше, были так называемые «боксы». Сразу при входе стояла искусственная ёлка из белого гигиеничного материала. Всех детей, которых только можно отпустить на праздник домой, отпустили. Самых тяжёлых на каталках отвезли во временно освободившиеся палаты, где днями раньше находились дети по поводу простых переломов и удаления миндалин. Стефани часто бывала в этом отделении; с постоянными его обитателями знакома.

Два мальчика-подростка, Нил и Саймон, с мышечной дистрофией, без надежды когда-либо обрести подвижность: лежат бок о бок, слегка раскинув ручки-прутики по чистым простыням, обтянутые умненькие лица с открытыми ртами — подвздёрнуты под странным углом среди подушек. Тринадцатилетняя Роза страдает анорексией (вес тридцать два килограмма):

беззащитные глаза закрыты от мира, который она не хочет знать, белые ручки сложены как у монахини, под остреньким подбородком, нет, даже, кажется, на груди. Гарри, выбритый, с раздувшимся черепом, тяжёлыми выкаченными глазами, имеет вид суровый и ужасный, в костях его цветёт смерть. В нижнем подвижном ярусе здешнего населения — переполох, бегут трусцой, заплетающимися ножками, кто-то в больничных халатиках, словно гномы из «Белоснежки», кто-то в собственном праздничном наряде. Чарли, восьми лет, с раком тазобедренного сустава, лихо катит, примостясь полулёжа на шасси детской коляски, гребя руками-ластами: оливковое огромное лицо — у них у всех слишком большие лица — мимолётно, чуть ли не пренебрежительно ухмыльнулось, в тот момент как умело объехал он ноги Стефани (появлению его предшествовало лёгкое зловоние, и следом за ним тоже повис запах гнили, с примесью хлорки). Вот на деревянных колодках, пристёгнутых к культяпкам бёдер, проковылял безногий Майк, чья единственная сморщенная рука длинным конусом сходит на нет. Вот Мэри в прелестном розовом платье, из которого торчат жёлтые ручки-клешни и голова с лицом, сотворённым пластическими хирургами

из присаженных лоскутков кожи, оттенками от желтовато-пергаментного до виноградно-лилового. У Мэри нет ресниц, бровей, губ, волос, лишь развевается над левым ухом одна белокурая прядь, свежевымытая. Мэри больше раза падала в открытый огонь, возможно не без чьей-то злой помощи. Мэри никогда никто не навещал в больнице. Отправляясь же изредка домой, она вскоре поступала обратно с новым шрамом от падения или с мокнущим лоскутком кожи.

Стефани подхватила Мэри на руки — девочке это нравилось — и, усадив на бедро, путешествовала с ней от кровати к кровати. Между Мэри и не рождённым пока ребёнком — защитная оболочка из растянутых мышц, эластичный, герметично запечатанный бочонок с околоплодной жидкостью, в которой покоится, нежится, поворачивается дитя, поводит ещё не вполне сформировавшейся ручкой или ножкой…

За распашными дверями — младенцы после операции по исправлению заячьей губы или же крошечные создания, которым — из-за какого-то сбоя в работе клеток, ДНК, — во время вынашивания не досталось пищевода, или заднего прохода, или раздельных пальчиков, так что теперь это всё восполняют им доктора-мастера. В инкубаторе

лежит младенчик, нагой, золотисто-коричневый, совершенно прекрасный, если не считать того, что обе ножки, сломанные в процессе родов, у него на вытяжке, под колпаком из органического стекла нашлось место для шкивного механизма с грузиками…

Граммофон затрещал, загремел и выдал гимн: «В хлеву под звездою Младенец лежал…» Медсёстры с теми немногочисленными мамами, кому удалось вырваться сюда в канун Рождества, запели неровно и громко. Стефани пела со всеми. Мэри мычала, Чарли, визгливо что-то ворча, пронёсся мимо на своих низких колёсах. Граммофон ещё раз громко засвиристел и заиграл Чайковского. Младшие девочки из Блесфордской балетной школы мисс Мэрилин исполнили «Вальс снежных хлопьев», затем младшие мальчики, меньшим составом, — танец тающих снеговиков, и таяли они, надо сказать, очень убедительно. Из граммофона исторгся «Рудольф, красноносый олень»[26]. Зазвенели незримые колокольцы. *Ребята, кто бы это мог быть?!* — с волнением спросила старшая медсестра. Появился Дэниел на больничной каталке, задрапированной под

[26] Примечания: 26
Американская рождественская песня, написанная в 1949 г.

сани с помощью ярко-красных одеял и нескольких бумажных серебристых скатёрок-дорожек. Каталку влекли санитары, наряженные белыми медведями. Набежали балетные, раздавать пациентам подарки: брали у Деда Мороза, передавали медсёстрам, а те уж — своим подопечным.

Что-то не так с этим Дедом Морозом, подумала его жена. Доктор-гинеколог, которому обычно доверяли эту роль и этот костюм, был постройнее Дэниела. Чёрное пасторское одеяние проглядывало, то в одном месте, то в другом, сквозь раздавшийся красный наряд, словно чёрные уголья сквозь пламя камина. Свой белый собачий ошейник-колоратку Дэниел припрятал, но утрачивал постепенно и клочья белых лохматых бровей, накладных усов, бороды — предательски проступала неуёмная, пружинистая, чёрно-синяя щетина на щеках, подбородке. Он бродил неуклюже по отделению, спрашивая, все ль довольны, всем ли весело, и лишь изредка получая ответ. Сам же был нехорош и невесел. Пытался приветствовать одного-другого ребёнка, из тех, что поздоровее, но дети лишь отшатывались с криком, в испуге. Он тогда и сам отступал от них в сторону безропотно, словно не ждал иного. От жены он держался в стороне.

Большинство игрушек, розданных балетными детьми больничным детям, были плюшевые — розовые, синие, белые — кролики, утки, мишки. Ни один ребёнок, по наблюдениям Стефани, не полюбит случайную плюшевую игрушку, в которую не вложено жизни, особинки. Лучше бы дарили (но не дарят же!), думала Стефани, разные штуки для творчества — металлические конструкторы, пластилин, — даже пусть их легко потерять или ими испачкать больничные простыни. Вот одна в надувной белой пачке снежинка, отвернув прочь лицо, попыталась вручить Стефани, для Мэри, мохнатого медвежонка. Мэри же, уткнувшись лицом в живот Стефани, замычала. Тут же рядом возник Дэниел, в дед-морозовских сапогах, красной шубе, несуразный, но источавший чёрную ярость:

— Оставь этого ребёнка. Себе сделаешь худо.

— Почему? Ей так нравится.

— Мне не нравится.

Он ужасно осклабился на Мэри через свой покосившийся белый кудлатый намордник. Та мгновенно съёжилась, заскулила.

— Вот ведь… — сказал Дэниел. — Пойдём отсюда, Стеф. Наш долг исполнен.

— Да что с тобой такое сегодня?

У него не хватило духу сказать, но он знал прекрасно, в чём дело: ему было бы лучше, сподручнее обойтись здесь без Стефани. Видя, как бесформенная Мэри оседлала беременную Стефани, точно гоблин, он желал, чтобы Стефани с его ребёнком удалились отсюда как можно скорее, чтобы им не стать уязвимой мишенью для непредсказуемых, разрушительных деяний природы. Однако Стефани как ни в чём не бывало, спокойная и здоровая, молвила, что останется ещё ненадолго, поговорить с миссис Мэриотт.

Миссис Мэриотт была средоточьем беды и уныния. Дни и ночи она проводила в боксе, подле кроватки сына. Это был чудесный бледненький мальчик, родившийся с аномалией печени и некоторым повреждением почек. С этим пробовали бороться хирургически, теперь — с помощью особой диеты. Большую часть времени ребёнок находился в глубоком сне. Мать, от природы и так не слишком спокойная, сновала по тесному боксу, переставляя с места на место детскую присыпку, кувшин с водой, перекладывая подгузники. За четыре недели она похудела на двадцать пять килограммов. Увидев Дэниела в его красных доспехах, роняющего белый пух, она тут же затараторила, что боится потерять маленького

Стивена, что страшнее всего надежда, лучше вовсе не надеяться, тогда будет легче; ну а что ещё делать, сидя здесь, продолжала она, как не надеяться, хоть и чувствуешь полную свою беспомощность?.. Дэниел не знал, как на это ответить, не мог собраться с мыслями: сорвал с себя глупую бороду, начал фразу о покорности Божьей воле, но слова застряли в горле. Он понимал, что излучает неверные вещи — волнение, раздражение, ярость, упадок духа, — вскоре миссис Мэриотт начала безнадёжно, лицом зарывшись в гору чистых муслиновых пелёнок, рыдать. Дэниел увидел, что его жена направляется сюда, чтоб утешить безутешную, и замахал руками, и увёл Стефани прочь, оставляя позади плачущую миссис Мэриотт и даже не облегчая свою совесть рассуждением о том, что плакать — для неё благо; разве можно знать об этом наверняка, разве может кто-то влезть в душу другого человека?..

Позже была семейная служба в храме Святого Варфоломея. В неё входило традиционное рождественское представление, которого Стефани ждала, кажется, с радостным нетерпением. Она увлечённо помогала шить костюмы: для Марии изготовила отличное длинное платье из васильковой тафты с небольшим шлейфом, для чего

ловко распорола по швам своё кембриджское бальное платье. Наиболее яркие части платья — пояс и орнаменты — пошли на украшение одеяний трёх волхвов, один из которых имел на голове тюрбан со страусовыми перьями, сделанный из переливчато-синего шёлкового палантина, который был на ней вместе с платьем в день майского бала.

Заиграл орган. Дети вошли в храм полумаршем-полувприскочку, не слишком уверенно попадая в ногу. Один мальчик и одна девочка, постарше, лет двенадцати, стояли за аналоем (девочка сутулилась от смущения) и читали попеременно коротенькие, напоминавшие сказку отрывки из Матфея и Луки. Три волхва с Востока, шедшая перед ними звезда (Матфей), ясли, бык, осёл, пастухи, поющие ангелы (Лука)… Дети-актёры с серьёзным видом, хотя и скованно, совершали мимическое представление этих событий. Белокурая, с лицом «датчанки»[27] Мария восседала торжественно на ступенях алтаря с Иосифом, который был меньше её ростом, облачён в по-

[27] Примечания: 27

«Датчанами» в Англии называли норвежских и датских викингов, совершавших в VIII–IX вв. набеги и установивших в северо-восточной Англии (в том числе в Йоркшире) «датское» правление и область «датского права» (Danelaw).

лосатый банный халат и тюрбан из полотенца, примотанный к голове толстой шерстяной пряжей. Делать ему было особенно нечего, он и сам это знал, лишь взмётывал над веснушчатым лицом время от времени руки, поправляя свой убор. Крошечный хозяин гостиницы подымал плоские недосформированные ладошки, чтобы показать, что в гостинице нет мест. Раздавался — в этом году, как и в любом другом, — оживлённый щебет совсем маленьких гостей и глуховатых бабушек, словно множество скворцов разом уселось на телеграфные провода; неотложные, бесцельные реплики: вон она, наша Джанет! посмотрите только на Рона, какой радостный, важный, забавный, чудесный…

«И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице»[28].

Эта самая существенная часть представления была неловкой из года в год. Вот и сейчас Мария, спиною к скамьям зрителей, попою кверху, покопавшись в старинной деревянной колыбели миссис Элленби, извлекла оттуда свою самую лучшую и большую куклу — целлулоидную, улы-

[28] Примечания: 28
Лк. 2: 7.

бающуюся, с выпяченными губками, с твёрдыми глазами на едином металлическом стержне, которые со щелчком открывались и закрывались, открывались и закрывались, оттого что девочка Мария как-то неуверенно то подымала, то наклоняла куклу-младенца, наконец показала её лицо на миг всем прихожанам и, с какой-то виноватостью, вновь поспешно затолкала в колыбель. Благодаря постоянному, неменяющемуся изгибу целлулоидных конечностей спеленать эту куклу было невозможно, пришлось закутать в чью-то симпатичную крестильную шаль. Овечки, коровы и ослики, в бумажных масках этих животных, привалили гурьбой и встали на колени, придерживая свои уши и рожки. Явились трое миниатюрных волхвов, неся масляную лампу из меди и стекла, высокую серебряную сахарницу с носиком, китайскую лакированную сигаретницу миссис Элленби, и отдали поклон, и, словно немного поколебавшись, преклонили колена. Между тем в нефе собрались гурьбой маленькие пастухи. В проходе возник белокурый мальчик-хорист, чей чистенький голосок ещё только начинал ломаться, в одеянии из простыни, с хитроумно пристроенным нимбом, в сопровождении весьма немногочисленного сон-

ма других ангелов. И на земле мир, в человеках благоволение![29] Родители детей были тронуты — сами не слишком умея разобраться в своём порыве. Тронуты были тем, как их собственная плоть и кровь разыгрывает действо рождения и родительства — с той же смесью неловкости, неведения, серьёзности и подражания, какой отмечены такие же неизбежные игры настоящих матерей и отцов. Сильно трогает душу детскость самих Марии и Иосифа, а не целлулоидный пупс, который всегда словно лишний в этом странном стечении чувств. Родители взволнованы, потому что детство их чад — быстротечно, на глазах исчезает. Ещё, может быть, подсознательно, темно взволнованы они тем, что закон смены плоти и крови таит личную угрозу для них самих. Эти маленькие создания — будущее и играют сейчас свою будущую жизнь. Исчезает не только детство: мужчины и женщины, передав свои гены, также делаются избыточны. Наблюдать за игрою этих актёров — означает мимоходом оказаться меж двух времён, между двух ролей. Мария взглядывает с заботой на куклу, и мать смотрит, с заботой, волнением, на детское тело Марии, на

[29] Примечания: 29
Лк. 2: 14.

нежное её личико. А время бежит.

На амвоне появился Ирод — как всегда, самый лучший актёр, — притопнул ножкой, тряхнул деспотически локоном и, поправив бумажную корону, отрядил через алтарную часть храма своё символическое воинство. Избиение младенцев совершилось за сценой. Большой мальчик стал читать с аналоя про слёзы Рахили: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет[30].

В прошлые годы Стефани радовалась этой сказочной бывальщине; в этом же году, из-за собственной тяжести, из-за страха настоящих родов, — радости не получилось.

В приходском флигеле устроено было прекрасное чаепитие с «рождественским поленом», покрытым глазурью, — миссис Элленби проявила себя кондитерской мастерицей. Подобно добрым детям, которые сами не получают подарков, зато дарят другим, они красиво упаковали множество пожертвованных (подержанных) машинок и паровозиков, мягких игрушек — для отправки в благотворительную организацию «Доктор Барнардо». Дэниел стал рассказывать

---

[30] Примечания: 30
Мф. 2: 18.

собравшимся: давным-давно, в эту же пору, Бог так возлюбил мир, что послал своего единственного Сына, чтобы дать миру жизнь; этот Сын рождён был как человек, чтобы Бог мог прожить жизнь людей и люди через Сына Божия могли бы к Богу приблизиться. Следовательно, жизнь Бога и жизнь людей — едины, заключил Дэниел[31]. Стефани подумала, что, наверное, сумела бы объяснить всё это лучше, не потому, что верила хотя бы чуточку, а просто благодаря педагогическим способностям.

Что же делает мир столь живым?.. Сам ли Дэниел, с беспокойством его и нетерпением? Ломкая ли нотка в голосе мальчика-ангела? Её собственный грузный живой живот. Тёмные деревья. Чарли, Гарри, Мэри. Тот, кто агнца сотворил, не тебя ли в мир пустил?[32] — спросило её тёмное подсознание, и на миг ей никто и ничто стало в мире не мило. Потом, улыбаясь как положено, она стала разливать молоко по чашкам, угощать всех шоколадными глазированными конфетками йоркской фабрики, разноцветными, похожими на волшебные бобы.

---

[31] Примечания: 31
Толкование на Ин. 3: 16.

[32] Примечания: 32
«Did he who made the Lamb make thee?» (У. Блейк «Тигр»).

Настроение враждебной отчуждённости продолжилось в ней и на протяжении всенощной, несмотря на присутствие старых друзей, мисс Уэллс и четы Тоунов. Миссис Тоун пела громко и отчётливо те йоркширские гимны, которые так по сердцу йоркширцам. Здешние жители воспевают Мессию не упоённо и страстно-витиевато, как валлийцы, а трезво, зычно и увесисто, выделяя ритмические доли. Люди и пришли в храм отчасти ради пения. Они исполнили мрачноватый гимн «Приди, приди, Эммануил». Потом уже свои, старинные местные — «Проснитесь во Христе» и «Придите, возрадуйтесь». Их пение соединяло в себе трезвую мощь и благоприличие с абсолютной самозабвенностью — этот музыкальный шум всегда повергал Стефани в смятение, ей мерещилось в нём коллективное подавление личности, а также опасная неизрасходованная энергия. Они стояли в храме тёмными рядами, неподвижные, при шляпах. Как же отвратительны англичане, уже не впервые подумалось Стефани. Преобладали физиономии средних лет, одутловатые, нездорово-бледные, с сизоватым, пеплистым оттенком. Эти лица не говорили о здоровом физическом труде на свежем воздухе. Это были трудные лица, запечатанные застарелой

терпеливостью, осторожностью, подозрительностью. Но при этом не выражавшие страдания. Лица людей, которых больше всего на свете заботило, что другие думают об их поведении, собственности, общественном положении и что они сами думают о поведении, собственности, общественном положении — других. По сравнению со своими родителями они были куда менее уверены во всех этих вещах. Они представляли собой поколение, которому пришлось расхрабриться, а теперь оно не знает, как вновь успокоиться, присмиреть. Знакомые воинственные строки мелькнули в голове у Стефани: «Зрите, христиане: по земле святой — мадианитяне хищною толпой»[33]. Одежда этих людей — неизящна, неказиста, славит лишь добротность и прочность

---

[33] Примечания: 33

Начало известного религиозного гимна викторианских времён, перев. Дж. М. Нила (1862) текста святого Андрея Критского (700), по смыслу восходящего к гл. 6–7 Книги Судей Израилевых (деяния Гедеона, победившего мадианитян):

Зрите, христиане:
По земле святой —
Мадианитяне
Хищною толпой.
Христиане, встаньте
И сразите их,
В битве не жалейте
Сил креста святых.

ткани, это броня какая-то; скучная, бордовая, зелёная толпа оттенков, с редкими всплесками ярко-синего. Стефани подумала о призыве Д. Г. Лоуренса мужчинам носить обтягивающие яркие брюки, наподобие лосин[34]: большинство здешних бесформенных персон в таком наряде явно бы проиграло. Куда уж им сидеть под красивыми итальянскими деревьями среди красивых итальянских крестьян (как сиживал Лоуренс) или дерзко поносить английских шахтёров и добропорядочных матрон. Уместнее вспомнить страницы «Мельницы на Флоссе»[35], этого беспощадного очерка английской религиозности, помещающего истинный центр религиозного чувства в лары и пенаты, в густое средоточие вещей и общественных сущностей: кто ты та-

[34] Примечания: 34

Имеются в виду слова героя «Любовника леди Чаттерли», егеря Оливера Меллорса (гл. 13, знаменитая сцена в сторожке во время ливня-потопа). Оливер обличает современную бездушную и неестественную цивилизацию, заставляющую людей работать ради денег, лишающую их жизненной силы и радости, и ругает тивершолльских шахтёров за то, что они «променяли досуг на каторжный труд», разучились красиво двигаться, обходиться с женщинами. «И я бы одел их в совсем другие одежды: ярко-красные штаны в обтяжку и узкие, короткие белые камзолы. Человек, у которого стройные, обтянутые красным ноги, через месяц станет другим. Он снова станет мужчиной, настоящим мужчиной. Женщины пусть одеваются как хотят. Потому что — вообрази себе: все мужчины щеголяют в белых камзолах, алые панталоны обтягивают красивые бедра и стройные ноги. Какая женщина не задумается тут о своей привлекательности? И опять они станут прекрасным полом. А что сейчас? Мужчины-то почти выродились»

(перев. М. Д. Литвиновой).

Заметим, точности ради, что Стефани вспоминает эти строки Лоуренса в 1953 г., а первый, частно изданный в 1928 г., тираж романа был, как известно, конфискован и уничтожен (полный, бескупюрный вариант увидел свет лишь в 1960 г.). Впрочем, были в ходу сокращённые и подвергнутые цензурной обработке издания.

[35] Примечания: 35

Роман Джордж Элиот (1860).

ков, в каких отношениях состоишь с людьми и вещами, с узорчатой дамастной тканью, с рельефным фарфором; по какой одёжке как тебе протягивать ножки; какую коллекцию шляпок собирать, не для ношенья, а для поклонения. Всё это имело — в понимании Джордж Элиот — мало или скорее ничего общего с теми заветами, которые Христос оставил своим последователям, и уж, разумеется, — совершенно ничего общего с Вочеловечением, которое восславлялось в храме сейчас, вот в эту минуту. Прихожане затянули «Народился Божий Сын…», меж тем как Дэниел у задрапированного белым алтаря, накрытого любовно вышитой белой алтарной скатертью, вместе с мистером Элленби стоял над хлебом и вином. Джордж Элиот, подумала Стефани, умела ненавидеть. Элиот долго и умно всматривалась в *ненавидимое*, ей любопытно было в точности познать его сущность, она умела, притом в необходимой степени, отстраниться, чтобы *вообразить* предмет ненависти изнутри и снаружи, и эти два разных образа питали особое знание, которое было не чем иным, как любовью. Джордж Элиот любила шляпки и рельефный фарфор, ибо знала их отменно, и положить их чернилами на бумагу — не значило ли обрести

над ними власть, нежно и щедро распорядиться их смыслом? Стефани попыталась соотнести эту свою новую занятную мысль — о *вещественной* подкладке религиозной добродетели тётушек Додсон из романа Элиот! — с поучениями матери Дэниела о том, как готовить рождественский пудинг, — но ничего из подобной попытки у неё не получилось…

Стефани надеялась, что семейный рождественский ужин сумеет каким-то образом восстановить, хотя бы отчасти, хрупкую ткань приличий и воспитанного поведения, повреждённую вспышками отца и всей сложной историей с братом. Миссис Ортон, каким бы странным это ни казалось, являлась той наблюдательницей, чьё присутствие, возможно, придаст членам семьи вежливости, помешает вспыхнуть отцовской ярости *прилюдно*.

В прежние времена рассчитывать на подобное было нельзя: Билл, словно получая от этого удовольствие, нарушал обычные ожидания окружающих, вспыливал по поводу и без повода — обожал «поднимать бучу», как сказала бы миссис Ортон. Стефани с содроганием вспомнила его эскапады в день свадьбы. Однако «тираны», повергающие своими выходками окружающих

в ужас, сами немало страшатся и смущаются тех, кто от жестокости или отчаяния, вольно или невольно способны сильнее их накалить обстановку. Маркус, сам того не желая, привёл Билла в смятение — причинил ему боль, судя по всему превосходящую действие любых проказ самого Билла. Сколько Стефани могла понять сама, а также из рассказов Фредерики, Билл, по крайней мере на какое-то время, изрядно скис. И всё же она не могла представить, что из простого и очевидного расположения к ней Билл захочет укротить свои порывы. Одно она знала наверняка: ему вообще не по душе Дэниел, её замужество.

Она задалась целью принять гостей по хорошему разряду. Приготовила к индейке камберлендский соус в плошечках, полупрозрачный, ярко-красный, с чудесными тонкими золотистыми полосками шкурки апельсина и лимона. Не пожалев времени, очистила отваренные каштаны и равномерно поместила среди традиционной брюссельской капусты. Натёрла на тёрке заранее запасённый чёрствый хлеб, перемешала со специями и добавила бульон, приготовив таким образом начинку для индейки. Устроила на блюдцах небольшие холмики

орехов, изюма, мандаринов. Разложила на столе яркие алые салфетки. Разожгла добрый дровяной огонь в камине. Винные бокалы на столе были из хрусталя. Хрусталь Стефани не любила: она принадлежала к поколению, открывшему простую, гладкую, функциональную посуду, финскую, или фирмы «Дартингтон». Но полоски света чудесно играли на резных хрустальных цветах и славно, ярко объединялись в одно зыбкое, подвижное целое с круглыми мандаринами на блюдцах, расставленных двумя треугольниками, с крестом, выложенным из оранжевых полосок апельсиновой кожи, с серебристыми-золотистыми многогранниками Маркуса на ёлке, с самим зыблющимся светом пламени в очаге.

Как только они пришли, она поняла, что Билл не собирается «поднимать бучу». Она открыла им дверь, раскрасневшаяся, запыхавшаяся от работы с индейкой, которую она начинила и теперь зашивала крупными стежками; мясницкий фартук с трудом прикрывал её раздувшееся квакерски-серое платье. Билл стоял на пороге между Уинифред и Фредерикой и казался настолько незначительнее своих высоких спутниц, что Стефани даже почудилось, будто он уменьшился в размерах. В руках у него было несколько свёртков

и коробка с бутылками. «Мой вклад!» — проговорил он тревожно и взволнованно, обращаясь к дочери, а та всё никак не могла дотянуться, чтобы чмокнуть его в щёку, — мешали свёртки у него в руках и собственный её живот. Когда она попыталась взять у него подарки, он тут же призвал, с оттенком былой властной раздражительности, Фредерику: «Ну-ка, помогай живо!» Поттеры втиснулись в дверь и мужественно ждали встречи с Маркусом, но увидали мать Дэниела, всем телом и всеми одеждами глубоко угнездившуюся в кресле; складки подбородка у неё смыкались со складками шеи. Маркуса пока не было. Гости уселись на стулья, довольно тесным полукружком, как того требовало изящество маленького пространства. Стефани предложила всем хереса. Раздался голос:

— Вы уж меня простите, что я не встаю. По правде сказать, мне и не подняться без помощи. Я как утром засяду в это кресло, так и застряну в нём, покуда кто-нибудь руку не подаст, не выдернет меня, значит. А им это, судя по всему, трудно, правда, милочка?

— Ну почему же, мне вполне по силам! — слишком даже жизнерадостно отозвалась Стефани.

— Как поживаете, миссис Поттер? Держитесь,

несмотря на невзгоды? Я всегда говорю, главное ведь в нашем возрасте — здоровье сохранить…

Уинифред ответила, что дела у неё неплохо, и осмотрела Стефани, сидевшую рядом с дверью на кухню. Стефани, кажется, выглядит не слишком хорошо. Всё тело раздалось вширь. Блеск сошёл с её рыжевато-белокурых волос, лицо заострилось, щёки, впрочем, слишком сильно румянятся. Вокруг островатого носа залегли резкие чёрточки, глаза обвело тёмно-синей тенью. Губы совсем бескровны.

— Как дела?.. — осторожно спросила она у дочери.

— О, лучше некуда, — отвечала миссис Ортон. — Нынешние-то молодые хоть куда. Вот помню, когда я носила Дэна, я целыми днями не могла подняться с постели, щиколки у меня раздуло да ещё приступы головокружения, знаете ли. Это были не шуточки. А она, я смотрю, гоняет на велосипеде как оглашенная. Ты не сделала б себе беды, я ей говорю, а она разве ж меня слушает? Не было ещё дня, чтоб она куда-нибудь за тридевять земель на нём, на велосипеде этом, не отправилась. О прошлой неделе раз было дело, нам пришлось самим себе обед сооружать. Нам — это мне да вот вашему молодчику, парень-то он

умный, всё видит, всё слышит, только сказать не умеет… сидит там у себя наверху в опочивальне… Я давай его кричать, звать, чтоб вызволил меня из кресла. А то б нам так и сидеть без крошки и без маковой росинки с рассвета и до заката. Ну, он спустился да и сделал гренки по-валлийски с сыром, пришлось его, конечно, поупрашивать… Вообще, должна я вам заметить, не так он непутёв, как кажется…

Несколько времени Поттеры не могли вымолвить ни слова. К счастью, в этот момент, продолжая напевать под нос, явился с утренней службы Дэниел и спас положение. Он тут же по-пасторски оглушительно поздравил всех с Рождеством и прошёлся по гостиной, так что в ней сразу сделалось тесно. Дэниел отметил мгновенно, что Маркуса нет, и отправился за ним наверх. И вот уже бледный подросток стоял на нижней ступеньке лестницы. Билл поднялся со стула (не обращая внимания на громкий шёпот миссис Ортон: «Ни за что, сударь, не вставайте!»), сделал пару шагов навстречу сыну и церемонно протянул руку. Маркус, с некоторой неуклюжестью, но, впрочем, добросовестно, подержал руку Билла в своей руке, затем поворотился к матери и, подойдя, без жара коснулся щекой её

щеки. В голове у Стефани мелькнул образ огромной прорехи, в парусине или другом подобном материале, зашиваемой поспешно, крупными, неловкими, заметными стежками, но зашиваемой. Дальше полагалось вручать друг другу подарки, что она и предложила.

Подарки оказались на удивление однообразны. Маркус получил несколько безымянных рубашек и носков. Дэниел — тоже некие предметы одежды, часть которых он сможет носить, а часть нет, — носки, шарф, галстук, причём всё это было не чёрного цвета, а как будто нарочно предназначенное к тому, чтобы распотешить. Стефани достались различные кухонные штуки и постельное бельё, ни единой книжки; а вот Фредерике — книжки сплошь, включая талончик от миссис Ортон на получение книжки в магазине. Биллу подарили книги, табак, от Маркуса ему был книжный талон с изображением «Переписи в Вифлееме» Брейгеля, Билл несколько раз талон перевернул, словно на обороте ожидал увидеть какие-то особые слова, но там было лишь дежурное, по пунктиру аккуратно написанное «Счастливого Рождества! Маркус». Стефани удалилась на кухню, готовиться к подаче на стол главного блюда. Дэниел умело, хотя и слишком

явно, перевёл воспоминание миссис Ортон о том, как она некогда запекала на Рождество свиную корейку, в воспоминания всех собравшихся о прежних праздниках. Повспоминали о том, как довольствовались малым на рождественском столе во время войны. Поговорили о недавно возникших индюшачьих фермах. Билл попросил у хозяев штопор и открыл принесённые им бутылки бужоле. Одна бессмысленная фраза за другой растворялись в воздухе, но каким-то чудом удерживали праздничный сход вместе.

На кухне в это время Стефани сражалась с индейкой, которая источала жир и скользко ворочалась на блюде. Лицо Стефани от жары и от усилий покрылось бисеринками пота. Но более всего она страдала от своего воображения, от непомерного груза его точности. Во всех членах семьи, собравшихся в гостиной, у каждого из них, в душе жила своя форма ярости, раздражения на предписанные нормы поведения. В первую очередь это, конечно, относилось к Биллу. Если уж медики вынесли заключение о том, что отец неблагоприятно воздействует на психику сына, то при их встрече после перерыва неминуемо должна присутствовать неловкость, трёпка нервов. С другой стороны, существует ведь и бес-

конечная английская способность сглаживать тяжёлые события, не видеть дурного, притворяться, что всё ладно. Нельзя сказать, чтобы Билл в последнее время совсем не выказывал умения не замечать неприятную правду, особенно в части, касавшейся Маркуса.

Была ещё и Уинифред, которая долгое время пыталась передать сыну собственный опыт пассивного сопротивления вспышкам Билла, но в итоге лишь — как, наверное, ей теперь самой кажется! — предала его маньяку-мужеложцу, религиозному соблазнителю. Однажды она призналась Стефани (а Стефани она доверяла, хотя в принципе неохотно делала дочерей конфидентками), что чувствует страшное физическое отвращение, вплоть до наваждения, к Лукасу Симмонсу и к тому, что он мог делать с её сыном, — что́ именно, не уточняла. «Это тошнотворно, тошнотворно! — сказала она, содрогнувшись. — Меня вырвало, *по-настоящему*». Стефани могла только догадываться, не распространяется ли это отвращение также и на самого Маркуса. Маркус целые области мира считал для себя неприкасаемыми; Уинифред с трудом заставляла себя соприкоснуться с определёнными вещами.

Что касается Фредерики, Стефани чувствовала: Фредерика относится ко всему происходящему терпимо, но с некоторым сторонним нахальством, зная, что скоро уедет…

Миссис Ортон желала, чтоб её замечали, желала понравиться, но достигала противоположной цели…

И наконец, был Дэниел, который недоволен, может быть, даже сердит, а вот почему, Стефани невдомёк. Слышно, как он по-священнически бодрячествует, выставляя в глупом виде и себя, и свой сан. Это верный знак того, что на душе у него неладно…

В себе же Стефани чувствовала ту особенную ярость, какую испытывает всякая хозяйка, когда еда готова, а гостей за стол никак не засадить. И вместе она чувствовала в себе раздражительность, плаксивость; кажется, никому до неё по-настоящему нет дела. Она внесла в гостиную брюссельскую капусту, отварные картофелины и улыбалась, улыбалась во все стороны, как положено.

И начался праздничный ужин. Рты сделались заняты едой, а не разговорами. Дэниел резал ломтиками пухлую индюшачью грудь, вытаскивал жилы из отрезанных ног, добывал для

всех начинку длинной ложкой. Маркус вызвал небольшой переполох, отказавшись от мяса. Он ничего не сказал, лишь посмотрел, и стало ясно: от вида мяса его воротит. Мягкая Стефани на миг страшно рассердилась, оттого что небрегут её вкусной подливкой, работой по зашиванию индейки, всеми поварскими стараниями. Миссис Ортон сочла за долг выговорить Маркусу (наблюдая, как тот без аппетита ковыряет маленькую кучку брюссельских кочанчиков и каштанов): «Не оттого ли ты, дружочек, такой худой да болезный, что в еде очень уж переборлив?» Фредерика пришла на выручку, заявив: «А что, каштаны — отличный источник белка» — и наложила себе ещё одну порцию.

Гости разгорячились, раскраснелись, лица рассиялись, залоснились… Когда миссис Ортон предложила всем послушать по телевизору рождественское обращение её величества, единственный протест, на который оказался способен Билл, был достать из принесённого «погребка» и откупорить бутылочку бренди. После чего Билл свернул сигаретку из подарочного табака, откинулся на спинку стула и открыл одну из подаренных ему книг, время от времени, впрочем, украдкой поглядывая на сына. Который присут-

ствовал, сидел на своём стуле, но с закрытыми глазами на лишённом всякого выражения лице… Ладно, подумала Стефани позднее, это не больше и не меньше того, на что можно было рассчитывать: уместная и разумная встреча близких людей, которые, возможно, не стали бы встречаться охотно, по доброй воле. Тем не менее от первого бокала хереса до мгновенного голубого пламени, облизнувшего пудинг, вечер прошёл — по её меркам — вполне *цивилизованно*. Вели себя хорошо.

Дэниел не был доволен, не был счастлив. Стефани не могла понять этого его несчастья: как ни преуспела она в улавливании его отношения к церковным старостам, рубашечным перламутровым пуговицам, яростным вспышкам Билла, ленивому природному снобизму четы Элленби, она не способна была понять, как он воспринимает эмоционально в тот или иной момент её саму или себя вместе с ней. С обидой, даже какой-то заносчивостью она думала, что он не в состоянии вообразить всю её физическую битву с индейкой, её гнев — и стыд от собственного гнева — на Маркуса, с его вегетарианской причудой. Однако в действительности Дэниел как раз-то и представлял всё это вполне живо и, конечно,

почувствовал её радость и облегчение оттого, что разговоры о том о сём, а после и застолье шли своим чередом. Он знал не понаслышке, как преуспели англичане в искусстве «не разговаривать друг с другом». У него в приходе была не одна супружеская пара, взявшая за правило годами общаться между собой записками или через соседей. Но помимо таких супругов, были ведь ещё единоутробные братья или сёстры, родители и дети, которые заморозили своё словесное общение навсегда, кто из страха или мести, а кто от безнадёжности или просто из мелкого закостенелого упрямства. Он знал, каково это для Маркуса — оставаться в гостиной, терпя на протяжении трёх часов кряду дежурнейшие, ни капли не занятные рассуждения отца.

Но Дэниел не был радостен. Он думал о том, как желал заполучить Стефани. Заполучить её одну, а не целый её дом. И право ж, не стоило дарить ей сегодня эту прекрасную, эту дивную ночную рубашку, кремовую, с изящными сборками: он видел, какой завистливый взгляд бросила она на книжки Фредерики; понял он теперь и то, что лишь наполовину почувствовал давеча — при сцене любования телеграммами: в Стефани живёт ощущение утраты, поражения. А он и сам

невесть какой победитель: один в своём мрачном стоянии, один в своей работе в безымянных домах и гостиных.

Он ещё раз оценил всех присутствующих, включая себя. Три разные группы людей. Бледные, словно готовые иссякнуть из глаз, из памяти Поттеры: Уинифред, Стефани, Маркус. Огненные Поттеры: Билл с Фредерикой; нынче их переговорила мать самого Дэниела, но им по плечу бесконечно метать эгоцентричные речи-стрелы — параболы, сравнения. И наконец, он сам и его мать, увесистые создания из плоти и крови. Мать, разумеется, ужасная, зловредная надоеда. И обжора. Все сегодня видели, как она метёт всё подряд со стола, и бледные, никаковские птички-Поттеры, и огненно-речистые Поттеры, и отдельный в деле еды, щепетильный Маркус, который теребит, ломает вилкой зелёные шарики, чтоб их отвергнуть. А его, Дэниела, ребёнок, который ещё только должен родиться, уже отягощён грузом всех этих людей. Если не суждено ему родиться больничной Мэри, то уж суждено наверняка, генетически, походить на миссис Ортон, или на Маркуса, или на эту ужасную Фредерику. Ведь он плоть от их плоти, кровь от их крови.

Насторожённо, почти суеверно смотрел он

на матерей за столом. Собственная его мать, в приторном настроении, плела какую-то небывальщину про его детство (а в действительности только и было, что он день за днём, как проголодается, без лишних слов наворачивал сардины вилкой из консервной банки, а она спала с утра до вечера). Уинифред, истончившаяся, расточившаяся от самоуничтожения своей жизни, от многолетнего подчинения своего «я» этим прожорливым бледным или огненным сущностям. Стефани, двойная, сама в себе заключённая, как яйцо, настолько ненарушимая, что ни Чарли не устрашит её, ни Мэри не поколеблет её спокойной уверенности… Что же получится из этого ребёнка, его ребёнка, мальчика или девочки? Он вдруг почувствовал, что матери, вообще все члены семьи — таят угрозу (как раньше, в больнице, ощущал угрозу от больничных детей).

Он шепнул Стефани расслабиться, посидеть спокойно, а сам отправился на кухню, поразмыслить в одиночестве, а заодно с пользой — помыть посуду. Однако одному пришлось быть недолго, на помощь явилась Фредерика. Вот уж кого ему меньше всего хотелось видеть, тем более что и быстрое вытирание тарелок не относилось к её способностям. Получив в руки полотенце, Фре-

дерика первым делом обмахнулась им от жары. Потом сказала:

— Ну что, вроде нормально прошло?

— Ага.

— Тут всё же попрохладнее, хоть какой-то воздух есть. Не могу находиться среди засыпающей публики.

Ему и самому, если честно, надоело сидеть за столом, клевать носом. Хотя, сказал он уже вслух, воздуха что в гостиной, что в кухне мало, с самого рассвета печёт плита. Протянул Фредерике чистую мокрую тарелку.

— Правильно, мне надо тренироваться. Я ведь уезжаю через неделю-другую. Буду помощницей. Во французской семье. Ну и заодно *gouvernante*. Зато смогу *parler Français*.

— Что ж, неплохо.

— Я думала, правильно ли мне оставить маму одну. Она в угнетённом состоянии. Но она не видит во мне пользы. Все невзгоды поверяет Стефани. Я сбоку припёка. Может, оно и к лучшему. Пора мне отсюда двигать, верно?

— Очень может быть.

— Ты меня не очень-то жалуешь. До меня это только недавно дошло. Я всё решала, нравишься ли ты мне. Поняла, что да. Но вижу, что без вза-

имности.

Дэниел вручил ей ещё одну тарелку и ответил:

— Не в моих правилах много раздумывать, что нравится, а что нет.

— Знаю. Но раздумывать и не обязательно. Оно ведь само проявляется. Я надеюсь, что тебе понравлюсь, постепенно. Мы же теперь, можно сказать, родственники на всю оставшуюся жизнь… Эх, лучше не надо каждый раз устраивать это семейное Рождество. Я мечтаю проводить время с людьми, которых *сама выберу*. А ты не боишься потерпеть поражение?

— Чего-чего?

— Ну… я смотрю… ты прёшь вперёд как бульдозер — как я. Ты не боишься, что на самом деле ты из другой категории людей… людей, которые останавливаются, оглядываются и страдают?

— Все так делают.

— Нет. Некоторые люди не знают *поражения*. А некоторые — пораженцы. Посмотри на людей за столом. Ты — не такой.

— Разве? — переспросил Дэниел, передавая очередную тарелку, и тут же пожалел о вырвавшемся слове.

— Выходит, Дэниел, ты тоже чувствуешь, как тебя… пригнетает?

— Ничего такого особенного. Это неизбежно. И сладить с этим нетрудно. Ты просто молодая, излишне драматично воспринимаешь.

— Тоже мне мудрец, сколько тебе самому лет-то?

Дэниел засмеялся. Ему было двадцать четыре.

— И знаешь ещё что, лучше убери Маркуса из своего дома, — прибавила Фредерика, лязгнув пучком вилок и ложек.

— Зачем, он же никому не мешает.

— Ты уверен? Мне так не показалось. Он поглощает энергию. Как автомобильный амортизатор… ну или как там его… антивещество.

С этим Дэниел в душе был согласен, поэтому вынужденно промолчал. Фредерика изучающе смотрела, как Дэниел отскребает, отмывает противни. Его торс и живот нависают над раковиной, рукава рубашки закатаны, виднеются чёрные волосатые руки; густая грива чёрных волос от усилий взъерошилась. Большой мужчина на маленькой кухне, в невыгодном ракурсе, вид полусзади. Жаль, так и не подружились. А впрочем, не столь важно. Её сердце уже полно предвкушением будущего, это какое-то яркое, бескрайнее, залитое солнцем пространство, которое она пролетает, рассекает проворно трассами своих

собственных, сияющих дорог. Отныне в жизни Фредерики Поттер останется совсем немного места для этой кучки людей, не слишком милых, но своих, сгрудившихся на стульях в тесной гостиной. Для Дэниела оно может быть и хорошо: смысл его жизни так или иначе вертится вокруг внутреннего преобразования, всех этих преображений, трансфигураций, консекраций, ему всё это ведомо и на простом языке, и на мудрёном. А ей оно незачем. Она уронила и разбила один из фужеров, подаренных на свадьбу Стефани. Дэниел замёл осколки.

4
Юг

Отправляясь в Ним, Фредерика не имела настоящего понятия о том, что такое юг. Знала, что Ним — провинциальный город, и была этим несколько разочарована, «провинциальность» воображалась ею в духе английских романов девятнадцатого века, и совсем не в роде римской *провинции*, Прованса. Как и всё её поколение тяготея к городам, она думала о Париже, ярких огнях. Из Парижа у неё было заказано отдельное купе — не из-за расстояния («Хотя путь на юг, наверное, долгий»), а из-за времени суток («Не сидеть же всю ночь перед окошком!»). Когда она садилась в свой спальный вагон, у неё состоялись прения с проводником, весьма приятные, на чистом французском: можно было пощеголять сюбжонктивом и условным наклонением и в нужный момент, в ответ на отрицательный вопрос, ввернуть правильную форму «да» (*si* вместо *oui*). Однако в споре победить не удалось: на её английском билете проводник упорно читал 7 как французскую цифру 1. Фредерика

попыталась объяснить: во Франции 7 пишется с поперечным хвостиком, но в агентстве Томаса Кука (что в Калверли, в Северном Йоркшире) об этом не знают. Проводник молвил: в купе номер 1 уже раздевается некий пассажир. На вопрос по поводу купе numéro sept проводник ничего не сказал, зато разрешил постоять у окошка в проходе, а вагон уже плавно побежал вдоль перрона. Замелькал — под лязг вагонных сцеплений, сквозь узловатые сети проводов — Париж, с его чужестранными, в воздухе висящими сотами крошечных светящихся оконец. Какой-то невысокий человечек, по-компанейски прислонясь локтем к её локтю на перилах вагонного окна, услужливо предложил ей французскую сигарету «Голуаз». Верная своему обыкновению не отказываться от подарков, она взяла сигарету и, всё ещё ликуя от звуков своего французского голоса, что французы её понимают, отвечают ей, — сообщила попутчику, что направляется в Ним погостить в одной семье. Наверное, она с радостью рассказала бы ему гораздо больше, всякое-разное и даже не совсем подобающее, лишь бы слышать, как известное ей, старое, перевыражается в словах нового языка. Ей очень повезло, сказал попутчик,

она увидит юг весной, а уж как пахнет маккия![36] Тут воображение Фредерики впервые по-настоящему встрепенулось о юге. Сам-то он едет в Сен-Рафаэль, продолжал попутчик: путешествуем, продаём ликёры, в основном гостиницам. Готов предложить мадемуазель отведать «Куантро», «Гран-Марнье», шартрез, если у мадемуазель негде приклонить голову в этом вагоне.

Фредерика ответила живо, что это славная мысль. Хотя и видела — собеседник слишком волнуется о том, как разрешится предложенная им увертюра. Подобное волнение — отталкивает, а не привлекает, Фредерику не тянуло оказаться запертой на ночь в купе с этим *беспокойным* человеком. С другой стороны, не хотелось до рассвета стоять в проходе, нанизывая французские слова. Вернулся проводник и объявил, что по счастливому стечению обстоятельств у него имеется свободное купе, пассажир почему-то не явился. Он впустил Фредерику в купе и стоял за порожком, возможно ожидая чаевых, но Фредерике благодарить его было не с руки, в её распоряжении имелись лишь крупные купюры.

---

[36] Примечания: 36

Заросли вечнозелёных жестколистных и колючих кустарников и невысоких деревьев (дикая фисташка, мирт, земляничное дерево, можжевельники, дикая маслина, ладанники и др.).

В результате она с некоторой поспешностью затворила дверь, оставив снаружи и проводника, и разъезжего торговца ликёрами. Одиночество купе просто восхитительно, разъезжий торговец тут же был благополучно забыт.

Частично раздевшись, она зашлёпала по твёрдому, убегающему полу — в чулках, поясе для чулок, комбинации и лифчике. Поизучала кольца-вешалки для полотенец, раковину умывальника под крышкой, оплетённую бутыль с водой. Попыталась что-то разглядеть сквозь смотровое отверстие в опущенной шторе, когда станция с грохотом миновала так быстро, что ни названия не прочесть, ни разобрать узоров чугунных парапетов. Чёрные массы кустов, или каких-то камышовых зарослей, или осок мгновенно, под вой припустившего локомотива, вытянулись неразличимо и продолговато. Ей всё это очень нравилось! Нравилось находиться одной в этой тёплой, освещённой коробочке, а тёмный мир пусть стремится себе мимо. Она свернулась на кушетке, полюбовалась своими длинными ногами, подумала о *влечении* (разумеется, не к торговцу ликёрами), почитала немножко «Мадам Бовари», немножко «Цветы зла» Бодлера, а потом вдруг проглотила целиком роман Марджери

Шарп[37], который, повинуясь безотчётному порыву, купила на вокзале в Лионе… За окошком стал заниматься рассвет, и она подняла штору. Перед ней на необозримом, бледно-лимонно-сером пространстве — ряды каких-то странных древесных созданий, грубых и сильных, но почему-то с плоско, ровно срезанными макушками. Ряды эти не проносились мимо, потому что не имели конца, стояли бесконечными ровными шпалерами. Она даже не сразу и поняла… Лоза в её представлении вилась по решёткам, свешивалась по беседкам, карабкалась вверх. Эти же виноградники, узловатые, корявые, точно корни, принадлежали самой земле, которая, покуда ещё холодная, вот-вот должна была прямо на глазах нагреться от неистово яркого солнца, готового выглянуть из-за горизонта.

Она стала одеваться; наряд был продуманным. Приталенный зелёный твидовый пиджак, в ёлочку. Юбка-тюльпан. Туфли-лодочки на каблуке, очень простые. Бархатная шляпка с вуалеткой (ещё дома укоротила ножницами). Немного загадочный вид имело лицо: стрелки, наведённые карандашиком, смазались, то ли от постоянного

[37] Примечания: 37

Марджери Шарп (1905–1991) — известная английская писательница, автор 25 романов для взрослых и 14 для детей.

качанья вагона, то ли ещё отчего. Она полагала, что можно одеваться дёшево и *изящно*, если создать скупую благородную линию. Иногда это ей удавалось, иногда же вид получался как у особы лёгкого поведения или же, напротив, слишком постно-унылый. В это утро, спускаясь боком по стальной лесенке — в юбке-тюльпан, на пятисантиметровых каблуках — в песчано-жёлтый Ним, она соединяла в себе, пожалуй, все три впечатления.

Семья Гримо в своём письме сообщила, что встретят её на синем «корвете». О семье она начала думать только сейчас, до сих пор они были лишь средством для достижения заветной цели, побега Фредерики Поттер из Блесфорда и Йоркшира. На другом конце перрона появился крупный мужчина с мальчиком. Фредерика заковыляла к ним на каблуках, волоча за собой тяжёлый чемодан. Встречавшие представились: месье Гримо, Поль-Мари. На Поле-Мари были шорты (каких в Англии не носят), с длинными белыми носками; ноги загорелые до коричнево-оливкового цвета. Фредерика не удостоила его большим вниманием. Гримо-отец с улыбкой подхватил её поклажу. Был он широк в поясе, с седым ёжиком на голове; лицо загорелое, с морщинами от улыбки вокруг

рта; на руке кольцо с печаткой, золотая змейка обвилась вокруг халцедончика. Вальяжный, раскрепощённый человек. Спросил Фредерику, как ей доехалось. Она рассказала, уже садясь рядом с ним в автомобиль, по-прежнему радуясь от звука своего французского, про курьёз с проводником. Месье Гримо рассмеялся. Ловко развернувшись от вокзала, он быстро повёл машину по улицам Нима, выбрался на окраину и покатил прочь от города, по прямой дороге, обсаженной платанами; справа и слева шли прекрасно-дикие, но явно возделанные поля. Гримо непринуждённо, с воодушевлением принялся рассказывать и объяснять всё про здешний край и природу. В этом была своя особая просветительская французская и провансальская страсть, которую Фредерика, не имея культурного опыта и не отсортировав ещё впечатлений, не могла взять в толк. Они ехали и ехали по дороге, а чудесный небесный свет разгорался всё ярче.

Эти поля, говорил Гримо, — о, это лавандовые поля, получение лавандового масла — важнейший, исконный промысел провансальцев! Но вообще-то, она попала в Лангедок, что не следует путать с Ланг д'ойль (это уже название средневековых диалектов центральной и северной

Франции!). И он принялся рассказывать о трубадурах и сеньорах и тут же самым естественным образом запел, ничуть не смущаясь, перемежая одну песню другой, про лаванду, про миндальное дерево в цвету, про любовь, и всё это пелось на непонятном ей провансальском наречии. Фредерика смотрела на уходящие к горизонту гребни пыльно-зелёно-серых кустов лаванды и воображала, как вскоре вспыхнут они густым сине-алым. Земля лежала ничем не затенённая в этом жёлтом свете; вот ещё виноградники, вот в поле ещё какие-то молодые зелёные побеги (кукурузу она не узнала). Позднее, когда она поедет сюда, на юг, уже тридцатилетней, а потом и сорокалетней, поедет прицельно, располагая благоприобретёнными сведениями о разных занятных местечках, в которых стоит побывать, о местной кухне и винах, о лучших кафе из справочника «Рутье», о давно исчезнувших песчаных дюнах, — она попытается вспомнить свои самые первые впечатления, своё свежее удивление от этого края, которое она пережила в тот первый день на самом деле вполсилы, оттого что её зрение ещё не созрело. Всё тогда пало на её новые, неподготовленные, грубые чувства — неразборчиво-грубым и новым, пыльным и

ярким. Лишь запахи, начально-весенние запахи юга, легче ощутимые и застревающие в памяти, и вспоминались впоследствии. Пахучие растения среди камней, можжевельник, розмарин и тимьян (она знала названия, хотя не была уверена, как они выглядят), орегано (даже имени не знала). К propriété, поместью, они подъехали по длинной аллее *tilleuls*, это слово (липа) она знала, оно жило в её французском словаре, но только сейчас внезапно связалось с формой дерева и волнами запаха. Гримо в этот миг рассказывал, как делают из сушёных цветков липы *tisanes*, и упомянул как-то неопределённо Марселя Пруста. *Tisane* (настой), как и *tilleul*, был в лексиконе Фредерики, но лишь как слово, название, а не как вещь, и пройдёт какое-то время, прежде чем она поймёт эту связь с Прустом, который вошёл в её сознание благодаря кошмарному сну перед вступительным экзаменом в Оксфорд. Этот сон она и вспомнила под рассказ Гримо под плывущими мимо душистыми ветвями.

Ей снилось, будто её заперли в школьной библиотеке, на столе лист чистой бумаги, и нужно письменно ответить на один-единственный вопрос: «Сравните метод повествования в Прусте и „Томе Джонсе“». Ни о том, ни о другом (в этом

сне) она понятия не имеет и горько плачет от стыда и бессилия. Когда же она проснулась, то была раздосадована тем, что во сне спутала две разные категории — человека и книгу, — а ведь эта логическая ошибка уже частично и даёт ответ на престранный вопрос. «Пруст» — метонимическое обозначение книг, написанных Прустом, тогда как «Том Джонс» — герой одноимённого романа, которого не писал. Долгие годы, вспоминая случайно этот сон, она не могла отделаться от тех эмоций, стыда и раздражения, — даже после того, как в 1969 году на вечеринке некий психолог доложил ей, что такие сны весьма часто снятся тем, кто в жизни с успехом сдаёт настоящие экзамены любой трудности. Тогда же, в 1954 году, Фредерика мрачно задумалась о том, какое фиаско потерпела в сновидном странном испытании, а машина уже въезжала под арку — если не средневекового, то ренессансного обличья — во внутренний двор. Будет идти время, десять лет, двадцать лет, тридцать лет, и с годами первое впечатление от поместья Нозьер обретёт совершенство и, как ни странно, первородность (подобно тому как наше сознание, лишь очистившись вдруг от потока повседневных занятий, планов, ожиданий, способно воспринять смерть

как чистую правду, и вся наша жизнь прорисовывается, стягивается, как из будущего, так и из прошлого, к этой единой точке осознания). Двор огорожен был стеной золотистого камня в пятнах лишайника, чистейшая пыль лежала на этой стене. Кудахтали, бегая по двору, куры.

Мадам Гримо, с собранными наверх гладкими чёрными волосами, коротенькая и подбористая, с нерасплывшейся талией, плотными бёдрами, стояла на крыльце; при ней были две дочери подросткового возраста, нескладные и нахмуренные, с ними-то и предстояло заниматься Фредерике. За этой группой маячили, перемещались фигуры в чёрных платьях — первые средиземноморские прислужницы в чёрных платьях, которых она увидела. Начались многочисленные вежливые приветственные рукопожатия, Фредерика, движимая отчасти природой самого языка, выдала несколько французских фраз, изящно выражавших благодарность. Затем, уже в доме, в столовой под каменными сводами (стены были темны, пол выложен из плитняка), за огромным дубовым столом, ей предложили чашку горячего шоколада, огромный кусок французского багета с хрустящей корочкой, несолёное сливочное масло (опять-таки первое в её жизни!), а также *конфи-*

тюр о сериз, конфитюр с кусочками вишен. По лестнице с каменными ступенями и перилами кованого чугуна её провели наверх в её огромную комнату, стены которой выкрашены в густо-тёмно-голубой цвет. Он напомнил ей открытку с картиной Ван Гога «Звёздная ночь» и даже ещё сильнее — афишу фильма Лоуренса Оливье «Генрих V», её фон с геральдическими лилиями. Эта порошистая синяя темнота её изумила: в Англии никому б не пришло в голову красить комнату в такой цвет, чем-то даже напоминавший бельевую синьку. Пол выложен плиткой, блёкло-голубой и тёмно-желтой. Кровать высокая, к тому же с пологом, застелена хлопчатобумажным, крючком вязанным покрывалом с шишечками и кружевными просветами. Имелся умывальный столик с рукомоем, фарфоровой раковиной, ведром для грязной водицы. Эта комната размерами вдвое превосходила гостиную в домиках на двух хозяев в Учительской улочке в Блесфорде. Ни большого, ни маленького письменного стола в комнате Фредерики не было, зато присутствовал, как и полагается в спальне, целый набор мебели — гардероб, комод, шифоньер (тяжёлые, в жёлтый тон выкрашенные). Всё тут чужеземное. И это чрезвычайно занятно. Столько непривычных

вещей! Вместе с тем Фредерика чувствовала себя совершенно опустошённой. И к собственному ужасу, испытала мимолётную тоску по коврам, книжным шкафам, маленьким распашным оконцам, рукотворным отопительным устройствам — по всему английскому, хорошо знакомому.

Позднее, по крайней мере на протяжении целого ряда лет, она не была способна представить это время в Провансе как часть своей жизни, поэтому вряд ли стоит сейчас рассказывать о нём читателю излишне подробно. Воспоминания Фредерики об увиденном были куда менее подсознательными и непреложными, чем у Стефани или даже у Маркуса. Её голова, в отличие от их голов, была замкнута сама на себя, отталкивала всё внешнее и постороннее — что-то *не*личное туда впускалось лишь ради решения какой-нибудь неотложной интеллектуальной задачи. В 70-е годы, когда в культурном слое открылись ей прожилки воззрений Эзры Паунда на живые и отживающие культуры, воззрений, во многом связанных с Провансом, она задним числом поняла, что лёгкие, непринуждённые лекции Гримо о родном крае, фольклоре, языке (в гуще которого она очутилась) и были признаком живой энергии в провансальской общине, тогда как у неё на

родине, в английском Йоркшире, исторический праздник культуры уже отцвёл, остались лишь жалкие потуги, эрзац-энергия. Билл Поттер как йоркширский почвенник мог кое-чем гордиться: его слушатели-вечерники — общим жаром сравнявшись с членами социалистического фабианского общества — собирали местные слова, описывали характерные примеры общественного поведения, семейных взаимоотношений. Однако подопечные Билла не обладали ни солнечной живостью натуры Гримо, ни его ясным пониманием, что́ именно из наследия надо хранить, чем делиться с миром.

Эта семья не была её собственной, более того — её собственную, отсутствующую и размётанную, заставила резко отступить в тень. Эта семья оказалась к ней очень добра. Гримо был капитаном судна, ходившего между Марселем и Тунисом. Его не бывало дома по неделям; он возвращался, тяжело гружённый алжирскими *gigots* (задними ножками барана), канистрами оливкового масла, мешками бобов. Поместьем управляла мадам, оно было большим, но не «требующим больших трудозатрат» (это выражение, впрочем, обогатит лексикон Фредерики лишь примерно в 1960 году). Поместье включало гектары виноградников

(сколько именно, она так и не узнала), а также персиковые и вишнёвые сады, гряды с дынями, огород. Здесь был избыток итальянских работников, сезонных в саду, и постоянных служанок в доме, так что «помощницей по хозяйству» в подлинном смысле ей быть не пришлось.

Два или три новых, необычных, хозяйственных навыка она, впрочем, приобрела (это притом, что собственную кровать ей застилать было незачем). Она научилась ежедневно срезать спаржу на широких, валками устроенных, даже горбатых каких-то грядах, за золотистыми стенами двора. Выглядывала вновь проклёвывавшиеся лиловые головки и острым, но туго раскладывающимся от земли и песчинок ножом ловко срезывала их чуть под землёй. Она также научилась помогать в приготовлении блюд, которые сама в 1954 году, как ей тогда казалось, не жаловала. Соус айоли, говядина на пару́, козлёнок, тушённый с вином, помидорами и чесноком, суп из овощей, прокрученных через ручную мясорубку, затейливо заправленные салаты из незнакомых ей листьев и веточек, розово-лиловых, кремово-белых, тёмно-шпинатовых, кудряво-бледно-зелёных. Она была при вертеле, на котором запекались алжирские бараньи ножки, нашпигованные чесноком

и анчоусами; нужно было находиться в своеобразной овальной клетке металлических прутьев перед огромным очагом, где пылал жаркий огонь из обрубков виноградной лозы. Она сидела на скамеечке в этой оградке и время от времени приводила в движение вертлюг да поливала барашка маслом и собственным его соком с помощью дьявольского вида длинной ложки.

Её единственное явное достоинство, хороший французский, оказалось на поверку недостатком. Мари-Клер и Моника не преуспели с ней в английском, потому что были напуганы ею, а она — ими. Она добросовестно переписывала их домашние работы на добропорядочном английском, но беда заключалась в том, что она — по крайней мере в те годы — ещё не почувствовала в себе наследственно-семейного учительского призвания, не умела объяснять принципов, согласно которым исправляла у них в тетрадях грамматику и строение фраз. И хотя их отметки улучшились, знания английского не прибавлялось. Лишь намного позднее ей пришло в голову, что виновата была она сама, самодостаточная в учёбе и эгоцентричная: угрюмое невежество сестёр казалось ей неисправимой чертой их натуры. Мадам Гримо наблюдала за всем с бод-

рым благодушием, а однажды заметила, что, по крайней мере, Фредерика оказывает на детей нравственное влияние. Фредерике эти слова показались признаком чудовищной непроницательности. Однако позднее, уже в Англии, она подумала, что это ведь могло быть произнесено и с иронией, — впрочем, к тому моменту она уже забыла — по какому поводу и с какой интонацией? — только помнила, что было это в Ниме, на ступенях Мезон Карре, древнеримского храма, на жутком припёке, где в каменном сиянье носился жаркий воздух.

Они постоянно предпринимали благожелательные попытки её развлечь. На второй день ей, интеллектуальной акуле, выдали резиновый мячик на резиновом шнуре, закреплённом в деревянном ящичке с противовесом, и деревянную ракетку, чтобы отбивать этот мячик. Она стояла во внутреннем дворе, честно и торжественно пытаясь играть в эту игру, джокари, но игра не ладилась. В свои семнадцать она испытывала скованность мышц, и не голод движений, а девичий голод. Все служанки, вместе с мадам Гримо, делая свои обычные домашние дела, наблюдали за ней из дверей и окон. Фредерике это напомнило — *mutatis mutandis*, с необходимыми

поправками, прежде всего в части намерений, — но тем не менее напомнило «Большие надежды», как мисс Хэвишем наняла мальчика Пипа, чтоб приходил к ней играть, и там был двор заброшенной пивоварни, где происходит первая встреча Пипа с Гербертом Покетом (Фредерика всегда испытывала досаду оттого, что не могла этот диккенсовский двор наглядно вообразить).

Её брали с собой повсюду. На рассвете на крытый рыбный рынок, выбирать рыбу для знаменитой марсельской ухи буйабес (что не внушило ей никакой романтики: ещё не были прочитаны ни описание великой ухи в каланках у Форда Мэдокса Форда[38], ни описание видов и причудливых цветов рыбы на прилавках в кулинарной книге Элизабет Дэвид). Вместе с мадам Гримо она посетила её портниху, в ателье имелся коренастый, регулируемый манекен французских форм мадам Гримо, без головы, на металлической ноге. На каждом шагу были знакомые, все то и дело останавливались друг с другом поболтать. В ателье, помнится, были попугаи-неразлучники,

---

[38] Примечания: 38

Каланки — провансальские природные фьорды. *Форд Мэдокс Форд* (1873–1939) — видный английский романист, поэт, критик, редактор журналов, а также автор книги очерков о Провансе «Прованс: от менестрелей до машины» (1935). Уха описана в части III, гл. II, «Париж — Дижон — Средиземное море»).

а также чёрный кофе с печеньем *langues de chat*, кошачьи язычки. Неразлучники, впрочем, в её воображении почему-то вскоре превратились в одного-единственного большого сторожевого попугая, на металлической ноге. Она посещала соседние propriétés, отхлёбывала из бокала маленькими глоточками аперитив (а наливался бокал из бутылки, не имевшей этикетки), отведывала белый портвейн — на верандах, в беседках, увитых глицинией, под акациями. В двух из этих семей были молодые люди мужского пола, сыновья и наследники, которым предстояло унаследовать землю предков: серьёзный молчун Мишель, шумный Дани, который знал одно английское слово — «блуджинсы»; а ещё была девушка Дани, раздражительная и темпераментная Ламбретта, взбивавшая мыском туфельки бледную, чистую пыль. Сыновья её *заинтересовали*, особенно Мишель, но она сразу поняла, что для них незрима, не вполне реальна, как — часто, практически всегда! — бывает нереальна любая няня-иностранка, помощница по хозяйству. Она много говорила при них, они оборачивались, удивлялись её французскому, но говорили об этом промеж себя, к ней не обращаясь; она подумала, что представляет собой для

них что-то вроде шарманки, ей же хотелось не только мужской близости, но и восхищения.

Когда был дома месье Гримо, предпринимались более осмысленные культурные вылазки. Однажды они отправились в нимский (древнеримский) амфитеатр, залитый светом прожекторов, где смотрели оперу «Мирей». На этой же арене в другой день происходил бой быков. Она честно желала познать эстетический восторг этого действа, увидеть и понять «момент истины», пускай даже зрелище её оттолкнёт. Но увидела лишь медленный, малоизобретательный, мешкотный и надсадный убой, от которого её (с её типично английской любовью к животным) в прямом смысле замутило. Что немало огорчило Гримо, ведь он был *aficionado* и ещё накануне ей рассказывал о происхождении этого испанского слова, означающего ярого любителя корриды, от латинского *affectio*, тяга, склонность, любовь. Амфитеатр с его ареной вдруг как будто дохнул ей прямо в ухо и ноздри — своим столетним запахом кровопускания, — однако даже и это не могло её взволновать — может быть, потому, что нимцы не рычали, требуя крови, в отличие от римлян, но пеклись себе приятно на солнышке, оживлённо обсуждая тонкости работы с плащом.

В какое-то мгновение, правда, Фредерика почувствовала: они взметнулись, словно в каком-то припадке, зашипели, заулюлюкали, — но Гримо тут же объяснил ей, что это они стихийно выражают своё неодобрение художнику Пикассо. Вон там, на противоположной трибуне, его можно с трудом разглядеть — коричневое личико в чёрном берете. Толпа, объяснил Гримо, считает его искусство шарлатанским! Фредерика тщетно попыталась вообразить английских футбольных болельщиков на трибунах, столь же истово и коллективно ополчившихся на какого бы то ни было современного художника… и вдруг вспомнила репродукции Пикассо на стенах кабинета Александра Уэддерберна в школе Блесфорд-Райд. Она была тогда влюблена в Александра. Сейчас, находясь вдали от дома с его неразберихой, она была уверена, что по-прежнему Александра любит. Хотя, надо сказать, в Блесфорде этой своей любовью она распорядилась дурацким образом. Вряд ли Александр обрадуется, получив от неё весточку, поди, и думать-то про неё не захочет. Картины Пикассо у Александра на стене относились к «голубому» или «розовому» периоду, все эти арлекины, комедианты-*салтимбанки́*, необыкновенный «Мальчик с трубкой», в венке

из цветов. Странно было сидеть здесь, далеко от Блесфорда, среди солнца и криков, — и видеть в отдалении как бы двоящиеся маленькие кружочки — светлый и тёмный, — лицо и берет художника, который создал все эти произведения. Его линии очень экономны, молвила Фредерика своему спутнику, а тот, с какой-то даже тревогой взглянув на неё, принялся презрительно рассуждать о женщинах с тремя грудями, об одноглазости, о том, что эти, с позволения сказать, картины — куда более инфантильны, чем работы художников кроманьонского периода. Более того, сердито проговорил Гримо, он, видите ли, «открыл» традиционную керамику Валлори́са — лучше б он этого не делал! — по его вине сей промысел, некогда высокохудожественный, выродился в изготовление отвратительных пепельниц с изображениями искажённых быков и примитивных голубок. Пикассо полюбил местную традицию — и погубил её! — с презрением воскликнул Гримо. Фредерика подумала, что подобный взгляд отдаёт мещанством, и лишь позднее поняла, что Гримо был просто правдивый человек. А вот его рисунки корриды, продолжал Гримо, и впрямь обладают определённой художественной ценностью. Фредерика промолчала:

этих рисунков Пикассо она не знала, да и про корриду уже невыносимо разговаривать.

В тот же день в витринах мясных лавок появились кровавые отбивные из мяса убитых на корриде быков, они свисали с крючьев или лежали веером на белых блюдах. Семья Гримо купила и зажарила целый ряд этих отбивных — Фредерике объяснили, что такова местная традиция. Увидев у себя на тарелке эту отбивную, Фредерика невольно поднесла руку ко рту, её замутило при свежем воспоминании о том, как повалилась, дёргая ногами, чёрная туша, как из раны от пики растеклась по лопатке густая кровь, как чертили по песку и опилкам рога, когда тушу волокли с арены. Позднее она узнает, что некто Ж. Оливье, уроженец Прованса, полагал, что самоизувечение Ван Гога в Арле связано с тамошним ритуалом боя быков. Победитель-матадор, пишет Оливье, в качестве награды получает отрезанное ухо поверженного быка. Матадор обходит с ним арену, показывая всем, после чего вручает заветный приз «даме своего сердца или какой-нибудь зрительнице, удостоенной его внимания». (В тот достопамятный день ушами никого не награждали!) Итак, утверждает Оливье, Ван Гог, после перепалки с Гогеном, чувствуя себя

одновременно и побеждённым и победителем, отрезал собственное ухо и вручил, в свою честь, даме своего сердца, арльской проститутке[39].

Виноградник Гримо давал неплохое *vin rosé*, розовое вино, которым Фредерика запивала ранний обед, словно водой, но, в отличие от Мари-Клер, Моники и Поля-Мари, водой не разбавляла, полагая, что это как-то по-детски, да и эстетически сомнительно — разводить доброе вино. В результате у неё развились жгучие головные боли, головокружения и устойчивая вялость, которые Гримо, со свойственной им благожелательностью, относили на счёт мистраля, жары, непривычного питания. Возможно, они были даже рады, что после полудня — становясь в этот час смурной и несколько раздражительной — она погружалась на время в глубокий сон.

Книг в семье водилось мало. Месье Гримо рассказал ей об основании Нима римскими ветеранами, которые приняли участие в победоносном походе Октавиана против Антония и Клеопатры и получили тут в награду земли. Имена этих почтенных легионеров дошли до

[39] Примечания: 39

Мнение Ж. Оливье приведено в книге известного стэнфордского психоаналитика проф. Альберта Любина «Чужой на земле: психологическая биография Ван Гога» (1972).

наших дней — Антонин, Нума, Флавий, Адриан, равно как и эмблема победы над змеем старого Нила — вездесущий, прикованный на цепочку нимский крокодил. Гримо свозил её в Юзе́с, куда некогда явился к своему дяде-священнику молодой Расин, и жил здесь на лоне природы, и искал церковного бенефиция, и начал писать пьесы. Юзес, расположенный на холме, представляющем собой пологий конус, всегда был и остаётся тёмно-охристым городком словно бы из других веков, с жёлтыми, точно грибные шляпки, друг из-под друга выглядывающими геометрическими крышами. Таким был он, должно быть, ещё в те времена, когда Шекспир писал «Антония и Клеопатру». Фредерика попыталась разговорить Гримо на тему Расина, но моряк, хоть и знал на память несколько отрывков из монологов героев, если чем-то интересовался, то перипетиями судьбы драматурга и его посмертной славой, а никак не сочинениями и мыслями. У Гримо было по томику Расина, Мольера, Шатобриана. Нашёлся Хемингуэй в переводе на французский, опять про корриду, а ещё про то, как «земля качнулась»[40] и стало только тоскливее, голоднее, захотелось

[40] Примечания: 40
Знаменитая любовная сцена в романе «По ком звонит колокол».

жизни, любви, дела. К тому же, как оказалось, она соскучилась по родному языку. Мадам Гримо отвела её в библиотеку города Нима, длинное здание сумрачного вида, с высокими ставнями за декоративными металлическими решётками; старые пыльные книги в кожаных переплётах хранились на полках под самым потолком. Английский ассортимент был так небогат, что ничего лучше полного собрания сочинений Тобиаса Смоллетта не нашлось, его-то она и унесла с собой. Конечно, не такие бы книги ей хотелось класть под подушку, но он был англичанин и о чём-то повествовал. Повествование — не оно ли дурманит и баюкает? А длины романам Смоллетта не занимать.

Потом мадам Гримо осенило — велосипед!

Усевшись в седло, Фредерика пустилась обследовать удивительно неразнообразные, плоские, знойные окрестности. Она тряслась по колеям между рядами виноградных листьев в кобальтово-синих крапинках от опрыскивания. Слушала цикад и вдыхала всепроникающий аромат лакрицы, которую выращивали здесь в больших количествах и перерабатывали на фабрике близ Нимской дороги. Порою она лениво соскальзывала с велосипеда и, усевшись прямо в дорожную

пыль в этой классической французской колее, под бледно-ярким небом, разморённая вином и жарою, принималась клевать носом. Она решила, что будет писательницей. Принимая во внимание, что письменное слово в семействе Поттер безмерно уважали и что Фредерика с огромным удовольствием и завидным мастерством писала школьные сочинения, — этот порыв был неминуем. Кроме того, как известно, пребывание на чужбине пробуждает писательское начало в людях, и менее помешанных на слове, чем Фредерика Поттер. Я не думаю, что порыв писать о новом для тебя чужом крае можно хоть в какой-то степени сравнить с чувственным восторгом, который охватывает живописца, когда он соприкасается с новым освещением, новыми формами, новыми цветами; так, Моне увидел свой мыс, Кап д'Антиб, в голубом и розовом, Тёрнер узрел яркий водянистый венецианский свет в Венеции, Гоген всё обрёл на Таити. Красочный пигмент — это пигмент, а свет — это свет, в любой культуре. Но слова, медленно приобретаемые человеком на его веку, — часть совершенно иного восприятия мира, они растут вместе с нами, они определяют и ограничивают, что́ мы видим и как видим. Это я пытаюсь объяснить вам парадокс: почему столь

многочисленные литературные описания чего-то чужого, диковинного, нового — столь *схожи*? На примере Фредерики я постараюсь показать трудности письма о чужом.

Ей захотелось переложить в слова южный пейзаж. Традиция взгляда на пейзаж, к которой она принадлежала, была глубоко вордсвортовской (хотя сердце подсказывало, что Вордсворт предназначал свой язык лишь для своего времени и места). В Озёрном краю Фредерика могла бы увидеть озеро среди холмов, и припомнить, каким характерным местным словом называет такое озеро поэт, и вообще описать его в вордсвортовских словах и выражениях, а поскольку эти выражения известны, опробованы, обдуманы, то можно, внося в них маленькие изменения, сдвиги, добавить какой-то дополнительный нюанс, поэтом не замеченный, создавая тем самым собственную точку зрения на предмет. В Андах есть пастухи, у которых для выражения оттенков коричневого в шкуре овцы более шестидесяти слов. Ну так на то они и пастухи в Андах. У Фредерики имелись точные слова, выражающие оттенки поведения во время коллективного чаепития, а также тонкости магазинных повадок йоркширских матрон. Было у неё и некоторое множество

(пополняемое) разнообразных слов для описания устройства шекспировского сюжета и шекспировских метафор. Новое, как ни парадоксально, она находила в старых клише. Тот же Вордсворт, осмеянный за подобную склонность, полагал, что воротился к невинному зрению. Он сообщил нам, что трава — зелёная, а вода — влажная; через внешнюю привычность обозначений вышел к первородному изумлению, изумлению перед тем, что вещи — именно таковы, а не иные; и, словно в мифе, стал давать вещам имена, находить имена для вещей, а не просто слова повторять. Так в своё время и Дэниелу, гулявшему со Стефани по песчаному берегу в Файли, вдруг открылось — открылось его метафорическому зрению, столь же телесному, как дыхание, — почему любовь зовут «сладкой», и сразу же, с толчком крови: отчего любимую называют «сердечком» и «конфеткой». Фредерика же впервые теперь увидела, что свет — золотой, оливки — тёпло-чёрные, а деревья, на которых они растут, — точно присыпаны серым порошком; что лаванда — как лиловый туман. Но когда она написала все эти слова на бумаге, они показались ей — да и были! — затасканными, сотню раз кем-то сказанными, вторичными.

Фредерика также была в достаточной мере дитя

своего времени, чтобы сразу задуматься о романе. «Роман — ярчайшая книга жизни», — учительно молвил Д. Г. Лоуренс. Ему вторил Билл Поттер: «Роман — наивысшая форма выражения, достигнутая человеком». Спроси кто-нибудь Фредерику, верит ли она в это, она бы стала отбрыкиваться. Тем не менее — несмотря на вордсвортовские корни — писательский порыв в 50-е годы принял у неё лоуренсовскую форму. О сюжете она не имела понятия. Или скажем так: не умела распознать те начатки сюжета, которые водились в голове. Да и фантазией в те дни не отличалась.

В качестве персонажей она попробовала использовать Дани с его Ламбреттой и молчуна Мишеля, но получилась какая-то дичь. Тогда она обратилась к Александру и безуспешно попыталась превратить этого очень английского поэта в божество здешних оливковых рощ. Результат оказался плачевным: её девичий голод, до этого тихий, сделался болезненным, а сам Александр в её сознании — отвратительно ненастоящим. Она попробовала прибегнуть к форме дневника, но в дневниковом письме подспудно и скучно проступало, что Фредерика Поттер скучает и, к собственному стыду, тоскует по дому. Она не могла сообразить, как встроить в повествование

Мари-Клер и Монику, Поля-Мари и мадам Гримо, не говоря уже о местном винодельческом кооперативе, магазине лакричных конфеток или о протестантской общине города Нима. Фредерика, несмотря на эгоцентричность, была хорошим критиком и признала — горестно, но быстро, — что писательство не её удел.

И вот, сдавшись, она сидела между рядами винограда на жарком солнце, то задрёмывая, то снова пробираясь сквозь пыльные томики романа Смоллетта «Приключения Перигрина Пикля», переплетённые в тёмно-красную, с золотым тиснением кожу. Настоящие книжные черви встревоженно выползали из своих тёмных закоулков на знойный свет, переползая по шедевральным сценам, где престарелые леди бесконечно долго удерживают мочу, чтоб можно было потушить мнимый пожар, или подслащают своё зловонное дыхание фиолетовыми пастилками, дабы обмануть желанных молодых любовников. Фредерика не задавалась целью понять, с какими побуждениями создавался сюжет, складывались слова, она принимала всё на веру, как ребёнок в детстве — сказку.

А что же Винсент Ван Гог? Прованс таков, каким он его написал. Созданные им образы стали

визитной карточкой, по которой мы узнаём какие-то вещи, прежде всего кипарисы, оливы, какие-то сочетания каменистого пейзажа и растительности, линию Малых Альп на горизонте, долину Кро, узнаём самый свет Прованса.

Голландец, в отличие от Фредерики, прибыл сюда с совершенно определёнными эстетическими ожиданиями. Он ожидал найти здесь «японские» сюжеты для картин, формы Сезанна и Ренуара, южный свет, возведённый Гогеном в чин мистической необходимости. И увидел всё это именно таким, каким хотел увидеть. Кроме того, он встретил здесь, под этим же горячим небом, кое-что и вполне голландское, например мосты, внешне ничем не отличающиеся от мостов в Делфте или Лейдене, разглядел в солнечном блеске цвета, напомнившие ему сильнее всего мягкие синие и жёлтые оттенки с полотен Вермеера. Ну и конечно, разглядел он одновременно и то, что никто до него не увидел, что принадлежит только ему. Подсолнухи, кипарисы, оливы…

> Дорогой Тео,
>
> нынче ранним утром я уже написал тебе письмо, а потом пошёл и продолжил работу над картиной, где освещённый

солнцем сад. Потом я занёс картину в дом — и снова вышел, уже с чистым холстом, и с ним тоже закончил. И вот теперь у меня появилось настроение ещё для одного письмеца.

Потому что никогда мне ещё так не везло: природа здесь чрезвычайно красива. Что ни возьми, где ни возьми. Небесный купол — чудесно синий, солнце имеет бледное зеленовато-жёлтое сияние, точно сера, вместе же это мягко и очаровательно, как сочетание небесно-голубого и жёлтого на полотнах Вермеера Делфтского. Я не умею работать красками столь красиво, но работа меня так захватывает, что я не держу себя на поводке, не следую никаким правилам…

Здесь более сильное солнце: оказывается, Писсарро говорил мне сущую правду, да и Гоген в письме тоже. Простота, обесцвеченность, значительность великого действия солнца.

На севере такого даже и не заподозришь[41].

---

[41] Примечания: 41

Автор соединяет отрывки из двух писем Ван Гога брату Тео, от 18 сентября и от 17 октября 1888 г.

5
Ма-Роз. Ма-Кабестань

Ма-Роз

Ранним летом семья отправилась в своё летнее жилище, Ма-Роз, небольшой сельский домик с белёными стенами (побелка была розовой) на склоне холма в Нижних Альпах, в окрестностях горы Ванту. Свою бесполезную и колючую англичаночку они взяли с собой, желая подарить ей культуру, Лазурный берег, природный парк Камарг. Однажды её повезли в Авиньон, где тёплым вечером на открытых, ярко освещённых подмостках во дворе Папского дворца давали французскую постановку «Макбета». Это был спектакль Национального народного театра, в главных ролях — Жан Вилар, голенастый, худой и романтичный, больше похожий на про́клятого поэта-трубадура, чем на шотландского кровавого мясника, и Мария Казарес, изящно-белая, неистово-патетическая. Вот она смывает кровь с рук, в то время как с высоких зубчатых стен пронзительно вопят ангельские трубы. Пьеса буквально

мчится галопом — не иначе как из-за языка. Не веский, степенный ямб — «И завтра, завтра, завтра», а нагая французская проза-скороговорка — «Demain et demain et demain».

В антракте Фредерика неожиданно, в кои-то веки сделалась полезной. Стала декламировать утомлённым от скуки юным Гримо куски «Макбета» на память — оказалось, помнит довольно много, — настоящий, густой, недоступный Шекспир так и хлынул из уст. И сразу же её схватила острая тоска по дому — не по вересковым долам, а по речи людей, по летним вечерам, по долгим денькам прошлого лета, когда на ступенях елизаветинской террасы Лонг-Ройстон-Холла ставили пьесу Александра. Стих Александра — тугой, упругий, живой, точно бутон английской розы… Она декламировала ёрзающим Гримо про то, как меркнет свет, ворон летит в свой лес, все добрые дневные созданья заснули и вот-вот должны явиться злые слуги мрака[42], — как вдруг откуда-то сверху, с галёрки, раздался голос:

— О, эту актрису я знаю. Юная Фредерика Поттер! «Перед мечом я не смущусь, не дрогну…» Нет, не это. Вот это. «Ни капли моей крови не отдам!»

---

[42] Примечания: 42

У. Шекспир. Макбет. Акт III, сц. 2, слова Макбета.

Помните?

Звук родного языка был отраден, но удар был ниже — сильно ниже — пояса! Да это же Эдмунд Уилки, талант и эрудит, которому в невозможно роскошном эдвардианском номере Гранд-отеля в Скарборо подарила она, пролив при этом моря крови, свою девственность!

— Уилки, ты где? Не вижу в темноте. Что ты здесь делаешь? *Excusez-moi, Madame, c'est un ami, un ami de mon pays…*[43]

Уилки втёрся на соседнее место. Здесь, в Папском дворце, как и в Лонг-Ройстон-Холле, публика сидела на грубо сколоченных сиденьях, устроенных ярусами. Они переместились немного вбок. На сцене был танец Граций, или королевских достоинств, о которых вещал Малькольм[44]. Уилки ничуть не изменился. Вкрадчивый, тёмный, позвероватому пухленький, в огромных пучеглазых очках, типичный университетский учёный.

— *Monsieur Grimaud, Madame. Edmund Wilkie. Un*

---

[43] Примечания: 43

Простите, мадам, это мой хороший знакомый, из моей страны *(фр.)*.

[44] Примечания: 44

У. Шекспир. Макбет. Акт IV, сц. 3.

ami, un étudiant de psychologie, un acteur[45]. Уилки, откуда ты здесь вообще?

— Уместнее, откуда здесь *ты*, Фредерика? Я-то в гостях у Мэттью Кроу, в Ма-Кабестань. Это французская штаб-квартира Кроу. Ужасно красивое поместье. Множество приятнейших людей. Ты загорела, как негр, и облезаешь кусочками, как платан. Как ты тут, не скучаешь?

— Я помощница по хозяйству и гувернантка. У достойных, добрых людей. Наш здешний домик — в окрестностях Везон-ла-Ромен.

— От нас недалеко. Можем как-нибудь встретиться. В Ма-Кабестань много старых приятелей. И приятельниц. Главная красотка Антея Уор… как там бишь её?..

— Уорбертон.

— Она самая. И Уэддерберн. Он теперь заважничал, такой весь из себя радиоведущий. Ты, наверное, знаешь про его новое занятие.

— Да, мне рассказывали… — Фредерика скосилась вбок, прикусила губу. Целая скамейка Гримо ждёт от неё сейчас не этой болтовни, а *Шекспира*, извольте наконец работать за свои денежки, всё это неловко и мучительно. Спросила как можно

---

[45] Примечания: 45

Месье Гримо, мадам. Мой хороший знакомый, Эдмунд Уилки, психолог-исследователь, актёр *(фр.)*.

безразличней: — Как у него вообще дела?

— Вот глупая. Сама чего не спросишь? Он приехал ещё на прошлой неделе, специально чтоб увидеть эту постановку. Нам с Кэролайн сказал, идите сегодня. Но у Кэролайн жуткое похмелье, куда ей, бедняжке, в театр, и я привёз его самого сюда на мотоцикле, на заднем сиденье. Ему захотелось ещё разок посмотреть. Он там, наверху. — Уилки повёл рукой неопределённо вверх, в сторону галёрки.

Пронзительно и ясно пропели трубы из-под высоких дворцовых сводов, возвещая наступление последнего акта.

— *Les anges,* — сказал Уилки, — *rayonnent toujours, bien que le plus radieux soit déchus*[46]. Правильно? Звучит забавно. Видишь его? Во-о-он там. Ладно, увидимся, я пошёл.

И ловко, точно обезьяна, стал пробираться-карабкаться вверх по рядам сидений. Фредерика вытянула шею ему вслед. И правда, в свете, отражённом от башенного зубца: кто-то худощавый, длинный, сжавшийся в тесноте — чей-то белый распахнутый ворот рубашки, — и, совсем уже

---

[46] Примечания: 46

Ангелы продолжают сиять, но, однако же, самый лучезарный из них — падший *(фр.)*. Возможно, ироническая отсылка к «Потерянному раю» Дж. Мильтона.

смутно, строгое, хмурое лицо… *Александр?..*

— Знаешь, кого я там сейчас встретил?

Молчание.

— Фредерику Поттер в роли гувернантки с выводком французских детей.

— Боже.

— Мне показалось, она прямо-таки мечтает тебя увидеть. Узнала, что ты здесь, прямо-таки встрепенулась.

— Боже.

— Она *любит* тебя, Александр.

— Чепуха. Девушка-удав. Всегда такая была и будет. Отстань, не мешай смотреть спектакль.

Фредерика взволновалась. Вспомнила последнюю свою встречу с Александром… по-прежнему слегка затрудняясь дать объяснение собственному поступку. С величайшей тщательностью и осторожностью она вела подготовительную охоту, в нужное время атаковала Александра прямо в лоб, неотразимо, раздразнивая, оставалось лишь пожать плоды: возжелавший её Александр должен быть явиться к ней на ужин, во временно опустевший дом Поттеров. А она?.. А она вдруг вскочила на заднее сиденье мотоцикла Уилки и умчалась с ним в Скарборо. Александра она

любила. Эдмунд же Уилки был просто приятель, с которым приятно поболтать. А любила она, всегда, одного только Александра. Но ей — как она теперь, кажется, наконец поняла! — было важно, чтобы эта *инициация* совершилась *безлично*, при полном её хладнокровии. И как же объяснить Александру, который, скорее всего, не захочет всего этого понимать?..

«Elle aurait dû mourir ci-après. Un temps serait venu pour ce mot»[47].

То-то и оно… «Пристало б вести сей иное время».

Нынешние эмоции Александра были гораздо проще. Он не мог в точности припомнить, почему и насколько сильно желал тогда Фредерику. Облачко воспоминания имело ярлычок — временное безумие театрального деятеля. Ясно помнилось лишь одно: она выставила его чрезвычайным дураком. В ярости сшибал он ногами подсолнухи и ромашки в крошечном квадратном садике… Ему не хотелось заново пережить даже тень подобного.

---

[47] Примечания: 47

У. Шекспир. Макбет. Акт V, сц. 5, слова Макбета в ответ на сообщение о смерти леди Макбет: «Ей лучше было бы умереть позднее. Этой вести пристало бы иное время» *(фр.)*.

Tous nos hiers n'ont qu'a allumés, pour les sots, une voie vers la Mort poussiéreuse[48].

Тем не менее после спектакля две компании не могли не столкнуться в тёмном вестибюле дворца. Уилки ринулся к Фредерике, ярко тараща свои глазища обезьянки-галаго. Александр, наоборот, держался поодаль. Поскольку мотоцикл Уилки был хитроумно припаркован под самым крепостным валом, гораздо ближе, чем синий «корвет», Уилки удалось замедлить, даже обратить вспять шествие семейства Гримо, и Александру пришлось приблизиться к остальным. Уилки обожал такие моменты.

— Привет, Александр.

— Привет.

— *Monsieur Grimaud, Madame, Monsieur Alexander Wedderburn… un écrivain anglais… qui a écrit de belles pièces… très renommées… un amis… de mon père*[49].

Все раскланялись. Александр, говоривший по-французски не столь свободно, как Фредерика,

---

[48] Примечания: 48

Тот же монолог: «Все наши „вчера“ всего лишь освещали, для безумцев, путь к прашной Смерти» *(фр.)*.

[49] Примечания: 49

Месье Гримо, мадам, позвольте представить, месье Александр Уэддерберн… английский писатель… автор прекрасных пьес… очень известных… друг… моего отца *(фр.)*.

спросил с неуклонной учтивостью, как Гримо нашли спектакль. Те стали отвечать. Фредерика вклинилась, заметив, что этот французский перевод Шекспира прозой странно ложится на английское ухо. Александр обратился в молчание. Уилки записал адрес Фредерики. Месье Гримо, заинтересовавшись новыми знакомцами и надеясь развлечь свою англичанку, нарисовал, с капитанскими ухватками, на конверте карту, изображавшую подъезды к Ма-Роз со стороны Везона и Ма-Кабестань. Тут же высказал предположение, что Ма-Кабестань, скорее всего, так назван в честь знаменитого трубадура, чья судьба — истинная провансальская судьба — была ужасна, трагична: куртуазная любовь, ревность, кровь… А в Ма-Роз нет газа, электричества, водопровода, но зато он на склоне холма, рядом бьёт ключ, воздух чист, и хорошо видна гора Ванту, Ветреная гора, 1912 метров над уровнем моря, прославленная восхождением на неё в 1336 году великого поэта Петрарки, певца Лауры. Приглашаю вас, месье Уилки, посетить нас в Ма-Роз, говорил Гримо, вас и, конечно же, месье Уэддерберна тоже. Александр смотрел на звёзды и переминался с ноги на ногу (раньше Уилки на мотоцикл ему не сесть). Фредерика, тоже глядя на

мотоцикл, вновь вспомнила свою кровопролитную дефлорацию. Тихонько потянув Александра за рукав, она попыталась, без надежды на успех, воскресить хотя бы частичку былых ученическо-учительских отношений:

— Александр, Александр. Я поступила в Кембридж.

— Прекрасно.

— И в Оксфорде тоже предлагают стипендию.

— Прекрасно. Твой отец, должно быть, доволен.

— Он слишком расстроен происшествием с Маркусом.

— Понимаю.

Александр посмотрел на Уилки, который нарочно притворился, будто не замечает взгляда приятеля. Уилки спросил Фредерику, видела ли она уже Средиземное море, природный парк Камарг, город Оранж? Фредерика рассказала, нервно косясь на Александра, как гостила в Оранже у одного из бесчисленных кузенов месье Гримо, смотрела «Британика» Расина, а также одноимённый балет Жана Кокто в Античном театре города Оранжа. Ты только представь, говорила она, Ари-

кия[50] в колготках цвета розового мороженого и Британик в ужасно странном золотом кудрявом парике и в лязгающей металлической мини-юбке. О, весьма в духе Кокто, живо отозвался Уилки; Александр же твёрдо, на кнопочку, замкнул свою голову в орфический шлем, разом приобретя полную глухоту к ярким высказываниям Фредерики и полную абсурдность внешнего вида. Его красивое, чистое, длинное, недосягаемое тело в светлой одежде увенчалось белым, герметично-безымянным шаром. Опустив забрало, Александр скрестил на груди руки.

— Ну что же, — сказал Уилки, широко ухмыляясь. — Чрезвычайно рад был тебя встретить, Фредерика. Как-нибудь на днях заедем к вам в гости, даже не сомневайся. Ну а потом выберем вечерок, и все вместе отправимся на морское купание. Если тебя, конечно, отпустят.

Он снял мотоцикл с подножки и уселся в седло, широко раскорячив ноги. Александр пристроился сзади, на прощание еле заметно склонив пузатый шар головы. После чего они медленно запетляли среди редкой театральной толпы, то чуть подскакивая, то осаживаясь в сёдлах как единое целое,

---

[50] Примечания: 50

Фредерика путает Агриппину из «Британика» с Арикией, героиней другой пьесы Расина, «Федра».

и удалились прочь. Фредерика задумалась, не проболтался ли Уилки Александру про сцену кровопролития в Скарборо. Вероятность была и высокой и низкой одновременно. Если честно, она не надеялась их больше увидеть. Хотя, вернувшись в Ма-Роз, она в последующие дни нет-нет да и взглядывала на белую кремнистую дорогу, не катит ли в облачке пыли знакомый мотоцикл.

Ма-Кабестань

Фредерика хотела, но не осмелилась спросить Александра, как дела с писательством. Дела обстояли не очень хорошо. Жизнь в Ма-Кабестань была вроде бы нацелена на наслаждение искусством и на создание произведений оного. Кроу приобрёл этот дом — серый, в щербинах от пуль, полностью пришедший в упадок — за бесценок сразу после войны. За прошедшее время ему удалось и сам дом, и относящиеся к дому надворные постройки превратить в нечто непритязательно-шикарное и чрезвычайно удобное для хозяина и гостей. В главном доме имелась просторная гостиная с открытым очагом, столовая наподобие трапезной с деревянными столами и скамьями, маленькая библиотека, где принято соблюдать тишину. Ам-

бары, конюшни и домики слуг переделаны были под монашеские — более или менее монашеские — кельи, в которых гости, художники или писатели, могли работать или отсыпаться после ночных излишеств, поодиночке или не поодиночке. Александру досталось отдельное стойло в конюшне. Белёные стены, узкая, но двустворчатая дверь, окно с зелёной ставенкой. Жёлтая деревянная кровать, коврик грубого тканья, письменный стол, два соломенных стула (в жёлтых пятнах, с прямой спинкой), книжная этажерка. Он проводил тут меньше времени, чем изначально рассчитывал: это была и впрямь *келья*, прохладная и изолированная от всех и вся, тогда как, сидя на передней веранде озарённого солнцем дома и потягивая винцо, можно было устремлять взгляд вниз, на далёкую долину Роны, на лавандовые поля, рощи олив и виноградники. На веранде, кроме того, царил дух культурных разговоров, обсуждались разные интересные вылазки и планы, — именно такого повседневного образа жизни для себя, творческого интеллектуала, и желал некогда в юности Александр, не чуя игр посерьёзнее (в этом был он схож с Фредерикой). Недавно Мэттью Кроу пришла в голову идея, что неплохо бы Александру сочинить пьесу, которую

можно сыграть силами гостей. Это должна быть историческая пьеса о славном Кабестане, в честь которого Кроу и назвал резиденцию, показывая французам свою образованность и вместе некую тягу к утончённой жестокости.

Трубадур Гильом, или Гильем Кабестаньский, он же Кабестань, или попросту Кабестан, жил в XII веке; он полюбил Соремонду, или Сермонду, или Маргариту, жену своего сеньора, графа Раймунда Руссильонского. В припадке дикой ревности граф подослал к трубадуру убийц, которые принесли графу сердце соперника, после чего граф приготовил сердце и подал в виде кушанья своей ничего не подозревающей супруге. Узнав, что́ именно она только что съела, благородная дама объявила, что менее драгоценная пища никогда более не войдёт в её уста, и не то уморила себя голодом до смерти, не то выбросилась из окна, и тогда — это её кровь навеки окрасила красной охрой скалы Руссильона! Эзра Паунд умело пронизывает одну из ранних Cantos этими охристыми жилками:

«Было вам яством сердце Кабестана».
«Было мне яством сердце Кабестана?
Пусть тогда вкус непременным оста-

нется»[51].

Александр был восхищён стихом Паунда, текучим, драматичным и точным. И восхищён был трубадурами, певшими любовь, боль, служение с помощью бесконечно разнообразных, блистательных, пленительных метафор. Он полагал, что без особого труда сумеет навалять на заказ пьеску-пародию — изящную и одновременно эпатажную. Но всё оказалось не так-то просто.

Отчасти потому, что его снедало беспокойство относительно его следующей, важной пьесы. Он принадлежал к малоусидчивым и вместе с тем чрезвычайно медлительным авторам, у которых живые, красивые слова долго заперты внутри; исподволь и тщательно возводил он в голове весь каркас литературного здания, — и лишь под конец, когда полностью готов фундамент, стены и крыша, и убраны леса, и даже нанесена штукатурка, в нём взмётывался художник, и в быстром, пленительном упоении он принимался играть, работать словом, писать словесными красками.

Он не только был перфекционист во всём, что касалось формы произведений, он ещё имел убеждения, довольно жёсткие и обязывающие,

---

[51] Примечания: 51
Cantos, IV.

в части сюжетов. Он полагал, например, что английская драматургия поднимется на новый уровень, если сознательно станет браться за большие темы, темы, обладающие общественной значимостью и философским весом. Разумеется, он не был предшественником так называемой «социально-ангажированной» драмы с её сиюминутными задачами — его волновало честолюбивое проникновение в неведомые пределы, битва больших смыслов. Слишком часто современное искусство вещало о самом себе, отдавало излишней интравертированностью, а то и нарциссизмом. К Александру внезапно стали относиться как к видному драматургу, эта мгновенная слава застала его врасплох, поколебала его привычки. Весь круг людей, с которыми он состоял в переписке, — литагенты, режиссёры, группы актёров, журналисты, студенты, преподаватели — воспринимали его как крупного автора и с нетерпением ждали, какова же будет его следующая вещь. Поскольку настроен он был самым серьёзным и нравственным образом, эти чужие ожидания лишь усугубляли его беспокойство по поводу будущего сюжета. Какое-то время он поиграл в уме с эпохой Мюнхенского договора, когда принимались — причём не всегда

верно — решения, обусловившие сегодняшнюю жизнь в его мире. Однако ощутил, что, возможно, события 1938 года кажутся всё ещё слишком близкими, чтобы отчётливо их разглядеть, слишком крупными, злыми и сложными — чтоб нанести их художественным слоем. (Подобная точка зрения может показаться странной в более позднее время, когда Фолклендская война, не успев закончиться, становится материалом для телефильмов, когда вдова убиенного президента изображается — при жизни — в полную величину в эпической картине на большом экране.) У Александра сложился было и другой план — соорудить пьесу о ложносолнечном времени перед Первой мировой. Спародировать поэзию пасущихся коровок, идиллию зелёных лужаек перед домом приходского священника, восторг лисьей охоты и, наконец, любовную романтику. Процитировать стихи «окопных поэтов»[52]. Но и это намерение дало осечку, то ли вмешался долг гостя Ма-Кабестань перед трубадуром, то ли, от здешнего солнца и вина или просто от большого расстояния, английские лужайки уплыли куда-то в безвестную даль.

---

[52] Примечания: 52

У. Оуэн, А. Розенберг, Р. Олдингтон, Д. Г. Лоуренс, З. Л. Сассун.

И был у него ещё один, странный замысел, который поначалу подступил несмело (особых намерений или желания писать об этом у него не было), — но теперь всё более навязчиво завладевал всем его сознанием. Ему вдруг пришла блажь: облечь в ткань драматического действия размолвку между Полем Гогеном и Винсентом Ван Гогом, в стенах Жёлтого дома в Арле.

Работа началась, подобно робким поползновениям Фредерики на прозу, со своего рода экскурсии. Он съездил в Арль, прошёлся по римскому некрополю Алискампу. Жёлтый дом не уцелел, его поглотила железная дорога, однако малопримечательная, неопределённая территория между железной дорогой XIX века и древнеримскими саркофагами в их «Елисейских полях» — сохранилась. Ван Гог поделил свою картину «Жёлтый дом» по диагонали мягкой, грязновато-коричневой линией — та же самая линия, глинистый валок отсутствующей канавы, до сих пор присутствовала в действительности. У Кроу было новое издание писем Ван Гога в переводе на английский, Александр одолжил эту книжку и почитывал её в постели. Нашёлся и экземпляр гогеновских записок «Avant et

Après»[53], где эпизод в Жёлтом доме изложен с точки зрения Гогена: попытка высокомерной снисходительности мешается у Гогена с каким-то тревожным заискиванием в будущем читателе, чтоб мир, чего доброго, не обманулся по поводу того, кто из двоих главнее, кто влиятельнее, кто великий художник.

Порыв перенести эти события на сцену возник у Александра, когда он прочёл у Ван Гога описания «электрических» ссор между двумя живописцами. Они начали спорить об искусстве. Отправились в Монпелье и повздорили из-за картины Рембрандта. «Споры наши несут *избыток электричества*. Порой мы выходим из них с усталыми головами, подобно электрическому аккумулятору после разрядки»[54]. Взаимоотношения Ван Гога и Гогена и впрямь пронизаны электричеством, — кажется, что-то буквально потрескивает и сверкает, в мозгу и в теле Ван Гога. Гоген пишет Ван Гога, пишущего подсолнухи. Потом Ван Гог скажет об этом портрете: «Лицо моё с того времени посветлело, но всё-таки и тогда это был настоящий я, ужасно в ту пору усталый и

---

[53] Примечания: 53
«До и после» *(фр.)*.

[54] Примечания: 54
Письмо Тео Ван Гогу, Арль, 17 или 18 декабря 1888 г.

заряженный электричеством»[55].

Гогену становилось не по себе. Иногда он просыпался ночью и видел, что Винсент стоит подле его кровати. «Между двоими, один из которых (он) — извергающийся вулкан, а другой (я) тоже кипит, но внутри, — в некотором роде готовилась борьба…» — поведает Гоген в воспоминаниях[56]. Наступает лавина рождественских событий: Ван Гог угрожает Гогену на улице бритвой, ухо отрезано, Гоген поспешно уезжает, Винсента заточают. В лечебнице для душевнобольных душа его вновь оказывается во власти некоего христианства, гнетущего толка. Беспокойство за Гогена, христианская о нём забота лежат на поверхности писем, которые он шлёт Тео, описывая бегство Гогена, слишком много внимания уделяя фехтовальным маскам и перчаткам Гогена, что остались в Жёлтом доме… Но в глубине писем — ярость и унижение. Винсент и сам страшится той неблагой религиозной истовости, которая нарастает в нём заодно с безумием:

…Я, с моей нынешней душевной болез-

---

[55] Примечания: 55
Письмо Тео Ван Гогу, Сен-Реми-де-Прованс, 10 сентября 1889 г.

[56] Примечания: 56
Avant et Après, p. 15.

нью, часто думаю о множестве других художников, испытывающих страдания душевные, и говорю себе, что это не должно мешать исполнять звание художника, как если бы не было этой помехи.

Когда я вижу, что мои приступы здесь склонны приобретать нелепый религиозный характер, я почти убеждаюсь в *необходимости* вернуться на север[57].

Он боялся, особенно в Рождество, что вновь придут к нему отчаяние и ужасные видения.

Во всём этом была подлинная драма. Положение Винсента как козла отпущения или демона:

Некоторое количество здешних жителей обратилось к мэру (зовут его, кажется, Тардье) с заявлением (более 80 подписей), где указано, что я — человек, недостойный жить на свободе, или что-то наподобие этого.

После чего не то комиссар местной полиции, не то окружной комиссар распорядился вновь меня поместить в психиатрическую больницу.

---

[57] Примечания: 57
Письмо Тео Ван Гогу, Сен-Реми-де-Прованс, 10 сентября 1889 г.

…Пишу тебе в полном присутствии духа, не как умалишённый, а как прекрасно тебе знакомый брат[58].

И злая обида, невольная, на судьбу, средь отчаянных попыток удержаться по безопасную сторону границы между разумом и безумием… В ответ на рассказ Тео о хитросплетениях брачного договора — считалась бы его невеста наследницей, если б он скончался до свадьбы, Винсент бросает — «отшпилил бы её заранее, да и дело с концом»[59]. Через полгода: «Я так рад, так рад, что, хотя здесь у меня порой в еде тараканы, дома у тебя жена и ребёнок»[60]. Вся эта надсада так очевидна, так объяснима…

Воображением Александра завладел соломенный стул с картины «Стул Ван Гога с его трубкой». Близкими родственниками, вернее, потомками, правда, неясно, в каком колене, ему доводились два стула в этой келье — такие же соломенные

---

[58] Примечания: 58

Письмо Тео Ван Гогу, Арль, 19 марта 1889 г.; части письма автором (А. С. Байетт) немного переставлены.

[59] Примечания: 59

Письмо Тео Ван Гогу, Арль, 3 февраля 1889 г.

[60] Примечания: 60

Письмо Тео Ван Гогу, Сен-Реми-де-Прованс, 14 или 15 июля 1889 г.

сиденья, та же прямая спинка, лишь жёлтый лак отдавал меньше в лимон, имел чуть красноватый оттенок.

Как оказалось, портрет стула создан вскоре после панического бегства Гогена (в письмах с ним «рифмуются» — фехтовальные перчатки), в качестве пары к пустому креслу Поля («Кресло Гогена»). Пустое кресло, вполне себе импозантное, с подлокотниками, написано в темноте на фоне зелёной стены, ярко освещённой лампой (как любил говаривать Ван Гог, «ночной эффект», *effet de nuit*). «Это этюд его кресла, тёмного красно-коричневого дерева, сиденье же из зеленоватой соломы, а на месте отсутствующего — горящая свеча, да несколько современных романов»[61]. Романы, брошенные небрежно, для Ван Гога, как и для Генри Джеймса, содержали намёк на французские шалости. Для Ван Гога, кроме того, они ассоциировались с жизнью. Когда умер отец-пастор, Винсент написал его массивную Библию, написал сумеречно, с двумя погасшими свечами, не сразу и заметишь, что у подножия Писания приютилась тоненькая жёлтая книжица — роман Золя «Радость жизни». В Париже, учась цвету

[61] Примечания: 61

Письмо критику Альберу Орье, Сен-Реми-де-Прованс, 9 или 10 февраля 1890 г.

вместе с Тео, он создаёт прекрасный «Натюрморт с книгами», россыпь парижских романов в лёгких жёлтых обложках на ясном, сияюще-розовом фоне. (А за ними, в воображении — тяжёлые тома, тускло-пыльные, поеденные червями, с аллегорических натюрмортов голландских мастеров, напоминавшие о суетности, тщете человеческих желаний, о смерти.) «Кресло Гогена», осознал Александр, с его ночной палитрой красновато-коричневых и мрачно-зелёных оттенков, со всем его «ночным эффектом» освещения, напоминает непотребное «Ночное кафе» (и — косвенно — бордели, куда двое художников являлись столь часто за натурой, право, за чем же ещё? — бордели, бывшие сценой триумфов Гогена и неудач Винсента). В «Ночном кафе», говорит Винсент, «я попытался выразить посредством красного и зелёного ужасающие страсти человечества»[62].

А что же соломенный стул? Синий цвет, жёлтый цвет образуют цветовой контрапункт. Чист соломенный стул, спинка его бесхитростно-пряма, и не свечка колом стоит на его сиденье, а лежит понурая, погасшая трубка. Что же это — свет тихий, чистота, обретённая чудом нормальность?..

---

[62] Примечания: 62
Письмо Тео Ван Гогу, Арль, 8 сентября 1888 г.

В Сен-Реми, в монастырской больнице, он опять напишет этот, но уже словно тлеющий стул, на котором сидит старик в светло-синей одежде — *сокрушённый*, уронивший голову на руки — подле хрупких веточек пламени. В этих образах — то, чего сам Александр желал для своих творений, но пока не сумел им дать: высшая правда, высшей правды. Художнику же оказалось под силу сотворить из красок стул, который стал *словом* Винсента, вместившим его оторопь и надежду, и подспудные мысли о культуре Европы, о севере, юге, о самой Церкви. Соломенный стул — антипод безумных мессианских голосов и видений…

Голова писателя — вместилище тем и мотивов. Вышагивая по дорожке огорода Кроу, то подходя к водяному резервуару (где поныривали на редкость крупные шарики-головастики с малодвижными губками, но проворными хвостиками), то отдаляясь от него, Александр иногда изумлялся причудливому контрапункту, звучавшему в голове. Сердце Кабестана, ухо Винсента, глотки солдат, схвативших иприта, маки, проросшие, по слову поэтов Брука, Маккрея, меж солдатских могил в полях Первой мировой, дама сердца трубадура, будто роза иль ночная фиалка, ирисы Ван Гога, ярость, ревность, боязнь, ярости и ревности

боязнь, ужас, праведный гнев, святая жалость — всё это ему блазнилось и пело одновременно. Иногда же, перед четвёртым или пятым бокалом «кот-дю-рон», который положит предел мыслям, он думал с чувством смутной вины — о полях Фландрии, с чувством бессилия — о лесах, где рыщут волки, и с особенным, соблазнительным, тайным восторгом, с приливом сил из неведомого источника в душе — о холодном бахвальстве Гогена и о двух голосах Винсента. После этого он чаще всего отправлялся на боковую. Порою же сочинял и записывал строки стихов о цвете в живописи. И совсем, совсем не думал о Фредерике Поттер. Ибо, хотя и искал время от времени утех, Эротовы стрелы ранили его редко.

Самым восхитительным в Ма-Роз была подача воды. Вода истекала из источника выше по склону. Гримо показал Фредерике, как, соорудив плотинку из сланца и приспособив камень в качестве задвижки, он направил чистую воду в летнее русло, выложенный из камней жёлоб, который шёл обок дома и, завернув вдоль фасада, проводил воду буквально у плитняковых ступеней крыльца. Здесь они и мыли керамические изделия из городка Валлорис — тарелки цвета золотистого мёда и кофейные чашки, сюда, прямо в

бегущую струю воды, окунали (и затем отряхивали) салат и персики. Дом был выкрашен розовой побелкой и как бы встроен в склон холма. Фредерика спала в крошечной чердачной комнате без оконец, где помещалась походная раскладушка да её чемодан, больше ничего. Ночью она читала, светя себе фонариком, и открывала дверцу, выходившую на песчаный склон холма. Воздуха на чердаке было маловато, и за день он накалялся через крышу. Войско муравьёв неустанно маршировало по полу под её изголовьем и обгрызло все кромки лежавшего там грязного белья своими несметными челюстями. Кричали совы, стрекотали цикады. Тонко зудевшие комары кусались, превратив лицо Фредерики в некое распухшее, розово-шишковатое подобие её самой, так что могло показаться, будто она пала жертвой угревой сыпи, от которой на самом деле её хранила сухость кожи и, возможно, некоторая сухость натуры.

Лучше б вовсе не встречаться ей в Авиньоне с Александром. Она не была наделена его спокойной отстранённостью, да и не пожелала бы её иметь, свято веруя в слова лорда Байрона из «Дон Жуана»: «Любовь мужчины — жизни часть отдельна, / Одной лишь ею женщина жива».

Она переселилась куда-то в облака и смутно, в полвзора, наблюдала оттуда гору Ванту, керамические изделия из Валлориса, ежевечернюю игру в шары на неподвластной времени деревенской площади. Мари-Клер, Моника и она сидели под платанами разморённые, хмурые, ушедшие в себя, лишённые грации, зато Поль-Мари так и прядал за чешуйчатыми шарами, вереща, точно белка, — месье и мадам Гримо, потягивая белый портвейн, наблюдали за своим отпрыском в восхищении…

Как-то во второй половине дня, когда она уже оставила всякую надежду на появление *гостей* и меланхолично взбивала на крыльце соус айоли, вдруг раздался отдалённый, поначалу еле слышный треск колёс по камням, и в следующее мгновение в большом расстоянии на склоне холма замаячил маленький знакомый мотоцикл, он спускался вниз по серпантину, две круглые муравьиные головки шлемов раскачивались и подпрыгивали согласно. Временно скрывшись за оливами, он вскоре вынырнул, уже ближе. Фредерика прижала масленую ступку к груди. Мари-Клер прыснула со смеху. Мотоцикл между тем подкатил уже под дерево во дворике.

— Фредерика, детка, что ты сделала с лицом?

Надеюсь, мы кстати. Какое божественное место. Да поставь уже эту ступку, всю красоту платья попортишь. Я привёз Кэролайн, она сегодня не с похмелья.

Ну да… Какой уж там Александр…

Подружка Уилки, как её всегда называла Фредерика в мыслях — (он ведь сам сказал тогда, в Скарборо: «Есть у меня подружка…»), — огладила раздутую ветром юбку вокруг тонких коричневых ног и выпростала из круглого футляра свою ежиную головку. Месье Гримо между тем явился с огорода, расположенного выше на склоне, где благодаря всё той же умно подведённой воде получал отменные помидоры, кабачки, перцы, бобы и салаты. Радушно протянув Уилки огромную ладонь, он тут же пригласил гостей налегке отобедать.

Фредерика задумалась, знает ли Кэролайн про дело в Скарборо и, если да, по какому разряду оно проходит: шуточное или вечный повод для извинений? И как же всё-таки славно, что она, Фредерика, ничьей «подружкой» не является; хотя в присутствии Каролайн, подружки со стажем и кембриджской второкурсницы, чувствуешь себя скованно. Особенно зная про свой страшноватый вид: к груди присохло жёсткое, но липкое

оливковое масло, волосы от жаркого солнца превратились в «мелкий бес», лицо в комариных укусах вообще похоже на чёрт знает что.

Уселись есть во дворе: колбаски с соусом айоли, овощи и салат, молодой сыр нескольких видов и совсем молоденькое вино «Жигондас», с грубым характерным вкусом, неудобоваримое, чернильно-лиловое. Уилки пустился в расспросы о природном парке Камарг (оказалось, что у Гримо один из кузенов владеет там поблизости небольшим имением), затем вежливо осведомился у Мари-Клер и Моники об их успехах в науках и в целом за полчаса общения дал всем больше полезных сведений, чем Фредерика за несколько месяцев. С большим аппетитом он поедал айоли, вылоснив жёлтым свой пухлый, но отнюдь не безвольный подбородок. В детстве, бывало, в солнечный день, вспомнила вдруг Фредерика, подносили свежесорванный цветок лютика кому-нибудь к подбородку, на кожу ложился жёлтый свет, и говорили — много масла ел…

Немного резковато Фредерика говорила с Кэролайн. Про Кембридж гостья заметила: так себе местечко, на одиннадцать студентов — одна студентка. Уилки — гений — сдал без всякого труда на степень бакалавра с отличием, но всё ещё

думает, не пожертвовать ли дальнейшей учёной карьерой ради театра. «Он ведь такой, всегда пытается усидеть на двух стульях», — говорила Кэролайн, наблюдая, как её друг поглощает оливки с редисом и багетом.

— Разве мы не все пытаемся это сделать? — спросила Фредерика с сухой усмешкой. — Какие у вас, кстати, дальнейшие планы? Свадьба?

С её стороны это была преднамеренная бестактность.

Кэролайн ответила вполне благодушно:

— Ну, не всё же сразу. Пусть Уилки прежде решит, хочет ли продолжать дальше в Кембридже.

— Пусть бы продолжал, — сказала Фредерика. — Хоть один знакомый у меня там будет.

— Что такое, о чём разговор? — навострил ухо Уилки.

— Останешься ли ты в Кембридже, — объяснила Фредерика.

— А ты как думаешь?

— Надеюсь, что да.

— Ну, если ты надеешься… — ухмыльнулся Уилки, — то, скорее всего, так и будет.

Кэролайн слегка скуксилась. Но это не могло отравить Уилки радость от пребывания здесь в качестве главного гостя. Он отведал вишню

в коньяке, затем с восторгом осмотрел систему орошения огорода Гримо. Прохаживаясь среди олив, он игриво переговаривался с Фредерикой, Кэролайн, Моникой и Мари-Клер, одновременно успевая обменяться умными репликами с хозяином о фольклоре и народном искусстве Прованса. Уже готовясь к отъезду, спросил: не возражает ли месье Гримо, если Фредерика на следующей неделе побывает на пляжном пикнике в Сент-Мари-де-ла-Мер? Гримо ответил, что всегда рад сделать приятное своей английской помощнице, лично доставит Фредерику и заберёт обратно, а в промежутке навестит кузена в его имении.

6
Морской пейзаж

Когда Фредерика прибыла на пляж в Сент-Мари-де-ла-Мер, участники пляжной вылазки уже расположились на месте, причём довольно живописно. Они устроились поодаль от других групп, которых в 1954 году на берегу было немного. Ориентиром импровизированного лагеря служила большая рыбацкая лодка, дававшая частичную тень, вокруг брошены яркие холщовые сумки и плетёные корзины с провизией. Нынешние лодки совершенно не отличались от тех, которые застал Винсент Ван Гог, проведший здесь две недели в июне 1888 года, и какими он их написал — красными да синими, зелёными да жёлтыми; каждая из них имеет цветную, стройно стоящую, хоть и хрупковатую на вид мачту с наклонной реей, один конец реи толст, другой же тонок, и скрещение этих рей весьма причудливо рисуется на фоне неба в барашках кучевых облаков. Обводы лодок, изящные и выразительные, врезаются в память посильнее кипарисов и даже соломенного стула. Возможно, примерно такими же были

они и за много веков до Ван Гога: их круглый глаз с круглым же веком, выведенный белой краской по обе стороны высокого носа, не сулил ли удачу ещё финикийцам? Фредерика принялась читать названия близ носов: *Désirée, Bonheur, Amitié*[63]. По этим именам она потом вспомнит вид и цвета лодок. Слова для неё — первичны. Она стояла у подножия голых дюн, крепко держа в руке плетёную сумку с купальником и томиком Смоллетта. (Явившись из песков, Уилки уже договорился с месье Гримо о том, когда Фредерику возвратят.)

В коллективном отдыхе всегда есть что-то настораживающее; Фредерика не надеялась получить удовольствие от пикника. Скорее отважно, чем радостно она стала приближаться к группе англичан, разместившихся вокруг лодки. Что это были англичане — несомненно, хотя откуда такой вывод, сразу и не поймёшь. Сияюще-загорелые, изящно одетые (вернее, едва одетые) люди… Впрочем, под коричневым загаром словно бы проглядывал иной, более бледно-розоватый тон кожи, да и в самом этом — английском? — типе словно бы ощущалось, как ни невероятно это звучит, нечто первично-

---

[63] Примечания: 63
«Желанная», «Счастье», «Дружба» *(фр.)*.

неиспорченное, одним словом говоря, *не здешнее*. Они возлежали на боку, опершись на локоть; или лежали звёздами, ничком, животами в песок; кто-то гладкой головой — к гладкой голове; чья-нибудь тонкая коричневая рука подносила сигарету к накрашенному рту, и струйка малахитового дыма подымалась в воздух, который здесь был не тонким, жгуче-кобальтовым, как в окрестностях Оранжа, а этаким жемчужно-сливочно-золотым, увесистым, мягким и волнистым, словно бледный песок, словно само лежащее за песком, туманное, зеленовато-песочное море. Эти человеческие фигуры, в отличие от высоких лодок, не имели чётких контуров, казались яркими, но как бы размытыми пятнами цвета, словно это песок сообщил им свойство мягкости.

Двое незнакомых ей мужчин были в синем, кожа одного из них, худощавого, имела желтовато-коричневый оттенок, в тон песку, лишь потемнее, иссиня-чёрные волосы гладко спадали на один глаз, а плавки на нём были тёмно-лазурные. Другой, пополнее, берёг свою малозагорелую кожу и потому сидел в тени лодки, прислонясь к борту спиной, на нём шорты вайдового синего цвета и небесно-голубая поплиновая рубашка. В половине расстояния между ними, золотисто-

тёмная, тёмно-золотистая и отчаянно-розовая, возлежала леди Роуз Мартиндейл, в высшей степени вещественная, но никоим образом не бесформенная и не толстая, вполне себе фигуристая, в шёлковом купальном костюме в розовую и коричневую полоску, её золотистые волосы мягко разметались по коричневой плоти плеч, фрагментики беловатого песка пристали к мерцающим бёдрам, там, где при перекатывании с боку на бок они касались пляжной поверхности. Мэттью Кроу и Антея Уорбертон лежали параллельно, Антея могла показаться бледноватой лишь в сравнении с умброй леди Роуз да с цветом Кроу, больше всего напоминавшим красную обожжённую глину. Можно было подумать, что подобному обжигу он подверг себя, вопреки естеству, лишь посредством воли и хитроумного плана: его херувимско-розовая кожа, коричневея, просто обязана была облезть, явив малиновые пятна, но Кроу непонятным образом заставил загар цепко держаться, даже на лысине (тончайшим сияющим слоем) — и вышел весь целиком как есть терракотовый. Его плавки, почти терявшиеся в складках живота между бёдер, были красновато-лиловыми, и этот цвет не торжествовал над и не пасовал перед новообретённым

цветом тела, который чуточку царапал-таки глаз. Антея лежала в позе танца на складках горячего песка, волна её бледно-золотых, прелестных волос, омывавших дивный профиль на голубовато-зелёном, цвета утиного яйца, купальном полотенце, красиво отбилась на сторону, будто развеваемая ветром, цвет загара Антеи был темнее её локонов, все её восхитительные косточки — ключицы, запястья, коленки, лодыжки — подчёркнуты тенью и мерцанием бисеринок пота. Её купальное платье имело павлиновую расцветку, синее и зелёное чередовались в нём, точно рябь подсвеченного моря.

На границе этой круговой композиции помещались Уилки и его подружка, похожие на фотографические негативы. Маслиновая Кэролайн в белом бикини: кожа и волосы представились ослеплённой Фредерике одинаково тёмными. Уилки, ещё более густо-тёмный, прямо-таки сажистый, если не считать крошечного нескромного белого треугольничка, под которым находилось кое-что, да белых смеющихся зубов; свет отскакивал от его ярко-чёрных волос и от огромных солнцезащитных тёмно-синих очков-бабочек, в чьей непроницаемости отражалось жемчужное небо, жемчужный песок, жемчужное

море. Кроме Уилки, никто не взглянул на неё, лишь Уилки повёл головой в её сторону, да лодки уставились своими нарисованными финикийскими глазами. Казалось, странный серый прах сеялся из небес на сливочно-белый песок.

Она заранее положила себе быть покладистой, никому не мешать: хорошо бы (в этом заключался предел её мечтаний!) до конца дня остаться невспыльчивой, ничего этакого не наделать, ненароком не сломать.

— Ну вот и Фредерика, — сообщил Уилки, обращаясь к Кроу.

Двое синих незнакомцев подняли руку в знак приветствия, один апатично, другой более решительно. Мэттью Кроу сел и воззрился на Фредерику. Кэролайн кивнула и выдавила из себя еле слышные ползвука. Антея Уорбертон, откинув прядь-другую золотистых волос ото рта, проронила: «О, привет…» — но голос её словно мгновенно иссяк, завяз в густом воздухе.

Перед умственным взором Фредерики — как всегда быстрым и сметливым — мгновенно предстала та же картина, что и у Кроу перед глазами: худющая девица на фоне дюны стоит, скособочив тонкие ноги в практичных растоптанных сандалиях, из «деревенского» сарафана в цве-

точек торчат тощие плечи, под лямками — на маленькой груди — треугольные белые пикейные отвороты с двумя белыми же бантиками. Сарафан этот прост, но, увы, не потрясающе и не восхитительно прост; в городке Калверли, что в Йоркшире, он был бы хоть куда, в Ниме или Баржемоне — более-менее уместен, для этой же компании — попросту безвкусен. Волосы её и кожа за время пребывания на юге пробрели странный вид. Роскошные рыжие пряди, которые в постановке «Астреи» были вольно и буйно распущены по плечам, когда она металась по саду, а местный библиотекарь в роли Томаса Сеймура, хохоча, кромсал ножницами её белые бумажные юбки на сотню кусочков, — на жарком провансальском солнце стали сечься, путаться, лишились блеска. Причёска её сегодня похожа на толстое треугольное опахало, с имбирно-рыжей опушкой расщеплённых кончиков понизу. Кожа её на какое-то время — что для рыжей особы довольно странно — сделалась почти шоколадно-коричневой и гладкой как шёлк, но, поскольку рыжина-то была северная, к цвету загара вскоре прибавился красноватый оттенок, затем оттенок бычьей крови, после чего она облезла, крайне неровно: какие-то части оказались цвета подго-

ревшего тоста, какие-то — редисочно-алыми, на выступающих косточках проступили веснушки, и продолжали слезать во многих местах прозрачно-серые чешуйки… Когда-то, в день последнего представления пьесы, она заявила Кроу, что хочет стать актрисой, и он дал ей совет — обрести новое лицо. Это — свирепое, с истончившейся кожей, испещрённое зудящими следами комариных укусов — вряд ли таковым может быть.

— Здравствуй, Фредерика, — сказал Кроу с благожелательной улыбкой. — Я слышал, ты поступила в няни. По мне, так это невероятно. Что же ты стоишь, садись.

Фредерика села на песок. Все они здесь дышали медленно, кто закрыв глаза, а кто нет. Всё здесь было медленное-медленное: тянулось долгое мгновение, никто не произнёс ни слова.

— Ну, не в няни, если быть точной… — сказала Фредерика.

Никаких дальнейших расспросов не последовало, всем было всё равно, кто же она такая на самом деле. Кроу представил Фредерику леди Роуз (Роуз Мартиндейл дружила с Вирджинией Вулф и её мужем в последние их годы, а сейчас писала славную, изящную книгу о кошках), а также полному и худому незнакомцам: первый был

Винсент Ходжкисс, философ, второй — Джереми Нортон, поэт. Кроу поднёс зажигалку к очередной сигарете леди Роуз. Винсент Ходжкисс заметил приятным сдержанным голосом, что при таком свете трудно определять цвет предметов, так как воздух — жарок и сух, но при этом непрозрачен. Небо, море и лодки, живо отозвалась Фредерика, до страсти вангоговские. Да, но вот вопрос, сказал философ, видел ли их кто-нибудь такими *до* Ван Гога? О Ван Гоге, Фредерика, тут же вступил Уилки, тебе надо обязательно поговорить с Александром. А вот, кстати, сказал Ходжкисс, наш Александр — прекрасная иллюстрация к мною сказанному об эффекте освещения, который мешает правильно установить цвет; скажите на милость, какого цвета сейчас Александр, при этом свете? Фредерика, с самого начала успевшая про себя отметить, что Александра у лодки не видать, всё же послушно повела глазами по сторонам, по песку, по бесцветной дымке, словно тот мог возникнуть из них как мираж, — но Александра нет как нет! Мористее, подсказал Уилки, — и она устремила взгляд за песок, на воду, там — рукой подать от берега — покачивалась на якоре лодка *Stella Maris*, «Морская звезда», и на высоком гордом носу стоял он, Александр, бледный, почти

растворённый в бледном небе, лишь светилось треугольное золотистое пятно между чресл, не ренессансная позолота, а вангоговский хром, отдалённое солнце. Цвет его загара, если вдуматься, бледно-кремово-коричнев, точно пеночка на свежеприготовленном капучино, но и длинные тяжёлые волосы кремоваты, не намного темнее воздуха, в этих сквозистых лучах. Он как будто выждал чего-то, а потом нырнул в подвижную, непрозрачную воду, которая тут же от него разбежалась лучами, будто россыпью засверкали драгоценные камни, опалы, изумруды, что ещё там бывает, лазуриты, рубины, сапфиры, словом, всё то, что увидел в этом же, ночном, звёздном, небе, море Ван Гог в июне 1888 года[64].

Уилки спросил, с собой ли купальник? В ответ она шевельнула плетёной сумкой, которую, сев,

---

[64] Примечания: 64

«По небу глубокого синего цвета разбросаны были тучи ещё более синие, чем этот основной синий цвет, их тон был насыщенный кобальт, а у некоторых — более светлый, в голубизну, оттенок, точно белёсая синева Млечного Пути. На этом синем фоне ярко мерцали звёзды, зеленоватые, жёлтые, белые, розовые — более яркие и переливчатые, больше похожие на драгоценные камни, чем звёзды у нас дома или даже в Париже. Так что впору говорить об опалах, изумрудах, лазуритах, рубинах, сапфирах. Море — очень глубокого ультрамаринового цвета, песчаный же берег, с кустами, показался мне фиолетового и бледно-красного оттенка. На дюне (метров 5 высотой эта дюна) — кусты, прусская синь» (Письмо Тео Ван Гогу, Сент-Мари-де-ла-Мер, ок. 3 или 4 июня 1888 г.).

так и держала на коленях. Ну так искупайся, сказал Уилки. Она встала, сняла трусы, и прямо под сарафаном натянула свой тёмно-коричневый купальный костюм, как это обычно делала на пляже в Йоркшире, а потом стянула через голову сарафан и одновременно облачилась в верхнюю часть костюма. Она сознавала, что мимолётно показывает Мэттью Кроу спервa ягодицы, а потом и груди, но, впрочем, он ведь уже их видел, и не только видел (при обстоятельствах, о которых, наверное, ни ей, ни ему вспоминать незачем). По обжигающему песку — Уилки, как журавль, вытянул шею ей вослед — она направилась к воде. Александр плавал, поныривал вокруг лодки. Фредерика шагнула в воду, Уилки лениво пошёл по кромке песка.

Плавала она весьма неплохо. Она энергично направилась в сторону Александра, что казалось вполне естественным, ведь на всей плоской поверхности Средиземного моря эта рыбацкая лодка, стоявшая на якоре, была одним-единственным ориентиром, к которому и от которого можно плыть. Александр лежал на спине неподалёку от лодки, раскинув руки и ноги, его волосы в бледной зелёной воде извивались, точно листья растений. Пронырнув с пяток метров, Фредери-

ка оказалась в непосредственной его близости — на него вдруг прямо уставилось странное, коричнево-алое лицо, принадлежащее как будто отрубленной плавающей голове. Подтянув колени к подбородку, Александр ловко перевернулся на живот — теперь они лежали на воде нос к носу — и осторожно посмотрел на Фредерику. Фредерика не сводила с него глаз. У неё всегда была эта отвратительная привычка — возникая из ниоткуда, снедать его упорным взглядом. Так случилось однажды посреди Гоутлендской пустоши, когда он возжелал Дженни на заднем сиденье автомобиля, а лицо Фредерики вдруг прилипло снаружи к стеклу. Так случилось, когда Фредерика, сидя в Лонг-Ройстон-Холле на коленях у Кроу, под огнём внимания Кроу, озарила вниманием Александра, нечаянно заглянувшего внутрь с веранды. И вот теперь снова — в этом сонном, цепенеющем море парка Камарг, в устье Роны…

— Итак, ты здесь, — констатировал Александр, не выказывая ни раздражения, ни приязни.

Взгляд Фредерики по-прежнему неумолим.

— И надолго ты сюда?

— Позвали на этот пикник.

— Ясно.

— Ты хотел бы, чтоб я поскорее удалилась?

— Не особенно.

— Вот и хорошо, — по-прежнему не сводя пристального взгляда.

— Чего б я точно хотел, чтобы ты перестала на меня пялиться. Это невежливо. Мне всегда было от этого не по себе.

— Я же не нарочно. — Фредерика перекувырнулась в воде, высунула голову, отряхнулась и сказала, обращаясь к «Морской звезде»: — Просто мне нравится на тебя смотреть, вот в чём дело. Сам знаешь.

По коже у Александра пошли мурашки, может быть приятные. Чтобы замаскировать своё странное чувство, он сказал:

— Ты ужасно обгорела. Почему тебя никто не предупредил? С твоей-то кожей.

— Предупреждали. — Чёрно-оранжевый череп ухмыльнулся. — Это не сразу случилось. Сначала я была гладенькая, как негритянка. Потом облезла. Я думала, это уже всё. Оказывается, ещё нет. Выгляжу ужасно, пардон. К тому же комары.

— Моего-то носа комар не подточит, — важно отозвался Александр; стоило ему только дать Фредерике втянуть себя в разговор, он начинал балансировать между тоном доброго дядюшки и какой-то детскостью и ещё чем-то третьим,

непонятно чем.

Он направился к лодке, подтянулся, закинул себя за борт. Хотел нырнуть ещё раз, прежде чем она, упрямо за ним следуя, окажется в лодке. Но увидел, что она уже у борта, и подал ей руку. Бок о бок они уселись на горячую банку, с них стекала морская вода, солнце начинало печь кожу.

— Как ты тут, поживаешь в своё удовольствие? — спросила Фредерика.

— В целом. В целом, да. Разумеется.

— Пишешь что-нибудь?

— Не так много, как… Пишу, конечно. Но всё что-то не то. Или мне кажется, что не то и не так.

— А что не то и не так?

— Ох, Фредерика, Фредерика. — Он поёрзал влажным задом, доски тихо жамкнули. — Может, хватит уже меня допрашивать на купальном мероприятии?

— Я не допрашиваю. Я хочу знать. Я редко тебя вижу. Правда, хочу знать. Почему мне сказали, что ты должен мне рассказать о Ван Гоге?

— Кто сказал? Вообще-то, да. Может быть, расскажу, — добавил он обречённо, уже вставая. — Но сейчас хочу поплавать.

— Можно с тобой?

— Разве ж тебе запретишь?..

Он нырнул, вынырнул и поплыл. Бросил взгляд через плечо — чисто, без всплеска, пусть и не изящно, она вошла в воду. Её странная физиономия напомнила ему что-то, но вот что? Её словно освежевали, сняли кожу полосками… Тигр, о тигр… Нет, не тигр, несмотря на неумолимый взгляд. Всё-таки ближе к обезьяне. Ну вот. Здесь, в Сент-Мари-де-ла-Мер, он думает о ней, о Фредерике Поттер!.. Он по-прежнему полагал, что в ней кроется ошибка, досадная помеха. Она вынырнула сбоку, уверенно забарахталась, как терьер.

— Значит, ты пишешь о Провансе?

— Не совсем. Я не ставлю этой цели. Не совсем о Провансе. Послушай, Фредерика, ну сколько же можно, почему просто не получать *удовольствие*.

— Я и получаю, — отвечала она правдиво.

Они медленно, степенно поплыли вдвоём вокруг лодки. Без всяких игр в воде (у него не хватило бы духу). Но когда он стал возле носа поворачивать, то пришлось ему чуточку сгорбиться, чтобы разминуться под водою с канатом, и тогда она оказалась очень близко — и где-то там внизу, под водой, бесцветной, многоцветной, они невесомо задели друг друга нагим бедром. Между ними по-прежнему жило… оно. Непонятное

электричество. Так подумалось им обоим, ей — с жадным трепетом, ему — с тревогой, с чувством повреждения своей целостности, с животным желанием самосохранения. Вот она смешливо что-то проговорила, не разобрать.

— Что-что? — переспросил он.

— Дельфин. Ты как дельфин.

— Я люблю дельфинов, да.

— Я тоже. Они поют. Мелодически свистят, посылают эхо-сигналы. Я их как-то слышала по радио.

— Фредерика, почему ты не можешь быть просто *здесь*? Здесь и сейчас.

— Потому что я думаю. *Должна* думать. Как, наверно, и ты.

— Нет, увы. К стыду моему. Думаю мало и не о том.

Но разумеется, он думал. Думал, как славно было бы рассказать ей о «Соломенном стуле». Ведь в чём основная трудность? В том, что все его пьесы цепляются друг за дружку. Эта трудность её, конечно бы, заинтересовала, она сразу бы поняла, в чём загвоздка. Он перевернулся на спину и поплыл прочь от лодки, к берегу, резкими, плескучими гребками. Она плыла следом, не вторгаясь в радугу его брызг. Уилки лениво

полёживал на мелководье, вяло взмётывал то одну руку, то другую; он, конечно же, видел все их водные танцы вокруг лодки и чему-то своему улыбался. Подружка Уилки между тем вскоре прокричала у кромки воды, что обед, зовут всех обедать.

Обед был прекрасен: порции холодного омлета с пряными травами, сырокопчёный окорок, огромные спелые помидоры с колоритными втяжками у хвостика, как у тыквы, морщинистые, лоснящиеся маслины с чесноком и перцем, довольно острые. Много красного вина «Кот-дю-Ванту». Чудесный хлеб с корочкой. Пикантный свежий козий сыр. Арбузики из городка Кавайон, снаружи зелёно-золотистые (как змеи из мифов и легенд), с красно-оранжевой мякотью, в которую, ловко проделав скважинки, Кроу с видом священнодействия залил розовый мускат «Бомде-Вениз». Не обошлось, конечно, без отдельных песчинок во всём этом великолепии; да ещё жужжали и атаковали три или четыре грозные осы, с налёту прямо-таки вгрызаясь в мясо и фрукты. Фредерика выпила немало вина и по большей части молчала, переводя взгляд с одного говорившего на другого, а те возлежали, лениво, но цепко перебрасываясь мыслями. Её любопытство

было обострено, но, по правде сказать, чужая беседа поглотила её внимание не всецело, куда больше её интересовал Александр. Он лежал на солнце рядом с Мэттью Кроу и леди Роуз, а не с Фредерикой и, судя по всему, слушал в оба уха. Разговор шёл в основном между Ходжкиссом, Уилки и Кроу и касался восприятия цвета и представления цвета. Ходжкисс писал об этом работу по эстетике, а Уилки был автор эксперимента с радужными очками. В настоящий момент Уилки смотрел на лодки Ван Гога, молочное море и небо сквозь карминовые линзы, в этом Фредерике почудилось нечто извращённое, хотя и разбирало любопытство, а как же, собственно, выглядит в них этот пейзаж, не хватало лишь духу попросить их на минутку.

Ходжкисс и Уилки обсуждали природу цвета. Манера философа, весь оксфордский облик его речи, с подчёркнутым проглатыванием отдельных слогов, но зато повсюду торчавшим словом «некий», не слишком понравились Фредерике. У него был голос изможднного меланхолика и тело ловкого, внимательного крепыша. Последнее время, рассказывал Ходжкисс, он читал заметки Людвига Витгенштейна, который незадолго до смерти работал над важной проблемой

— как личный чувственный опыт цветовосприятия соотносится с универсальным языком цветообозначений. Первое, утверждает Людвиг, передаётся посредством второго. Витгенштейн пишет о *математике* цвета, *Farbmathematik*: ощутив цвет, индивид затем узнаёт, что такое насыщенный красный или жёлтый, точно так же как узнаёт формулу площади круга. Кроу ввернул, что художники-символисты во времена Ван Гога считали, будто есть универсальный язык цвета, первичный язык, божественный алфавит форм и цветов. Да, да, что-то вроде этого, подтвердил Ходжкисс, кстати, Витгенштейн задавался вопросом, а нельзя ли создать естественную историю цвета, наподобие естественной истории растений, и сам же себе отвечал: естественная история цвета, в отличие от истории растений, находится *вне времени*. Александр заметил, что Ван Гог в своих письмах на французском языке очень редко грамматически согласует цветовое определение с существительным. Поэтому термины цвета у него как бы становятся вещами более реальными, чем предметы, которые они определяют, это уже не часть примитивного вещного мира капусты и груш, а своего рода модель вечных форм из идеальных сфер — жел-

тизна, фиолет, синева, оранжевость, краснота и зелень как таковая. Уилки сказал, что, по данным психологов, определённые цвета производят определённое воздействие на человеческий организм: красный, а также оранжевый и жёлтый увеличивают мускульное напряжение и уровень адреналина, тогда как синий и зелёный снижают температуру тела и замедляют сердцебиение. Далее разговор перешёл на манеру людей соотносить цвет и смысл.

Кроу вспомнил занятное место у Марселя Пруста, где тот связывает гласные звуки с тем или иным цветом. Пруст утверждает, что звук «и» — красный, по крайней мере в любимом имени Жерара де Нерваля — Сильвия[65].

Ну нет, молвила леди Роуз, «и» — это льдисто-синий звук; а Антея возразила — скорее уж серебристо-зелёный! Кроу объяснил, что интерес женщины к цвету, скорее всего, зависит от того, насколько удачно тот или иной цвет помогает ей

---

[65] Примечания: 65

Сильвия — героиня одноимённой новеллы Жерара де Нерваля из книги «Дочери огня» (1853). В статье «Жерар де Нерваль» Пруст пишет: «Цвет Сильвии — пунцовый, это цвет розы пунцового или пурпурного бархата, никак не акварельных тонов… умеренной Франции. Немедленно красным сполохом отзываются — стрельба, красные шейные платки и проч. Даже само это имя подсвечено пунцово, благодаря двум своим „и“ — *Сильвия*, истинная дочь огня» (цикл Пруста «Против Сент-Бёва», 1895–1900).

преподнести своё тело, да и жилище женщина украшает так, словно речь о её собственном цвете кожи или глаз. А что думают все остальные о звуке «и», он какой? — спросил Кроу. Ходжкисс ответил: звук «и» почему-то заставляет вспомнить сравнение у Генри Джеймса — про платье Сары Поккок сказано, что оно «алое, словно вопль человека, пробившего своим падением стеклянную крышу». Джереми Нортон сказал: «Звук „и“ — серебряный». Александр: «Шалфейный». Уилки: «Чернильный»; Кэролайн, себе под нос: «Зелёный». Фредерика сказала, что у неё отсутствуют связи между цветами и прочими знаковыми системами, будь то набор звуков языка или дни недели. Возможно, добавила она, обращаясь к Уилки, у меня нет не только музыкального слуха (помнишь, я тебе говорила?), но и чувства цвета. Всё же более вероятно, отозвался он, что у тебя низкая синестезия и сенсорные реакции рудиментарны, но их можно развить.

Джереми Нортон почти не участвовал в разговоре. Годы спустя Фредерика прочтёт его стихотворение об этом песчаном береге, изящное и лаконичное, где эпитеты цвета словно висят в пространстве, ещё только примериваясь к объектам; поэт как бы спрашивает: язык и мир

обещаны друг другу? Тогда, в день пикника, она подумала, что Нортон слишком похож на поэта, чтоб оказаться поэтом неординарным; парадокс был в том, что забраковала она и Ходжкисса-философа: тот мыслил неординарно, очень уж по-оксфордски великолепно — чтобы иметь ту заурядную внешность, которую имел.

Леди Роуз погрузилась в сон. Мэттью Кроу бережно и любовно пристроил ей поверх лица её соломенную, с колесо, шляпу. Антея попинывала песок прекрасными, подвижными пальчиками своей ноги. Девушка Уилки улеглась в тени лодки и Уилки затащила следом за собой, по-хозяйски положив руку на его потную талию. Кроу, откинувшись назад, тихонько захрапел. Антея принялась втирать масло себе в кожу. Александр, необычно оживлённый после еды, предложил отправиться на прогулку и сам не знал, радоваться или печалиться: его приглашение приняла одна Фредерика.

— Видела ли ты здешнюю церковь?

— Нет, я даже не знаю, кто были эти Сент-Мари, святые Марии. И почему их несколько.

Они перевалили через белую дюну, миновали какие-то белые домики. В то время Камарг не был ещё наводнён толпами туристов, из-за тле-

творного влияния которых здесь позже построят загоны в американском стиле для печальных табунов стреноженных, костлявых лошадей, воздвигнут сувенирные ряды, где станут продавать шляпы пастухов-гаучо, техасские сомбреро, различные фуражки, форменные и не очень (с изображениями Микки-Мауса или розовых фламинго). Не прикатила ещё сюда — вслед волне туристов, нагоняя и перегоняя её, — волна хиппи 1960-х годов; эти хиппи будут следовать толпой за цыганскими шествиями (о которых Александр минут через десять рассказал Фредерике), после чего встанут лагерем на этих девственных пляжах, будут здесь петь, курить, любить, гадить, и бледный песок сделается по всему побережью цвета дорожной грязи.

В 1960-е годы любое место, которое хотя бы приблизительно могло считаться отдалённым и экзотически-священным, заполонят орды искателей далёкого и экзотически-священного. В начале 1970-х Фредерика напишет статью о перенаселённости городов, о пережитках индивидуализма, о коллективном сознании и фестивале в Гластонбери. В 1980 году Стоунхендж окружат изгородью, как концлагерь, с той лишь разницей, что нельзя проникнуть внутрь; вскоре после этого некий

француз предложит оградить Сфинкса прозрачным пластиком, дабы он (она, оно) далее не разрушался (не разрушалась, не разрушалось). Мир станет таким, что уже нельзя будет никогда и нигде пройти спокойно, как прошли Фредерика и Александр в этот день по деревенской улице, где некогда бродяга Ван Гог втыкал в чистую пыль на обочине треногу своего мольберта.

После смерти Христа, рассказал Александр, Мария Иаковлева, Мария Саломеева, Мария Магдалина (в некоторых вариантах предания Мария Магдалина отсутствует) прибыли сюда из Палестины. С ними была и темнокожая служанка Сара (что ни одним из преданий не отрицается). К этой деревушке их прибило после долгих дней скитания по морю — без пищи, воды и вёсел! — что было, конечно же, настоящим чудом. Как было чудом и Сарино появление в лодке: Мария Иаковлева бросила на воду плащ, и Сара смогла прийти к ним по воде. Каждый год статуи этих святых, всех трех, несут к морю и ритуально погружают в воду; и каждый год сюда съезжаются со всей Франции цыгане, считающие темнокожую Сару своей святой покровительницей, и празднуют это омовение и чудесное новое рождение. Есть мнение, что в сознании цыган Сара связана

с их очень древним восточным божеством, Сарой Кали.

— А, так это Кали-разрушительница! — сказала со сведущим видом Фредерика (в действительности зная только само это ужасное имя и прозвище). — Одна из богинь, вышедших из моря. Как Венера. Теперь понятно, отчего говорят, что в странах Средиземноморья богини — одна другой краше. Ну ещё бы.

И всё-таки статуи Марий в церкви вызвали у неё — нет, не разочарование, а некое смятение. Сама церковь снаружи напомнила ей крепость, очень старая, суровая, высокая и квадратная. Внутреннее устройство было под стать, без затей, проход и поперечный неф, голые, ничем не украшенные каменные стены, и это приятно отозвалось в северной душе Фредерики — как *подобающая простота*. Однако натуре её совершенно претила атмосфера храма, где в тёмно-сумрачном, после солнца, воздухе плыли ряды свечей с хрупкими, остроконечными огоньками пламени и затейливые, смутно различимые фарфоровые, медные, картонные таблички благодарили такого-то, такую-то за щедрое пожертвование, а запах старинного камня скрадывался запахами старого воска и курений, ладана и мирры. Священные

скульптуры двух Марий стояли неуклюже, как будто наклоняясь с пьедестала, за перильцами. Лица обеих напоминали китайских кукол — умильные, круглые, розовощёкие; и у той и у другой на голове венец или венок из белых шёлковых шарообразных цветков, перевитых нитью жемчуга. Одеты они в платья из фуляра, одна в розовое, другая в бледно-голубое, с золотыми фалбалами, и газовые накидки. Обе улыбаются бездумно. Фредерике они неодолимо напомнили куклу Джейн, которая пялится, безжизненно прислонясь к кухонному буфету на картинке к сказке Беатрикс Поттер про двух нехороших мышек. То были первые подобные скульптуры святых, увиденные ею в Провансе: семейство Гримо, как и многие жители Нима, стойко придерживалось протестантизма. Фредерика вопросительно взглянула на Александра: где же, мол, темнокожая Сара?.. Она в крипте, сказал Александр. По ступеням они проследовали вниз.

Сара была совершенно иная. Её отчётливое, тёмное лицо с красивым носом, вырезанное из дерева, имело печать суровости и вместе дерзости или вызова и что-то по-настоящему восточное (хотя её воланы и накидка — тех же легкопенных, пастельных тонов, что и у её святых товарок их

верхнего помещения). Она окружена частоколом тонких кованых канделябров — горят конические свечи, ярко-жёлто развеивая темноту. Перед нею лежат груды цветов — ибо это она здесь самая возлюбленная и лелеемая святая! — умирающие живые гладиолусы, распустившиеся навеки розы из шёлка, бессмертники. За нею на алтаре — рака, сквозь стекло можно разглядеть одну-другую кость! — голень, руку? Вот так же в Британском музее выставлена женщина, неразрушимо сохранившаяся в песке, казалось бы вопреки рассудку: её красноватая, точно выделанная, кожа начала шелушиться на висках, на уши свисают прядки мёртвых тёмно-рыжих волос. Для многих английских детей эта женщина — первая встреча со смертью, она лежит, подтянув колени к подбородку, лежит и шелушится, напрягшись всеми сухими жилами. Смерть сама, вещь сама. Деревянное изваяние, кость, полуженщина-полуалтарь, полукукла-полубожок в частоколе свечей, льющих свет в закопчённый свод. Пойдём на солнце, сказала Фредерика, хватит тут быть.

Выйдя из церкви, они испытывали какую-то неловкость. Александр, маскируя замешательство эрудицией, сообщил Фредерике ряд сведений о других средиземноморских богинях.

Он пересказал ей восхитительную историю Форда Мэдокса Форда о скульптуре Богоматери Замка из Сент-Этьен-де-Гре. Богоматерь, сообщает Форд, явилась молодому пастуху в Малых Альпах, когда тот тесал камень, и пожелала позировать ему для скульптуры. «Когда скульптура была готова, Она выразила полное удовлетворение этим изображением, не только как своим портретом, но и как произведением искусства. — (Я специально попросил епископа подтвердить мне последний пункт!) — Таким образом, миру был явлен окончательный эстетический канон»[66]. Форд вознамерился во что бы то ни стало узреть этот новый художественный ориентир. Оказалось, однако, что в храме статуя так тщательно закутана в широкие одежды, украшенные тесьмою и кружевом, и закрыта вуалью, что совершенно невозможно разглядеть фигуру или лицо. И вот наконец однажды он пришёл в церковь и увидел: на одном из стульев покоится золотой венец, на другом улеглись волны кружева и две старушки, похожие на жужелиц, что-то такое помывают в оловянной ванночке…

«И вы только представьте, — процитировал

[66] Примечания: 66

«Прованс: от менестрелей до машины», часть III, гл. II, Париж — Дижон — Средиземное море.

Александр, — скульптура Богоматери оказалась не чем иным, как грубо обтёсанным куском красноватого камня». Примитивное, почти первобытное изображение — таким вот, наверное, и пытался потом подражать Анри Годье-Бжеска[67]. Ну а разве, с улыбкой продолжал Александр, крестьянская мадонна, явившаяся пастуху, могла бы признать совершенным какое-либо иное изображение? Ведь и Кибела[68], и Венера были объектами поклонения в виде конических камней. Как это прекрасно, как удивительно, воскликнула Фредерика (по ассоциации — красноватый камень — вспомнив красные скалы Руссильона). Александр между тем заговорил ещё об одной скульптуре — «Данаиде» Родена — с бережной, чуть отвлечённой чувственностью, как он хорошо умел. Затем — о Венере Арльской, которую нашли во время раскопок тамошнего Античного театра: она классична и грациозна, у неё две целые руки, в правой она держит золотое

---

[67] Примечания: 67

Анри Годье-Бжеска (1891–1915) — французский и английский скульптор-вортицист, находился под влиянием Родена, а также взял за образец работы туземных скульпторов.

[68] Примечания: 68

Великая Мать, фригийская богиня, символизирует плодородие.

или мраморное яблоко[69]. И конечно, процитировал письмо Ван Гога из Прованса: «Здесь есть своя Венера Арльская наряду с Венерой Лесбосской, и, несмотря ни на что, легко можно ощутить во всём этом некую вечную младость…»

— Ах да! Ван Гог, — сказала Фредерика. — Что ты там пишешь о Ван Гоге?

Они уселись в кафе и заказали французский лимонад, *citrons pressée*[70], и Александр поведал Фредерике о своих колебаниях, о привязчивом соломенном стуле, о быстротечном лете 1914 года, о сердце Кабестана. Что же здесь сомневаться? — удивилась Фредерика, *конечно же* надо писать «Соломенный стул», пьеса уже *живёт* у тебя в сознании! И они стали обсуждать, как бы лучше написать эту пьесу. Сделать ли её простой, непреклонно классической, соблюсти три единства, ограничив действие ужасными днями битвы с Гогеном? Или составить пьесу из эпизодов, придать эпичность, введя по крайней мере брата Тео, а может быть, и других действующих лиц, например

---

[69] Примечания: 69

В действительности Венера была найдена в Арле без рук, руки восстановлены скульптором Франсуа Жирардоном (1628–1715), он-то и вложил яблоко в руку богини.

[70] Примечания: 70

Подают выжатый лимонный сок, сахарный сироп и воду, посетитель сам смешивает напиток по вкусу.

грозную фигуру пастора-отца из Нюэнена? Фредерика стала растолковывать Александру (а он как раз собирался объяснить ей это сам), что писать пьесу о художниках трудно по определению: арльская проститутка, соперничество, отец, брат, новоиспечённый племянник Винсент Ван Гог — всё это осуществимо; но вот как вывести на сцену битву цветов и форм?! Разговор становился всё жарче, всё увлечённее. И если до этого Александр не был убеждён в своих намерениях, то теперь он уже ничуть не сомневался, что работает над «Соломенным стулом». (Парадокс заключался в том, что, избавившись наконец-то от неясности, от скопившегося напряжения, за следующую неделю он с лёгкостью произведёт, соорудит, сварганит мелодраму в стихах о Кабестане, от которой гости Кроу получат цивилизованное удовольствие.)

Может быть, в эти минуты и случилось первое взаимное движение навстречу, смутно почудилось, что они — друзья, нуждаются друг в друге, будут знаться многие годы? Неизвестно. Хотя в голове у Фредерики мелькнуло, что плотское влечение — помеха для разговора, что разговор Александра с тобой как с равной — радость, от которой трудно отказаться. За всё это время он ни

разу не коснулся её, лишь напоследок мимолётно погладил по выгоревшим, пружинистым волосам и сказал: «Спасибо», с подлинным чувством. Она отправилась домой, на свой чердак без окошек, полная ликования и томления; с улыбкой думала о Пречистой Деве, милостиво поселившейся в красном камне, представляла сцены из «Соломенного стула», вспоминала солнечный треугольник плавок Александра на носу лодки. Этим летом больше они не увиделись.

Эмилю Бернару, Арль, июнь 1888 г.

Провёл неделю в Сент-Мари — попал сюда, проехав в дилижансе через Камарг с его виноградниками, песчаными пустошами и полями, столь же плоскими, как в Голландии. Здесь, в Сент-Мари, есть девушки, которые заставляют подумать о Джотто и Чимабу́э[71], стройные, прямые, слегка печальные и таинственные. На совершенно плоском песчаном берегу — лодки, зелёные, красные, синие, чудесные своей формой и цветом, совсем как

[71] Примечания: 71

Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–1337) — итальянский художник и архитектор, основоположник Проторенессанса. *Чимабуэ* (ок. 1240 — ок. 1302) — флорентийский живописец, один из лучших мастеров этой эпохи.

цветы…

Мне очень уж хочется понять эффект насыщенного синего в небе. Фромантен и Жером[72] видят землю юга бесцветной, многие видят её такой же. Боже, ну конечно, это верно, если взять сухой песок в руку и посмотреть на него вблизи. И вода, и воздух при этаком взгляде — бесцветны. *Но нет синего без жёлтого и оранжевого,* и если наносить синий, то не обойтись и без жёлтого с оранжевым, ведь так? Ну, теперь ты скажешь, что я тебе пишу сплошные трюизмы.

[72] Примечания: 72

Эжен Фромантен (1820–1876) — французский художник-романтик, совершал поездки в Алжир и в Египет. *Жан-Леон Жером* (1824–1904) — французский жанровый художник, писавший картины на сюжеты Востока и Античности.

7
Рождение

(I)

В Блесфорд пришёл апрель (вернёмся немного назад). Солнце перестало быть холодным. На алтаре в церкви — весенние цветы. Маркус пребывал в беспокойном душевном состоянии, но этого не заметили — слишком много думали о ребёнке Стефани. Сама Стефани казалась всё спокойнее, спокойствие было частью её натуры, к тому же она фактически утратила подвижность. Существо, которое раньше свободно поныривало, туда-сюда поворачивалось в ней, теперь заполнило своё место почти до отказа, сложившись косточка к косточке, но изредка пошевеливалось сильно и независимо, толкалось в теперь уж малоэластические стенки её живота с такой решительностью и резкостью, что она в эту минуту начинала испытывать головокружение и задыхаться. Теперь она уже не шествовала чинно, а, сделавшись не в меру грузна, переставляла ноги мелко, неуклюже и с трудом. Её жизнь пре-

вратилась в сплошное ожидание, не слишком безмятежное. Она перестала принадлежать самой себе; нечто, вместо неё, жило её жизнью.

Она немного страшилась. Не самих родов, о которых давно и подробно размыслила, а всяческих сопутствующих больнице унизительных штук, наподобие клизм и бритья, — от излишнего воображения невольно слёзы наворачивались на глаза. Бояться родов, говорила она себе, совершенно не имеет смысла, большинство женщин прошло через это, и большинство благополучно выжило; это предприятие имеет начало и конец и долее сорока восьми часов не может длиться. Человек способен, настроившись, выдержать в течение сорока восьми часов фактически что угодно. Женщины в предродовом отделении рассказывали друг другу разные ужасные истории, которые она слушала вполуха, о тазовом предлежании и о живодёрских щипцах. О подобном лучше не думать, пока оно и вправду не случится, уж никак не ранее. Прочла она некую книжку о естественных родах (для женщины её поколения было проще обратиться к книгам, чем к собственной матери) — и пришла в ужас от неестественных, которые живописал автор. Впрочем, она не стала пытаться проделывать

упражнения на расслабление мышц, предложенные на страницах книги. Ибо всегда располагала уверенностью во владении собственным телом. Не может быть, что современные женщины настолько уж испорчены цивилизацией, чтобы не разобрать, как себя вести в случае надобности, настолько же неотступной, как утоление голода и отправление нужды. Если расслабление естественно, заключила она, то в необходимый час она сумеет расслабиться. Под влиянием мысли о клизме и бритье она, впрочем, однажды сказала Дэниелу, что предпочла бы родить дома. На его лице изобразился неподдельный страх, он тут же стал твердить: случись что-то не так, они никогда себе этого не простят, да и вообще, как можно появиться ребёнку на свет в окружении Маркуса и миссис Ортон. И Стефани подумала: и верно, эти двое, на свой манер, не уступают клизмам и медсёстрам. Упоминать Дэниелу о клизмах она сочла излишним, из стыдливости. И больше перечить не стала.

Маркус услышал, как сестра запела. Он замер на изломе лестницы, когда из кухни донеслись звуки пения, перемежаемые деловитым лязга-

ньем кастрюль. «Со мной останься, Господи»[73] — вот что это было. Ничего иного, кроме гимнов, Поттеры не певали, в те редкие разы, когда случалось им открыть маломелодичные рты. Маркус даже и припомнить не смог, когда слышал в последний раз песню Стефани. Беззвучно сойдя по ступеням, он укрылся за спиной миссис Ортон, сидевшей в любимом пузатом кресле.

У Стефани сильно болела спина, она почему-то стала думать про боль от одного из трёх железных обручей, которыми оковал себе сердце верный Генрих в сказке братьев Гримм, но обруч никак не спадал[74]. Она продолжала петь, и голова у неё внезапно стала ясная и лёгкая. Она решила, что испечёт Дэниелу хлеб (давненько этого не делала). Конечно же, она читала в книге о выплеске адреналина в начале схваток, но почему-то сейчас не вспомнила, возможно, как раз из-за неожиданно ясной головы. Она нагнулась и вытащила формы для хлеба, потом взобралась на стул и потянулась за жестяной банкой с мукой.

---

[73] Примечания: 73

Христианский гимн англиканского священника Генри Ф. Лайта (1820?); первая строка восходит к Лк. 24: 29: «Останься с нами».

[74] Примечания: 74

«Король-лягушонок, или Железный Генрих». Когда господин был расколдован из лягушонка обратно в короля, обручи стали трескаться и спадать с верного слуги Генриха.

Железный обруч стянулся туже, она спустилась со стула, боль отпустила. Закончив «Со мной останься, Господи», она воодушевлённо завела «О Добрый свет, веди…»[75]. Маркус осторожно заглянул в кухню.

— «Я прежде не молил, — пела она, — о том, чтоб Ты повёл…» Маркус, ты что тут делаешь?

— Я слышу, ты поёшь…

— Ну и что же? Мне и петь у себя на кухне нельзя? Поможешь мне замесить тесто для хлеба?

— Ну, если ты не против… — Маркус бочком протиснулся в кухню.

— Приготовь закваску вон в той стеклянной миске. У меня что-то спина разболелась. Дрожжи возьми сухие, один маленький пакетик. Две чайные ложки морской соли, полпинты чуть тёплой воды… «Я прежде выбирал и видел сам мой путь… Но ты теперь… веди…» — негромко продолжила она второй куплет, насыпая муку в чашку весов; переведя дыхание, нагнулась за большой глиняной миской.

---

[75] Примечания: 75

Текст этого гимна сочинён (1833) преп. Дж. Г. Ньюманом (1801–1890), известным деятелем англиканства и католичества; впервые опубликован под названием «Столп облачный», что содержит отсылку к Исх. 13: 21: «Господь же шёл пред ними днём в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы итти им и днём и ночью».

Маркус продолжал стоять над чайником, кажется задумавшись над смыслом слов «чуть тёплая».

— «Мне мил был пёстрый день, и, страх зажав в горсти, я шёл, премного горд. Мне те года прости…» — пела Стефани.

Тылом руки, выпачканной в муке, она провела по лбу. И тут её пронзила боль, чистая и громкая, как нота; от беспокоящего места в спине боль метнулась во все стороны, беспощадно и пронзительно, затем стихла. Стефани, почему-то сегодня небывало малочуткая к собственному состоянию, вновь глубоко передохнула и, поворотясь к горке муки в миске, сделала посередине аккуратное углубление. В щёки ей прыгнул румянец, глаза ярко потемнели — Маркус глянул на неё с опаской. Он чуял какое-то *возмущение спокойствия*, хотя и не умел понять, в чём дело. В его мире любое *неспокойствие* представляло опасность. Он стал размешивать дрожжи в воде, вдыхая кисловато-тревожный запах, снизу пошли пузырьки, будто под слоем грязи шевельнулось живое существо. Ну конечно, живое. Он ещё побаруздил в миске, там что-то вздохнуло…

— Выливай в муку, — сказала Стефани.

Голова к голове они склонились над миской,

Стефани принялась более тщательно размешивать ножом, и вдруг её снова схватила боль, ещё отчётливее, так что она невольно вцепилась в край стола, и в этот раз она ещё почувствовала, как властно что-то потянуло внутри, мышцы вдруг начали сокращаться без её команды, даже без всякого позволения.

— Ой… — только и вымолвила Стефани, глядя в слепой растерянности на Маркуса, а тот уже отшатнулся. — Кажется… — сказала она неуверенно; Маркус отступил за плиту. — Да, кажется… — повторила она, боль ослабила хватку, и к ней мигом полностью вернулось самообладание.

На помощь Маркуса надежды мало. Она вышла из кухни. В кресле дремала миссис Ортон. Миссис Ортон была женщина. В течение нескольких последних месяцев история рождения Дэниела пересказывалась ею несколько раз, то была драма с одним-единственным действующим лицом, храброй страдалицей, немало претерпевшей от злых чиновников-мужчин и плохо знавших своё дело медсестёр. Сомневаясь, что миссис Ортон сумеет хоть чем-то пособить, Стефани всё же обратила и к ней это своё «Кажется…». Миссис Ортон воззрилась озадаченно и, судя по всему,

готовилась завести очередной жалобный монолог…

— …Кажется, мне пора в больницу, — закончила наконец-то Стефани фразу, вполне разумным и безобидным образом.

Миссис Ортон, продолжая хранить на лице озадаченность, после некоторого раздумья заметила, вроде бы день не тот, Стефани обычно ходит в больницу в другие дни? Да, день не тот, ответила Стефани, но что делать, если уже схватывает. Миссис Ортон возразила (с крайним недоверием), что до срока ещё две с половиной недели, к тому же первый ребёнок всегда рождается с опозданием. Стефани (которой не раз доводилось такое мнение слышать) подумала: а может, и вправду какая-то ошибка… — и покорно шагнула обратно к кухонной двери. У многих женщин бывают обманные схватки, звучал ей вслед наставительный голос. Маркус в кухне имел вид устрашённый, беззвучно открыл рот ей навстречу и так же беззвучно, в отчаянии, закрыл. Тут Стефани опять схватило, да так сильно, что чуть не повалило с ног. Притулясь кое-как в дверному косяку, она стояла, переводя дыхание, ощупывая рукою свой твёрдый бок, который почему-то пополз кверху. И никаких ведь нет признаков,

не начали даже воды отходить, с прежним неотзывчивым упорством вещала миссис Ортон из гостиной. Застряв между этими двоими людьми, Стефани почему-то испытывала ужасный стыд, словно ей пришлось раздеться догола. Ни с той, ни с другой стороны, однако, помощи не будет. Тяжело дыша, она дождалась, пока её отпустило, добралась до телефона и набрала 999. Едва она закончила — может быть, ещё называла адрес, — миссис Ортон снова завела нудную речь, на сей раз объясняя Стефани, что даже если это и не ложные схватки, то всё равно зря она так поспешила с вызовом «скорой помощи», до родов ещё много, много часов, и как ей там будет плохо, несчастно в покоях-то больничных, куда лучше было подождать, пока всё уже будет на мази…

Стефани прошла мимо свекрови и поднялась по ступенькам к себе в спальню. Уставной чемоданчик заранее собран не был; ну, теперь самое время: она проворно туда положила ночную рубашку, щётку для волос, зубную щётку и пасту, мыло, Вордсворта, «Войну и мир», «Арабеллу» и

«Пятничное дитя»[76]. Если Вордсворт негож, то кто тогда, скажите на милость?.. Бросила сверху, в непонятном порыве, «Четыре квартета» Томаса Стернза Элиота. Внизу позвонили в звонок. Открывать никто не спешил. Она защёлкнула чемоданчик (по лбу стекали струйки пота) и не смогла даже сразу выпрямиться из-за боли, которая на сей раз мучительна, прямо-таки скручивает, не поёт ей больше странных песен; наверное, это потому, что она напряглась, неловко согнулась, складывая вещи. Сумрачно она подняла чемоданчик, спустилась по лестнице. Маркус медленно и невнятно перемещался вокруг кресла миссис Ортон. Она отворила дверь, вошли два фельдшера. Она подала им чемоданчик и сказала:

— Я сейчас. Только возьму пальто.

— Этот молодой человек с удовольствием подаст пальто. — Миссис Ортон картинно повела рукой в сторону Маркуса.

— Я сама.

— Не беспокойся, милочка. Для него радость

---

[76] Примечания: 76

«Арабелла» и *«Пятничное дитя»* — известные романтические романы английской писательницы Джорджетт Хейер (1902–1974), опубликованы в 1944 и 1949 гг., принадлежат к жанру исторических любовных романов (во многом созданному Хейер).

любимой сестре-то услужить…

Маркус принёс пальто. Фельдшеры спросили, может ли она идти; она сказала, да, конечно, но им пришлось её поддерживать, чуть ли не нести. Как и прочие, более обычные поездки, эту поездку было главное начать, а там уж как-нибудь доедешь.

В больнице в Калверли её быстро, почти силком, извлекли из кареты «скорой помощи» и усадили в кресло на колёсах. Сверкая — от выброса адреналина — глазами, она пыталась сопротивляться: ей хотелось идти, ей не трудно идти, она чувствует себя хорошо. Но фельдшеры веско молвили, что не имеют права разрешить ей передвигаться самостоятельно, и давай её толкать-везти, на лязгающей фурке, по всяким разным заездам, пандусам и по длинным обеззараженным коридорам. В этом кресле вершина её горбатого живота оказалась под самым подбородком, то вздымаясь, то опадая. Разыгралась икота. Наконец добрались до родильного отделения.

В последовавшей сцене, как она и опасалась, благородного было мало. Будучи то ли усаженной, то ли уложенной на высокую, твёрдую, наклонную койку, она почувствовала, как внутри у неё всё трётся, тянется, рвётся. Между ног у неё побе-

жала вода; маленькая медсестра, в халате цвета бильярдной зелени и белых тугих грушевидных, выше локтя, нарукавниках, чем-то быстро промокнула эту воду, и сквозь запотевшие очки вперилась Стефани между ног. Эти очки, отметила про себя Стефани с отстранённой точностью, делали по-кроличьи круглое сестринское личико более простоватым, чем оно было на самом деле; по бокам окуляров были позолоченные крылышки, забавно и задорно вздёрнутые к полукружиям бровок. Она называла Стефани «мамочка», но при этом, командуя раздеться, так и сяк повернуться, обращалась вовсе не к голове Стефани, а все глаза и ушки уставила в твёрдый, бледный горб. Подошла некая более старшая медсестра, в бледном фиолетово-белом полосатом халате, и добро заглянула в лицо Стефани, в то время как её, Стефани, голые руки вдевали в сквозистый какой-то, бязевый белый халат и подвязывали ей кое-как сзади на пояснице бандажные ленты, которых был неполный комплект. Эта сестра стала ей объяснять про бритьё и про клизму, и Стефани — истинная поборница хороших манер — выждала, когда снова вернётся дыхание, и сказала, хорошо, я про это всё знаю, пожалуйста, делайте. И прибавила, что немного, к сожалению,

побаивается клизмы. Она надеялась, что, объявив свой страх, как нередко бывает, с этим страхом и вещью, от которой страшно, проще станет совладать. Ей хотелось, чтоб медсёстры были старше, но обе казались моложе её самой, и за их деловитой бодростью ей чудилось какое-то напряжение. Они принесли мыльную пену в металлической изогнутой кювете и очень холодную опасную мужскую бритву и, закатав её реденький халат, проворно намылили и соскребли лобковую растительность, устроили в промежных складках освежёванные прогалинки, и те укромные места, которые не были жаркими и влажными, сделались холодными и влажными, — и во всё это время, так же как и потом, вновь и вновь, они вмешивались в ритм её боли, заставляя боль затейливо дёргаться, колыхаться, а не петь с простой, привольной беспощадностью, как раньше. Они клали холодные руки и холодные серебристые трубочки на бугры и на ровности непомерно растянутой кочки живота, так что Стефани хотелось завопить, стряхнуть их прочь, но, однако же, мешала ей вежливость, лишь в нитку вытягивались её брови. Они измерили время между схватками, сказали, что «всё идёт прекрасно», и поставили ей клизму. Отчего все её внутренно-

сти, как ей показалось, зажглись и раздражились, её охватила паника. Послушно она скинула ноги и всё тело с высокого ложа и, оставляя мокрый след, загребая по полу, потащилась в ванно-туалетную комнату, где набиралась в ванну вода и ждал унитаз. Ну каким же образом, ну почему ей нельзя было идти пешком с санитарами по длинным коридорам, а теперь можно без всякой помощи находиться одной в ванной и туалете?! Целая быстрая вереница различных дополнительных болей пробежала у неё внутри, точно тёмные вихрастые, друг за дружку цепляющиеся волны прилива или как странные, неровные, вспять друг дружке, подводные теченьица в устье реки. Она сидела и ждала, пока сделает своё дело яростная клизма, и негромко — чтоб никто не услышал — поплакала. Когда кишечник её опростался, она испытала некое облегчение. Боязливо она стянула с себя халат — он так или иначе не думал сходиться спереди и едва ли прикрывал наготу. Шагнула в ванну и, вздыхая, помыла выбритые места тёплой водой, чувствуя, слыша или думая, что слышит, как трескаются, ломаются её тазовые кости. Дно этой ванны было холодным и шершавым, как будто песчанистым (наверное, от крупинок чистящего порошка). Она поспешно,

может быть, слишком поспешно шагнула наружу из ванны — боль застигла её переносящей ногу через край, и она нелепо застряла, беспомощная и грузная, в этой ловушке, с облепившими щёку и загривок влажными золотисто-русыми локонами. Вошли медсёстры и ей помогли, закрепили бандажные ленты, помогли надеть банный халат и опять усадили в колёсное кресло.

Её отвезли в комнату с белой постелью, стулом и прикроватным столиком, на котором стоял графин воды, а ещё был в этой комнате маленький занятный мебельный предмет, с металлическими трубчатыми ножками и такими же перильцами, внутри которых помещался почти квадратный, белым застеленный матрасик, — и, только уже почти забравшись, осторожно и кротко, на свою новую постель, она вдруг поняла, что предмет — детская кроватка! Распознав же эту особенную кроватку, она впервые осознала, что происходящее здесь — не суровое, одной лишь ей посланное испытание, что их здесь двое. Всё это происходит с двоими. Кому-то необходимо выбраться из неё наружу. Но женское тело, можно ли вообразить, что оно настолько… откроется… настолько растянется, что сумеет выпустить существо… с ребёнка размером? И чем-то это всё равно должно будет

кончиться — *не может не*… Сёстры приготовились оставить её в этой комнате и уйти. Впервые выказывая эмоцию, она к ним обратилась с просьбой о книгах; она желает, чтоб ей принесли книги. Книги? — удивились они.

— Да, у меня в чемоданчике.

— В родильный покой не положено чемоданчик.

— *Мне нужны мои книги.*

— Хорошо, мы попробуем… Когда будет время. У нас очень мало времени, мы с ног сбились. Сразу четыре мамочки поступило. Какую же именно книгу вы хотели бы?

— Все мои книги. Откуда я знаю какую. Вордсворта. Вообще все книги. А Вордсворта особенно.

— Вордсворта?

— Да, все его стихи в одном томе. Если у вас будет время.

— Стихи Вордсворта… — повторила зелёная медсестра чуть озадаченно. — Ну хорошо, я постараюсь, — прибавила она, слишком уж потачливо.

— Как скоро? — спросила Стефани.

— Почём же мне знать? У вас всё идёт прекрасно. Первый ребёнок всегда рождается долго.

Попробуйте немного расслабиться, отдохнуть…

Итак, они ушли. Расслабиться, отдохнуть? Но разве можно настроиться на спокойный лад, когда у изголовья свисает на гибком стержне, одетом в мех, шаровидная кнопка звонка и не оставлено никаких указаний, когда следует звонить в этот звонок, а когда, как положено у англичанок, нужно молчать и терпеть. Поначалу она улеглась на кровать послушно, уставилась в белый потолок, затем поворотила голову вбок и узрела, что нынче какой-то необычно солнечный день; что по синему небу несёт маленькие белые облачка с сияющими каёмками; что помещается она в первом этаже и окошко, полуоткрытое, выходит во внутренний дворик, поросший травой. Наручных часиков ей не оставили, забрали вместе с одеждой; она подумала, должно быть, теперь позднее утро или даже близко к полудню, без особой уверенности. И впервые вспомнила про Дэниела, она ведь даже не сказала ему, что отправляется в больницу. А всё из-за миссис Ортон и Маркуса, между которыми она растеряла человеческое слово. Хотелось бы надеяться, что эта двоица догадается сообщить Дэниелу, но в действительности надежды мало. Она стала с беспокойством об этом думать, потом снова

началось. Есть какая-то нелепость в том, что лежишь вот так на спине, а тебя схватывает — с совершенно излишней, нешуточной болезненностью. Она с трудом перевернулась на бок, крупной рябью побежали спазмы. Как жалко, что нет Вордсворта! Она скинула ноги с постели и, в следующий тихий промежуток, подошла к окну. Воздух был холоден, прозрачен и очень уж душист. Она с интересом выглянула, что там такое. Вдоль всей стены под окнами цвело растение — множеством маленьких захудалых цветков, бархатисто-коричневых, соломенно— и ржаво-золотистых, — они-то и наполняли воздух своим тёплым, щедрым ароматом. Она ещё посильнее приподняла раму и подышала этим запахом, потом, повинуясь какому-то властному безотчётному побуждению, стала ритмично расхаживать взад и вперёд по комнате, у стен разворачиваясь на пятках, вздёргивая голову и раздувая ноздри. Когда подступили следующие волны боли, удалось вплести их в ритм этого топтанья-хожденья, отмеренного от одной стены до другой и обратно. Она вдруг получила возможность как будто доглядывать за собой снаружи, прислушиваясь, как боль вздымается и опадает, разрешая этим волнам происходить. Вновь прихлынул адреналин,

сбитый было клизмой. Она попыталась вспомнить оду Вордсворта «Уверения бессмертия»[77], у которой ещё один, свой собственный ритм. На хóлмы радуга падёт. И роза дивно расцветёт. Она шагала и шагала между двумя стенами. Дверь отворилась, и она не сумела сразу остановиться, занесла ногу… медсёстры изумлённо уставились на её развевающийся халат и голый зад.

— Почему это вы, мамочка, не в постели? Вам вставать нельзя.

— Мне легче, если вот так ходить.

— Вы делаете себе же хуже, расходуете энергию. Может случиться спазм внутренних мышц. Постарайтесь расслабиться. Ну пожалуйста.

— Понимаете, если я напрягаю *эти* мышцы, то *те* мышцы как раз расслабляются… И болит меньше.

— Ну-ну, не глупите, ложитесь. Будьте умницей.

Стефани стояла недоумевая, и боль, будто захлебнувшись на ходу, переступала зыбко, неровно (вот так же, как давеча, когда впервые

[77] Примечания: 77

Полное название — «Ода: уверения бессмертия, по воспоминаниям раннего детства» (Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood, 1804–1815); также нередко для простоты называется в обиходе «Ода», «Ода бессмертия» или «Великая ода».

накинули узду помех), Стефани покачнулась, и к кровати её отвели под руки. Тут они снова стали выслушивать серебристой трубкой, совали внутрь пальцы, что-то записывали себе на бумажку, а она вежливо через силу улыбалась, боль же пошебаршилась неровно, неутолённо, потом вовсе стихла. Они со значительным видом занесли час и минуту этого схваточного затишья в свой врачебный журнал, сообщили, что до разрешения ещё далеко, и приготовились удалиться. Напоследок сказав: как ощутите, что наступили потуги, звоните в звоночек.

Стефани совершенно не представляла, что это будут за ощущения и как их распознать. Спросить же об этом оказалось почему-то невозможно. Зато она снова осведомилась, нельзя ли получить Вордсворта и наручные часы, и получила прежний ответ: у них на всё рук не хватает, но они попробуют, ей нужно набраться терпения… К тому моменту как они ушли, она успела потерять чувство своего внутреннего ритма, обретённое было в хождении, ей больше всего хотелось опять сползти с кровати и начать мерить шагами комнату, однако же было боязно получить выговор за непослушание. И она ведь забыла, вернее, ей не дали возможности вспомнить, что надо

попросить позвонить Дэниелу! Немного подумав, она встала в постели на получетвереньки и, постанывая еле слышно, стала раскачиваться взад-вперёд. Боль возобновила свой ясный, беспощадный ход, и она попробовала подстроиться под него, обливаясь жаром и понемногу изнемогая. Никакой доктор и не думал к ней являться. Впрочем, наверное, это нормально. Боль всё сильнее стискивала её своими клешнями. Тянулся этот нескончаемый день. Она раскачивалась и раскачивалась; никто не приходил, и тогда она слезла с кровати и ещё пошагала по комнате, тяжело дыша. В окно, вместе с тёплым и сладким цветочным ароматом, доносился необычный звук, какая-то женщина кричала или стонала размеренно, с подлётом на верхней ноте. В голове у Стефани прошелестела мысль, что должна быть польза в том, чтобы вот так, невоспитанно, не по-английски, помогать себе голосом.

Когда начались потуги (а это были они!), их совершенно невозможно ни с чем оказалось спутать. Ни на что не похоже, разве что — смутно — на то, как отвратительно и неудержимо схватывает при самом сильном поносе, но всё же по-другому, нет ощущения колик. Что-то тяжёлое, твёрдое, огромное проделывало в ней проход, как

внутренний таран; боль вдруг сделалась от неё неотдельной — купной и повсеместной; грубо сграбастав, разрывала её всю целиком, обжигала голову, грудь; молотом била по живому чреву, словно что-то выковывая[78], исторгались животные звуки: то ли хрюк, то ли скрогот, то ли громкий дых. Посреди всего этого ей удалось взобраться обратно на постель и сразу же стиснуть круглую грушу звонка. Зрение её подёрнулось бледным настурциевым огнём, а затем — кровяной кисеёй. Лиловатою вспышкой возникла медсестра. Стефани ей простонала бессвязно: вот, сейчас будет опять! И верно, эта боль, словно волна прибоя, отступив ненадолго, рассыпавшись тёмной рябью, собралась и снова напрыгнула неумолимо, всей своей *тяжестью*…

Стефани прежде доводилось задумываться о том, насколько двусмысленно воображаются женщинами их внутренние пространства. Луна, что бы мы ни знали об истинных её размерах и форме, представляется нам серебристым диском с локоть в поперечнике, висящим примерно в двух милях от нас. Вот так и матка, в воображении, может видеться то крошечным сморщенным

---

[78] Примечания: 78
Возможно, аллюзия на стихотворение У. Блейка «Тигр».

кошелёчком, который вместит разве что полкроны, то безмолвными подземельными гротами, удаляющимися вглубь бесконечно, чьи складки бархатисты, кровянисто-темны, иль темны фиолетовостью генциана. Ведь и кровь, прежде чем встретится с кислородом, имеет оттенок фиолета. А влагалище — которое столь надёжно захватывает тампон, но которое также умеет принимать и мужчину, такого, например, большого, как Дэниел, чтобы тот незряче исследовал самый затерянный и взволнованный кончик этого слепого мешка, этой потайной скважины с эластичными мышцами стенок, — как сумеет это узенькое влагалищное устье выпустить через себя вот это яростное, тупоконечное нечто? Это нечто — подсказывает всё то же воображение — так огромно, что всё тело стало ему преградой, оно больше не может поместиться, рвётся наружу. Хребет, подсказал тающий разум Стефани, лежит на кровати плоско, как на разделке у мясника, осталось вспороть брюхо, бочок направо, бочок налево… В глубине беспомощного тулова в это время трещит, растягивается, ломается стенка короба из костей и плоти, под напором того, что неудержимо стремится на свет и воздух. Теперь уже рядом оказались две медсестры, под-

нимали ей ноги кверху, заглядывали из-под низу. Если начать быстро вращать ступнями по кругу, становится немного легче, но куда там: одна из сестёр строго шлёпнула по ногам, снова стала твердить — нельзя! — чтобы мышцы, чего доброго, не свело! Стефани ощутила дикую ярость: ну какого чёрта держат её так неудобно, в такой неестественной позе?! Остаётся мотать головой из стороны в сторону. А таранный снаряд изнутри снова напустился на стенку своей тюрьмы. Сколько же прошло времени? И сколько это ещё продлится? Пока ходится и поётся?[79] Говорила себе: вытерпишь что угодно, но оказывается — это просто невозможно! Всё неудержимее, всё неодолимее подступает… бешено колотится кровь в висках… вдруг невесть откуда, несмотря на просьбы: подождать! подождать! не тужиться! — в ней вспрянуло отчаянье и сила — прекратить эту боль, усилив её, — самой *продрать* стенку плоти… К чёрту приличия! Во весь голос закричала-застонала она, страшно напряглась, и лопнула посередине, и почувствовала с изумлением меж-

[79] Примечания: 79

Возможная ассоциативная отсылка к мистической балладе У. Вордсворта «Люси Грей, или Одиночество» (1799) о пропавшей девочке, чьи следы в снегу внезапно обрываются; и поныне Люси Грей, говорит поэт, идёт-бредёт в вечности в этих диких местах, напевая свою песенку.

ду мокрых своих бёдер — мокрый тёплый шар, в котором хрупенько бьётся другой пульс, самовольный!..

Подождать, не тужиться! — снова приказали ей, совсем уж настрого, и оказывается, правда, можно на какое-то время сдержаться. После яростного прилива крови гулкая тишина звучала в голове; между тем как в растянувшейся бреши они бережными руками повёртывали крошечные плечики. Вот теперь-ка потужьтесь хорошенько! — велели ей, она дала мышцам приказ — мышцы плавно послушались, и оно — маленькое, твёрденькое и упругое — вышло, выскользнуло, отделилось. Ничего не видать, только где-то хлопочут их далёкие руки. А потом тонкий, скрипкий, сперва захлебнулся, поперхнулся, но вытянул тонкой нотой — голосок, и давай выводить, снова, снова, выше, увереннее свой плач. «Мальчик, — сказала фиолетовая медсестра, — чудесный, крупненький». А зелёная между тем нажимала на внезапно опавший горб живота, говоря: *понатужьтесь ещё раз, ну-ка!* — и тогда чрево Стефани, поймав затихающий ритм сокращений, напряглось в последний раз, и послышался жидкий, скользкий шорох, это вышел послед. Снова раздался младенческий плач,

она бросила взгляд дальше ног, за испятнанные простыни, и увидела, как фиолетовая сестра покачивает, понашивает на одной руке живое кровянисто-красное тельце. И тогда она закрыла глаза и стала лежать расслабленно, одиноко, дивясь своему одиночеству и прислушиваясь к биению только одной собственной жизни, после долгой отвычки.

Мальчика ей принесли. Крошечная тонкая шейка с валящейся набок головкой высовывалась, точно у какой-нибудь черепахи, из панциря больничного халатика, который был уменьшенной копией её халата. В те годы ребёнка, по крайней мере в родильном отделении, не прикладывали немедленно к материнской груди. Но зато в продолжение времени дали ему полежать рядом на подушке; Стефани, хоть пока и без сил и даже ещё толком не просохнув, чуть приподнялась и начала разглядывать его сбоку и сверху.

Она не думала, что почувствует какой-то особенный восторг. Прежде всего, отметила она, он более плотный, налитой и вместе с тем — благодаря ли зыбкости движений губок, челюстных мышц или опасной незакреплённости всей головки? — куда более хрупкий, чем она ожидала.

Плоть его местами темная и пятнистая, а местами кремово-восковая, и висят в ней там и сям кровеносные прожилки. К остренькой головке как будто приклеен коврик густых тёмных волос, но хорошо виден большой и малый родничок, косточки черепа под эластичной кожицей ещё отдельны, чтоб ловчее было родиться и быть готовыми к росту. Лобик у него квадратный, лоб Дэниела, крошечные ноздри и, морщинками весь окружённый, несуразно большой рот. Сжатый кулачок, меньше каштана, зацепился за изящный ушной завиток. Этот мальчик имел мало отношения — хоть и не то чтоб совсем не имел — к тарану, проникшему в брешь… Она смотрела на него: он сначала насупился, отчего ещё больше сделался похож на Дэниела, а потом, словно почувствовав её взгляд, открыл чернильно-голубые глазки и уставился на неё, сквозь неё, *за* неё. Она протянула палец, коснулась маленького кулачка, и младенец, повинуясь врождённому инстинкту, тут же сомкнул крошечные пальчики — на огромном, сжал, разжал, снова сжал. «Эй», — сказала она ему, и он, казалось, насторожил глазки, и в этот миг свет пролился в окно, всё ярче и ярче, и глазки малыша увидели этот свет, и она тоже увидела и вдруг испытала — дурацкое слово, но

все другие не годились! — блаженство… Вот её тело, употреблённое, успокоенное, отдыхающее; вот её голова — свободная, лучезарно-ясная; а вот мальчик со своими глазками, которые видят, смотрят — интересно, куда? А в душе упоение от внезапного света. После может стать больно, когда померкнет этот свет. Мальчик может перемениться. Но сейчас, при свете солнечных лучей, она впервые узнала его и поняла, что, не знав до этого вовсе, уже любит, поняла это в ярком пролившемся свете, поняла с простотой, которой за собою не чаяла. «Эй, — вновь сказала она ему, впервые соединившись с ним телесно по-новому, снаружи, в приветном сияющем воздухе. — Эй, ты!»

(II)

Дэниел вернулся домой. Усталый и оттого раздражённый: где он только нынче не побывал, и на утреннике в школе, и на занятии по подготовке детей к конфирмации, и на встрече цветочного комитета. А в гостиной — точно два диковинно непохожих Цербера-близнеца — сидят мать и Маркус, молчат зловеще.

— Её больше нет, — произнесла наконец миссис Ортон фразу, более уместную на похоронах.

Маркус попытался объяснить:

— За ней пришла… «скорая». Это было… утром.

— Что с ней *теперь*?!

— Не знаю, — встревоженно ответил бесполезный Маркус.

— Всё с ней хорошо, — невозмутимо изрекла миссис Ортон. — Совершенно нормальные схватки начались. Я ей говорила, уж зачем так спешить-то, но она ж разве меня будет слушать…

— Почему меня не вызвали сразу?

— Не знали, где тебя искать, — объяснил Маркус с несчастным видом.

— Всё ведь записано на кухне в перекидном ежедневнике! С телефонными номерами всех сегодняшних мест. И Стефани я *показывал*.

— Она была… не своя, — сказал Маркус. — Прости, что так вышло.

— И спешить, главное, было незачем, — снова принялась за своё миссис Ортон. — Первые детки-то, они завсегда подолгу рождаются. Да и как знать, не ложные ль это вообще были схватки. Срок-то не подошёл ещё, первый ребёнок раньше родиться никак не может.

— Сейчас позвоню в больницу, — решительно заявил Дэниел, переводя взгляд с толстого недоразумения на чахлое.

По телефону ему сообщили, что родился мальчик. И мать, и ребёнок чувствуют себя хорошо. Ему пытались дозвониться, но он, наверное, уже был в дороге домой.

Дэниел пересказал новость своим домашним.

— Ну а я что говорила? Всё у ней, как видишь, хорошо. И волноваться-то было незачем понапрасну. — Чуть ли не осуждение звучало в голосе миссис Ортон.

— Я поеду в больницу.

— Может быть, хоть перекусишь сперва? Что толку спешить-то? Ты силёнки побереги, они тебе ещё понадобятся.

— Нет, — сказал Дэниел и не стал прибавлять «спасибо», потому что знал: предложение матери поесть означало скрытую просьбу об угощении. — Вы уж сами тут как-нибудь.

— Можно я… — сказал Маркус. — Давай я… Хочешь я… тебе сготовлю что-нибудь?

— Я еду в больницу. Не знаю, как скоро вернусь.

— Скоро, скоро воротишься, — заверила мать. — Не позволят они тебе там долго околачиваться. Маркус, умничка, будь добр, кинь колбаски на сковородку и хлебушек заодно пожарь и помидорчик… а после часть для Дэниела положишь в

духовку, чтоб не остыло…

У Дэниела не было ни малейшего желания есть подогретые колбаски с жареным хлебом, но заявлять об этом бесполезно. Он вышел, хлопнув дверью. Мать говорила Маркусу: «Ничего, ты, знай, делай. Съест, как воротится».

Её помыли и немного привели в порядок и переложили в родильное отделение, в её собственной ночной рубашке; это была одна общая палата с множеством женщин. Мальчика уже унесли. Под хлопковой простынёй и ажурным трикотажным одеяльцем она ощутила себя бесформенной, хотя и вновь собою. В этот жизненный час лучше бы оказаться действительно одной. Волосы завились в тугие кудряшки, как обычно случалось с грязной головой или во время болезни. Адреналин, а с ним и восторг схлынули, как ни держалась она за воспоминание о нём. В отделение вошёл Дэниел — твёрдым, размашистым шагом, в отличие от большинства мужей, которые предпочитали прокрадываться бочком. От его присутствия она почувствовала смятение — она только начала настраиваться на здешний женский мирок, терпеливый, с урезанным словарём, с бормотанием друг дружке простых секретиков. Дэниел — в полном присутствии духа, но чуть настороже и

почему-то сердит. Она поглядела на него из-под утомлённых век; волосы в ужасном виде, ничего с этим не поделать.

— Как чувствуешь себя? — спросил Дэниел.

— Нормально.

— Тяжело пришлось?

— Не очень… — Она повела взглядом вокруг, точно призывая соседок в свидетели. — Само по себе… не очень трудно. Хуже всего суета, этот обиход медицинский. Но всё это уже не важно…

Он действительно желал *знать*, как оно было. Стефани хотела рассказать про *свет*, про *радость*, но здесь слишком много посторонних. Разговор заскрипел дальше:

— У нас мальчик.

— Знаю. — Дэниел насупился. — Почему мне не сообщили?

— Когда я сюда попала, мне было не до этого.

— Понятно, не ты.

— Я понадеялась, что, может быть, из дома позвонят.

— Куда им. Ладно, уже не важно.

— Действительно. Моего Вордсворта куда-то задевали.

— Я найду. Тебе ещё что-нибудь принести?

— Шоколадку. Сладкое что-нибудь. Это потому,

что я устала.

— Принесу.

Дэниел сурово сверкнул глазами на других женщин, как будто они виноваты, что здесь оказались. Они поспешно потупились: кто в вязанье, кто в «Женскую беседу», кто просто в подушку. Подошла медсестра и спросила, не желает ли он взглянуть на сына. Да, сказал он, всё ещё смутно продолжая на что-то сердиться, и последовал за нею по отделению, а затем по коридору к палате новорождённых; сквозь стеклянную стену видны ряды белоснежных кроваток с младенцами; собственно, наружу торчат одни головки — белые, розовые, с тёмненьким пушком и лысенькие, вариации на тему человека. Несколько младенцев вскрикивали, монотонно и настойчиво. Медсестра указала сквозь стекло:

— Второй слева вон в том ряду, ваш. Правда ведь, чудесный?

— Понять сложно.

— Почему?

— Отсюда толком не разглядеть.

— Я вам его вывезу.

Медсестра тоже устала, однако зашла и выкатила кроватку и направилась с ней в палату к Стефани. Стефани посмотрела на мальчика с

небольшой опаской: вдруг чувство узнавания, восторга не вернётся, вдруг мальчик изменился. Он и правда стал немного другим, его помыли с мылом, и тёмные мягкие волосики поднялись хохолком — но твёрдое личико осталось тем же, она его вспомнила. Она оборотилась к Дэниелу, который взирал на малыша изумлённо.

— Странно. Я не думал… что это будет… сразу отдельный человечек.

— И я. Я тоже не думала. Пока не увидела его отдельную кроватку. Но человечек ведь он и есть.

— Ну-ка, вынь его, — сказал Дэниел.

— А можно?..

— Конечно, он же твой.

Стефани взяла младенчика, распашонка была чуть влажная, тёплая и волочилась. Малыш моргнул на свет и разом дёрнул обеими ручками. Дэниел, чуть нахмурясь, вглядывался в личико. Стефани посматривала на Дэниела.

— Все малыши одинаковые, — сказала усмешливо женщина с соседней кровати. — Похожие друг на дружку.

— Ну почему же? Не всегда. — Дэниел повернулся к Стефани. — Он себя хорошо чувствует?

— Да, вполне, — сказала Стефани.

— Когда столько времени думаешь, что может

быть не так… то даже не верится, что всё у человечка хорошо.

— Я никогда не сомневалась, что всё будет ладно!

— Если б знать наверняка… — сказал Дэниел и вновь принялся придирчиво обследовать сына на вид.

— Вообще-то, похож на тебя, — сообщила Стефани.

— Ага. — Дэниел, похоже, не слишком обрадовался такой мысли. — А я похож на мать.

— А она говорит, ты похож на своего отца.

— Я слишком толстый, с детства. А этот мальчик совсем худенький.

Малыш нахмурился, и его отец нахмурился. И спросил:

— Как же мы его назовём?

— Может быть, Уильям?

— Уильям?..

(Прежде они обсуждали такие имена, как Кристофер, Стивен, Майкл.)

— Я придумала это имя… как у Вордсворта. Когда у меня забрали Вордсворта… я шагала по комнате, долго, несколько часов. Они на меня очень сердились, что я не лежу на кровати. И в голове у меня забрезжило — Уильям! Можно это

будет одно из его имён?

— Что ж, мне нравится.

Малыш, обретя отдельное имя, стал сразу казаться более отдельным.

— Твоему отцу придётся по душе, — сказал Дэниел.

Стефани повернулась к нему вопросительно.

— Ведь его тоже полностью зовут Уильям. Не могли же его покрестить Биллом, — усмехнулся Дэниел.

— Господи боже мой, я об этом и не думала.

Дэниел рассмеялся.

— Нет, правда, как ты мог такое вообразить? Я хотела, чтоб он был со своим именем, сам по себе… думала про Вордсворта… Вордсворт сам по себе, это часть моей собственной отдельной жизни, с папой никак не связана. Поэтому я такое имя и выбрала.

— Мне кажется, твой отец тоже Вордсворта не чужд.

— У меня свой Вордсворт, другой. Но если тебе мешает, что отец… тогда, может быть, не надо брать это имя?

— Ну почему же, пускай.

— Твоё мнение важно! — заверила Стефани.

— Не вижу ничего плохого. Пусть будет Уильям.

А если твой отец решит, что в его честь, это дело хорошее.

— Я представляла его совершенно отдельно! — не унималась Стефани.

Малыш между тем лежал на покрывале, и вправду от них совершенно отдельный, и, может быть, видел их лица, а может, просто светлый туман или даже собственное лучистое облако…[80]

— Не назвать ли его Уильям Эдвард? Чтобы и в честь моего отца?

— Хорошо, но должно быть и ещё одно самостоятельное имя.

Дэниел немного подумал и сказал:

— Может быть, Варфоломей? Было бы оригинально.

— Но это же святой твоего храма.

— А Уильям — это имя твоего Вордсворта.

---

[80] Примечания: 80

У. Вордсворт. Ода бессмертия (строки 58–66):

Рождаемся из сна мы, забывая:
Душа, что всходит с нами, как звезда
Всей нашей жизни, раньше зная
Иную родину, издалека сюда
Является, — и не в забвенье чистом,
Не в наготе беспомощной, плывём
Из дома Божьего мы облаком лучистым —
Покуда мы младенцы, мы живём
В краю небесном!

— Ну вот, он живёт ещё только пару часов, а уже втянут в общественные отношения… — молвила Стефани.

— Так у людей заведено, — отозвался Дэниел.

С улыбкой они переглянулись.

Дэниел сделал положенные телефонные звонки. На следующий день Стефани навестили Билл и Уинифред с цветами и виноградом. Билл был слишком худ для своего пальто: подкладные плечи, широкий воротник — и тонкая, как у мальчишки, шея. Они попали на время чайного перерыва персонала, пришлось подождать, пока кроватку с малышом вывезут из стеклянного короба, из ряда более или менее одушевлённых куколок, дремлющих в своих кутикулах. Стефани чувствовала себя неловко: волосы ещё сильнее спутались, груди так и норовили вывалиться из ночной рубашки, огромные, глянцевые, тугие, словно у Дианы Эфесской или у какой-нибудь из раздобревших Харит. Вокруг происходили негромкие и чопорные, в четверть голоса беседы. Стефани рассказала Уинифред о том, как всё происходило, о схватках, потугах и швах, используя общепринятые слова. Билл полистывал вновь обретённый том Вордсворта (который здесь появился благодаря настойчивым розыскам

Дэниела) и притворялся, что ничего не слышит. Потом вкатили малыша.

Билл тут же подскочил к кроватке, и выхватил сына Дэниела из уютного гнёздышка, и приподнял, чтоб получше разглядеть, и заставил вытянуться во всю длину. Малыш попытался свернуться, замяукал, как обиженный котёнок. Стефани встрепенулась, сделала слабый охранительный жест, но откинулась обратно на подушку. Билл сел, по-прежнему держа малыша на руке.

— Отличный мальчуган, — сказал Билл, — ну просто превосходный. А имя у него уже есть?

— Уильям. Уильям Эдвард Варфоломей.

Билл ещё раз оглядел мальчика сверху, перевёл взгляд на дочь, потом опять, нахмурясь, воззрился на внука. Исхудалое, остроносое, с резкими чертами лицо было у деда, и внук, недовольно сморщивший личико, приобрёл вдруг на новенькой своей коже тоже странные чёткие морщины.

— У него выражение настоящего Поттера, — определил Билл. — Особенно вот тут, в окрестностях лба. Вид суровый. Надеюсь, Стефани, в нём не возьмёт верх упрямая поттеровская, пуританская натура. Этого я тебе не пожелаю.

Он похож на Дэниела, хотела возразить Стефани, но не смогла: на руках у Билла малыш и впрямь сделался похож на Билла, словно переняв всю его резкость, определённость и даже раздражительность.

— У него не твой цвет волос, — попробовала возразить Уинифред.

— Первые тёмные волосы у них всегда выпадают, — сказал Билл. — Ты это знаешь прекрасно. Всё детки рождаются с тёмными волосами или вообще без волос. Приглядись к его бровям и ресницам — вот тебе и ответ. По мне, так рыжий и есть.

Малыш внезапно собрал всё своё зыбкое личико в одно сплошное красное место с отверстием в центре и издал яростный вопль.

— Не надо его так, пожалуйста… — сказала Стефани, протягивая руки к ребёнку.

Билл попробовал покачать-потрясти Уильяма, но тот сделался свекольного цвета и заорал пуще. Билл передал внука Стефани и спросил:

— А тебе не кажется, что ресницы у него всё-таки рыжие?

Однако крошечные реснички, если приглядеться, совсем бесцветны, лишь местами сверкают слёзками, а какие бровки — не понять, не более

чем густой пушок на коже.

Когда явился Дэниел, Поттеры ушли. Билл наклонился к Стефани и сказал тихонько: «Я принимаю с чувством и благодарностью его имя. Считаю за честь. Очень тронут. Наши дети — и дети наших детей — это единственное бессмертие, которым мы обладаем. Говорю это с уверенностью. И имена значат гораздо больше, чем можно подумать».

Стефани поцеловала его, прильнув тяжёлой, горящей грудью к наждачному ворсу пальто.

На следующий день, как ни удивительно, пришёл Маркус.

…Стефани начинала чувствовать себя грязной оборванкой. Лёжа на спине на постели, затылком на подушке, она чувствовала противную клейкость своих волос. В промежности, там, где было надорвано, саднило. Живот, который тогда, *поначалу*, предстал вдруг маленьким и пустым, сделался бессмысленно огромным и бесформенным. Он отвисал, когда она шла в ванное помещение; тазовые кости чуть ли не скрипели, поясница ныла, и натянутой, того гляди лопнет, казалась тонкая кожа горячих алебастровых грудей. Её отдельная личность несла урон, разди-

раемая между двумя обществами — больничным и семейным, — и первое и второе, казалось, вознамерились втиснуть её с Уильямом в клетку своих обрядов и представлений.

Самое неприятное в родильном отделении: хотя полагалось лежать в постели — и, собственно, ничего другого не делать, — всё устроено здесь было к тому, что ни спать, ни отдыхать возможности не давали. Частично это было связано с распорядком, почти казарменным. В пять утра ночная смена сестёр шумно вносила утренний чай, не думая, нужен ли он кому. Время между этим чаем и очень ранним завтраком, при попечении уже следующей, дневной сестринской смены, разделялось на краткие бессонные фрагменты: хождение в судно, умывание лица, кормление ребёнка. После завтрака наступали: уборка кровати, спринцевание горячим антисептическим раствором, купание ребёнка. Серая ночь тянулась вереницей скулящих свёртков, вносимых на полуночное кормление, под нескончаемый свистящий шёпот чьих-то тревожных разговоров: мол, что же делать, если ребёнок лежит на руках безучастно, спит беспробудным сном или, того хуже, закусывает сосок остренькими дёснами, дёргает в сторону — но не сосёт,

лишь плачет, плачет не переставая…

Няни смягчали, но одновременно и увеличивали этот естественный страх матерей перед младенцами или, может быть, страх *за* младенцев, который появляется с их рождением. Смягчали тем, что умели виртуозно упаковать бесформенное, склизкое, вопящее существо в аккуратный свёрток, превратить подгузник в надёжный и даже изящный предмет младенческой одежды, не загнав при этом изогнутую крепёжную булавку в выпуклый животик или весьма живописную, в малиновой жидкости Кастеллани пуповину. Могли примотать бестолково взмахивающие ручки — ловким оборотом пелёнки (некогда льняной, а теперь байковой). И впрямь, будучи обездвижены таким образом, младенцы словно утешивались, от свободы же им сплошное беспокойство. Ещё няни умели, ловко переводя тельце младенца в вертикальное положение после кормления, помочь срыгнуть лишнее молоко и заодно вывести лишние газы из вздувшегося желудочка. Словом, умели превратить слизистый, неотрадно пахнущий, извивающийся комок плоти в благоуханную мумию или «пупсика».

Но они же очень и донимали своими прави-

лами и нравственными клеймами. Младенец должен сосать с аппетитом все предписанные десять минут — не более, иначе у матери потрескаются соски, но и не менее — иначе ребёнок не будет набирать вес. Они грабастали своих маленьких пленников, легонько шлепали по щекам, сжимали им на соске дрожащие губки, прилаживали детей к неподвижной груди как пиявку, водили их рыльцами по соску, словно учили щенков или котят. Малыши, которые не поддавались этой учёбе, получали нелестное прозвище «лодырей». Тех младенцев, что слишком часто просили есть или любили уснуть у матери на руках, обзывали «набаловышами» — и стращали матерей: мол, не успеете опомниться, как «этот обрюток над вами волю заберёт, вот тогда нервы помотает!». Няни обесчеловечивали младенцев. В два часа ночи, на руках у сердитой няни, в глазках Уильяма не было никакой тайны — лишь животная поволока, жадность, предвкушение еды.

«Мамочки» были настолько же неряшливы, насколько няни являли собой аккуратность. Няни пахли детской присыпкой, спиртовыми растворами, дезинфицирующей жидкостью; «мамочки» — нутряной кровью, затхлым табаком,

ароматным тальком да кислым молоком, что густо запекалось на марлевых прокладках, за круглыми ставенками лифчиков для кормления.

Когда бы Стефани ни вошла в туалет, там всегда находились две или больше этих молодых мам: они стояли, облокотясь на сжигатель гигиенических прокладок, в прорешки, между кнопками их легкомысленных, с медового месяца уцелевших нейлоновых халатиков, так и норовила высунуться располневшая плоть, в ярко и грубо накрашенных губах тлела сигарета. Это были настоящие распустёхи, что вполне подтверждалось их неопрятно распущенными волосами; ничуть не стесняясь и не чинясь, они готовы были без конца трепаться об ужасах хирургии и акушерства, их разговор исполнен был страхов и тайного взаимного злорадства — и то и другое цвело здесь и почиталось, — а также подробностей, которые в большинстве своём, если не все, подверглись бы цензурному сокращению даже в любом местном пабе.

Большинство из них благодаря стечению географических обстоятельств являлись жёнами надзирателей мрачной тюрьмы города Калверли. Это их мужья, звеня связками ключей, чуть ли не отрядом вваливались сюда в часы посещений.

Жёны с удовольствием сплетничали о махровом насилии и разных постыдных поступках внутри стен тюрьмы, так что обычная непроглядная их трескотня подсвечивалась порой ещё и зловещими бликами замкнуто-примитивного тюремного быта. И все они с дружным оттенком злости говорили о мужчинах, в которых видели виновников своих нынешних тягот и унижений. «С моим-то от этого дела не отвертишься… вот и мучайся…» — говорила одна. «Но зато уж теперь какое-то время не поскоромничает», — отзывалась другая. «Да уж, хоть недолго, а пожить в спокойствии», — с довольным видом подхватывала третья. Все они «попались на эту удочку, пострадали из-за деточек»; кормить ребёнка грудью вздумали очень немногие из них, и те лишь в надежде уберечься от следующей скорой беременности.

Стефани, как истинная жена священника, предпочитала говорить с молчаливыми и опечаленными: с женщиной средних лет, чей младенец упорно отказывался принимать какую-либо пищу, с совсем молоденькой девочкой, которую безжалостно поместили сюда после мертворождения дочери и которую сотрудницы тоже кликали «мамой» или «мамочкой».

Собственная её мать проявляла, в том что

касалось Уильяма, странную сдержанность. Уинифред в следующий раз пришла одна, и Стефани вспомнила, как давеча Билл «нянчил» Уильяма, а мать наблюдала и даже не пробовала прикоснуться к ребёнку. И вот теперь она сама спросила Уинифред: «Ты не хочешь подержать его на руках?» Та хотя и несколько робко, но с готовностью взяла внука и ловко пристроила вдоль своей правой руки, подложив ладонь левой — чашечкой ему под головку. Потом, сев, потрогала его щёчку, ручку, холодную ножку нежным пальцем — Уильям даже и не проснулся. Стефани вдруг подумала, что не помнит в детстве случая, когда мать *смеялась* с ними вместе. Ни разу она с ними и не играла, хотя обучала многому, серьёзно и с удовольствием. Главное и правильное в ней имелось (стоит лишь посмотреть на неё с малышом!) — ровная нежность, заботливость, искреннее полное внимание. И спокойствие, хотела бы добавить Стефани, но не могла. И тогда и сейчас, словно жилка, бился под этой ровностью страх. Малыша Уинифред держала с любовью и опаской. Чего же она страшилась? Может быть, Билла? Раньше Стефани невдумчиво полагала, что мать боялась Билла, однако теперь осознала, что мать жила, и вполне себе храбро, в состоя-

нии вечного страха, который был, конечно, куда старше её замужества. Частью этого страха была боязнь общественного осуждения — то есть те же меленькие, поверхностные страхи и страшочки, что Стефани ловила среди паствы во время рождественской службы, раздумывая о негибких формах сознания низшего среднего сословия в «Мельнице на Флоссе». Но было тут и нечто иное, глубинно страшное, превосходившее даже ужас перед Гитлером, который (Гитлер) пробудил и обострил у неё, Стефани, в детстве способность бояться. (Однажды ей приснился такой сон: Билл и Уинифред стоят на дне глубокой ямы или карьера, а сверху над ними — *он*, маленький, бешеный, со щёточкой усов, надмевается, извергает немецкие ругательства, размахивает мясницким ножом, и она вдруг понимает, что родители — её единственные природные защитники — совершенно перед ним беспомощны, в полной его власти.) Уинифред, подумала Стефани, не ожидала от жизни многого, жила без упований, крохотно. Почему?!

— Мне кажется, ему с тобой очень уютно.

— Надеюсь. Опыта мне не занимать. Правда, в этом возрасте они такие хрупкие, что даже страшно.

— Ничего, он умеет за себя постоять, если что,

закричит, — сказала Стефани.

— И часто он кричит?

— Не особо. Другие больше. По-моему, он хорошо понимает, что к чему, и кормится в своё удовольствие.

— Вот Маркус не кричал. Он был безмятежным младенцем, если это слово, конечно, годится.

— Может, крик пошёл бы Маркусу на пользу?

— Может.

Уинифред готова была предположить, что во всём, что она делала с Маркусом, заключено что-то неверное. Она слишком сильно его любила или любила как-то неправильно; да, скорее всего, так оно и было! Она положила ладонь на тёплую, нетвёрдую макушку Уильяма и проговорила:

— Я часто задаюсь вопросом, не надо ли мне было… сделать что-нибудь с ним по-другому.

Напрасная мысль, подумала Стефани и сказала:

— Люди такие… какие они *есть*. Я не верю, что родители могут изменить ребёнка. Разве кто-нибудь пристраивал Маркуса к математике?

— Интересно, было бы лучше, если бы мы — Билл — дали ему спокойно заниматься этой математикой?..

— Как знать. Однако в этой его математике

было нечто странное, только ему присущее, ты согласна? — спросила Стефани.

— Маркус вообще не такой, как все, — вздохнула Уинифред.

— Да уж.

— Стефани, как он вообще будет *жить*?

На этот вопрос Стефани не успела ответить, потому что с другой стороны кровати, внезапно и без малейшего предупреждения, возник Маркус.

Он одет был в непромокаемое пальто, в котором обычно ходил в школу, слегка ему маловатое. В руке у него был помятый бумажный пакет с ручками. Сделав шаг к кровати, он тут же отшагнул назад и потупился, так что Стефани и выражения лица не успела разглядеть — одни блики от склонённых стёкол очков.

Уинифред окаменела. Стефани проговорила приветливо:

— Возьми стул, Маркус. Вон там они у двери стопкой составлены. Добро пожаловать, садись.

— Мне хорошо и так.

— А мне не по себе, когда ты вот так *нависаешь*.

Маркус отправился к двери и вернулся, держа перед собой на вытянутых руках трубчатый стул, поставил стул на пол, сел, хлипкие трубочки за-

дрожали. Кровать со Стефани находилась между Маркусом и Уинифред.

— Ну, — сказала Стефани, — познакомься. Это Уильям Эдвард Варфоломей.

Уинифред развернула малыша в сторону Маркуса, отпахнула с его головки детское одеяльце.

— Он… очень маленький, — сказал Маркус.

— Соответствует возрасту.

Маркус неуклюже встал со стула, выставил палец, притронулся к щёчке малыша:

— Холодный.

— Кожа у малышей всегда холоднее, чем у нас.

— У него… всё хорошо?

— Даже отлично, — ответила Стефани, грустно переводя взгляд с Уильяма на Уинифред, потом на Маркуса.

Вот уж поистине бледные, неогненные Поттеры. Маркус встретился взглядом с Уинифред, чем-то невидимым они обменялись, конечно же страхом!

— Как у тебя вообще дела, Маркус, всё в порядке? — решилась спросить Уинифред.

— Да. Очень хорошо.

Уинифред, к некоторому удивлению Стефани, вдруг протянула Маркусу ребёнка:

— На, подержи. Это же твой племянник.

Маркус поспешно втянул голову и шею в нескладное пальто, обхватил себя собственными руками, словно защищаясь:

— Ой нет, мне нельзя. Я могу его уронить. Или даже…

Что именно «или даже», он не уточнил.

Все они, Стефани, Дэниел, да и сама Уинифред, втайне опасались встречи Уильяма с Маркусом. У них было какое-то суеверное чувство, что Маркус может, словно злой эльф, сглазить малыша или, посредством симпатической магии, заразить его страхом.

— Отдай мне ребёнка, — с какой-то даже яростью приказала Стефани.

Уинифред поспешно вручила ей Уильяма — словно малыш в большей безопасности не с Маркусом, да и не с ней.

Маркусу и правда было боязно. Как и Дэниел, но менее точно воображая возможные дефекты и недостатки, он опасался, что с Уильямом что-нибудь «не так». По пути сюда он глянул сквозь стеклянную стену младенческого питомника и потрясён был зрелищем маленьких созданий, как они хранятся в рядах повторяющихся контейнеров (голубые одеяла или розовые, но неизменные трубчатые ножки, целая чаща видных друг из-за

друга кроватных ножек). Часть младенцев не спит, пребывая в гневе или отчаянии, под их тонкой кожей бьются тёмно-розовые или сине-серые токи; другие же спят в аккуратных свёртках, бескровные, бледно-восковые, *смертельные*. Очень его встревожили эти безымянные ряды, что и говорить.

Обеспокоил его и вид этого конкретного младенца на руках у его собственной матери, Уинифред. На первый взгляд она казалась счастливой и спокойной. На лице её выражение тёплой заботы, которое он привык связывать лишь с самим собой; но разве эта забота смогла его защитить от злой напасти? Поэтому он испугался — то ли этого ребёнка, то ли *за* этого ребёнка.

Стефани положила малыша на кровать и развернула. Уильям открыл глазёнки, свинцово-синие, и воззрился куда-то.

— А он меня видит? — спросил Маркус.

— Вряд ли. Говорят, что младенцы в первые недели не умеют фокусировать взгляд — глазные мышцы недостаточно развиты. Но я в этом не уверена. Мне кажется, меня он всё-таки различает. Психологи в лабораториях вряд ли могут точно определить, что́ малыши видят, а что́ нет.

Маркус робко приблизил лицо к этим непонят-

ным глазам.

— Мне кажется, меня ты видел с самого начала, — сказала Уинифред с чувством.

— Конечно видел, ещё бы, — подтвердил Маркус с простой уверенностью, несколько охладившей её сентиментальность.

— Но он не запомнит того, что видел сегодня, — сказала Стефани. — У меня, кстати, первое настоящее воспоминание такое. Я раскроила коленку, и мне её моют в ванной — поток крови в воде, потом вода чистая, и мажут жёлто-коричневым йодом. Мама, был ведь такой случай? Я до сих пор помню все те цвета и запахи, кровь, воду, йод, помню, там ещё было сверкающее зеркало и я слышу, как кто-то плачет, плачет. А потом понимаю, что это я сама и плачу. Тут воспоминание заканчивается.

— Много было разбитых коленок, — сказала Уинифред уклончиво.

— А у тебя какое первое воспоминание, Маркус? — Стефани, самым что ни на есть спокойным, небрежным тоном.

— Наверное, как я лежу в коляске. Помню над собой квадрат света, с трёх сторон чёрной рамкой загорожено, и что-то там ещё более сложное, колышется, мелькает против света, перемещается

в этом световом квадрате. А я лежу и смотрю, как эти штуки извиваются, как бичи или как кромки волн, а потом я думаю… то есть, конечно, не то чтобы *думаю*… скорее получаю такую готовую мысль: интересно, а что-нибудь ещё другое будет или не будет? Потому что я так лежу уже долго, долго, долго… и буду, наверное, лежать ещё дольше. Это трудно объяснить.

— Я клала тебя спать в саду под ясенем, — сообщила Уинифред.

— В голубом вязаном пальто и шапочке, — подтвердила Стефани. — Пальто с большими перламутровыми пуговицами.

— Ну, тогда, значит, это были ветви дерева, — определил Маркус. — Просто я фокусироваться не умел.

— Как же я любила этот ясень, — сказала Стефани.

Все трое вспомнили, но промолчали о том, что Билл несколько выходных кряду посвятил яростному сражению с ясенем, который необходимо во что бы то ни стало срубить: в их маленьком городском садике — мол, не помещичий сад! — не место этому дикому дереву, лесному дереву, стремительно растущему дереву.

Маркус и Уинифред ушли вместе. Оказавшись

за дверью больницы, они какое-то время молча постояли, бок о бок. Уинифред настолько привыкла молчальничать, что никакое слово не шло ей на ум, которым можно удержать сына рядом или уж отпустить его на волю.

— Итак, — сказала она в конце концов.

— Итак… — эхом отозвался Маркус.

— Маркус…

Он посмотрел на неё в упор, мягко, беззащитно. Что-то в нём изменилось. Она поняла что́ — он беспокоится о ней — довольно бесполезно и беспомощно, потому что боится.

— У тебя есть какие-нибудь планы… что ты собираешься делать дальше, Маркус?

— Мне надо подумать, я должен подумать. Я знаю — надо что-то делать.

Она чуть было не крикнула — возвращайся уже домой!

— Может быть, мне вернуться домой? — спросил Маркус.

— Просто начни жить сначала, — сказала она, и тут же засомневалась, и забоялась сказанного.

Не сдержись она, позови его обратно, он бы, глядишь, сразу и вернулся, вполне охотно, ведь он не счастлив в другом доме, ему страшно. Но она опасалась — причинить ему вред, спугнуть

его, сделать что-нибудь не так.

— А что говорит доктор Ройс?

— Говорит, мне нужно найти себе какое-то занятие. Например, устроиться работать в больничную библиотеку. Возить тележки с книгами.

— А что, неплохая вроде задумка, — пробуя подстроиться, не слишком уверенно сказала Уинифред.

— Не знаю, мне не нравятся больницы. И подобная работа невероятно скучная.

— Маркус, я не уверена, но…

— Мы ещё увидимся. Здесь увидимся. — Он отодвинулся и зашагал прочь.

Она не позвала вслед — погоди, постой…

Дэниел привёз свою мать взглянуть на сына. В её толстых лапах малыш совершил очередное превращение: перестал быть Дэниелом нынешним и сделался Дэниелом младенчества — беспомощным, неоформившимся, несытым. Стефани чувствовала слабость, послеродовую тревогу и уныние. Если визит Поттеров внушил ей подозрение, что Уильям — лишь очередное звено в сложной и, возможно, дефектной генетической цепи, то миссис Ортон, притиснувшая малыша к лиловой подушке своей груди, заставила на краткое время почувствовать, что Уильям — не

только в настоящем, но и в недавнем прошлом — не совсем плоть от её плоти. Миссис Ортон, осыпая младенца поцелуями, издавала странные звуки, не то сосущие, не то чавкающие. Головка его болталась, ничем и никем не поддержанная. Горяченький и беспомощный, он исчезал в её пухлом, дряблом теле.

— Мама, мне кажется, ему не очень так удобно, — сказал Дэниел.

— Чушь какая. Да он довольнёхонек. Ах ты, мой чижик…

У Стефани слёзы навернулись на глаза.

Беря его на руки, под конец этих больничных дней, когда он странствовал по стольким рукам, она со всей обострившейся чувствительностью слышала перемены его запаха, на ощупь или даже на вкус он тоже всякий раз делался другим. Дитя должно узнаваться именно по запаху; вспомним потерявшихся ягнят, как жалобно они блеют со стылого йоркширского холма в феврале на все стороны света, и вот являются за ними как будто бы «глупые» овцы, прибегают трусцой в своих свалявшихся шубах и тычут по очереди твёрдым костлявым носом в чёрные шкурки ягнят, кого-то отпихнут прочь, а своего найдут и приветят. Ягнёнок зароется рыльцем в материн-

скую шубу. Представьте теперь человеческого дитёныша, мытого, но не замытого, — как по-особенному пахнет — солодовым бисквитом — его мягкая макушка.

После дня посещений и больничного обихода тепло Уильяма становилось другим, неправильным; даже пот его был пóтом других людей, влажно застрявшим в складках захватанных пелёнок. Весь он делался не живчиком, с которым можно делать потягушечки, а резинистым неподатливым пупсом. Запах его заволакивался запахами других людей, сладким ландышем чьих-то духов, чьим-то сигаретным дымом. В один прекрасный день на маленькой площадке его лобика обнаружился липкий поцелуй вишнёвой помадой… Положив его на кровать, она сворачивала ловкий треугольник подгузника из белой муслиновой пелёнки и плакала, плакала беззвучно, горячий поток слёз так и струился по скользким щекам. Вот ведь обыдёнщина. Она тщательно отряхивала от посторонних частиц и запахов его распашонку. И брала его на руки. Он издавал негромкие и какие-то довольные (то есть никого не зовя, ни на что не жалуясь) звуки. Она видела его сквозь пелену слёз, в радужной дымке от лампы над изголовьем кровати, и

успокаивалась. Дэниел принёс весенние цветы — голландские ирисы, бледно-лилово-голубые, с жёлтой полоской, и золотистые нарциссы сорта «король альфред». Медсёстры их унесут, просто ещё не успели. Их мягкий дух, настоящий, воздушно-земляной, просачивается сквозь запахи дезинфицирующей жидкости и искусственного ландыша. Их стебли — жёсткие бледно-зелёные трубочки, их листья неуклюже-остро взмётываются из вазы.

Младенец открыл глаза, повертел головой из стороны в сторону и увидел свет. Свет предстал ему как бы сквозь воду (или, можно сказать, самый воздух для него был полупрозрачной, густой жидкостью). Широкая просека света захватила и удерживала медленный младенческий взор, но она была не сплошная, а вся прослоистая, в нежных повторяющихся перебивах бледно-лилового цвета (от ирисов) и жёлтого хрома (от нарциссов). Ребёнок же находился внутри своей маленькой сферы, так что свет, ясный, жёлто-золотой, ему виделся как ближний её свод или даже как арка. Между глазом его и этой аркой лежала — а ему казалось, беспрестанно текла — полоса многоцветных прожилистых вспышек, золотое на лиловом, лиловое на золотом.

Озираясь внутри своего лучистого облака, младенец различил два бледно-ярких пятна, которые меняли форму, а за ними маячило третье. Первое склонилось к нему, более крупное, мягкое, по цвету более кремовое, с уже знакомым теплом, бледным неизменным теплом материнского лица, вторым же, более тонким и ярким (жёлтыми волосами), оно было окружено, как мерцанием. По-над этими подвижными живыми кругами, дугами маячил третий, куда более бледный, нимб, ореол, создаваемый светом настенной лампы для чтения. Все эти формы переменялись и одновременно постоянствовали в кругозоре младенца. Они были омыты новизною; впрочем, он был слишком ещё мал, чтобы этому восхищённо удивиться, слишком только ещё учился измеривать радость.

Свет, преобразованный слёзками и туманной материей его глаза, был тёплый, с рассеянным в нём мягким светом нарциссов и ирисов, хоть я и не могу поручиться, что ребёнок умел каким-либо образом синестетически ассоциировать тепло и свет, из которых первое было необходимостью, а второй — радостной новостью. Текучие корпускулы световых волн для него окрашены были прожильчато в цвета ирисов и нарциссов

— розово-лиловый, сиреневый, кобальтовый, цитронный, жонкилевый, сульфурный, жёлтый хром, — хотя, конечно, он не умел ни назвать, ни чётко различить этих подразделений света, точно так же как не разумел ни гребешка пестика у ириса, ни бахромчатой коронки у нарцисса.

Если б он был способен к метафорическому сравнению (а к нему способен он не был), он сказал бы, что сверкающие корпускулы — как прозрачные рыбьи чешуйки, одна растёт из-под другой. Или сказал бы, что они — словно нежные писчие перья, изящно выгнутые от очина к своим световым опахалам. Или словно маленькие, извилистые, многократно повторённые язычки свечного пламени. Или если бы он видел не смутно и в целом, а внимательнее пригляделся бы к главной подвижной форме — лицу матери, — то световые частицы перестали бы катиться для него простым потоком, а заструились бы причудливее, концентрически или спирально, не то лучиками, не то крошечными протуберанцами этого тёплого центра; а может быть, линии света легли бы чётче, расположились лепестковидно или наподобие намагниченных игл, выхватывая из массы золотых и лиловых теней — волосы, глаз, рот. Или, ещё, он заметил бы, что

лицо её подобно солнцу или луне — освещает по окружности цветной этот воздух, но понятия о геометрии у него не имелось, он не ведал, что такое окружность, вообще не обладал ни малейшими сведениями о мире, например, что такое солнце, луна или звёзды. Раньше смотрел он в *бессветные* околоплодные воды, а теперь узрел свет. И кто бы мог сказать наверняка: в тех частях его мозга, которые стали оплотом зрения, палочками и колбочками сетчатки, не жило ли уже, в дородовой темноте, сверхчувственное представление о свете, не снилось ли снов о свете, прежде чем свет — хлынул?..

Искусство — это не возвращение к невинному зрению, такое зрение недостижимо. Знаменитая фраза «Делайте новым»[81] вовсе не означает освободить произведение от всех ранее усвоенных форм и конвенций: как ни парадоксально, иллюзию новизны можно создать лишь с помощью выверенного использования системы сопоставлений с чем-то уже усвоенным, а также особых знаков, указывающих на вещи виданные и в силу этого узнаваемые. Я вознамерилась было писать

[81] Примечания: 81

Название книги эссе Эзры Паунда (1935), со временем ставшее девизом модернизма.

этот роман невинно, не прибегая к мыслям других людей и, поелику можно, не прибегая к сравнениям или метафорам. Но подобное предприятие оказалось невыполнимым. Мыслить получается, не иначе как признавая и преобразуя способы мысли и зрения, усвоенные нами на протяжении жизни. Видя мир, приглядываясь к нему, мы его пересоздаём. Уильяму это покуда не под силу, потому что он и сам только что появился, только что начал приноравливаться к окружающему пространству, не был ещё отдельным от матери. Цвета он научится называть гораздо позднее, чем вещи; маленькие дети говорят «красный», но могут долго именовать «синим» всё то, что не «красное».

Взрослея, мы начинаем различать цвета и оттенки цвета и с радостью узнаём точные их обозначения. Вот и моя словесная цветопись — розово-лиловый, сиреневый, кобальтовый, цитронный, жонкилевый, сульфурный, жёлтый хром — выражает моё удовольствие от различения цветовых оттенков и от богатства слов. Общение, однако, не единолично, не объективно и не окончательно. Я знаю, что у некоторых читателей эти цветовые прилагательные вызовут ясные внутренние зрительные представления, —

они «увидят», в некотором смысле, лиловый и золото, другие же читатели — нет. Нет двух людей, которые видели бы ирис одинаково. Хотя и Дэниел, и Уильям, и Стефани — все смотрели на один и тот же цветок.

Даже невинный глаз — не просто принимает в себя свет, а действует, упорядочивает. И мы — как бы беспристрастно мы ни наблюдали, как ни желали бы верить в надличностность поэзии — всегда привносим в описание мира что-то своё, привносим, когда настраиваем своё зрение. Винсент Ван Гог ни в коей мере не был художником *наива*. То, что ему необходимо было понять о красках и геометрии, об отношении цветов и поведении света, было мучительно и грозно. Раздумывая об «ужасной битве» дополнительных друг к другу цветов, золота и фиолета, на картинах с сеятелем и жнецом, в Арле и Сент-Реми-де-Провансе, он боялся впасть в «цветовую

метафизику»[82]. Он упорядочил свой мир, настроил свой необузданный и утончённый взгляд особым способом, придав мазкам фактурность и направленность, сделав мазок, удар кисти более первобытным.

В сентябре 1889 года он писал:

> Какая это странная штука, мазок, *удар* кисти! На открытом воздухе, под ветром и солнцем, порой под взглядами любопытных, работаешь как придётся, заполняешь холст как попало. Зато схватываешь подлинное и главное (а это-то и есть самое трудное). Потом, спустя время, возвращаешься к этюду и располагаешь мазки кисти, как это подсказывают

---

[82] Примечания: 82

Из письма Тео Ван Гогу, ок. 28 июня 1888 г.:

«Вчера и сегодня работал над сеятелем и полностью переделал.

Небо — жёлтое и зелёное, земля фиолетовая и оранжевая. Конечно же, на этот великолепный сюжет должна быть написана картина, надеюсь, в один прекрасный день она выйдет из-под чьей-то кисти, может, из-под моей.

Вопрос такой: лодка Христа Эжена Делакруа и сеятель Милле — вещи совершенно разные по исполнению. Лодка Христа — говорю о зелёно-голубом этюде с пятнами фиолетового и красного и кусочком лимонно-жёлтого (нимб, ореол) — говорит на символическом языке посредством самого цвета.

Сеятель же Милле — бесцветный, серый, как и полотна Исраэлса.

Так вот, можно ли сейчас написать сеятеля цветом, например, с эффектом взаимного усиления присутствующих (дополнительных

друг к другу) цветов, например жёлтого и фиолетового (наподобие плафона Делакруа в галерее Аполлона в Лувре, где присутствуют как раз жёлтый и лиловый), — да или нет? Конечно да. За чем же дело стало? — вот и папаша Мартен любит приговаривать: „Пишите свой шедевр!“ Но стоит только приступить в подобном роде, как впадёшь во всю эту цветовую метафизику а-ля Монтичелли, а это такая заварушка, из которой мудрёно выбраться с честью».

> предметы на картине, — и сразу всё становится куда гармоничнее и приятнее на вид, и добавляется изрядная толика безмятежности и улыбчивости[83].

(Да, ему было свойственно изо всех сил настаивать на безмятежности и улыбчивости, хотя порой — и даже по большей части — добавлялось отнюдь не это.)

Мазки в «Сеятеле» создают почти мозаичное ощущение: небо в них течёт потоком, борозды лиловой земли стремятся от тяжёлого золотого солнца в центре, сеятель разбрасывает семена золотого света, которые — опять же мазки, уже иной формы, на тёмных утренних глыбках земли. Решительные и вещественные, мазки отображают ход света по предмету, ход глаза по вещи. В «Жнеце» возникает характерная для позднего периода закрученность мазков, которые завитками своими связывают раскалённую добела поверхность пшеничного поля, селадоновую фигуру жнеца, лиловатые горы и вердепомовый воздух — в единое, неповторимое вещество зрения. На одном из автопортретов глаза Винсента

---

[83] Примечания: 83
Из письма Тео Ван Гогу, Сент-Реми-де-Прованс, 10 сентября 1889 г.

излучают мазки почти концентрические, точно два солнца-близнеца. Это ново, но является противоположностью невинности. Ибо увидено, осмыслено — и создано.

8
Под сенью юношей в цвету, I

Ньюнэм в те дни находился за пределами, хотя и недалёкими, Кембриджского университета как такового. Своими фронтонами из голландского красного кирпича, длинными крытыми переходами, лестничными площадками, массивными перилами, мансардными помещениями — то есть всем обликом, стилем и атмосферой — Ньюнэм напоминал загородный дом, удобный для жизни. Комната Фредерики, аскетичная и вместе женственная, выходила окнами на незапущенный сад, с розами, растительными бордюрами, декоративными кустарниками и чуть ввалившимся прудиком. Фредерике приятно было сознавать, что основание Ньюнэма никоим образом не связано с богословием, хотя она и не ведала в подробностях, какие когда-то гремели здесь бои за женское образование, какие пылали споры о том, необходим ли сан священника для сотрудников, какие мучительные совершались битвы с Богом, Церковью и университетом, в ходе коих напитывались вдохновением для своего дела

профессор-философ Сиджвик из колледжа Святой Троицы и прочие основатели Ньюнэма. Позднее, в 70-е годы, Фредерика вернётся в колледж и найдёт его прекрасным — культурно и грациозно расположившимся в пространстве, человечным.

В 1954 году в воздухе между тем носилась враждебность по отношению ко всему викторианскому — остракизму не подверглась, пожалуй, лишь Джордж Элиот, которую канонизировал главный кембриджский авторитет в вопросах литературы, критик Ф. Р. Ливис (что, впрочем, не помешало ему заявить, что Троллоп и Диккенс — никуда не годные, недостойные серьёзного внимания авторы, — и подпеть другому известному критику, Томасу Элиоту, заклеймившему Теннисона и Браунинга: мол, эти поэты мыслят неполноценно, поскольку их восприятие

безнадёжно диссоциировано)[84]. В 1954 году звучали призывы и выдвигались планы снести викторианские железнодорожные станции с их красными башенками и шпицами. Грубому осмеянию подвергся мемориал принца Альберта в Кенсингтонских садах. Красивыми почитались «террасные», в один сплошной ряд расположенные, жилые дома времён короля Георга, с их суровой и скупой архитектурной линией. Будущее связывали с аскетическими зданиями Ле Корбюзье на ходулях, дававшими возможность свободной внутренней планировки. Высотные многоэтажные жилые дома, которые Фредерика увидела ещё на окраине Калверли, вселили в неё волнение, предчувствие роста простора и свободы в обществе. Ньюнэм же показался

[84] Примечания: 84

Ироническая отсылка к словам Элиота из эссе «Поэты-метафизики» (1932): «Теннисон и Браунинг — поэты и высказывают мысли; однако они не ощущают свою мысль так же непосредственно, как запах розы». Приводя отрывок из поэмы Браунинга, Элиот утверждает, что в поэзии Нового времени утвердилось некое «диссоциированное восприятие», которым во времена Джона Донна и других метафизиков поэзия не страдала. Ф. Р. Ливис, чей авторитет был огромен, особенно в 70-е гг., говорил, что Теннисон и Браунинг владеют поэтической формой, но не создают подлинной поэзии, так как слишком отстранены от собственных творений. Настоящая поэзия, считал Ливис, должна сообщать что-то личное о самом поэте: поэт должен быть эмоционально связан со своими стихами и находиться под глубоким воздействием современной жизни, «быть более живым, чем другие люди своей эпохи». Примерами истинных поэтов для Ливиса были Т. Элиот, Т. Харди, У. Б. Йейтс, Уолтер де ла Мер — но никак не викторианцы, к которым

благоволит А. С. Байетт.

ей этаким старомодным, неказистым, хотя и *гемютным* местечком. Был в нём налёт псевдосредневековости, одна дурацкая входная арка чего стоила. К сожалению, сразу напомнившая ей красную готическую арку в Блесфорд-Райд, школе для мальчиков (в которой работал Билл и которая была прибежищем сумасбродных неудачников-отщепенцев и, по совпадению, также и оплотом агностицизма). Отсутствие резких черт, даже сама женственность Ньюнэма делали его в Кембридже каким-то отдельным островком. Мерещилось, будто здесь по-прежнему действуют ужасные ограничения женской свободы, унаследованные с викторианских времён (только сейчас, в наше время, обрётших шарм благодаря грандиозным экранизациям романов да дизайнерскому гению Лоры Эшли[85]): ноги под столом изволь прикрывать юбкой; в свет — только с пожилой компаньонкой; всегда помни о Долге и приличиях. В такой обстановке как будто бы полагалось пить какао, заедая оладьями, а вечеринкам — быть в лучшем случае тихими чайными вечеринками. Фредерике же

[85] Примечания: 85

Лора Эшли (1925–1985) — британский дизайнер тканей, одежды, обоев, посуды, мебели, предметов домашнего обихода в стиле английского викторианского сельского дома.

хотелось пить вино, смело спорить, водиться с мужчинами. Сидя на своей аккуратной кровати, она раздумывала — не как украсить комнату, а как бы возразить приятной банальности этой обстановки? Небрежно набросить на кровать простое, яркой расцветки покрывало? Нацепить на лампу более современный абажур? Поставить на подзеркальник какую-нибудь статуэтку? Она извлекла из багажа чёрные керамические кружки с жёлтым, тоже керамическим подносиком (память о Валлорисе, Провансе). И занятную фотографию: какие-то люди, кто в юбках с фижмами, кто в камзолах и рейтузах, кто по-простецки без пиджака, в рубашке и фланелевых брюках, бредут под обрезанными в кадре тисами, по расплывчатой, уже еле различимой в памяти аллее Лонг-Ройстон-Холла…

В тот первый её год Кембридж представился ей садом, полным юных мужчин. Она знала, что на каждую студентку здесь приходится по одиннадцать студентов (хотя не догадывалась поначалу о присутствии и авантажном положении медсестёр из кембриджской больницы Адденбрука и женской прислуги). Унылость своей предыдущей жизни она во многом приписывала недостатку в ней лиц мужского пола. В Блесфорде, с одной

стороны, она обитала непосредственно по соседству со школой для мальчиков, но с другой — мальчики, то ли страшась грозного Билла, то ли пасуя перед её собственной языкастостью и горячностью, вели себя как унылые тихони. В Кембридже — надеялась она — ей встретятся умные, интересные ребята, которые сумеют её переспорить, однако и выслушают с уважением её мнение. Они станут приятельствовать с ней. Она войдёт в заветный круг увлекательной жизни.

Несмотря на кое-какой опыт — влюблённость в Александра и боевое крещение с Эдмундом Уилки, — она поразительно мало понимала, чем и как живут в большинстве своём люди, совершенно не умела проводить отличий между одним молодым человеком и другим, вообще имела удивительно мало терминов, в которых могла их описать (если использовать аналогию с жителями Южной Америки, не знала, в отличие от южноамериканцев, богатого спектра прилагательных, означающих масть коровы). Все молодые люди ещё довольно долго расчислялись ею лишь по двум шкалам — «ум» и «красота». В этом она, конечно же, проигрывала тем своим современницам, которые были плоть от плоти другого мира — мира светских хроник,

первых выходов в свет, удачных и неудачных знакомств. В их распоряжении был огромный словарь, описывающий нюансы приемлемого и неприемлемого поведения, внешнего вида, происхождения и всей истории того или иного молодого человека. Фредерика желала бы иметь чувство стиля, но знала, что — покуда — оно ей недоступно. Представления о хороших манерах она получила из книг Джейн Остин, Энтони Троллопа, Э. М. Форстера, Розамонд Леманн, Анджелы Теркел, Ивлина Во, Д. Г. Лоуренса и множества других полезных, но, впрочем, бестолковых источников. Заочное впечатление о Кембридже — по крупицам собрано от Стефани (та, правда, рассказывала больше о литературе, чем о житье-бытье) да подчерпнуто из умной трескотни Уилки и его подруги. Но пожалуй, более важными были два других подспудных представления, властно налёгшие на ум и спорящие друг с другом. Два образа здешней жизни. Кембридж студента Анселла из романа Форстера «Самое долгое путешествие», в этом Кембридже гармонично сосуществуют мысль и корова, неким чудесным образом (в отличие от Теннисона и Браунинга) преодолев диссоциацию. И другой Кембридж — со страниц романа Розамонд Леманн «Сухой

ответ», где беззаботно фланирует золотая молодёжь мужского пола — и одновременно живёт неистовая, безнадёжная, подавленная женская страсть… Этот университетский город основан на слове, облачён в сияющее слово, длит свою жизнь благодаря истории слов; и не бывало, чтобы, проходя мимо Королевского колледжа, она не взглянула на настоящих коров, пасшихся на другом берегу реки Кем, и в голове у неё не прозвучало: «Корова здесь. Она здесь, корова. Где бы я ни был, в Кембридже, в Исландии, или вовсе лежал на погосте, корова останется здесь… Это была философия. Они обсуждали, существуют ли предметы. Существуют ли они только тогда, когда есть некто на них взирающий?»[86] Точно так же, пересекая Большой двор колледжа Святой Троицы, она непременно слышала у себя в душе: «Большой двор Святой Троицы, озарённый солнцем, скорбел о своих молодых людях»[87]. Правда, эти погибшие молодые люди повымышленнее коровы, а оригинал по меньшей мере одного из

---

[86] Примечания: 86

Начальная сцена романа Форстера «Самое долгое путешествие».

[87] Примечания: 87

Розамонд Леманн, «Сухой ответ», часть 5, гл. 7, финал романа, прощание Джудит с Кембриджем: «Большой двор колледжа Святой Троицы, озарённый солнцем, печалился о Мартине. Двор Мартина ещё не забыл. Двор не любил, когда гибли его красивые молодые люди».

них, как гласит молва, живёхонек, по-прежнему бродит по Кембриджу, говорит разговоры про коров, других молодых людей, литературу, Кембридж…[88]

В первую же неделю у неё появилось сразу двое знакомцев. Они прислали ей приглашение к чаю, подписанное двумя именами — Алан Мелвилл и Тони Уотсон. В приглашении упоминалось, что познакомиться с ней, как с выдающейся особой, им посоветовал Эдмунд Уилки. Они встретились с ней в кафетерии дешёвой молодёжной гостиницы, что на улице Пиз-Хилл за Театром искусств. Это была зала в коричневатых тонах, непритязательного и практичного вида, непоправимо пропахшая табаком, а также поколениями спортсменских рубашек, пивших здесь неблагоуханный растворимый кофе. Алан и Тони оказались чрезвычайно уверенными в себе и настолько беспощадно безыскусными в обращении, что это составляло особый стиль, который лишь со временем — путём сопоставления с другими видами поведения здешних молодых мужчин — ей открылся. Они потчевали её крепким чаем,

[88] Примечания: 88

Имеется в виду другой приятель Джудит, ставший преподавателем у себя в колледже.

наливая себе и ей из коричневого чайника в вязаной грелке — в толстые белые керамические чашки. На столе имелись сложенные ступеньками ломтики хлеба, джем, фруктовый кекс. Алан был худощавый блондин с шотландским выговором, одетый в безрукавный пуловер глухого синего цвета, полушерстяную клетчатую рубашку. Тони — дородный кучерявый брюнет, в свитере ржавого цвета явно домашней, ну или, по крайней мере, ручной вязки, с крупным рисунком, с высоким отворачивающимся воротником. Брюки на обоих просторные вельветовые. Алан изучал современные языки в колледже Святого Михаила и всех ангелов, Тони — английский язык в Королевском колледже. В эту первую встречу она ещё не понимала важности выяснения, какую школу они окончили и (что не менее важно) прошли ли армейскую службу. Узнала только, что они второкурсники и пописывают в местной университетской газете. Покрашенные в глянцево-кремовый цвет, прокопчённые стены украшены были множеством фотографий: девы в кембриджских яликах-плоскодонках, девы на велосипедах с развевающимися фалдами мантий, девы, возлежащие в высокой траве, девы за столиками с бокалами вина, в ярком свете маг-

ниевой вспышки… Новые знакомцы объяснили, что хотели бы сделать для газеты материал о Фредерике (Уилки рассказал им о её роли в «Астрее» и потрясающих способностях к наукам). Очерк об интересной первокурснице. Алан, кстати, делает хорошие фото! Итак, вы согласны?

Почему ей было не согласиться? Многообещающее начало, возможность заявить о себе. О подводных камнях она не подумала.

Тони с Аланом ей понравились. В следующую встречу они вместе в новой кофейне выпили тонны кофе эспрессо из покатых стеклянных чашечек. Сводили они её и в разные бары, где сами пили пиво, а Фредерика — сидр. (Тони понимал тончайшие отличия между сортами пива. К пиву Фредерика так и не сумела приохотиться, хотя в этой компании это было бы кстати. Пиво тепловатое, горькое, а в желудке болтается почему-то холодным.) Они спрашивали Фредерику, что она думает про всякое-разное. Польщённая их интересом, она радостно высказывала заветные мысли; впрочем, из боязни показаться тугодумной или неуверенной охотно объявляла своё мнение и о том, о чём задумывалась мало или не задумывалась вовсе. Иногда они записывали её слова в блокнотик, иногда нет. Она отнесла их обоих

к типу «умеренно-симпатичный» (другие варианты были — приятной наружности, красивый, смазливый, элегантный, привлекательный) и «башковитый» (в отличие от умный, одарённый, смышлёный, рассудительный, сообразительный, вдумчивый, мудрёный, уверенный, знающий, восприимчивый, шустрый…). «Башковитый» было словцо кембриджское и одновременно из прошлого мира школьных учителей и школьных экзаменационных испытаний. В нём присутствовали смысловые оттенки остроты и проворства ума, которых в слове «умный» ей недоставало. Тони с одобрением высказался о человеческой порядочности Д. Г. Лоуренса, его глубоком уме (с которым не шло в сравнение «умничанье» людей из группы Блумсбери[89]) и пророческих заветах. Подобный характер суждений и моральная оценка живо напомнили ей отца. Уже потом, позднее, она обнаружила, что Алан с его грубоватым выговором — прекрасный медиевист (причём разбирается не только, как можно было ожидать, в шотландских чосерианцах да балладистике, но

[89] Примечания: 89

Компания писателей, интеллектуалов, философов и художников, связанных родственными и приятельскими узами, а также воззрениями в области искусства, влиятельная в первой половине XX в. (Вирджиния Вулф, Джон Мейнард Кейнз, Э. М. Форстер, Литтон Стрейчи и др.).

и в европейской живописи и культуре). Ещё он знал много о Льюисе Грассике Гиббоне и Джеймсе Хогге (она же об этих авторах не слышала)[90]. И Тони и Алан называли себя социалистами, по памяти цитировали Рёскина и Уильяма Морриса[91], о которых Фредерика тоже не ведала. Самому факту чьих-то «социалистических» убеждений она значения не придала, полагая, что все мало-мальски порядочные люди и так голосуют за лейбористов. Она также решила (ошибочно!), что Тони и Алан, подобно ей, происходят из образованного среднего сословия.

Очерк о ней в «Университетском листке» появился под названием «Сильная первокурсница». Он сопровождался двумя фото работы Алана: на первом Фредерика, в мантии, со стопкой книг, в ньюнэмской арке, имела вид сердитый и нахмуренный (солнце било ей в глаза), на втором расположилась калачиком в кожаном кресле у

---

[90] Примечания: 90

Льюис Грассик Гиббон (1901–1935) — шотландский прозаик, автор трилогии «Шотландская тетрадь». *Джеймс Хогг* (1770–1835) — шотландский поэт и прозаик.

[91] Примечания: 91

Джон Рёскин (1819–1900) — влиятельнейший искусствовед Викторианской эпохи, акварелист, рисовальщик, геолог-любитель. *Уильям Моррис* (1834–1896) — английский поэт, прозаик, художник, издатель, социалист, близкий к прерафаэлитам.

Тони в «берлоге» — облегающий свитер, облегающие брюки, маленькие чёрные домашние тапочки, одна рука на бедре, другая подпирает голову. Если первый снимок производил впечатление высокомерной угловатости, то второй отдавал соблазнительностью, но какой-то незрелой.

В тексте имелись подзаголовки: «Фредерика о кембриджских женщинах», «Фредерика об актёрской игре», «Фредерика о сексе».

Это больше напоминало материал из жёлтой газеты наподобие «Дейли экспресс» (Фредерике незнакомой), нежели серьёзную журналистику, которую Тони вроде как объявлял будущим делом своей жизни.

Если верить очерку, о кембриджских женщинах Фредерика высказалась примерно так: Кембридж — рынок женихов и невест, но женщины менее честолюбивы и предприимчивы, чем мужчины, а умным девушкам трудно прослыть истинно женственными.

Говоря об актёрской игре, она с неприкрытым тщеславием заявляла, что желает попробовать себя в трудных, требующих отдачи ролях — леди Макбет, Клеопатра, святая Жанна д'Арк. На вопрос о роли Елизаветы I в «Астрее» она сказа-

ла: это был отличный, щедрый дебют; впрочем, она не уверена, что будущее английского театра связано со стихотворной драматургией, как пьеса «Астрея» довольно статична. Александр Уэддерберн — *удивительный* человек, и она рада сообщить, что следующая его работа для сцены будет совершенно в другом роде, золотое ностальгическое облако «Астреи» развеялось. Играть в «Астрее» было ни с чем не сравнимое удовольствие, все чувствовали себя свободными и абсолютно раскованными.

О сексе она сказала: действенные средства контрацепции вскоре выбьют основу из-под многих традиционных понятий, таких как целомудрие, верность и проч. В особенности у женщин.

Её планы на будущее: добиться успеха в качестве актрисы, дружить с по-настоящему интересными людьми, работать в сфере искусств, в Лондоне. Преподавать? Ну, нет. Она только что покинула стены школы и намерений учительствовать не имеет. Замуж, может быть, хотела бы за преподавателя университета, или за человека из серьёзного театрального мира, ну или за журналиста. Надеюсь успешно сдать экзамен на степень бакалавра с отличием, однако упорная учёба — не главная моя цель в Кембридже…

Прочтя этот очерк о себе, Фредерика, как проницательный литературный критик, впала сперва в уныние, затем в ярость, затем в панику. Героиня получилась неприятная, самодовольная и, что самое ужасное, важно изрекала набор предсказуемых студенческих штампов. Впереди замаячила угроза публичного фиаско — не первого и не последнего в жизни Фредерики, но уж в слишком неподходящую, уязвимую пору: у всего Кембриджа на виду, а Кембридж судит обо всём весьма язвительно. Она попробовала всплакнуть и даже стёрла поплывшую тушь с покрасневших от обиды глаз. Не стоит ли сесть на велосипед и отправиться к Тони и Алану, вопросить: какое право они имели использовать её в своих интересах и выставлять на всеобщее осмеяние? Удержалась она отчасти потому, что вспомнила совет небезызвестного Джорджа Браммела[92] героине какого-то романа Джорджетт Хейер: никогда не смущаться и не признавать своих ошибок. Ведь изрядная доля пошлости в очерке исходила от неё самой. Она не могла с уверенностью утверждать, будто не

[92] Примечания: 92

Джордж Брайан Браммел (1778–1840; по прозвищу *Веаи*, Красавец) — денди, один из законодателей лондонской моды, выведен в целом ряде литературных произведений.

говорила чего-то из «сказанного» ею в очерке, ну разве что её желание выйти замуж за журналиста было некой припиской от Тони. Некоторые из глуповатых высказываний были цитатками из рассказов Кэролайн, подружки Уилки, например про женщин и про «рынок женихов и невест». Неожиданно для себя она повторила их, как попугайка, потому что волновалась и хотела изречь о Кембридже что-то неотразимое (в чём теперь страшно раскаивалась).

Что же не так с Аланом и Тони? Их пошлость, так же как и её, — была нечаянной? Или всё же преднамеренной? Ведь они ей понравились! И она, кажется, им понравилась. Разве что, сама того не ведая, она чем-то их рассердила? Маловероятно, однако, что они вот так прямо взяли и решили её уничтожить (как о том была её первая мысль по прочтении). Ясно поразмыслив, она всё-таки решила, что пошловатый тон их очерка не отражает всей правды о них, как не может он отменить, перечеркнуть того трепета, который она почувствовала, слушая их разговор о Моррисе или Лоуренсе, её душевного волнения при виде открытки, что показал ей Алан: средневековая французская Богородица из слоновой кости. Во мне очень сложно уживаются пошлое мещанство

и ум, наглость и боязненность, во мне пока ещё мало внутренней ясности и благорасположения к миру, думала Фредерика. И Тони с Аланом — не менее сложные создания. Их не опишешь с нахрапу, несколькими хлёсткими фразами, — да и они понимают, не могут не понимать, что настоящая Фредерика Поттер начинается там, где кончается их «очерк»…

Ещё она подумала: а ведь я смогла бы лучше. Можно было бы написать, в том числе и обо мне, даже на основе того, что я наговорила, но обойтись без штампов!

Очерк этот тем не менее имел несколько продолжительных и в основном вредоносных последствий для жизни Фредерики в Кембридже, частью из которых она, впрочем, пренебрегла, о другой части не знала или не соотнесла с опусом в газете.

Самый непосредственный результат ощутился в том, что другие женщины не желали с ней знаться. (Правда, так бывало и прежде, когда она слишком резко и просто делила их на «невест» и «зубрилок».) Её товаркой по учёбе оказалась чрезвычайно юная и чрезвычайно прилежная девушка из, увы, не слишком хорошей школы. Эта девушка считала себя одинокой и отвергнутой и

не хотела менять своего положения. Ньюнэмские преподаватели (под влиянием неизбывного впечатления от Стефани?) надеялись, что Фредерика поможет товарке преодолеть застенчивость и «раскрыть потенциал». Фредерика не уделила девушке ни малейшего внимания, чем вызвала у преподавателей недовольство. Помня статью в газете и в особенности взгляды, высказанные Фредерикой по поводу секса, они обращались с ней крайне осторожно и холодно. Фредерика, и раньше знавшая неприятных и неласковых педагогов, восприняла это как должное.

С мужчинами дело обстояло иначе. Тех, кого статья оттолкнула, ей встретить не довелось. Зато были, как она предвидела, и другие. Кембридж состоял из множества мирков, часть этих мирков сообщалась между собой или имела какие-то пересечения, другая часть существовала практически изолированно. Женщина, тем более прославившаяся в некотором неблагом смысле, в особенности лихими и недвусмысленными словами по поводу секса, получала возможность перемещаться между разными мирками несколько более свободно, чем мужчина. За это нужно было заплатить некую цену, как придётся ей заплатить цену за продолжение приятельства с

Тони и Аланом. Но Фредерика жаждала разнообразия. Энергия в ней так и кипела. И платить она была готова.

Чего не удалось ей в итоге достичь, вопреки своим мечтам, так это пожить в кембриджском театре. Это был один из закрытых мирков, в котором постоянно царило нервное возбуждение, рождались честолюбивые планы, а сплетня с молвою были в таком избытке, что норовили переплеснуться, по крайней мере какая-то их доля, вовне, в реальную жизнь. Манеры «театральных» подразумевали откровенность и теплоту, без слов «дорогая» и «милая» не обходилась ни одна их фраза, но они всегда знали, что́ делают и с какой целью. Фредерика сходила на пробы в Любительскую театральную труппу и выступила там со своими коронными номерами — брачным предложением герцогини из пьесы Джона Уэбстера[93] «Герцогиня Мальфи», а также своим (или Александровым) монологом в башне из «Астреи». Эдмунд Уилки, сидевший в обшарпанном партере тёмного крошечного театра, сказал ей, что, возможно, она была не лучшей и даже не на втором

[93] Примечания: 93

Джон Уэбстер (ок. 1578 — ок. 1634) — английский драматург эпохи короля Иакова, современник Шекспира, мастер «кровавой трагедии».

месте в этих пробах, но в целом вполне на уровне. В итоге она сыграла Кассандру в пьесе Жироду «Троянской войны не будет» (в постановке первых сцен пьесы Театральным питомником). Это была неплохая роль для статичной актрисы, которая хорошо понимает смысл произносимых слов, пусть даже и не умеет создать флюиды электричества между собой и партнёрами по спектаклю. После представления состоялась вечеринка в клубе, где маститые театральные деятели общались с молодёжью. Там был как всегда изящный Джулиан Слейд, чей мюзикл «Зелёные деньки» (наряду с коронацией Елизаветы II и её, Фредерики, участием в пьесе Александра «Астрея») стал со временем олицетворять для неё невинность той поры. Выросшие поющие дети в свободных юбках и свитерах крупной домашней вязки… разлитое в воздухе ожидание непременной дальнейшей счастливой судьбы всего поколения: да, мы будем жить долго и счастливо как в сказке; у родителей, правда, сказки не получилось, но это, наверно, из-за бедствий фашизма и войны, у нас всё будет по-другому!.. «А что будут писать в новостях, — спросила однажды Фредерика свою мать, году так в 44-м, — когда мы уже победим в войне?» Уинифред, немного подумав, ответила:

«Ну, не знаю… Про крикет какой-нибудь». «Зелёные деньки», конечно, напрямую восходили к зелёным ломтикам огурцов на сэндвичах, которые поедает беззаботный Алджернон в первом действии «Как важно быть серьёзным», к зелёной безопасной детской из пьесы про Питера Пэна, а то и правда — к крикету какому-нибудь на зелёной лужайке… «Зелёные деньки», впервые вышедшие в 1954-м, стали казаться ей с годами последним наивным театральным чудом, *последними деньками* ярко освещённой сцены, чистой линии театральных костюмов…

Да, были мужчины театра, но были и другие молодые мужчины, с которыми знакомишься на общих лекциях или переменах, мужчины, которые спрашивают, нет ли у тебя, случайно, лишнего листочка бумаги, норовят угостить кофе эспрессо, знакомят со своими друзьями. И была одна тесная мужская компания, вместе с которой она повадилась чаёвничать после лекции о Шекспире и кофейничать после лекции о современной поэзии. Да, она, никогда ни во что не игравшая, увлечённо играла с ними в угадывание датировки того или иного стихотворения из антологии по строчке или по строфе. Они постепенно сделались ей дороги тем, что дали ей, впервые в жизни,

чувство принадлежности к какой-то группе, чувство приятное и необременительное, в отличие от несостоявшихся жарких привязанностей в тепличном театральном мирке или регулярного свойского общения с кем-то из девушек в соседней душевой кабинке. Для них, этих дорогих юношей, она даже осмелилась приготовить сверхобильное угощение — первые в её жизни спагетти, холодные, влажноватые, слипшиеся почти в студень. Более того, она — подумайте только, сама Фредерика Поттер! — неумело подштопывала им носки и гладила рубашки и понуривала голову обречённо-смиренно, ежели, при доставке владельцу через мост Гаррет-Хостел, резвый ветер выпростает какую-нибудь наутюженную рубашку из велокорзины да унесёт в реку Кем. В благодарность за это они покупали ей билеты в кино и, не стесняясь, говорили с нею — и между собою при ней — о Йейтсе и Одене, Ливисе и Шекспире, Герберте и Донне. Разговоры их были чрезвычайно увлечённые — поэзию они страшно обожали. А ещё они обожали джаз и гоночные автомобили (и то и другое Фредерика находила скучным). Пока толковали о современной музыке и автомобилях, Фредерика молча наблюдала и оценивала: этот довольно привлекательный, а

вот этот умён, но непривлекателен. А вон тот слишком большой аккуратист, а его закадычный друг, пожалуй, грубоват.

Самое трудное был пол, в делах пола даже таилась угроза. Фредерика обнаружила, что эти друзья-приятели гораздо веселее, живее, интереснее, когда общаешься с ними *не по отдельности*. Замечательно было сходить в Художественный кинотеатр с тремя или четырьмя юношами, а потом через весь Кембридж возвращаться с ними рука об руку, увлекательно беседуя. Но оказалось, что у неё за спиной, без её ведома, заключаются пакты и договоры. Приглашение в кино было общее, но под конец она оставалась наедине с тем или другим конкретным человеком. По пути весёлая кучка мало-помалу таяла, все разбредались по своим колледжам, и лишь кто-то один — не ею выбранный — провожал её в Ньюнэм, до самого входа в жилой корпус. И тогда в светлом сумраке ночи, под окнами Дома привратника, она начинала отбрасывать неясную, чернокрылую тень существа о двух спинах. Здесь-то и начинало проявляться, чаще всего, преимущество более взрослых, отслуживших в армии. Некоторые из них знали, что́ мужчина должен делать руками, как открыть поцелуем ей

рот, и умели даже заставить её на краткий миг болезненно затрепетать от желания. Были малопривлекательные, которые вблизи становились чрезвычайно сосредоточенными, настойчивыми и резкими. И привлекательные, которые не умели вообразить — и изобразить — ничего, кроме хладного поцелуя в щёчку. Все эти манёвры, несмотря на участие, оставляли её как будто бы в стороне. Она стояла и позволяла кому-то себя целовать и при этом воображала, как оставшиеся позади приятели, должно быть, по-свойски гадают, как у товарища с ней «продвигается» и есть ли «прогресс».

На чайном вечере в Ньюнэме она познакомилась со студентом-медиком Мартином, который вдруг пригласил её на чайно-танцевальную вечеринку в кафе «Дороти». Это был дюжий малый, не любивший лишних слов. Когда Фредерика встала с ним из-за столика, чтобы потанцевать, в своей чёрной, в живых складках юбке-солнце, подпоясанной широким замшевым поясом, в свитерке с рукавами «летучая мышь», в золотистом шёлковом шарфике, она ощущала физическую радость. Она весело, то вприскочку, то как бы слегка вприсядку делала шаги танца, смеялась, прижималась грудью, прижималась бёдрами,

снова смеялась, пила чай. Через неделю они танцевали опять, а ещё неделю спустя, после танцев, отправились к нему в комнату. Он снял с неё одежду и принёс из ванной тюбик противозачаточной пасты с аппликатором; через положенное время приступил к делу. Оказался он опытным и сноровистым: хорошо понимал, как она устроена, руки имел ловкие и уверенные, да и хватило его, по её тогдашним меркам, довольно надолго. Во время всех этих событий он не произнёс ни слова. Лишь после вежливо предложил чистое полотенчико (наверное, таким он подвязывался во время бритья). Фредерика не испытывала с ним какого-либо стеснения. В армии он служил в Германии. Была у него привычка произносить фразы, начинавшиеся со слов «Между прочим, девушки…», как будто все девушки на свете одинаковы и своей массой образуют нечто от него принципиально отличное. У неё было чувство, будто она — лишь одна из целого ряда, за которым он наблюдает и на котором упражняется; впрочем, она не возражала, ведь она и сама наблюдала за ним и на нём тренировалась. Побывав с нею на балу в одном из колледжей, он заявил: «Между прочим, девушки обожают вещи выбирать и примерять. А вечернего платья подобрать

ну вообще не умеют. Думаю, это потому, что у них мало опыта и они плохо понимают, как выглядят со стороны». Фредерика, чьё единственное вечернее платье было довольно угловатого кроя, из зелёной тафтицы, с открытыми плечами и воротником-хомутиком, не спросила, относится ли это и к ней, но почувствовала, что да. Он пояснил свою мысль: «У большинства девушек или костлявые ключицы, или, наоборот, толсто вот здесь, над грудью. И когда платье без лямок, у большинства девушек верхняя часть делится зрительно на некрасивые части. Девушки становятся какими-то приземистыми, неравномерно мясистыми. Ты согласна?» Фредерика кивнула. Его добрый интерес к женскому телу, собственно, и превращал его в любовника с воображением, пока что самого яркого в её жизни (хотя жизнь ещё только начиналась). Она продолжила походы в кафе «Дороти» и на всякий случай запаслась собственным тюбиком пасты и аппликатором.

В конце своего первого года в Кембридже Фредерика повстречалась наконец с представителями высшего сословия. На некой вечеринке, устроенной неким молодым актёром, она привлекла внимание его кузена, нервного и очень богатого юного виконта («большой умница», «физически

неинтересен»). Виконт пригласил её на две или три вечеринки, где присутствовали в основном его родственники и школьные приятели. Побывала она и гостьей на выходных в его загородном доме и в конце концов была приглашена им на знаменитый Майский бал в колледже Магдалины. Разумеется, всё это чрезвычайно Фредерику взволновало. Как-никак она была до мозга костей англичанка, в голове её толпилась всякая романтическая литературная чушь, реяли смутные (и тщетные) образы «Возвращения в Брайдсхед»[94], но более всего тянуло за душу подспудное, сильнейшее желание выбиться из блесфордского болотца на высокий простор. Все дети Уинифред унаследовали от матери, в той или иной форме, страх низкого общественного состояния; Фредерика боролась с этим страхом, убеждая себя, что он аморален и ниже её достоинства. Однако благодаря знакомству с милейшим Фредди Рейвенскаром этот страх ударил её под дых. Она почуяла: все её пуговицы, длинные перчатки и короткие перчатки, туфли и туфельки, обороты речи, отсутствие правильных знакомств и пра-

[94] Примечания: 94

Роман английского писателя Ивлина Во (1945), о сложных отношениях героя, историка и художника Чарльза Райдера, с семьёй аристократов.

вильных родичей — взвешиваются безжалостно и находятся несостоятельными (подобно тому как её французская грамматика, латинское стопосложение, точность цитирования Шекспира, в другой компании, взвешиваются и ценятся высоко). Но тем слаще, в виде отмщения, было вдруг научиться распознавать на примере миляги Фредди мужской ужас перед полом. Да, он прекрасно умел выбирать и приносить ей правильные угощения на вечеринках, подавать пальто, заказывать ужин и приличное вино в ресторане Кембриджского союза[95]. Но если вдруг оказывался в комнате наедине с нею или же (что было ещё ужаснее!) ему предстоял невинный прощальный поцелуй на виду у целого мира, под ночными окнами ньюнэмского Дома привратника, он становился охвачен дрожью и трепетом — да, как ни дико было поначалу в это поверить — именно трепетом перед её женским началом, хрупким, чистым и таинственным. Хотя странные слова, что бросил он ей чуть слышным, задавленным шёпотом за ужином в клубе в Дорчестере, куда пригласил её потанцевать: «Какая же ты всё-таки *отважная*!..» — на самом деле ско-

---

[95] Примечания: 95
Общество дебатов и свободы слова в Кембридже.

рее означали (хотя им обоим это было невдомёк): *«Как ты отважно держишься и говоришь, можно подумать, ты принадлежишь к тому же виду, что и мы»*. У него была старая любимая нянюшка, о которой он часто рассказывал, и мать, которая долго обозначалась для Фредерики двумя скупыми словами — «моя мать», пока однажды, будучи приглашённой в гости, Фредерика не встретилась с ней лицом к лицу (и мигом была чётко и холодно определена как лезущая вверх хищница). Были у Фредди ещё и какие-то сёстры, исправно мелькающие на страницах светского журнала «Татлер», их единственное призвание — быть настоящими леди. Фредди искренне полагал, что женщины делятся на хороших и плохих, причём хорошие становятся грязными, когда их трогают, поэтому должны хранить себя в чистоте. Фредерику он не причислял ни к первым, ни ко вторым (тогда как его мать не колебалась и по своим меркам оценила юную мисс Поттер точно). «Кажется, я в тебя влюблён», — тихо пробормотал он в кембриджском ялике; Фредерика притворилась, что не расслышала, авось, ему не хватит мужества повторить. Этот фокус она уже проделывала более или менее успешно с другими робкими поклонниками. Следует признать, что она испытывала

кое-какой интерес к миляге Фредди, а точнее, к его титулу и недосягаемому обществу, в котором он вращался. Через короткое время интерес стал смесью жалости и заворожённого ужаса — жалости к его смиренному, подавленному желанию, ужаса перед странным, исключительным, неприступным миром, который твёрже самого гранита науки. А ещё — было жадное любопытство. Уж очень хотелось ей понять, как действуют люди и вещи, ради этого, право, стоило покраснеть за свои наряды, за неумение держаться изысканно. Фредди и суждено было познакомить её с Найджелом Ривером. Но это случилось позднее.

9
Под сенью юношей в цвету, II

К лету 1955-го Фредерика уже классифицировала людей уверенно и изобретательно. Например, для своих непременных приятелей Алана и Тони она придумала прозвища-определения, которыми называла их про себя, эти прозвища означали определённый человеческий тип. «Хамелеончик» и «фальшивка». Определения пришли ей в голову в ту неделю, когда она присутствовала на встречах с двумя очень разными писателями. Алан убедил своего приятеля из Королевского колледжа включить Фредерику в список приглашённых гостей на чаепитие с Э. М. Форстером. Тони же упросил её пойти на заседание Литературного общества, где будет выступать Кингсли Эмис. Чаепитие состоялось первым.

У Фредерики был целый ряд причин, по которым она не очень-то хотела встречаться с Форстером. Во-первых, она опасалась, что очное знакомство испортит для неё великолепие фраз про корову или зачина «Путешествия в Индию», — и то и другое она считала чем-то

вроде своей личной собственности (поскольку исключительно чутко поняла грандиозность мастерства, с каким сваяно это словесное чудо). Во-вторых, в «Путешествии» был и вовсе для неё сокровенный эпизод в Марабарских пещерах, когда в замкнутом пространстве что-то там героине почудилось или не почудилось[96]; Фредерике тоже доводилось испытывать смутное, похожее чувство, пока ещё не совсем ею разгаданное. Наконец, она — все они, Тони, Алан, Эдмунд Уилки, Александр Уэддерберн, сейчас яростно живут в мире, который, как утверждал Форстер в своих романах, изменился до неузнаваемости. Что сможет она ему сказать? Или он — ей?.. И всё-таки… занятно встретиться с Форстером, хотя бы затем, чтоб потом говорить: я видела Форстера живьём.

Чаепитие совершалось в комнатах, выходивших окнами на основной двор, на часовню. Прозаик, маленький, старый, усатый, потаённый в себе, но благожелательный, восседал в кресле, на которое наброшена индийская льняная драпировка, светлый фон, цветочные мотивы. На Форстере был ворсистый приталенный твидовый пиджак с высоким поясом. Кто бы ни были искон-

[96] Примечания: 96

По мнению литературоведов, клаустрофобия вкупе с сексуальным влечением.

ные обитатели комнат, они накрыли стол скатертью, поставили фарфоровый заварной чайник, фарфоровые чашки, плошечки с домашним джемом, тарелки сэндвичей со свежим огурчиком. Коснувшись руки Форстера, Фредерика вернулась на свой стул, наполовину скрытый книжным шкафом, и стала слушать и наблюдать. Юноши из Королевского колледжа — они и впрямь казались молоденькими — отличались прекрасными, вероятно, вынесенными из своих частных школ манерами и какой-то хищной нацеленностью на выбивание воспоминаний (впоследствии она узнает эту черту в тележурналистах). Форстер начал вспоминать, как плавали в яликах по реке Кем и как время тогда шло в его Кембридже медленнее. Алан — про которого исподволь Фредерика уже узнала, что вырос, с трудом выжил он в Глазго среди столкновений подростковых шаек (иногда в порыве откровенности рассказывал дикие истории про велосипедные цепи, ножики с выкидным лезвием, кастеты, варварские раны), — прилизав свою блондинистую шевелюру в ровненькую блестящую шапочку, прилежно предлагал всем бутерброды, величал «сэрами» с таким безукоризненно вежливым шотландским выговором, что казалось, был воспитан суровым

ментором и сполна обучен политесу. При этом, при всех манерах, у Алана проглядывала ухватка и повадка, предназначенная для мужских или почти мужских, вот как сейчас, собраний, был даже какой-то особенный, очаровательный смешок и братская церемонность. В этой комнате было всего две женщины. Фредерика не могла не вспомнить, как философский разговор мужчин о корове в начале «Самого долгого путешествия» непоправимо разрушился из-за вторжения особы женского пола. Выпрямившись на стуле, она попыталась слиться со шкафом.

Спустя десять минут Форстер уснул и в продолжение всего дальнейшего чаепития оставался спящим, легонько и тоненько похрапывая, разговор — в почтительных и приглушённых тонах — шёл без его участия. Вид у спящего писателя был довольный и безмятежный. Фредерику же кольнула почему-то боязнь жизненной неудачи, затворённости в себе, каких-то оков.

На полу подле её стула сидел молодой человек, у которого оказалось польское имя и фамилия — Мариус Мочигемба, — и при этом лёгкий, красивый, бесклассовый английский голос, который в те дни ещё не ассоциировался ни с образованным американским, ни с ливерпульским, ни с

(дальнейшим) легко приспосабливаемым кокни, а исключительно с голосом дикторов Би-би-си, ни один слог не пропускается, не проглатывается. Это был чудесный голос, объяснивший Фредерике, как читать «Отче наш» по-латыни на церковный, благородно-итальянизированный лад, что звучит, конечно, куда мягче, приятнее, изящнее, чем дубоватая школьная англо-латынь. Голос также сообщил ей, что в Кембридже она личность известная; он бы хотел поговорить с ней на досуге, а ещё лучше — написать её портрет, у неё такое необычное лицо. «Я серьёзно занимался живописью, до Кембриджа. Наверное, буду художником. А с хорошим классическим образованием из меня выйдет лучший живописец, ведь правда? Как вы думаете, может быть, мне стоит поизучать философию? Или всё же лучше специализироваться в английском?» Фредерика спросила, в каком стиле его картины. О, это трудно описать, ответил он, во всяком случае не в английском романтическом стиле. Лучше ей прийти как-нибудь в гости и посмотреть. Да, сказала Фредерика, это было бы интересно. Мариус был маленький, живой, но сдержанный и очень привлекательный — не только благодаря голосу.

Прозаик проснулся, без малейшего смущения

извинился, отведал вишнёвого кекса, затем улыбнулся неопределённо всем собравшимся и медленно, осторожно ушёл. Возвращаясь напрямую по озарённым солнцем кембриджским «задворкам» к себе в Ньюнэм, Фредерика озадаченно размышляла о связи между Марабарскими пещерами, явившимися ей в виде мрачных, неясных для неё самой образов извилистого, ползучего пламени, извивающихся червей, пустоты, — и языком точных слов; о жизни в Кембридже с её ограничениями, кексами, непреодолимым желанием уснуть в середине дня… Кембридж, подумалось ей вдруг, не слишком-то удачное место для писателей. Для читателей — другое дело. Как жить дальше? В то время она часто задавала себе этот вопрос. Она вспомнила о Лоуренсе, его беспочвенных ссорах с женщинами в Нью-Мексико. О Стефани в Блесфорде. Подняла голову повыше и выпятила подбородок с неопределённой решимостью.

Тони очень хотел, чтобы Фредерика пришла на выступление Эмиса в Литературном обществе, потому что «Везунчик Джим» — «чрезвычайно значительный роман». Целых четыре раза в жизни суждено было Фредерике прочесть «Джима» — первый раз, потому что кто-то дал почитать,

второй — пытаясь понять, что же Тони здесь нашёл, третий — приболела, лежала в постели, поглощала всё подряд и в какой-то момент ничего другого под рукой не оказалось, и, наконец, в четвёртый раз — когда писала статью о моде в современной прозе. Первые три раза она не нашла в романе ничего «значительного» и ровным счётом ничего забавного. В четвёртый раз (было это уже после Кембриджа, и «сердитых молодых людей»[97] к тому времени уже изобрели) она вдруг стала безудержно, до слёз, хохотать на эпизоде, где в гостях Джим, пытаясь замаскировать дыры, которые прожёг сигаретой в простыне и покрывале, обрезает края дыр причудливым образом, и получаются фантастические, невообразимые прорехи. Поняты были ею в итоге и постоянное, ужасное гримасничанье Джима, смысл его издевательств над «милой Англией», смысл его нелепых проказ, его инфантильной ярости — всё это не что иное, как «ограниченный мятеж» интеллектуала против благого и унылого государства всеобщего благосостояния. «Ограни-

[97] Примечания: 97

Так прозвали британских драматургов и романистов (Дж. Осборн, К. Эмис, Дж. Брэйн, А. Силлитоу, Дж. Уэйн и др.), поднимавших тему бунта против окружающей социальной действительности 1950-х гг. и в особенности против «буржуазных» устоев; так же называли и героев их произведений.

ченный мятеж» можно сопоставить с реакцией подростка на семейный уклад, известный как «отношения дружбы», когда принципы и сами действия родителей настолько рациональны, благоприемлемы, свободны от предрассудков, что любому восстанию против их авторитета приходится быть грубым, абсурдным, даже неистовым. «Про отношения дружбы» в семье она знала не понаслышке. От восстания в духе «Везунчика Джима» её, возможно, уберегали лишь вспышки ярости Билла, которые были слишком уж малопривлекательны… Впрочем, даже эти мысли и воспоминания в конечном счёте не сделали для неё Джима Диксона более сносным, не заставили им восхищаться.

В результате всех четырёх прочтений Фредерика ощутила простое чувственное отвращение к этому роману. Там была «славная девушка», вся славность которой заключалась в большом бюсте и удивительной готовности считать сумасшедшего Диксона привлекательным и достойным молодым человеком, а также отвратная женщина, которая осуждалась за неумение краситься, претенциозные юбки, истеричность и склонность к эмоциональному шантажу. Она становилась предметом ненависти самой

неистовой: «Диксону хотелось к ней подскочить и опрокинуть вместе со стулом, издать ей прямо в физиономию какой-то грубый оглушительный шум, запихать бусину ей в нос!» Как-то, в детстве, Фредерика засунула себе в нос бусину и до сих пор помнила, как это больно. А ещё там была старушка в светло-вишнёвой шляпке, которую, как считал Диксон, нужно раздавить, как жужелицу, потому что она задерживает автобус, в котором он едет. Фредерика готова была смириться с этим точным описанием воображаемой жестокости — мало ли что порой приходит в голову от огорчения, — но с удивлением обнаружила, что многие из её кембриджских приятелей почитают Диксона неким примером нравственности. Им по душе вся эта преднамеренная грубость, отвратительные проказы и гримасы! Тони принялся объяснять Фредерике: Джим — самый что ни на есть достойный человек, новое характерное явление, совестливая личность, честно выступающая против снобистских претензий и легкомысленного междусобойчика эстетов «школы Блумсбери» или поклонников «Возвращения в Брайдсхед». При первом прочтении Фредерика восприняла «Брайдсхед» как сатиру на католичество, но одновременно была тронута и взволнована этим

романом. Если уж возводить детскую безответственность в образец невинного совершенства, то герои Ивлина Во, Чарльз Райдер и Себастьян Флайт, в их «райском» саду, из которого их неминуемо изгонят, лучше годятся на эту роль, чем Везунчик Джим с его детсадовскими выходками. Чарльз и Себастьян — вечные дети, первый — Питер Пэн, второй — Уильям Браун из книг Ричмал Кромптон[98]. Так или иначе, Фредерика ожидала встречи с мужчинами, а не с мальчиками.

Автор «Везунчика Джима» на поверку оказался вполне себе приятным, симпатичным, свежелицым, говорил увлекательно и держался без малейшей наигранности. Был он в надлежащей мере самоироничен (Кембриджу по нраву) и не старался подчёркивать важность литературы (что ливисовскому Кембриджу принять уже не так просто). Позднее эти же студенты — которые спокойно выслушали лёгкое, ненастойчивое заявление Эмиса о том, что роман — прежде всего развлечение, — встретят Колина Уилсона,

[98] Примечания: 98

Ричмал Кромптон (1890–1969) написала 39 чрезвычайно популярных книг о приключениях непослушного школьника Уильяма Брауна и его друзей. Книги опубликованы в период с 1922 по 1970 г., действие происходит в разные эпохи, но главный герой находится в одном и том же возрасте — одиннадцати лет.

автора экзистенциального вопля «Посторонний», с презрением и непросвещённой свирепостью. Юмор был в чести, экзистенциальная серьёзность воспринималась как нечто чуждое, вызывала подозрения. Кингсли Эмис похвалил Генри Филдинга за его «здравый смысл», попенял Джейн Остин на чрезмерную серьёзность «Мэнсфилд-парка» и довольно пространно высказался о спасительной, благой силе комедии, призванной бороться с напыщенным фанфаронством. Фредерика не могла не рассердиться на ту полнейшую серьёзность, с какой обвиняли в отсутствии юмора любого, кто имел смелость притронуться к «юмористам». Но сердилась она, конечно же, потому, что пришла сюда с сердитыми намерениями. Сидевший рядом с ней Тони, в своей рабочей спецовке, в шерстяном клетчатом шарфе, повязанном свободным узлом, как у заправского докера, засмеялся, когда писатель лишь хмыкнул в ответ на чей-то вопрос о романе как «форме самовыражения», — и задал свой: есть ли, на взгляд Эмиса, какая-то польза в университетском литературоведении? Эмис заявил, что он против велеречивых и ложноглубокомысленных толкований текстов, куда ближе ему другая идея — с помощью чтения научить людей чувствовать

ясную и гибкую английскую речь и выражать собственные мысли так же гибко и ясно. То есть, уточнил социалист Тони, такую речь надо сделать достоянием всех и каждого? По возможности, ответил Эмис, судя по всему не склонный заступаться за элитарность образования.

Покинув комнаты английского факультета, Фредерика пустилась в неумеренный спор со своими приятелями о сомнительной моральной пользе обесценивающего юмора. Тони твердил о «народной» порядочности и совестливости Джима. Фредерика произнесла речь о том, что всё это кривляние лишь пробуждает в ней сочувствие к идеям Мэттью Арнольда о «высокой серьёзности» как свойству настоящего искусства. «Высокопарный» и «пафосный» — это такие слова, которыми бросаться не следует, говорила Фредерика, ведь во многих случаях их можно по праву заменить синонимами «серьёзный» и «ответственный». «Судить о стиле и судить о нравственности — это далеко не одно и то же! — восклицала Фредерика, широко размахивая руками. — Хупера в „Брайдсхеде“ жестоко высмеивают за его простонародный выговор и причёску и за непонимание стиля отношений в замке Брайдсхед. Мне это не нравится, это несправедливо! Но разве более

достойно, когда Джим насмехается над манерным выговором художника Бертрана Уэлча, с его беретом, любовью к заграница и к английской истории? Джим весь такой уверенный, знает, какую юбку полагается носить славной девушке, а какую не полагается, и — что ещё хуже — он знает, что славные девушки ходят в славных юбках, а гадкие девушки — в гадких юбках. Да через двадцать лет славные юбки будут считаться гадкими, а о приличных юбках уж точно представление изменится. И косметику, может быть, вообще носить перестанут, или, наоборот, все станут раскрашиваться как дикари. Поэтому тонкие рассуждения этого Джима о помаде славной девушки Кристины, в отличие от помады гадкой Маргарет, или никому не будут понятны, или вообще окажутся неверными! Но уж точно гадко ополчаться на старушек за одно то, что они носят сплющенные шляпки светло-вишнёвого цвета!»

И так далее, и в том же духе… Такая уж она была, Фредерика, не знала в речах удержу. Вдруг её легонько похлопал по плечу какой-то незнакомец и отнёсся к ней напористым, напевным валлийским голосом: да, то, что вы говорите, очень интересно, очень занимательно, это даже *серьёзные* рассуждения, если угодно, очень хо-

телось бы с вами ещё поговорить на эти темы, но не теперь, как вас, кстати, зовут, из какого вы колледжа? «Это Фредерика Поттер из Ньюнэма, — представил её Тони, — она спорит обо всём». — «А меня зовут Оуэн Гриффитс, я из колледжа Иисуса и являюсь секретарём Клуба социалистов. А вы, наверное, Тони Уотсон, сын Тревельяна Уотсона. Вы пишете разные умные статьи в „Университетском листке“ и „Гранте“ и, должно быть, разделяете надежды вашего отца на революцию, не самую скорую, скорее в духе Блаженного Августина и покаяния. Так?» — «Да, примерно», — ответил Тони, чуть нахмуриваясь и расправляя плечи. Фредерика между тем безуспешно пыталась определить, что за человек Оуэн и к чему клонит. В его голосе, певучем и зычном, — то ли полнейшая, без тени юмора, серьёзность, то ли скрытая, самоуверенная издёвка — толком не понять. Даже физически облик его противоречив: весь он тёмный, широкоплечий, словно из камня грубо вытесанный, — но при этом текуче подвижный, с сумрачными живыми глазами, речистым, но не волевым ртом. «Я вас разыщу, барышня», — сказал он Фредерике, удаляясь.

Благодаря этому неслучайному, даже нарочитому упоминанию имени Уотсона-старшего

Фредерика и додумалась до того, чтобы беззлобно и в некотором роде любя определить Тони как «фальшивку». Его отец, Тревельян Уотсон, был одним из литераторов, объединившихся в 30-е годы вокруг издательства «Левый книжный клуб». Потомственный баронет, отказавшийся от титула; автор таких книг, как «Литература для всех», «Цивилизация найма», «Темза», «Декадентство и мятеж», «Ещё одна традиция». Жил Тревельян в Челси (этом гнезде художников и интеллектуалов), сына отправил учиться в частную школу Дартингтон, дорогую и очень прогрессивную. Про эту школу, как, собственно, и про детство в Челси, Тони ни разу не упоминал — стало принято думать, что он из какой-нибудь семьи ремесленников в Баттерси. И вот получается, что весь его антураж выходца из рабочего класса: пролетарский заварной чайник, тосты с тушёным говяжьим фаршем, гоночный велосипед, характерные рубашки, ботинки, носки, пиджак, причёска — всё это было социальным исследованием, любовным вживанием в роль. С этого момента Фредерика начала задумываться о странных отношениях между тонкими нюансами человеческого восприятия, явлениями стиля — и нюансами политической и нравственной

жизни. Не тогда ли она и уловила первый проблеск *своей будущей главной, неотвязной темы?..* Так или иначе, оттолкнувшись от фальшивого классового происхождения Тони, она тут же определила Алана как «хамелеончика». Тони она воспринимала не как неправду, а как произведение искусства — Тони умел избегать прямых вопросов о своей предыдущей жизни, о доме. Чуть позже Фредерика поняла, что отношения в семье Тревельяна Уотсона также были примером «дружественной семьи»: Тони не мог отмести отцовских убеждений, оставалась единственная форма протеста или упрёка — принять стиль, отношение к жизни тех самых рабочих, которыми восхищался, которых изучал отец (не имевший с ними ни малейшего сходства). Фредерика не стала смущать его вопросами о школе Дартингтон, просто узнала кое-какие забавные подробности у других студентов, которые тоже там учились, и, право, если б захотела, сумела бы сочинить про Тони куда более интересный и причудливый очерк, чем его очерк о ней в рубрике «Сильная первокурсница». Фредерике был занятен и вместе — для её чувства жизненного стиля — оскорбителен подобный подлог собственной общественной личности. Как дочь Билла, она полагала, что

здесь должна быть хотя бы какая-то правда. Вот она, Фредерика, является сама собой, подобно тому как шерсть — это шерсть, север — это север, а нейлон — это нейлон.

«Хамелеончик» Алан происходил как раз из рабочей среды и даже готов был об этом сообщить, если зададут вопрос (хотя умело устраивал так, что его не спрашивали). Его чуть суровой, но изящной выделки лицо, его белокурость, здоровый вид, бесклассовый шотландский выговор — всё это позволяло ему ловко маневрировать в любых обстоятельствах и любом обществе. В пабе, вместе с Тони, он представал как будто самим собой, любителем пива, представителем рабочего класса. В компании музыкальных (обычно христианских) медиевистов он превращался в смесь шотландского учёного-педанта и чувственного эстета. В обществе любителей живописи он делался лёгким в общении знатоком, тонким и ценным без навязчивости. В мужской, однополой среде Королевского колледжа, как заметила со временем Фредерика, Алан мог совершать колебания, как того требовал момент, между пролетарской непричёсанностью и (шотландской) воспитанностью в духе безмятежного древнегреческого атлета. Глаза у Алана были

хитрованские: Фредерика поняла, что за ним интересно наблюдать в тот миг, когда он смекает, как и кем лучше прикинуться. Со временем, однако, он научился непроницаемости, так что уловить в глазах расчёт стало невозможно. Алан был её добрым другом, но она не имела понятия, с кем он полюбовничает, кого любит или желает.

Хамелеончик был ей приятнее фальшивки, должно быть, потому, рассудила она, что женщины естественно тяготеют к притворству. Впрочем, сама она обладала слишком строгим и негибким чувством собственного «я», чтоб сравниться в общественном хамелеонстве с Аланом Мелвиллом. Алан, как она начала понимать, сделал притворство основным жизненным принципом, она не хотела выстраивать жизнь вокруг этого. Потихонечку она пробовала мимикрировать: говорила «дорогая» и «милая» театральным знакомым; старалась подладить свой гардероб к ожиданиям и представлениям милого виконта Фредди, задачка ей явно не по деньгам. (Фредди был просто потрясён её гипюровыми, по локоть, перчатками и даже решил было, что это старинное кружево.) В компании любителей поэзии Фредерика рассуждала «о силе Слова»; с Аланом и Тони обменивалась циничными замечаниями.

Сильнее всего, однако, притворялась она в постели, или на кушетках, или в яликах или держась с кем-то за руки на кембриджских «задворках». Отдавала не больше, чем ей давали или чем ожидали от неё, — чаще всего совсем немного! В делах любовных она была далеко не так жадна, как в умной беседе. Она подражала тому, с кем оказалась вместе, вторила, но не требовала. Ей было невдомёк, что во всём этом слишком мало от неё самой. Однажды она проснулась — так странен был её сон. Ей приснилось, будто она — травяной луг, скреплённый с землёй мириадами корней волос, фибриллы незаметно и безболезненно соединяют её кожу с торфом, всё её гулливерство поглощено лилипутством, а по лугу медленно скачут, с единообразной, но какой-то изможденной ритмичностью, бледно-жёлтые лягушки-самцы, у них длинные, но совершенно лишённые упругости ноги… один за другим они пробуют ускориться, спуртовать, потом одышливо замирают, копят силы… и снова, снова, друг за дружкой, начинают свой вялый спурт…

Мой рассказ о раннем кембриджском периоде Фредерики может показаться холодным, чуть ли не «медицинским» отчётом, тогда как в действительности жизнь её была, или, по крайней мере,

виделась ей, богатой на события, исполненной сложных чувствований. Фредерика в ту пору не обладала языком, которым я пытаюсь упорядочить и описать её сумбурно-разнообразные любовные похождения в 1954–1955 годах. В её распоряжении были, правда, кое-какие классифицирующие прилагательные, описывающие внешность и интеллект мужчин, но она не догадывалась, что проводит полевые исследования, ей казалось, что она ищет любви и доверительности, ищет человека, который «готов полюбить и оценить её такой, какая она есть». Она догадывалась, что «жадность» и «любознательность» — не тождественные понятия, но в точности провести между ними границу пока не умела. О чувствах и ожиданиях умных мальчиков или умных молодых мужчин она особенно не задумывалась. Вообще было довольно много вещей, которые ей — при всей её многопостельности и притворно-застенчивой поцелуйности — не дано было покуда постичь. Ибо явилась она не в «беспомощной наготе», а запелёнатая в коконе ожиданий своей культуры, ожиданий любовных, общественных, племенных, не совсем внятных и не вполне соединимых.

В глубине души она, например, незадумчиво

полагала, что женщина без замужества — неполноценна, что славная сказка и славная быль равно заканчиваются свадьбой. Она искала мужа: во-первых, желая убедиться в своей женской состоятельности; во-вторых, стремясь к определённости в этом вопросе, чтобы потом уже искать другие жизненные определённости; в-третьих, мужа искали все! (Парадокс, но, даже слыша о серьёзных намерениях, она почему-то никак не могла поверить, что таких, как она, желают брать в жёны.)

Она полагала, «реалистично» и вместе обречённо, что женщины намного более поглощены любовью, чем мужчины, более ранимы и испытывают бóльшие сердечные муки. На этот счёт в голове у неё был ряд штампов из литературы. «Любовь мужчины — жизни часть отдельна, / Одной лишь ею женщина жива» (лорд Байрон). «…Сотворён / для Бога он, она — для Бога в *нём*» (Джон Мильтон)[99]. «В те дни я не видела Бога за Его созданием, ибо из этого создания сотворила себе кумира» (Шарлотта Бронте)[100]. И конечно, Джейн Остин: «За моим полом я оставляю

[99] Примечания: 99
Дж. Мильтон. Потерянный рай. Книга 4.

[100] Примечания: 100
«Джейн Эйр», последняя фраза главы 24.

единственную привилегию, не вздумайте ревновать о ней… любить в продолжение самого долгого времени, когда уж ни жизни, ни надежды не осталось»[101]. Фредерика была самым серьёзным образом предрасположена к тому, чтоб быть отвергнутой, униженной, страдающей. К этому подталкивал её и пример героинь Розамонд Леманн, и жизнь Урсулы Брангвен из романов Лоуренса «Радуга» и «Влюблённые женщины» (правда, Урсулу она склонна была, какой-то иной частью своего существа, горячо презирать). Вносило лепту и чтение газет, где в разделе «Объявления страждущих» печатали вопли несчастных женщин: помогите, что мне делать, он сделался ко мне безразличен, он мне неверен, он не стремится к глубоким отношениям, он женат на другой!..

Фредерика, бежавшая некогда в Скарборо с Уилки вместо того, чтобы возлечь с Александром, возможно, инстинктивно тогда восстала против любви всеобъемлющей, завладеваю-

[101] Примечания: 101

Немного изменённая цитата из романа Остин «Доводы рассудка» (1816): «Единственная привилегия, которую я оставляю за моим полом (не слишком завидная, так что не вздумайте ревновать о ней), — любить в продолжение самого долгого времени, когда уж ни жизни, ни надежды не осталось».

щей всем существом (хотя сама бы объяснила свой поступок страхом перед неудачей, перед неловкостью, пресловутым кровопролитием). Фредерика, проводящая половые эксперименты в Кембридже, искала идеального любовника. В каком-то смысле. Но в другом смысле она вела битву со всем мужским полом. Она частенько приговаривала: «Нравятся мне эти мужчины», примерно как можно сказать: «Нравится мне этот острый сыр», или «Люблю горький шоколад», или «Люблю, знаете ли, красное вино». Она готова была провозгласить, что всякий её «роман», к чему бы он ни сводился — к танцам, к постельным играм, к умным разговорам, к дружбе или приятельству, — обладал ценностью, благо мужчин много и все они такие разные. Собственно, так оно и было, в этом была правда, но не вся! Ведь её поступки диктовались обобщёнными представлениями о мужчинах (или о Мужчине) даже в большей степени, чем она поначалу думала.

У мужчин было групповое поведение. В своей компании они обсуждали девушек примерно так же, как автомобили или пиво, отпускали шуточки по поводу ножек и объёма груди, составляли планы соблазнения, как полководцы планы военных кампаний или как атаманы под-

ростковых банд — очередную шкоду или битву с соперниками. Как бы то ни было, женщины для них тоже не были одинаковыми, с одними всё обстряпать просто, другие — труднодоступны. Но сводилось всё к примитиву. Точно так же действовала и Фредерика, сперва полуосознанно, затем с тщательной преднамеренностью. Она оценивала мужчин, относя их к той или иной категории. Приятность кожи, размер ягодиц, красота волос, степень ловкости и умелости. Женщины у мужчин делились на тех, «кто даст и кто не даст». Мужчины у Фредерики, с яростной чёткостью, — на тех, кто может и кто не может доставить ей удовольствие. Если мужчины хотели лишь единственного, того самого, — что ж, Фредерика Поттер была способна встретиться с ними на этих условиях, собственно, готова, очень даже не прочь! С некоторой гордостью она могла заявить, что никто не смеет назвать её своей постоянной «подружкой». Она сводила на нет прихотливые замыслы и инсценировки, расстраивала планы подкупить её кинотеатром или рестораном: то сдавалась тому или иному соблазнителю с презрительной лёгкостью, то с шокирующей прямотой и искренностью лишала всякой надежды. Своё мастерство в этих манёв-

рах Фредерика оттачивала постепенно; бывали моменты, когда она выходила из себя или сама на себя дивилась: кто я, особа лёгкого поведения, дешёвка? (Уместным было бы слово «шалава», но оно из другого времени.)

Были, конечно, и воздыхатели-одиночки. (Причём нельзя сказать, чтобы это воздыхательство никак не пересекалось с кампаниями по соблазнению.) Некоторые поклонники выказывали самые серьёзные намерения, слали письма, в которых цитировали «Хозяйке сердца моего возможной»[102] и спрашивали тактично, не соблаговолит ли она и присмотреться к ним посерьёзнее. Здесь смятение Фредерики было сильнее всего. Вообще-то, ей казалось, что она желает заполучить мужа. Человека, который искренне её полюбит, ну и чтобы обладал некоторыми достоинствами. Но ей не хотелось быть как женщины из поколения её матери, которые излучали смелость и свободу лишь в то кратко-искусственное время, пока искали свою вторую половину, со сдачей же себя в собственность

[102] Примечания: 102

Скорее всего, имеется в виду одноимённое популярное шуточное стихотворение Фрэнка Сиджвика (1879–1939), племянника основателя Ньюнэма. Оно в свою очередь восходит к стихотворению поэта-метафизика Ричарда Крошоу (ок. 1613–1649) «Пожелания его предполагаемой супруге», где впервые и встречается данное выражение.

их гордые головки понуривались. Фредерика испытывала презрение к воздыхателям, отчего не могла воспринимать их всерьёз (но в глубине души как будто предчувствовала какое-то страдание, которое надлежит понести от настоящего «возможного хозяина своего сердца»). Она лукавила, и виляла, и обманывала своих временных любовников, делила их с другими женщинами, не выказывая и — если уж дело на то пошло — не зная ни малейшей ревности. В этом проявлялась её эгоцентричность: ей попросту не хватало воображения представить «своих» мужчин с другими женщинами.

Читателю, наверное, уже стало ясно, что Фредерика была жестока и настроена разрушительно. В её оправдание можно лишь заметить, что ни из обиходных представлений, ни из культурной мифологии не следовало, что мужчины имеют чувства. Мужчины — нехорошие, обманщики испокон веков, а если кто из них хороший, то, значит, обман удаётся ему лучше других. Мир принадлежит мужчинам, но Фредерика желала жить и действовать наравне с ними в этом мире, а не служить чьим-то прибежищем на его краю или за пределами.

Может быть, это литература обострила в ней

чувство противоречия? Она прочла несметное множество описаний робости и мрачного безрассудства, которыми сопровождается первая любовь у мужчин. И хотя она видела правду в любовной униженности Люси Сноу из романа Шарлотты Бронте «Городок», или в судьбах отважно-обречённых героинь Розамонд Леманн, или в «смерти сердца»[103] (словно об этой правде было у неё какое-то древнее исконное знание), она решительно отказывалась признать правдивость образов профессиональных вертихвосток, или чистых юных дев, или иных странных, словно из мира дикой природы, женских существ — в романах, созданных мужчинами. Женские образы мужских романов не имели ничего общего с Фредерикой Поттер, которая была бодра, деловита, проявляла интерес к половым отношениям, но не была на них помешана и хотела, кроме прочего, дружить с мужскими существами. Женщины в мужских романах — ненастоящие; Фредерика не могла предположить или поверить, что молодые мужчины видят в ней тот или иной женский литературный образ или все образы вместе. Так вот они и воевали: воздыхатели безнадёжно ей

[103] Примечания: 103
«Смерть сердца» (1938), роман Элизабет Боуэн.

поклонялись, Фредерика не менее романтически чувствовала себя страдающе-униженной и/или свободной. И та и другая сторона порой недоумевала и обижалась. Например, Фредерика немного испугалась и не на шутку встревожилась, когда некий молодой человек без приглашения ворвался к ней в комнату, где она чаёвничала с другим молодым человеком, и разбил чайную чашку кочергой. Длинные и продуманные письма с объяснениями в любви она считала частью коварного заговора и на них не отвечала. Когда один вконец отчаявшийся юноша — малоинтересный, если не считать его энциклопедического знания творчества Томаса Манна, — натурально расплакался и заявил, что она над ним нарочно издевается, Фредерика лишь воззрилась на него молча, испуганно да и удалилась восвояси.

Больше всего её страшила мысль о затворничестве, об оковах. Ньюнэм посетила молодая королева с супругом, герцогом Эдинбургским. Окружённый толпой женщин-учёных с тщательно уложенными причёсками и чопорных студенток в мантиях, герцог спросил предводительницу студенток, старшекурсницу, шутливо: «Вы вообще когда-нибудь выбираетесь из своего затвора?» Фредерика внутренне вскипела: да как

он смеет?! — можно подумать, она здесь взаперти! Нет, она живёт такой полной жизнью, какой никогда ещё не жила, имеет столько свободы (думала она наивно), сколько и не снилось этому мужу-придворному!

Думая об *оковах*, она вспоминала Стефани. В конце прошлого лета, сразу после Прованса и до отбытия в Ньюнэм, Фредерика наведалась в Блесфорд, и повидала Стефани, и познакомилась с Уильямом. Уильям неустойчиво сидел в окружении подушечек, распялив пухлые ножки, зыбко покачивался всем туловичком; он смотрел, помаргивая, на неё — куда-то *за* неё — из-под шелковистых чёрных волосиков и длинных тёмных ресниц, улыбался туманно и таинственно.

«Ну, привет, младенец», — сказала Фредерика, протягивая ему палец.

Стефани не сводила с малыша глаз, вообще всё её внимание ограничивалось небольшим волшебным кругом, обведённым вокруг сына. Она мимолётно сообщила Фредерике, что уже ожидает следующего ребёнка, зачатого в тот день, когда она почувствовала облегчение, что Маркус, кажется, уезжает от них. Она так и сказала: «Понимаешь, почувствовала облегчение, как будто спали оковы». Забавно, как всё сходится, подума-

ла Фредерика. Она и влеклась смутно к малышу, к новенькой человеческой плоти со знакомыми тёмными глазками, и страшилась его, страшилась плотского довольства и усталости Стефани, страшилась мягко обволакивающих оков.

10
Нормы и монстры, I

(I)

Викарий Дэниела, мистер Элленби, удалился на покой, и на его место прислали человека помоложе, Гидеона Фаррара. Дэниел надеялся, что по такому случаю его самого, может быть, переведут из Блесфорда куда-нибудь поинтереснее, но этого не случилось. Дэниел встречался с Фарраром на епархиальном собрании и доложил Стефани: о Гидеоне отзываются как о большом «оригинале». Поскольку и Дэниела нередко характеризовали с помощью этого двусмысленного слова, Стефани было подумала, что новый викарий Дэниелу должен приглянуться, но вскоре почуяла — всё не так просто. Придя на первую проповедь Фаррара, она ощутила, как беспокойство и даже лёгкая злость порхают среди паствы. Гидеон Фаррар поменял вещи в храме: из алтаря исчезло сентиментальное викторианское распятие, вместо ветвистых металлических канделябров появились простые квадратные

деревянные подсвечники, вместо нарядного вышитого напрестольного покрывала — суровая белоснежная пелена. Стефани недолюбливала бесполое тело и сладкую полуулыбку привесного Бога, но с удивлением почувствовала собственное недовольство от столь бесцеремонного его удаления. Интересно, не выметет ли заодно новая метла из алтаря и вышитый прихожанками коврик? Коврик, в честь павших воинов, довольно неприглядный, сочетал военные цвета (хаки, «военно-воздушный» голубой, камуфляж). Если не станет этого коврика, думала Стефани, по нему я тоже буду скучать?

Гидеон Фаррар, лет на десять старше Дэниела, был крупный мужчина, обладавший обаянием, о котором несомненно знал. У него была окладистая, лопатообразная, чрезвычайно густая борода. В бороде красиво чередовались прядки пшеничного золота и ранней седины, а лёгкие завитки в нижней её части придавали ему сходство с карточным королём червей. Под плавными крыльями заботливо расчёсанных надвое усов — большой рот со множеством разных улыбок. Одеяния его были проще, чем у мистера Элленби, но с более современным и абстрактным рисунком. Сегодняшняя проповедь была посвящена

личным отношениям, в том числе — его собственным, с паствой. Проповедь была исполнена теплоты и дружелюбного напора: внимательный глаз проповедника выхватывал взгляд то одного, то другого прихожанина или прихожанки, сочувствующий или, напротив, уклончивый.

— Сегодня я впервые стою перед вами как ваш викарий и хотел бы поговорить о трёх значениях слова «личность», «личностный». Во-первых, всем нам сразу же на ум приходит второе Лицо, или Личность, Пресвятой Троицы, Иисус Христос, Богочеловек, который поистине, в полном смысле является личностью и с которым мы устанавливаем очень важные для нас личностные отношения. Во-вторых, давайте вспомним о том, что *викарий* изначально означало *заместитель*. А заместитель есть также *persona exemplaris*, человек, который воплощает личностную природу общины или прихода. И наконец, в-третьих, давайте подумаем о том вкладе, который вносит в рассмотрение наших межличностных отношений новая наука социология. Эта наука, особенно в Америке, рассматривает наши отношения в виде различных *социальных ролей*, которые предписаны нам в жизни и которые мы исполняем, — будь то отец, ученик, руководитель компании, квали-

фицированный рабочий, социальный работник, жена, священник и так далее. Эти роли также называют словом *persona*, от значения слова *persona* как «маска актёра» в античной трагедии, и даже в современных пьесах, как вы помните, в начале пишут *Dramatis personae*, то есть «Действующие лица». Как справедливо заметил Шекспир, «играет в жизни человек ролей премного»[104]. Разные роли человека могут приходить друг с другом в несогласие. Качества, которые требуются обществом от человека в роли хорошего священника, или хорошего отца, или просто хорошего гражданина, различаются, и это может возлагать на нас груз, который мы не вполне сознаём. Мы, христиане, чувствуем благую уверенность в наших отношениях с совершенной — а не частично совершенной — личностью Иисуса Христа, который *для всех сделался всем!*[105] И нам нравится скептически фыркать при упоминании прозрений науки социологии, которая говорит нам: наши личности формируются институтами, историей, ожиданиями других личностей, наши

[104] Примечания: 104

Знаменитый монолог Жака «Весь мир театр…» из комедии «Как вам это понравится».

[105] Примечания: 105

1-е Кор. 9: 22.

роли, наши маски — это и есть мы. Но уместен ли тут лихой скепсис?..

…Я хотел бы доложить вам о революционных идеях пастора Дитриха Бонхёффера. Как вы все, наверное, знаете, Дитрих Бонхёффер был заключён в концлагерь Аушвиц за участие в заговоре с целью свержения Гитлера и казнён в апреле сорок пятого года. Бонхёффер бесстрашно относился к факту, что наше современное общество решило, будто может обойтись без Бога и в науке, и в политике, и даже в морали. Как христианин, Бонхёффер научился даже приветствовать такое развитие событий. Потому что благодаря этому мы, христиане, оказываемся в положении Господа нашего Иисуса Христа — во враждебном, чуждом нам, непонимающем мире. И мы можем обрести Христа в наших *личностных отношениях*…

…Будучи вашим викарием, я не являюсь вашим представителем. Я в лучшем случае *persona, маска*, представляющая историю и установления Церкви, которые временами дают нам силу, но могут вставать и стеной между нашими личностями и живой истиной. Да, упомянутые мной роли обладают полезной функцией. Но они не должны становиться клеткой. Во мне, несмотря

на все мои роли, должно просвечивать главное, а именно, что я — человек среди людей. Я — ваш викарий, но прежде всего — *человек* среди вас, среди людей!..

…И я обращаю к вам мой призыв: почаще встречаться, не только внутри храма Божьего, но и за его пределами, дабы скромно пытаться познать наши личностные отношения — не только в лоне Церкви, но и *в миру*! Социология и психология могут многому научить нас об отношениях людей в группах, мы просто обязаны взять на вооружение открытия этих современных наук. Самой первичной из групп, как известно, является семья. То, какой наша личность предстаёт в семье, самым глубоким образом влияет на наше поведение и поступки в других группах, в том числе в семье Христовой. У меня сложился обычай — устраивать простые семейные трапезы с прихожанами, в наших обычных домах. Это не причастное собрание, не какое-то действо. Мы встречаемся, чтобы по-дружески преломить хлеб, пригубить вино — и предаться беседе познающей. Очень надеюсь, что все вы поддержите это моё начинание!..

В то же воскресенье Ортонов пригласили на одну из «семейных вечерь» у Гидеона. Его жена

Клеменс позвонила по телефону и объявила, что зовут *всех* — мать Дэниела, брата Стефани Маркуса и даже маленького Уильяма. Маркус сказал, что предпочёл бы не ходить. «Как бы не так, — возразил Дэниел сердито. — Если собираешься и дальше жить в этом доме, изволь быть со всеми». На это Маркус ничего не ответил, лишь укрылся у себя наверху. Однако, когда все вернулись из церкви, чтобы его взять с собой, он уже поджидал на лестничной площадке, в готовности.

Тёмный викторианский приходский флигель непостижимо и неузнаваемо переменился. Пахло свежей краской, большей частью лимонно-жёлтого да белого цвета. Испарились некоторые внутренние перегородки, не стало части маленьких, душных, уединённых комнаток. Прежняя гостиная и прежняя столовая теперь соединялись большой аркой, и дом просвечивался естественным светом насквозь — от дорожки к переднему крыльцу до садика на заднем дворе, — так что в целом всё это почему-то напоминало крытую детскую игровую площадку. Появились новые круглые стулья — отчётливых ярких цветов (синий таусинный, гераниевый красный, лимонный), на тонких чёрных металлических ножках. Турецких ковров не стало, полы застелены блед-

ными тростниковыми циновками; исчезли многочисленные шкафчики полированного красного дерева со стеклянными дверцами, вместо них — голый сосновый трапезный стол, длинные скамьи, такой же простой сосновый буфет с финскими стеклянными стопками и керамической посудой английской фабрики «Денби» (тарелки, плошки, чашки и блюдца, снаружи матово-белые, изнутри хвойно-зелёные, с орнаментом в виде пшеничных колосьев). По стенам развешены репродукции картин: «Девочка с голубем» Пикассо, один из шагаловских петухов, какие-то красочные игривости Жоана Миро[106]. На окнах — белые льняные занавески в хаотичном узоре мелких и крупных золотистых и серебристых дисков. Сами окна, впрочем, остались теми же, тяжёлыми, северными, почти бойничными, с подозрением глядящими на мир. Возможно, как раз из-за этих окошек смещался масштаб нового интерьера: чудилось, что в пригородный дом втиснули шведский амбар. При мистере Элленби комнаты, хоть и тесно заставленные мебелью, казались более пропорциональными, имели

[106] Примечания: 106

Жоан Мирó-и-Феррá (1893–1983) — каталонский (испанский) художник, скульптор и график абстрактного и близкого к сюрреализму направления.

воздух вверху. Стефани задумалась о склонности человека подспудно противиться изменениям, держаться за старый порядок вещей. Былая загромождённость комнат несколько угнетала, но новая «просторность» раздражала сильнее.

Клеменс Фаррар, как и её супруг, имела исключительно приятную внешность и гордилась впечатлением, которое производила. Её шёлково-чёрные волосы, гладко прилизанные по бокам, были взбиты в пышный волнистый начёс над алебастровым лбом. Короткая обтягивающая жгуче-алая кофточка, дополненная чёрными и алыми фарфоровыми бусами, подчёркивала талию; юбка была под стать, чёрная с красной отделкой. К гостям выступили, наподобие «балетных», четверо детей, картинно и изящно пожимая всем руки: Джереми, Таня, Дейзи и Доминик. Как и Клеменс, Джереми неширок в кости, с волосами цвета воронова крыла, зато рот у него как у Гидеона и те же широко поставленные глаза. У Тани длинные чёрные косички и темноватая кожа, глаза и рот определённо китайские. Дейзи совсем чёрненькая: её чёрная как сажа, матово-шершавая кожа не отражает свет; нос плоский восточноафриканский, волосы — тугие чёрные пружинки без малейшего отли-

ва. Доминик скорее напоминал мулата. Все эти дети одеты в похожие брюки с нагрудничками и джемперы с воротничком, так что напоминают некую команду; все очень чистенькие. Возрастом они не сильно отличались друг от друга, двоим лет по десять, другим двоим — одиннадцать или двенадцать.

Клеменс протянула руки, приветствуя Уильяма: «Ой-ой-ой, какой же красавчик!» Гидеон отыскал кресло для миссис Ортон и восхитился её шляпкой. Появились девочки-подростки в кухонных фартуках, обеих представили как учениц блесфордской частной женской школы, которые мечтали познакомиться с молодым человеком, как его там зовут, Маркус? Маркус. Маркус, будь так добр, помоги Руфи и Жаклин подать на стол кушанья. У нас все всегда помогают на наших семейных обедах.

— Главное, смотрите, чтоб он там тарелки не поронял, — сказала миссис Ортон.

Гидеон засмеялся.

Расположившись за длинным столом, приступили к еде. Гидеон и Клеменс сочли нужным высказаться и о еде, и о присутствующих. Стефани ощутила себя читательницей романа, в котором всякая деталь и подробность неспроста,

а имеет особый смысл. В центре стола помещался деревянный ангел, в высшей степени условно-абстрактный: на правильно-коническом теле — полированная сферка головы с позолоченным нимбом, крылышки из двух столярных «печений» (такими скрепляют дерево) заделаны в спину, напоминая два полулуния. (От привычных ангелов он, пожалуй, отличался так же, как «концептуальный» танец ребёнка — от обычного детского танца.)

На первое был морковно-чечевичный суп со свежевыпеченными цельнозерновыми булочками.

— Здоровая пища, — объявил Гидеон. — Земная пища! Хлеб я пеку сам. Конечно, это Клеменс меня научила. Но я себя нахваливаю, что у меня получается лучше. Тесто, оно ведь такое, любит сильное, мужское обращение. Его прежде отбиваешь, а уже потом оно расстаивается, подходит. Дрожжами можно разжиться в местной пекарне.

— Да, у пекаря, — сказала Стефани, которая и сама пекла хороший хлеб.

Был на столе и глиняный коричневый кувшин с вином. На наших семейных трапезах, объяснила Клеменс, всегда подаётся хлеб и вино, это в обычном порядке вещей. Детям налили немного

вина в воду.

На второе был запечённый окорок, с румяными ломтиками картошки, с запотевшими от жара, специями посыпанными дольками яблок и зелёные листья салата. По множеству ободков тарелок — стилизованные пшеничные колосья. Маркус отказался от окорока.

— Молодой человек вегетарианец? — поинтересовался Гидеон, ловко орудуя ножом, нарезая для всех ломтики мяса.

— Нет, — ответил Маркус, — просто мне мясо не нравится.

— Случаются дни, — тут же отозвался Гидеон, — когда мне открывается жизнь сущего, и я тоже задумываюсь, быть ли мясоедом. А вы, миссис Ортон, вы не против мяса?

— Я *без фокусов*, — ответила та.

— Но бывают и другие дни… — продолжал Гидеон, продолжая тонко кромсать окорок, — когда я желаю быть заодно с большинством рода человеческого и думаю, что у Господа, верно, были веские причины создать нас плотоядными. Люди с незапамятных времён собирались вместе и ели мясо…

— Мясо ещё раздобыть нужно, — ввернула миссис Ортон, принимая от Гидеона розовые

ломтики с медовой глазурью по бокам, нашпигованные чесноком.

Гидеон положил нож, придвинул к себе кубок с вином и со значительным видом преломил булочку. Девочки-подростки задумчиво жевали хлеб. Хлеб был и впрямь хорош. Маркус осторожно-пытливо повращал на тарелке вилкой свою картофелину, потом покрутил и яблоко. Картофелина — неправильная сфера, овального сечения, да и яблоко не лучше — сфера сплющенная и проколотая. Кроме того, изготовители посуды, создавая орнамент, не сумели точно соположить рыжеватый тон с зелёным, отчего пшеничные колосья не создавали должной иллюзии трёхмерности, а казались двумерно-избыточными… Маркус загородил яблоком неудачный узор и срезал у картошки один из концов, подкругляя эллипсоид. Миссис Ортон между тем заталкивала в рот свинину, морща лоб от усердия. Гидеон отнёсся лично к ней:

— Я верю, истово верю, что надо пестовать расширенную семью, объединяющую людей нескольких поколений! Для нас честь видеть в гостях всю семью Ортонов, в которую входит не только маленький Уильям, но и вы, миссис Ортон. Это замечательно, миссис Ортон, что вы

— среди ваших чад, на вашем собственном месте — продолжаете вносить вклад в общую семейную жизнь. Сегодня, увы, очень многие родители становятся ненужными для своих детей, после определённого возраста их попросту перестают считать полезными. Это огромная ошибка, от которой редеет ткань нашего общества.

— Ох, и не говорите, — поддакнула миссис Ортон.

Маркус подумал: ну вот в чём её *полезность*? Не хочет она приносить *пользу*. Лишь желает набить утробу. Только и ждёт, чтоб ей ещё предложили окорока. Это пробуждение в Маркусе обычной человеческой злости показывало, что миссис Ортон кое-каким воздействием обладает, и Гидеон, имея достаточно проницательности, сумел бы это умозаключить и использовать — если бы на лице Маркуса отразилась хотя бы тень этих мыслей; но лицо Маркуса было намеренно бесстрастно.

Клеменс между тем рассказывала Стефани о своей семье:

— У моих родителей я была единственным ребёнком и знаю не понаслышке, что такое любовь и забота. По роду занятий я семейный консультант, прошла курсы социальных работников, перед тем как соединить судьбу с Гидеоном. Мы

так радуемся нашей семье, дружной ячейке общества.

Стефани не могла сообразить, как бы потактичней осведомиться о расовом происхождении юных Фарраров, но Клеменс сама всё поведала:

— После рождения Джереми мы с Гидеоном обсудили проблему перенаселения планеты и решили, что неверно было бы давать жизнь новым детям, когда столько детишек уже родились и страдают. Таня приехала к нам из христианской миссии в Малайзии, в этой стране к китайцам — а она китаянка — не слишком хорошо относятся. Мама Дейзи после рождения Дейзи уехала в Африку, потому что ей сделал предложение её соотечественник, а Дейзи она оставила в Англии со своими родственниками, которые не смогли должным образом содержать ребёнка. В этом случае расширенная семья — в нашей стране, в нашем закрытом обществе — не смогла совладать с задачей, с которой легко бы справилась у себя на родине. А родители Доминика в одно прекрасное Рождество оставили его в церкви, они его одели в красивые ползунки, завернули в тёплую шаль, но заботиться о нём явно не могли. И вот мы все объединились и можем помогать друг другу, радовать друг друга! У Тани обнаружи-

лись совершенно невероятные гимнастические способности. Дейзи чрезвычайно музыкальна, играет на двух инструментах. А Доминик — наш семейный комик, у него природный актёрский дар, говорят его учителя. Нам хотелось бы устроить нечто грандиозное! По-моему, это очень правильное дело — семейные представления в церкви, чтобы дети могли собраться вместе и показать друг другу свои достижения. Вы делаете подобные вещи в этом приходе, Стефани?

— Да, рождественское действо, — сказала Стефани.

— Давайте организуем какое-нибудь удивительное представление в честь Праздника урожая. Уильям, конечно, ещё слишком мал, он вряд ли сможет принять участие, но всё равно, обязательно его приносите, он посмотрит и послушает. А Маркус, наверное, уже слишком взрослый. Но у нас есть организация юных христиан… Гидеон уделяет большое внимание работе с молодёжью…

Подали яблочный пирог со сливками и йоркширский сыр «уэнслидейл». Девочка, сидевшая по соседству с Маркусом, спросила:

— Какие предметы будешь сдавать на аттестат?

— Историю, географию и экономику. Собирался в прошлом году.

Девочка не обратила внимания на это «собирался».

— Я знакома с твоей сестрой. Она ужасно башковитая.

— Кто, Стефани?

— Фредерика.

— Ах, Фредерика…

— А я буду сдавать биологию, ботанику и зоологию, — сообщила соседка.

Маркус принялся проворно перемещать вилкой по тарелке кусочки яблока, чтоб увеличить видимость своего аппетита.

— Почему ты выбрала эти предметы? — спросил Маркус.

— Ну, у меня с ними хорошо. Я люблю изучать, как живут разные… существа. Жизненные циклы кроликов или конструкция муравейников. Это очень увлекательно.

— *Увлекательно?*..

— Зря подкалываешь.

— Прости, я не нарочно. Просто хотел спросить — это и правда увлекательно?..

— А как же. На людей совсем не похоже.

За всё это время Маркус ни разу не взглянул

на неё, не повернулся к ней и теперь. Не знал, как она выглядит, какого роста или даже кто она — Жаклин или Руфь. Но почувствовал вдруг, что ему хочется наладить этот обычный разговор.

— И с чем потом будет связана твоя профессия? — поинтересовался он.

— С выращиванием, с ростом. Сельское хозяйство. Лесное дело. Разведение животных. Профессий тут много.

Маркус съел кусочек яблока, попробовал сыр.

— А ты что собираешься делать? — спросила незримая соседка.

— Понятия не имею. Выращивать… наверное, лучше.

— Лучше, чем что?

— Чем… ну, это…

— Откуда же ты знаешь, что оно лучше, если не знаешь, лучше *чего*?

— Знаю, — ответил Маркус уклончиво, всё ещё даже и не посмотрев на неё.

Гидеон сказал, что пора мыть посуду, они с женой чередуются по дням, сегодня его очередь. А помогать ему будет Стефани.

На кухне с буфетов отскребена была старая краска. Стол новый, чисто вымытый. На стенах — бледные бумажные обои с узором из веточек,

вокруг мойки — голубые и белые виниловые плитки. Однако эта комната, в которой когда-то шла уединённая жизнь слуг, упрямо остаётся тёмной… Гидеон облачился в хозяйственный передник и присогнулся над раковиной наподобие газующего мотоциклиста. Рукава засучены, ворот рубахи распахнут. Расхаживая туда-сюда с грузом блюд и тарелок, Стефани вынуждена была чуть ли не касаться с ним бёдрами в этом узком пространстве. Она невольно втянула располневший живот над старым поясом платья. Гидеон кратко взглянул на её грудь: платье немного жало под мышками. Борода Гидеона над тарелками развевалась, живая и роскошная. Обладатель бороды сиял.

— Расскажите про себя, — попросил Гидеон.

— Что рассказывать, всё и так известно. У меня есть муж и ребёнок, а ещё свекровь и брат. Скучать не приходится.

— Разумеется. Но уверены ли вы, что вам не скучно?

— Давайте сразу скажу для ясности, я не христианка. Но у нас с Дэниелом полное взаимопонимание. Я помогаю ему с работой в приходе, как только могу.

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Мне показалось, вы спрашивали, каково моё участие в жизни прихода.

— Нет. Меня заинтересовали вы, сама по себе. В вас есть какая-то тайна, недосказанность.

Где-то мы уже это слышали, подумала Стефани, реплика не новая. Она повернулась к нему спиной, открыла наугад дверцы какого-то буфета, поставить стопочку тарелок, не встречаться с хозяином глазами; спросила негромко:

— Разве у меня нет права на тайну?

— Конечно есть, — задушевно-звучно подтвердил Гидеон. — Но и я ведь имею право на небольшое любопытство. Мне интересны вы — но не в качестве жены Дэниела или сестры Маркуса и даже не в качестве супруги-помощницы курата этого прихода. Всё это роли, маски…

А вот это, подумала Стефани (украдкой подмечая, как пытливо ощупывают её глаза Гидеона), разве не роль?

— Я преподавала в школе.

— О, ещё одна маска. И теперь вам этого не хватает?

Стефани была с детства приучена (позже, в Кембридже, привычка лишь закрепилась) отвечать на вопросы точно:

— Мне не хватает бесед с учениками. Не хватает

работы с книгами. Я люблю книги.

— Вы не должны пренебрегать самореализацией. В этом беда многих женщин.

— Я вполне довольна жизнью.

— Позвольте не поверить. Я чувствую вашу внутреннюю невоплощённость. Вашу привычку отказываться от собственного «я» ради других.

Стефани повернулась к Гидеону лицом:

— Вы ведёте себя довольно бестактно.

— Вот, уже лучше. Прямая эмоциональная реакция. Что-то личное наконец проступило.

— Мне кажется, обычных хороших манер ещё никто не отменял, не правда ли, ваше преподобие?

— Да, конечно. Я за вежливость. Но ведь нам предстоит тесно работать вместе…

— Как я уже заметила, я не…

— Не христианка. Но имейте в виду: в мирском обществе Христос может представать инкогнито. И не наше дело — не наше право — это инкогнито нарушать.

Смысл двух последних фраз Стефани не поняла. Он легонько обхватил её за плечи — когда она очередной раз проходила мимо, — повернул к себе лицом:

— Союз и дружба, Стефани? — В его голосе, в его

тоне — воля.

— Ну конечно же… — пробормотала она в ответ неопределённо.

Золотистые глаза скользнули по её вороту, застёгнутому на все пуговицы. Легонько потрепав её по волосам, Гидеон отпустил.

Позднее с изумлением и озадаченностью она отметила, как сильно этот вроде бы пустяковый разговор её расстроил. В сущности, что-то вроде банальной, довольно примитивной попытки ухаживания. «Вы привлекательны и поэтому мне интересны», или «Я такой мужчина, что меня привлекают все или почти все милые женские особы». Эти слова не были произнесены, но словно повисли в воздухе. Гидеон выказал не столь уж необычную в священнослужителе смесь самоуверенности и бесцеремонности. Бывает, священники развивают в себе подобную навязчивость, чтобы скрыть природную робость; у них это и впрямь что-то вроде *маски, личины*. Но это не тот случай. Мужской напор у Фаррара — в точности как у Дэниела! — не от неуверенности в себе, а от избытка энергии. Ей сделалось стыдно, что она вообще отозвалась на разговор. Получается, она нуждалась в напоминании о том, что она женщина. Стыдно, что понадобилось

такое напоминание! И он заставил её сознаться в сокровенном: да, скучаю по книгам…

(II)

В последующие недели Дэниел с удивлением — и немалым — обнаружил, насколько же ему не хватает мистера Элленби, набора *определённостей*, исходивших от прежнего викария. В шутку он заявил (Стефани), что прихожане — как лягушки из басни Эзопа, просившие царя: вместо ленивого царя Чурбана Юпитер дал им лихого царя Аиста. Но, стоя после службы в храме, он вдруг осознал, что и сам он, и здание переменились оттого, что на смену глубокой веры мистера Элленби в таинства христианской веры, в Богом данные и Богом оберегаемые установления морали и истории — пришла вера Гидеона в личностные начала. Сами эти понятия, «личностный», «личный», вызывали у Дэниела смутное беспокойство. Мистер Элленби полагал, что Дэниел своим «активным участием» слишком вмешивается в личную жизнь прихожан, — Дэниел же думал, что просто подходит к помощи максимально упорядоченно и *практично*. От тех, кому помогал, он не ждал в ответ привязанности, не говоря уже о любви; тогда как от него эта

разумная, действенная помощь требовала работы воображения и немалых усилий. Гидеон, по разумению Дэниела, был человек, чьи религиозные потребности возникали от непреодолимого желания домогаться от людей расположения, общения, тепла, награждая их в ответ тем же — расположением, общением, теплом. Сам Дэниел подобному мотиву не доверял и опасался таких желаний. Хотя не знал наверняка, хвалить или ругать себя за подобную недоверчивость.

Теперь, в минуты одиночества под высокими сводами, он принимался размышлять, что́ значит для него храм: дом, где никто не живёт, строение, учреждающее идею мироздания, место, где столетиями произносились определённые фразы, определённые молитвы, определённый символ веры, здание, в котором люди больше привержены жизни общинной, чем своей жизни отдельных существ, мужчин и женщин. В этих грузных стенах душно и тесно; но зато здесь прибежище порядка и авторитета. При мистере Элленби, для которого надмирные истина, порядок и авторитет были живыми сущностями, Дэниел мог позволить себе эту роскошь — быть бунтарём, втайне от всех задаваться вопросами об истоках христианской религии, о началах

человеческой морали. При новом, Гидеоновом распорядке вещей — а Гидеон, судя по всему, опирался почти исключительно на антропологические представления о нравственности семейных уз — Дэниел вдруг затосковал по заповедям и авторитету. Жену Дэниел любил до беспамятства, сына — с суеверным страхом, желая защитить от всех напастей, мать — повинуясь зову крови и родовому долгу. Но эти три любви сами по себе ещё не вели к любви всеобщей, если таковая вообще водится в мире. Его порыв — лелеять стариков, облегчать страдания больных, помогать людям обрести жизненное призвание — происходил из настолько глубинной, ему самому не совсем понятной тяги к порядку, что ему требовался авторитет духовного сана. Сан укреплял его в намерении всю жизнь упрямо употребить на то, чтобы хоть отчасти совлечь путы сумбура, безволия, апатии, страха, которыми люди добровольно одевают свои души. А *верил* — за себя и за Дэниела — мистер Элленби. Раньше, сидя вечером у себя в церкви, Дэниел думал: «В другом обществе я б, наверное, стал буддийским монахом, или индуистским жрецом, или муллой; моя мера веры, мои слова о вере таковы, какие могут и должны по праву быть в

лоне Англиканской церкви, в Шеффилде, в середине двадцатого века». Теперь же, с водворением Гидеона, какой-то опасностью повеяло на него от собственной компромиссной, *неуверенной* веры. Храм стал ему казаться пустым, алтарь — всего лишь столом, слова (уже не так часто здесь произносимые, особенно по полному канону) — менее могущественными, более сомнительными…

Была в храме Святого Варфоломея та непременная группа набожных пожилых женщин, чья жизнь сосредоточена в этом здании. Прежде они никогда особенно не жаловали Дэниела, который, по их мнению, не уделял достаточного внимания благотворительным распродажам подержанных вещей, неформальным собраниям за чашкой кофе для сбора средств. Его они воспринимали как некоего подрывного элемента. Злословили по поводу его манеры бесцеремонно, на половине фразы, обрывать беседу о том, что сделано и что не сделано в приходе; поругивали за пыльные ботинки и чрезмерную горячность проповедей. Но давеча после причастия они грудно обступили его во дворе, их лица под невообразимыми шляпками и шапочками являли смесь беспомощного страха и бессильной ярости. Принялись расспрашивать: что, по его мнению, теперь изменится?

Во что в действительности верует Гидеон? Что будет с теми, кто верует просто, по старинке, рассчитывая на вознаграждение в грядущем? Особенной любви Дэниел к этим дамам не испытывал, но давно уже наблюдал за ними, хорошо их знал, знал, как привержены они ритуалам, как важны для них правильные, повторяемые слова, в том числе слова о спасении, и весь заведённый распорядок прихода.

Гидеон в разговоре с Дэниелом дважды или трижды называл их «драконшами». Гидеону они, наверное, казались частью *церкви ветхой*, которую он хотел сринуть, обновить, вывести в большой мир. Дэниел же, присмотревшись к ним в воскресенье вскоре после своей первой «семейной трапезы» у Фарраров, увидел в них чудом уцелевших приверженок отмирающего культа; вот они сгрудились вместе, ища поддержки и утешения друг в друге, их головы увенчаны самыми что ни на есть фантастическими уборами, у одной красная шапочка с заломом, почти фригийская, у другой лиловая башенка с веночком сухих златоцветов, а вот шлем, фетровый, с плюмажем. На лице, обтянутом пергаментной кожей, в чопорной улыбке — вокруг крупных, крепких, очень белых (фальшивых) зубов — кри-

вятся тонкие губы. Другой, поджатый, рот дрожит неодобрительно, посылая по щекам лучики злых морщинок. Не драконши и даже не ведьмы: просто старухи. Жалобен их разноголосый, как бы причитающий хор… Дэниел вдруг на короткое время невольно ощутил себя ими, ограбленными, обездоленными, ему почудилось, что это он выбрался из сумрачных, пыльных уголков и смотрит, моргая, в ужасе и недоумении, на храм, обметённый от паутины, от всего ветхого убранства, избавленный от риз, освобождённый от Бога Отца, свечей и пламени Святого Духа…

Джерри Берт поджидал Дэниела в тёмном уголке церкви; «драконши» уже ушли, а он осторожно выступил из мрака и тронул уходящего Дэниела за рукав:

— Можно поговорить? Я Джерри Берт.

Видя недоумение Дэниела, напомнил:

— В газетах писали. Девять месяцев назад.

Дэниел напряг память, безуспешно.

— Меня оправдали. Наверно, зря. Её признали виновной.

— Её — это… Барбару Берт?.. — спросил Дэниел.

— Ага.

Дэниел вспомнил. Это было громкое дело в здешних краях: молодая супружеская пара, недав-

ние молодожёны, обвинялись в убийстве своего шестимесячного ребёнка. Джерри и Барбара Берт. Ребёнка избивали, подвергали ожогам, морили голодом и в конце концов задушили. Толпы женщин стенали возле здания в Калверли, где происходила выездная судебная сессия; родителей-обвиняемых доставили в суд, прикрыв со всех сторон тюремными одеялами от гневных взглядов. В коридорах и переходах суда возмущённые граждане шипели и тряслись от ярости. Юристы уговорили Барбару Берт признать себя виновной в детоубийстве. Джерри утверждал, что непричастен к ссадинам, синякам и ожогам на теле дочери; адвокат охарактеризовал подзащитного как человека «не слишком сообразительного». Джерри получил небольшой срок за «пренебрежение родительскими обязанностями» и вышел на свободу. Жене, Барбаре, смутно припомнил Дэниел, предписано было пройти специальное лечение в стационаре.

— Так в чём ваш вопрос, Джерри? Чем могу помочь?

— Ничем. Чем же тут поможешь-то.

Щуплый, маленький, Джерри Берт больше походил на мальчика, чем на мужчину. Его жухлое и бледное, маловыразительное личико

было покрыто точками, пятнами, островами и континентами рыжеватой пигментации, отчего казалось более живым, как будто колонизированным некой странной формой неземной жизни. Бледно-голубые глаза в частоколе белёсо-розоватых, местами обломанных ресниц. Усевшись рядом с Дэниелом, в одной из задних отгороженных церковных «лож», за полчаса или более того Джерри с трудом, мало-помалу выдавил из себя некоторое количество фраз.

— Я всё время себя хворым чувствую. Я так больше не могу. Не могу работать. Ничего не могу. Говорить и то не под силу. Хоть в пабе, хоть дома. Хворый я, хворый, — снова повторил он с безжизненной настойчивостью. — Жизнь мне не мила. Оттого и *хвораю*.

Дэниел спросил, работает ли он где-нибудь? Нет, работы нет. Общается ли со своей семьёй?

— Не хотят они со мной знаться. И поделом.

В горле у Дэниела застряли привычные удобные фразы. Как произнести эти слова — «прощение», «покаяние»?

— Но какая-то надежда в душе остаётся? Вы ведь пришли в церковь.

Джерри Берт поскрёб плитняк церковного пола ботинком с металлическим мыском.

— Может, я пришёл… рассказать про себя всю правду. Пришёл из-за *неё*!

— Из-за вашей жены?

— Из-за *неё*. Я ведь что хочу сказать… не вынесу я этого больше. Не вынесу, если они её отпустят. Если она домой вернётся. Ко мне близко подойдёт. Ежели ещё раз окажется у меня на глазах… я что-нибудь… сделаю.

— А её хотят отпустить домой?

— Не знаю. Сказали, она хочет меня видеть. Они думают, будто…

— Расскажите мне про неё побольше.

— Она вроде как зверь какой. Нет, хуже. Звери-то, они смотрят за своими детёнышами. А она ленивая. Из постели не вылезала. Из ночнушки своей проклятой тоже не вылезала. Ничего не стряпала, даже еду не грела, ни для себя, ни для меня, ни для ребёнка, значит. Вся комната завалена грязными чашками да всякими пакетиками, обёртками — от хлопьев кукурузных, от пирожных, от шоколадок… масло арахисовое ложкой из банки ела…

— Люди, которые так помногу спят, — осторожно сказал Дэниел, — могут быть не совсем здоровы.

— Она дочку-то не любила, мол, спать мешает,

плачет. Занавески в комнате по неделям не открывала. Всё ей надо тише, тише. Чтоб, значит, звуков никаких не было.

— А вы пытались что-нибудь сделать? Прибраться, например.

— Нет, нет, какое там. — Смурное личико искривилось жалобно, голубые глаза моргнули. — Это же всё *она*, от *неё* всё это!.. грязь сплошная!.. Один запах чего стоил, грязная постель, подгузники вонючие, с остатками еды пакетики. *Её* грязь, *её* запах. И ребёнок посередь, с той же грязью, с тем же запахом.

— Ребёнку было плохо, ребёнок, наверное, мучился.

— Ребёнок знай помалкивал, лежал себе тихо. Я как ни приду домой, молчит. Ну, так и лучше было. Стоит пошевельнуться, заплакать ребёнку-то, она сразу как вскинется, как заорёт и давай вещи швырять, бить как ненормальная! Сил-то у неё немерено, бывало, бушует по целому часу. А ребёнок слабенький был, пискнет порой, как котёночек.

— Может, у вашей жены и вправду что-то с нервами приключилось? У многих женщин после родов бывает. Ей нужно было к доктору.

Водянистые голубые глаза из зарослей весну-

шек глянули на Дэниела попристальней.

— Мне так все и говорят. Но я вот что думаю. Думаю, некоторые женщины такие от природы. Уродились такие, грязные да нечестивые. Я сюда пришёл… в церковь пришёл, потому что в церкви и сказать-то можно, что это *грех*… *грех*, что с ребёнком приключилось, *грех*, что она такая, *грех* то, что я сделал. Вернее, не сделал…

Кажется, он явился сюда за судом. Дэниел вздохнул:

— Сколько же ей лет?

— Восемнадцать.

— Сама ещё ребёнок.

— Нет, никакой она не ребёнок! Душу из меня вынула. А что, как и впрямь вернётся?

Дэниел не мог заставить себя призвать Джерри Берта к прощению.

— Я к вам за помощью, ваше преподобие. Помощь нужна. Мне.

Кислый запах изо рта, затхлый запах подмышек, брюк. В голосе уныние, отчаяние.

— Если вы не хотите её видеть, то и не надо. Ничего хорошего из этого не получится. Может быть, вам лучше пожить в другом месте? Найти себе какую-нибудь работу.

— Кто ж меня возьмёт на работу-то?

— Давайте зайдём в паб, потолкуем насчёт работы, — сказал Дэниел.

По выражению лица Джерри видно, что он продолжает ждать какого-то морального суждения, приговора.

— Вы знаете, что должны были защитить ребёнка. Помыть. Вызвать доктора.

— Я не мог. Ребёнок тоже был… неправильный… лежал в грязи и рвоте.

— Тем более нужно было что-то сделать!..

— Я… боялся этого ребёнка.

— Почему? Маленькое, беззащитное существо.

— Да, знаю, — сказал Джерри Берт. Странные капельки влаги мелькнули на маслянистой коже у него под глазами. — Ну кто вот мог подумать, что человек бывает таким слабаком? Как вообще можно дожить до такого? Можно ли, ваше преподобие, быть таким идиотом, таким беспомощным идиотом?..

— Можно, — сказал Дэниел. — Жизнь штука сложная.

Они выпили по пинте пива в пабе «Мешок гвоздей» — в тот вечер, и в другие вечера, когда Джерри Берт без предупреждения появлялся в церкви. Дэниел сидел за столиком, подняв воротник пальто (так не видно колоратки), чтоб это

выглядело как разговор приятелей, а не беседа со священником. (Это была одна из тех привычек, за которую его не жаловали и частенько поругивали церковные старухи.) Дэниел думал о Барбаре Берт, воображая её смутно, и о мёртвой девочке Лорейн, представляя её и того хуже (раны, вонь, запуганное молчание, некому заступиться, заступиться некому!). У него мелькнула мысль, не попробовать ли разузнать у местных чиновников, каково, по их мнению, состояние Барбары, основательны ли страхи Джерри, что её отпустят домой. Но он не стал этого делать, почувствовав: для Джерри куда важнее, чтоб с ним просто общались, считались с его словами, верили в реальность и серьёзность его опасений, признавали его нравственный ужас перед Барбарой настоящим нравственным ужасом, а не попыткой переложить свою вину (хотя оттенок такой попытки имелся). «Я к вам за помощью, ваше преподобие», — слышал он в голове жалобный голос. Он подыскал для Джерри временную работу — возить на тележке мусор со стройки нового молодёжного христианского клуба, которую затеял Гидеон. Каким был Джерри раньше, до своего несчастья, Дэниел при всём желании не мог вообразить. Нынче от Джерри исходил лишь

страх и отвращение к жизни. Как бы этим, между прочим, не заразиться…

Однажды он пришёл домой вечером после одного из разговоров с Джерри в «Мешке гвоздей». Жена, сидя за столом, кормила Уильяма, который, развалясь, сидел в переносном креслице. По всему дому теперь были разбросаны игрушки, малышу принадлежавшие, прежде всего небольшие пластмассовые предметы различной геометрической формы, основных ярких цветов: круглое небесно-голубое блюдце, жёлтое ведёрко с белой крышкой, синяя ванночка на белых складных ножках, красная кружечка, множество круглых и квадратных детских зубных колец, похожих на огромные древние монеты или первобытные талисманы, на тоненькой цепочке или шёлковой тесьме. На столе в эти минуты стояли ёмкости с горячей водой, в которых грелись голубые баночки «Хайнц» с желеобразными пищевыми веществами. Эти вещества имели цвет приглушённый, неяркий, в отличие от игрушек. Серо-зелёное яблочное пюре, зелёно-жёлтое гороховое, желтоватая молочная кашка, мутновато-бледный апельсиновый сок. Уильям в креслице являл собой интересное скопище цветов и фактур: само креслице — в переливчато-

синюю и белую полоску, словно цирковой шатёр; костюмчик — лютиково-жёлтый, по которому напачкано бледно-цветными пюре, жёваными бисквитными крошками, молочными плевочками, да ещё и размазано липкими пальчиками. Стоял запах молока, и тёплый запах солода, и чистых подгузников, и дезинфицирующей жидкости. Стефани в этот миг всовывала ему в ротик ложку с чем-то зеленоватым, а он, работая губами и язычком, извергал бóльшую часть наружу красочными пузыриками. Одна липкая ручка вцепилась в бледные кудри Стефани, другая отвергала терпеливую ложку. Лицо Стефани было в нитях и потёках пищи, чуть блескучих и быстро подсыхающих. Все картины и ощущения сбежались у Дэниела в голове: затхлый запах Джерри Берта, скудная пустота церкви, застарелый табачно-пивной воздух в пабе, им наперекор — разнобойно сладкие, повседневные запахи родной детской жизни, цветной ералаш вещей, радужный туманец, *преизбыток всего*…

— Приходил Гидеон, — сообщила Стефани.

— Зачем?

— Не знаю. Приглашает Маркуса поучаствовать в загородных прогулках с юными христианами.

— Вреда в этом нет.

— Маркус может не согласиться.

— Лучше б согласился. Всё какое-то занятие.

— Покорми Уильяма, а я пока тебе сделаю чай и бутерброды.

Когда Стефани встала из-за стола, Уильям посмотрел на отца своими тёмными глазками-бусинками и открыл ротик, готовясь издать протестующий звук. Дэниел тут же подцепил ложкой яблочного пюре и прямо в этот возникающий звук направил. Изрядная часть яблока сразу выпросталась обратно капельками. Круглый язычок, однако, ловко подставился под остальное своей собственной ложечкой и втянул пюре внутрь. Дэниел почувствовал то наслаждение, которое каждый чувствует, глядя, как фруктовая мякоть исчезает в детском ротике, как яблоко в прямом смысле превращается в малыша, тот растёт, — чуть ли не на глазах становятся больше пухленькие подушечки кулачков и пальчиков, шейка, щёчки. Тёмные бусинки смотрели на Дэниела пристально, ротик раскрылся жадно, точно клюв у птенца. Дэниел потрогал тёплую головку с чёрными волосами, которые были его волосами, и, склонившись носом, понюхал. Уильям пах правильно, под всей внешней кисло-сладкой мишурой. Пах человеком, пах Стефани,

пах Дэниелом. Сам собой пах!..

Бывали дни, когда Дэниел, колеся на велосипеде по Блесфорду, воображал свой маленький дом, какой он крепкий, тёплый и уютный, как озарён изнутри мягким, но ярким светом, как таинственен и сокровенен за своими ставнями. Внутри этого надёжного, безопасного жилища царит порядок: жена сидит у очага, ребёнок обихожен и вымыт, с пушистыми волосиками; на столе накрыт отменный, полезный завтрак: тёплый чайник с заваркой, горячий тост, крупитчатый душистый мёд; все яркие цветные тарелочки и плошечки Уильяма — чисты и красивы. У малыша на клеёнчатом настольном коврике — жизнерадостная картинка с прямодушными, сомнений не знающими персонажами «Дома, который построил Джек»; у каждого своя заветная цель: у крысы — глодать солод, у кота — задушить крысу, у пса — гоняться за котом, у коровы — поддеть пса щербатым рогом, у одинокой молочницы — подоить эту корову, у страшноватого парня, одетого в лохмотья, — поцеловать молочницу, у священника — молочницу с парнем повенчать, у петуха — священника в это утро разбудить, а у Джека — всё это в лучшем виде обустроить, весь

дом с подворьем, как целый мир[107].

Но бывали и ночи, когда лежал он в постели и слышал, как ребёнок вдруг издаёт негромкий, но беспокойный звук, звук прерывистый, готовый сорваться в першение, в кашель, за которым уж грянет вопль; после недели таких сполошных ночей начинало казаться, что его счастливый домик — полумглист, непрочен и тесен, что шмыгают в подполе крысы, что продувают его насквозь, отыскав пазы да щели, студёные ветры… В эти ночи ему было слышно, как мать каждые несколько минут принимается ворочаться на старых диванных пружинах, как почти беззвучно босиком то и дело отправляется в ванную комнату Маркус. Сразу живо вспоминался, лез в голову незаконченный, неприглядный антураж гостиной — осыпающаяся штукатурка, влажный потолок, недокрашенные стены с оставшимися кое-где грязными обоями, подгузники (в золотисто-зелёной слизи) в жёлтой стиральной корзине, подоконники с въевшейся сажей… Всё это вдруг обступало, обтесняло его кошмаром. Жене он однажды, в одну из этих дурных ночей, слыша,

[107] Примечания: 107

Оригинал известного английского детского стихотворения, в частности состав персонажей, имеет отличия от вольного перевода С. Я. Маршака.

как все жильцы шумно дышат, как Уильям готовится, точно мопедный мотор, завести свой кашель-вой, сказал:

— Мы будто живём с огнедышащим, рычащим драконом!..

— Я сейчас возьму Уильяма, похожу с ним.

— Нет, ты лучше поспи. Я возьму его сам.

И он ходил по дому, увесистый человек в носках, прижимая к себе малютку-сына, — вся длина ребячьего тельца, от родничка на макушке до крошечных, мяконьких ступней, покуда равнялась его собственной широкой груди. Он мерил шагами своё маленькое пространство, мерил пределы нижнего помещения, от двери до лестничного косоура и до следующей двери, напевал при этом чуть слышные гимны и тихонечко сковывал, укрощал бессонные кулачки и лодыжки, погружая младенца в покой. Он следил за тяжёлым порханием хрупких маленьких век, и сердце его вздрагивало от любви, но оно трепетало и в ярости — оттого что так неспокоен сон жителей дома, оттого что со всех сторон обступают здесь стены, оттого что стены неодолимы, как сама любовь.

11
Нормы и монстры, II

Сперва, когда Маркус покинул дом, Уинифред попросту затворила его спальню. Время, однако, шло, Маркус не возвращался, и тогда Уинифред стала понемногу, в дневные часы, там прибираться: пылесосила, снимала с открытых полок лишние вещи, убирала навсегда старые детские игрушки. Поняв, что Маркус задерживается надолго, она стала действовать решительнее: унесла одеяло из гагачьего пуха, сшила и повесила новые, более простые занавески и, наконец (хотя с этого, возможно, следовало начать), перекрасила стены, голубовато-зелёные, как утиное яйцо, в обычный белый цвет, и дверь, прежде кремовую, тоже в белый. В результате комната приобрела чистый, однородный, пустоватый вид. Она подолгу сиживала там днём, за столом Маркуса, и глядела в окошко — поверх садика, на поле для игры в регби. Подростки то бегали, то, сцепившись руками по талиям, тягались силой, отчего их маленькая толпа начинала напоминать огромного безголового краба. Уинифред думала:

вот мальчики, нормальные мальчики; но тут же спрашивала себя: а что такое «нормальность»?

Билл приходил с работы, она тут же спускалась вниз и начинала готовить, накрывать на стол. Теперь их, правда, было всего двое, готовить вообще пустяк. Находясь вместе на кухне, они, как правило, молчали. Этому Уинифред не удивлялась, ведь раньше заводилой в разговорах была Фредерика — непременно что-то провозглашала, чем-то хвасталась, на что-то жаловалась, декламировала стихи, — а Билл поддевал её в ответ, нравоучал, задавал вопросы, спорил. Сейчас, покуда Уинифред готовила что-нибудь нехитрое, Билл читал. Разные толстые книжки: романы XIX века, трактаты по психоанализу и психиатрии. Возможно, он даже не понимал, что́ именно ест. Раньше Билл имел обыкновение жаловаться на семейное меню, теперь значения ему не придавал. Список блюд Уинифред начал из недели в неделю повторяться: в первый день котлеты, во второй копчёная грудинка, следом шёл лосось, потом на два дня запечённый ягнёнок, и завершали всё это дело колбасный фарш и тушёнка. Картошку она заменила хлебом, а большинство свежих овощей — фасолью из консервной банки. Пудинги готовить перестала; на столе водились

фрукты, а также три куска сыра, которые она заменяла по мере уменьшения или исчезновения. Билл читал, а Уинифред думала. Она сидела, жёсткая и напряжённая от этих мыслей, — порою нечаянно стискивала рукоятку ножа, да так крепко, что начинали болеть пальцы, или стискивала зубы так сильно, что ныла челюсть.

Внутри её неподвижности роились мысли беспокойные и неуютные — о жизни, о доме, о муже, о некоторых принадлежавших ей вещицах.

Вещицы, которые почему-то притягивали её особенное внимание во время этих молчаливых посиделок, были небольшие предметы узкого назначения. Изо дня в день смотрела она на них: маслёнка, точно вмещавшая полфунтовый кусок масла; ножичек для масла с коротким тупым лезвием; керамическая, вердепешевая с прозолотью, подставка под заварной чайник; сырница, чья клиновидная крышка украшена небрежно изваянными коричневыми цветками, а ручка крышки керамически же имитирует скрученный канатик; грелки для яиц из красного фетра; вилочка для пикулей, в форме миниатюрного трезубца; и, наконец, серебряные изделия — подставки для яиц, подставка для гренок, сахарные щипцы, щётка и совочек для сметания со ска-

терти крошек. Серебро надлежало начищать, а узор был так тонок, что непременно оставались в непроработанных канавках и бороздках переливы окисла. Большинство этих вещиц, уныло вспоминала Уинифред, были с радостью ею лично приобретены или получены в подарок. Благодаря им её жизнь как будто бы начала соответствовать некой совершенной, упорядоченной форме, в ней словно бы появились обряды, которым надлежащая утварь придавала подлинность и изящество. Кому-то в гончарне от души захотелось лихо закрутить керамический канатик на крышке сырницы; а подставка для тостов, верно, радовала своего создателя тонкостью и ажурностью частых, равномерных арок, напоминающих о перевёрнутом корабельном остове (даром что он даже не задумался, как быть, если кто-то отрежет слишком толстый кус хлеба, или как ухватить подставку за крошечное колечко для переноски, если подставка целиком заполнена тостами?).

Существовало некоторое представление о том, какой должна быть твоя жизнь, каким должен быть дом, что значит быть матерью. Быть женой — материя более сложная, жёны бывают разные, хорошие и плохие, здесь поле для споров и рассуждений. Тогда как все плохие матери, в отличие

от плохих жён, одинаковы: пренебрегающие обязанностями, бесхозяйственные, бездеятельные, эгоистичные. Одинаковы и хорошие матери: терпеливые, утешительные, самоотверженные, ровные в обращении. Собираясь быть хорошей матерью, Уинифред полагала, что сумеет это сделать правильно и с чистым сердцем. Ведь это её жизнь, её путь — быть матерью. Кроме прочего, правильное материнство означало умение вовремя отпустить птенцов из родительского дома. Стефани отправилась учиться в Кембридж при полном понимании и одобрении Уинифред. Сумасбродную, супротивную трескотню Фредерики о домах, которые «давят своей добротой», она переносила сознательно и молча. Но вот бегство Маркуса поселило в её сердце настоящий ужас. Если при мысли о возвращении сюда он стонет и плачет, то что же это за дом такой?.. И что она сама собой представляет?.. Совсем недавно она осознала: в женщине, в матери позднего среднего или раннего пожилого возраста есть нечто, что вызывает в людях тревогу и раздражение. Вспомнила, как её саму в молодости раздражали женщины, которые представлялись ей старыми или стареющими, безотносительно к их характеру. Тогда она над этим не задумывалась, зато

теперь… Трудно смириться с тем, что невольно вызываешь страх и уныние.

Сырница и грелки для яиц казались ей вздутыми, несуразными. Какие *толстые*, думала она, и как мрачно, до абсурда навязчиво отрисованы их места на кухонной скатерти! Себя она также ощущала раздувшейся и несуразной. Климактерический возраст взял её в осаду или, может быть, точнее сказать, с разных сторон проникал в крепость её тела. Все её кожные и слизистые поверхности зудели, сохли. Внутри кровь билась тоненько, толчками; чудилось, что кости становятся хрупкими, что глаза, покрасневшие, раздражённые, видят слабее. О самой себе у неё возникло странное, не вполне чёткое, но навязчивое представление, будто раньше она обитала в своём теле слишком легко, не сознавая и не ценя, что видит ясно, ходит безболезненно, поворачивает голову без головокружения и дурноты. А сейчас стоит резко крутануть головою, как воздух между ней и предметами — в зрительной плоскости — становится мутным и словно её обступает, сами же предметы делаются невнятными, угрожающими. Случалось, что голову и тело на минуту прошивало жаром. Это был некий парадокс: всё в ней изо дня в день, из часа в час

вроде бы слабело, истончалось, расточалось в жидкость, и вдруг снизу — внезапный огненный прилив, кровь закипает, как на огне; старая ведьма, под которой подпалили мучительский костёр!.. При этом она сидела как ни в чём не бывало, молча посматривала на читающего Билла. Впрочем, во внутреннем пожаре участвовали не только кипящая кровь да сгорающий жир, но ещё и ярость — доселе незнакомая, беспричинная, смутная. В прежние годы постоянно гневался Билл, теперь же она с униженным, тайным злорадством отмечала, что переняла эстафету. Итак, она восседала за накрытым столом, приятная, благоразумная на вид женщина с посеребрённым золотом волос, внешне спокойная и недвижная, между тем как — с чудовищной для неё самой отчётливостью! — рушилась её плоть, трещали кости, тускнели волосы и очи, немели пальцы…

Однажды она очередной раз посмотрела на Билла, думая о нём с осуждением (теперь, молчаливо-ожесточённо, она судила его всякий день, квитаясь за годы замороченной, задавленной, недоумевающей жизни). И в голове у неё возник образ изможднного пса, который жил со стариком-пьяницей в лачуге. Старик его и пинал немилосердно, и голодом морил, но пёс,

скуля, полз к нему на брюхе. А когда ужасный старик упал и сломал себе шею, то скулящего пса пришлось оттаскивать от тела. И так он выл и тосковал по хозяину, что пришлось его в итоге пристрелить. Или он сам, как ни хорошо с ним дальше обращались, скончался от тоски? Точного конца этой где-то прочитанной истории она не помнила. Но зато живо воображала, как старик варит себе похлёбку в жестяном ведре, а с потолка капает (протёкшая крыша), как пёс вымаливает крохи, еле живой от голода. Как старик в пьяной ярости бьёт пса, а потом наутро кается… Автор этой статьи или рассказа не скупился на слова «верный», «любящий». Говоря про пса. А вот Уинифред ничего, кроме презрения, к этой собаке не испытывала. И ещё большее, взвешенное презрение — к людям, которые пытались описать собачье поведение с помощью понятий человеческой добродетели. Принимать побои, привязываться к мучителю — да это попросту в природе пса. И ругать и хвалить его — довольно странно. Но как же обстоит дело с ней самой?..

Когда Билл уходил на работу, она направлялась в его комнату. Если спальню Маркуса она обновляла, делала чистой, то в комнате Билла действовала как уборщица. Окурки в липких пе-

пельницах вызывали у неё тошноту. Она яростно скребла эти пепельницы. Стопки книг она сурово, как попало, ставила на полки (а ведь в старые времена лишь бережно сдвинула б немного в сторону, чтоб стереть пыль). Одежду Билла она отправляла в стирку при малейших признаках загрязнения, а может быть, и раньше. Если он и заметил в этом что-то необычное, то промолчал. Она тёрла рубашки в мыльной пене, полоскала и яростно выкручивала, потом плющила утюгом — всё это с отвращением чистюли. Как будто даже с удивлением наблюдая за собой со стороны, она тем не менее совершала свою добровольную службу, свою участь. Как-то она с маху бросила в мусорную корзину стопку писем и газет — и не стала вызволять их оттуда.

После услышала, как он хватился, везде роется, ищет, но ничего не сказала.

Однажды, уже не впервые, он заговорил сокрушённо:

— Работа моя чуть теплится. Еле-еле. Учу без души. Скучают у меня на уроках.

— А я?! — вскричала она внезапно. — Разве я что-нибудь, ну хоть что-нибудь… с душой?.. — И тут же осеклась, примолкла.

— Ну, ты… — нерешительно начал он, — ты при

деле… заботишься…

— Что?! — опять бросило её в крик. — Ты зовёшь это *делом*?!

— Не кричи, пожалуйста.

— *Не кричи?* Как ты смеешь вообще это говорить?.. Как смеешь говорить про крики — *ты?!*

Лицо Билла сморщинилось — старичок. Своё обычное произнёс, покаянное:

— Понимаешь, я кричу не нарочно. Так выходит, само…

— Мальчик бежал из дома от твоих криков!

— Да, да, да… знаю…

12
Узри дитя[108]

На семейном совете решили, что Стефани имеет право на какое-то личное время, работать с книгами. Собственно, решил это Дэниел: мол, мать и Маркус могут посидеть с Уильямом, а Стефани на часок-другой попробует удалиться в Блесфордскую библиотеку. Почему бы не воспользоваться преимуществами расширенной семьи? — так уговаривал он.

Маркус попросту побаивался предстоящего. Миссис Ортон сказала: пусть уж она не слишком долго там, пусть возвращается к следующей кормёжке, да заранее распорядится, чтоб Маркус приготовил на ужин что-нибудь определённое. Чувство у Стефани было такое, словно её обвиняет в дезертирстве некая особенно заботливая в прошлом мать (на самом деле миссис Ортон нередко оставляла Дэниела, в возрасте Уильяма, одного, и довольно надолго, отправляясь в магазин или к соседкам посудачить). Могла бы и дома

---

[108] Примечания: 108

Начало V строфы «Оды бессмертия» У. Вордсворта:

Узри дитя среди даров земных…

книжку-то свою почитать, неужто от семьи уходить обязательно, проворчала напоследок миссис Ортон. А Маркус еле слышно выдохнул: хорошо, попробуем обойтись. Стефани извлекла свою видавшую виды научную папку, а также оксфордское издание Вордсворта и, сложив всё это в учительскую сумку, покатила в библиотеку.

После чего все испытали острые неудобства.

Для самой Стефани оказалось трудно нажимать на педали, устремляясь от дома. Её как будто удерживала длинная полотняная привязь-сбруя, вроде той, в которую на заре промышленности запрягали «заводских» детей, ходить и вращать механизмы. Привязь вела к плетёной колыбели-корзинке, где спал малыш, спрятав кулачок под ушко. Ей властно чудились всяческие запахи, звуки, голоса, даже волнения воздуха в доме, они звали её обратно, развернуть руль поскорее назад. Чуть не против желания, она жала и жала виноватой ногой на педали.

Маркус поднялся по лестнице и укрылся у себя в спальне.

Миссис Ортон устроилась в своём кресле, открыла журнал «Женские владения», сделала радио погромче и вскорости задремала.

Услышав звуки радио, Уильям поворочался в

корзине и, выметнув кулачок, почесал переносицу. Затем издал не очень громкий пробный вопль. От которого сам некоторым образом встревожился; набрал в лёгкие воздуха и крикнул-позвал позаливистее.

Маркус вышел за дверь, на самых невероятных цыпочках, и прислушался.

Уильям позвал ещё раз, уже не так настойчиво.

Но тут подала голос миссис Ортон:

— Молодой человек, а молодой человек! Ребёнок плачет.

Маркус ничего не ответил. Тогда миссис Ортон взяла оказавшуюся под рукой книжку и громко постучала ею по столику. Слыша это, Уильям заголосил. Маркус прокрался на верхнюю лестничную площадку.

— Молодой человек, ну-ка взять его. Посмотри, что там с ним.

— Может, он пытается снова уснуть?

— Вот уж нет.

Маркус открыл дверь комнаты Стефани и вошёл. Сотрясающаяся плетёная корзинка стояла близ накрытой белым кровати, у окна. Вопли Уильяма обрели неутомимый ритм, как будто дышать и вопить — одно и то же. Маркус при-

близился. Младенец сердито бился всем телом, сбрыкнув с себя одеяльце. Личика не различить, только цвет его меняется — от бледно-розового, в момент вдоха, до гневно-пурпурного, в момент крика. Маркус склонился и, подхватив младенца под спинку (вспомнил, как это делала Стефани), взял на руки лежачим. Оказывается, он легче, чем можно подумать; будто из лоскутков; но в этой податливости что-то опасное. Младенец затаил дыхание, лиловея, и тут уж выдал свой самый звучный и жалобный вопль. Невероятно бережно держа Уильяма на руках, но всё ещё лежащим на спинке, Маркус стал медленно продвигаться к лестнице.

Перед верхней ступенькой он помедлил, перехватил тельце чуть поудобнее, для спуска. Глаза его встретились с тёмными гневными глазками. А этот младенец — не прост. На вид беззащитный, плачет, однако ж не молит, а властно требует!..

Маркус спустился на две-три ступеньки. Ещё на несколько.

— Ну кто ж так ребёнка держит-то? — раздался из кресла голос миссис Ортон.

Стефани разложила на библиотечном столе книги. Здесь имелись два пластмассовых стола на металлических ножках. А вокруг были пол-

ки с художественной литературой, книгами о политике, домоводстве и садоводстве, об уходе за ребёнком, даже раздел «Философия». Никогда ещё прежде она не пробовала работать с текстом без внешней надобности: то нужно было писать рассуждение на заданную тему, то готовиться к экзаменам, а потом уж и к урокам в школе.

Другие надолго обосновавшиеся посетители библиотеки — мужчины. Двое из них бродяги: один (в свитере цвета рыжеватой глины, местами дырявом) почитывал газету, другой (в чёрном строгом пальто, похожий на сотрудника похоронного агентства) присел за высокой стопкой томов «Британской энциклопедии». Третий был глубокий старик, очень маленький, очень аккуратно одетый, с лупой в дрожащей руке, чья стопка книг не позволяла судить о сфере увлечений: «История английских деревьев», «Происхождение видов», «Открытое общество и его враги», «Домашнее выращивание пряных трав». И наконец, четвёртый — тщедушный юноша, похоже студент, с учебником математики.

У полок с романами стояли и тихонько болтали две или три женщины, на вид домохозяйки.

Стефани собиралась прочесть «Оду бессмертия», просто прочесть внимательно от начала и

до конца. В голове у неё уже давно зрело смутное намерение: если подойти к делу толково, то, пожалуй, можно накатать о Вордсворте докторскую при новом Северо-Йоркширском университете. Но в данную минуту она чувствовала страх и неуверенность. Выговорить для себя эту щёлку во времени и пространстве для думанья было нелегко — и что же? Ей решительно не думалось! Это тревожно напомнило древние свободные учебные дни, когда тебе давали задание сроком на неделю-другую, однако в первый день, сколько ни высиживай, ничего не получалось. Прежде нужно было освободить голову от шелухи повседневных забот, заурядных мыслей: не забыть купить кофе; я, кажется, влюблена; жёлтое платье надо почистить; Тим чем-то недоволен; что же такое творится с Маркусом; как мне вообще успевать всё на свете? Должно было пройти какое-то время, прежде чем задача вообще начинала казаться выполнимой, ещё какое-то — прежде чем начинала жить в сознании, и лишь затем, ещё дни спустя, завладевала вдруг всем существом, становилась как воздух. До настоящей мысли всегда было некое дуракаваляние, когда ничего не происходило, лишь позёвывание, посматривание по сторонам, пошаркивание по полу туфелькой,

по сути — отлынивание от того, что затем станет восторгом, наполнит энергией. Где-то внутри должен был ожить, засновать таинственный челнок, продёргивая новую нить утка под забытые, но приподнятые нити основы: ряд за рядом — ткань мысли. Она отобрала от Маркуса и свекрови и — что хуже всего — от Уильяма (он-то постоянно брезжил в сознании, не давал себя забыть ни на минуту) этот скромный досуг, его хватит на предварительное безделье, на раскачку, но успеешь, сумеешь ли сосредоточиться? В будущем надо научиться думать без раскачки, сказала она себе, иначе ничего не добьёшься. Перехитрить свою голову, думать везде и всегда — в очереди на автобус, в автобусе, в туалете, на кухне, готовя еду или сражаясь с горкой грязной посуды. Вот, уже подступает какая-то усталость… она зевнула… время шло…

Маркус, не говоря ни слова, вручил Уильяма миссис Ортон. Та сразу притиснула его к груди — вопли сделались задушенными — и похлопала по попке. Маркус тревожно навис сверху — а что как младенец и впрямь задохнётся? Слишком уж он хрупкий, а миссис Ортон — настоящая туша. Маркусу внушало омерзение раздувшееся сияние искусственных шелков и особенно — её

лилово-красные руки, как высовываются они из манжет с кругленькими пуговичками, похожими на капельки растопленного жира.

Тут Уильям издал, помимо задушенного крика, ещё один звук: стиснув беззубые дёсны, налившись личиком попеременно ало, ярко-красно, сине-лилово и затем вдруг совсем бледно, он произвёл громкий, влажный треск своим упакованным в подгузник задом.

— Ну вот, — сказала миссис Ортон, — придётся тебе теперь его попочку обслужить. Сразу-то настроение у него и улучшится. Так что за дело, душа моя.

— Я… не могу.

— Ты что же, думаешь, мне с ревматизмом вверх по лестнице подниматься способно? А ну-ка марш. Я тебе начну подсказывать, что делать. Глядишь — и справишься.

— Я… я просто…

— Ты что его мамочке, сестре своей-то сказал? Мол, справимся. Я же помню твои слова. Вот и хватит бездельничать. Пойди наверх да разложи всё как положено. А понадобится тебе чистый подгузник — муслиновая тряпица такая, — треугольничком сложишь, и вкладыш, полоска полотенцевая. Да ватка ещё, да присыпка детская.

Ну и кувшин с тёплой водой. Ступай, всё готовь. Ежели чего не найдёшь, покричи нам.

Маркус поплёлся наверх. Нашёл резиновую подстилку и полотенце, на которых обычно переодевали младенца, и разложил на кровати. Нашёл и все другие причиндалы, аккуратно сложенные в пластмассовом тазике. После чего нехотя отправился вниз за Уильямом.

Из-под эластичного края неуклюжих небесно-голубых трусиков Уильяма уже успело вылезти и расползтись по лиловому шёлку миссис Ортон некоторое количество жёлтого вещества.

— Смотрите… вылезло, — сказал Маркус еле слышно.

— Принеси мне скрутку ваты. Да заодно резиновый фартук надень. Давай пошевеливайся.

Он снова поднялся наверх. Оторвал изрядную толику ваты от белого цилиндрика. Надел резиновый фартук с белой махровой подкладкой и матерчатой оборкой. Фартук имел запах резины, а ещё лесного ореха, имел женский запах, запах Стефани? В настольном зеркале Стефани на туалетном столике отразилась его тонкая, бесполая фигура, облачённая в этот наряд. Чувствовал он себя глупо, хуже чем глупо. Спустился вниз.

— Надобно заметить, вид у тебя идиотский.

Бери ребёнка, не дрейфь, это ж просто молоко переваренное в желудке, ничего тебе от него не сделается. В жизни такого бесполезного олуха не встречала. Точно говорю.

Выхватив вату у него из рук, она принялась ожесточённо протирать бок своего шёлкового бюста, возмущённо фыркая и ещё что-то бормоча сквозь поджатые губы. Подниматься из кресла она явно не собиралась.

Маркус снова взял Уильяма, держа на вытянутых руках подальше от «юбки» фартука.

— Смотрите, что делает! Так ведь и уронить недолго. Я вот иногда думаю, а не подлечиться ли тебе в больничке, дружок? Как тебя такого на свет уродили? Ну, давай, пошёл!

— Иду.

Всё ещё продолжая поваливать дурака, Стефани вспоминала другие библиотеки… Прежде всего библиотеку Кембриджского университета в лето своих выпускных экзаменов. Восхитительное чувство *знания*: чётко формулируешь какой-то довод, находишь вдруг удачную иллюстрацию для мысли, прокидываешь связь от некой идеи древних эллинов — к идее английских мыслителей XVII века. Знание доставляло неповторимое чувственное удовольствие, пробирало всё твоё

существо, как восторг сладострастья, как день под ярким солнцем на горячем пустом пляже. И теперь она стала думать о свете, о разном свете в своей жизни, о солнце Платона, о теле Дэниела на песке, о первых, лучом омытых, минутах отдельной жизни Уильяма и о себе на солнопёке — и с ясностью, яркостью, давно уж её не посещавшей, пожалуй что с тех дней в университетской библиотеке: «Что такое *моя жизнь*? Секрет в том, чтоб *придать моей жизни желанный облик*». И тут же себя окоротила: ну нет, так не пойдёт, надо размышлять об «Оде бессмертия», времени нет в запасе. И осознала, что, собственно, и думала об «Оде», ведь в «Оде» и говорится обо всех этих вещах — о великолепии травы, о неугомонности мысли, об облике жизни, о Свете.

В голове начало сгущаться. И как всегда в такие мгновения, всё восприятие обострилось. Словно впервые, она разглядела эти серо-дымчатые библиотечные оконные стёкла, металлические книжные полки серо-голубого, военно-морского цвета, бетонный гладкий пол, в котором галька и о который словно запинается дурацкая огнеупорная пластмасса стола, где она сидит. Один из бродяг украдкой под библиотечным столом отламывал по кусочкам сыр и хлеб и потихоньку

отправлял в рот, когда ему казалось, что библиотекарша отвернулась. Маленький старичок с лупой теперь взял в руки том гоббсовского «Левиафана». Вообще-то, нравился ей этот старик; всё ей нравилось. Она обратилась к «Оде».

Маркус положил Уильяма на резиновую подстилку и, с трудом преодолевая помехи в виде бесцельных брыканий, расстегнул нижние пуговки на трусиках. Внутри этих верхних трусиков были ме́ньшие, из прозрачной клеёнки, наполненные бледно-жёлтым текучим веществом, и где-то между ножек (догадывался Маркус) безопасной булавкой заколот матерчатый вкладыш. Борясь с тошнотой, Маркус стянул клеёнчатые трусики и уронил на ковёр, отчего тут же образовалось пятно. С булавкой пришлось изрядно повозиться. Она совершенно залеплена жёлтым, но, даже будучи расстёгнутой, выниматься из мокрого, тугого материала нипочём не желает. В тот миг, когда она наконец извлеклась, младенец вновь брыкнул, нацеливаясь пухлой ляжечкой прямо на булавочное остриё. Маркус отдёрнул руку; слёзы подступили к глазам: ну что же это, что за напасть?! Он с силой потянул подгузник из-под ребёнка (не догадываясь, что можно для удобства приподнять ножки за щиколотки) — и оставил

жёлтый след на спине длинной распашонки. Тут он сообразил, что булавка, увы, осталась под младенцем. Непонятно и как доставить кувшин с водой с туалетного столика, не повернувшись спиной к Уильяму, — а ведь тот может скатиться или соскользнуть с кровати. Какое-то время он бесполезно приплясывал, одной рукой прижав младенца к кровати, а другой пытаясь дотянуться до кувшина; потом всё же рискнул оторваться от Уильяма и совершил две стремительные вылазки — сперва за водой (расплескав половину на ковёр), потом за ватой.

Потом наступило самое неприятное. Зажав нос, он принялся вытирать и отчищать с кожи жёлтое вещество, находя всё новые и новые крошечные его залежи в складках мошонки и в морщинках раздражённых ягодиц. На ковре образовалась целая кучка из брошенных ватных тампонов и тампончиков. От усердия Маркус вспотел. Отыскал булавку — нацелившуюся в спину ребёнка на манер ятагана. Ещё одна отчаянная вылазка, теперь за присыпкой.

Маркус не мог взять в толк, как превратить подгузниковую заготовку в полноценный предмет младенческого туалета с помощью одной-единственной булавки. Он складывал и

перекладывал треугольником махровую ткань, подтыкал и так и сяк, в конце концов в отчаянии заколол булавкой наугад, ожидая воплей, и нацепил поскорее голубые трусы, застегнул их на пуговки — начисто забыв про внутренние клеёнчатые трусики. Какие-то непонятные, избыточные кончики ткани торчали отовсюду. Так или иначе, дело было сделано. Он перевёл дух и бросил взгляд на личико Уильяма. И обнаружил, что малыш внимательно на него смотрит. Потом уголки маленьких губ дрогнули и будто поползли вверх, и наружные уголки глаз тоже! Маркус аж отпрянул от неожиданности, наступив на грязный подгузник, — неужели это настоящая, сознательная улыбка?! Взял на руки своего, теперь уж не такого грязненького, питомца…

«Ода бессмертия» — вещь о многом, в том числе о времени и памяти. Некогда, восемнадцатилетней девушкой, бывшей школьницей, студенткой, Стефани не очень-то верила в подлинность и ценность тех откровений раннего детства, о которых говорит поэт. Ей думалось, что дети вряд ли несут на себе какое-то особое благословение или печать блаженства.

Теперь, в двадцать пять, она чувствовала себя если не старой, то взрослой: у неё был сын, — и

её куда больше увлекала мысль о *чужедальности* и *инаковости* детей. Глаза остановились на эпиграфе: «Дитя — других людей отец»; она сразу же подумала об Уильяме, как омыл его после рождения солнечный луч и каким человеком, мужчиной он станет. Новым, чутким взором принялась она читать строки о Ребёнке в середине стихотворения, которые девочкой, не успев ещё повзрослеть, воспринимала слишком поверхностно (они казались ей чересчур обычными, не такими волшебными, как райские видения начальных строф: радуга и роза, во́ды в звёздную ночь, единственное, особенное дерево и единственный цветок, фиалка, у ног).

Её особенное внимание сейчас привлекли две идущие подряд, друг за дружкой, строфы о Ребёнке. Первая из них (VII) начинается со слов: «Узри Ребёнка средь даров земных». В ней описано, как он заранее примеривается к различным церемониям и ролям, что уже начертал в своём плане, или «грёзе человечьего житья». Как актёр, он готов участвовать в свадьбах и похоронах, в праздниках и шествиях скорби, — это перекликается, конечно, с семью возрастами-ролями человека из знаменитого шекспировского монолога. Кроме того, это напоминает, если честно,

и социологическую проповедь Гидеона. Но вот следующая, VIII строфа, которую Кольридж, друг и критик Вордсворта, находил неубедительной и пугающей[109], — представляет собой целую вереницу метафор, описывающих жизнь души при посредстве понятий бездны и заточения в земных оковах. Ребёнок — к неудовольствию и недоумению Кольриджа! — превращается в мудреца и пророка:

Ты, чья таит премаленькая внешность
Души могущество, безбрежность;
Философ, тайн предсущных приобщенный,
Глаз зрячий средь слепых, что в сне глухом
Читает в бездне вечной и священной
В неё вселённое божественным умом;
Великий и благой дитя-пророк,
Кто ясно столь постигнуть смог
Те истины, которые нам скрыты
В тьме нашей жизни и в гробу земном…

---

[109] Примечания: 109

См.: С. Т. Кольридж. Biographia Literaria. Гл. XXII (под длинным названием «Характерные изъяны поэзии Вордсворта… и т. д.»).

Внезапно Стефани открылось, что сквозной образ «бездны» в этой строфе — часть вордсвортовского представления о тьме, которой объята жизнь и мысль. И что своей правдивостью это представление не уступает описанию человеческих обрядов и ролей в строфе предшествующей, строфы колеблются, как чашки весов. И сходятся вместе, уравновешиваются в заключительных строчках VIII строфы, где поэт уверяет Ребёнка, что по мере взросления, с годами благословенное облако вокруг него развеется:

…Благая участь станет бесполезна.
Твоя душа свой груз земной возьмёт,
А тело — груз обыденных забот,
Тяжеле стужи, глубже жизни-бездны!

«Вечная бездна» — во́ды Книги Бытие становятся бездной, глубиной, которой достигает корень, пытаясь преодолеть своё заточение, груз земных забот и холодов. Стефани как раз доросла до понимания того, насколько «обыденные заботы» могут отяготить человека. Строки поэта тронули её (как в своё время в родильном отделении тронула точностью мысль — «погрязла в биологии»). Она почувствовала высокую радость оттого, что поняла: земные роли ребёнка-актёра

сложно соразмерены с земным заточением и вечной бездной. В этой идее, в этом объяснении была какая-то удивительная свобода! Стефани посмотрела на часы, поняла, что записать или даже получше обдумать уже не удастся. Несколько минут назад ей чудилось, что это было какое-то откровение, явление истины. Теперь кажется — простая, хотя и верная догадка…

Маркус спустился вниз вместе с Уильямом. Миссис Ортон выпрямилась в кресле, растопырила толстые колени.

— Ну наконец. Давай-ка его мне сюда. Посмотрю, хорошо ли ты его обслужил.

— Всё у него в порядке. Я его держу. Погуляю с ним по дому.

— Говорят, дай ребёнка.

— Может, не надо? Я с ним похожу.

— Откуда тебе понимать, как младенца удовольствовать? Думаешь, удобно ему? Ты посмотри-ка на себя. Локти торчат во все стороны. Бестолковый из бестолковых.

Маркус отступил к подножью лестницы, не хотелось отдавать ей Уильяма. У неё посередине кисейной манишки — брошь с несколькими тряпичными чайными розами, острая булавка торчит вперёд. Маркусу не хотелось уступать

Уильяма, чтоб она не увидела, какие там фокусы с подгузником. Не хотелось, чтобы Уильяма притиснули к этой булавке.

— У него всё хорошо, — повторил Маркус. — Хорошо.

— Это какой же упрямец! Вот что я тебе скажу. Всем ты уже надоел здесь своими закидонами! — рассвирепела миссис Ортон. — Суёшь свой нос, где тебя не просят, строишь из себя важную особу. А как до дела дошло, грязного подгузника испугался? Может, пора тебе уже к мамочке обратно вернуться, а, переросток? Дрейфишь обратно-то? А знаешь почему? Потому что к делу она тебя приставит. Будь это мой дом и моя воля, ты б у меня живо отправился на заработки. Вон какой, весь белый да нежный, как девица. Неженка и есть! Но пальца в рот тебе не клади, откусишь. Ну-ка, отдавай ребёнка, покуда худого ему не сделал! Что это ты так долго возился наверху?

— Всё я хорошо там сделал. А вы могли бы и сами, между прочим, подняться наверх да его переодеть. Я знаю, вы ходите вверх-вниз по лестнице, когда никто не видит. Больной вы только притворяетесь.

— Ах, ты ещё и оговариваешься?! Ну, теперь уж мне ничего не остаётся, как отобрать его у тебя!..

К ужасу Маркуса, она извлекла своё грузное тело из кресла и медленно, вперевалку направилась к ним. Маркус стоял бесполезно, прислонясь к балясине: прижать к себе Уильяма покрепче он не решался. А миссис Ортон, подвалив сбоку, вцепилась в плечи ребёнка своими сизыми пальчиками. Маркус не отпускал. Миссис Ортон потащила изо всей мочи, однако вдруг забуксовала на коврике — и грохнулась на каменный пол (отпустив при этом малыша). А хватка Маркуса успела ослабнуть чуть раньше…

Маркус присел на ступеньку лестницы. Ребёнок лежал у его ног, недвижный.

Миссис Ортон принялась неуклюже барахтаться, как выброшенный на берег кашалот, и стонать, и охать, и браниться.

В эту самую минуту в переднюю вошла Стефани. В уме у неё рассеянно вертелось, что в «Оде» отразилось учение Платона о предсуществовании души… каждая клеточка тела, однако, беспокоилась об Уильяме…

Ужасный, невозможный миг… Но вот уже Стефани, отшвырнув свои книжки, подхватила на руки сына. И тот — опамятовался — заголосил.

Кричала и миссис Ортон: мол, она совершенно уверена, что опять сломала ногу, боль ужасная,

скорее вызывайте врача! И во всём виноват этот олух царя небесного, которому давно пора дать укорот, привык, что все перед ним тут ходят на цирлах! Врача, скорей врача, я не выдержу!

— Маркус, помоги ей подняться, пожалуйста.

— Не могу.

— *Господибожемой!* Подержи хоть ребёнка.

— Я б не доверяла ему с ребёнком-то. После того, что… ох… приключилось.

Стефани, сжав зубы:

— Можете встать, если дам руку?

— Нет, нет!

— Сейчас принесу подушку. И вызову врача.

Позвонив по телефону и бросив подушку лежащей на полу миссис Ортон, Стефани наконец забрала у Маркуса малыша. Уселась, бережно обняла, прижала к груди. Её била дрожь. Сердце стеснилось страхом, виной и отчаянием. Ладони сделались мокрые.

— И что это на нём за подгузник? Если так можно назвать. Где клеёнчатые трусики? Кто его вообще переодевал?!

— Я.

— Эх, *Маркус, Маркус*. Ну как же так можно?.. — Она зарыдала.

Маркус ушёл наверх и закрылся у себя в

спальне.

Миссис Ортон продолжала лежать на полу, охая и извергая брань. Явился врач: переломов у неё нет, пара ушибов. Стефани с врачом отвели её наверх, в спальню, уложили в постель.

Врач осмотрел ребёнка: ссадинка на виске, но вроде бы вполне здоров и весел.

Стефани целовала висок и плакала. Есть что-то прискорбное в первой ране на новенькой, нежной коже.

13
Мумички

— Бывают ли у тебя сны? — спросил у Маркуса психиатр Ройс, по обыкновению.

— Я увидел плохой сон, после того как уронил ребёнка.

— Можешь его рассказать?

В этом сне все сидят в кружок на обитых тканью стульях, касаясь коленками. Играют в игру; его упорядочивающий ум условно назвал это «групповая игра», в подробности не вникая, то ли «музыкальные стулья», то ли «передай посылку». А может, это одна из тех непристойных игр, где коленками или носами передают какой-нибудь предмет или теннисный мячик между ухом и подбородком запускают и стараются не уронить. Все люди в этом сне как будто окоченевшие и словно обёрнутые тканью, с тычущимися, скрытыми под юбками коленками, в толстых передниках. Коленками они касаются. Он тоже играет в эту игру. И он потерял предмет, неизвестно какой, который все передают.

И вдруг он понимает, что он сам и есть этот

пропавший предмет, он между ними посерёдке, припал к земле, притаился, а они надвигаются на него, как в детской песенке-игре про фермера, который выбирает жену, а жена — ребёнка, а ребёнок — няню, а няня — корову, а корова — собаку. Только они не дети, а старухи, и на строчке «А теперь мы все собаку побьём!» они дружно обступают его, шурша и шаркая, и встают на него коленками. Головы у них без лица, потому что полностью окутаны белыми ватными волосами, мягкими, как серые волокна, что опутывают кактусы.

А потом они вдруг начинают крутиться на месте разом, эти старухи, — сматывать с себя полосы навроде бинтов или какой-то иной мерзопакостной материи, и вместе с полосами сходит, распадаясь, их плоть. Он определил их тоже условно — «мумии», но прозвал почему-то по-другому — *мумички*.

И вот они крутятся деловито, деловито, и всё, что сматывают с себя как с толстых бобин, — наматывают на него!

— Меня окружили люди. Вообще-то, это были женщины. Стали меня приминать коленками, вроде как плющить. У них начала разматываться одежда. Я их прозвал «мумички».

— Тебе не кажется, что это похоже на слово «мамочки»? Может быть, тебе была неприятна идея материнской заботы?

— Может быть.

— А почему?..

На следующей неделе Маркус отправился домой, в Учительскую улочку. В один прекрасный день возник на кухне перед Уинифред и сказал просто: «Я вернулся» (как будто в этом и впрямь ничего необычного). И она приготовила тушёного цыплёнка в его честь; а Билл долго тряс его руку, придя из школы; но многих слов от Маркуса не дождались, он молвил только: «Мне нравится белый цвет. Вернулся домой, а стены белые. Хорошо».

Стефани, несколько растерянно, принялась размышлять о том, что её деликатность, а также терпение Дэниела, профессионализм психиатра Ройса и материнская любовь Уинифред на поверку оказались не так действенны, как зловредность миссис Ортон и грязный подгузник! Маркус выполз из своей раковины, чувствовала Стефани, выполз на столько, на сколько вообще умеет. Но — кто же подержит на руках Уильяма, если всё-таки захочется попробовать записать мысли об «Оде бессмертия»?

14
Фигуры речи

Это было в дни Александра в Лондоне, в Блумсбери…

Проучившись и проучительствовав более тридцати лет, Александр очутился, впервые, в *не*образовательном учреждении, где человеку полагались кабинет, секретарша, приличная зарплата, но мера самостоятельности сильно зависела от должности, а поведение — от добровольно признаваемых правил. Этим учреждением была небезызвестная Британская вещательная компания. Должность его именовалась «постановщик-консультант»; впрочем, выпускать разговорные передачи или радиопостановки в его задачи не входило. От него ждали «свежих идей». Каковые несомненно можно было почерпнуть в знаменитом трактире Георга, посиживая за кружкой пива с поэтами, странствующими преподавателями университетов, да и просто с разными занятными господами.

Кабинет Александра располагался в Радио-доме, в районе Мэрилебон. На службу он ходил

пешком, обитая по соседству, в Блумсбери. Жил он на положении гостя-арендатора в обширной квартире; съёмщиком квартиры был его приятель Томас Пул, который раньше преподавал в учительском институте в Йоркшире, а теперь работал в лондонском Институте Крэбба Робинсона[110]. Сам Александр с детства жил *по чужим комнатам*: сперва, мальчиком, — при частной приготовительной школе, потом — при частной средней школе, далее в студенческой комнате в Оксфорде и наконец — в бытность учителем — в утлой комнате-башенке школы Блесфорд-Райд. Добавьте к этому наезды к родителям, которые, держа гостиницу в Уэймуте, отправляли его в первый попавшийся номер. Вот и получается, что жил он всегда одиноко и бесприютно. Поселясь же с семьёй Пулов, он — несмотря на бедноватость тогдашней обстановки (куцые занавески, деревянные ящики из-под чая, ловко превращённые в овощные лари) — получил вдруг ощущение обычной, домашней жизни и уюта, которого ещё не испытывал.

---

[110] Примечания: 110

Генри Крэбб Робинсон (1775–1867) — английский юрист и публицист, автор объёмного дневника, ставшего важным источником для историков английского романтизма, один из основателей Лондонского университета.

Многоквартирный дом из красного кирпича находился между Тотнем-корт-роуд и Гауэр-стрит; окна — подъёмные створчатые, обрамлены натуральным камнем; двери — деревянные, красно-коричневые — с ручками полированной латуни. Этакий эдвардианский солидный дом, предназначенный для городского житья семей с одним-двумя слугами. Когда Пулы въехали в квартиру, оказалось, что в кухне сохранились звонки для прислуги: в настенном ящичке за стеклом — крошечные диски, каждый из которых, когда рядом на стене звенел звонок, умел светиться, указывая, куда именно вызывают: гостиная, спальня хозяев, детская (гласили названия комнат под дисками). Не вполне ясно, каким именно помещениям что соответствовало, проводка звонков не работала. Всего в квартире имелись четыре большие комнаты и четыре малые, вход во все — из длинного тёмного коридора. Владения прислуги — кухня, кладовая и клетушка-спаленка — глядели окошками в колодец двора, отделанный белыми плитками в желтоватых потёках; таких окошек, оживлявших стенки этого глубокого колодца, со всех сторон было много, в жаркие дни они разом открывались, так что плясало в колодце эхо музыки и голосов.

Квартира Пулов была под самой крышей здания, на шестом этаже. Большие комнаты выходили на улицу, в их эркерных окнах — макушки лондонских платанов, стаи голубей, а в последующие годы — над крышами противоположных домов — станут неодолимо-геометрично вырастать таинственные цилиндры и диски строящейся Почтовой башни[111]. Комната Александра помещалась в дальнем от кухни конце коридора. Тихая, просторная, не загромождённая мебелью. Большого скарба с собой он не привёз, так как поселился здесь временно. Правда, на белые стены понавешал изрядно: несколько старинных, забранных под стекло в рамочках, театральных плакатов; репродукции любимых картин — «Мальчик с трубкой» и «Семейство комедиантов» Пикассо; фотография «Данаиды» Родена; афиша его собственной первой пьесы «Бродячие актёры», ну и, конечно, афиша лондонской постановки «Астреи» — портрет Елизаветы I, принадлежавший Дарнли, в роскошной окантовке красных тюдоровских роз. Были и две, совсем

[111] Примечания: 111

Радиотелевизионная передающая станция, возводилась по заказу Почтового ведомства. Строительство начато в 1961 г., открыта в 1965 г., впоследствии переименована в «Башню „Бритиш телеком“» (до 1980 г. — самое высокое здание Лондона, 177 м).

маленькие, репродукции Ван Гога — подсолнухи и соломенный стул. В Кембридже Фредерика в это время прочла в романе Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед», как Чарльз Райдер, устыдясь, снимает репродукцию подсолнухов и ставит на пол лицом к стене. Александр же теперь, что ни день, всё больше поражался и восхищался этими подсолнухами: как мог он столько лет смотреть на них и не видеть, не понимать? Репродукция, правда, неважнецкая, иззелена-жёлтая, в отличие от более чистых жёлтых красок оригинала. Покрывало на постель Александр постелил своё, приобретённое в Провансе: тёмный геометрический цветочный узор на густо-жёлтом, как яичный желток, фоне. Занавески он вместе с Пулами выбрал самые обычные, тоже жёлтые, в цвет более-менее попали. Итак, жёлтой и белой была эта комната, лишь палас на полу был сер…

Он переехал в Лондон, словно поддаваясь примеру удачливых провинциальных писателей или их удачливых героев. Эти герои в финале очередного «аналитического» романа, воспевающего моральные ценности рабочего класса и душу жителей английского севера, со страшной скоростью устремляются на юг, в шумную столицу. За ними следуют обычно и авторы. Кстати,

Пулы тоже вполне намеренно превращали себя в столичных жителей. Почти всё, что связывало их с родной провинцией — гарнитур из дивана и двух кресел, пушистые ковры «вильтон», книжные шкафы со стеклянными дверцами, семейное столовое серебро, — было сознательно оставлено ими позади. Элинора Пул сказала Александру, что самое восхитительное в этой квартире — её вытянутость, комнаты устроены в один ряд, без затей, и сами по себе *незатейливы*. В любой из них можно спать, есть, работать. Везде постелили удобные безворсовые паласы серебристых и серых оттенков, обрезанные и обмётанные точно по размеру комнат; стены покрасили белым; на окна повесили обычные занавески с геометрическим узором. Столяры изготовили на заказ простые и элегантные комоды и открытые полки. У детей были яркие финские одеяла — красное, синее, жёлтое. В квартире висели репродукции абстрактных полотен Бена Николсона[112], плакат выставки Матисса. Всё это Александру нравилось.

Нравилось ему и такое новое для него богатство их пищевого обряда. Первое живое впечатление

[112] Примечания: 112

Бенджамин Николсон (1894–1982) — английский художник-абстракционист, автор пейзажей и натюрмортов.

от ближайшей улицы, Гауэр-стрит, совпало с книжным — от Глауэр-стрит у Генри Джеймса, — непрерывный ряд серых георгианских зданий, с голосящими машинами у подножия. Но к счастью, ежедневно направляясь пешком на работу в Радио-дом Би-би-си, он открыл для себя и великолепие других улиц, а именно Гудж-стрит и Шарлотт-стрит. Все эти итальянские бакалейные лавки с их запахами сыров, салями и винных бочонков; еврейские пекарни, источавшие тёплый коричный и маковый дух; кипрские зеленщики с горами свежих овощей, каких не отыщешь на севере — баклажаны, фенхель, артишоки, цукини, сияющие, зелёные, лиловые, солнечно-глянцевые. В потрясающей кулинарии Шмидта можно было приобрести кислую капусту из деревянной бочки, чёрный ржаной хлеб «пампернике́ль», немецкие колбасы и колбаски любого сорта и калибра, а также заказать маленькую чашечку чёрного кофе с огромным эклером. Расплачивались там по запискам, у центрального прилавка, где за кассою чрезвычайно прямо восседала дама с усиками, в чёрном платье с кружевом. В итальянской бакалее «У Беллони» высокий продавец Луиджи, тараторя с одинаковой скоростью поитальянски и на кокни, развешивал в бумажные

кульки маслины и оливки, в совсем крошечные пакетики — пряные скрученные «лепестки» мускатной шелухи, а в более основательные пакеты из вощёной бумаги, завязывая их сухой соломиной, — головки сыра моцарелла. Это была городская, притом международная стихия и как бы находившаяся вне времени. Вместе с тем это была деревня, в которой он сразу же почувствовал себя своим.

То были дни начала деятельности знаменитой кулинарши Элизабет Дэвид, которая научила целое поколение, обладавшее здоровыми зубами, но лишённое малейших начатков гурманства, понимать, что такое вид, запах и вкус настоящей еды, и эту еду готовить.

Жизнь Александра в этот период озарилась светом культуры и учтивости благодаря беспрестанным разговорам с Элинорой Пул о кулинарных книгах Дэвид и о соблазнительных рецептах, живших на их страницах. Закупал он и провизию для Элиноры; приходя домой, всё время что-то извлекал на кухне из своего портфеля, то коробочку свежеслепленных равиоли, то свёрток с мягким пармезаном, то ванильную палочку. Каждый день готовилось новое очаровательное блюдо: макрель с фенхелем, тушёные кальмарчики с

овощами и рисом, пицца из свежеподнявшегося теста. Было что-то восхитительное в этих прихотливых земных дарах посреди большого города. Как без обиняков сказал Т. С. Элиот в «Заметках к определению культуры», тот или иной народ должен не только иметь пищи в достатке, но и исповедовать свою, определённую кухню.

Первоначальные попытки тактично не питаться вместе с семьёй хозяев, не сидеть с ними подолгу за столом, дать им это *семейное уединение* он вскоре оставил. Ибо заметил, что Пулы ведут свою повседневную жизнь на редкость церемонно, даже обрядово, и понял причину: они живут во взаимной опаске.

Томас, подобно Александру, во время постановки «Астреи» в Лонг-Ройстон-Холле оказался потерзан любовной страстью. Антея Уорбертон тихо и незаметно избавилась от его ребёнка летом 1953 года. Находясь вместе с ней в Ма-Кабестань, Александр ни разу не слышал от неё сожалений или жалоб по поводу её романа с Томасом. Если уж на то пошло, она вообще ни разу не произнесла имени Пула, ни словом на него не намекнула. К тому моменту, когда Томас и Александр стали обсуждать поселение Александра в квартире в Блумсбери, отчётливой

несчастности в Томасе уже не чувствовалось. Сидя с Александром в пабе «Маленький Джон», что в Лоу-Ройстоне, Томас сказал: если б Александр счёл возможным пожить у них в Блумсбери, они были бы этому очень рады, — присутствие в квартире гостя, человека со стороны, возможно, сняло бы небольшую напряжённость, которая, как ни верти, висит между ними. Элинора «никак не может забыть про события прошлого лета». Александр не решился осведомиться, каковы нынешние чувства самого Томаса; привычка к благоприличному английскому молчанию возобладала. Приятели поговорили о взглядах Ливиса на истинную поэзию, о критериях объективной оценки в искусстве, о возможном телевизионном будущем образования, а напоследок о том, как станут скучать в Лондоне по йоркширским вересковым пустошам… Томас Пул, что ни говори, был для Александра самым близким подобием друга…

Сперва Александр думал, что церемонность обращения исходит от Элиноры. Со стороны могло показаться, будто изо дня в день она старается «умиротворить» мужа, представая славной женой и хозяйкой. Да, она говорила о своих открытиях *Александру* — о механической тёр-

ке-овощерезке в кулинарном магазине мадам Кадек на Грик-стрит, об итальянском пудинге из сливочно-творожной массы, куда добавлено чуть рома и кофе, да-да, в пыль измельчённого кофе. Но это всегда преподносилось так, словно все эти вещи придумывались, приобретались, готовились для *Томаса*. Показывая Александру сыр дольчелатте с прожилками голубой зелени, мягкий, в меру зрелый, не приобретший ещё аммиачного духа, она говорила: «Вот, Томас как раз такой любит!» Или об анчоусах, купленных из бочки с тёмным рассолом в греческом магазинчике: «Сама я не люблю анчоусы, но Томас к ним приохотился».

Эту попечительность, подумал Александр, можно расценить и как невнятный, но настойчивый укор. Подчёркнутая забота проявлялась и в том, как детей мягко, но неукоснительно удаляли из всех мест в квартире, где «папа работает» или «собирается работать». Детей у Пулов было трое: Крис восьми, Джонатан шести, Лиза трёх лет; мальчики имели квадратный лоб, белокурые волосы и прямую линию рта, в точности как у Томаса; а у девочки были бесцветные мелкие кудряшки, Александр почему-то подумал о мышке с её темновато-бледной шкуркой, но потом сообразил,

что слово «мышиный» применительно к волосам лишено каких бы то ни было живых ассоциаций. Играть на улице у детей возможности не было, и в квартире они жили так же церемонно и чинно. В школу и детский сад их отводили через сквер Рассела; а прогулки их были в парке на площади Блумсбери, где они с важным видом катались на велосипедах и собирали опавшие листья. Александр понимал в детях слишком мало, чтоб оценить, насколько редко они ссорились. Видя их поделки и художества, Александр вспомнил, что Элинора раньше работала учителем рисования. Один из их коллажей был мерцающий дракон (с вполне реалистичными телесными ноздрями из медицинского пластыря), чьё сверкающее, в блёстках и бусинах, извивистое тело занимало всю кухонную стену, и клубился над ним дым из шерстяной пряжи. Всё, что они изготавливали, от украшенного торта до пингвина из папье-маше, торжественно преподносилось Томасу для одобрения. «Посмотри, что *мы* сделали!» — говорила Элинора мужу, подчёркивая голосом это «мы» и как бы отделяя его, Томаса, в сторону. Александру — зрителю и свидетелю — та же фраза говорилась без ударения на слове «мы».

Ответы Томаса были так же церемонны. Он

благодарил Элинору за прекрасный обед, не общими, а вполне вдумчивыми и конкретными словами, показывая, что понимает, сколько труда затрачено на протирку супа, приготовление сложного соуса, нарезку и красивую выкладку салата к определённому часу. Он говорил с детьми об их картинах и поделках, предлагал им планы увлекательных вылазок — в зоопарк, в зал часов Британского музея, зал кристаллов Музея науки. Для детей жизнь была полна дива.

Однажды утром за завтраком Александр ясно осознал, что в этой квартире всё общение происходит вокруг — и даже осуществляется посредством — вещей. Он совершенно не представлял, что Элинора думает о Томасе, об Антее, о нём самом, но зато знал в точности, что думает она о картофеле, кофе и красном вине. Сам же он настолько привык облекать вещи в слова, что трудно ему было увидеть или потрогать вещь, без того чтобы в сердце своём не назвать её словом или не сравнить с другой вещью, тоже словесно.

У него, однако, было смутное чувство, что возможно представить и другое положение дел, когда это оживлённое называние и сравнение вещей не является таким уж сильным биологическим императивом, каким оно может показаться

человеку, не склонному к рефлексии. Пытаясь воплотить в слове образ художника, который и сам умел выражать мысли выпукло и отчётливо, он постиг: вещь можно увидеть прежде, чем её выскажешь, после чего и слова уже не нужны.

На завтрак были мюсли со свежими фруктами и йогуртом, кофе (свежезаваренный в эмалированной, двухэтажной, тёмно-зелёной, с золотыми ободками французской капельной кофеварке), круассаны, неподсоленное масло, домашний джем. Фрукты менялись по сезону: тёмно-бордовые вишни, золотисто-зелёные ренклоды, восковато-золотые в крошечных пятнышках груши, сливы-венгерки, чёрно-лилово-сизые. Он смотрел, как Элинора раскладывает фрукты на блюде, потом стал исподволь приглядываться к самим фруктам и йогурту. Йогурт Элинора выращивала в широкой белой чаше, накрывая муслиновым покрывальцем, украшенным по краям для веса стеклярусом. То было в дни, когда англичане не имели о йогурте понятия (и, разумеется, никому его не доставляли домой в пластиковых стерильных коробочках с яркими наклейками, заодно с молоком). Александр подумал: йогурт — это культура, которая растёт в белой чаше, имеет собственный отдельный белый цвет, представ-

ляет собой творожистую, забористо-кисловатую на вкус, лоснящуюся массу. Йогурт — живее, чем не вполне ещё умершие сливы, с их дышащей кожицей и зародышем, притаившимся внутри косточки. Стол с завтраком являл собою натюрморт, *мёртвую натуру* и одновременно *живую*, благодаря лёгкой жизни фруктов и культуры. Томас предложил Элиноре бледно-жёлтое масло; Элинора взяла кофеварку; Александр сбросил йогурта в свои мюсли, в прашные хлопья и семена. Два лимона усиливали цвет слив.

Как подобрать верное слово для цвета сливовой кожицы? (Возникал, правда, дальнейший вопрос: зачем пытаться его подобрать, почему не просто смотреть или съесть с наслаждением? Александр не стремился на этот дополнительный вопрос ответить, по крайней мере сейчас. Простой факт в том, что лимоны и сливы в совокупности создают сочетание цветов и форм, которое он воспринимает с удовольствием; удовольствие это настолько соприродно человеку, что трудно его не заметить и не попытаться понять.) Основная загвоздка — в точности обозначения, в наличии необходимых прилагательных. Достаточно ли у нас слов, синонимов, подходящих синонимов к слову «лиловый»? Каким цветовым

прилагательным обозначить сероватый, а может быть, белёсый, или серебристый, или туманисто-пепельный, или туманно-дымчатый оттенок поверх лилового глянца? Каким словом описать тёмный тон или оттенок в той тесной чернилистой бороздке, что пролегла от стебельковой ямки к овальному окончанию плода? И вот ведь какая занятная штука выходит с прилагательными, эпитетами: в прозе, равно как и в стихах, они воспринимаются обыденным сознанием как признак невнятности, приблизительности, тогда как в своём лучшем виде они как раз нечто противоположное — инструмент для тонкой и точной, филигранной работы.

Писатель, преследующий цель неприукрашенного спонтанного изображения, может сказать: слива, груша, яблоко — и путём простого *называния* этих вещей создать в мозгу каждого читателя свою, этому читателю угодную, картинку. Один увидит сливу сорта «виктория», матово-томатную, с проглядывающей желтизной, другой — круглую сливу, охристо-жёлтую, а третий — маленькую, тугую, исчерна-лиловую сливу «да́мсен». Если же автор захочет поделиться собственным представлением о более конкретной сливе, ему придётся дополнить «сливу» словами,

которые будут уточнять образ, одновременно исключая другие образы, например «матовая, исчерна-лиловая, овальной формы, с выраженной бороздкой».

Чтобы описать наружно-дымчатый оттенок этой сливы, можно использовать выражение «восковой налёт», и в сознании любого умного читателя возникнет мысль о том, что лиловый глянец сливы как бы подёрнут сверху иным тоном, мягким, матовым. Можно говорить «мясистая часть плода», и это выражение не будет метафорическим, как не были поэтической метафорой слова «налёт» или «бороздка» (так, «бороздка» есть не что иное, как указание на некоторую характерную неровность поверхности). Но наше сознание соединяет, машинально и беспрестанно, разные вещи, создавая и настоящие метафоры: мясистая часть плода начинает отождествляться с человеческой плотью, пушистая кожица — ассоциироваться со щекой спелой, созревшей девы, бороздка или ложбинка сливы (при всей простоте слов «бороздка» и «ложбинка») — с бороздками, неровностями и ложбинками человеческого тела… Ближайший оттенок, который в поисках точных слов для лиловости сливы сумел подобрать Александр, —

цвет в тёмной центральной точке свежего, расцветающего человечьего синяка. Но ведь сливу никто не может наградить синяком, и *быть* синяком она тоже не может, как не может быть и человеком. Посему Александр решил воздержаться или попробовать воздержаться, думая об этой сливе, от человеческих слов.

С другой стороны, он тихо порадовался сложному каламбуру, который столь удачно обнаружил, соположив йогуртную культуру с культурой завтрака и собственными раздумьями о рецепте культуры Элиота и рецептах Элизабет Дэвид. Вначале сам язык — а затем и он, Александр, вдумчиво, — объединил: культуру бактерий и культуру растений, человеческие культурные артефакты и законы сознания. Какой-нибудь мыслитель эпохи романтизма — сторонник теории органической метафоры, — поди, заявил бы, что каламбур из разных значений слова «культура» отражает саму суть *роста* как главного условия жизни любого отдельного существа или коллективной сущности, от бактерии до человеческого языка и общественного организма. Александр оценивал своё озарение скромнее — как удачную аналогию, что, впрочем, не так уж мало, если учесть, что аналогия — один из важнейших спо-

собов мышления, без которого оно невозможно. И всё-таки… всё-таки ему не давало покоя… как знать, не подобрался ли Винсент, красками, к жизни сливы ближе, чем он, Александр, всеми этими словесами? В живописи и метафора, и называние вещи — иные, чем в языке.

Язык может сравнить сливу с цветом ночного неба, или с горящим углем (если представить, что пламени не видно), или с заветным кошелёчком, в котором заключён самородок косточки. А может пожелать ввести абстракцию, отражение, но не зеркальное, а в виде рефлексии. Например, язык говорит, что человек «уходу должен рад быть, как приходу, — после чего добавляет: — Всему надо созреть!»[113] Красками тоже можно прибавлять смыслы. Гоген из двух груш и букетика цветов делает женский портрет[114]. Рене Магритт превращает хлеба в камни, а камни в хлеба, благодаря этому сходству случается чудо. Картина Ван Гога, изображающая жнеца в горни-

---

[113] Примечания: 113

У. Шекспир. Король Лир. Акт V, сц. 2. Слова Эдгара:

> *Опять в прискорбных мыслях? Человек*
> *Уходу должен рад быть, как приходу.*
> *Всему надо созреть!..*

[114] Примечания: 114

Натюрморт «Именины Глоанек» (упоминается в Прологе).

ле белого света, среди волнующихся хлебов, тоже говорит, на своём языке: «Всему надо созреть». Но эта разница, это расстояние между красками и словом завораживало Александра! Краски заявляют о себе как о силе, устанавливающей аналогические, своего рода метафорические связи — между лиловым пигментом на плоской поверхности холста и утверждением «Это слива», между жёлтым пигментом и фразой «Это лимон». Таким же способом краски нам говорят: «Это стул», «Это стол с завтраком». Эти метафорические связи ещё более укрепляются благодаря особенностям мазка, мастерству художника, неповторимой *печати* его сознания: «*Моя* слива, *мой* лимон, *мой* стол, *мой* стул»; укрепляются и становятся силовыми линиями художественного зрения. Невозможно *не* задуматься и о дистанции между красками и вещами, красками и жизнью, красками и действительностью (которая включает в себя и другие полотна).

А вот расстояние между словами и вещами, словами и жизнью, словами и реальностью настолько смазано, что впору и подзабыть о нём (как многие, собственно, и делают). Картина-обманка может вызывать восхищение, если она умело создаёт свой подражательный эффект. Словесное

же произведение не умеет быть такой обманкой, создавать приятное возбуждение или щекотку чувств, воздействуя реализмом поверх реализма. Язык обегает, обтекает, проницает и пропитывает вещи, и всем известные, и придуманные, с такой лёгкостью, какая краскам и не снилась. Ни один живописец ещё не написал картину «Клади яблоки себе в корзинку, бери сколько хочешь, не стесняйся». Ни один ещё человек не увидел сад в Комбре́, по которому гуляет бабушка маленького Марселя[115], парижский пансион мадам Воке, где обретается бальзаковский отец Горио, поместье Холодный дом у Диккенса или загородный особняк Фонз из последнего романа Генри Джеймса — настолько же наглядно, воочию, как Жёлтый дом Ван Гога, или юных фрейлин-менин Веласкеса, или задумчивых женщин Вермеера, омытых светом молчания и бесконечно погружённых в чтение писем. Скользя взглядом по страницам книги, мы испытываем особенное чувство: да, видим, но только в воображении, как нечто ненастоящее, невсамделишное. Даже те, кто вместе с Джейн Эр влюбился в мистера Рочестера или впал в тоску вместе с мадам Бова-

[115] Примечания: 115
М. Пруст. По направлению к Свану.

ри, при всём желании не могут вообразить этих фантомов с такой же яркостью, с какою видят — в отдельности — навсегда поселившиеся в душе живописные образы — Саскии или Берты Моризо с полотен Рембрандта и Мане. Мы отдаём себе полный отчёт в том, что литературные герои состоят из слов, точно так же как подсолнухи — из пигментов, но слова — наша общая валюта. Слова даны всем. Всякому ли удастся написать яблоко — большой вопрос. Между тем высказать мнение о том, почему Элиноре нравился живой йогурт, или почему молодой Пруст был неврастеником, сможет любой. Ведь слова менее подлинны и более непосредственны.

Мы чётко понимаем, что краски — это не тугая мякоть сливы. А вот то, что наш язык не совпадает с миром, не подражает ему простыми способами, для нас не столь очевидно. Когда живописцы с имитации яблок переключились на исследование природы самого зрения, красок и холста, наступил культурный шок. Однако *тошнота*, которую почувствовал Жан Поль Сартр, обнаружив, что не может посредством языка описать корень каштана, — шок иного рода. (Следует заметить, что, хотя он и не сумел логически объяснить существование корня или охарактеризовать

его с помощью существительных и терминов цвета, он, по крайней мере, изобразил его метафорически: человек, воспринимающий мир как бессвязность, всё же привязал корень к миру — образами тюленьей кожи и змеиности.)

В его собственной пьесе термины цвета тоже ему пока неподвластны!

И над ранними «Едоками картофеля», и над полотнами Жёлтого дома в Арле витает мысль о доме, но если первый дом — пристанище семейной старины, то второй — воплощение надежды и утопии. Страшась консервативного семейного уклада, живописец Ван Гог бежал от него — и в то же время идеализировал домашний порядок, жаждал этого церемониала. «Едоки» написаны в черноватом северном колорите, «написаны как будто землёй, в которую сами бросают семя»[116]. Крестьяне сидят за столом в тёмной лачуге, не встречаются друг с другом глазами, но крепко связаны между собой; преломляют хлеб, наливают ячменный кофе, поглощены простой, единой жизнью. У полотна есть нравственная идея, это настоящая проповедь в красках о простых

[116] Примечания: 116

Байетт использует выражение критика А. Сансье о крестьянах на картинах Ж. Ф. Милле, приведённое Ван Гогом в письме брату Тео от 4–5 мая 1885 г.

потребностях человеческой жизни. Александр, чрезвычайно уважая эту картину, тем не менее пленился другой, небольшой работой арльского периода. На ней стол, накрытый для завтрака, с утварью, приобретённой Винсентом для дома художников юга. Чистое, яркое письмо. Парадокс живой неподвижности вещей, соединённых дружеским контрастом синего и жёлтого цветов. Винсент рассказывает брату:

> Синий обливной кофейник, чашка (слева) ярко-синяя с золотым ободком, молочный кувшин в бледную сине-белую клетку, чашка (справа) белая с синим и оранжевым рельефом, на глиняном жёлто-сером блюде, синий кувшин с красными, зелёными и коричневыми узорами — не то майолика, не то накладной рельеф, ну и, наконец, пара апельсинов и три лимона; стол покрыт голубой скатертью, фон зеленовато-жёлтый; итого шесть разных синих цветов и четыре-пять жёлтых и оранжевых[117].

[117] Примечания: 117

Письмо Тео Ван Гогу, Арль, ок. 20 мая 1888 г. Название работы: «Натюрморт: синий обливной кофейник, глиняная утварь и фрукты» (1888).

В голове Александра эти цветовые прилагательные пели, складываясь почти в стих, который, впрочем, ему было не сочинить ни в пьесе, ни пьесы помимо.

Порой он работал дома, то редактируя радиосценарии Би-би-си, то продолжая свою борьбу с терминами цвета. В такие дни существование прочих обитателей квартиры как бы подёргивалось для него сумраком, и это впечатление ещё более усиливалось благодаря расположению комнат. Его дальняя опочивальня — где подсолнухи горели в миниатюре и бледно стоял, исчезая под весом своего кобальтового неба, Жёлтый арльский дом — была хорошо освещена, тогда как основной коридор, без окон, всегда бывал тёмен (хотя надобно заметить — эстетичной, прохладной темнотой). В беспокойные минуты, моргая от света, он выходил в коридор, и весь этот длинный узкий прямоугольник казался ему чуть ли не завеянным густой дымкой. В один из этих выходов он услышал незнакомый для него голос Элиноры, оживлённо и твёрдо говорившей по телефону, вероятно, с какой-то из Томасовых студенток или исследовательниц (предположил Александр): нет, увы, передать ничего не могу, лучше Томасу вы вообще домой не звоните, ведь

для этого есть номер рабочего телефона и секретарша, чья работа как раз принимать такие звонки, спасибо, всего хорошего.

А однажды, в ранний пополуденный час, выйдя, он увидел, неясно и бледно, в другом конце коридора, но идущую сюда — обнажённую женщину с тёмными ниспадающими локонами; медленно и поочерёдно миновала она все открытые двери, бросавшие на неё каждая свой столб света, отчего круги и треугольные плоскости её тела то причудливо озарялись, то прятались до времени в сумрак. Это было полное и уверенное тело, легко державшее равновесие на изящных ступнях, с большой грудью, широкое в бёдрах, но узкое, как будто перехваченное, в местах соединений — талии, щиколотках и запястьях. Самое бледное были груди, высокие, с большими тёмными овалами сосков. Поскольку мозг Александра был совершенно захвачен движением светотени, то и глаз его схватывал прежде всего прелестное, повторное, при выходе из тени, возникновение кругов и овалов, мерцающий лучик на плече, пятно света на поднятом круглом колене, тёмную впадину на внутренней стороне бедра. Эти яркие круги и овалы становились всё ближе, то и дело подвижно меняя границы со своими же

причудливыми цветными тенями, подтенками, которыми были — тёмно-лиловое перевёрнутое «Т» между грудями, живые арабески ключиц, исчерна-коричневая, бархатная, треугольная ямка в углублении шеи да плоский треугольник тёмных волос между бёдер, чуть сужавшийся от шагов. Он смотрел, как подымается и вновь наступает босая нога, как вздувается икроножная мышца, как большая ягодичная напрягается сбоку, как качаются яркие локоны. И что это Элинора, разглядел он, право слово, лишь когда коридор оказался ею пройден больше чем наполовину.

Не дойдя до него, она остановилась, довольно близко:

— Извини, пожалуйста. Я была в ванной. Шампунь позабыла, вот за ним и отправилась.

Она стояла и улыбалась. Сколько ж в ней всего, какое исключительное разнообразие, а ведь совершенно нельзя было этого предположить, наблюдая её изо дня в день на кухне, упрятанную в кухонный фартук, с волосами, не распущенными по плечам, а собранными в пучок на голове. Но что-то горькое, пожалуй, в этой улыбке. Она двинулась, почти вплотную, мимо него, в сторону ванной, левой грудью легонько задевая его локоть. И он молча повёл вслед ладонью, притро-

нулся к этой груди. Она тихо вздохнула и снова остановилась.

— Ты была как видение, — сказал Александр. — Проходя через полосы света от дверей.

И тогда она сделала шаг назад, и, его обогнув, вступила в его комнату, и встала за порогом, посреди разложенных на полу бумаг, в жёлтом свете от занавесок и картинок. И он тоже шагнул внутрь, и затворил дверь, и стал трогать зачарованно пальцами эти — ровно теперь освещённые — поверхности, округлости, плавные переходы связок, мышц, нежёсткие выступы костей. В голове мелькнули быстрые, не закончившиеся ничем мысли о друге, Томасе Пуле, о церемонности в этой семье, о своём, в общем-то невеликом, интересе к половому сношению, об отваге, которая ей нужна, чтоб стоять вот так, чинно и благородно, в полный нагой рост. Учтивость почти требовала от него взять предложенное. Если не взять, то вообще — как потом встречаться с нею каждый день, как вообще жить дальше в этой квартире? Но если принять её дар — что же будет потом?

— Ты… уверена?

Она рот его накрыла ладонью. Он разделся. Они легли под его жёлтое покрывало, чёрная голова Элиноры отрисовалась рядом с геомет-

рическими цветами. Бережно, очень медленно стал он потрагивать и поглаживать поверхности её тела, которые переменчиво светились, пошевеливались под покрывалом, и она тоже бережно, медленно стала прикасаться к нему — и это всё молча, почти лениво, почти рассеянно. Так что когда Александр в неё вошёл, то как будто лишь затем, чтоб всё сделалось ещё ближе, удобнее, целостнее, чтоб последний отросток плоти обрёл последнее, нежное, заповедное пристанище. Впервые в жизни в постели Александр прямо-таки почувствовал, как преодолевается его биологическая неполнота, как двое обретают то, чего им недоставало (кому некоторой части, кому места для этой части), как двое, становясь единым существом, движутся заедино. Он был склонен больше, чем многие другие люди, считать половой акт чем-то нелепым: тебе полагается несуразно подпрыгивать ягодицами, под писк склизко трущейся плоти или стоны воздуха, как из-под поршня… но с этой беззвучной женщиной — лишь мирное, мерное, гибко-согласное хождение с нею, в ней, потом в ней сжало как в мягких тисках, вся она тихонько сотряслась, содрогнулась, снова, снова и снова, и всё это молча, с улыбкой, лишь испаринка у пушистого виска…

она будто бы даже и не взволнована. Александр увидел, почувствовал, как всё словно омылось золотом, и в конце один раз тихо вскрикнул, нарушив тишину. А она — еле-еле слышно — стала всхлипывать. Он подумал, одновременно, две вещи: вот для чего я, стало быть, предназначен, и более отстранённо — но это не то, чего я хочу…

— Ты расстроилась?

— Нет-нет.

— А плачешь.

— Мне хорошо. Очень хорошо. Побудь так ещё немного.

Он лежал чуть скованно, её тёмная голова была в изгибе его локтя, а другая его рука легонько приткнулась к складочке бедра; какое-то время они дремали. Потом она сказала:

— Спасибо, ну я пойду. — Спустила ноги с кровати и удалилась из комнаты, в сторону ванной.

Он чувствовал себя покойно и счастливо. Оглядел комнату, бумаги, картины на стенах и подумал про Винсента Ван Гога, который сообщил брату:

> Порою — так льнут к безмолвным утёсам безнадёжные волны — я чувствую неистовое желание обнять какую-нибудь

женщину, типа домашней наседки, но, право же, не стоит искать здесь жизненного устремления, всему виной — чрезмерное возбуждение нервов[118].

Свою спальню Винсент написал всеми красками: «…стены бледно-фиолетовые, пол истёрто-тускло-красноватый, стулья и постель жёлтого хрома, подушки и покрывало очень бледные лимонно-зелёные, одеяло кроваво-красное, туалетный столик оранжевый, умывальный кувшин синий, окно зелёное. Видите ли, мне хотелось выразить всеми этими, очень разными тонами *полное отдохновение*…»[119]

Каковы б ни были намерения создателя этой картины, мало кто считает её воплощением покоя. Винсент несомненно пытался вместить в маленькое пространство *всё* — все, какие ни на есть, цвета спектра и уравновесить их так, чтобы в клетку этого образа отдыха или сна поймался сам незримый белый цвет, возникающий на пересечении этих цветов. И — раз *явного* белого тона

---

[118] Примечания: 118
Письмо Тео Ван Гогу, Арль, 28 апреля 1888 г.

[119] Примечания: 119
Письмо Полю Гогену, Арль, 17 октября 1888 г.

в картине нет, писал Винсент брату, у неё должна быть белая рама. В том же письме говорит он, что основательные очертания мебели также должны выражать ненарушимый покой[120]. Однако в действительности, из-за намеренных искажений перспективы, подумалось Александру, и стены и потолок, да и картины на стенах, кажется, угрюмо нахмурились, вот-вот рухнут. На кровати — две подушки, в комнате — два жёлтых соломенных стула, словно совместное обитание здесь желательно или возможно. Лёжа на собственной смятой постели посреди бела дня, нагой (вежливо ожидая, пока ванная освободится), — Александр оглядывал всю свою просторную комнату, всем длинным одиночным телом вытягивался в единоличном пространстве…

Задумался Александр и об огорчении Винсента (пусть и тщательно скрываемом) по поводу женитьбы Тео, рождения племянника. Винсент чувствовал или считал, что чувствует, будто выделение семени при половом акте ослабляет силу живописца. (Даже не беспокоясь о разумных доводах, Александр считал себя заведомо выше

---

[120] Примечания: 120

«Рама — поскольку белого в картине нет — будет белой». «Незыблемый покой должна выражать и квадратность меблировки» (письмо Тео Ван Гогу, Арль, 16 октября 1888 г.).

этаких наивно-упрощённых представлений.) Однако ощущение собственной отчуждённости от людей тревожило его не на шутку:

> Ах, мне всё больше и больше кажется, что корнем всего являются *люди*, и хотя мысль о том, что сам ты находишься вне реальной жизни, неизбывно грустна, в том смысле, что гораздо лучше бы работать не красками и гипсом, а самой плотью, производить не картины и дела, а детей, — всё-таки чувствуешь себя более живым, когда подумаешь, что у тебя есть друзья среди тех, кто тоже не погружён в реальную жизнь…[121]

Поначалу, в следующие несколько дней, казалось, что решено продолжать жить так, как будто ничего и не случилось. За ужином, с некоторой насторожённостью, он поговорил с Томасом о преподавании и сделал комплимент — пожалуй, несколько более сдержанно, чем раньше, — Элиноре по поводу яиц по-флорентийски. Ближе к десятидневному сроку он стал замечать, что в домашних обрядах произошло некое изменение.

---

[121] Примечания: 121
Письмо Тео Ван Гогу, Арль, ок. 11 апреля 1888 г.

Элинора почти перестала делать или говорить, что делает, разные вещи ради того, чтоб угодить Томасу. Зато начала более прямо спрашивать Александра — без прежнего нервного беспокойства — о его вкусах и кулинарных предпочтениях. Пул начал улыбаться в семейном кругу. Он мог сказать Элиноре, например: «Не зря ты меня, жёнушка, попрекала моим слишком пасторским, заботливым отношением к студентам», — и это было непривычно, потому что с приезда Александра таких личных слов, с такой домашней интонацией не произносилось. Александр зачастил по вечерам в славную таверну «Фитцрой», находившуюся неподалёку, там всегда можно было выпить пива с поэтами; домой он возвращался с больной головой. Однажды ближе к ночи, совершив пищевую вылазку на кухню, он вновь обнаружил Элинору у себя в комнате сидящей на кровати, как и давеча, нагую.

— Милая, мне кажется… разве это можно?..

— Да, почему нет?

— Мне здесь очень хорошо живётся. Я не хочу ничего портить.

— Ты ничего… ничего не испортишь. Всё только лучше благодаря тебе.

— Что же именно?

— Ну, мало ли… — ответила она как-то уклончиво.

Они снова соединились под жёлтым покрывалом. Как тогда — неспешно, легко, гармонично, беззвучно, при полном удовольствии.

— Я даже бы не догадался, что ты такая красивая без одежды.

— Ты *правда* это подумал?

— А то как же. Я и сейчас постоянно… думаю. Ты — красивая!

— Я тебе должна рассказать. Я… не могла… притронуться к Томасу… после истории с той девушкой прошлым летом. Не потому, что он плохо поступил… а потому, что начала себя чувствовать старой… уродливой… ненужной.

— Ну зачем ты…

— Я знала, что тебе этот разговор не понравится. Но зато… я себя теперь старой не чувствую! Вот и всё.

— Что ж, я рад.

— Я тебя использовала.

— Все мы используем друг друга.

— Первый раз я тебя использовала, да. А сегодня снова пришла… потому что…

— Почему?

— Первый раз было так чудесно, что мне ужас-

но захотелось ещё.

— Вот оно что… — сказал Александр. — А теперь?

— А теперь… не хочу ничего загадывать… можно я к тебе буду приходить время от времени?

— Конечно, — сказал Александр. — Разумеется.

В следующие несколько месяцев жизнь доставляла Александру всё более сильное удовольствие, становясь, однако, всё менее осязаемой. После он вспоминал это время в чистых красках, основных цветах спектра, которые, однако же, представали чуть размытыми, приглушёнными, как если бы на предметы наброшена была тончайшая белая вуаль. (Работа тоже была приятственной и малоосязаемой, виделась же она потом в однообразных вспомогательных тонах, оливковом да сером, и тоже через частично просвечивающую среду — сигаретный дым, двери матового стекла, экран из плексигласа, на стенку аквариума похожий, между студией и клетушкой с микрофоном.) Его всё больше заставляли почувствовать себя «почти членом семьи». После ужина, отправляясь спать, дети целовали его в щёку, как третьего родителя, говорили «спокойной ночи»; а взрослые обращались к нему за советом, втягивали в разговоры и решения, которые, строго говоря,

к нему касательства не имели: в какую школу лучше отдать ребёнка, какой новый пол сделать на кухне, кого лучше пригласить на званый обед, а кого не надо. Вместе с тем он, как никогда более ясно, сознавал, что не является частью этой семьи, а лишь наблюдает, пристально заглядывает внутрь чужой жизни, не имея ни цели что-то взять, ни враждебных намерений, а они живут перед ним словно наружу, напоказ, и все их жесты тщательно отделаны, как в салонной комедии или в салонной игре, увиденной в чёрно-белом цвете, в дымкою подёрнутом выпуклом экране телевизора. (Телевизора в квартире как раз не держали. В те дни ребёнок, хоть мальчик, хоть девочка, спокойно мог не ведать, кто такой Бэтман или Мул по прозвищу Кексик[122], и не чувствовать себя изгоем или обделённым жизнью существом.)

Комната Александра также сделалась некой частью общего дома. Однажды хозяйка принесла и поставила вазу с тигровыми лилиями; несколько раз она заходила к нему в гости с чашечками кофе на подносе. Кроме того, он слышал — чего прежде не водилось, — как Томас и Элинора

[122] Примечания: 122

Кексик (тж. Маффин) — первая «звезда» телевидения Би-би-си, кукла-марионетка, герой популярной детской передачи с 1946 по 1952 г.

оживлённо переговариваются у себя в комнате, из-за прикрытой двери льётся неразборчивым потоком болтовня и смех…

Его стали приглашать в комнаты детей. Этих комнат было три, две весёлые спаленки и большая детская, расположенная примерно в середине коридора. Его звали посмотреть всякие поделки, или послушать их чтение, или самому для них почитать вслух. И дальнейшее воспоминание о ярких красках в первую очередь связано было, конечно, с этой комнатой для игр, хотя, вообще-то, очарование яркой свежести имела вся квартира с её новыми, невыцветшими вещами, подушками, стульями, новой светлой краской стен. В детской были шторы, плотно прилегавшие к стёклам, и внутренние белые занавески из толстого хлопка, мягко присборенные, украшенные цветочным набивным узором: маленькие, но вполне узнаваемые, на стебельках, с листиками, и такие английские — алые маки, синие васильки, златоцветы с тёмной серединкой. В этой комнате находились многие изделия детского творчества: рыцарь в доспехах и вязаной кольчуге из серебристого шпагата, в шлеме из фольги, с киноварным плюмажем; павлин из расшитого шёлка, на проволочном каркасе, с

переливчатым сверкающим хвостом в бисере и блёстках; в огромной круглой жестяной банке — большущий букет искусственных цветов: разноцветные бутоны из китайской шёлковой бумаги, белые, кремовые, лимонные, жёлтые, как сливочное масло, мандариновые, золотисто-коричневые, ярко-оранжевые — на зелёных стеблях (из палочек для подвязки цветов). У каждого из детей был собственный мольберт. Эти три мольберта стояли треугольником в центре комнаты; рядом, на столике, — целая коллекция ярких пластмассовых ступок для смешивания порошковых красок и, на красном жестяном подносе, коробки с наборами акварели и гуаши. Дети делали свою собственную азбуку в картинках, которые развешивались по стенам комнаты в виде бордюра. Картинки Лизы самые простые: *Я — яйцо* (золотистая клякса в белом овале, наклеенном на лиловый лист), *О — оливка* (круглая буковка, почему-то жгуче-красная, внутри зелёного овала на зелёном же, но более тёмном фоне), *Р — рыбка* (сплошное оранжево-золотое пятно, видимо навеянное золотой рыбкой из аквариума, висящее в яркой синеве). Старший мальчик, Крис, одержимый рыцарскими доспехами и оружием, изобразил *Ш — шлем* (серебристые формы

на алом), *М — меч* (рыцарь с мечом), а также *Д — дракон* и *З — змей* (и тот и другой — на жёлтом фоне — нечто извилистое, разных оттенков зелёного, красная пасть, белые зубы, но лучше всего удалась проработанная пером чешуя, чешуйки так и растут одна из-под другой). А Джонатан, средний, самый спокойный из детей, взял серые и коричневые буквы, связав с ними животных: *У — утконос, Б — буйвол, В — воробей*, — причём исполнил всё это более мягко, пастельными мелками по охристо-жёлтому или бежевому бумажному фону. Все предметы в комнате, включая растения в ящичке, были подписаны — чёрными чернилами, аккуратным крупным почерком Элиноры, на особых бирках, пришпиленных чертёжными кнопками, — и таким образом имели свои имена: *зеркало, кукольный буфет, Лизин аквариум, горчица и кресс-салат, мольберт Криса, мольберт Джонатана, мольберт Лизы.*

Александр полюбил сидеть в комнате для игр ранними вечерами, читать вслух стихи. Слушатели — отличные! — располагались рядком на больших подушках — с ними сидела и мать, — четыре мечтательных, серьёзных физиономии среди буковок, в ярком пространстве. Он декламировал «Как привезли добрую весть из Гента

в Ахен» и «Флейтиста из Гаммельна» Роберта Браунинга, «Бармаглота» Льюиса Кэрролла, «Происшествие в Уэльсе» Роберта Грейвза, а ещё — какие-то старинные детские шуточные баллады и стихотворные загадки. У него было чувство, что здоровость атмосферы детской — и колдовское, с сумасшедшинкой обаяние этих строф, порою абсурдных, но невероятно энергичных, полных звукописи, — взаимно дополняют друг друга, как дополняют и подкрепляют друг друга такие свойства самодельного дракона, как ужасность и домашность… Однажды они поедали свежевыпеченные ячменные лепёшки с желе из красной смородины; у Криса на мольберте — начатая картинка: красками, с натуры, зелёно-белый хлорофитум-паучник (Элинора не хотела, чтоб за фантазиями забывался реализм). И Александр вдруг подумал: в этой комнате можно подлинно ощутить, как шевелится, рождается то, что сейчас владеет его душой безраздельно, — образы. Рыбку колюшку можно заставить атаковать воображаемого соперника, красноголового и синеватого в брачный период, если быстро провести в воде полоской металла с носиком, окрашенным в красное. А что же чудесная золотая рыбка в Лизином аквариуме — с выкаченными глазами,

поджатыми круглыми губками, дырочками ноздрей, с чешуёй, плавниками и хвостом, с тёмным, тоненьким червячком экскрементов? Эта рыбка, тоже самец, как и все рыбы, не умеет вертеть головой, но может, вращая глазами по горизонтали и вертикали, разглядеть блеск золота другой рыбки, зелень водорослей, круги от корма, побежавшие по плоской поверхности мира. Другая рыбка может его увидеть в целом — как лихого и грозного золотого соперника, либо как половой соблазн, пред которым не устоять, либо просто как — поперёк подводного течения — другой рот. Но зато *нам* видно в подробностях, как устроен аквариумный обитатель, до чего изящно и тонко; нам к тому же необходимо — почему?.. — понять охват и силу рыбьего зрения. Необходимо запечатлеть рыбку красками. *Р — рыбка*. Запечатлеть в слове… Александр стал думать о стилизованных цветах своего провансальского покрывала и стилизованных цветах на этих английских занавесках, о бутонах из шёлковой бумаги, о том, как Крису не даются лёгкие надломы ниспадающих зелёно-белых листьев, о подсолнухах в своей комнате. *Ц — цветок*. Для чего мы создаём все эти образы — чтобы лучше понять мир или чтобы его украсить? А может, затем, чтоб себя с миром

связать? Цветы на занавесках в детской уверенно сообщают о себе, что они цветы английского лета; тогда как цветы на покрывале — геометричны, и цветами-то узнаются лишь потому, что цветы в принципе имеют геометрическую конструкцию. Подсолнухи на картине — точное свидетельство тех пятнадцати солнечных головок, что увядали в 1888 году, заточённые в своей жёлтой вазе, и слово-имя при них было *Винсент*; и Гоген ещё сказал про них: «подсолнух на подсолнухе»…[123]

Александр огласил старинную загадку:

> *В мраморных палатах молока белей,*
>
> *Выстланных шелками всех шелков нежней,*
>
> *В горнице с хрустальной дивною водицей*
>
> *Золотое тайное яблоко хранится.*
>
> *Ни дверей, ни окон в крепких тех палатах,*
>
> *Но заветный способ есть похитить злато.*

Я — яйцо. Ц — цветок. З — змей.

---

[123] Примечания: 123
Avant et Après, p. 18.

С некоторых пор он стал замечать, что Элинора представляется ему сложенной как бы из разных ролей, причём каждая означена особой биркой — «женщина» у него в спальне, «их мать» в детской, «Элинора» (часть парного явления «Томас и Элинора») на кухне, за едой. Постельную утеху ему давали так же, как пищу, свет и цвет. Порою ему — странное дело — чудилось: что если все эти охранительные поверхности, например крепкая скорлупа яйца из загадки или шёлковый шарик-кокон без входа и выхода, где развиваются эмбриончики паука, и впрямь непроницаемы? Впрочем, это могло зависеть от способа и решимости. Он ведь мог притрагиваться, даже мог, с дозволенного расстояния и в дозволенном месте, проникать внутрь (хотя однажды, когда совокуплялся с этой женщиной, у него возникла совершенно достоверная иллюзия, что его половой член, длинный и стройный, как он сам, — это просто псевдоподий, который, развлекая бледные упругие поверхности, оболочки, проникает дальше, глубже в расщелину, но достигает, утомлённый, преграды, утыкается в новое маленькое отверстие, шейки…). Так вот, важно было то, что внутри — там ведь тоже поверхности — образовывался из поверхностей свой особенный

закуток, «выстланный шелками». Шёлковость этого закутка, нестрогая и вместе отзывчивая его форма — как раз больше всего и услаждала Александра в этой женщине.

Думал обо всём этом он как-то коротко и бессвязно, о шёлковости и о более приземлённом вопросе контрацепции (который отбросил: она знает, что делает). Его длинный вырост, длинный кончик, ласкал закуток заветным способом. Этот вырост жил своей жизнью, имел свою цель. Временами Александр воспринимал его как отдельное существо. Расхожая шутка про одноглазого змея, который обитает в брюках, — конечно, не дотягивает до настоящей поэзии. Одноглазым, вернее, одним глазом («глаз зрячий средь слепых») Вордсворт назвал маленького ребёнка. Что ж, можно продолжить линию, начатую в детской, в загадке про яйцо, и сказать, что одноглазый змей пробрался в прочные палаты без дверей и окон. Или сказать, что одна гамета искала другую, генотип искал генотип, чтоб явились зигота и фенотип. Или спросить — как готов был себя спросить Александр прозорливо, чуть ли не в миг, когда расцветал его сладострастья цветок, — для чего человек предназначен, и чего же он всё-таки хочет?..

15
Вейннобел

По воле случая, представленного званым обедом на Би-би-си, вангоговский синий обливной кофейник явился Александру в новом, любопытном свете. «По воле случая», говорю я. Однако мы знаем, что в жизни бывают моменты, когда наша поглощённость какой-нибудь человеческой задачей отвлечённого, а то и обычного практического свойства словно нечаянно подстраивает нам целый ряд «счастливых» встреч с нужными людьми, книгами, идеями. Феномен этот, возможно, чем-то сродни возникновению концентрических царапинок на поверхности зеркала, отразившего огонь свечи, тогда как без огня, метафорически означающего у Джордж Элиот участный, субъективный взор[124], царапинки невидимы и хаотичны; вот так же, в виде узора, завихриваются на автопортрете Ван Гога мазки вокруг его глаз, пытливо всматривающихся в себя. Впрочем, воспринимаются нами подобные вещи почему-

[124] Примечания: 124
Роман «Миддлмарч», книга III, гл. XXVII.

то как противоположность субъективизма, как озарение, редкостная возможность проникнуть в истинное устройство мира, где всякая малость должна постигаться в составе целого. Мы чувствуем, как волшебным образом утверждается примат сознания над материей: рассеянно и будто нехотя бродим мы между стеллажей библиотеки — и вдруг замечаем, что корешки книг, посредством непонятного телекинеза, выстроились если не под стать нашей мысли, то под стать маршруту. В подобном умонастроении, наугад просматривая томики на полке или их названия в каталоге, мы обязательно обнаружим — к собственному изумлению — важную книжицу, о существовании которой не подозревали, незнакомый нам доселе свод фактов или даже чьи-то размышления — и всё это полностью созвучно нашей задаче! Такого рода откровение постигло Александра в результате случайных, казалось бы, реплик профессора Ве́йннобела, в честь которого и был устроен обед.

Сама беседа с Вейннобелом, конечно, случайной не была. На Би-би-си профессора пригласили сразу в двух качествах — как автора цикла радиопередач на весьма узкую и вместе с тем широчайшую тему: «Свет в западной живописи»,

а также — как только что назначенного проректора нового Северо-Йоркширского университета. Университет вот-вот откроется в Лонг-Ройстон-Холле, на террасе которого состоялась премьера «Астреи» Александра. Александр ознакомился с подробным проспектом передач, но не взял на себя смелость как-то их перекраивать. Леонардо, Рафаэль и платоновское понимание математики и истины. Ян Вермеер, развитие оптики в XVII веке, камера-обскура, телескоп и микроскоп. Отдельный выпуск посвящён великим постимпрессионистам и их световым эффектам, и здесь, конечно, один из главных героев — Ван Гог. Начальство сочло, что Александр лучше всех сумеет обсудить с профессором и его разносторонние исследования, и новое назначение.

Вейннобел — голландец, один из представителей тех европейских интеллектуалов, которые во время войны перебрались на Британские острова, да так и остались: стали публиковать работы и читать лекции на английском. Эти эмигранты (Вейннобел выделялся среди всех них тем, что приехал не из Центральной Европы и не еврей) были, скорее всего, последними из настоящих эрудитов. Как стало ясно потом, они были и последним поколением, которое сходи-

лось во мнении относительно того, что такое человеческая культура и что обязательно знать, сохранять, передавать потомкам. Вейннобел занимался и филологией, и математикой; изучал — ни много ни мало — феномен человеческого познания, искал некий способ описать его с единых позиций. Исследования его простирались от природы света и устройства человеческого зрения до тонкостей метафизики и представлений о реальности. Выступления профессора были наполнены прелестными яркими мелочами, которые Александр, будучи уже почти знатоком тонкого искусства передачи видимого и осязаемого при помощи странноватого, бестелесного языка радиоволн, высоко оценил. Так, ему весьма запомнилось описание крошечных бусинок белой краски на крутых тёмно-коричневых боках лодок на картине Вермеера «Вид Делфта».

Александр никогда не видел профессора, только слышал в динамиках его голос — тонкий и ясный. Вейннобел говорил с идеальным английским произношением, чётко артикулируя согласные и слегка протягивая гласные. Поэтому Александр представлял его себе невысоким, субтильным — и крайне удивился, оказавшись лицом к лицу с колоссом под два метра ростом. У профессора

было длинное лицо с квадратной челюстью в обрамлении чёрных, квадратно подстриженных волос, а также пышные, но не вызывающе пышные, усы. Глубоко посаженные тёмные глаза смотрели из-под косматых бровей. Волевые складки пролегли от носа к уголкам губ и по обеим сторонам щёк. Одет он был в тёмный костюм. Обстановка на обеде, в духе всей Би-би-си, являла собой смесь культурности и аскетизма. Для обеда приспособили зал заседаний, в котором почти не было мебели. Через пыльные окна сочился серый уличный свет. Стулья с потрёпанной обивкой, грубовато-прямоугольный стол, а на нём — белые напероны, хрустальная посуда, серебряные приборы, вазы с цветами, — всё это походило на гастрономический мираж, какой возникает в пустыне перед святым или заплутавшимися странниками. Среди других приглашённых были настоятель собора Святого Павла, глава одного из оксфордских колледжей (участник передачи «Мозговой трест»[125]) и романистка, которая много времени проводила за границей, по линии Британского совета читая там лекции о

[125] Примечания: 125

The Brains Trust — популярная в Великобритании в 1940–1950-е гг. радио— и телепередача, в которой эксперты отвечали на присылаемые в студию вопросы.

современной художественной литературе Соединённого Королевства. Её звали Джулиана Белпер, лицо её было длинным, изящным, задумчивым (вызывая ассоциацию с самой известной представительницей группы Блумсбери, Вирджинией Вулф), волосы собраны в пучок. На Джулиане был чёрный, сшитый на заказ костюм и розовая шёлковая блузка. Ели крабовый паштет, стейки из вырезки и грушевый десерт «Бель Элен». Французское бордо и английский сыр стилтон с голубой плесенью были превосходны. Мясо жевалось с трудом. Блюда подавали официантки в накрахмаленных белых фартуках поверх чёрных платьев из шерстяного репса и в белых шапочках. Все, за исключением Вейннобела с его утрированно чётким произношением, имели выговор образованно-небрежный; в каждом звуке и слове сквозила одна и та же склонность к самоиронии, одна и та же негласная вера в нравственные нормы поведения, общепризнанные и диктуемые хорошим вкусом. Обо всём на свете у них было самое правильное понятие — об образовании, искусстве, стиле жизни. Когда Вейннобел принялся объяснять свою новую концепцию университетского образования, выражение его лица, вся его осанка сделались напряжённо-решитель-

ными, в голосе, ставившем цели, прорезалась скрипуче-командная нотка, так что у Александра мелькнула мысль: не доводилось ли профессору служить управителем какой-нибудь заморской колонии Нидерландов? Вейннобел высказался против ранней специализации в английских университетах. Ведь знания взаимосвязаны, а не рассованы по отдельным запечатанным коробочкам. Его студенты будут изучать естественные науки и математику, а также несколько языков. В его университете найдётся место и прикладным областям знания — архитектуре, инженерному делу, радио— и телевещанию, но также киноискусству и живописи. На всех уровнях обучения — междисциплинарные связи. Вейннобел держал себя учтиво, несколько отстранённо. Он уже объяснял всё это, и не один раз.

В последующее десятилетие общество переживёт ожесточённые схватки в Северо-Йоркширском и других университетах, насмешки и сарказм в адрес Би-би-си и предложенного её первым генеральным директором Джоном Рейтом лозунга «Просвещать, информировать, развлекать», образование изменится до неузнаваемости, и Александр станет вспоминать уверенное единство мнений на том приёме — с изумлением, а

сероватую *одинакость*, тогда его смутно раздражавшую, — с ностальгией. Памятен ему будет также и единственный вспыхнувший в тот день раздор: не кто иной, как сам Вейннобел, позволил себе резкость по отношению к Джулиане Белпер. «Образованный человек должен знать общую и специальную теории относительности», — убеждённо говорил профессор. Джулиана — слушая его доклад вполуха — выщепила лишь одно это, видимо знакомое и приятное ей, слово.

— Да, да, именно относительность! — подхватила она воодушевлённо. — В науке и искусстве произошли огромные изменения, всё теперь *относительно*. Мы утратили чувство уверенности в чём бы то ни было, утратили незыблемые ценности, мир видится нам текучим, беспорядочным, хаотичным. Поэтому и создаваемые нами формы искусства *обязаны* отражать бессвязный и субъективный характер нашего мировосприятия…

«Уж не свою ли цитирует лекцию?» — подумал Александр.

Вейннобел расправил плечи и, вперив взгляд в стоявший перед ним ряд бутылок, произнёс строго:

— Такого рода глупых замечаний я не потерплю. Столкнуться с такими абсурдными упрощениями

я не ожидал. Всё относительно, говорите вы. Но простите — относительно *чего*? Без точки отсчёта — относительности не может быть! Мы не обладаем абсолютным знанием, это верно. Наши наблюдения от многого зависят: от физиологии человеческого восприятия, от умения мастеров, которые изготовляют наблюдательный прибор, а также от свойств материала, из которого прибор сделан, ведь в каждой местности материал имеет особый химический состав. Но вам ведь должно быть ясно: не было бы никакой теории относительности без фундаментальной, незыблемой идеи существования скорости света, которая в рамках данной теории — константа. Мы не можем мыслить о случайности событий или хаотичности условий, не имея предшествующего представления об общей упорядоченности — чисел, форм, законов мироздания.

— Но наш человеческий *опыт*, — возразила Джулиана Белпер, — и вправду хаотичен. — Числа её явно не интересовали. Она продолжала: — Мы не понимаем своей собственной природы. Фрейд показал, что мы не знаем, что происходит в нашем бессознательном. Наши впечатления случайны… — Глаза её взволнованно сияли из-под выбившегося облачка волос.

— Зигмунд Фрейд, — сказал Вейннобел, — как и Иоганн Кеплер, был учёным и верил в истину. Кеплер обнаружил: планеты перемещаются с кажущейся нерегулярностью оттого, что так их видит хрусталик нашего глаза. Но это же не значит, что мы не можем изучать планеты, — просто надо исследовать заодно и строение глаза. Фрейд полагал, что законы человеческого поведения существуют как некая истина, которую можно наблюдать и раскрыть. Результаты его исследований проверить не так просто, как в естественных науках, однако намерения его имели цель чёткую и благородную. А ваши размытые понятия хаоса и неоднозначности — от невежества и недостаточной силы ума. С таким подходом не создашь настоящего искусства.

На месте солдата-администратора (решительность, никакой слабины перед посторонними!) возник пророк, ещё более сурово-окаменелый в своей правоте. Александру вспомнился Моисей в интерпретации Фрейда[126]. Глаза Джулианы Белпер наполнились слезами, на щеках выступили пунцовые пятна.

— Простите, в речах не воздержан, — сказал

---

[126] Примечания: 126

Цикл статей «Моисей и монотеизм» (1939), в котором Фрейд излагает свою версию событий, описанных в библейской Книге Исход.

профессор без особого смущения.

Этим оборотом, «невоздержанный в речах», его будут частенько описывать в шестидесятые годы, когда начнутся студенческие волнения. В тот день, однако, этих событий ещё ничто не предвещало, и казалось, что Вейннобел — само воплощение авторитета.

После приёма Александр пригласил профессора обсудить последнюю лекцию, о Пите Мондриане. Кабинет Александра располагался на верхнем этаже здания Би-би-си. Свет проникал через наклонное окно в крыше, под которым стоял письменный стол. На столе — небольшая репродукция того самого натюрморта с синим французским кофейником, глиняной посудой и фруктами. Быстро разобравшись с Мондрианом, Вейннобел спросил про репродукцию. Александр рассказал, что пишет пьесу о Ван Гоге, а в этой картине его заинтересовал покой — мол, возможно ли представить состояние покоя средствами драматургии?

Вейннобел раскурил большую трубку и рассмеялся:

— У меня есть приятель с богатой фантазией, который мог бы сделать из вашей картины психологическую драму, мистер Уэддерберн. В каждой

поставленной на стол бутылке ему видится решительное, окрепшее мужское начало, в любом округлом сосуде — мягкое, принимающее, женское. Посмотрим, что у нас с кофейником. Итак, *cafetière* состоит из двух частей. Мой приятель истолковал бы это так: верхняя мужская часть плотно входит в округлую женскую, а у подножия этого сооружения — лимоны, лежат, будто в гнездышке. Помните, Ван Гог в молодости с увлечением писал птичьи гнёзда с яйцами? Яйцо в гнезде оплодотворено. Следовательно, натюрморт с кофейником символизирует плодородие, способность к размножению.

— Но тогда пропадает суть кофейника как вещи.

— Кстати, в эротическом смысле можно истолковать даже свет, коснувшийся тел. Женщины на картинах Вермеера отдалённы, недосягаемы, в них не проникнуть, но они омываются тёплым светом, который как бы заключает их в любовные объятия, не так ли? Кстати, и упоминавшийся сегодня Зигмунд Фрейд в своём труде «По ту сторону принципа удовольствия» наделяет функциями света Эрос. Это Эрос, он же свет, вдыхает жизнь в застывший, неорганический мир, соединяет части в сложные формы и удерживает их от

распада. Весьма занимательный труд у Фрейда получился, в начале он пишет о ночных кошмарах и расстроенных нервах, к концу рассуждает о происхождении полового влечения, о том, что человеком движет двоякое стремление — к жизни и к смерти. В мифе, который создаёт Фрейд, покой неодушевлённой материи предшествует стремлению к жизни; покой аристофановского гермафродита[127] первичен в сравнении с созидательностью Эроса, с делением клеток. Фрейду открылось, что всё втайне противится влечению к жизни, что старания Эроса несколько тщетны. Инстинкты консервативны, говорит Фрейд, каждый организм «стремится к смерти, собственным способом»… Как знать, мистер Уэддерберн, не этим ли как раз и объясняется наша заворожённость *натюрмортом*, неживой природой? Может, *безжизненная жизнь* вещей, омытых светом, — это новый золотой век, невероятный стазис, мир без сладострастия, без деления и размножения?.. Я провел аналогию между вашим кофейником и не совершившим грехопадения шаровидным гермафродитом из платоновского «Пира». Достаточно драматургично?

---

[127] Примечания: 127

Фрейд ссылается на речь комедиографа Аристофана в «Пире» Платона.

— Винсент был как раз за воздержание, — сказал Александр. — Сперма художника — его краски на холсте.

— Какая яркая и гадкая метафора, — поморщился Вейннобел. — Разве безмятежный стол с синим кофейником, накрытый для завтрака, имеет хоть что-то общее с половым актом? Полагаю, нет. *Nature morte*, как говорят французы. Танатос! — Он помолчал. — Бедняга Винсент. Мне всегда казалось, что он был очень тяжёлый человек. Воинственный, постоянно на взводе. Если бы такой человек в кафе подсел к вам за столик, вы бы не отсели поспешно? У вас в пьесе, случайно, нет похожей сцены, мистер Уэддерберн?

— У меня… много чего есть. Но всего в пьесу не вместишь.

В эту ночь ему приснилось нечто и страшное и комическое. Он бежал по тёмному, длинному, казалось, до бесконечности растянувшемуся коридору квартиры Пулов, пытаясь поймать какое-то существо — яростно пылающий огненный шар, который перекатывался в воздухе, двигался неравномерными толчками. Александр приблизился, и огненное существо зависло в воздухе, будто давая себя рассмотреть. Сначала Александру показалось, что оно состоит из нескольких

птиц, свернувшихся в огненном гнезде, что это — одно из животных Иезекииля, пылающий огнём херувим[128]. Но затем, снова убежав-укатившись от него, создание изменилось и стало напоминать что-то почти ёжеподобное в своей шарообразности, но почему-то со множеством ножек и человеческих гениталий — то был уже аристофановский андрогин! Он кувыркался и кувыркался, приземляясь по очереди на каждую из своих ножек, точно странный акробат, а два лица его на цилиндрической шее всё пылали и пылали. Александр следовал за этим несуразным и в то же время жутким созданием — и уже в конце коридора рядом с кухонной дверью вновь произошло превращение. Теперь это было нечто синее с полуночным отливом, совершающее толчки, удлинённое в верхней части и, как прежде, ощетинившееся ручками, ножками, носиками, — многоудый божок кофейника! Он грозно шипел, и плевался, и яростно пламенел, потом вдруг наддал — и исчез за дверью кухни.

---

[128] Примечания: 128

Иез. 10: 14: «И у каждого из животных четыре лица: первое лице — лице херувимово, второе лице — лице человеческое, третье лице — львиное и четвёртое — лице орлиное».

16
Брожение ума

Внеаудиторная интеллектуальная жизнь Фредерики складывалась довольно хаотично, всё решалось по воле друзей-мужчин, которые приглашали или сопровождали её на различные мероприятия. Так, Алан с Тони и Оуэн Гриффитс сподвигли её посетить за одну неделю два серьёзных мероприятия в Королевском колледже: одно посвящено необходимости ввести в Кембридже экзамен на бакалаврскую степень с отличием по социологии, второе — развитию в Кембридже идей гуманизма. Фредерика не имела внятного представления ни о социологии, ни о гуманизме. Через двадцать лет она с крайним удивлением припомнит, насколько взаимосвязанными в ту пору ей почему-то казались эти два понятия. На дворе стояла середина 50-х — тихое, мирное (ныне подзабытое) время: люди только-только перестали жить в стеснении, но ещё не начали жить в достатке; до Суэцкого кризиса и Венгерского восстания ещё год. Политики и социологи в один голос твердили, что все важнейшие об-

щественные проблемы решены, остаётся лишь научиться планировать экономическое и социальное развитие; идеология уступает место широкому согласию взглядов, классовая борьба прекратилась, не за горами подлинное равенство возможностей. Большинство британцев скромно и спокойно ждали, что жизнь будет делаться всё лучше и лучше, ведь в последние годы она их радовала и баловала: в магазинах стали продавать бананы, апельсины, сливочное масло; создали Национальную службу здравоохранения; приняли Акт Батлера об образовании, высшее образование вот-вот станет более доступным; трудовой люд зажил богаче, начал покупать автомобили. «Либеральный», «справедливый», «гуманный», «свободный», «демократический» — Фредерике в это неясное, скучноватое время трудно было подвергнуть критической оценке огромные эти понятия, которые не входили в узкий обиход её образования и воспитания. Натаскана она была совсем на иное — на пристальное, глубокое чтение литературных текстов. К большим словам — рассуждала она — нужно относиться с повышенной *осторожностью*, чуть ли не с запасной оглядкой, пока не узнаешь надёжно, кто и как их употребляет. С младых ногтей её учили этой

чуткой, пытливой недоверчивости — не той, с какою марксистские критики современного государства озирают целую закостенелую в себе идеологию, но особенной, чуть даже болезненной сторожкости филолога, готового пуститься по следу каждого отдельного слова.

К удивлению Фредерики, на встрече по гуманизму возник безнадёжно запутанный спор о том, является ли гуманизм религией. Должны ли здесь быть свои обряды, символ веры, иерархия? Фредерике казалось совершенно очевидным, что нет: разве не в самом отсутствии религиозных атрибутов — суть гуманизма? Гуманисты, говорили студенты, верят, что источник всех ценностей и норм поведения — человек. Каждый без исключения индивид и его благоденствие имеют первостепенную важность, реализовать же этот принцип лучше всего можно в демократическом государстве, где все равны и терпимость — высшая общественная добродетель. Всё это казалось ей слишком уж простым, очевидным и — не оттого ли? — скользким. Все связывали будущее с планированием; один из студентов провёл аналогию между неким центральным бюро планирования и корой головного мозга человека. Да, Королевский колледж явил себя в

своём лучшем виде! Кто-то с готовностью процитировал философа и гуманиста Джорджа Эдварда Мура, тоже кембриджца: «Личные привязанности и эстетические наслаждения дают набор благ, которыми исчерпывается наше воображение». Нельзя сказать, чтобы жизнь Фредерики в описываемое время противоречила этому убеждению, и всё же она не могла сказать, что разделяет его полностью: «исчерпывается» — пожалуй, слишком категоричное слово, когда речь идёт о воображении. Высказал своё мнение и Мариус Мочигемба: любить друг друга людям заповедали ещё Христос и апостол Павел, заметил Мариус, вопрос лишь в том, нужен ли нам Бог сегодня, чтобы эта заповедь имела смысл? О нет, поспешили ответить все, а один добавил: писатель Форстер полагал, что *обязать* людей можно лишь к терпимости, — гуманистическим обществом может считаться лишь такое, в котором нет людей *ненавидимых*. Тогда Алан Мелвилл возразил: «Но если над нами нет ни Бога, ни какой-либо идеологии, вроде марксизма, то кто же устанавливает нравственные нормы?» — «Никто, эти нормы — в природе человека», — отвечал один. «Они в каждом из нас», — подхватил другой. «Да-да, нормы устанавливает наш собственный

разум», — послышался голос третьего. «Человек сам знает, что́ хорошо и правильно», — попробовал подытожить четвертый.

— *Знает ли?* — спросил Алан Мелвилл. — И если знает, то интересно — откуда?

Фредерика посмотрела на него с нежностью. Он сидел на краешке стула, будто готовый в любой момент сбежать. На лице у него была самая что ни есть любезная мина, и всё же за его обходительностью она чувствовала лёгкое презрение. Он немного рассказывал ей о своём детстве и юности: какую радость он испытывал, когда они бандой собирались в каком-нибудь заброшенном, разбомблённом здании; как объединяла их ненависть к другой банде и счастье от здоровья, от физической силы; *благо* же заключалось в ловком обращении с цепью, в хорошем владении ножом, чтоб в случае чего полоснуть до кости, оставить шрам или хуже — зарезать насмерть. Он знал, знал, что быть человеком непросто. Каково же происхождение нравственного закона?

Большинство пришедших на встречу по социологии не знали, что такое социология. Лишь полагали, что социология изучает жизнь человека в обществе, а это дело хорошее. Более того, развитие социологии позволит более эффектив-

но управлять общественными процессами, и общество вернее направится к добродетели и свободе (на социологию возлагались не меньшие ожидания, чем во время предыдущей встречи — на гуманизм). Фредерика и здесь наблюдала за людьми. Споря, они постепенно приходили к единому мнению о том, что такое «класс», «культура», «элита», для неё же эти понятия размывались пуще прежнего. Однако ей очевидна была разница между, скажем, взглядами Тони Уотсона и Оуэна Гриффитса, когда они рассуждали о «культуре трудящихся сословий». Для Тони за этим абстрактным словосочетанием стояло нечто, обладавшее реальным действием; культура трудящихся — положительное явление и противопоставляется культуре массовой — явлению отрицательному. Культура трудящихся — это предметы, изготовленные вручную, изустные предания и песни, определённые пищевые предпочтения и кулинарные обычаи, — всё это уважаемо и священно, поскольку возникло и развилось естественно. Массовая же культура — это радио, популярная музыка, телевидение, полуфабрикаты, жёлтая пресса. А вот Оуэн Гриффитс под культурой рабочего класса понимал деятельность таких людей, как его собственный

отец, который объединял рабочих в сплочённые группы, — эти группы боролись за повышение зарплаты и сокращение рабочего дня, чтоб больше времени оставалось на телевизор и прочий досуг. Оуэн, в отличие от Тони, довольно часто упоминал своего отца, хотя понятие культуры рабочего класса, усвоенное Тони от отца, имело для Тони не менее важное значение, чем ярое честолюбие, зажигательные речи и жажда власти Оуэна-старшего — для Оуэна-младшего. И для Тони, и для Оуэна «культуру трудящихся сословий» *олицетворяли* их отцы. Однако Фредерике было очевидно, что Оуэн с его напором и насмешками, с его любовью к популярной музыке не вписывался в представления Тони о трудящихся. Но кто Оуэн, если не представитель трудящегося сословия? А что же сама Фредерика, со своим отцом?

Отец Фредерики считал, что христианская вера внушает людям ложные, вредные представления о мире, людях и обществе. Фредерика, его плоть и кровь, полагала так же. Однако при этом она скептически относилась и к отцовским убеждениям. Слишком уж рьяно Билл Поттер почитал литературные «ценности» в трактовке критика Ливиса и *жизнь*, «которой занимается большая литература» и которую Билл вслед за любимым

критиком энтузиастично отыскивал в романах Д. Г. Лоуренса. «Ценности» и «жизнь», таким образом, в некотором забавном смысле занимали место нравственных норм и Бога (разумеется, без символа веры и атрибутов).

Фредерика, как и многие до неё, оказалась в довольно затруднительном положении: те явления культуры, в которых она была укоренена, её раздражали куда больше, чем те, что были ей малосоприродны. Себя она считала искушённой особой, не скованной никакими сословными рамками; ни надуманное желание взбираться вверх по призрачной лестнице, ни ностальгия по прошлым, чужим эпохам были над нею не властны. Она в принципе не признавала авторитетов, и всё же спокойная вера Т. С. Элиота в иерархическое устройство культуры и общества была ей ближе, чем утопическая мысль Ф. Р. Ливиса о единственной и неповторимой культуре литературных произведений и литературной критики (даром что дома постоянно шли разговоры о знаменитом журнале Ливиса «Критическое исследование»). Точно так же роман «Возвращение в Брайдсхед» с его остроумием и «безнравственностью» оказался ей ближе, чем зубоскальство и мораль «Везунчика Джима», где Кингсли Эмис, можно сказать,

облёк в литературную форму жизнь той среды, которая ей лучше всего знакома. По крайней мере, Элиот и Во в своих произведениях пытались дать полную картину жизни, разыграть настоящее литературное сражение — пусть и несколько абсурдно, но во вселенском масштабе. С детства она была приучена с недоверием относиться к нечёткости и смешению понятий. А в нынешней жизни всё размыто, всё перемешано.

Ещё она искала Любовь. Ей объяснили, что такое эрос и агапэ, каритас (христианская любовь), запретная любовь, любовь к себе и потеря себя, и теперь ей хотелось просто-напросто «влюбиться». Она всё так же не воспринимала всерьёз заверения в любви, поступавшие от молодых людей, с которыми она спала или просто общалась. Куда приятнее ей было находиться в компании тех, кто не был полностью поглощён только ею и кого, ежели отшить опрометчиво, слишком поспешно, можно было не разглядеть, классифицировать неверно. Она проводила время с Мариусом, который собирался стать художником. И с Оуэном, который верил в своё особое жизненное предназначение.

Мариус у себя в подвале писал её портрет — получалась стилизация под Модильяни. Глаза

Фредерики он сделал сливового цвета, что её возмутило, ведь у неё глаза не такие. Когда портрет была закончен, он уже больше походил на абстракцию американского художника Джексона Поллока, какие-то непонятные линии и разводы. Затем Мариус устроился рядом с Фредерикой на кровати и принялся её поглаживать, время от времени спрашивая, почему она позволяет ему распускать руки. Он вырос в католической семье — от плотской любви ждал непременных скорбей и опасностей. Практичную Фредерику это уже не удивляло, она начинала привыкать к мужской непоследовательности…

Оуэн Гриффитс пригласил Фредерику на ужин в дискуссионный клуб «Кембриджский союз». Поскольку она женщина, ей позволено войти туда только как «гостье» Оуэна. За ужином он рассуждал о будущем социализма и причинах прихода к власти и последующего провала лейбористского правительства Эттли в 1945–1951 годах, затем сказал, что Фредерике непременно нужно выйти за него, Оуэна Гриффитса, замуж. Он произнес это так просто и уверенно, над тарелкой с жёстким стейком и водянистыми запечёнными помидорами, — словно дело шло только о нём самом. Фредерика, как было ей свойственно, не

пожелала признавать серьёзности предложения и ответила, как часто отвечала: если он хорошенько подумает, то наверняка поймёт, что вряд ли готов каждый день делить трапезу с такой отпетой спорщицей. Оуэн заверил её: как раз таки в этом вся прелесть. Призвал её подумать о будущем: мол, Фредерика знает — ничуть не хуже его, — какое великолепное будущее его ждёт! Но единственное великолепное будущее, о котором желала думать Фредерика, было её собственное. Скорее всего, Оуэн этого не понимал. Не понимал он, вероятно, и того, насколько скудны и мелкотравчаты политические взгляды Фредерики. Если чем-то Оуэн с Фредерикой и были схожи, так это своей эгоцентричной ограниченностью. Да ещё готовностью говорить без умолку о каком-нибудь интересном для себя предмете. Оуэн считал Фредерику очень умной девушкой, из которой получится отличная жена для целеустремлённого мужчины. Фредерика видела в нём целеустремлённость, честолюбие, но воспринимала эти качества как угрозу своему будущему. Даже сейчас его настойчивое внимание выходило ей немного боком — несколько раз он являлся к ней в комнату, чтоб вновь и вновь сделать предложение, причём время, будто

нарочно, выбирал такое, когда мужчинам приходить в Ньюнэм запрещено. Один раз наставница, мисс Чизик, за это сделала Фредерике устный выговор (впрочем, не первый и не последний в студенческой жизни Фредерики). Дальше устного выговора не пошло, так как, по словам самой наставницы, от Фредерики ждали отличных результатов на выпускном экзамене на степень бакалавра с отличием.

Тогда это показалось Фредерике нормальным, но годы спустя, вспоминая тот случай, она подивилась кембриджскому ханжеству. На её этаже дальше по коридору жила тихая, очень смуглая девушка, никогда ни с кем не вступавшая в беседу, — Фредерика даже точно не знала, что тихоня изучает — географию? богословие? В том же семестре, когда Фредерика получила выговор, эта девушка, никому не сообщив, вышла замуж за хозяина ресторанчика, сардинца, который пел в церковном хоре и, по слухам, божественно готовил. В колледже об этом прознали — и тут же её исключили! Не за то, что она спала с мужем в общежитии, не за то, что отлучалась к нему на ночь (ни того ни другого за ней не водилось), а просто за сам факт замужества. (Вероятно, студентке Кембриджа не полагалось сочетаться браком с

итальянцем?) Так к чему же нас всё-таки здесь готовят, не могла не спросить себя Фредерика. Она думала о наставнице — суровой старой деве, резкой и злоязычной, которая (как миляга Фредди) зорко подмечала, если кто-то из воспитанниц Ньюнэма имел неприлично дешёвый наряд, перчатки из искусственной, а не натуральной кожи или изъяснялся не вполне грамотно. Тогда никто понятия не имел, что такое быть женщиной — в полном и современном смысле слова. Позднее, когда общество начало проявлять массовый, жадный и не всегда разборчивый интерес ко всем сторонам жизни женщины, всем граням женской натуры (определённо, самое положительное следствие феминизма в литературе!), то, пожалуй, и наставницу, мисс Чизик, и маленькую смуглую студентку, синьору Кавелли, урождённую Брилл, могли бы признать участницами исторического спора, поборницами разных систем ценностей. Но если мисс Чизик сама, сознательно пожертвовала замужеством в пользу интеллектуального роста, то за мисс Брилл выбор, причём обратный, сделали другие, против её воли… Тогда, в 1955-м, обе они внушали Фредерике презрение и одновременно жалость. Не беда, успокаивала она себя, наверняка можно реализоваться как личность и

при этом быть настоящей женщиной…

17
Полевые исследования

Если человек ни с кем не хочет общаться, то велика вероятность того, что круг его общения рано или поздно очертят извне. Так получилось, что на долгие выходные Маркус оказался в лагере Гидеона Фаррара в Центре полевых исследований на пустошах к югу от Калверли. В будние дни Маркус теперь работал в больнице общего профиля в Калверли: в длинной коричневой униформе он развозил больным книги на тележке — туда-сюда по узким проходам между длинными рядами коек, вверх-вниз на скрипучем железном лифте за компанию со спящими после операции пациентами в каталках и другими больными, которых везли в больничных креслах на физиотерапию или рентген. При раздаче книг ему удавалось избегать разговоров с подопечными. С родителями он тоже не разговаривал, хотя чувствовал, как напряжённо они ждали от него каких-то слов; но он молчал, и от него начинали ждать ухода обратно в комнату. И вот он послушался Гидеона и поехал, потому

что бед это не сулило, и казалось совсем неплохо провести выходные вдали от нервно-вежливого отца. Приехав в Центр, Маркус поначалу подумал, что согласился, наверное, напрасно. Взгляду его предстали несколько деревянных, пахнущих креозотом лачуг, обступивших лачугу побольше, сложенную из бетонных блоков и выбеленную извёсткой. К тому же он с изумлением узнал, что будет спать в одной комнате с тремя мальчиками (до этого ему никогда ещё не приходилось ни с кем делить спальню).

В первый вечер все приехавшие, члены организации юных христиан — приблизительно шестнадцать мальчиков и девочек из разных школ и приходов, — собрались на чай и очень стеснялись. Чай разливали из огромных алюминиевых чайников, на столе был хлеб, брусочки маргарина, а также клубничное варенье цвета кошенили и кусочки покупного квадратного пирога. Маркус устроился по соседству с двумя пустыми стульями, на один из которых тут же уселась девочка с длинными каштановыми хвостами, в больших очках. Казалось, она его откуда-то знает. Но он-то её не знал; впрочем, её это нисколько не смутило.

— Ты меня, должно быть, не помнишь. Я Жа-

клин. Мы сидели рядом на одном из семейных обедов у Гидеона. Чем ты теперь занимаешься?

— Развожу по больнице книги на тележке.

— Тебе там, наверное, встречаются интересные люди.

— Не особо. — Он попытался поддержать разговор: — А что здесь вообще делают, в этом лагере?

— В этот приезд мы должны прикоснуться к внутреннему миру друг друга.

Маркус невольно съёжился. Жаклин продолжала:

— Ну, так Гидеон говорит. Я-то сюда приезжаю, потому что мне нравится здешняя природа, вересковые пустоши, нравится участвовать в научном исследовании.

— Каком ещё исследовании?

— Мы изучаем жизнь муравьёв — это настоящий долгосрочный проект. У нас есть несколько искусственных муравейников, но и за настоящими наблюдаем. Кристофер Паучинелли, который сидит рядом с Гидеоном во главе стола, известен на весь мир своими работами по муравьям. Он потрясающий учёный. Тебе обязательно нужно послушать его лекции.

— Ну, не знаю…

— Может быть, ты просто плохо относишься

к муравьям? Но они удивительные существа, честное слово! Я тебе их покажу.

— Я к ним никак не отношусь. Но посмотреть-то можно, отчего не посмотреть.

После чая, как стало вечереть, все пошли прогуляться. Перебрались через вересковую пустошь, спустились по тропе вниз с утёса, а потом бегали по песчаному берегу и визжали от радости. Это место называется Лукавое логово, здесь через маленькую воронкообразную каменную горловину изливается к морю ручеёк. Ручеёк берёт начало далеко, в торфяниках, отчего вода его, чуть маслянистая, кажется испещрённой коричневыми, точно заваренный чайный лист, и золотистыми пятнами. Медленно она сливается с огромной морской водой подступающего прилива, серой, студёной, солёной и прозрачной… Лукавое логово славится своими причудливыми скальными породами. Вокруг грудами, россыпями лежат камни и всякие ископаемые окаменелости, покрытые зелёным мхом; некоторые из камней — почти круглые, хоть и шершавые на ощупь, но есть и более гладкие, отшлифованные волнами, ни дать ни взять доисторические пушечные ядра. К морю вели плоские каменные глыбы, тускло отливавшие чёрной зеленью, испещрённые

крохотными трещинками и канальцами, обросшие розоватыми и охристыми лишайниками и водорослями. Самые дальние из этих глыб то окатывала, то обнажала пытливая волна. Маркус покачивал в руке, будто взвешивая, каменное ядрышко, прислушивался к звуку волн и ветра. Снова возникла, встала рядом Жаклин:

— Смотри, как всё оживает. Посмотри на актиний. Жизнь тут так и бурлит.

Маркус, не выпуская из рук камня, послушно перевёл взгляд на желеобразные пятнышки: тёмно-коричневые, кирпичные, местами золотистые, актинии будто приросли к камням своей одной ножкой, у каждой около похожего на пупок отверстия подрагивали несколько веточек-щупалец. Жаклин сказала:

— Смотри, Руфь.

Раздался резкий крик чайки.

— Руфь?

— Ну, Руфь, она тоже была на обеде у Гидеона.

Маркус посмотрел на ребят, которые небольшими группками прогуливались по берегу. Он понятия не имел, кто из них Руфь, которую ему полагалось знать. Все они издали казались ему одинаковыми. На всех ветровки и непромокаемые ботинки.

— Ты не очень-то наблюдательный?..

— Не очень, — признался Маркус и, чуть поколебавшись, прибавил: — Плохо людей узнаю. С трудом отличаю их друг от друга. Особенно когда они находятся в группе.

— А меня люди завораживают, — сказала Жаклин. — Как ни странно, они все разные, абсолютно все! Руфь — с длинной косой и большими тёмными глазами. В красной куртке.

Маркус нашёл взглядом красную куртку (ту ли?), но Руфь вспомнить так и не сумел. Жаклин продолжила показывать ему разные тонкости морской жизни: вот русалочий кошелёк, а вот рак-отшельник. Не поручил ли уж ей Гидеон, подумал Маркус, расшевелить его, вытащить из скорлупы? В любом случае Жаклин ему нравилась, потому что ей по душе разные странные вещи. Он переложил свой тяжёлый камень в другую руку; интересно, почему она видит мир полным чудес, а ему мир кажется размытым, пугающе-ненастоящим?..

На обратном пути Маркус попытался пошутить. Навстречу им небольшим стадом трусили, покачиваясь на тоненьких чёрных ножках, здешние черномордые овцы. Маркус спросил свою спутницу, не рассчитывая на серьёзный ответ:

— А овцы? Овец ты тоже различаешь?

— Конечно. Вон та — старая, сразу видно по шишкам и впадинам на черепе. А та толстушка, что идёт впереди, — довольно свирепая. Она бы при малейшей возможности тебя боднула. Нет двух одинаковых овец! Посмотри, какие у них красивые глаза.

Глаза у них были жёлтые, зрачок стоял вертикальной полоской. Он попытался определить, что же в них красивого, и решил, что, вероятно, — янтарный цвет.

— Интересно, что они вообще видят, если у них зрачок — щёлка?

— Не знаю. Но когда-нибудь узнаю. У них, кстати, череп сильнее проступает, чем у нас, его проще рассмотреть. Это интересный факт. — Она повернулась к Маркусу. — Ты можешь себе представить мой череп?

Каштановые прядки на открытом лбу; тёплая путаница всей шапки волос с пробором посерёдке, длинные хвостики за ушами; тонкогубая улыбка; важные стёкла очков, в которых отражаются его собственные очки.

— Нет, не могу. Не получается.

— А свой череп вообразить можешь?

Он тронул себя за край подбородка, за верх

скулы:

— Только когда у меня приступ астмы или сенной лихорадки. Когда болит. В носовых пазухах. Но я его просто изнутри ощущаю, а не вижу. Нарисовать бы не смог. Я только чувствую тогда — мой череп вытянутый, острый и весь горит.

Она протянула руку к его подбородку, другой коснулась своего, соизмеряя:

— Да, твой череп длиннее.

Овечьи зады, покачиваясь, неразличные, удалялись прочь, с серых свалявшихся штанов сыпались веточки вереска, клочки шерсти в запёкшейся крови, засохшей смоле или помёте.

— А сзади ты тоже можешь их различить?

— Если постараться. Они, конечно, перемещаются стадом. Но у одной походка более грузная, что ли. А вон та, например, погрязнее. А та, видать, с норовом. В общем, можно разобраться.

Маркус попытался разобраться в чёрном скрестном ходе многих ножек, но овцы уже были далеко.

После ужина Гидеон собрал всех у печки-плиты, которая представляла собой чёрный куб с уходившей в потолок жестяной трубой, довольно чадной. Сварили и всем раздали горячее какао на молоке. Капли молока попадали на металл

печки, раздувались, пузырились, становились бежевыми, потом цвета умбры, а дальше и вовсе чёрными, и шёл запах, который вначале навеивал воспоминание о рисовом пудинге, но очень скоро приобрёл мерзкий оттенок. От самого тепла, от приятной дремоты и, как ни странно, от удушливых запахов им сделалось уютно в компании друг друга. Все сидели в основном прямо на полу и смотрели на Гидеона. Тот предложил сыграть в игру, которая будет даже и не игра, а способ разрушить кокон стеснения и условностей, который отделяет каждого человека от ближнего своего, игра в Истину. Каждый должен рассказать историю — правдивую историю о себе, благодаря которой другие смогут его узнать получше. Сам Гидеон и начнёт. Его история о том, как с ним — причём ни много ни мало целую неделю! — воевал приёмный сын Доминик. Доминик отвечал грубостью на заботу Гидеона, трижды убегал из дома и был возвращён обратно — его находили в лачуге какого-то рабочего, под деревом в парке, в школьном сарае. Гидеон в подробностях описал, как притаскивал ребёнка домой, как тот кричал и брыкался, поносил его бранными словами, — а на самом деле всё это было лишь потому, что Гидеон — не настоящий отец. И до чего же трудно было

ему, Гидеону, смириться со своим положением: его истово ненавидел тот, кого он хотел окружить любовью, отвергал тот, с кем он хотел жить в душевном согласии.

— Я не знал, что делать! Потом решил честно разобраться в собственных чувствах. И под кротостью и лаской обнаружил в себе праведную ярость, которую нужно обрушить на Доминика. Я сказал ему гневно: я люблю тебя, но больше такого не потерплю, моя душа болит за тебя, но ты мне сделал очень больно!

Тут настал счастливый конец рассказа: ребёнка перестало угнетать впечатление отцовского всемогущества, ничем не смущаемой ровности. Доминик забрался к Гидеону на колени, шутливо пихнул его в плечо, и они стали родными друг другу.

Некоторым ребятам Гидеонова манера была уже привычна. Один паренёк удачно подхватил тему: рассказал, наверное уже далеко не впервые, как потерял мать во время немецких бомбёжек Лондона, как его эвакуировали, как он стал жить в приёмной семье (ни он с ними, ни они с ним так и не сдружились), он не испытывал к этим людям благодарности, не понимал, кто же он теперь такой, говорящий на кокни йоркширец, чувство-

вал себя не на своём месте, боялся, что его просто терпят, никогда не полюбят. Другой мальчик рассказал, как он единственный в своей семье не сдал переводные экзамены в среднюю школу, и родители знать его больше не хотят, им всё равно, чем он занимается. У всех этих прилюдных излияний была общая тема — родительские ошибки, неспособность взрослого проникнуть в душу ребёнка, отсутствие душевного контакта. Гидеон выступал дирижёром этого действа. Задавал один и тот же проникновенный вопрос («И что же ты тогда почувствовал?»), подмечал — и сразу громко повторял какую-нибудь яркую, образную подробность, — ловко отсекал лишнее и подводил рассказчика к осознанию своей истинной, ни от кого не зависящей личности, к способности принимать недостатки других как что-то неизбежное, естественное. Под чуткой рукой Гидеона грустные рассказы становились увлекательными — и привлекательными, начинали волновать смыслом. Сердитого вида темноволосая девочка живёт с матерью на втором этаже дома, отец — на первом, с другой женщиной; всё общение родителей происходит через эту девочку — она передаёт записки, просит денег, возвращает одолженные сковородки. Гидеон тут

же пересказал её историю — ей же самой — в таком свете: мол, она не только проявила тонкую находчивость в этом отчаянном положении, но и сумела, единственная из всех в доме, сохранить разум и милосердие. По чести говоря, её рассказ состоял из угрюмых односложных фраз, но после Гидеона — кто бы теперь поверил, что это не была дерзкая, блистательная тирада?! Следующим был мальчик, на отца которого вдруг с ножом напали сослуживцы (как потом оказалось, он про них по мелочи наговаривал начальству). Гидеону вновь удалось всё ловко переиначить, обернуть рассказ о ребёнке, испытавшем удушливый страх, в рассказ о свидетеле мерзостей людских. Пустив в ход свою обольстительную улыбку, поместив мальчика в яркий прожектор своего внимания, он выставил его почти героем, постигшим некую мудрость. Затем Гидеон повернулся к Маркусу и спросил, не хочет ли тот высказаться.

— Спасибо, — ответил Маркус. — Но нет.

— Хорошо, как-нибудь в другой раз, — благожелательно проговорил Гидеон, повёртываясь тем временем к Руфи.

Теперь Маркус её получше разглядел. Руфь стояла как по стойке смирно, длинная коса лежала меж лопаток. Она смотрела прямо перед собой,

на Гидеона; руки у неё, впрочем, не по швам, а неподвижно сцеплены впереди. У неё было маленькое невозмутимое лицо скандинавской лепки, прямые белёсые брови, голубые, почти синие, глаза, рот прямой, мягкий, нестроптивый. Она сказала, что будет говорить о том, как мать лежала в больнице, и начала сразу, без какой-либо предыстории и довольно спокойно:

— Нам тяжело было смириться с тем, что дома дела перестали делаться, что кругом грязно, за едой в магазин никто не ходит. Мы ничего не могли с собой поделать и злились на мать, что заболела. Неправильно мы себя вели!.. Плохо мы с ней обращались, и длилось это довольно долго. Она становилась всё тоньше и тоньше и была уже не собой. Но всё ещё хотела с нами разговаривать и так смотрела на нас — с жадностью, будто не могла наглядеться, — а мы её боялись, не хотели с ней общаться, мол, что мы ей скажем? Она лежала в больнице, а я покупала продукты, и готовила, и убирала, и пыталась успевать с учёбой и заботиться о папе. Потом мы поняли, что она умирает, ничего уже было не поделать, и мы хотели, чтобы это случилось быстро, мы хотели, чтоб она ушла, раз уж ей придется уйти, а она всё пыталась с нами поговорить. Она расстроилась,

когда я отвела Кристину отрезать волосы, потому что с волосами было слишком много хлопот, все в колтунах. Потом однажды мы приехали к ней в больницу, и нам сказали, что она умерла, без мук, оставила нам сумку со своими вещами. Я ничего особого не почувствовала. Просто перебирала в голове список дел: помыть плиту, убраться в чулане под лестницей, выкинуть сломанные игрушки — такого рода мысли. А потом однажды я разбирала комод и наткнулась на свитер, наполовину связанный… — Руфь примолкла.

— Ну, продолжай, — подбодрил её Гидеон.

— Полосатый, я давно у неё такой просила. Она вязала его перед тем, как… И я заплакала…

— И теперь тебе стыдно, что ты на неё злилась из-за болезни. Злилась, что всё легло на тебя. Но это же было абсолютно естественное, нормальное чувство, — заверил Гидеон.

— Нет, мне не стыдно. Я просто…

— Стыдно, стыдно. С другой стороны, на тебе держался весь дом и тебе было немного страшно… хотя ты ведь храбрая?

Руфь ничего не ответила. Гидеон уверенно продолжал (видимо, решив, что и так знает её ответ):

— И отец по-прежнему рассчитывает на твою

помощь, все домашние заботы легли на твои плечи, а у тебя ещё и выпускные экзамены…

— Нет, — перебила Руфь. — Он уже на меня не рассчитывает. Он женился на миссис Джессоп. У меня всё. — Сказав это, Руфь аккуратно опустилась на стул.

Гидеон оставил её в покое и перешёл к следующему оратору. Все ребята рассказывали будто одно и то же: в каждой истории были отец, мать, ребёнок (или дети) — некий идеальный жизненный комплект, который в итоге рассыпáлся на части. Жаклин рассказала, как брату — любимцу родителей достался в подарок микроскоп, а она сама накопила на свой. Гидеон встретил её рассказ с прохладцей, словно, выбрав такой безобидный эпизод, она схитрила. Маркус мыслями витал далеко — боязливо ждал отбоя. Ему ещё ни разу не приходилось спать в одной комнате с другими мальчиками.

Его соседи по комнате оказались вполне обходительными ребятами, до этого дня незнакомыми, но сейчас соединёнными общим вихрем эмоций. В конце вечера Гидеон связал нити всех историй и подвёл итог: жизнь мимолётна, человеческие отношения хрупки, надобно искать опору в чём-то надёжном, неизменном. И нет нам иной опоры,

кроме Христа, которого обретаем в сердце своём. Мальчики говорили о Гидеоне с почтением.

— Он всегда такие вещи говорит… сразу получается, что каждый наш поступок важен, — сказал один.

Взяв свои сумочки с туалетными принадлежностями, они ушли в ванную, вернулись раскрасневшиеся (видать, губками тёрли себя старательно) и пахли мятной зубной пастой. Маркус сидел на краю кровати, съёжившись. Один из соседей обратился к нему:

— Ты какой-то тихий. Всё нормально?

— У меня… астма. Тяжело дышать. Надеюсь… не мешаю.

— Нет, конечно, — ответил другой, самый весёлый из троих. — Лютая вонь от той печки. У кого угодно ком в горле встанет. Поправляйся.

Маркус выпил капсулу эфедрина, положил под язык половинку адреналина — крохотный полумесяц. Соседи по комнате готовились ко сну. Два мальчика какое-то время боролись из-за лишней подушки, которую один стащил у другого. Сцепившись пальцами, они мерились, кто кого перетолкнёт, плечи и бёдра подрагивали от натуги. Маркус лежал на животе, подсунув под грудь кулаки, и видел, как разлетались края их

пижамных рубашек, смутно промелькнул чей-то тёмный пупок, членик (покороче и потолще, чем у него), слегка поднявшийся в пылу схватки. Болтались завязки на штанах. Как они вообще могут спокойно прикасаться друг к другу?.. Маркус со свистом вдохнул. От увиденного ему сделалось стыдно. Мальчики разошлись по постелям, накрылись простынями с серыми одеялами, поворочались и затихли. Маркус старался дышать неглубоко, чтобы никого не разбудить. На миг ему пришла в голову безумная мысль, что они выдышат всю его порцию воздуха. Правое лёгкое казалось особенно воспалённым — если сделать глубокий вдох, его будто наждачкой царапает. Присутствие соседей вдруг обступило Маркуса со всех сторон: спрятанные под одеялами мальчишеские тела, светло— и темнокожие, мятное дыхание, запах набегавшихся за день ног. Он захрипел. Спустил ноги на деревянные доски. Мальчик в соседней кровати открыл глаза и протянул руку — до чувствительного Маркусова носа тут же донёсся запах подмышки.

— Ты в норме?

— Дышать тяжело. Я выйду ненадолго.

— Помочь?

— Нет. Просто я лежать не могу. Больно, — про-

хрипел Маркус.

— Звучишь ужасно.

— Всё не так страшно, как кажется.

От домика Маркус побрёл к главному корпусу, где всё ещё горел свет. Ночной воздух, хоть его и больно вдыхать, пах сосной и вереском. Доносились приглушённые звуки — то скрип, то свист, то обрывки чьих-то разговоров. Он направился туда, где, вероятно, располагалась кухня, шёл на ощупь, по стене, стараясь сделать своё хриплое, свистящее дыхание ровным. Там оказалась не кухня, а один из больших лекционных залов: длинные лабораторные столы, кафедра, по периметру стеклянные аквариумы, подсвеченные в темноте. Чей-то голос спросил:

— Кто здесь?

— Маркус Поттер.

— Почему ты здесь?

— Не могу уснуть. У меня приступ астмы.

— Это я, Жаклин. Я ищу Руфь. Она плакала и ушла куда-то. Сейчас зажгу свет.

Лампы под коническими жестяными абажурами отбрасывали на столы круглые лужицы света. В высоких окнах без штор эти белые световые круги отражались, но уже другой формы, под другим углом. В бархатно-чёрном стекле, под

вереницей бесчисленных белых сфер Маркус разглядел смазанную Жаклин: дымчатое привидение в длинной шерстяной ночной сорочке. Себя он тоже увидел — блёклая пижама, сутулые плечи тяжело поднимаются и опускаются, бледные волосы висят сусалками, в отражённых стёклах очков — отражение убегающей вдаль процессии белых шаров. Аквариумы у стен оказались формикариями, искусственными муравейниками.

— Ты жутко выглядишь. Присядь. Принести тебе чего-нибудь попить? Ты видел муравьёв? Сейчас включу им лампы.

Над формикариями зажглись полоски приглушённого белого света. От стенок разливалось какое-то золотистое сияние (почему они такого цвета, было объяснено на подробной и аккуратной рукописной табличке).

> Здесь представлена колония распространённых в Великобритании чёрных садовых муравьёв (*Lasius niger*). Цвет стекла формикария — жёлто-красный, поскольку глаз муравья не видит излучение в этом диапазоне. При этом он отлично различает цвета, близкие к ультрафиолетовому спектру. В отличие от пахучих

муравьёв-древоточцев (*Lasius fuliginosus*), которые передвигаются по феромонному следу, вид *Lasius niger* ориентируется при помощи зрения. Благодаря крупным фасеточным глазам, не имеющим века, данный муравей получает неперевёрнутое изображение движущихся объектов. Возможно предположить, что в состоянии покоя насекомое слепо, поскольку устройство глаза позволяет фиксировать объекты лишь при движении.

Маркус рассматривал муравьёв, застыв перед стеклом и лишь медленно водя взглядом, как это свойственно астматикам — лучше лишний раз не шевелиться. От принятого адреналина сердце его билось ощутимо и неровно, а происходящее с ним приобрело оттенок знаменательности. Муравьи вдруг показались ему чем-то очень важным. Земля в формикарии была красноватого цвета (а может, так казалось из-за жёлто-красного стекла?); сверху раскиданы кусочки фруктов — апельсинов и яблок — и заветренные листья салата. Поверхность почвы кишела муравьями самых разных размеров, они энергично сновали туда-сюда, метались в разные стороны, куда-то

убегали и возвращались. С боковой стороны формикария открывалось муравьиное подземелье в разрезе: в каждом слое располагались множество коридоров и «комнат», в двух «комнатах» Маркус заметил овальных куколок: бледные, белёсые, они были сложены вроде и не обычными рядами, и не кучей, вповалку, а в каком-то особом порядке, которого Маркус не мог постичь. В коридорах муравьи суетились так же, как и на поверхности: перетаскивали своими тоненькими лапками крупинки земли, несли куколок, воздев их перед собой, словно неведомые огромные свечи. Казалось, царит кавардак, полнейший хаос; эта мысль привела Маркуса в отчаяние. Коридор вдруг ощетинивался множеством бегущих тел, которые возникали из незаметных глазу узких ходов, словно из ниоткуда. Один муравей тащил нечто яйцевидное, сильно превосходившее его в размерах, на его пути возникла крошка земли, и ношу пришлось бросить. Тут же к нему подбежали несколько других муравьёв, действуя в согласованном порыве, но при этом как бы немного мешая друг другу; они подхватили груз и уволокли по другому проходу. Маркус в изумлении наблюдал за этой бурлящей, неясной для него жизнью. Муравьи носились, метались,

водили лапками и усиками, переговаривались друг с другом. И их было так много! Чем дольше он смотрел, тем больше муравьёв видел. И он не мог понять, что перед ним — яростный хаос или порядок, превосходящий его понимание?!

Жаклин вошла в зал с двумя дымящимися кружками чая. Маркус спросил:

— Нашла Руфь?

— Нет. Но найду. Думаю, с ней всё в порядке. Она иногда начинает копаться в себе. Гидеон заставляет людей ворошить прошлое. Он считает, такая встряска полезна.

Маркусу представилось: выламывают ветку и ворошат ею в муравьиных коридорах — начинается истошная беготня.

— А может, и не полезна, — прохрипел он и сделал глоток чая. — Тебя-то он встряхнуть не сумел.

— В моей жизни всё заурядно. Там искать нечего. Давай лучше посмотрим на муравьёв.

Часть стены формикария занимало круглое увеличительное стекло. Через него Маркус посмотрел на (но не в) невидящий огромный глаз муравья-рабочего, который сидел в пещерке, в окружении шелковистых коконов. Глаз имел форму яблочной косточки. Сам муравей, чёрно-

блескучий, состоял из трёх панцирем одетых, кругловатых, кое-где заострённых сегментов и имел шесть искусно сочленённых лапок. Куда бы Маркус ни посмотрел, везде повторялась эта форма косточки, так много было там других муравьиных глаз. Муравьи водили усиками по поверхности коконов.

— А где королева? — спросил Маркус.

— Где-то там, в глубине. Её не видно. Есть фотография.

Вот она, в своих покоях, увеличена до размера двух Маркусовых ладоней: незначительная голова и бойкие лапки прилепились на краю громадного, раздутого живота; по нему бегают, как по только что пришвартованному судну или приземлившемуся воздушному шару, маленькие прилежные прислужницы-дочки.

— Омерзительно, — наконец сказал он. — Омерзительно.

— Ну почему же? Ты только взгляни на этих… их называют «бочками» — это муравьи, которые всю свою жизнь просто висят как горшочки с мёдом, кормят других муравьёв.

Да, вот они, висят, в увеличительном стекле тоже кажутся такими же большими, как руки Маркуса, брюшки настолько раздуты, что рас-

ходятся хитиновые щитки. Живые кувшины, сосуды для хранения медового нектара тли, который вливают в них деловые, активные особи.

— Разве это не поразительно? — восхитилась Жаклин.

— Поразительно. Но мне не нравится. Не нравятся *они*.

— Это потому, что ты на них смотришь как на людей. Если от этого сравнения отвлечься, они покажутся просто потрясающими.

Маркусу вспомнились раздутая муравьиная матка, королева, нескончаемое копошение в тёмных коридорах.

— Не понимаю, как можно… не сравнивать их с нами.

— А ты постарайся.

Тихонько, в уютном молчании, с кружками в руках Маркус и Жаклин направились на кухню. Там горел свет, кто-то всхлипнул, шмыгнул носом и вдруг разразился рыданиями. Жаклин подняла руку в предупредительном жесте, но Маркус и так молчал. Они подошли чуть ближе, через стеклянное окошко распашной двери осторожно посмотрели внутрь. Руфь сидела за столом спиной к ним, светлые распущенные волосы рассыпались по плечам в голубой накидке. Гидеон

Фаррар стоял у плиты и помешивал молоко в кастрюле. Маркус и Жаклин наблюдали: он сварил какао, протянул ей чашку, придвинул стул и сел рядом, приобняв её рукой за плечи.

— Ненавижу её, — раздался отчётливый голос Руфи; затем последовала горькая, знакомая вот уже много веков сказка об умершей королеве и злой мачехе. — Ненавижу женщину, на которой отец женился. У нас всё шло отлично, пока не появилась она. Правда. Мы с сестрой были чистенькие, опрятненькие и по-своему счастливые. А теперь мы грязные неряхи, вечно друг с дружкой цапаемся. Ненавижу её. Я так несчастна!

— Ну что ты, дитя, — сказал Гидеон. — Не надо. Не принимай близко к сердцу. Живи своей жизнью. Начни с чистого листа. Ты можешь принести в этот мир столько любви и счастья…

Он приподнял её лицо за подбородок, сжал её в своих львиных объятиях, уткнулся улыбающимся лицом в её золотистую макушку. Что-то в Маркусе всколыхнулось, ему сделалось неловко, даже немного нехорошо и странным образом волнительно, но не от того, что́ Гидеон сказал, а от того, насколько явственно ощущалась в его жесте уверенность в собственной целительной силе. Даже на расстоянии, через квадратное окошко в

двери видно: Гидеон не имеет сомнений в своей способности облегчить людские муки, утешить скорбящих о любви, быть крепостью и опорой. Маркус почувствовал, как к его пальцам подцепились маленькие пальчики.

— Пойдём отсюда, — позвала Жаклин. — Нам здесь находиться незачем.

Её рука была сухой, тёплой и крепкой. Она не гладила его ладонь, не сжимала её. И он не стал её пальчики прогонять. Лишь хрипло вздохнул. Он чувствовал, что увидел что-то важное, но ещё не понял, что именно.

На следующий день состоялась лекция Кристофера Паучинелли о муравьях. У Кристофера была округлая, обширно струящаяся борода цвета мускатного ореха, но с живым блеском; волнистостью и густотой она не уступала руну южных овец. Красный, как ягоды боярышника, рот, притаившийся внутри бороды, казался маленьким и каким-то интимным, смутно напоминал половой орган. Коричнево-шерстистой была и короткая, прилегающая шевелюра учёного, но уже другого, чуть песочного оттенка, какой можно найти у диких животных: волосы-остинки меж иголок ежа. Ещё о бороде: это была такая славная борода, что сам Эдвард Лир, пожелай он повторить успех

первого бессмертного лимерика из «Книги бессмыслицы», с удовольствием поселил бы в ней насекомых, а заодно упитанного дрозда, парочку перепёлок и мышку-норушку… Грузное, упитанное тело Кристофера Паучинелли облачено было в норвежский свитер из необработанной шерсти. Лекция посвящалась социальному поведению муравьёв. Паучинелли заявил, что не стоит рассматривать жизнь муравьёв в терминах жизни человеческой, хотя сам тут же прибег к языку красочному, пронизанному антропоморфизмом. Социальные роли муравьёв, сообщил Кристофер, обозначены «человеческими» словами: королева, рабочий, солдат, рабовладелец, раб. Мы описываем их социальную деятельность в наших понятиях; говорим о классах и кастах. Но разве от этого, спрашивал Паучинелли, нам становится понятнее устройство их коллективного мышления? Как в муравьином сообществе решается, какое именно количество оплодотворённых самок необходимо иметь? Как решается, что должно получиться из того или иного конкретного яйца, личинки — рабочий, солдат, королева? Есть основания полагать, что будущая социальная роль обусловлена генетически, наследуется, но она ведь ещё зависит от того, чем рабочие

кормят личинок на ранних этапах развития. То есть отчасти присутствует элемент предопределённости, а отчасти — коллективное решение, но вот кто именно решает? Иногда колонию муравьёв сравнивают с совокупностью клеток, образующих организм человека. Полезная ли это аналогия, или же она уводит от истины? Где же этот источник коллективного разума? Что ближе к правде — рассматривать муравейник как аппарат, вроде огромной телефонной станции, какие существовали до компьютеров, продолжал Кристофер Паучинелли, или, вслед за Морисом Метерлинком, как объединение дев, слаженно работающих на благо королевы, исповедующих некую крайнюю форму альтруизма, готовых отдать жизнь ради светлого будущего «идеальной республики, недоступной для нашего понимания, республики матерей»? Теренс Хэнбери Уайт видел в них обитателей тоталитарного трудового поселения. (Сейчас, когда я пишу этот роман, в 1984 году, среди биологов стало модно называть все живые организмы — людей, амёб, муравьёв, певчих птиц, больших панд — «машинами для выживания». При помощи компьютерного анализа степени родства и повторения определённых генов у бабуинов и ку-

ропаток измеряют статистическую вероятность их альтруистического поведения. Самосознание определяют как совокупность представлений «машины для выживания» о себе, которые её вычислительному центру-мозгу необходимо построить для ведения эффективной деятельности. Есть ли самосознание у муравейника?) Все слушали с большим вниманием. Кристофер Паучинелли призвал их быть *объективными* во взглядах (слово это сейчас уже вышло из моды). Призвал быть творчески-любознательными — и абсолютно объективными. Как будто подобное сочетание возможно.

А что, если творчески-любознательно рассмотреть самого Паучинелли? Он совершенно искренне в большей мере интересовался муравьями, чем людьми: мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами. Он был прирождённый холостяк — романистка вправе сделать такое утверждение без сомнений в его истинности. Однако другой человек, чья любознательность связана с иными дисциплинами, человек постфрейдистский, станет искать (и в рамках своей дисциплины найдёт) причину, по которой Кристофер Паучинелли избрал для себя жизнь одинокую и безбрачную среди вересковых болот,

в окружении стеклянных аквариумов, полных мириад молчаливых муравьёв. Какое отклонение либидо заставило Кристофера сделать предметом своего восхищения — живых *не*человеческих существ, а из всего обилия вариантов — именно муравьёв? Или, изъясняясь терминами другой дисциплины: какой социальной моделью объясняется его предрасположенность к такой роли? Почему Кристофера Паучинелли не интересуют, к примеру, обыкновенные жемчужницы, или радиоволны, или трансформационная грамматика, или изготовление тонких игл, или лечение квашиоркора?

Как же мало мы знаем! Маркуса заинтересовал Кристофер Паучинелли и чрезвычайно увлекли муравьи — настолько, что это новое пристрастие изменит его жизнь, но Кристоферу об этом даже и узнать не суждено.

Напоследок отправились по окрестностям, пообщаться с природой. Маркус поймал себя на мысли, что наблюдает за юными христианами, как во мраке той бессонной ночи наблюдал за мнимо бесцельным, суетливым движением муравьёв. Товарищи по лагерю рассеялись по пустоши: то объединялись в группки, то, отпав от одной из них, присоединялись к другой, кто

не спеша, кто поспешно. Будучи ретивым ходоком, Гидеон успевал повсюду — петлял, вилял, то выскочит между двумя мальчиками, которые тяжело плелись в гору, стиснет им ободрительно плечо, то прижмёт коротко, дружески к груди голову какой-нибудь девочки. Муравьи узнают и приветствуют друг друга благодаря усикам — ими они касаются друг друга и улавливают вибрации. Если быть точнее, усики — орган обоняния, главным образом за обоняние отвечают последние семь члеников жгутика (крайняя часть усика), каждый из которых распознаёт определённый запах. Последний членик улавливает гнездовой запах. Если пытливый учёный примется удалять членики по порядку, то увидит, что при отсутствии следующего членика муравей придёт в замешательство, утратит способность ориентироваться, возможно, даже нападёт на растерянных сестёр. Из такой реакции муравья можно сделать вывод, что с помощью этого, предпоследнего членика муравьи различают возраст рабочих в больших колониях, состоящих из различных семей одного вида. С помощью же предпредпоследнего — запах следа, который оставляет сам муравей. Остальные членики отвечают: за распознавание запаха муравьиной матки, за особый

запах самого муравьиного вида, отличный от запаха муравейника, и, наконец, за наследуемый материнский запах (не обязательно королевы муравейника), который остаётся с муравьём со времени куколки и до самой смерти. Сложно сказать, являются ли человеческим аналогом таких форм прикосновений и общения муравьёв — телесные шалости обаятельных священнослужителей, похлопывания по плечу, обнимания. Когда Гидеон на кухне задел бедром Стефани, она распознала в этом жесте, как ей показалось, какую-то древнюю, первобытную, естественную форму человеческого телесного контакта. А Маркус просто надеялся, что к нему вообще не станут прикасаться. Он поднял воротник куртки, втянул голову в плечи, давая понять — его тут нет. Но Жаклин всё равно подошла и зашагала рядом с ним; с ней была и Руфь.

Он смотрел на её косу — толстая, она ниспадала по спине сужающимся конусом. Из-за астмы, эфедрина и адреналина зрение его обострилось и утончилось. Когда астматик принимает эти таблетки, он видит несколько иначе: очертания форм становятся более чёткими, но при этом как бы тает фактура предметов. Астматиком

был художник-романтик Сэмюэл Палмер[129]; он заключал призрачную копну соломы, дерево в плодах, яркую луну и белое облако в клетку или сетку чёрных штрихов, но при этом глаз зрителя, скользнув по их периферии, видел их сотканными из переливов чистого света. Подобным образом Маркус видел волосы Руфи: круглые и конические формы почти незаметно вплетались, снова и снова, друг в друга, из них возникала единая сияющая коса. От вчерашней Руфи — мечущейся, в растрёпанных чувствах, не осталось и следа; сейчас она была собранной, опрятной, светлой. Она почти не разговаривала и казалась сдержанно-грустной. За всех говорила Жаклин. Маркус слушал её голос и наблюдал за тем, как покачивалась коса Руфи.

— Глядите, — показывала Жаклин, — вон папоротник орляк… Смотрите, какую интересную форму вылепил ветер из того колючего дерева… а вон кроншнеп… кроличий помёт…

Всё это было чрезвычайно занимательно.

Домой Маркус поехал с противоречивыми чувствами: с одной стороны, им, как и другими

---

[129] Примечания: 129

Сэмюэл Палмер (1805–1881) — английский живописец и график романтического направления.

ребятами, владело ощущение восторга от поездки, с другой — проповедь Гидеона не могла в нём не вызвать неизбежного, неодолимого поттеровского скептицизма. Он лежал в кровати, в безопасности своей комнаты с белыми стенами, и думал о Боге — впервые с тех пор, как перестал слушать Лукаса Симмонса, который объяснял его, Маркуса, необычные дарования тем, что он отмечен вниманием высших сил, особой печатью. В голове вдруг закружились, угрожающе, одни и те же последовательности форм, фигур (раньше он склонен был воспринимать эти свои состояния как подступающее безумие). В повторявшихся этих овальных сегментах (словно мир предстал в фасетках рифлёного матового стекла ванной комнаты!) непостижимым образом запечатлелся и мог быть разгадан смысл всего увиденного в эти дни. Белые муравьиные куколки, сложенные в хитрый штабель… мельтешащие овечьи зады… блестящие заплетённые звенья волос в косе Руфи… чья-то грудная клетка, живот… белые лица, устремлённые к Гидеону, озарённому печью, сияющему… Маркус коснулся пальцами своей овальной щеки, взглянул на неровный овал набухающей луны в окошке. Да, есть Бог Гидеона, подумал Маркус, и сам Он — как Ги-

деон, бог-человек, окутанный золотым светом, готовый утешить в львиных объятиях… Но есть и некоторый другой Бог — Бог таинственного, всеобъемлющего, хитро созданного порядка, овальных форм и муравьиных гнёзд, Бог щетинящихся подземных закоулков, составных частей, сплетений, фигур, Бог энергии, порождающей формы, бесконечное множество форм! Со стороны Лукаса было полным безумием полагать, будто есть какой-то особый канал связи с этим Богом. Он и так ведь проницает собой всё — от меня, Маркуса, до любой вещи в мире. О Нём мыслить опасно, но Его предназначение теперь очевидно… Ещё Маркусу вспомнились любознательные речи Жаклин и красивая коса Руфи… По венам побежал адреналин — но уже не от таблетки-полумесяца, а собственный.

18
Hic Ille Raphael[130]

На втором году обучения в Кембридже Фредерика прославилась (в положительном или отрицательном смысле, сказать трудно) своими *орнитологическими* изысканиями. Идея её осенила, когда Эдмунд Уилки на вечеринке у миляги Фредди рассказал ей об экспериментальных голубях; тогда же она узнала и новое слово — *таксономия*, и момент этот (знакомства со словом) остался в памяти ещё надолго, хотя лица и обстановка того вечера вскоре канули в тускловатый калейдоскоп кембриджских вечеринок. Уилки воодушевлённо вещал о серии опытов с перелётными птицами. Считается, говорил он, что они ориентируются по магнитному полю; но какие-то отличия одной особи от другой тоже необходимо учитывать. Перед мысленным взором Фредерики сразу возникла картина: стаи

---

[130] Примечания: 130

Чуть видоизменённое начало латинской эпитафии великому художнику, несравненному Рафаэлю Санти: Ille hic est Raffael, timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori («Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть»).

одинаковых птиц усердно машут крыльями, стремясь в одном направлении, но цвет оперения у них разный, да и скорость движения разная. Ну чем не молодые люди в Кембридже? Все они жаждут одного (возможно, даже *только* одного!), но при этом как особи могут различаться — бесшабашные и робкие, позёры и скромники, умники и тупицы, манипуляторы явные и манипуляторы тайные, с защитной окраской. По сути, очерки «Орнитология» представляли собой вполне обычное студенческое самодеятельное сочинение, превосходное лишь строгой подробностью, с какой Фредерика описала типы соблазнителей в зависимости от их повадок и излюбленных уловок («хамелеон», «плут», «краснобай», «Везунчик Джим»). Мариус Мочигемба снабдил очерки чернильными рисунками — искусная работа в отличие от его сомнительных, посредственных картин маслом, — а Тони и Алан любезно опубликовали «Орнитологию» у себя в газете. Было это ещё до появления жанра, который мы в 60-е повадились называть «сатирическими заметками». Пожалуй, лучшим в классификации было то, что она начисто была лишена школьной, свойской шутливости и — самое прекрасное! — совершенно не заискивала в читателе. Много позже,

перечитав в минуты ленивого досуга разом весь комплект «Орнитологии», Фредерика сделала неожиданное открытие. Оказывается, мысли, выраженные ею тогда так любовно, в эстетическом упоении собственной наблюдательностью, — по здравом и холодном прочтении кажутся пропитанными тайной злобой. А она ведь к такому воздействию не стремилась. Вспомнилась ещё одна странность: хотя отчасти «Орнитология» родилась в ответ на мужскую привычку в пабах и комнатах отдыха обсуждать и классифицировать женскую грудь и ноги, лишь к концу своего журналистского предприятия Фредерика вдруг осознала, что в этих разговорах девушки фигурируют как «цыпочки» или «пташки». Когда она, озадаченная, сказала об этом Мариусу, он спросил: «А разве ты не поэтому назвала свой опус орнитологией?» Фредерика честно сообщила, что птичья идея пришла ей в голову, когда она услышала про голубей Уилки. «Ну да, так тебе и поверили», — усмехнулся Мариус, ловко разделяя расчёской надвое сальное крыло волос у себя на лбу. «Мужчины мне нравятся», — сказала Фредерика. «Конечно, оно и видно», — флегматически ответил Мариус.

Осенью 1955 года Фредерика познакомилась с

поэтом Хью Роузом и отправилась с ним в университетскую библиотеку, которую сама посещала редко, — и там влюбилась. Несмотря на то что она была искушённой в плотских утехах и умела ловко уклоняться от чувств, влюбилась она по-детски — в облик и в образ (и сама это поняла).

Хью Роуз возник однажды у неё на пороге с кипой журналов под названием «Fresco». Был он худой и слегка сутулый, у него были бледно-голубые глаза и рыжевато-золотистые волнистые волосы, местами торчащие, местами прилизанные, — выглядело это на первый взгляд как неудачная химическая завивка 30-х годов, но затем становилось понятно, что они просто не умеют расти по-другому. Фредерика купила журнал, угостила Хью растворимым кофе и спросила, почему журнал так называется. О, тут своего рода игра слов, отвечал гость важно-небрежно. Видите ли, журнал предназначен для публикации стихов свежих и точных, без неряшливости и сантиментов, ну а поскольку он задуман ещё и как международный, то итальянское слово «свежий», оно же «фреска», очень ему пристало. Вот, кстати, в этом номере напечатан его собственный

стишок про белую чашку Фантен-Латура[131], что в кембриджском Музее Фицуильяма. Хью показал стихотворение Фредерике, ей понравилось. Написано совсем короткими строчками, а не уже тогда приевшимся задушевно-разговорным, лирическим пятистопным ямбом. Без прикрас изображалась чашка с блюдцем, которую, в свою очередь, без прикрас изобразил живописец. Стихотворение не выражало никаких посторонних чувств, слова свежие и яркие. В этом же номере был ещё перевод стихотворения Малларме «Ses purs ongles»[132], подписанный «Рафаэль Фабер». Здесь она не поняла ровным счётом ничего, кроме того, что это, кажется, сонет. Но Хью Роуз её очаровал. Он пил её «Нескафе», покусывал печенье и вдруг с обезоруживающей непосредственностью и самоиронией заявил, с набитым ртом, что Роуз — цветочная, ну просто невозможная фамилия для поэта, особенно для такого, у которого круглые розовые щёки (у него они как раз такие), — чем окончательно покорил Фреде-

[131] Примечания: 131

Анри Фантен-Латур (1836–1904) — французский художник и литограф, один из предтеч символизма; имеется в виду картина «Белая чашка с блюдцем» (1864).

[132] Примечания: 132

«Её чистые ногти», знаменитый сонет Стефана Малларме, непревзойдённый образец поэтической зауми.

рику, сбил с насмешливого тона.

— Понимаешь, — продолжал Хью, — моя фамилия — это как препятствие, которое мне нужно преодолеть, имя — это данность, а данность ведь необходимо принимать? Согласна? Вот было бы у меня хотя бы несколько инициалов, звучало бы лучше. Можно было бы подписывать стихотворение, например, «Х. Р. Ф. Роуз». Уж получше, чем «Хью Роуз» — два жалких слога. Но родители решили не заморачиваться. Одно имя — меньше хлопот в банковских учреждениях.

— Мне всегда казалось, что «Поттер» тоже как-то не звучит.

— Ну, ты можешь выйти замуж, и будет другая фамилия. Ты могла бы стать даже Фредерикой Роуз.

— Ну уж нет. Мне нужно что-то вроде «Боуэн», «Сэквилль» или «Миддлтон» — благозвучное, но невычурное.

— Да, «Роуз» не благозвучно. У меня была девушка, которая называла меня «Роззи». Тоже неприятно.

— Тебе остаётся сделать свою фамилию выдающейся.

— Мой отец — выдающийся хирург.

— Выдающейся в литературных кругах! Чтоб,

услышав её, люди думали не о розовом цвете, розах или румянце, а об Элиоте, Йейтсе — и Роузе.

— Роуз — это розовая роза.

— Роуз, роуз. Если много раз повторить, — сказала Фредерика, — то это просто слово, которое оканчивается на «с». Как анчоус.

— Розовый цвет мне даже не нравится.

— А мне нравится! Когда была маленькой, вообще была от него без ума, но потом мне сказали, что он не идёт рыжим.

— Тебе нравился розовый, потому что это девчачий цвет. А вот я — рыжеволосый, ну или рыжеватый, с такой фамилией, и к тому же парень.

— Мистер Роуз, ваше серо-белое стихотвореньице про чашку меня весьма впечатлило.

Хью сочинил и посвятил Фредерике не слишком значительную балладу — «Песнь о рыжеволосой даме». Угостил её карри и китайским рагу и пригласил в университетскую библиотеку. Вёл он себя так, будто влюбляется (чего Фредерика предпочитала не замечать), и, желая поделиться важной частью своей внутренней жизни, подарил ей нечто удивительное.

Кафетерий в подвальном помещении библиотеки — место уютное, в воздухе витает аромат

свежей выпечки. Они сели лицом к стеклянной стенке со стеклянной же дверью, выходящей во внутренний дворик, что служит своего рода дном глубоченного, с кирпичными стенами, колодца. Посреди дворика на лужайке, у знаменитой магнолии (тогда ещё низенького кустика), сцепив руки за спиной, стояли и беседовали двое, облачённые в традиционные кембриджские мантии магистра гуманитарных наук. Хью Роуз шепнул:

— Вот самый умный человек, кого я знаю.

— Который из них?

— С тёмными волосами. Рафаэль Фабер. Специалист по Малларме.

— Впервые слышу.

Собеседники принялись не спеша обходить лужайку.

— Он член колледжа Святого Михаила. Выдающийся человек. Великолепный преподаватель. А ещё поэт. Настоящий! Устраивает у себя поэтические вечера, куда приглашает только избранных, — получить приглашение непросто. Мы и «Fresco» создали под влиянием его идей, хотим писать в его духе…

Тем временем мужчины подошли ближе и остановились по ту сторону стеклянной двери, отделявшей их от Хью с Фредерикой. Одного,

невысокого и лысеющего, Фредерика узнала: Винсент Ходжкисс — философ с того полузабытого пикника на вангоговском берегу в Провансе, он тогда ещё рассуждал о теории цвета Витгенштейна. Лицо второго мужчины… Это лицо с детства виделось ей в снах и грёзах, пока однажды его частично не заменило (а может, слилось с ним?) лицо Александра Уэддерберна. Сложно описать это лицо, не прибегая к клише, ведь именно из них оно родилось в сознании Фредерики — зыбко вычитанное из книг, подкреплённое фантазиями, составленное из заветных кусочков и словно просившееся теперь самостоятельно на бумагу. Итак, лицо: аскетическое, угрюмое, чуть брутальное, меланхоличное, с чёрными глазами из-под чёрных бровей и с прекрасными чёрными волосами по-над ними. При этом — не фантазия, а реальный, хотя и незнакомый ей мужчина.

— Боже мой, — выдохнула Фредерика.

Двое вошли в кафетерий, и Хью Роуз приветственно привстал:

— Рафаэль. — В дрогнувшем голосе уважение.

— Хью, — ответил Фабер. — Добрый день.

Очень чётко выговаривает. Не совсем по-английски.

— Это — Фредерика Поттер.

Рафаэль Фабер не заметил Фредерику Поттер. Он проследовал дальше, наклонив голову к собеседнику.

— На чём, говоришь, он специализируется? О чём читает лекции? Когда?

В орнитологии он бы был *сапсан*.

— На Малларме. А лекции его — о французских поэтах-символистах девятнадцатого века. По вторникам в одиннадцать, на Милл-лейн.

— Как получить приглашение на его вечер поэзии?

— Пишешь стихотворение, которое ему понравится. По крайней мере, так было у меня. А что?

— В жизни не видела такого красивого мужчину.

— Ты девушка, тебе так говорить не положено!

— Ты бы не возмущался, будь я твоим приятелем-мужчиной, а он — женщиной.

— Но ты не мужчина, и мне казалось, для девушек в мужчине внешность не главное. В Рафаэле — точно важна не внешность. А блестящий ум. Больше не стану тебя ему представлять!

— Тогда я сама что-нибудь придумаю, — вырвалось у Фредерики.

— Это ни к чему хорошему не приведёт.

— Может быть, — согласилась Фредерика, вер-

нув самообладание, собрав волю в свой довольно крепкий кулак.

На лекции Рафаэля Фабера студентов было немного, все сгустились в двух первых рядах внушительной аудитории-амфитеатра. Из всех в этом необычном тесном кругу Фредерика знала только Алана Мелвилла (хамелеона) и Хью Роуза — тот явно сомневался, стоит ли потесниться, чтобы она села рядом, но всё-таки потеснился.

Фредерика была не любительница ходить на лекции. Читать ей нравилось больше, чем слушать, к тому же большинство лекций в университете либо уже стали, либо станут книгами. Впрочем, ей довелось наблюдать воочию кое-какие любопытные лекционные представления: вот Томас Райс Хенн[133], опустив голову на кафедру, оплакивает судьбу короля Лира; а вот Фрэнк Реймонд Ливис брезгливо держит за уголок двумя пальцами экземпляр «Ранних викторианских романистов»[134], держит над мусорной корзиной

---

[133] Примечания: 133

Томас Райс Хенн (1901–1974) — ирландский литературный критик, президент кембриджского колледжа Святой Екатерины, автор книги «Урожай трагедии» (Harvest of Tragedy, 1956).

[134] Примечания: 134

Известная книга лорда Дэвида Сесила (1934), где критически — но, по мнению Ливиса, слишком поверхностно, внеисторично и неумело — оценивались известные английские романисты XIX в.

— и отпускает, — мол, пусть студенты поступят так же. В Рафаэле Фабере театральности не было, хотя со стороны могло почудиться, что в его речи присутствует некая осознанная игра с импровизацией, недосказанностью, незаконченной мыслью. Он объявил тему лекции: «Слова и имена — *les mots et les noms*». Начал говорить о воображаемом собирательном поэте, который верит: всё в мире существует для того, чтоб отразиться обобщённо в некой *книге*; к этой окончательной, идеальной книге поэт и даёт отсылки в своих стихах; эта книга — ненаписанная и, по мнению Рафаэля Фабера, таковою должна остаться. Если же поэт подобен Адаму, который нарекает имена всему, что растёт в Эдемском саду, то на каком языке поэт изъясняется?..

Рафаэль был столь же поразительно красив, как и показался ей давеча в библиотеке; такая внешность, казалось бы, располагала к драматической жестикуляции или пылкой манере изложения, однако ни того ни другого он себе не позволял. Рассказывая, он похаживал по кафедральному помосту взад и вперёд, ровно и плавно, взгляд устремлён не на аудиторию, а куда-то в пустое пространство. Иногда он вступал с самим собой в спор, говоря при этом с тихим нажимом, будто он

в зале один. Читать лекции подобным образом довольно рискованно — внимание аудитории может ускользнуть, — но Рафаэля слушали заворожённо.

Язык, объяснял он, некогда понимали как Адамово наречение имён, слова мыслились частью ими означаемого: слово «роза» расцветает на настоящей розе, подобно тому как сама роза расцветает на своём стебле. А затем (тут он стал приводить примеры, рисуя стройную и красивую историю открепления слов от предметов) люди начали всё больше задумываться о языке, воспринимать его как человеческое изделие, освобождённое от мира вещей; соткали этакую словесную паутину и набросили её на мир, чтобы назвать то, о чём мы имеем лишь смутное представление, к чему можем едва прикоснуться. И метафора, посредством которой, через воспринимаемое сходство, мы якобы постигаем суть, — не является ли она в самом деле лишь попыткой обрести хотя бы *какое-то* понимание мира? Мы уже далеко ушли от Платона с его простой иерархией: изображение цветка (или подражание цветку) — настоящий цветок — идея цветка. Рафаэль процитировал «Надгробный тост» Стефана Малларме, где в одной строфе даны привычные

имена цветков — роза и лилия, а в другой — их метафорические, поэтические обозначения, pourpre ivre, grand calice clair, *пьяный пурпур* и *ясная чаша*; поэтическое слово у Малларме как бы всё более точно указывает на область невыразимого, зияния, тишины. Кажется, что Малларме воспевает и оплакивает чудесный сад, когда-то полный воображаемых, но почти явственных бутонов, красок, переливчатого света, а нынче — населённый лишь бледными их призраками. Фредерика от таких рассуждений невольно поёжилась: ей померещилось, будто всё самое для неё важное вдруг заворачивают изящным, любящим жестом в обёртку абстракции и умыкают в неизвестном направлении. Она быстро накорябала у себя в блокноте и сунула под нос Хью Роузу строчки Китса: «Вольётся в ухо сладостный напев, но в сердце лишь немой напев вольётся»[135]. «Тсс», — прошипел Хью Роуз, хотя Фредерика едва шелестнула бумагой и вообще не произнесла ни слова. Рафаэль Фабер приблизился к краю помоста, и на мгновение его взгляд скользнул по ним. Он зачёл цитату:

— «Je dis: une fleur! et hors de l’oubli où ma voix

---

[135] Примечания: 135
«Ода к греческой урне».

relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave l'absente de tous bouquets»[136].

Только один этот раз за всю лекцию позволил он себе высокое красноречие, сотворил, словно волшебник, из тонкого воздуха нечто не бывшее здесь доселе — такого ведь и впрямь нет ни в одном букете! Позже Фредерика узнает, что он всегда оставляет за собой яркое последнее высказывание, неизменно не своего, а чужого авторства. Он слегка поклонился, запахнул полы мантии и выскользнул из аудитории.

— Это было прекрасно, — сказала Фредерика Хью Роузу; тот выглядел недовольным.

— Мне казалось, ты не ходишь на лекции, — заметил Алан Мелвилл.

— Мне стало интересно, какой он, — ответила Фредерика.

— И с чего бы это?

— Любопытство. А ты зачем ходишь?

— Чтобы лучше сдать выпускные экзамены. К тому же я его уважаю — он чётко мыслит и горит

[136] Примечания: 136

«Я говорю: цветок! и вне забвения (куда властно я ссылаю конкретные очертания вещей) музыкально поднимается, в виде чего-то совершенно иного, чем известные людям лепестки, та же пленительная идея, но какой нет ни в одном букете» (Стефан Малларме «Кризис стиха»).

своим делом.

Фредерика не очень представляла, как ей *подобраться поближе* к Рафаэлю Фаберу. Она чувствовала, что Хью Роуз сожалеет, что вообще о нём рассказал. Она отправилась в университетскую библиотеку и взяла сочинения Рафаэля — две тоненькие книжки стихов («Упражнения» и «Теплица») и коротенький роман («Неисследованные края»). Она заметила, что он часто допоздна работает в читальном зале Андерсона, и стала посиживать здесь сама, располагаясь незаметно за пару столов от него, так что ей открывался славный вид на его гладко-черноволосый затылок. Его стихотворения, да и роман тоже, представляли собой в некотором роде воплощение простора для мысли: на странице всего по несколько слов, чаще всего недлинных имён существительных — и со всех сторон щедрые, безупречно белые поля. «Упражнения» состояли из отдельных образных зарисовок: обеденный стол после еды, лужа бензина на дороге, шелестящий зерноэлеватор, компрессор подержанного автомобиля; некоторые стихотвореньица — не длиннее хайку, другие — из двух-трёх аккуратных четверостиший. Сборник «Теплица» для сдержанного автора-анахорета получился прямо-таки

сангвиническим — цепочка взаимосвязанных стихотворений о системе обогрева теплицы, о размножении, росте и гибели в ней растений. Настроение обоих сборников было слишком *мрачное* и *грозное*, рассудила Фредерика. (Это был исключительно лексикон Фредерики — автору бы, конечно, не понравились такие прямолинейно-эмоциональные эпитеты, как «мрачный» и «грозный».) Теперь она понимала, откуда взялось отстранённое стихотворение Хью Роуза о чайной чашке. Сильная сторона такого письма (а это безусловно была сильная сторона!) — точные слова и особая ритмика, пока ещё чуждая её уху, которую Фредерика тем не менее смутно улавливала. (Вот ещё одна загадка о врождённых и приобретённых способностях: откуда у нас слух на меру словесного звучания — с ним рождаются или мы способны его развить?)

«Неисследованные края» понравились ей куда меньше. Их главный и единственный герой — безымянный путешественник, который скитается по труднопостижимой местности в бурную, изменчивую погоду и постоянно, настойчиво, хотя и на разные лады, с разным ритмом и настроением, повторяет одну и ту же мысль: он должен найти *источник*, нельзя останавливаться. Прочи-

тав это произведение дважды, Фредерика пришла к выводу, что в названии кроется несколько вульгарное иносказание, которое у неё с щепетильным Фабером никак не вязалось. Макрокосм здесь одновременно и микрокосм, герой — как остров, весь в себе, за пределы себя ему не выйти. (Она допускала, что герой мог быть и героиней.) Лучше всего получились куски о неявных, подвижных границах познанного: кромка зрения; касание и повторное касание; эхо, отдалённое, от собственного голоса, в голове; воздушная кожа. «И ничего ведь нет в этом романчике, — подумала Фредерика после второго прочтения, — хотя бы примерно приближающегося к великолепному, игривому остроумию Эндрю Марвелла. У которого в „Разговоре души с телом“ тело жалуется на свою мучительную, ужасную и неестественную прямизну, наступившую оттого, что душою оно прошпилено снизу вверх!» (От любви, ну или того, что она сумрачно любовью величала, её глаз не затуманился, скорее наоборот — она стала ещё более строгим и дельным критиком.)

После лекции об «Иродиаде» Малларме[137] и нарциссизме, прежде чем Рафаэль успел сбежать, она тронула его за рукав и выпалила:

— Могу я попросить вас об интервью для «Кембриджских записок»? Я в восторге от ваших лекций. Мне…

— Зато я не в восторге от бесед с журналистами, — ответил Рафаэль Фабер. — Не было ещё ни одного интервью, о котором бы я потом не пожалел. Так что простите покорно.

Она написала ему письмо — о том, что хочет писать докторскую по метафоре, особенно её заинтересовала связь между образными прозрениями у Малларме, о которых Рафаэль говорил на лекции, и его собственными художественными приёмами в «Теплице», цветочными метафорами. Добавила, что прочла все его вещи, и не раз, и что они её потрясли. Рафаэль ответил. Он согласен на интервью:

---

[137] Примечания: 137

Поэма Стефана Малларме (1869), считается началом символизма в его творчестве. Иродиада здесь изображена вне контекста казни Иоанна Крестителя, а в ссылке в Галлии (о чём есть беглое упоминание в Библии). Образ Иродиады, в соответствии с уточнением самого Малларме, — лишь «плод чистого воображения». Живя в полном уединении, Иродиада наслаждается одиночеством. Упоенье собственной красотой превращает её в своего рода музу «искусства для искусства», в символ «чистой» поэзии.

Уважаемая мисс Поттер,

благодарю Вас за интерес, проявленный к моей работе. Если угодно, по будням меня всегда можно найти в моих комнатах, с 18:00 до 18:30.

Она сходила в парикмахерскую на укладку, прочла несколько его статей о метафоре на стыке веков. Она пребывала в волнении и лёгком испуге…

Я сказала, что Фредерика влюбилась в облик и образ. По крайней мере, так она сама рассудила. Затем она попыталась разобраться, что́ она имела под этим в виду. Влюбленность — для людей умных, наблюдательных, постоянно думающих — сладчайшая возможность поставить что-то выше рассудка и, пустившись по воле волн, дать чему-то себя захватить, поглотить без остатка. Фредерика, несмотря на свою порой неуклюжую и невоспитанную пылкость речей, всё же была человеком умным, наблюдательным и думающим. Из оков своего ума ей не выбраться, но ужасно хотелось на время их сбросить, начать чувствовать безоглядно. Существует биологическое затмение (также называемое любовью, взаимной и неодолимой), когда двое вдруг по-

нимают, что не могут расцепить своих рук, что теперь осязать, обонять, слышать ухом и нёбом, по крайней мере какое-то время, могут только друг друга. Фредерика никогда не испытывала подобного затмения, забвения себя, да и её равнодушные плотские эксперименты, с какой-то точки зрения, скорее не располагали, чем располагали к тому, чтобы потерять голову. И всё же она влюбилась в Рафаэля Фабера. Как же это? Почему?

Причин много, и они разные. Хороший социолог сразу отметил бы, каким её отвлечённым критериям Рафаэль соответствовал. Она говорила Алану и Тони, что хочет замуж за преподавателя. Она была предрасположена влюбиться в мужчину, которого Хью Роуз охарактеризовал как «самого умного человека». Часть её натуры (но только одна часть!) жаждала для себя *его жизни*: библиотека, уединение в ренессансной башне, умственная деятельность.

Можно истолковать влюблённость Фредерики с позиций психоанализа. Рафаэль старше её, преподаватель (и очень хороший), для неё — авторитет. Отец Фредерики — тоже преподаватель (и очень хороший). Александр — предыдущий предмет её воздыханий — работал с её отцом;

Александра она тоже воспринимала как авторитет, ей хотелось его или свергнуть с пьедестала, или соблазнить. Эта модель поведения была у неё хорошо закреплена.

К тому же, по крайней мере на первый взгляд, Рафаэль Фабер — с поправкой на современность — ничем не уступал желанным состоятельным холостякам с сельскими поместьями из романов Джейн Остин и даже обладал некой доброй, сострадательной, чуть родительской аурой попечительности, в духе мистера Найтли, героя романа «Эмма».

Если названные причины кажутся слишком рациональными, то можно прибавить подсознательный мотив — лицо, внешность. Александр казался ей очень красивым (таким он и остаётся, но теперь он далеко — в Блумсбери, занят размышлениями о Ван Гоге и угождением своим плотским желаниям). Красота имеет определённую социальную ценность, независимо от присутствия или отсутствия полового влечения сторон. Фредерика применяла слово «красивый» по отношению и к Александру, и к Рафаэлю совершенно серьёзно, без той иронии, с какой она порой произносила в мыслях — «красавчик Фредди». Как же мы выбираем любимое лицо? Есть

в истории человечества лица, к которым мир питал необъяснимо глубокую привязанность. Создатели кинозвёзд знают тайну неотразимых пропорций, линий, черт: расстояние между глазами, отношение длины лица к ширине, форма скул, проступающих под нежной кожей. Лица: как у Хелен[138], как у Мод Гонн[139], как у Мэрилин Монро. Если верить биологам, мы выбираем партнёра, с которым во многих мелочах имеем подобие — но не буквальное сходство. Другими словами, наш выбор падает на людей, у которых звенья пальцев, линия позвонков, ширина рта, тембр голоса, рост, почти наверняка запах — ближе, гораздо ближе к нашим собственным, чем у случайно взятого человека. Близки — не идентичны; нарциссизм и инцест — связаны слишком тесно, и не зря мудрые певчие птицы, хорошо помня родительскую последовательность нот, образуют пары с теми особями, которые пропевают свои коленца похоже, но с какой-нибудь дополнительной ноткой, вариацией.

---

[138] Примечания: 138

Полное имя: Хелен Энн Ричардсон (род. 1938) — индийская актриса и танцовщица, лауреат престижных индийских премий.

[139] Примечания: 139

Мод Гонн (1866–1953) — англо-ирландская революционерка, феминистка и актриса, муза поэта Уильяма Батлера Йейтса.

У Билла Поттера благородно-рыжие волосы. Фредерика унаследовала его волосы, но не умела испытывать притяжение молодых мужчин с такими волосами. Фредерике было бы неприятно, если б Хью Роуз вдруг стал к ней приставать, и даже не потому, что он на животном уровне, увы, не источал мужскую уверенность и раскованность, а просто оттого, что его рыжина, розовые щёки и голубые глаза подпадали для неё под табу, о существовании которого она тогда не догадывалась (и узнала много позже). Но при этом, возможно из-за некоего подспудного отождествления себя с Хью Роузом, она легко поверила ему на слово, когда он горячо похвалил талантливого Рафаэля Фабера — бледно-оливкового, благородно-черноволосого!

Что она испытала, когда у библиотечной магнолии «узнала» это лицо, когда, сидя на скате лекционного амфитеатра, отпечатывала в памяти беспокойно-надменное его выражение, — влечение или что-то ещё? Она грезила о Рафаэле Фабере. Это было что-то вроде снов наяву, медленных, странно растянутых фантазий, в которых сложно, страшно медленно *приближалось её сближение* с Рафаэлем, которое оказывалось еле внятным, едва уловимым… вот он чуть задевает

её плечо своим на узкой лестнице, ведущей в кафетерий… вот однажды замечает её в библиотеке, подходит, встаёт рядом с её креслом… и тогда… может быть, он почувствует и поймёт наконец?.. (Бывали у неё, наоборот, и стремительные фантазии — кататься по залитой солнцем траве, плавать нагишом, впрыгнуть прямо в постель — и за дело; в таких фантазиях действующим лицом изначально был Александр, потом какие-то незнакомцы… а в одну плотоядную неделю даже Мариус Мочигемба, однако же Рафаэль в этих быстрых картинках не участвовал никогда.)

Помимо социологического, психологического и эстетического, есть мифологическое…

Ещё маленькой девочкой она рассказывала себе на ночь одну и ту же бесконечную сказку, проживала некий миф: бесконечно бродила одна в диком лесу в окружении разных зверей — львов, пантер, леопардов, диких лошадей, газелей. В этом царстве зверей она была царицей: тушила лесные пожары и находила воду, улаживала распри, перевязывала раны, мчалась во главе своей грациозной стаи по пёстрым полянам. На ней неизменно было летящее розовое одеяние и белая с розами вуаль; откуда в её детских фантазиях взялся этот наряд, она обнаружила только

в тридцать пять — и немало изумилась! Оказалось, дома на одной из расписанных вручную тарелок (одна из немногих семейных реликвий Уинифред) изображена пышногрудая светловолосая нимфа, она висит над пропастью, цепляясь за реденький куст, за ней — голубое небо, бегущие облака. Следовательно, лес она начала воображать очень рано, года в три-четыре (когда ей ещё никто не успел сообщить, что розовый рыжим не идёт). Позднее, лет в восемь-девять, в лесу возник мужской персонаж: красотою он походил на благородного, бледного и темноволосого Рафаэля Фабера, а внутренне обладал набором трудносовместимых качеств, которыми был обязан мистеру Рочестеру из «Джейн Эйр», печальному и грешному рыцарю Ланселоту Озёрному из легенд о короле Артуре, меланхоличному мушкетёру Атосу и прочим невинным книжным сердцеедам. Рыцарь Фредерики был прекрасен, но имел слабости, из-за которых часто попадал в беду и нуждался в спасении. Когда его спасали (как Ланселота — Лилейная дева из Астолата, как Бритомарта — Артегэла[140]), он вновь обретал силы, становился даже несколько

[140] Примечания: 140

Бритомарт и *Артегэла* — герои поэмы Эдмунда Спенсера «Королева фей» (1590).

жестоким — думал лишь о собственных целях. Дева Фредерика принималась горевать; рыцарю между тем устраивали засаду (фея Моргана, ирландские крестьяне, волшебники…), и ничего не оставалось, как вновь его выручать. Собирательный рыцарь из ранней сказки Фредерики — даже больше чем ренессансно-георгианский сердцеед её отрочества — походил лицом на Рафаэля Фабера. Но — как же лицо это возникло в её сознании, как она собрала его черты? Может, это мужское ответвление её детского солипсического «я» — то же, но иное. Полагаю, что нет: скорее всего, лицо это сложилось из подвижных культурных стереотипов. Чёрные волосы и глаза вкупе с сардонической худобой лица намекали на притягательную порочность их владельца, внушали мысль о дьяволе и Байроне. Но была в этом лице и некая «ранимость»… Его антипод — светлые волосы, здоровый овал, решительный подбородок, праведность, надёжность — никак не фигурировал в юных женских драмах Фредерики… Разве не удивительно, насколько в действительности разнообразны человеческие лица, какие между ними имеются хитрые различия, какие тайные склонности, личные истории стоят за той или иной конкретной физиономией?

Но ещё более удивительно — до чего же прочно в той или иной культуре так называемый «тип лица» соотносят с определённым строем мысли и даже определёнными нравственными представлениями. И вот, приходится страдать ни в чём не повинным лордам (не Байронам!), да и вообще обладателям лиц, соответствующих архетипическому образу. Что, если у Хью Роуза были бы скулы Рафаэля Фабера? И наконец, всё вышло так, как вышло, — просто по воле случая или было предопределено, неумолимо?

Фредерика постучала в дверь его комнаты, сердце сладко колотилось. Он открыл с таким видом, будто готов тут же исчезнуть, захлопнуть дверь у неё перед носом; она поспешно представилась и напомнила причину своего визита — тогда он улыбнулся:

— Конечно-конечно, проходите, мисс Поттер, присаживайтесь. Вот сюда, в большое кресло. Пожалуйста. Могу я угостить вас хересом?

— Да, благодарю.

Окна выходили на реку, которая словно заглядывала в комнату своим бледным, водянистым светом; чуть обок открывался смутный вид на то цивилизованно-дикое место, где паслась корова из философской беседы героев Форстера. В ком-

нате царила безупречная чистота, ни грязинки ни пылинки, и, кроме блёклого кубистического коллажа над камином (вдоль условных тонких линий-струн — наклеенные-пришпиленные — бледно-голубая бутылка, полкорпуса скрипки из старых газет, стилизованная розочка из алой пряжи), здесь не было совершенно ничего цветного. Вдоль стен тянулись полки, заставленные книгами; расположение корешков было до странности геометрически выверенным, что, вероятно, отчасти (но лишь отчасти!) диктовалось тягой к единообразию в издательском деле у французов. Квадратные кресла, покрытые неотбелённой льняной тканью. Письменный стол без чернильного пятнышка, пустой. На столике, где Рафаэль Фабер аккуратно наливал в небольшие рюмки на длинной ножке херес, в вазе из дымчатого стекла стояли белые фрезии. В комнате не было ничего красного, жёлтого, зелёного или синего — одно серое, бежевое, коричневое, чёрное или белоснежное, вплоть до льняных штор. Фредерика поправила юбку и села. Рафаэль Фабер протянул ей рюмку с хересом и, неожиданно, кусочек рассыпчатого пряного пирога, тёмного, на белом фарфоровом блюдце. Он аккуратно закрыл жестяную коробку с пирогом, смахнул пару крошек

со стола, молча сел в своё кресло за своим столом, отрезая Фредерику от света. Посмотрел куда-то в пол, потом — в окно, потом, коротко, почти сразу опустив глаза, — на Фредерику. Та же пыталась справиться с неловкостью, забыть о том, что лямка бюстгальтера подколота булавкой, стрелка на чулке, возможно, переехала, а шея ужасно вспотела. Он ждал, вежливо и отстранённо, когда она заговорит сама.

Фредерика впервые в жизни брала интервью и, к собственному удивлению, задним числом ощутила вдруг солидарность с Аланом и Тони (хотя они и покромсали тогда её личность на мелкие, забавные кусочки).

Для начала она спросила: не сложно ли совмещать писательскую, исследовательскую и преподавательскую деятельность? Способствует ли атмосфера Кембриджа сочинительству?

— А почему она не должна способствовать? — усмехнулся хозяин. — Мне кажется, эта сложность надуманная. Хорошие писатели должны быть хорошими исследователями. Писательство — дело культурное, а Кембридж — вполне культурное место.

Фредерика решила не отступать:

— Я заметила, что моим ровесникам здесь

пишется трудно. Возможно, из-за того, что они встречают слишком много критики. Они подавлены, их запал иссякает.

— Может быть, писательство — не для них? Или они ещё не сформировались.

Он был вежлив, но мерещилось что-то слегка… враждебное? резкое? уничижительное? — в его ответах, лёгкий намёк на то, что у человека, задающего подобный вопрос, изначально глупые представления. Рафаэль страшил её. При взгляде на его красивое лицо внизу живота разбегались сладкие иголочки, что очень отвлекало. Она поспешно спросила о поэтах, которые оказали влияние на его творчество.

— Надеюсь, вкусы мои достаточно широки. Безраздельно никто на меня не повлиял. Меня вдохновляют некоторые современные французские авторы. Да ещё кое-какие недооценённые американцы. Уильям Карлос Уильямс[141], к примеру.

Произнёс он это таким тоном, будто даже не допускал вероятности, что Фредерика знает, кто такой Уильям Карлос Уильямс, и уж тем более знакома с его поэзией. Когда она спросила, что

---

[141] Примечания: 141

Уильям Карлос Уильямс (1883–1963) — американский поэт, творивший в русле авангардизма.

он сам читал в детстве, он ответил, что раньше много читал на немецком. Затем, уставясь в окно, проговорил немного монотонно:

— Я беженец, изгнанник. Я забыл немецкий. Я человек без родного языка.

Последняя фраза (даже не интонация, с которой была произнесена, а сам смысл) заинтриговала Фредерику. Она понимала, что повторял-то он всё это много раз: фразы отшлифованы до точных, сухих формулировок, чтобы быстро, не затрачивая душевных сил, отмахиваться от назойливых вопросов. Но внутри у неё всё кипело от злости: *её* он не замечает, даже не смотрит в её сторону! Вдруг в ней проснулась журналистская жилка, о существовании которой она не подозревала. Надо как-то пробить его вялость, его броню!

— Стихотворения в «Упражнениях», — вкрадчиво заговорила она, — посвящены предметам, которые являются как бы продолжением человеческого тела. Разные приборы и машины, в суть которых мы проникаем. Точное изображение реальных предметов. Но почему же тогда от них веет такой угрозой?

— В одной статье, — отвечал он, — написали, что в этом цикле нашла отражение характерная для современного человека неприязнь к инду-

стриальному обществу.

— О нет, на самом деле всё не настолько тривиально. Мне думается, эти стихи, они о том, как наши тела переходят в эти предметы — кронциркули, щипцы, объективы камер. По сути, вы ведёте речь о границах, о пограничных территориях. Как, собственно, и в «Неисследованных краях», но там есть особые оттенки.

— Возможно. — Он оживился, выпрямился в кресле. — Давайте налью вам ещё хереса. Кроме того, ведь это стихи об упадке, о Европе, обезображенной промышленностью и войной.

— Моё любимое стихотворение, мне оно видится ключевым — о разлитом на щебёночной дороге бензине.

— И почему же оно ключевое?

Фредерика пустилась в рассуждения, мысли приходили на ходу:

— Потому что оно самое текучее. А ещё самое метафоричное. Вы передаёте ощущение бензиновой лужи образами — радуга, отражение неба… А когда описываете, какая она тёмная и мокрая, мне сразу приходит на ум пролитая кровь, не знаю почему. Или я ошибаюсь?

— Нет-нет. Напротив, вы правы. — Он налил ещё хереса и повернулся к ней, от улыбки его

лицо преобразилось. — Ни один рецензент не обратил внимания на это стихотворение. Оно и моё любимое тоже.

— Оно поразительно точное, и при этом его смысл выходит далеко за его пределы…

— Именно. Я намеревался сделать то же и в «Теплице», но, по-моему, там ни одно стихотворение так не работает?..

Фредерику удивило, как ожил и разговорился Рафаэль Фабер, стоило ей похвалить его созерцательное стихотворение о разлитом на дороге бензине. На самом деле ничего удивительного в этом не было. Впоследствии, когда она будет работать журналисткой, она не раз заметит, с какой чрезмерной лёгкостью люди проникаются к собеседнику, как радостно принимаются тараторить, когда видят, как нечто сложное, только им понятное — будь то их мысли или нечто ими созданное, — наконец-то понято и оценено кем-то по заслугам! Но тогда, в комнате Рафаэля Фабера, её больше занимал её собственный новый опыт, эмоциональный и социальный. Наблюдать, как мужчина, принявший тебя за очередную глупышку, начинает воспринимать тебя всерьёз, — в этом есть что-то одновременно лестное и унизительное, подумала Фредерика. С

нею вечно так случалось: общество было для неё полем битвы, где она пыталась доказать всем, что умна и способна поддержать интеллектуальную атмосферу. Теперь она завладела нитью беседы: высказала предположение, что приборы и машины в «Упражнениях» — родственники механического оборудования в «Теплице». Рафаэль оставил своё кресло, в котором ещё недавно восседал картинно-невозмутимо: принялся мерить шагами комнату и многословно, живо, взахлёб говорить о насосах, котлах, водонагревателе, стеклянных створках, телефонной будке, автомобиле, перьевой ручке. Он поведал Фредерике краткую историю метафор, связанных с прививками и размножением растений, сообщил, что собирается написать эссе о человеческом сердце как насосе, в буквальном и переносном смысле слова. Подливал ей хереса. На одно неловкое мгновение ей показалось, что он готов вспылить: когда она предположила, что «Теплица» и «Неисследованные края» — взаимосвязанные микрокосмы…

Вскоре Фредерика ощутила, что интервью с писателем или поэтом может становиться и странно-неловким, наталкиваясь на что-то тёмное, потаённое в их мире. Её внимание привлёк

образ корней, жутковатое выпуклое присутствие корней. Фредерике подумалось, что есть какая-то связь, преемственность между метафорами телесных границ в «Неисследованных краях» и метафорами запертых живых организмов в более ранних книгах, «Упражнениях» и «Теплице». У одного из растений в теплице — слепые и жадные воздушные корни с уродливой кожей, приподнятые над землёй. Некоторые сочетания слов, их повторения, описание в «Упражнениях» резервуарчика в перьевой ручке, с присвистом втягивающего воздух и чернила… Она рискнула высказать догадку, что ручка и корни связаны, являются частями одного образа. В «Неисследованных краях» самым отталкивающим, натуралистично изображённым объектом, своего рода *вещью вещей*, был громадный фикус-баньян; от своих нижних сучьев он выпускал вниз всё больше и больше сосущих корней, которые спутывались, образуя шатёр со множеством арок, пещер и проходов, не дерево, а этакий взбухший тайник, скопище естественных капканов, сетей, силков. Героя-исследователя угораздило забрести в эти растительные пещеры, в одной из которых его пытается схватить большой зверёк ленивец, пожиратель лотоса. Сцена омерзительная, что

и говорить! Фредерика сидела и слушала, как Рафаэль самозабвенно рассуждает о тонкостях своего произведения, и чувствовала, что образ корней, картина корней начинают преследовать её как наваждение, рождая в голове знание о Рафаэле, которого лучше бы, наверное, не иметь вовсе; вряд ли он желал бы ей такого знания — да имел ли он его и сам? Она уже начинала сомневаться, что он мог вложить всё это в текст осознанно. О каких бы материях он ловко ни рассуждал в теории, он не производил впечатление человека, готового честно признать, что некоторые важнейшие черты его текстов не являются результатом сознательных решений.

Интеллектуальные революции обладают сильно отложенным воздействием на умы людей и, кроме того, меняя мир, меняют и свои собственные черты. Вряд ли подлежит сомнению, что Фрейд и освободил и глубоко встревожил человечество, установив связь между источниками нашей энергии и нашей собственной сексуальностью, от которой нет спасения. (Впрочем, слово «спасение» пришло к нам в результате совершенно иной интеллектуальной революции, имевшей место гораздо раньше и заветы коей сейчас вспоминают и применяют лишь время от

времени.) В последнее время среди интеллектуалов стало модным писать не о влечениях людей, а о влечениях вещей: о влечении текста к себе или к другому тексту, о влечении языка к непостижимому референту. Тогда как более ранний литературный герой, бедный отвратительный мистер Клоп из «Неуютной фермы»[142], в каждом облаке, кусте, даже пчеле видел фаллические признаки, любая припухлость местности наводила его на мысль о грудях или бугорке Венеры. Профессор Вейннобел впитал эти идеи и дразнил или раздражал Александра Уэддерберна, сравнивая бутылки, кувшины и кофейники с мужскими или женскими органами. Когда Фредерика была студенткой, существовала мода мыслить «символами». Причём символы эти воспринимались как фрейдистские даже теми мужчинами и женщинами, которые сроду не читывали Фрейда, но всё равно откуда-то знали, что перьевые ручки, шляпы и ключи символизируют пенис (в поздней трактовке сновидений у венца это и впрямь так). Впрочем, известны были и более универсальные символы, например чучела-куклы из соломы, и прочие, о которых написал Джеймс

[142] Примечания: 142

Первый и самый известный роман (1932) Стеллы Гиббонс, английской писательницы и поэтессы (1902–1989).

Фрэзер в «Золотой ветви»[143]. Копьё, которым Лонгин пронзил бок Христа, и святой Грааль, наполненный кровью, тоже относились к мужским и женским символам плодородия. Это было ясно как день; зато теперь совершенно неясно, что подлежит *спасению* и *искуплению*, а что нет… Однако вернёмся к корням. Как написал Т. С. Элиот в своей знаменитой поэме: «Апрель… возбуждает дряблые корни дождём весенним»[144]. Фредерика почти ничего не знала о Рафаэле Фабере, но она знала, как толковать корни. Поэтому в нижних кущах фикуса-баньяна (которые сам автор ярко описал как «мерзкие», «раздутые», «непроходимые» и «опасные» — странная щедрость на эпитеты, учитывая, что Фабер в принципе не жаловал прилагательные) она разглядела запутанные в неимоверные узлы половые органы. Иногда Фредерика ловила себя на мысли: как хорошо было бы при виде ручки-самописки думать просто о ручке, шляпы — просто о шляпе, ключей — о ключах. Как-то раз она, помнится, вязала из толстой пряжи только что вошедшим в моду

---

[143] Примечания: 143

Сравнительное исследование мифологии и религии (1890), считается вехой в истории антропологии.

[144] Примечания: 144

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» (1915).

двусторонним английским способом; ритмичное проникновение толстой притупленной спицы между шерстяных узелков, с последующим полуизвлечением, навеяло мысль о половом акте, отчего она сама себе возмутилась, почувствовала себя зашоренной. Но как было не подумать… В голову тогда полезли ещё и другие аналогии из книг; потом невольно начали представляться все разнообразные экземпляры мужского органа, с какими когда-либо имела дело: белые, тоненькие, вялые; худощаво-крепкие, испещрённые венами; тёмные, коренастые, с шарообразным утолщением на конце; розовые вздёрнутые; блестящие, пунцовые и фиолетовые; опавшие и сердито вздыбленные; взятые отдельно, но притом универсальные. Заставило ли её это воспоминание вообразить тот экземпляр, что прятался в благообразных фланелевых брюках Рафаэля Фабера? Нет, но зато её внимание заострилось на густых, гниловатых зарослях, на опавшей листве вокруг фикуса-баньяна, и она почуяла в авторе страх и отвращение, о природе и причине которых она не имела права знать или даже строить предположения.

— Не скрою, — осторожно начала она, — меня особенно впечатлил баньян.

— О, это древо греха из «Потерянного рая», — ответил Рафаэль, к её удивлению. — Не древо жизни и не древо познания добра и зла, а индийская смоковница, из листьев которой Адам и Ева сшили себе одежду. Отсюда, кстати, можно протянуть ниточку к той смоковнице, которую Христос проклял, когда не нашёл на ней плодов[145]. Мильтон пишет, что Адам с Евой в поисках материала для одежды пошли «в густейший лес…»

— А дальше?..

Рафаэль прочёл с выражением:

— Так рёк Адам, и вот в густейший лес
Пошли и фигу выбрали, не ту
Смоковницу, плодами знаменитую,
Но древо, что индусам в Малабаре,
В Декане всем известно, что обширно
Вниз руки-ветви простирает, корни
От них пуская в землю, так что сонм
Дочерний подле древа материнска
Подобен колоннаде с звучным эхом…

---

[145] Примечания: 145

«Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошёл к ней и, ничего не найдя на ней, кроме листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла» (Мф. 21: 18–19).

Это древо греха, — продолжал Рафаэль, — потому что не является *единым*. Путь истины всегда один, как одно — древо жизни. А путь греха — разветвлён, как корни смоковницы, как головы Цербера или гончих псов брахманского ада. Смоковница производит своих дочерей от самой себя, подобно тому как грех отпочковывается от греха.

— На лекции о Малларме вы говорили, что невозможно передать «le bois intrinsèque et dense des arbres»[146].

— Есть ещё сартровское дерево из «La Nausée»[147] — безымянное, не поддающееся описанию. Нечто *иное*, не переносимое сознанием.

— Я не читала «La Nausée». Но читаю Малларме.

— Я дам вам «La Nausée». Не хотите со мной поужинать? Я обычно обхожусь редисом и сыром с вином. Вас устроит?

Конечно, устроит. Рафаэль подготовил трапезу и, теперь уже чувствуя себя расслабленно в её компании, рассуждал увлечённо и пылко о культурной «островной» замкнутости и огра-

---

[146] Примечания: 146

«Истинную плотную древесину дерева» — из книги стихопрозы и статей Малларме «Блуждания» («Divagations», 1897).

[147] Примечания: 147

«Тошнота» — роман Жана Поля Сартра.

ниченности англичан. Фредерика пожёвывала кусочки сыра и охотно соглашалась, мол, англичане действительно довольно ограниченная нация. В качестве примера она привела избыточное — и весьма её раздражавшее — преклонение перед английской благопристойностью в «Везунчике Джиме». Рафаэль «Везунчика Джима» не читал. Он протянул Фредерике бокал с вином и сказал:

— И при этом англичане не чувствуют своих корней.

— Я чувствую. Очень живо.

— Но вы, как я понял, еврейка.

Фредерика уставилась на него. На миг увидела себя его глазами: рыжие волосы, заострённые черты лица, неутолимая жажда знаний. Взгляды их скрестились, и оба покраснели.

— Нет-нет, что вы. Моё происхождение — чисто англосаксонское. Все предки — англичане, насколько нам известно. Мы с севера Англии, понимаете? Для нас там наши корни очень важны. Север Англии, нижнее среднее сословие. Церковные диссиденты.

Она выложила все ярлыки, которых втайне надеялась избежать. Рафаэль, кажется, ничего не понял и был озадачен, будто она сообщила что-то

непостижимое его уму.

— Как странно. Как странно, что я ошибся. Обычно я не ошибаюсь в этих вещах. Почему же я решил, что вы еврейка?

Она не нашлась с ответом. Он нахмурился. Ошибаться он не любил.

— Вы, наверное, совершенно иначе чувствуете свои корни, — наконец промолвила она.

— Я родился в Любеке. Это родной город Томаса Манна. Знаете Томаса Манна?

— Да, мы в школе читали «Тонио Крёгера» на уроках немецкого. Для сдачи на аттестат.

— Тогда кое-что о национальном самосознании немцев вам должно быть известно. Моя семья не была религиозной, мы не строго придерживались иудейских обычаев, но всё же мы евреи. В тридцать девятом я приехал в Англию. Без гроша. Квакерская благотворительная организация устроила меня учиться в частную среднюю школу в Саффолке.

— Вы приехали один?

— Ещё мать. И сёстры. Отец… вообще вся мужская половина семьи — дед, дяди, старший брат… все погибли в лагере, в Берген-Бельзене.

Он произнёс это будто с каким-то вызовом. Ей даже показалось — но, может, она ошиблась, — с

некой враждебностью. Нет, *её* он ни в чём не обвинял, но в голосе словно сквозил укор, и ей, девушке из семьи церковных диссидентов с севера Англии, ничего такого за свою жизнь не пережившей, сделалось стыдно, хотя она не могла понять, почему и за что именно.

— А где ваша мать и сёстры? — смущённо спросила она.

— Живут недалеко от Кембриджа, так сказать, в его окрестностях, в небольшом сельском домике. — Он примолк. — Здесь, на востоке Англии, неместных, говорят, особенно не жалуют.

Фредерике отчётливо представилась его семья: темноволосая печальная королева-мать, окружённая стайкой темноволосых печальных дочек-принцесс в кружевных чепчиках и белых передниках. Взращивают свой сад, сад в чужой стране. Ей хотелось крикнуть: расскажи, расскажи мне всё! — но между ними, их жизнями, была такая бездна, что она даже не знала, как лучше подступиться. А он вдруг сам начал рассказывать, скупо и сухо, без какой-либо эмоциональной ноты, причем она уже слышала похожие истории: он в страхе спрятался в шкафу, а всех мужчин-домочадцев загнали в угол и уволокли прочь; потом остальная семья спасалась, сначала пешком,

потом в повозке (под конскими попонами), днём спали в амбарах, а ночью ехали или шли, пока наконец не достигли моря и не сели на траулер, который холодной ночью, рассекая тёмные воды, доставил его и других беглецов в Англию.

— Нам встречались разные люди, невероятно добрые и невероятно жестокие. И мне постоянно, постоянно было страшно.

Фредерика понимала — в её воображении всё не так, как было на самом деле; она добросовестно попыталась себе представить, через что он прошёл, но в голове возникали лишь кадры из второсортных фильмов, проникнуться же хоть на йоту тем, настоящим ужасом она не могла…

Он спросил о её корнях. Но как всё это объяснить? Неповторимые особенности йоркширского жилища, всепроникающий дух морали, жадная воля к карабканью наверх… всё это вдруг начало блёкнуть и расплываться, не желая укладываться в слова. Между вспышками гнева Билла Поттера и зверствами в Берген-Бельзене — пропасть. Она неуверенно лепетала что-то, внимательно следя за его выражением, и поняла: ему никогда не взять в толк, что такое «нижнее среднее сословие»; почему густая местная или более прилизанная, образованная речь может опреде-

лять твою судьбу. Уже совсем отчаявшись, она выпалила:

— Понимаете, мои корни — как у Д. Г. Лоуренса. Та же среда. Мы всё время пытаемся улучшить своё положение, как честолюбивые героини романа «Влюблённые женщины».

Ей ещё ни разу в жизни не доводилось использовать слово «мы» в таком значении — имея в виду людей с севера Англии как некую особую народность.

— А я вот не могу читать Лоуренса. Меня раздражает его самоуверенный, задиристый тон. Его герои не взяты из жизни, таких людей просто не бывает. Да и вообще, сегодня уже мало просто выдумать персонажей, дать им имена, обозначить их место в обществе и приправить всё это многословными описаниями нарядов, богатых поместий да вечеринок. Время подобной литературы прошло.

Он был очень раздражён, он терпеть не мог Лоуренса. К этому она тоже была не готова. Она спросила робко, что же тогда, на его взгляд, стоит читать, — и он моментально забраковал всех её любимых авторов: Толстого, Джордж Элиот, Джейн Остин, — что в них толку, у них, мол, одни лишь пустые подробности. А ведь это её любимые

книги, в которых живут любимые и родные персонажи! Князь Андрей с его маленькой княгиней, чувством долга и сомнениями; Доротея Брук[148], которая решила из моральных побуждений принять предложение высохшего священника; другой священник, Генри Тилни[149], который полюбил только в ответ и потому, что ему нравилось обожание… Очень странным был этот первый разговор с Рафаэлем Фабером. Казалось, Рафаэль был невероятно с ней чуток и вежлив; и в то же время с какой-то настойчивой, нервной решительностью открывал ей кусочки своего «я», вещи, которые она просто не способна была вообразить (в отличие от более понятных ей душевных движений и поступков Руперта Биркина[150] и Пьера Безухова). Настроение его менялось во мгновение ока: то он с яростью блестящего теоретика напускался на любые произведения, в которых есть выдуманные герои, на литературные вычуры, на провинциально-островной характер английской словесности и

---

[148] Примечания: 148
Героиня романа Джордж Элиот «Миддлмарч».

[149] Примечания: 149
Герой романа Джейн Остин «Нортенгерское аббатство» (1798).

[150] Примечания: 150
Герой романа Д. Г. Лоуренса «Влюблённые женщины».

косноязычие здешних писателей, то вдруг голос его делался мягок и успокоителен. Такому разговору (по всем признакам его и эмоциям) впору было происходить между влюблёнными, когда они впервые пытаются узнать друг друга, рассказывают свою жизнь в обмен на такой же рассказ. (После этой беседы он уже никогда не двинется ей навстречу с той же лёгкостью и откровенностью, как в этот первый раз.) А Фредерика, та еле-еле, мучительно подбирала нужные слова. Ещё бы, ведь Рафаэль — человек без родного языка! До разговора с ним она не задумывалась о том, что её родной язык может быть не понят, успех общения, полагала она, зависит лишь от неё, от её владения речью. Но, увы, всё, что она ни говорила, было для него пустым звуком, к тому же он из принципа, наверное, презирал весь очерк, весь сюжет её предшествующей жизни.

Когда собиралась уходить, он дал ей две книги: «La Nausée» и «Мёрфи»[151]; а ещё — несколько тоненьких машинописных листков, стихи!

— Мне бы хотелось узнать ваше мнение. Я назвал это стихотворение «Любекские колокола» — колокола, что в церкви Святой Марии в Лю-

---

[151] Примечания: 151
Роман ирландского писателя Сэмюэля Беккета (1938).

беке. Я туда ездил в пятидесятом, посмотреть на родные места. Во время бомбардировки город почти сровняли с землёй. Все церковные ценности спрятаны были в подвалах под колокольней — считалось, это самое безопасное место. Когда стали рваться авиабомбы, колокола слетели с колокольни, словно украшения с торта. Слетели и впечатались в мостовую. Там они и пребывают поныне, тонны искорёженного металла. Решили их оставить как есть, и строят вокруг них капеллу. И вот мне захотелось… написать об истории Европы. Но там конца ещё не видно.

Она не поняла, имеет ли он в виду стихотворение или историю Европы.

Она побрела обратно к себе по ясному, серому Кембриджу. От Рафаэля у неё голова шла кругом. Он одолжил ей книги — а это кое-что значит, всем известно, что дать книгу — всё равно что протянуть ниточку. По этой ниточке придёшь обратно. Едва она перестала видеть Рафаэля, её отпустило болезненное смятение, сердце вновь запело влюблённо. Она мысленно перечислила всё, что в нём можно любить: грусть, точность мысли, печать пережитого в глазах и на челе, богато-яростная внутренняя жизнь. Вспомнила, как под его пристальным взглядом объясняла,

что не еврейка. Да, их ничто не объединяет. Она влюблена в чужеземца, незнакомца. Границы её мира раздвинулись.

Фредерика долго обдумывала, когда лучше вернуть «Мёрфи» и «La Nausée». Стихотворение она решила пока не отдавать — чтоб остался повод ещё увидеть Рафаэля. К тому же оно было непонятным. Только одну строчку она полностью уразумела, знакомые слова Офелии: «как сладкие колокола, гласящи вдруг нестройно, дико»[152]. Небольшие островки слов, без знаков препинания, располагались на страницах странным, прямоугольно-ступенчатым узором — будто некий графический код или головоломка на сообразительность, решить которую Фредерике не под силу. Там были какие-то немецкие и, кажется, еврейские имена, названия; цифры, расстояния, в милях и километрах. Где-то Рафаэль играл словами — Гримм, гримаса, grimmig, grimoire. «Grimoire» впервые встретилось ей, когда она продиралась через «заумное» стихотворение Малларме «Prose — pour des Esseintes», и ей пришлось посмотреть это словечко в словаре: «книга заклинаний; колдовская книга; тарабар-

[152] Примечания: 152
У. Шекспир. Гамлет. Акт III, сц. 1.

щина, бестолковщина». Серые семена зонтичных растений уподоблялись пеплу, который развеян по ветру, — метафора знакомая, но здесь однозначно — звучит более зловеще. Перекликались ещё слова «Mann»[153], «мужчина» и «мужественный». Она распознала аллюзии на «Доктора Фаустуса»[154] и Адама Кадмона[155]. Она понимала, что стихотворение — о газовых камерах и бомбардировках, церквях и концентрационном лагере, — но не улавливала, по какому принципу оно выстроено. Она всё сидела и сидела над ним, мучительно обдумывая. Романы же тем временем решила вернуть. Явилась и постучала в дверь.

Он открыл и скользнул по ней взглядом так, будто впервые видел.

— Я принесла ваши книги, — сказала Фредерика.

— Благодарю. — Рафаэль Фабер протянул руку.

— Я не очень поняла сцену с песней в конце

---

[153] Примечания: 153
Мужчина, человек *(нем.)*.

[154] Примечания: 154
Роман Томаса Манна (1947) о композиторе Адриане Леверкюне, который вступает в сделку с дьяволом.

[155] Примечания: 155
Адам Кадмон (предвечный человек) — в каббале первое явление Божества, универсальный архетип всего сущего.

«La Nausée», — начала Фредерика (стараясь упомянуть хоть что-то на самом деле ей понятное, о чём и поговорить можно).

— Прошу извинить. У меня гость.

Рафаэль не двигался с места, загораживая ей вход. В бледном свете комнаты она всё же разглядела фигуру, как-то неопрятно рассевшуюся в кресле, — философ Винсент Ходжкисс.

— Простите, что потревожила. Я пойду.

— Может быть, заглянете как-нибудь в другой раз… — сказал Рафаэль с выверенной неопределённостью и начал закрывать дверь.

— Я всё ещё читаю стихотворение.

— Стихотворение? Какое?

— Непростое для понимания.

Рафаэль усмехнулся, отстранённой усмешкой:

— Ничего, это полезно. Простите, я и правда занят.

Дверь закрылась.

Любовь — это мука! Фредерика и так и сяк вертела в голове его любезные, уклончивые фразы. «Как-нибудь в другой раз» — он сказал это из вежливости или пригласил ещё раз в гости? Или вот эти слова — «я и правда занят», хотел ли он её уколоть или уколол нечаянно? Простое объяснение, а именно что Рафаэлю Фаберу интереснее

беседовать с Винсентом Ходжкиссом, — её не устраивало, ей надо было во что бы то ни стало выяснить, каково же его истинное отношение к ней, Фредерике! Ей не приходило в голову, что в эти же самые дни по Кембриджу бродили молодые люди, которые столь же мучительно обдумывали её собственные, иногда складные, иногда неловкие, путаные отговорки; а порою ведь бывало и так, что кто-то приходил к ней в гости, рассчитывая побыть с ней наедине, и заставал там нескольких других молодых людей.

Неделю спустя она наведалась ещё раз, со стихотворением. Он снова не пригласил её в комнату. Тогда она сказала, вежливо и решительно:

— Я пришла вернуть ваше стихотворение, которое вы так любезно дали мне почитать. Честно говоря, многое в нём осталось для меня загадкой, и я бы с большим удовольствием…

— Какое ещё стихотворение?

— «Любекские колокола».

— Я… дал вам… моё стихотворение?! Как такое могло быть?

— Ну да. Вы угощали меня редисом и сыром и рассказали мне, как приехали сюда из Любека… мы много ещё о чём говорили… а потом вы дали мне своё новое стихотворение.

— Не пойму, зачем я это сделал? — спросил Рафаэль рассерженно и недоумённо. — Верните, будьте добры! Оно недописано и пока ещё не предназначается для посторонних глаз.

— Пожалуйста, вот.

Он почти выхватил у неё из рук, быстро просмотрел страницы, все ли на месте.

— Оно мне безумно понравилось, — продолжала Фредерика. — Простите, конечно, не все отсылки мне понятны, но…

— Вам не за что извиняться. Я сам виноват. Не понимаю, как я вообще мог его кому-то отдать. Его и прочесть-то толком нельзя. Какое счастье, что я его получил обратно. Зачем я вообще стал морочить вам голову…

— Нет-нет, что вы, было очень инте…

— Спасибо, что вернули в целости и сохранности.

— Мне и правда было бы интересно его с вами обсудить.

— Конечно. Но не сейчас. В другой раз… Как ваша статья?

— Выходит в следующем номере.

— Очень жду.

— Мне…

— Хорошего дня, и ещё раз спасибо.

Она пересказала разговор Алану Мелвиллу. Тот, казалось, совсем не удивился непоследовательности Рафаэля: сам дал стихотворение, и сам же это отрицает!

— Шаг вперёд и два назад, в этом весь Рафаэль, — молвил Алан со знанием дела. — Видать, ты его ошеломила не на шутку.

— Не выдумывай.

— Учти, Рафаэль Фабер тебе подходит, только если ты стремишься к неразделённой любви.

— Может, и стремлюсь, — грустно ответила Фредерика (как знать, не угадал ли Алан? а если угадал, то это, наверное, важная черта её натуры).

Интервью появилось, как и было обещано, в следующем номере «Кембриджских записок», под заголовком «Рафаэль Фабер: поэт и учёный», очерк Фредерики Поттер о преподавателе колледжа Святого Михаила. Фредерика очень долго корпела над статьёй. Тони и Алан потом вырезали какие-то лишние абзацы и ловко перемешали строки критического комментария с фактами биографии. Фредерика недурно написала о стихотворениях; сопоставила языковой цветок-идею Малларме с цветами Д. Г. Лоуренса, в высшей степени половыми и антропоморфными. Рассказала,

как «странно и необычно беседовать с человеком без родного языка, человеком, отсечённым от своих корней». (От метафоры *отсечённых корней* ей сделалось не по себе, и она поменяла фразу: «беседовать с человеком, утратившим связь с родной почвой».) Описала она и манеру, в какой он читает лекции, и аскетичное убранство его комнаты — так принято в жанре интервью.

Вскоре она получила письмо:

> Уважаемая мисс Поттер,
>
> хочу выразить крайнее недовольство упоминаниями о моей личной жизни, которые Вы не постеснялись включить в Ваш очерк в «Кембриджских записках». Если бы я знал, что Вы напишете в таком стиле, в разговоре с Вами я бы ограничился наблюдениями о поэтической технике, с каковыми Вы обошлись не в пример тактичнее.
>
> Рафаэль Фабер

Фредерика в негодовании показала письмо Алану и Тони:

— Я ведь не написала ничего такого, что не было бы уже о нём известно. Другого я и не знаю. Моя статья пронизана чувством подлинного

восхищения!

— Люди любят пооткровенничать, — заметил Тони. — Болтают всякое, а потом прочтут это про себя в статье и сразу начинают возмущаться.

— Что же мне теперь делать?

— Ждать, — ответил Алан.

— Чего? Он же меня ненавидит.

— Зато теперь ты ему точно запомнилась.

Она продолжала подолгу сиживать в читальном зале Андерсона. Наблюдала, как он работает, да и сама немало читала. Её уже не удивляло (хоть и очень задевало), что он, проходя мимо по пути в кафетерий, не улыбался ей в ответ, да и вообще вёл себя так, будто они незнакомы. Как-то раз он отлучился; она прикинула, что его не будет с четверть часа, и решила посмотреть, что же он читает. Не слишком много удалось ей почерпнуть из увиденного: на столе лежали какие-то тома на древнееврейском и древнегреческом, переписка Малларме, переписка Рильке и книжечка Рильке «Дуинские элегии» (своя, не библиотечная). Записи от руки выглядели так же, как его напечатанные стихотворения — изящные, мелкие, чёрные и чёткие, со всех сторон окружённые белизной страницы. Некоторые строчки были на греческом, некоторые — на

иврите. Человека в этих записях выдавали разве что рисунки-каракули внизу страницы; присмотревшись, она разглядела вазы, банки, бутылки, кувшины — пузатые, высокие, с носиком, с горлышком, приземистые. И над ними, обведённые ровной рамочкой, слова — «конкретная универсалия»[156]. Живой почерк Рафаэля обладал каким-то колдовским действием на Фредерику: при виде подписанного им конверта её бросало в дрожь; и вот сейчас она могла следить, как рождаются эти строки, как слова вытекают из его руки одно за другим, естественно и непринуждённо! Она приблизила свою руку к белой странице… Рафаэль тихо подошёл сзади и ледяным шёпотом осведомился, не может ли ей чем-то помочь. Она отдёрнула руку, будто обжёгшись! Затараторила:

— Прошу прощения. Мне вдруг стало страшно любопытно, что вы читаете. Мне очень… Я всё думала о ваших стихах, и мне вдруг очень захотелось понять… Мне ужасно неловко.

— Читать и писать — занятия очень личные,

---

[156] Примечания: 156

Особое понятие философии Гегеля, впоследствии развитое британскими и американскими неогегельянцами в конце XIX — начале XX в. В рамках этой концепции универсалии — это не общие свойства, которые существуют в вещах, но общие целостности, в которых существуют вещи. Соответственно, универсалии являются не абстрактными, как обычно считается, но конкретными.

мисс Поттер. По крайней мере, в моём понимании.

— Простите меня, пожалуйста!

— Ну и что же, ваши изыскания оказались успешны? Вы что-то поняли?

— Я не знаю иврита и греческого. И не знаю, что такое «конкретная универсалия».

— Ну так узнайте. — Он сел. — И как узнаете, сообщите.

— Насчёт моего очерка, доктор Фабер… Я… я ведь написала его из чувства глубокого восхищения…

Рафаэль указал на табличку на столе, прочёл наставительно:

— «Пожалуйста, соблюдайте тишину». — Повернулся к своим книгам, бросил напоследок через плечо: — И довольно уже об этом, мисс Поттер.

19
Поэтический вечер

К немалому её удивлению, она получила от Рафаэля ещё одно письмо:

> Уважаемая мисс Поттер,
>
> пишу Вам, чтобы пригласить Вас на мой скромный поэтический вечер. Каждый четверг мы собираемся в моих комнатах, читаем и обсуждаем поэзию. Начало ровно в 20:30.
>
> Искренне Ваш, Рафаэль Фабер

Она поразмыслила, не рассказать ли о приглашении Хью Роузу или Алану Мелвиллу, но решила, что не стоит. Она просто явится. Никто её не отговорит. В четверг в восемь тридцать, приехав на велосипеде, она постучала в дверь Рафаэля Фабера. Открыл Хью, чьи розовые щёки при виде её покраснели.

— У меня *приглашение*, — тут же веско сообщила Фредерика (в кармане у неё, на всякий случай, лежало письмецо Фабера).

— Ну, тогда заходи поскорее.

Она положила свою мантию поверх кучи других, сваленных на стуле с высокой спинкой прямо у двери. В комнате было человек пятнадцать-двадцать: кто расположился на стульях, кто на ковре у книжных шкафов, обхватив руками колени, кто плотно, но чинно сбившись рядком на диване. Помимо неё, была только одна женщина, какая-то смутно знакомая ей аспирантка. Молодые люди относились скорее к «элегантному», чем «небрежно-мешковатому» типу. На миг ей померещилось, что отовсюду на неё украдкой поглядывают множество пар ярких миндалевидных глаз, будто комната наполнена сиамскими кошками. Рафаэль Фабер разливал охлаждённое белое вино из высокого стеклянного кувшина. На его письменном столе — простой серебряный поднос с бокалами на зелёной ножке. Освещение от ламп, находившихся под высоким потолком, было резким и одновременно унылым. Доносился какой-то странный, неуместный для этой обстановки, чуть парфюмерный аромат — Фредерика повела носом и обнаружила три белые фарфоровые тарелки с круглыми пирожными в трещинках белой глазури. Рафаэль, лавируя, переступая через полулежащих молодых людей, приветствовал Фредерику, усадил её в кресло

с высокой спинкой. Подал ей вино, пирожное; она откусила кусочек — воздушное, сухое, очень пряное.

— Матушка с сёстрами вечно присылают мне пирожные, — объяснил ей Рафаэль. — Кажется, они думают, я здесь голодаю.

Вечер не был лёгким и приятным. Молодые люди чередой зачитывали свои стихотворения — про актинии на острове Кипр, про расставание с возлюбленной, про чью-то старушку-няню в отделении для престарелых. После каждого чтения было обсуждение, более живое и острое, чем сами стихи: в критических разборах была истовость и свежесть, которой стихам недоставало. Они волновались и безжалостно препарировали образы друг у друга; например, никому не понравилось, как обделённый вниманием любовник жалуется, что от раны его отняли повязку с целительным бальзамом. Эту метафору все нашли неподобающей и критиковали её крайне изобретательно. Когда своё стихотворение прочёл Хью Роуз, Фредерика заявила, что не понимает смысловой подоплёки. Хью ответил смущённо: «Оно, вообще-то, о змеиной коже, которая у меня была в детстве, такая целиковая, сброшенная гадюкой кожа».

На самом деле идея стихотворения пришла Хью в голову, когда он увидел Фредерикин чулок: опустевший, прозрачно-коричневый, с тёмным швом и узорчатой пяткой, чулок обвился вокруг ножки стула, странным мучительным подобием чего-то прежде живого, и напомнил Хью прозрачную, тонкую, словно бумага, кожу, из которой выпросталась змея. Но ему не хватило духу или, как сказал бы он сам, невоспитанности, чтобы включить в стихотворение какой-либо намёк на чулок. Блестящего остроумия Эндрю Марвелла ему тоже недоставало, иначе можно было бы назвать стихотворение «О ею сброшенном чулке». Хью подумал, что чулок и змеиная кожа схожи тем, что дают ощущение какой-то неизбывной поношенности, но написал только о коже. Не упомянув о чулке, он нарушил принцип «объективного коррелята»[157], о котором в то время писалось множество исчерпывающих эссе. Пытаясь восполнить образ, он дал несколько отсылок к змеиной коже — в шекспировском «Сне в

[157] Примечания: 157

Понятие, введённое в литературно-критический обиход Т. С. Элиотом в статье «Гамлет и его проблемы» (1919) как определение способа художественного выражения эмоции. По Элиоту, объективный коррелят — «сочетание предметов, ситуация, цепь событий, которые являются формулой конкретной эмоции; стоит лишь описать внешние факты, вызывающие определённые переживания, как эта эмоция незамедлительно возникает».

летнюю ночь» и в Китсовой «Ламии» (сотканной из переливчатых серебряных лун, пёстро-пятнистой). Сияние и гладкий нарядный трепет оказались заёмными, своим же было лишь нечто «коричневатое, загрубело-хрупкое, покинутое». Рафаэль Фабер заметил, вполне резонно, что аллюзии на Китса перегружают стихотворение. Роуз не смел признаться, а может, полностью и не сознавал, что только с помощью этих аллюзий и можно было проникнуть в истинный эротический подтекст.

— Так о чём же оно? О тоске по детству? — спросил кто-то. — О мальчишеских радостях?

— Ну, это вряд ли, — сказал другой. — Там же про змею. Змея — существо отвратительное. Какая от змеи может быть радость?

— Если это только не собственный *змей* у мальчишки в кармане, — заметил какой-то умник, сидевший в ногах Рафаэля. — Может быть, это стихотворение о мастурбации?

— Нет! — горячо возразил Хью, и кровь прихлынула к корням его огненных волос.

Все принялись обсуждать значения и коннотации змеи, или, как любили тогда говорить, «символику» змеи. Хью заявил, что его змея — никакой не коллективный символ, а просто

его собственная, отдельная, настоящая змея, на что умник ответил: весьма наивно так думать, *подсознательно* это стихотворение всё равно о мастурбации. Алан Мелвилл предположил, что главное в произведении — фигура отсутствия.

— Существует мнение, что все стихи — о половом влечении. С таким же успехом можно утверждать, что все стихи — о стихах. Почему доктора Фабера смущает обилие шекспировских и китсовских аллюзий? Не потому ли, что ни Шекспира, ни Китса здесь в действительности нет? *Наличие*, таким образом, возвещает об *отсутствии*! Может ведь быть такая точка зрения?

— Ну а сами-то вы, Алан, какой точки зрения придерживаетесь? — спросил Рафаэль.

— Наверное, никакой, — ответил Фредерикин хамелеон. — Я просто констатирую возможность разных взглядов.

Алана попросили прочесть что-нибудь своё. Сначала он претенциозно и изящно представил свой опус:

— Это стихотворение о зеркалах. О зеркалах написано уже довольно много стихотворений. Вдохновением для моего отчасти послужила блестящая лекция доктора Фабера про Малларме и Иродиаду, её зеркала и нарциссизм. Моё

стихотворение построено на двух образах. Один, из романа «Мидлмарч» Джордж Элиот, связан с зеркалом и свечой. Второй я взял из сборника китайской поэзии: оказывается, есть такое поверье в Китае, что существует другой мир за зеркалами, который однажды может прорваться в наш: явятся призрачные воины, драконы, громадные рыбы. Сначала я думал назвать стихотворение просто «Нарцисс», но решил, что так слишком уж симпатично, флористично и слишком отсылает к мифу. Поэтому я назвал его «Нарциссизм», что тоже меня не очень устраивает — чересчур в лоб. Мне хотелось навести на мысль о нарциссизме, не говоря о нём напрямую. Ну что ж, слушайте.

Каков хитрец, подумала Фредерика, действует уверенно, с упреждением, заранее отводит все угрозы, устанавливает условия для разговора. Хью Роуз не сообразил, что можно так сделать. Теперь они все будут думать в направлении, подсказанном Аланом. Да он хуже волка в овечьей шкуре! Нарядил ягнят волками, а они и не заметили.

Стихотворение состояло из ряда чётких зрительных образов: зеркало в раме на сундуке в тёмной комнате с незашторенными окнами, сквозь некоторые стёкла видно ночное небо, в

некоторых — зеркальное отражение пламени свечей; зеркало становится водой, серебристые кляксы-отражения в зеркале превращаются в серебристые пятна-кляксы на шкуре страшного загадочного существа, которое готовится вынырнуть из глубин. Голова, все неясные формы твари постепенно становятся отчётливее, складываясь из узоров на поверхности этого непонятного вещества, не то воды, не то стекла. Всё шире разбегаются концентрические круги. Яркая, странная строка: «Их центр един, лишь рылом знаменит». Тварь выныривает наружу! К концу шотландский выговор Алана сделался особенно заметным, читал он с явной рисовкой и заупокойно, словно страшилку. Поэтому, наверное, Рафаэль Фабер и сказал (то ли одобрительно, то ли капризно-неприязненно — определить сложно), что в стихотворении чувствуется влияние не только Малларме, но и готической традиции. Кто-то стал придираться, что освещённые концентрические круги из царапинок у Джордж Элиот не очень-то дружат с поднимающейся из воды рыбиной. Кто-то заметил, что слово «рыло» — резкое и отталкивающее, на что другой ожидаемо возразил, что в этом как раз и *суть*. Рафаэль Фабер сделал ряд замечаний по поводу

метрики, тоники и силлаботоники — Алан смиренно признал их обоснованными. Ещё Фаберу не нравилось название, ни в одном из предложенных вариантов. Фредерика к этому моменту наконец ухватила тот внутренний отголосок, который беспокоил её в стихотворении Алана. Она перебила Рафаэля прямо посреди его ясной, размеренной речи:

— Это же Джон Донн, почти точная цитата из «Растущей любви»!

Алан улыбнулся своей хитроватой, жёсткой улыбкой:

— Угадала! Может быть, процитируешь?

Строчка, которая не давала Фредерике покоя, была из того же стихотворения, что и красивый образ корней, явно непристойный, который преследовал её, когда она размышляла о смоковнице. Там сказано, что *корень любви пробуждается и на ветках распускаются бутончики*… ну, а в следующей строфе как раз про круги.

Фредерика продекламировала по памяти:

— Как в потревоженной воде плодит
Один круг многие, любовь без меры
Приумножается, сродни небесным сферам:

Их центр един, тобой лишь знаменит.

— Разве можно рассчитывать, что кто-то поймёт эту реминисценцию? — воскликнул кто-то. — Слишком уж тонок намёк на Донна.

Такого рода замечания часто предъявляют к новым, ещё не опубликованным, не пущенным в оборот текстам. Алан Мелвилл знал, как ответить: мол, людям не обязательно знать разумом точную отсылку, достаточно чувствовать — тут скрывается нечто необыкновенное. Применимо лишь в отношении превосходной поэзии, строго заметил Рафаэль. Ну, значит, придётся мне усовершенствовать мой опус, сказал Алан. В голове у Фредерики вновь мелькнуло: кого же он любит, этот хамелеон?

После кофе Рафаэль зачитал фрагмент из «Любекских колоколов». Как Алан Мелвилл, и, пожалуй, даже с бóльшим основанием, он предварил стихотворение рассказом, чтоб заранее направить обсуждение в нужное русло. Поведал о колоколах в своём родном городе. Цифры, которые так озадачили Фредерику в рукописи, оказались довольно случайными: примерное число погибших в Берген-Бельзене, число жертв бомбардировки в Любеке, расстояние в километрах между двумя этими местами… Имена

в стихотворении принадлежали учёным, раввинам, неизвестным жертвам. Использовались фрагменты из Томаса Манна: описание комнаты буржуа из романа «Будденброки», фраза о невыносимой музыке Адриана Леверкюна; ещё были кусочки из «Фауста» Гёте и сказок братьев Гримм; размышления об истоках немецкого языка и фольклора; и даже отрывки из речей Гитлера. Напоследок вскользь, как-то неохотно, Рафаэль обмолвился, что писал разрозненными фрагментами, потому что подобный опыт и переживается фрагментарно. Чистым и, словно звон колокола, однотонным голосом он зачитал своё стихотворение, состоящее из кратких строк и призрачных отзвуков. В этот раз Фредерика заметила повторяющийся образ белых камешков или хлебных крошек, которые указывают путь домой, — в сочетании со словом «печь» они наводили на мысль о Гензеле и Гретель. То было непривычное искусство — не образов, а прямых *обозначений*. Располагая этим *каталогом* событий и предметов, можно было сложить в уме косвенное представление: о цивилизации и варварстве, о повседневности жизни и смерти, о строении языка и обрядовых установлениях, то есть обо всём том, чего в самом стихотворении Фредерике до

боли не хватало. Смыслы, к которым при первом прочтении показалось трудно пробиться, теперь виделись ей вовсе не осязаемыми. Вновь о чём-то возвещалось посредством *отсутствия*! Личность и общество, животное и культурное начала — всё дано в таких обрывках, так эфемерно, что в итоге не возникает никакой общей целостности. Очередной *немой напев*!.. Фредерику такая поэзия встревожила, даже испугала. Для неё естественней и привычней была полнота смысла, пусть даже избыточная, вроде множества аллюзий на Джона Китса в стихотворении Хью Роуза о змеиной коже. Поэтическое искусство Фабера походило на детские картинки на грубой бумаге, которые надо составить из разбросанных не по порядку цифр. «Возьми карандаш и соедини по точкам цифры от 1 до 89, и ты узнаешь, что́ так напугало Джона и Сьюзен на пляже / на пикнике / в пещере». Осьминог, бык, огромная летучая мышь. Потерянное детство, кусочек войны, искорёженный колокол с разрушенной колокольни. Всё это таилось под *поверхностью* стихотворения; это было ужасно; и это было прекрасно!.. Молодые люди подняли на Рафаэля свои кошачьи глаза. А он, когда дочитал, посмотрел прямо на Фредерику: взгляд предназначался только ей, хотя

их окружали люди, взгляд осторожный, робкий, полный надежды. Неужели это мне не снится, подумала Фредерика. Но он и правда стоял перед ней, во плоти, настоящий, в этой кембриджской комнате, и ей улыбался. Она улыбнулась в ответ.

На прощание он сказал:

— Надеюсь, вы придёте ещё.

— Я не умею писать стихи.

— Это не главное.

— А Хью говорил, главное.

— Ах, Хью. Он очень к вам привязан.

— Нет-нет, совсем не то… что вы подумали… Мне важнее… — (не сказать бы лишнего).

— Ну и ладно.

— Ваше стихотворение… оно просто изумительное.

— Благодарю. — Он всё ещё лучился от своей читки. — Мне ценно ваше мнение.

— Мне так не казалось.

— Я вёл себя как олух. Простите меня! Обычно я ни с кем не делюсь. Не расстаюсь с рукописью. Не представляю, с чего я… мог решиться дать её вам. Хотя нет, очень даже представляю!.. — Он отступил на шаг. — Моей грубости нет оправданий.

— Всё уже позади. Я думаю не об этом…

— *Обязательно* приходите ещё. Рассчитываю

на ваше присутствие…

Где-то в тёмных улицах её догнал Хью, тоже на велосипеде, за ним и Алан. Они покатили по Сильвер-стрит через реку, все трое рядком, в опасной близости.

— Ну и что ты обо всём этом думаешь, Фредерика? — Алан.

— Думаю, что все мы до жути любим *критиковать*, — ответила Фредерика. — Мы ужасно изобретательны, жестоки и самодовольны, когда критикуем. Но некоторые стихи сегодня были настоящими. Например, ваши.

— Я польщён, — ответил Алан.

— Моё на самом деле о любви, — подал голос Хью. — Просто самое главное я нарочно опустил.

— А ещё мы до жути любим любить, — заметил Алан. — Там всё так и пылало любовью. Все обожают Рафаэля.

Фредерика вильнула и быстро поправила руль. Решилась:

— Мне иногда очень интересно, кого же любишь ты.

— Я?!

— Да, ты.

— Ха, так я тебе и сказал, Фредерика Поттер. Страшная это штука, любовь.

На этот раз вильнул Хью; все трое соударились какими-то частями велосипедов, но благополучно расцепились и покатили дальше.

20
Рост

Уильям рос, вытягивался, тело его становилось другим. Казалось, он меняется стремительно и в то же время с роскошной медленностью, с какой гусеница ползёт перед его собственными заворожёнными глазками. Слабенькие руки, которые за всё беспомощно цеплялись, внезапно обнаружили квадратные, ужасно цепкие любопытные пальчики, которые могут схватить даже мельчайшую крошку. Ножки-дужки, которые вначале лишь дёргались бестолково, подросли, покрылись перевязочками и, начиная совершать кое-какую работу, заимели мышцы. Стефани присутствовала при том, как он обрёл прямохождение. Он долго сидел на полу и лупил по нему то игрушечной кеглей, то синеньким поильником. (А ещё раньше неделями лежал на своём кругло-выпуклом, как у Будды, животе, пока однажды вдруг не встал на четвереньки, опасно пошатываясь, будто сейчас завалится, ни дать ни взять царь Навуходоносор с цветной гравюры Уи-

льяма Блейка[158]. Покачавшись сосредоточенно какое-то время на ручках и нежных, необмятых коленках и не сводя пристальных глаз с ведёрка с углём перед собой, он неожиданно пополз назад, причём весьма проворно, и уткнулся попой в книжный шкаф в другом конце комнаты…) Итак, наконец, насидевшись, он принялся пытаться встать: сперва зыбко опирался на ручки, ножки при этом то разгибались, то снова складывались; потом выпрямился и пошёл! — от её юбки до стула, дальше уже медленнее по всей комнате, хватаясь за всё подряд и пыхтя, высоко поднимая пухленькие ступни и забавно, тщательно уставляя их обратно в пол. Она думала, что будет помнить каждое из этих событий, лелеять каждую веху развития младенца, но благополучно забывала предыдущее за очередным новым: Уильям для неё всякий раз оказывался таким, каким был в вечно настоящем времени, то есть самим собой.

Он почасту хмурился, морщинки, занятные бороздки не только пробегали по его маленькому челу, но и забирались на гладкую кожу головы; голова тоже росла, увеличивалась, хотя не так

[158] Примечания: 158

Вавилонский царь Навуходоносор II, утратив человеческий облик, ползёт, как зверь (Дан. 4).

быстро, как всё остальное. Вот он насупился, стараясь сомкнуть большой и указательный пальчики на жёлтом пластиковом кругляшке, и очень похож на Дэниела, когда тот размышляет, как бы осуществить какое-нибудь предприятие. Сходство, наверное, оттого, что у него те же сажистые брови, большие тёмные глаза и густые ресницы. Но бывали минуты, когда лицо его принимало другой, не Дэниелов хмурый вид: оно мрачнело, словно надвигалась буря, морщилось, а затем гремел вопль, полный ярости или недовольства; при этом удивительно менялся цвет кожи — кремово-мраморное личико вспыхивало розовым, наливалось малиновым и наконец делалось венозно-фиолетовым, — тогда Уильям напоминал Билла, когда Билл сходит с катушек, впадает в неистовство, в гнев. Но краска так же быстро, как приливала, и сходила с детского переменчивого личика, которое, несмотря на различные сходства, всё-таки было его собственным лицом, не Дэниела и не Билла. Была у него ещё особая любознательная хмурость: когда он что-нибудь внимательно разглядывал или изучал, совсем лёгонькая складочка пролегала у него над носиком. Находясь у Стефани на коленях, он исследовал её лицо, обводя, ощупывая пальчика-

ми; в первые недели эти пальчики, ещё только постигая расстояния, тыкали её в яркий глаз, зацепляли и дёргали за уголок рта, но вскоре наловчились быть ласковыми, трепать её тихонько за щёку, перебирать пряди её волос. Она замечала в нём теперь и себя: выражение задумчивой любознательности — от неё. Они глядели друг другу в глаза, и себя она там видела отражённо — светочем, верной луной, частью его самого? Он был плоть от плоти её, но, однако же, другой.

Поняв в какое-то время, что у него есть новый, некричальный голос, он принялся с помощью губ и языка выговаривать вереницы первых слогов — ба, га, да, ма, па, та; по-всякому переставлял их и соединял в частично повторяющиеся цепочки — багабага, абабаба, паматамага, — то были комбинации строевых единиц, *абракадабра*, зачатки речи. Однажды в тишине раннего утра внезапно раздалось его вдумчивое, рассудительное обращение, не то урок, не то проповедь — цепочки слогов обладали ритмом, а также интонацией то ли вопроса, то ли утверждения. Эта доречевая ритмическая материя напомнила Стефани об одном любопытном факте: когда она сама воскрешает в памяти полузабытые стихи, первыми на ум приходят не существительные, как могло бы

представиться, а синтаксические конструкции и ритм; сначала на свои места встают союзы, предлоги, окончания глаголов, и только потом она восстанавливает существительные и даже основной глагол. Но раз он уже лепетал подобия предложений, значит добрался и до существительных. Когда он плакал, она поднимала его высоко, подносила к окну или к лампе и говорила: «Ну же, Уилл, посмотри-ка, это свет, свет!» И он, ещё совсем младенец, повторял «ве-е, ве-е». Примерно в то же время она научила его словам «книга», «кот» и «цветок», и он стал применять их довольно широко и вольно: любые картинки и газеты были у него «и-ига», все животные — «ко-о», а «то-о» он называл все цветы, овощи, деревья, перья и один раз даже бабушкину кисейную манишку, выпроставшуюся из ворота платья. Вскоре он уже по-королевски восседал на коленях у Стефани и, бродя по книжным нарисованным фермам и джунглям, называл их обитателей: коёва, лоша, абака, куиса, зеба, сон (слон), мия́ (змея), жила́ (жираф), ыба-ки (рыба-кит). Всё это может показаться довольно обыденным, и писателю трудно описать то удивительное чувство, какое мать, вторгнутая было младенцем в особенное пространство без привычного общения, испыты-

вает, услышав, как голос, который доселе только вопил, рыдал, сопел, бормотал невнятные слоги, начинает выговаривать слова. Вечные слова, которые произносились множеством поколений, зазвучали теперь *новым* голосом Уильяма! Смотри, свет. Я тебя люблю.

Ей вдруг непреодолимо захотелось что-нибудь выращивать. При коттедже был задний дворик, рассечённый асфальтовой дорожкой, по сторонам которой — два травистых квадратика земли со столовую скатерть размером. Ещё тут были два неприглядных бетонных столбика, натягивать бельевую верёвку. Весной и летом 1955 года, когда Уильяму исполнился год, она попыталась вдохнуть жизнь в эти суглинистые клочки земли, чтобы сын мог смотреть на яркие цветы, есть свежие овощи и зелень. Она посеяла морковь и редис, салат, несколько рядов гороха и фасоли. Она копала, боронила, делала бороздки и ямки и раскладывала крошечные семена, а малыш сидел или ползал по траве неподалёку. Он то и дело загребал землю руками и совал в рот. «Нельзя, грязно», — бранила его Стефани, но мыслью отлетала чуть выше и одновременно ниже: как же невероятно изобилен, казалось бы, простой суглинок, что выпускает из себя наружу перистые

зелёные побеги, а в себе лелеет длинные сладкие оранжевые коренья. Уильям сердито повторял: «Зя-а!» — а потом, когда она выгребала у него изо рта землю, горестно повторял: «Зя, гяна».

Редис вырос (некоторые редиски получились прямо-таки гигантами), и она стала подавать эти шарики Дэниелу к чаю; красно-белая хрусткая мякоть сначала приятно холодила язык, потом обжигала. Урожай моркови подвергся жестокому нападению морковной мухи и людям не достался; горох и фасоль взошли неровно — где-то проплешины, а где-то растения мешали друг другу, чахли. Стефани трудно давались безжалостные поступки. У неё рука не поднималась убивать живые растения, например, даже прореживать всходы, чтоб дать простор для роста остальным. Лучше всего у неё получилось с вьющимися настурциями. Она посеяла круглые ребристые стро́енные семена в компост в деревянные ящики — ими была заставлена вся кухня. В свой час показались прямые, с нагнутой головкой ростки, откуда затем вылезло по паре похожих на зонтики листьев, нежных, в прожилках. Первый ящик она не проредила вовремя, листья на длинных верёвочках стебельков, походивших на спутанные спагетти, завяли и погибли. Второй

она проредила, получилась неплохая рассада; она принялась высаживать её вдоль стен дома и вокруг столбов для сушки белья — втыкала в землю прутья с привязанными к ним яркими картинками настурций — обозначить, где они. За ней, покачиваясь, шагал Уильям, выдёргивал палки, рвал бумагу, бормоча «то-о». Он и растения некоторые вырвал, но всё равно выросло достаточно. В то лето вся задняя стена коттеджа была испестрена зелёными листиками-дисками, вьющимися цилиндрическими стебельками и шёлково-бахромистыми цветками-фанфарами — алыми и рыжими, цвета слоновой кости и красного дерева, насыщенно-жёлтыми и светло-жёлто-коричневыми, с чёрными линиями, словно подсказывающими бабочкам вход в зев цветка, где подрагивали тёмные, покрытые пыльцой тычинки.

Стефани наблюдала, как цветки приподнимаются в раннем утреннем свете, сворачиваются в усталые треугольнички по ночам, и почему-то ей вспомнилась сказка «Джек и бобовый стебель», как скучная, сердитая мать получила в обмен на корову всего несколько бобов, из которых в итоге вырос невероятной высоты стебель — лестница до самого неба.

Кошку принёс Маркус (время от времени он заходил, иногда с Руфью и Жаклин). Её нашли, сообщила Жаклин, в сточной канаве около школы, её задело машиной. В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения кошку предложили гуманно усыпить. Жаклин спросила совета у матери; та определила, что кошка беременна, с одной стороны живот вон как выпирает, и в целом поддержала идею Королевского общества. Жаклин доставила кошку аж до самой больницы, чтобы встретиться там с Маркусом и прибегнуть к его совету, но его единственный совет был — обратиться к Стефани, та знает лучше. Кошка щетинилась, жалобно мяукала, шипела, тигрово-полосатая, с неласковым огоньком в глазах. «Мне не нужна кошка, — запротестовала Стефани, оттирая детской ваткой и детским лосьоном машинное масло с шерсти животного, — и Дэниел будет против». «Кошка в одном доме с ребёнком, ещё чего придумали, — раздалось из кресла миссис Ортон. — Вот будет под ногами ошиваться, все-то костяшки об неё переломаем».

Войдя в дом, Дэниел тут же услыхал надрывный звериный вопль. Стефани сидела на коленях перед корзиной для белья, а там лежала в крови

кошка и смотрела сверкающими глазами на грязнющую новорождённую посылочку. «Ну же, — уговаривала Стефани, — давай *помоги* ему». И кошка опустила свои жёлтые глаза, разорвала острыми зубами пузырь и вылизала странное рыбоподобное существо с кругленькой головкой и крошечными лапками. Существо запищало и поползло вслепую к маме; та гулко, скрипуче замурлыкала.

— Стефани, — осторожно начал Дэниел, — это *обязательно*?

— Нельзя же её так оставить.

— Когда я тебя впервые увидел, ты тоже пыталась спасти ораву котят.

— Ага.

— Я полюбил тебя, когда увидел, как ты упёрлась из-за тех котят.

— Они, кстати, не выжили.

— Да, помню.

— А эти выживут, — сказала Стефани. — Кошка своё дело знает. Смотри, как уверенно работает.

Кошачий вой и первобытное мурлыканье сменяли друг друга ещё какое-то время: на свет выскочили ещё пять таких запакованных комочков, и все, кроме одного, чисто-белого, оказались жизнеспособными. Двое чёрных, двое тигрово-

полосатых и один бело-полосато-пятнистый. Этот полосато-пятнистый родился последним, казался слабеньким и будто недоношенным, но упорно полз в сторону других, уже прильнувших к матери. Добравшись, но не имея места, он несколько минут пронзительно пищал, поднимая вверх безухую мордочку с окровавленным рыльцем; наконец кошка определила к соску и его. Что же касается шестого, чисто-белого, его шейка с головой была вывернута назад, словно бумажная, розовые веки так и не открылись. Кошка не стала его вылизывать понапрасну. Стефани вдруг разволновалась, запричитала, начала умолять Дэниела сделать что-нибудь. Он завернул крохотное тельце в газету и вынес; Стефани всё сидела у корзины, в глазах блестели слёзы. За её спиной стояли Маркус и Жаклин, наблюдали. Жаклин говорила: «Смотри, как они начинают дышать по-настоящему!» Маркус, которому впору было испытать от этой сцены отвращение (по крайней мере, в прежние времена), ответил: ну и хорошо, что у них всё в порядке.

Кошки, как и настурции, расцвели в лучах нежной заботы Стефани. Она выходила маму-кошку рыбными объедками и кусочками курятины; ползущих в разные стороны, дрожащих малышей

подсаживала к миске тёплого молока, макала носиками. Те отфыркивались, испуганно водили лапкой по мордочке и принимались лакать. Уильям, конечно, рос довольно быстро, но эти существа и вовсе менялись что ни день: вчера — безглазые эмбрионы, миниатюрные бегемотики, сегодня — юркие, лазкие, прыткие клубочки с ушами торчком, усами пучком и розовыми холодными подушечками на лапках с монету. Наблюдая за кошачьим ростом, Стефани задумалась о том, как вообще усваиваются жизненные навыки. Уильям учился на собственном опыте: цапал с пола крошки, нёс ложку ко рту и возвращался в тарелку; складывал маленькие предметы в большой ящик, а когда большие предметы в маленький ящичек не влезали — рыдал от усердия и досады. Развивались и котята: поначалу они не могли выбраться из своей коробки, но в один прекрасный день чёрный котик стал подпрыгивать, и не только, — прыгнув, повис на краю, перевалился наружу и приземлился на лапки. Наутро двое повторили его манёвр, а ещё через день — все. Крошечные создания, которые ещё в понедельник еле-еле переставляли лапки, в субботу уже вовсю сновали между ног, затевали между собой возню, карабкались по шторам. Ей

захотелось плакать от радости при виде того, как бело-полосатый котёнок умывается на извечный кошачий манер — наслюнённой передней лапкой — и как, ловко согнувшись, вылизывает подтянутую вперёд заднюю, похожую на крошечный свиной окорочок; а новенькая розовая кожа у него на животике уже успела покрыться мягкой короткой белой шёрсткой. Новенькие голые ушки внутри розовые и прохладные, как донаксы, ракушки-бабочки, в час отлива на песке в Файли. Уильям по сравнению с котятами двигался очень неуклюже и своим телом ещё не владел. Он не бегал и не прыгал. Но зато у него была речь. Стефани сидела на лужайке среди мельтешащих котят и смотрела, как Уильям топает к ней: три шажка и бух на попу, снова три шажка, взмахивает вытянутыми пухлыми ручками, словно акробат в цирке. «То-о, — приговаривал он. — Ко-о». Затем: «Хотеко-о. Уихотеко-о». «Уилл хочет кошку», — переводила Стефани. «Хоте, — соглашался он. — Уихотеко-о». Когда ему всё-таки удавалось схватить какого-нибудь незадачливого котёнка (а случалось это часто, потому что они сползались к нему, как осы к плошке с мёдом), он его стискивал, и котёнок обмякал, а Уильям задумчиво тащил его ко рту — великан, готовый

перемолоть мясо и косточки, ребёнок, пробующий мир на вкус. Мама-кошка суетилась у него под ногами, взволнованно мяукая, Стефани аккуратно извлекала малыша из рук Уильяма, чмокала сына в макушку. Миссис Ортон ныла, что от кошек можно подцепить всякую заразу. Но Стефани они радовали. «Посмотри, сколько в них *жизни*», — говорила она Дэниелу. Тот повесил у входа в церковь объявление: «Здоровые котята в добрые руки».

Растения, животные… И люди… В её доме стала собираться, постепенно разрастаясь, разномастная компания всяких неприкаянных. Самые беспомощные горемыки из прихода Дэниела, слабые от старости или слабые волей скитальцы, они приходили к ней и часами сидели за кухонным столом или в креслах; мать Дэниела обрушивала на них свои недовольные речи, сам Дэниел, когда был дома, грозно на них зыркал. Стефани угощала их чаем, давала всякие мелкие поручения: обрезáть хвостики и кончики у фасоли в дуршлаге, лущить горох, выбирать из чечевицы камешки. Они сортировали подержанные вещи, клеили самодельные этикетки на банки с вареньем, дрожащими пальцами прикрепляли ценники для благотворительной распродажи к вязаным

детским кофточкам, пинеткам, прихваткам для чайника. Двое-трое из них были завсегдатаями. Одна — Нелли, мертвенно-бледная, почти прозрачная женщина; за ней всю жизнь ухаживала старшая сестра Мэрион, которой недавно не стало. Нелли было сорок, однако развитием она была как ребёнок, постарше Уильяма, конечно, — но так или иначе она жила сдавленная с детства ощущением, что не способна к простым действиям, которые ему через пару месяцев или лет легко и естественно дадутся. Мэрион всю жизнь считала, что Нелли — крест, который ей суждено нести, бремя, неумелое дитя; она всё за Нелли делала: пришивала пуговицы, ходила в магазин, готовила, кормила. После смерти Мэрион Дэниел привлёк целую плеяду добровольных помощников и помощниц, чтобы Нелли не забрали в лечебницу, а Стефани научила её основным, повседневным вещам. Училась Нелли благодарно и боязливо, будто страшилась, что от этих новых умений она сама куда-то улетучится, что руки её, которые теперь могли хотя бы застегнуть бюстгальтер, надеть кофту и завязать шнурок, растворятся в воздухе. Был ещё Моррис, который, после того как его на войне ранили в Дюнкерке в голову, страдал провалами памяти, ни на одной

работе долго не задерживался и дважды пытался покончить с собой. И был Джерри Берт.

Джерри тоже постоянно увольняли, несмотря на заступничество Дэниела. До того как ходить к Стефани, он всё возвращался в церковь и выискивал Дэниела, которому вновь и вновь, словно этим можно повернуть время вспять (и с неизменным набором чувств — притуплённой яростью, тягой к самобичеванию и чистым ужасом перед женой Барбарой), пересказывал, как погибла дочь. Однажды он заявился к ним домой, без приглашения, и увидел Стефани, Уильяма и кошек; они играли в саду. Он стоял на дорожке, ведущей к дому, и не сводил с них глаз. Стефани отвлеклась от венка из ромашек и спросила, может ли ему чем-то помочь.

— Я ищу викария. Ой, мистера Ортона, то бишь.

— Его нет. Вернётся к вечеру. Вы в церкви спрашивали?

— Ага, но его там нет.

— Что-то случилось? Я могу помочь?

— Моё имя — Джерри Берт, — многозначительно представился он, как прежде Дэниелу.

Стефани, в отличие от Дэниела, сразу вспомнила имя из газет, которые теперь непременно

читала, потому что жила в мире, который в них освещается, — мире простых людей и будничных событий: рождений, несчастных случаев, свадеб, смертей. Стефани горевала по дочери Джерри. Горевала она и о газетной женщине, потерявшей разом двоих детей, их тела нашли в затопленном карьере. Между восходом и закатом, между первым и последним словом коротенькой заметки, из обыкновенного человека, матери двоих детей, эта женщина превратилась в страдалицу, чьё прошлое устремлено к чудовищному, непоправимому дню, а будущее, идущее от этого дня, нестерпимо и ничтожно.

— Хотите чаю? — пригласила она Джерри Берта, вытаскивая Уильяма из тени, которую создавала нависшая фигура гостя. — Я как раз собиралась заварить.

— Вообще-то… не прочь, — нерешительно ответил он.

Конечно, не годится верить, будто невзгоды, а то и что похуже, заразны, но всё же в нас присутствует непреодолимый порыв держаться от несчастных людей подальше. Стефани вся внутренне съёжилась от присутствия Джерри Берта, но всё же подала ему чай, булочки, предложила присесть на стул в углу и завела вежливо-отстра-

нённую беседу о погоде, о саде. Вдруг, прервав её на одной из дежурных фраз, Джерри воскликнул: «У вас замечательный мальчик, миссис Ортон! Просто чудесный». Он источал волнение и отчаяние. «Знаю, — ответила она. — Мне очень повезло. Настолько, что даже страшно». Уильям, сидя в своём высоком креслице с пластмассовым лебедем в руках, швырнул его на пол, Джерри Берт поднял лебедя, аккуратно вручил малышу. Уильям принялся лупить им по своему столику, гукая, и снова бросил на пол. Джерри Берт опять поднял. Стефани наблюдала. «Вы ему нравитесь», — выдавила она дружелюбно. «Держи… малыш», — важно и серьёзно сказал Джерри Берт. Уильям великодушно принял лебедя и снова стал им размахивать, вопя: «Да-да-да-да-да!»

Как-то раз, когда все были в сборе — и Нелли, и Моррис, и Джерри, и непременная миссис Ортон, — Стефани как бы случайно (хотя на самом деле шаг этот был продуман) посадила Уильяма к Джерри на колени, а сама стала печь булочки к чаю. Дэниел неожиданно вернулся раньше и застал их так: Джерри испуганно улыбался, а Уильям ещё не решил, заявлять свой протест или нет, но пока помалкивал. Дэниел с трудом подавил желание выхватить сына из рук Джерри

и тем же вечером сказал Стефани, когда они остались наедине, что вовсе не обязательно вот так постоянно принимать Берта. Да и Нелли с Моррисом — слишком уж чудно́ и пугающе те ведут себя порой. Она ответила ровно: «Я помогаю тебе, как умею. Много с чем помочь не могу, но хоть посижу с этими неприкаянными, глядишь, тебе и полегче. Они мне не мешают, ни капельки».

На самом деле она слегка кривила душой. В какой-то степени эти пропащие души нужны были *ей*, потому что разбавляли присутствие матери Дэниела, сидящей вместе с ними и мало от них отличающейся. Они, эти души, являли собой яркое доказательство тому, что учение о языке как средстве общения с себе подобными — провально, ибо говорили они исключительно обращёнными к себе же монологами. Бедняжка Нелли постоянно ощущала (и иногда пыталась объяснить), что голова её одета толстым мягким куполом, сквозь который видно и слышно глухо и смутно. К речи же она прибегала, чтоб проговаривать свои действия, это звучало как эхо себе же отданных приказов: «Лущить горох, лущить горох. Надавить большим пальцем, взять, достать, вот надавила, достала, горошинки, целых шесть штук, это много, червячков нет». Моррис в свои

хорошие дни многословно тараторил, яростно размахивая руками, — отвлечённо сетовал на несправедливость жизни, на злосчастную нашу долю, вот не везёт кому-то, и всё, а почему — не понять. В плохие дни он как заведённый повторял рассказ о пережитых ужасах: мины в море, грохот, повсюду кровь. Миссис Ортон расхваливала былые яства. Джерри Берт толковал, сюсюкал с Уильямом, в чём-то приближаясь к речам Нелли: «Вот у нас тут славный мягкий бананчик, к нему б добавить сахарку коричневого и молочка, добавил, чудесно, а?» Повторять, умножать слова, пересказывать, наполняя комнату голосами, — что это, как не безвольная попытка выбраться наружу из-под мучительного, непонятного, невыносимого купола? Среди этого смутного гомона звучно агукал Уильям: пропевал свои слоги, слова, сцеплял во всё более сложные ритмические цепочки, казалось, ради собственного эстетического удовольствия. Ещё Стефани играла с Уильямом в игру: сажала к себе на колени, ритмично и плавно покачивала как в повозке, приговаривая: «По гладенькой дорожке, по гладенькой дорожке», потом вдруг со словами «Бух в канаву!» роняла и тут же ловко подхватывала. Малыш заливался непривычным

раскатистым, очень низким смехом: «Ха. Ха. Ха-*ха*, ха-*ха*, ха-*ха*. Ха. Ха. Ха-*ха*, ха-*ха*, ха-*ха*». Однажды, выйдя в сад, она услышала, как Уильям, сидя в коляске, взывает низким и трагичным голосом: «О *Бозе*!» Потом всё громче и быстрее: «О Бозе. Обозеобозеобозеобозе, о *Бозе*!» И вдруг раздался этот низкий смех, заливистый, как ржание лошади: «Ха-*ха*, ха-*ха*, ха-*ха*!»

Дэниел чувствовал душевную смуту и этой смуты стыдился. Он как будто подрастерял, вполне предсказуемо, некоторые важные для себя вещи: благую отдельность, безраздельную преданность делу своей жизни; и даже жена теперь не вполне ему принадлежала. Усилием воли он создал новую жизненную диспозицию, в которой теперь был воли почти лишён. Подавляла его и бьющая через край энергия Гидеона. Гидеон, подобно самому Дэниелу, находился в гнезде общественных связей и обязанностей, им же созданных. Но если Дэниел пытался действовать в плоскости практической — налаживал старикам и больным питание, стирку, находил автомобиль, если им надо было позарез куда-то поехать, подыскивал компаньонов для совместного проживания, — то Гидеон работал в области человеческих чувств. Он воодушевлял юные сердца. Помогал людям

сбросить оковы грусти и уныния. Его притягивали души беспокойные, искавшие истину, изголодавшиеся по эмоциям. Он объединял их в группы, высекал из них искру, соударяя друг с другом, с самим собой. Дэниел чувствовал в этом что-то неправильное и опасное, и это заставило его задуматься о собственных мотивах, о том, на что направляется *его* энергия. Он вспомнил, как некогда решил отдать, направить одним махом в одно русло свою жизнь, посвятив её служению людям. Он не рассчитывал, что придётся заниматься благотворительными распродажами, приходскими утренними кофепитиями, подсватывать подходящие пары друг к другу, ездить на пикники с детворой. Обыденность и неизменность жизни ложилась ему на душу ношей. Он желал событий *настоящих*. В детстве он часто спрашивал у матери: «Ну почему с нами ничего не случается?» Та неизменно отвечала: «Да будет тебе, радуйся, что у нас тишь да гладь». Оттого что теперь мать так прочно расположилась посреди его нынешней тиши да глади, его нетерпеливое смятение только усилилось.

Его раздражала безмятежность плоти Стефани. Ещё когда он впервые её увидел, именно эта безмятежность и раздражила, и распалила

его. В ней была сила — и пугающий дремучий покой, ему страшно захотелось выдернуть её из спячки. Он доверился своему пылу, как доселе незнакомому и настоящему. Он отдался страсти и породил страсть ответную. Он добился брака, добился её любви. И в своей наивности оказался совершенно не готов к тому, что после рождения ребёнка страсть жены привянет и ему будет доставаться меньше внимания. Нынешнюю её склонность укладываться на бок, к нему спиной, и сворачиваться калачиком он объяснил для себя рядом причин, множеством помех. В соседней комнате храпит мать, вечно куда-то крадётся по дому Маркус, то и дело принимается плакать Уильям; к тому же в первые недели после родов — наверняка боли и кровь. Он не понимал, что гормоны имеют свой прилив и отлив, зато животным чутьём чуял: её интерес сместился с него и обнимает множество других дел и вещей. Для неё важны пища, чистота, огород и полив, пушистые кошки и лепестки цветов, нежная, новенькая кожа Уильяма, молочно-солодовый запах детской пушистой головки… Взяв на руки малыша, Берт вторгся на территорию Дэниела; увидев это, Дэниел напрягся всем своим большим телом, воображаемая щетина так и поднялась у

него по хребту.

Когда он тем вечером лёг в постель, она опять лежала на своей половинке спиной к нему, почитывала «Вкусное в Англии»[159]. Он встал, посмотрел на неё, затем натянул поверх пасторской сорочки свитер, надел брюки и пальто, вышел, дверью не хлопнув, и отправился куда глаза глядят. Прошагал по узким улочкам с домами рабочих: темны, потушены были их окна, и вязко-холодно пахло прогоревшим углём каминов; пересёк тёмное кладбище у своей церкви, тут стоял запах холодной земли и тисовых гробов; и по главной торговой улице прошёл, где блестели чёрным тёмные стеклянные витрины магазинов; направился вдоль канала, здесь веяло растительным гнильём, газами, скопившимися в зыбких подводных рощах водорослей… Он шёл и по-своему молился Богу, который его направлял: чтоб Бог послал ему в эту бездейственную пору терпение и спокойный сон; чтобы всё устроилось и упорядочилось; под «всем» он ещё имел в виду (и сам это понимал) — чтобы жена как-то откликнулась на его душевный зов. Молясь, он

---

[159] Примечания: 159

Книга рецептов, составленная Флоренс Уайт («Good Things in England», 1932); включает рецепты из разных уголков Англии, некоторые датируются XIV в.

не просил; молясь, он испускал комочки тревоги в некий смутный, мощный, таинственный поток, который соединял его, Дэниела, с Высшей силой, чтобы Она помогла с этими тревогами разобраться. Он шёл и шёл. Дышать стало легче. Вернулся домой краснощёкий, с холодными руками, пропахший углём.

Она не спала:

— За тобой кто-то послал?

— Нет.

Он разделся.

— Что-то не так? — спросила она.

— Нет, я выходил пройтись. Подышать воздухом, подумать.

— Тебя что-то тревожит.

— Да не то чтобы. — Собственный тон показался ему ужасным. Тон капризного ребёнка. Недовольного муженька.

— Ну, давай уже ложись.

Теперь она хотя бы повернулась к нему лицом. Он забрался в постель, большое холодное тело разом погрузилось в теплынь. Она протянула к нему руки:

— Это из-за Джерри Берта?

— Мне не нравится, что он шьётся к Уильяму.

— Но ведь он безобидный человек. Просто

несчастный.

— Он допустил смерть своего ребёнка.

— Нашему он не навредит.

— Я говорил с соцработницей, миссис Мейсон. О его жене. Её хотят выпустить, и скоро. Не представляю, что он сделает, если…

— А какая она? Барбара Берт.

— Я её не видел. Но он о ней рассказывает. Боится её до смерти. Но это неудивительно. Меня больше ужасает он сам. С ненормальными всё более-менее понятно, но вот что в голове у тех, кто просто молча смотрит, как мучают и убивают ребёнка?.. Мне кажется, он и со мной перестанет разговаривать, если я её навещу. Поэтому я пока и не побывал у неё в больнице. Вообще, не надо о ней, не здесь.

— Кто-то должен ей помогать…

— Ею занимается миссис Мейсон, занимается вполне серьёзно. Хватит об этом.

— Дэниел…

— Что?

— Хочешь, я больше не буду его пускать?

— Не в этом дело. Забудь.

— Ну тогда в *чём*, Дэниел?

— Всё у нас сделалось какое-то безжизненное.

Она подумала, как — наоборот — наполнен

их день: дом, огород, церковь, Уильям, даже Гидеон. Вокруг царит жизнь, и всё благодаря ему, Дэниелу!

Ещё раз протянула руки:

— Не говори так. Это на тебя не похоже.

— Всё должно быть по-иному, — упрямо продолжал он, но в нём уже что-то оттаяло и начала всходить пружина; она прижимала его к себе, пузырём вздулась ночная рубашка, поднялась у груди.

Сердце у обоих забилось чаще.

— Опять… растёт, — проговорила она так удивлённо-смущённо, что он рассмеялся.

— Ну да, — согласился он, — растёт…

…И вот, подступив из недр, решившись на отчаянный приступ, по этому, казалось бы, неудобному, нескладно-твёрдому мостику, снаряду плоти хлынули, поплыли, к своей погибели в негостеприимно-кислой среде, несметные множества гамет; они устремились через слепые закоулки как можно ближе к заветному шеечному проходу, к краткому посмертию в миг своего захвата защитными лучиками; часто и яростно, чуть ли не взахлёст они махали хвостиками, толкались, рыскали слепыми головками, и все погибли — кроме одного-единственного, которо-

му суждено через несколько часов внедриться в стенку женской клетки, получить питание, соединиться, чтоб потом началось деление, изменения, специализированное развитие частей нового организма… Дэниелу вдруг стало легко, он поцеловал жену в глаза и в губы и уже не злился на Джерри Берта. Стефани, тёплая, влажно-разнеженная, коснулась волос Дэниела, провела рукой по его мокрому бедру; ей подумалось, что всё налаживается, они всё-таки свободны, любят друг друга, и найдётся у них время на уединение и уютные разговоры. У неё есть муж и сын. В голове лениво и мирно вращались планы, как лучше устроить жизнь с двумя главными для неё людьми, каждому место, каждому хорошо. Чарльз Дарвин, судя по всему, старался не одушевлять тот закон, ту силу, которая решает, какая яйцеклетка и какой сперматозоид пойдут в ход, какому из эмбрионов выжить и дать потомство, кому в природе суждено сосуществовать, а кому вытеснять друг друга. Говоря об этой силе, Дарвин никогда не употребляет глаголы осознанного намерения, в отличие от меня, не удержавшейся от «решает», хотя могла бы сказать безличнее — «отбирает». Увы, язык против нас. Классический роман не повёл бы читателя дальше сцены

бракосочетания; ну или, в крайнем случае, как в «Приключениях Родерика Рэндома» Смоллетта (Фредерика, как мы помним, читала сей роман, сидя в пыльной колее просёлочной дороги среди виноградников в Провансе, под стрекот цикад, и настоящие книжные черви выползали из-под дряхлого корешка[160]), так вот, в «Родерике Рэндоме» читателю предоставляется вообразить, как обозначился вход под брачный балдахин, как задралась шёлковая ночная сорочка. Теперь же мы не ставим никаких преград — ни в сочинительстве, ни вообще в вопросах морали. Однако наши размышления о случайности и закономерности, слепом законе природы и свободе — остаются непременными. И нам не нравится, когда все действия и движения Дэниела и Стефани (а заодно и степень тепла, комфорта, уровень кислотности и энергии в потайных женских закоулках) относят исключительно на счёт решений Её Превосходительства Природы, отправившей яйцеклетку в фаллопиевы трубы, — а не объясняют, скажем, поведением Джерри Берта, чьим-то угнетённым

[160] Примечания: 160

Заметим, что в главе 4 Фредерика читает при указанных обстоятельствах не «Приключения Родерика Рэндома», но другой роман Т. Смоллетта, «Приключения Перигрина Пикля». Насколько это несовпадение намеренно, судить не берёмся.

состоянием духа или волевым порывом. Хотя язык наш и склонен одушевлять сперматозоид или непреодолимый закон природы, мы можем логически воспротивиться подобному соблазну. Вот только преодолеть привычку нашего ума связывать и сравнивать вещи — нам не под силу.

Сейчас с помощью видеокамеры и микроскопа на киноплёнку снимают то, что происходит *внутри*. Потом на телевизионном экране, в натуральную величину, вернее, в масштабе, соответствующем природе нашего восприятия, естественного человеческого пространственного ощущения, мы можем наблюдать, как в яичках формируются корпускулы семени, которое затем выбрасывается в результате оргастического «взрыва» (наступающего вслед за оргастическим спазмом), и как первобытные жгутиковые монады устремляются к похожей на цветок яйцеклетке, чья лучистая оболочка, напоминающая водоросли, останавливает, улавливает, направляет, отбирает нужные ей сперматозоиды, чтобы впустить лишь один в своё заветное нутро. Существуют тепловизионные изображения пениса: отлично видно, как в момент прилива крови он вздергивается этакой перевёрнутой Южной Африкой с пылающими красными пустынями и

зелёными оазисами. Какие *вычуры*, какие сложные развёрнутые метафоры придумали бы Донн и Марвелл, узрев это? Или узрев, как на нежно-ярком, сине-зеленоватом фильмовом фоне поток спермы устремляется к тёмно-красному мешочку с его микрофлорой — неведомому, невиданному, но странно знакомому лону. В этом фильме головка сперматозоида устраивается на округлой стенке яйцеклетки, подобно тому как голова Дэниела покоится на груди Стефани. Биологи высказывали идею, что мужские формы повторяются в мужском, а женские — в женском. Сперматозоид подвижен и стремится к проникновению, захвату — и этим схож с органом, который его испускает; яйцеклетка, относительно большая, инертная, подобна некоему вместилищу — но ещё более крупными вместилищами являются внутренняя чаша и пещеры, которые дают яйцеклетке жизнь и её питают. Вместилища содержат вместилища, захватчики испускают захватчиков. Эмануэль Сведенборг полагал, что все части тела, равно как и все части мира, состоят из меньших частиц той же природы: язык — из мириад крошечных язычков, печень — из маленьких печёнок, поскольку всё в мире сообщается между собой и по каким-то принципам упорядочено. Гёте открыл,

что различные части растения — тычинки, чашелистики, завязи, пестики — суть превращения первичного листа, его древнейшей протоформы, ur-листа. В настоящее время обсуждается теория, согласно которой половая функция организма возникла как отклонение от гермафродитизма и партеногенеза; переход от одноособевого размножения к двуособевому произошёл в результате действия «паразитической ДНК», которая выставляет что-то вроде ворсинки-фимбрии (или «генетического шприца») и, как кукушка, «подкидывает» буквы своих генов в нуклеиновые кислоты другого организма. Как бы то ни было, Дэниел и Стефани мирно спали головами на одной подушке, а клетки тем временем размножались, делились, разрастались. Расставлялись и переставлялись гены, хромосомы, белки; формировалось будущее, модели поведения — новая жизнь, та же жизнь, но в новой форме. Залогом бессмертия, как считают некоторые, служит передача генотипа, поэтому фенотип, то есть конкретный организм, становится избыточным, становится расходным материалом; принцип экономии требует, чтобы он старел, переставал функционировать, умирал…

Зародыш этого романа заключался в факте,

но этот факт также может служить метафорой: молодая женщина с ребёнком смотрит на ящичек с землёй, в котором непрореженная рассада — растения на бесцветных стебельках — зачахла в борьбе за выживание. В руке у женщины — картинка цветка, пакетик из-под семян с ярким изображением. Настурция, Гигантская вьющаяся, смесь.

Уильям сидел на лужайке; под исподом настурциевых фанфар копошились мошки, целая кучка липких маленьких чёрненьких тел; а в теле Стефани тем временем суетливо сновали и переговаривались друг с другом клетки. Недавно он обнаружил, что если быстро-быстро покрутить головой из стороны в сторону и резко перестать, то мир продолжает кружиться, полосато-яркий, цветной: красновато-коричневый, алый, розово-красный, оранжевый, золотой, кремовый, зелёный и чёрный. Ни один из этих цветов он, конечно, пока назвать не мог, но проносящиеся разноцветные полоски приводили его в восторг — они словно гудели и дрожали и, когда он переставал крутить головой, постепенно унимались, как рябь на воде (когда перестаёшь возить в воде рукой). Ленты цвета у него в голове имели длинные зыбкие хвосты, он их улавливал

краем глаза. Если мотать головой не из стороны в сторону, а вверх-вниз, то добиться этого цветного головокруженья труднее. Процесс человеческого познания иногда описывают при помощи принципа «порядок через шум»[161]; но, может быть, наоборот, мир постигается через заранее заложенную, высеченную в генах карту, и познание — это лишь повторение законов, которые сообщаются подрастающему разуму? Уильям создавал сенсорную путаницу, сумятицу и затем наблюдал, как всё успокаивается, само укладывается стройно. Он уже умел называть розу, ирис, подсолнух, тигровую лилию, маргаритку, всех изобретательно объединяя одним именем — «то-о». Когда он станет постарше и начнёт рисовать, он изобразит пять продолговатых петелек-лепестков вокруг приблизительного кружка; затем познает радости рисования цветка циркулем, с лепестками-дугами, перекрывающими друг друга, которые образуют — что? Не Декартов ли

[161] Примечания: 161

Принцип, введённый австрийским физиком, математиком и одним из основоположников кибернетики Х. фон Фёрстером: единство возникает через разнообразие; хаотичность, разбросанность, разнообразие элементов есть основа достижения их единства, организации.

цветок жасмина[162], не цветок ли Платона из мира идей?..

[162] Примечания: 162

Плоская кривая, построенная Декартом в первом координатном угле, представляет собой петлю и две бесконечные ветви. Однако Декарт полагал, что петля симметрично повторяется во всех четырёх координатных четвертях, напоминая четыре лепестка цветка, — отсюда название «цветок жасмина».

21
«Из множества дерев, одно…»[163]

Время от времени Маркус ловил себя на мысли, что счастлив. Чувство это его пугало, настолько оно было непривычно. Счастье он, например, испытывал, когда проводил время с Жаклин и Руфью. Жаклин любила задавать ему личные вопросы и настаивать на ответе («Скажи, а вот если… — как ты тогда поступишь?»), а ещё она своим примером показывала, что такое с воодушевлением заниматься любимым делом. Жаклин была нормальной. Она вообще была первым человеком из внешнего мира, с которым у него (ещё тогда, на обеде у Гидеона) состоялся мало-мальски длинный разговор. Чего она ему только не показывала: лист в разрезе под микроскопом, схемы строения растительных клеток, дышащие устьица, хлоропласты. Она просила его помочь по математике. С Руфью же он почти никогда не бывал наедине. Она приходила реже и

---

[163] Примечания: 163
Уильям Вордсворт. Ода бессмертия.

всегда вместе с Жаклин. Порой ему казалось, что Жаклин и Руфь образуют довольно частую для подобных дружеских отношений пару — лидер-первооткрыватель и преданный последователь. Жаклин как будто бы старалась оберегать Руфь. Руфь почти во всём соглашалась с Жаклин. Иногда безмятежное молчание Руфи напоминало ему собственную тактику уклончиво-сдержанного молчания; узнавал он в ней и свою подспудную боязливую сторожкость, установку на безучастность. При этом он сознавал, что и он, и Жаклин наблюдали за Руфью так, словно её чувство, одобрительное или неодобрительное к чему-то отношение могло служить мерилом. Была в манере Руфи и некоторая повелительность. Ему особенно запомнился один разговор, когда она обратилась к нему напрямую. Жаклин часто ворчала, мол, почему он не направит свой ум на решение достойных задач. А Руфь про ум ничего не сказала, зато посоветовала ему попытаться стать обычным.

— Ты не делаешь почти ничего обычного, Маркус. Не ходишь в кино, не катаешься на велосипеде, не ешь рыбу с картошкой фри, не…

— Не болтаешь просто так, ни о чём, — подхватила Жаклин.

— Вот-вот. Даже представить себе невозможно, как он болтает запросто.

— Но я — не как вы, я не умею… замечать вокруг.

— Ты живой человек, Маркус Поттер! — сказала Руфь. — Если от природы не умеешь вести себя как все люди, то надо тренироваться, и научишься. Уж я-то знаю, поверь.

— Откуда знаешь?

— Когда мама умерла, мне всё, абсолютно всё было безразлично. Но мне пришлось вести хозяйство, обихаживать отца и сестру, и вот именно это простое, обычное… покупки там, уборка… Только тогда я почувствовала, что я обычный, живой человек. Потом, правда, пришла она и стала заниматься домом, но я уже научилась.

— Обычное… — сказал Маркус. — У меня плохо с обычными вещами.

— Мы про это уже догадались. Можешь тренироваться с нами…

Руфь казалась ему красивой. Когда её не было рядом, ему нравилось думать о ней: спирально заплетённая коса, овальное лицо, опущенные веки, маленький молчаливый рот с полными губами, спокойные руки, пространство от плеч до груди, пространство от груди до талии. Но чаще

всего перед глазами вставала именно толстая переливчатая коса, как она извивается между лопатками. Хотелось ему эту косу потрогать, хотелось бережно расплести эту спираль, чтобы волосы раскинулись вольно, как той ночью, когда через стеклянную дверь кухни, в Центре полевых исследований, он увидел их распущенными.

С тех пор как в Центре полевых исследований ему представился Бог подземных муравьиных лабиринтов, он не предпринимал по этому поводу никаких мыслей. Да и какие тут могли быть мысли? Он возил и возил тележку с книгами, незадумчиво, по коридорам больницы. И вот однажды летом он возвращался с работы просёлками на велосипеде в Блесфорд, путь не близкий, мимо Лонг-Ройстон-Холла, где Фредерика два лета тому назад играла королеву Елизавету в пьесе Александра, — теперь там вовсю шумели бульдозеры, перекапывали пастбища, чтобы на их месте возвести новый Северо-Йоркширский университет. По травистым обочинам рос купырь, и густо с его кружевных зонтиков лилась зеленовато-белая пыльца; а ещё там были высокие нивяники, маленькие лимонно-жёлтые львиные зевы, фиолетово-серые скабиозы и маки с лепестками накрахмаленного алого шёлка. У

Маркуса вдруг возникло, уже знакомое из прежнего опыта, острое физическое ощущение жизни, в котором была полнота и таилась опасность; носовые проходы, горло и лёгкие, не желая впускать летучую пыльцу, тем не менее словно трепетали в обострённом к ней внимании. Он и видел всё с пронзительной чёткостью, яркостью: как неровно, но равновесно чередуются, составляя сложный узор, камни сложенной всухую длинной серой стены, как затейливо — если провесить между рдеющими головками линии — соединяются, в треугольники, в петли, эти маки среди поля, утопающего в белой, синей, зелёной дымке. Носовая полость как будто распросторилась, напиталась кислородом и сделалась болезненно чувствительной, словно вот-вот распухнет, зачешется, заколет множеством иголочек, как обмороженное место. Он свернул и зачем-то поехал через поле молодой кукурузы, по отлого вверх ведущей тропинке; отовсюду по сторонам торчали прозрачно-зелёные, будто стеклянные, початки в тонких нитках волос. Оказалось, что тропинка вела на небольшое, вроде холмика, возвышение, где стояло несколько вязов, около семи штук, один старый, прочие помоложе. Деревья подымались из жёсткой, высохшей тра-

вы, их кроны нависали как невнятной формы облачка, их ветви скрещивались как дуги. Он уселся у подножия одного из деревьев, рот и нос завесил платком. Отметил, что снова чувствует себя счастливым, — но было это так же опасно, как физическая полнота бытия. Эти чувства, как пустые слепящие пятна, нащупаны были светом у него в черепе, а по краю их билось разноцветное призматическое, говоря об опасности. Он старался не шевелиться. Он принялся изучать это дерево.

Вокруг основанья ствола густо и беспорядочно сплелись нижние ветки и прикорневая поросль, а между ними, точнее под ними, зачастую беря начало от комля ещё в воздухе, могучие, жёсткие, узловатые корни жадно тянулись к земле, вспарывали землю и в ней исчезали. Если же повести взглядом вверх, то видно, как ствол дерева, в шрамах, трещинах и узлах, идёт кверху, фактически не отклоняясь от вертикали. На определённой высоте, однако, он разделяется на стволы-отводки, в них повторяясь, а от этих отводков идут, тоже им вторя, ещё меньшие стволики, и все они тянутся, пробираются вверх; чем-то это напоминало отвердевший, бивший кверху источник или фонтан. От стволиков отходили толстые вторич-

ные боковые сучья, от сучьев — ветви, от ветвей — ветки потоньше, с побегами и листьями, так что создавалось некоторое множество густых крон. Вместе с деревом росла его история, которой свидетелями были неподвижный нижний кряж, вся древесная шкура с зажившими ранами, трещинами, угловатые сочленения старых, кое-где пообломанных сучьев, но также и новые угловатые выросты, повороты подвижных ветвей.

Он потрогал толстую древесную кожу: не тёплая, как плоть, но и не холодная, как камень. Внутренний остов дерева состоит по большей части из отмерших клеток и заключён в узкую, под корой расположенную оболочку из клеток живых, делящихся, наполненных водой; ещё есть энергичные клетки-«первооткрыватели», обитающие в авантюрных концах растущих корней и веток. Листья — живые: Маркус сорвал один с прикорневой поросли — светлый, золотисто-зелёный, с чёткими прожилками, с зубчатыми, как пила, краями, асимметричный у основания, шершавый на ощупь, но при этом блестящий. Смотреть на прожилки было приятно. Он снова поднял глаза вверх на крону или на кроны: на первый взгляд, по крупному счёту, упорядоченность отсутствовала, но стоило присмотреться

получше, как распознавалась закономерность в том, в какую сторону выкидывало дерево сучья, куда пускало ветки, какими ярусами устроены шатры зелёной листвы. Он знал, что геометрия живёт внутри дерева (Жаклин показывала ему рисунки камбия[164]), но теперь вдруг начал видеть геометрию и во внешнем древесном облике.

Если присмотреться глазом, настроенным на формы и фигуры, то в расположении листьев на веточках, веток — на сучьях, сучьев — на стволе, при всяческом разнообразии, всевозможной пестроте и корявости картины, открывается некий неукоснительный порядок. Листья растут на веточках сменяющими друг друга рядами под углом сто восемьдесят градусов друг к другу. В том, как ветки выходят из сучьев, несмотря на то что какие-то сломаны, в рубцах или пятнах, разные по толщине, тоже просматривается регулярность: ветки растут под одним и тем же углом по правильной спирали. Захваченный этим наблюдением, Маркус вглядывался всё внимательнее, отмечал повторение форм, создавал модель дерева. Он вынул блокнот и сделал при-

[164] Примечания: 164

Слой клеток, параллельный поверхности стеблей и корней растений, в котором происходит деление с получением новых клеток, что приводит к нарастанию диаметра стеблей и корней.

мерный чертёжик вяза, устроенного по принципу спирали. От этого изображения — отвлечённого, незатейливо-линейного — ему сделалось на удивление хорошо. (Прежде геометрия всегда представлялась Маркусу не слишком удачной уловкой, при помощи которой его сознание пыталось укротить или хоть как-то пригладить угрожающе-бесформенную, хаотичную действительность.)

Он вновь посмотрел на листву. На мгновение спутались фигура и фон: не зелёная мозаика листьев отрисовалась на голубом, а клочки ярко-голубого неба прокинулись на зелёном. На стыке цветов заструились золотые линии, словно каждый листик и кусочек неба обведены жёлтым светом, — неведомый перевёртыш церковной витражной картинки в объединительных прожилках свинца.

Когда Маркус был болен, он однажды пережил ужас в поле струящегося света, почувствовал себя воронкой, через которую идёт весь этот свет, ощутил свой глаз зажигательным стеклом. Тогда он придумал нечто вроде геометрической схемы, чтобы сделать эти мысли безопасными: два пересекающихся конуса, и в центре этой фигуры, почти нечаянно, оказывался его глаз, его разум.

И вот теперь он приложил руку к коже дерева, говоря себе, что старая схема по-прежнему действует, только нужно вообразить её по-другому. Теперь ему уже было не страшно. Причём не страшно по двум совершенно ясным причинам. Первая в том, что пересечение конусов — само дерево, конусами же являются *свет* и *земля*. (Ум услужливо подсказал ему глуповато-точное слово — «заземление».) Вторая причина отсутствия страха — это его, Маркуса, способность пускай и несовершенно, но *мыслить* обо всём этом, создавать упорядоченность.

Дерево, каким оно предстаёт глазу, — набор твёрдых геометрических форм, вступающих во взаимодействие со светом. Мысленно же представимое дерево — нечто иное, заключённое само в себе, воплощение силы и энергии, стабильное и вместе изменчивое, всё поглощает и ничем не поглощается. В каждом ярусе листья расположены так, что могут, меняя наклон, поворачиваться лицом к свету и такую же возможность давать соседям. Свет им для жизни совершенно необходим. Они вбирают воздух и свет. Избыток влаги испаряют через дышащие устьица. Вода непрерывным потоком поднимается от тёмных корней к танцующей на ветру зелёной листве.

Жаклин как-то рассказывала, что одна яблоня выпивает восемнадцать литров воды в час. Вода подаётся вверх не с помощью всасывания, не под искусственным давлением, подумал Маркус, а благодаря естественному напору: столб жидкости от основания дерева до кроны. На секунду за древесной оболочкой он узрел причудливую геометрическую форму этого непрерывного столба — сложным образом перекрученный, ветвящийся водяной канат. Да, это, пожалуй, и есть подлинная внутренняя сущность дерева — вернее, одна из многих его жизненных сущностей!

Свет движется со скоростью 300 000 километров в секунду; свет, добравшийся сквозь листву, — зелёный, рассуждал Маркус, поскольку хлорофилл поглощает красные, синие и фиолетовые волны. А зелёные как раз не поглощает. Перед его мысленным взором предстало бурное существование дерева: нерасчленённая масса света бесшумно, на невероятной скорости сталкивается с монолитным столбом воды в мёртвом-живом обличье вяза.

И сам он здесь не просто так. Это его глаза, их палочки и колбочки, воспринимают зелёным свечение хлорофилла на листьях вяза. Это его глаза видят, сквозь призму капель и частичек

пыли, в пустом воздухе над головою — синеву. Муравьи различают немыслимые оттенки синего, но совсем не распознают красного и жёлтого. Подобное известно и про пчёл: для них одуванчик лиловый, зато им открыт целый мир из узоров и знаков на цветах, недоступный нам. Какими были бы картины Ван Гога, знай он про это? Художник подбирал сложные оттенки жёлтого для лучевых завихрений вокруг солнца, для лепестков, семян и солнечной сердцевины подсолнухов; в жёлтом и фиолетовом, взаимно-дополнительных цветах, находил воплощение единства противоположностей; сеял зелёные семена света на своём вспаханном фиолетовом поле, под золотыми небесами. Маркус окинул взглядом розовато-коричневые почки на корневых отпрысках — казалось, в них смешались бронза и тёмная роза — и подумал, что у него есть в этом мире место, что он часть чего-то большего.

Геометрию дерева он *постиг*. О воде, свойствах света он *знал*. Но не хватало ещё кое-каких сведений!.. Чистое любопытство проще и внятнее, чем желание, и ближе к жизни. Психологи пытались исследовать, каким образом соотносятся желания человека с результатом их осуществления. Сильное желание сопровождается ростом

напряжения — будь это связано с едой, сексом или познавательной деятельностью. Оказалось, что напряжение в человеке спадает не когда достигается результат (насыщение, оплодотворение, окончательное постижение истины), а когда происходит непосредственное высвобождение энергии, переживаемое эмоционально и эстетически. Можно назвать это оргазмом или озарением (в случае умственного восторга: для этого придумано даже особое восклицание — «эврика!»); частички духа и материи, которые никак не складывались во что-то логичное, законченное, вдруг встают на свои места, создавая единство и гармонию. Таким вот мирным и гармоническим чувством проникся Маркус, рассматривая прекрасную форму дерева в лучах солнца.

Вязовая роща обладает и другими составляющими гармонического желания, или желанной гармонии. Роща английских вязов — это, по сути, одно растение, воспроизводящее себя при помощи корневых отпрысков. Конечно, у вяза есть цветки, их даже называют «совершенными», поскольку они обоеполы: мужские органы (тычинки) простираются над женским (пестиком). Когда цветки распускаются (довольно рано,

примерно в феврале), пылинки с тычинок могут переноситься ветром, и возможно перекрёстное опыление других экземпляров. Но распространяется, размножается наш вяз всё-таки под землёй; в Англию он попал, вероятно, ещё с племенами каменного века, которые ценили его как раз за способность давать прикорневую поросль — отличное естественное ограждение. Может показаться, что это особенно счастливое дерево, самодостаточное, бесконечно длящее своё личное бытие. Однако любопытно, что из-за отсутствия изменчивости при самовоспроизведении его копии подвержены одной и той же особенной болезни. Так или иначе, в 1955 году вяз был всевечной, важнейшей частью нашего английского пейзажа.

22
Имена

Зима 1955-го и весна 1956 года выдались довольно студёными. Даже в Провансе почернел весенний цвет, не уродилась лаванда, пожухли листья винограда. Направляясь в больницу на велосипеде, с более грузным, чем в прошлую беременность, животом, Стефани крутила педали медленнее. В голове рой хлопотливых мыслей и забот: не пропустить консультацию у врача, взвеситься и обмериться, сделать анализ крови, узнать, от каких движений лучше поберечься, в каких продуктах больше витаминов, подумать о правильном питании Уильяма, не забыть взять у булочника дрожжи, напечь кексиков для чаепития в Союзе матерей[165]. Быт да холод, холод да быт. Она снова устроила семейный рождественский ужин; перед сбором гостей стёрла пыль с Маркусовых многогранников, вытащила из буфета и перемыла до сияния праздничные бокалы. На побывку из Кембриджа приехала Фре-

[165] Примечания: 165

Англиканская общественная организация, созданная с целью укрепления семьи.

дерика и много, громко и пронзительно вещала о выдающихся театральных постановках, гуманизме, обществе. Трещит, трещит без умолку, подумала Стефани, старается изобразить из себя светоча культуры на нашем промёрзлом севере. В речах Фредерики частенько проскакивало: «А вот Рафаэль полагает, что…» Стефани попыталась вспомнить свои кембриджские годы, внять настроению сестры, поддержать задушевный разговор. Но ей было не по себе. Она чувствовала, что и сама она нынешняя, и её домик со всеми радостями и горестями, цветами в горшках и тёплым печевом, с семейной ворчевнёй и семейной же ответственностью — Фредерике совершенно не по нраву, веют участью чуждой и ужасной. На вопросы Фредерики о литературе Стефани не всегда хотелось отвечать…

Маркус же, напротив, начал радовать: вернулся в Блесфорд-Райд и вместо прежних гуманитарных предметов теперь изучал математику, биологию и химию. Он по-прежнему посещал мистера Ройса, но Стефани понятия не имела, о чём между ними говорилось. Он виделся с Жаклин и Руфью, иногда и с другими ребятами из Клуба юных христиан. Он старался общаться с Биллом: в конце недели сообщал свои оцен-

ки, неизменно хорошие, и при этом даже не дрожал всем телом. Его голос и обращение с Биллом казались Стефани нарочито, чуть ли не оскорбительно учтивыми. Он, казалось, решил исповедовать *нормальность*: беседовал о погоде, расписании автобусов, о новой пристройке к школьному бассейну, — и всё это с той же странноватой любезностью, с какой докладывал Биллу об успеваемости, будто исполняя долг. У Стефани Маркус поинтересовался, кого она больше хочет, мальчика или девочку, и как решили назвать. Стефани воображала себе только мальчика, и тут они с Дэниелом согласились на имени Джонатан. С женскими именами было сложнее. Стефани нравились старомодные — Камилла, Антония, Лора. Но Дэниелу такие не по душе. В итоге они, хотя и не вполне уверенно, сошлись на Рейчел. Ожидаемая дата родов была 14 февраля. Ну тогда, заявила Фредерика, Валентин или Валентина — в самый раз! Миссис Ортон заметила, что это имя «больно уж вычурное». «Как же вас саму зовут, миссис Ортон?» — немедленно осведомилась Фредерика, и та ответила: Энид. Стефани сидела за вязанием и задумалась об «Энид»: у неё это имя ассоциировалось с трактирными служанками и мелкой буржуазностью Эдвардианской эпохи;

а если уйти дальше в историю — с воплощением бледной красоты в Артуриане: Энид, жена Герейнта, какой она описана у Теннисона и в древнем валлийском цикле[166]. Как слово — звучит красиво, но как имя — пожалуй, облеплено слоем неприятных ассоциаций, точно жестянка для печенья — лакированными ракушками (сувенирчик из курортных городков вроде Скарборо, Брайтона или Лландидно).

В квартире в Блумсбери тоже в скором времени ожидалось прибавление. Больше всего обсуждали имя Саския, так желала назвать ребёнка Элинора. «Я хочу, — говорила она, — чтобы девочка была счастлива, состоялась как *личность*, жила припеваючи, чтоб лицо её светилось радостью, как у Саскии Рембрандта». Томас возразил: с таким причудливым именем ребёнок будет слишком выделяться среди одноклассниц. Элинора заметила, что всегда можно добавить Джейн, или Мэри, или Энн, и поинтересовалась, каково полное имя Александра. Он важно, нараспев, огласил: Александр Майлз Майкл — и добавил, как добавлял всегда, когда об этом заходила

---

[166] Примечания: 166

«Герейнт и Энид» (1859) — поэма Альфреда Теннисона об одном из рыцарей короля Артура и его жене; основана на рыцарском романе «Герейнт и Энид» из валлийского цикла «Мабиногион» (XII–XIII вв.).

речь, что все его имена довольно воинственные: Александр по-гречески «защитник», Майлз от латинского «воин», да и архангел Михаил — покровитель воинства. Томасу были больше по душе Марк или Дэвид. Элинора попыталась подобрать мужское имя в духе Саскии, но чтобы оно при этом не походило на имена персонажей Джорджетт Хейер или «Саги о Форсайтах» (таких не оказалось). Герард — вот неплохое имя, вспомнил Александр. Он знает голландца по имени Герард Вейннобел. «Да это ж как французский бригадир Жерар у Конан Дойла», — поморщился Томас и снова повторил, что предпочитает имена простые: Марк, Саймон, Дэвид. «Дэвид — общее место», — обронила Элинора. «Тем удобней его присвоить себе, — парировал Томас. — Дэвид будет твой, и больше ничей. А Саския безраздельно принадлежит Рембрандту».

Двенадцатого января 1956 года в шесть утра в больнице университетского колледжа у Элиноры родился сын. Роды прошли легко. Томас был в больнице, но не в палате. Александра оставили с Крисом, Джонатаном и Лиззи, по крайней мере покормить детей завтраком, — потом явится няня по вызову. Александр надел фартук и принялся выставлять на стол тарелки с йогуртом, мюслями,

фруктами, чувствуя, что и сам он вроде няни по вызову. «У вас теперь есть братик, — объявил он детям. — Довольно крупненький. Все чувствуют себя хорошо». Дети загомонили и спросили, когда можно его увидеть. Александр ответил, что не знает, но Лиззи всё равно забралась к нему на колени и неумолимо продолжила катехизис. А где он будет спать? Много ли будет шуметь? Заберёт детскую кружку, *мою* кружку? Александр ответил, что малыш, скорее всего, не будет много плакать, и, как только вернулся Томас (тремя мгновениями позже в дверь позвонила и няня), поспешно ретировался на работу. Томас успел бросить вслед: Элинора хочет, чтобы Александр её навестил. Александр ответил: хорошо, но позже, пусть она отдохнёт. Он намеревался отправиться с визитом через день-другой, спрятавшись за большим букетом, вместе с Томасом или с Джонатаном и Крисом.

После обеда зазвонил телефон у него в кабинете. Александр в эту минуту разговаривал с Мартиной Сазерленд — чрезвычайно талантливой коллегой. У Мартины были точёные черты лица, за душой Оксфорд с отличием по классическим языкам и античной филологии. Благодаря знаниям и остроте ума Мартина сделала на ра-

дио прекрасную карьеру как режиссёр передач. Поговаривали, что своих подчинённых она изводит властностью и придирками, а с равными общается дружелюбно-отстранённо; подобная манера тревожила и волновала Александра. Он снял трубку:

— Александр Уэддерберн.

— Александр, это Элинора. Я хотела с тобой поговорить.

— Рад, что всё прошло хорошо.

— Мне удалось перехватить одну из этих новых тележек с телефонами. Послушай, это важно. Я хочу, чтобы ты увидел малыша.

— Конечно. Я собирался прийти вместе с Томасом. Может, завтра вечером? Можно, конечно, и сегодня…

Молчание.

— Александр. Приходи, пожалуйста, *сейчас*, один. Ты должен его *увидеть*.

— Какой он? — как-то нелепо спросил Александр, пытаясь увильнуть от ответа.

— Идеальный. Особенный. Ни на кого не похож — идеальный отдельный человечек, — щебетала она. — Такой *красивый*, я прямо плачу от счастья.

— Хорошо, постараюсь. Сейчас, правда, занят с коллегой.

— Ой, конечно, прости. Но… приди, *пожалуйста*! Ты ведь придёшь, да?

— Ну конечно.

— У моей домовладелицы, — сообщил он Мартине Сазерленд, — только что родился ребёнок. От радости она сама не своя.

— Надо же, — бесцветно отозвалась та. — Так вот, вы не находите, что этот текст слишком перегружен, сплошные имена философов, друг на дружке?..

— Вы не согласитесь со мной отужинать? — неожиданно для себя выпалил Александр. — Например, завтра? Отпразднуем окончание, ну или почти окончание, моей новой пьесы?

— С радостью.

И вот Александр отправился, довольно обеспокоенный, к ребёнку в день его появления на свет. По телефону Элинора была сама не своя, перевозбуждённая и безрассудно радостная. Это её состояние, особенный тон голоса и побудили его явиться одному, до Томаса с детьми. Он купил большой букет из разных весенних цветов: нарциссы, чем-то похожие на крошечные сложенные зонтики, кудлатые ирисы на пиках цветоносов, тюльпаны, чьи плотные закрытые

бутончики иззелена-бледноваты, но уже окаймлены огнисто-красным, — и всё это было обёрнуто в хрустящий целлофан. О маленьких детях не знал он совершенно ничего, единственным его младенческим знакомцем был злосчастный Томас Перри в Блесфорде, и Томас, по понятным причинам, Александра недолюбливал. Сейчас воображение почему-то живо нарисовало ему собственную физиономию, уменьшенную до личика мартышки. Палата была маленькая и светлая, на четверых. Он сделал несколько шагов и сразу оказался у кровати Элиноры; она, с тусклыми волосами, в ночной рубашке с узором в виде веточек, подставила усталое лоснистое лицо для поцелуя. От неё пахло молоком, кислым молоком. Он попытался вручить ей цветы и огромную коробку горьких шоколадок с мятой, а она — обратить его внимание на колыбельку из парусины, натянутой на металлический каркас: внутри лежал младенец, туго завёрнутый во фланелевую ткань, отчего казался вытянутым, как карандаш, рот и глаза — щёлочки, лицо пунцовое, в пятнышках экземы. На голове — светлые волоски, но не много.

Элинора потянулась к люльке, вытащила свёрток:

— Подержи его. Возьми на руки!

— Нет-нет.

— Не бойся, новорождённые — существа весьма прочненькие.

— Всё равно, боюсь младенцев.

— Я хочу увидеть, как ты его держишь, — повторила она голосом взволнованным и настырным.

— Нет, не могу. Правда. Я не умею. Лучше ты сама.

— Посмотри, он открыл глаза. Ну разве он не чудо?

Александр заметил, что у ребёнка длинная, заострённая головка и широкий лоб. Глаза тёмного, непонятного цвета. Он весь какой-то бесформенный, даже его кости. Кости ведь сдавливаются или сплющиваются, когда ребёнок немыслимым образом выталкивается через узкое отверстие? Ротик его кривится и так и этак. И он ведь такой *крохотный*. Для него почти всё опасно. Он пока ещё и дня не прожил! Александр протянул руку, коснулся пальцем мягкой холодной щёчки.

— Элинора… Давай говорить прямо… совсем прямо. Пытаешься ли ты сейчас сказать мне, что он мой сын? — Александру пришлось произнести это, наклонившись, заговорщицким шёпотом.

Элинор прошептала в ответ:

— Понятия не имею. — Она резко вздохнула, засмеялась. Придвинулась ближе и сказала ему на ухо: — Я делала… Я всегда делала так… чтобы невозможно было потом узнать… узнать, *чей*… если вдруг… Я думала, может, я пойму, когда увижу его. Или её. Я ведь была уверена, что будет девочка, Саския.

— Мне кажется, в нём нет сходства с кем-то конкретным.

— Посмотри вон на того ребёнка, и ты увидишь, что они все разные. Это байки, что все младенцы одинаковые. Они разные и не похожи на Уинстона Черчилля[167]. Посмотри на малыша миссис Коган.

У того малыша была копна чёрных волос, пухлые щёчки, большие глаза, и весь он был какой-то кругленький. Миссис Коган приветственно кивнула Александру и улыбнулась. Он снова перешёл на громкий шёпот:

— Крис с Джонатаном тоже со мной имеют какое-то сходство.

— Это потому, что есть сходство между тобой и Томасом. Большой лоб, задумчивое выражение, волосы не то русые, не то каштановые, прямой

---

[167] Примечания: 167

Отсылка к известному высказыванию Уинстона Черчилля: «Все младенцы похожи на меня. Ну и я похож на них всех».

рот. Только ты крупнее. Ты сам-то как чувствуешь, он *чей*?

— Ну… — начал было Александр и запнулся (при виде розовокожей крохи он чувствовал только боязнь и дрожь).

— Узнать можно, если сделать анализ крови.

— *Нет!* — вырвалось у Александра довольно громко. Ему не только было телесно страшно даже находиться рядом с ребёнком — его смущала и пугала эта новая несдержанная, болтливая Элинора.

— Ну, дорогой, я же не предлагаю всерьёз… Просто у меня лёгкость в голове. Наверное, от обезболивающего. И вообще, в последние месяцы я жила в слишком большом напряжении.

— В напряжении?.. — невольно повторил Александр и умолк.

С хлопаньем раскрылись двери. В палату ворвались Лиззи, Джонатан и Крис с коробками конфет и пакетами фруктов.

— Я пойду… — сказал Александр.

— Нет, останься…

— Мне пора. Мне нужно подумать.

— *Думать* здесь совершенно не о чем. Придёшь завтра?

— У меня завтра ужин с коллегой. Но я постара-

юсь заглянуть. Томас, привет. Я как раз собирался уходить. Мне и правда пора.

— Скажи, Александр, разве он не миленький? — спросила Лиззи. — Он подержал мой пальчик.

— Очень миленький, — согласился Александр, проводя по мышино-бесцветным волосам девочки длинными пальцами, которые так славно умели ласкать Элинору. — Вы чудесная семья.

Он сидел в своей жёлто-белой комнате и думал. Теперь-то он понимал, какая буря творилась у Элиноры в душе весь последний год. До того как он услышал от неё это слово — «напряжение», он и вообразить не мог, каково ей было гадать девять месяцев, чьего ребёнка она носит, тревожиться, что дитя может оказаться неоспоримо похожим на Александра, беспокоиться, как-то он, Александр, всё воспримет (а повёл он себя сегодня не слишком ласково). Он вдруг сообразил: наверное, она уверяла себя, что родится *Саския*, потому что девочка была бы в первую очередь *её* ребёнком, на *неё* была бы похожа?.. А его она просто *использовала*. У него никогда не было сомнений, что таким способом она хотела поквитаться с Томасом за Антею Уорбертон, а заодно продлить свою бабью молодость, развеяться, сбросить броню матери троих детей. Теперь же

ему показалось, что она с самого начала, с самого первого, молчаливого и вежливого раза под жёлтым покрывалом *непременно хотела* зачать ребёнка. Зачем? Наказать Томаса? Или, может, она, как один его знакомый актёр, подсознательно нуждалась в ребёнке от каждой интрижки? Женщине такие вещи обходятся дороже. Или, может быть, он всё не так понял? Что, если она, как прежние его женщины, его полюбила? Ну тогда могла хотя бы намекнуть, рассуждал Александр с некоторым раздражением, сердясь на это раздражение. Впрочем, у дела имелась и третья сторона.

Итак, Томас. О чём Томас знал, догадывался, думал, что чувствовал? Ведь дружил он с Томасом, а не с этой женщиной, Томаса уважал и ценил. Вполне вероятно, что они, как два англичанина, попросту всё между собой благополучно замолчат; повышать голос, слишком эмоционально на что-то отзываться считается моральной слабостью, дурным вкусом. Ребёнок этот — сын Томаса, так тому и быть. Элинора, поди, успокоится. Сам Александр, конечно же, как можно скорее съедет с квартиры. Из-за этой перемены он не так стремительно, как собирался, закончит «Соломенный стул», но так или иначе финал

пьесы не за горами. Он стал думать о Винсенте Ван Гоге, в голове почему-то всплывали лишь самые растиражированные портреты: коричнево-загорелое лицо угрюмо взирает из-под полей соломенной шляпы; а вот бледное, с хрящеватым носом, загадочно хмурится в окружении аквамариновых завихрений, золотых лун и звёзд. Ему живо, внезапно вспомнилась Фредерика Поттер времён постановки «Астреи», как взмётывались её проволочно-рыжие волосы от объяснительного размахивания руками, в минуты признания в любви к александрийскому стиху Расина — и к Александру.

По дороге в больницу университетского колледжа Томас затащил Александра в паб «Мальборо». Собственно, к Элиноре явится нынче только Томас — путь Александра лежал на Грик-стрит, в старейший французский ресторан Лондона «Улитка», где он ужинает с Мартиной Сазерленд. Когда он сообщил Томасу, что не поедет в больницу, тот ровным тоном сказал, что очень жаль, его дружба много значит для Элиноры, но она, конечно же, поймёт. Александр смотрел в лицо своего друга — дежурное, неулыбчивое, — и его впервые охватила злость, злость к *ней*. Он выразил это чувство на свой лад:

— Наверное, мне пора съезжать. Вам теперь нужно больше места.

— Ты уж не впервые это говоришь. Но Элиноре нравится, что ты у нас. Поверь.

— А тебе, Томас, нравится?

Томас ответил, осторожно подбирая слова:

— Я тебе благодарен. Она бы вообще со мной не разговаривала, не будь тебя.

— А теперь?

— Я думаю, делай так, как считаешь нужным. Наверное, нехорошо, что мы тебя… используем…

Александра поразило, что Томас употребил тот же глагол, которым он сам охарактеризовал хитроумные действия Элиноры, но Томас ещё добавил в дело и себя, проговорившись этим «мы». Александр молча осушил кружку.

— Как бы то ни было, я надеюсь, ты станешь ребёнку крёстным. Элинора тоже тебя просит.

— Не могу. Я не христианин.

— Это не имеет значения. Ей важен внешний обряд. В университетской церкви будет светская церемония.

— Эх…

— Подумай об этом.

— Хорошо. Вы уже решили, как назовёте?

— Да — Саймон Винсент Пул.

— Винсент?!

— Ага, в его честь. В честь твоей пьесы о Винсенте Ван Гоге.

— Ну надо же, — удивился Александр.

Схватки у Стефани начались в День святого Валентина, как и было обещано. Но остальное пошло отнюдь не гладко. Дисциплинированная и отважная Стефани в воображении уже мысленно преодолела тяготы и неудобства. Поэтому она легче перенесла начальные процедуры — холодный мокрый нажим бритвы, унизительную клизму. Ей даже удалось протащить с собой книгу — пригодится, когда останешься наедине с ритмичным ходом боли и узаконенной раздражительностью медсестёр. На сей раз это был роман «Наш общий друг», начало которого прочла она медленно и туго, но с диким, обострённым физической мукой вниманием; и когда потом медленно стал разворачиваться ночной кошмар — осложнённые роды с обвитием пуповины, неритмичные схватки, родовая гипоксия плода, ослабление схваток, и наконец были пущены в ход, наложены щипцы, — то всё это сливалось в одно с лондонским кошмаром Диккенса: мерцал уголь в очаге, рисуя маленькой Лиззи Хэксем причудливые картинки, лениво ворохталась под бортом

лодки Темза, пряча улов утопленников, и летели захватные крюки, напрягались верёвки, масляный свет фонаря падал на воду, шёпоты гулко отдавались во мраке… Она совершенно не ощущала призыва какой-то силы, с которой можно было бы сговориться, призвать в помощь, каждой схватке что-то подспудно перечило, спина горела и тлела, а перед внутренним, перерывчатым, взором — чёрные, зыбью порубленные воды Темзы, под Лондонским мостом, катят и катят против прилива. Когда почти сутки спустя, перед рассветом, она наконец-то услышала крик младенца, ей почудилось, что это крик боли. И сама она — онемелая груда мышц, стянутых в узлы, разорванных, растянутых, обвисших, — оживёт и заболит.

— У вас девочка, — сообщили ей вполне доброжелательно. — С ней всё будет хорошо.

— Можно её увидеть?

— Позже. Она очень устала, и вы тоже. Попозже.

Её повезли зашивать. Им, наверное, даже не приходит в голову, что обращаются они с ней точно с тушей, бесцеремонно вздёргивая её толстые, распяленные ноги на мясницком, хитро регулируемом снаряде с текстильными стропами. Они

называли её «мамочка». «А ну-ка вдохните, мамочка». «Тут что-то ещё беспокоит, мамочка?» Её привезли на тележке обратно. В комнатке между мясницкой и общим спальным помещением ждал Дэниел с обведёнными бессоньем глазами.

— Девочка. Ты её видел?

— Нет. Они говорят, с ней всё в порядке. Всё хорошо.

— Отлично.

— Милая… Ты выглядишь изнурённой.

— Ах, Дэниел, я буду в порядке.

— Непременно.

— Как Уильям?

— Плакал, хотел к тебе. Пришла твоя мать. От моей проку никакого. Твоя спрашивала, не забрать ли Уильяма.

— Он без меня не привык. Испугается. Решай сам.

В этот раз она испытала блаженство не от света, как при рождении Уильяма, а от укола петидина; ни просветления, ни мистического озарения — лишь мгновенная лёгкость, тепло, невесомость мыслей. В тающем сознании встрепенулись неверные обломки спенсеровских строк: «Отдохновенье после боли… всего нас луч-

ше удоволит»[168]. Попыталась вспомнить всю строфу точно, целиком — отдохновенье и сон отскочили прочь; застонала, попыталась найти удобное лежачее положение, но тщетно…

Когда ей собирались показать ребёнка, она сразу почувствовала в медсёстрах смутное беспокойство.

— Сейчас мы принесём вашу малышку, миссис Ортон. Чудесная девочка, здоровенькая, немного сонная, это потому, что ей пришлось нелегко, но…

— В чём дело?!

— У неё… у неё на лице пятно. Доктор говорит, это гематома, ну, вроде кровоподтёк, и почти наверняка со временем побледнеет, возможно, сойдёт совсем. Просто *выглядит* это… ну, вы понимаете…

— Я хочу её увидеть. — (И хорошо бы не в присутствии глазеющих жён тюремных надзирателей, неугомонной девицы, которая слишком быстро выскочила замуж, да сверляще-любопытной миссис Уилкс.)

— Сейчас-сейчас.

---

[168] Примечания: 168

Эдмунд Спенсер. Королева фей. Книга 1, песнь IX, строфа XL; Стефани «скрещивает» 6-ю и 9-ю строки.

Малышку принесли. Она была с головы до ножек завёрнута в хлопковую простынку, скреплённую булавкой. Лицо в тени… Виднелся левый закрытый глаз, над ним — едва различимая светлая бровка. Губки — как лук игривого Купидончика. От внешнего уголка правого глаза начинается что-то тёмное, уходит под простынку. Стефани взяла ребёнка и твёрдой рукой откинула с головы покров. Желеобразное, вздутое, красно-лиловое пятно словно прилипло к лицу пиявкой, растянувшись от темечка на половину крохотного лобика и заезжая на глаз. Сбоку на маленькой голове были отметины, там, где накладывали щипцы. Ребёнок не шевелился. Сердце Стефани вздрогнуло. Не узнавание, не благое открытие, как с Уильямом, ощутила она, а сокрушение, отчаянный охранительный порыв. Крепко и бережно она держала малышку. За миниатюрными ушками — два длинных тонких завитка волос, прилизанных, но можно различить цвет.

— У неё рыжие волосы.

— Пока ещё не совсем понятно.

— У неё рыжие волосы, — повторила она. И тут же: — Она ведь *в порядке*, да? Помимо этого, с ней всё хорошо?

— Да, у вас чудесная, здоровенькая девочка.

Стефани прижала малышку к груди, уткнув пятно в собственную кожу, быстро привыкая к ощущению маленьких ножек, хрупких плечиков.

— Я о тебе позабочусь, — прошептала она. — Не бойся.

Малышка продолжала спать.

В часы посещений пришли Дэниел, Уинифред, с ними Уильям.

Стефани вручила ребёнка матери; та уже успела молвить слово с медсестрой: пятно уйдёт обязательно! Уильям, кряхтя, с упорством вскарабкался на кровать к Стефани и властно сомкнул на ней свои ручонки. На зелёном покрывале образовался от его обуви грязный след. Дэниел забрал дочь у тёщи и, как и Стефани, приставил обезображенной частью головки к своему телу.

— У неё очень милое лицо! — сказал он, не дежурно, а совершенно искренне.

Малышка отворила закрытый глаз и, казалось, вперилась в тёмное облако-Дэниела.

— Она очень похожа на тебя, Стефани.

— Я думала, на Фредерику. У неё рыжие волосы, видишь?

— Фредерику никто бы не назвал милой. Нет, она как ты. — Он внимательно посмотрел на

малышку. — Назовём её Мэри.

Это имя они даже не обсуждали.

— Почему? — удивилась Стефани. — Подумаем ещё. Мне вполне по душе Валентина.

— Мне кажется, она знает, что её зовут Мэри!

Все посмотрели, подумали и спорить не стали: в словах Дэниела почудилась какая-то правда.

Уильяма отцепили от Стефани, показали ему сестру. Он сразу же чуть ли не ткнул пухлым пальчиком в пятно и взвизгнул:

— Зачем слизняк у неё на голове? Зачем?

— Это не слизняк, а такое пятно.

— Не люблю её. Не люблю, не хочу…

И принялся вопить пронзительно и протяжно. Уинифред его увела.

Генная преемственность носит биологический, химический и вместе с тем исторический характер (если иметь в виду историю рода, семьи). Наречение имени связано с культурной традицией (исторически обусловленной), то есть тоже является формой преемственности. И Саймон Винсент Пул, и Мэри Валентина Ортон были приняты в свою культуру, пройдя передающийся из поколения в поколение англиканский обряд крещения младенцев, — несмотря на то, что Дэниел сомневался в действенности обетов, взятых за

другое человеческое существо, а Томаса, Элинору и Александра приводили в агностическое замешательство вопросы об отречении от мира, плоти и дьявола, на которые полагалось давать уверенный отрицательный ответ. Но обряды были, есть и будут. Мэри крестил Гидеон Фаррар в церкви Святого Варфоломея; принципиальный Билл на церемонии отсутствовал, зато пришли и умилялись происходящему обе бабушки. Мэри ни разу не заплакала. Она вообще была до странности *спокойным* ребёнком — много спала, быстро и хорошо ела, несмотря на то что Уильям в эти часы хищно ходил кругами вокруг неё и Стефани или даже будто нарочно решал опорожнить мочевой пузырь или кишечник, как раз когда она тихо сосала грудь, и Стефани приходилось прерывать кормление. Стефани порою со страхом думала: а вдруг *спокойствие* Мэри — на самом деле патологическая вялость, вызванная перинатальным повреждением мозга. Но вскоре страхи стали развеиваться: у девочки появилась живая, милая улыбка, солнечно светившая из-под тёмного, багрового облака, огрузившего лоб. Крестили её в белом чепчике с ажурной вышивкой бродери-англез, который Стефани изготовила собственноручно, чтобы прикрыть

пятно. Бабушки и Клеменс Фаррар в один голос признали чепчик «милым». Мэри не плакала, как я уже сказала; но зато вопил Уильям. Стефани держала его на руках, а он колотил её кулачками в ключицу, выкручивал туда-сюда золотую часовую цепочку, принадлежавшую ещё отцу Билла, которую она надела на шею как фермуар (благодаря чему семья Поттер словно присутствовала полностью), — чуть не задушил её. Крёстным отцом стал мистер Элленби, крёстными матерями — миссис Тоун и Клеменс. (В случае Дэниела верить в таинство и соблюдать все предписания полагалось безоговорочно.) После церемонии угощали пирогом с глазурью, который принесла Клеменс, и сухим хересом. Уильяма стошнило. Билл пришёл к застолью и высказался по поводу имён — Уильям и Мэри:

— Как Вильгельмимария из «Тысяча шестьдесят шестой и всё такое»[169].

— Глупости, — возмутилась Стефани. — Почему не Уильям и Мэри Вордсворт?

— Да, уж лучше в честь жены, чем сестры! До-

---

[169] Примечания: 169

Вильгельм III Оранский и его жена Мария II, по мнению ряда историков, правили совместно; поэтому они служат прототипом персонажа «Вильгельмимария» в пародийном учебнике истории У. К. Селлара и Р. Дж. Йетмена «1066 и всё такое» (1930).

роти Вордсворт нам ни к чему. А то чего только современные биографы не пишут[170].

— Это Дэниел предложил имя Мэри.

— Ну конечно. В честь кого же — Девы Марии? Или может, другой Марии, что была с алвастровым сосудом мира драгоценного?[171]

— Я не интересовалась.

Дэниел, стоявший неподалёку, ответил непринуждённо:

— Ну почему же непременно в чью-то честь? Просто я подумал, это подходящее женское имя. Она ведь у нас с первого дня — настоящая маленькая женщина. После Уильяма это для меня было в новинку.

— Да, Мэри — хорошее имя, — уступил новый, со всем заранее примирённый Билл.

Университетская церковь Христа Царя в Блумсбери — приятный глазу образец неоготики в жёлтом цвете — построена была в период бурного расцвета викторианской религиозности ирвин-

---

[170] Примечания: 170

Сестра У. Вордсворта Дороти жила вместе с супругами, некоторые исследователи считают, что у брата и сестры была друг к другу нездоровая привязанность.

[171] Примечания: 171

Мария, сестра Лазаря (по другим версиям, грешница Мария Магдалина, на что, возможно, и намекает Билл), возлила на Христа драгоценный мир из алвастрового сосуда.

гианами — последователями харизматичного шотландского проповедника Эдварда Ирвинга, который основал Католическую апостольскую церковь. У ирвингиан чрезвычайно важным делом считалось возложение рук, посредством коего обряда просвещали и посвящали в разные церковные чины. К сожалению, рук оказалось возложено недостаточно, и теперь ирвингиане представляли собой лишь небольшое разрозненное сообщество, лучшие годы которого уже позади. А церковь на Тавистокской площади нынче используется университетом. Бойкий, делового вида священник, который, по слову апостола Павла, явно решил *для всех сделаться всем*[172] (заметим, что Фредерика, дерзко перенося это на свои отношения с мужчинами, в воображении приписывала фразу шекспировской Клеопатре), окропил Саймона Винсента тёплой святой водой из медной купели ручной ковки. Саймон Винсент издал яростный вопль. Александра дать обеты отречения от мира и плотских желаний не попросили. Собралась приятная компания из учителей и университетских преподавателей, а ещё пришли множество родственников Томаса

[172] Примечания: 172
1-е Кор. 9: 22.

и Элиноры, благодаря чему Александру удалось, как он и хотел, остаться в тени. У него состоялась вежливая беседа о преемственности в культуре, со священником, и другой, весьма приятный разговор — с преподавательницей актёрского мастерства из Института Крэбба Робинсона, которая знала «Астрею» почти наизусть. Элинора улыбалась и была чрезвычайно мила (к ней вернулись лёгкие, воспитанные манеры).

Винсента Ван Гога тревожило, что племянника, сына Тео, решили назвать в его, Винсента, честь. Он писал матери: «Мне бы больше хотелось, чтобы Тео назвал мальчика не в честь меня, а в честь отца, о котором я в эти дни частенько вспоминаю, но, раз уж так получилось, я сразу начал писать для него картину, которую они могли бы повесить у себя в спальне. Большие, цветущие белыми цветами ветки миндаля на фоне голубого воздуха»[173]. Проявление любви к племяннику не обернулось для Винсента ничем хорошим: «Работа шла успешно, последний холст с цветущими ветками, ты увидишь, что сделан он, пожалуй, лучше и тщательнее, чем все предыдущие, написан куда более спокойным

[173] Примечания: 173
Из письма матери 19 февраля 1890 г.

и уверенным мазком. Но на следующий день я расхворался дальше некуда, превратился в животное»[174]. «Я заболел как раз в ту пору, когда писал миндальный цвет»[175].

Возможно ли, задумался Александр, что есть неудачливые имена? Да и кто осмелится утверждать, что Винсент был неудачник? Цветущий миндаль, доставшийся такой ценой, не потускнел и в наши дни! Саймону Винсенту Пулу подарил он простое серебряное блюдо, на котором выгравировал наречённые его имена, подарил, а сам в очередной раз отправился ужинать с Мартиной Сазерленд…

Через две недели после крестин Саймона Винсента, под плач Саймона Винсента, проникавший сквозь стены и дверь, Александр сидел за письменным столом, с пера сбегали последние строки.

По его разумению, пьеса, весь языковой её состав получили верный вид.

Он выровнял кипу страниц, стал нумеровать, размышляя: то, как пьеса слагается, обретает жизнь, вряд ли может быть понято через срав-

---

[174] Примечания: 174
Из письма Тео Ван Гогу, ок. 17 марта 1890 г.

[175] Примечания: 175
Из письма Тео Ван Гогу 29 апреля 1890 г.

нение с ростом в утробе и рожденьем на свет ребёнка. Не зародышевая клетка определяет здесь всё, а некое лекало. Пьеса скроена, стачана по нему из частей, словно платье. Перлы слов — не естественное переливчатое оперение или чешуя, а пластинки жемчуга или жемчужные пуговки, каковыми угодно расшить её драматургу. Основной же состав, или ткань, — сам язык, всегда можно получше его подогнать, приспособить, перекроить, на худой конец. Пьеса — это не плод, а *изделие*, вот в чём суть. *Рост* изделия — это просто метафора. Да, скорее всего.

Так или иначе, дело сделано.

23
Комос

— «Обманщик! — обратилась Фредерика к своему отражению в зеркале. — На невинную Природу / Хулу не возводи, как будто целью / Её щедрот — нас погубить соблазном». — Вид сердитый, но праведного гнева не получается.

В колледже Святого Михаила на майскую неделю готовили постановку «Комоса»[176] под открытым небом; Фредерике поручили роль Леди. Режиссёром был аспирант-американец по имени Харви Орган. Очарованный Кембриджем, он вознамерился прочувствовать жизнь университета во всей её модной текучести — и оставить в ней след. Появлялся он и на поэтических вечерах у

---

[176] Примечания: 176

Пьеса-маска Дж. Мильтона, написанная белым стихом, впервые представленная в 1634 г. в замке Ладлоу. Два брата и их сестра (леди Эгертон) путешествуют по лесу; леди устаёт, братья, на время её покинув, отправляются на поиски пропитания. Появляется Комос — бог пиршеств и веселья (сын бога Диониса). Обманным путём он приводит леди в свой замок, намереваясь совершить с её помощью акт некромантии. Он уговаривает леди отбросить застенчивость и испить из его колдовского кубка (символизирующего сексуальное удовольствие и невоздержанность), но леди, веруя в добродетель и целомудрие, отказывается; звучит философский спор о примате души или тела. Братья леди, разыскивая её, встречают духа-хранителя; вместе они спасают леди.

Рафаэля Фабера, читал свои стихи, технически более совершенные, чем у завсегдатаев, а также вызывал всеобщее веселье своими наукообразными критическими замашками. «Образ вашего стихотворения не поддаётся концептуализации» — эта его фраза сделалась у Алана, Хью Роуза и Фредерики любимой комической присказкой. Им и в голову не приходило, что это не чушь какая-то, а объективная проблема толкования поэтического текста. Кроме того, они отказывали стихам Харви в «искренности», потому что говорилось в них о вещах, находившихся явно за пределами его опыта или знания (например, о пустыне Гоби, о гонках парусных клиперов, о разведении крыс). Обладая крепким телосложением и бычьей шеей, Харви не вышел ростом, отчего казался неуклюж, очки с толстыми стёклами тоже не слишком его красили.

А вот актёр, исполнявший роль Комоса, напротив, был чрезвычайно, как-то даже по-дикарски красив — Фредерика никогда ещё в жизни не встречала столь яркого, интересного мужчину. Кожа смуглая, с оливковым оттенком, волосы чёрные и блестящие, точно вороново крыло. Последнее было забавно, ибо Комосу, восхищённому сладостным непорочным напевом Леди,

полагалось говорить: «Разглаживает пенье сумрак ночи, /Как воронов подкрылок». Всякий раз на этом сравнении Комос сбивался и путал текст. (Да и Фредерика в спектакле не пела, слухом и голосом не обладая.) Губы у Гарольда Манчестера (таково имя актёра) были красные. До встречи с Гарольдом Фредерика и не представляла, что губы могут быть такими красными без помощи кармина, грима или помады. Нос греческий, рот же скорее восточный, как и локоны — длинные по тем временам. Красными были и щёки: на них темнел алый румянец, подчёркивая точёные скулы. Гарольд изучал право, без особого, впрочем, энтузиазма, зато участвовал в серьёзных соревнованиях по лякроссу[177] и выступал в лаун-теннисе за свой колледж.

К сожалению, выучить роль ему было не под силу.

Возможно, Харви Органу, как режиссёру, следовало бы вовремя задуматься над этой неувязкой, но ему было приятнее на репетициях лично подавать текст, проговаривая бессмертные английские строки с нахальным американским

[177] Примечания: 177

Лякросс — контактная спортивная игра между двумя командами, с использованием небольшого резинового мяча и особой клюшки с длинной рукояткой и сетчатой петлёй на конце.

прононсом:

Почто дары свои Природа щедрой
Рукою расточила, наполняя
Плодами и стадами землю, море ж —
Без счёта рыбами, неужли не затем,
Чтоб вкус наш любознательный насытить?

Харви звучал как чувственный и пылкий педант, Гарольд Манчестер — как паинька-шестиклассник, не ведая ни о диком богатстве языка, ни о собственной баро́чной красоте. Алан Мелвилл играл Духа-хранителя, мастерски переходя с одной манеры произношения на другую: когда Дух являлся собственной персоной, он говорил чисто и классично, как актёр Джон Гилгуд; когда представал в обличье пастуха — как настоящий шотландец; когда проводил в конце спасательную операцию — резко-отрывисто, военачально. С Аланом у Фредерики не было общих сцен. Она репетировала только с Харви и Гарольдом; в искусителе Гарольде жила раздвоенность: голос говорил одно, тело — другое. Но её это не слишком занимало; куда интересней было поглядывать, не вышел ли Рафаэль, — обычно вечерами он прогуливался по саду, волоча за собой мантию и

беседуя с другими членами колледжа.

Представления (всего их было три) не имели сколько-нибудь значительного успеха. Костюм — жалкое подобие изображённого на симпатичном небрежном эскизе — Фредерике не шёл. То, что должно было выглядеть как одеяние для пьесы-маски эпохи короля Якова, напоминало в итоге наряд с детского утренника 40-х годов XX века: поникшая небесно-голубая юбка из искусственного шёлка, подол, пояс и вырез обшиты мятыми, обвислыми бледными розочками из того же материала. Кроме того, Фредерике приходилось не только произносить свои слова, но и шёпотом суфлировать Гарольду Манчестеру, ей громко вторившему.

В последний день спектакля Фредерика, угрюмая и подавленная, будто и впрямь заблудившись в вечернем садовом лесу, брела по проходу меж зрительских мест к помосту, находившемуся у стены. Медленно скользя взглядом по стульям, она вдруг с тревогой обнаружила, что первые два-три ряда сплошь заняты её друзьями, любовниками и просто хорошими знакомыми мужского пола. Рядом с Тони, Оуэном, Мариусом и Хью находились, к огромному её удивлению, и

Мартин-медик, и Колин из Любительского драматического клуба[178], и знакомцы с отделения английского языка, которых она потом про себя окрестит «маленькой шайкой». Чуть дальше расположились Фредди Рейвенскар с группкой своих приятелей из высшего общества и улыбающийся во весь рот Эдмунд Уилки с Кэролайн, а за ними и другими зрителями, вероятно по чистой случайности, строго восседали Рафаэль Фабер и Винсент Ходжкисс. Голос у Фредерики задрожал. Когда она закончила очередной монолог, участники этой престранной клаки похлопали и стали переговариваться. Когда в следующем монологе она провозгласила, что пребудет «под Целомудрия охраной», последовал взрыв мужского смеха.

А что же Комос? Хотя бы к последнему представлению он мог попробовать затвердить слова, с горечью и обидой думала Фредерика, но куда там, если у него память как у слабоумного. Интересно, сумеет ли он сдать выпускные экзамены? Говорят, вчера вечером его задержали за пьяное вождение: нёсся по главной улице, Кингс-Парейд, со скоростью сто шестьдесят километров в час,

[178] Примечания: 178

Старейшее университетское драматическое общество Англии и самый крупный театр Кембриджа, где начинали карьеру многие известные актёры (основан в 1855 г.).

вылетел на тротуар, покорёжил два пристёгнутых цепями велосипеда. Похоже, это встряхнуло и воодушевило его: вон как улыбается, слова с подсказок берёт особенно радостно и охотно! Впору вообще перекроить эту чёртову пьесу, пусть причудливое действо происходит у леди в голове, раздвоение личности, как сейчас модно, эхо двух голосов и всё такое… Она громким быстрым шёпотом подавала его слова и выразительно декламировала свои, а смех между тем разрастался, перекидываясь от одной части публики к другой. Зрители уже гоготали, даже что-то выкрикивали. Фредерика увидела Харви Органа: он сидел, уронив голову на руки. Красавчик Фредди мерзко *хихикал* рядом с каким-то смуглым незнакомцем, который имел вид серьёзный и озадаченный. За ними — Рафаэль Фабер: голова запрокинута, хохочет до слёз — неужели он так умеет? А может, превратить весь спектакль в шутку, высмеять свою возмутительно целомудренную роль, подыграть всеобщему веселью, подумала она, но решила этого не делать из какой-то абсурдной преданности великому мертвецу, Джону Мильтону, тоже кембриджцу (в студенческие годы, кстати, прозванному за юный вид *Леди* колледжа Христа); бесподобным ямбом вещал он

своему, столь же пустому, как нынешний, веку о достоинстве и добродетели. Она смерила грозным взглядом этот сброд, это сборище насмешников, этого совокупного Врага и спросила себя: «Кто? Кто посмел это подстроить?!» И уже знала ответ — Тони Уотсон! Журналистишка, «фальшивка», лжетоварищ, это он бросил её на растерзание. Может быть, Алан навёл его на коварный план, рассказав, как забавно всё складывалось ещё на репетициях? Да, Тони разыскал и привёл сюда всех этих мужчин уж точно не для того, чтоб её поддержали, восхитились её игрой. «Я его убью!» — думала она, а сама тихо подсказывала Комосу его проклятия и громким печальным голосом изъясняла своё терпеливое негодование… Наконец занавес упал. Несколько раз выходили на поклон, публика долго и шумно аплодировала, кричала «браво». На Фредерику обрушился дождь из цветов, она подбирала их, испепеляя Тони Уотсона взглядом.

На вечеринку после спектакля явилось на удивление много зрителей-клакёров.

Харви разговаривал с Эдмундом Уилки и Винсентом Ходжкиссом. Фредерика подошла к ним.

— Ты храбрая девушка, — похвалил её Уилки.

— Ну и сумбур получился, — сказал Харви.

— Тебе стоит сыграть Кирку[179], — заметил Ходжкисс. — Роль этой неблагодарной ханжи тебе не к лицу.

— А я думаю, — сказала Фредерика, — что быть целомудренным — значит быть внутренне цельным и честным!

— *Integer vitae?*[180] — усмехнулся Ходжкисс.

— Знаешь, — сказал Уилки, — Винсент, между прочим, собирается в твои края.

— Мои края?

— Я согласился возглавить кафедру философии в Северо-Йоркширском университете. Меня увлекла идея междисциплинарного подхода, — объяснил Ходжкисс.

— Я и сам подумываю туда перебраться, — сказал Уилки. — Предлагают лабораторию и финансирование, исследовать связь восприятия со строением мозга. Мне на севере нравится. Воздух бодрящий. Университет торжественно открывают в сентябре.

Сзади молча подошёл Рафаэль Фабер, Фреде-

---

[179] Примечания: 179

Колдунья в греческой мифологии; мать Комоса в пьесе-маске, архетип женщины-хищницы, воспринималась также как образ женщины свободных нравов.

[180] Примечания: 180

«Цельный в жизни (и чистый от преступлений)...», начало XXII оды (из книги I) Горация.

рика обернулась. Голос его впервые прозвучал с тёплой личной нотой:

— Я восхищён, что вы не сбежали со сцены. Это настоящая отвага. Я бы сжался и уполз. Не смог бы продолжать играть…

— А что ещё мне оставалось? Но вообще-то, вы смеялись, я заметила.

— Уж больно комично и нелепо всё выглядело. Простите меня. Я понимаю, как это было унизительно. Вы очень смелая!

— Будешь тут смелой. Я была вне себя от ярости. Это мой знакомый подстроил. Дурацкая шутка.

— Как это, подстроил? Не понимаю.

Она и не хотела, чтобы он понял.

— Не важно. Просто глупая шутка.

Приятели Фредди Рейвенскара сказали, что спектакль был ну просто умора, что Фредерика сыграла чертовски весело, и правильно сделала, — сюжет там какой-то дурацкий, надо было его хоть как-то оживить.

Фредди представил Фредерике смуглого молодого человека, который сидел рядом с ним:

— Найджел Ривер, мой старый школьный товарищ. Приехал на майскую неделю. Когда я получил записку, где ты просила прийти и поддержать тебя, я решил позвать и его.

— Мне очень понравилось, — сказал Найджел Ривер.

— Ты получил *записку*? Но я не писала никакой записки…

— Почерк был не твой. Но я подумал…

— Это была идиотская шутка Тони Уотсона.

— Ловко ты придумала, как науськать Манчестера на роль, — сказал Найджел Ривер, пропустивший историю с запиской мимо ушей. — За рулём он чертовски хорош, когда трезвый, но актёр из него, конечно, никакой.

— Внешность у него для этой роли что надо, — заметила Фредерика. — Он красив невообразимо.

— *Красив невообразимо*… — повторил Найджел Ривер, словно смакуя слова. — Ты и правда так считаешь?

— О да. Не мой типаж, конечно, но определённо хорош собой.

— А какой твой типаж?

Фредерика огляделась вокруг: вот Фредди, Уилки, Хью, Мариус, Тони с Аланом, Рафаэль Фабер (о чём-то серьёзно беседует с Энн Льюис); снова перевела взгляд на нового знакомца:

— Вряд ли типаж один. Я девушка эклектичная.

— *Эклектичная…* — И это слово он повторил так, словно пробовал на вкус. — Но хорошо ли ты знаешь, что тебе по нраву?

— Дело-то нехитрое. — Она была немного пьяна.

— Порой, знаешь ли, бывают сюрпризы.

На неё он не смотрел. Как и многие мужчины на многих вечеринках, но с ленцой, не так нервно, вёл он взглядом по честно́й компании, оценивая: кто представляет интерес, кто — угрозу, кто по-настоящему привлекателен. Был он невысокий, крепко сложённый, темноволосый, с налитой, выбритой до синевы щекой. Чуть бирюковатый. Вдруг он поднял голову и поглядел ей прямо в глаза.

— Бывают же сюрпризы, — снова сказал он. — Жизнь штука такая, может хорошенько удивить — завтра или когда ещё. Нужно быть готовым.

Она отвела глаза и проговорила:

— Это понятно. Я всегда стараюсь. Быть готовой.

— Вот и правильно.

Обратно в Ньюнэм её проводил Алан. У арки он сказал:

— Тони, конечно, поступил плохо.

— Было бы гораздо хуже, если б я зналась со

всеми *тайно и скрытно*. Но всё равно меня это задело. Из меня будто сделали какую-то вещь, *объект*.

— Иногда ты ведёшь себя так, будто ты единственный в мире *субъект*.

— Все мы этим грешим.

— Да, но не все же так явно это показывают, как ты.

— Ах, Алан, я просто хочу жить интересно, во всём участвовать. Женщин не очень-то до всего допускают.

— Да ты всегда в центре событий. Ещё и большинству мужиков фору дашь.

— Мужчины держатся заодно, а я одна.

— В Ньюнэме множество женщин.

— Женский коллективизм какой-то вымученный.

— Ерунда. Просто женщины любят себя мучить ненужными мыслями. Не плачь, Фредерика, только не надо плакать!

— Как же не плакать, это было так унизительно.

— Ерунда. Пойдём со мной на наш майский бал? Отлично проведём время, ты да я, да мы с тобой.

— Вообще-то, можно. Я ещё иду с Фредди на бал в колледж Святой Троицы.

— Будет роскошно. Повеселимся.

— Алан… ты мой друг. Правда, настоящий друг, навсегда!

— Да перестань уже плакать. Конечно, я твой друг. Не слишком хороший человек, но тебе друг, это точно. Давай уже, заходи внутрь, ложись спать, и пусть тебе приснится…

Ей приснилось, что она в лесу: её загнали и окружили мужчиноголовые звери — леопарды и барсы с лицами Тони и Алана, Харви Органа и Найджела Ривера. Она рыскает взглядом — не видно ли там дальше в чаще Рафаэля, но деревья вдруг обратились мужчинами, а мужчины — леопардами и гоночными автомобилями; Рафаэля Фабера по-прежнему не видать.

На оба майских бала Фредерика пошла в одном и том же платье. Каждый год она шила на заказ одно коктейльное платье и одно бальное в пол. В 1956-м бальное изготовила по описанию Фредерики её хорошая знакомая, портниха труппы Любительского драматического клуба. Оно было из хлопка; тогда вечерние платья из хлопка были в новинку. Цвет — графитовый, с небольшим отливом — словно мягким карандашом по шершавой бумаге отрисовали серебристую гладь

озера. Как только Фредерика увидела эту ткань, сразу решила — *оно*. Не просто *сойдёт* или *неплохо сочетается с белой кожей и рыжими волосами*, а именно — *то что надо!* Ткань хорошо держала форму, но была не такая плотная на ощупь, как тафта или поплин, — то есть будет красиво струиться складками. Фредерика припомнила весь богатый опыт общения с мужчинами, вспомнила, что́ Мартин-медик говорил о девушках, которые не учитывают своего телосложения. Исходя из её комплекции лиф решено было скроить по фигуре, подчеркнув худобу, со строгим круглым, в меру широким и в меру глубоким вырезом и чуть спущенными, скроенными по прямой плечами. Талия слегка занижена, так что стан вытягивается и кажется особо стройным, этакий серебряный карандашик, — ну а дальше уж идёт скроенная по косой юбка, ниспадая поверх крахмального тюля нижней. Тогда были в моде корсеты с косточками, так что Фредерика смогла не только сделать плавный переход от талии к бёдрам, но и приподнять свои маленькие груди, поместив их в аккуратных конических чашечках, скрыв под серым мерцанием всё, кроме самой верхушечки веснушчатой ложбинки. От Фредди она усвоила, что высокие гипюровые перчатки

машинного кружева — не комильфо; вместо них надела маленькие белые из хлопка. От Мариуса знала, что губы ей лучше не накрашивать ярко; у актрис научилась зрительно удлинять брови, подводить глаза в уголках стрелкой, а ещё делать высокий изящный пучок на шиньоне-бублике. Перед отбытием на первый из балов, в колледже Святой Троицы, она посмотрелась в зеркало у себя в комнате и довольно вздохнула: как красиво подчёркивает её рыжие волосы графитовый цвет платья. Положила в чёрную сумочку-конверт длинный чёрный мундштук и обулась в чёрные босоножки. Это был лучший момент бала.

В последующие бесцельные часы Фредерика то и дело ловила себя на мысли, что всё это чем-то напоминает коллективное бальное действо из романов Джейн Остин: четырнадцать пар выводят одни и те же фигуры, быть отдельным просто невозможно. В танцевальных движениях Фредди сквозила нервная неуверенность, отличавшая его во всём и бывшая истинной причиной его насмешек над другими. Они с Фредерикой оказались в компании шести-восьми человек, сидели вместе под жаркими сводами шатра, за раскладными столиками, ели копчёного лосося, клубнику со сливками и пили шампанское.

Здесь обсуждали только каких-то общих, ей неизвестных знакомых. «А вы были тогда у Хепа? Вот веселье было!» «А вы знали, что Мэделин, кажется, теперь сохнет по Дереку? Это же ну просто кошмар для Джулиана и для Дебби!» Ещё болтали об одежде, где её покупать. Все девушки были в платьях с открытыми плечами без бретелек и бюстиками, задрапированными мелкими складочками, все были старше Фредерики. Некто по имени Роланд наступил ей на босоножку, отчего спустилась петля на чулке. Какой-то Пол рассказал страшно смешную историю про очень шумный бачок унитаза в загородной гостинице, куда его приятель поехал покутить на выходные. Балы по-настоящему хороши, пожалуй, только для свежевлюблённых пар в состоянии телесного притяжения: Фредерика видела не однажды, как странное двухголовое существо, медленно покачиваясь, плыло, будто по собственному течению, среди общей танцевальной суразицы. Ещё балы, наверное, по сердцу профессиональным бальным танцорам, хотя на такой маленькой площадке им не развернуться во всей красе. Могут они прийтись по вкусу и некоторым писателям, которым доставляет удовольствие подмечать в разговорах одни и те же фразы из некоего ограниченного

набора и ловить таким образом общественные веяния, — но Фредерика таким писателем не была и быть не намеревалась. Когда уже примерно половина вечера минула, кто-то незнакомый сзади коснулся её плеча и спросил:

— Могу я пригласить на танец?

Фредди что-то обсуждал с приятелем.

— Не знаю, — ответила Фредерика.

— Эй, Фредди, от одного танца тебя не убудет?

Она обернулась — это был Найджел Ривер, в прекрасно сидящем смокинге. Лицо его было серьёзно. Фредди повернулся к ним и с улыбкой кивнул. Фредерика встала.

Найджел танцевал отменно. С ним и Фредерика — не танцевальная душа, но и не полная бездарность — показала себя неплохо. В полном смысле он *вёл* её, заботливо и умело.

— Два маленьких и-и *длинный* шаг, заходи мне в руку, и на поворот… развернулись, чудесно. Ты молодец, вся такая независимая, а вести не пытаешься.

Придвинулся передом. Ладонь его — прохладная и крепкая — чутко касалась талии сзади.

— А сейчас *резкий разворот*, — предупредил он. — Отлично! Теперь поворот на месте, подхватываю, чудесно, ещё разок.

— С чего ты взял, что я независимая?

— А разве нет? К тому же я навёл про тебя справки. Ты здесь личность знаменитая.

— А ты? Чем занимаешься?

— Ну, у меня есть дом. Настоящий, в деревне. Я много сил в него вложил. Семья занимается корабельными перевозками. Я работаю на подхвате у моего дяди, в основном по фрахту. Не спеши, не делай шаг покуда… вот, сейчас, *длинный шаг*, и-раз-и-два… интересно, кто вообще придумал танцы?

— Мне кажется, люди всегда танцевали.

— Неловкими и неестественными они, однако, стали только у англичан, — проговорил он вдруг с какой-то горячностью, странной для его — сколько она могла судить — сдержанной натуры. — Мне больше нравятся греческие танцы, народные. Ой, на ногу-то зачем? Тебе б взять несколько уроков. Но я рад, хоть в *чём-то* ты не ловка.

— Если честно, ловка я только экзамены сдавать.

— Ну, кто там спец в экзаменах, я не угадаю, это не моё. Зато обычно чувствую, кто хорош… в другом деле.

— В каком?

— Не бери в голову. Поживём — увидим, прав ли я.

И снова пошёл, придвигаясь, как и положено в этом танце, передом; только что вежливо отдельный, вдруг не то боднул, не то потёрся сквозь мягкую препону юбок, и внизу живота у неё взметнулась искорка возбуждения (отметила и погасила).

— Верну тебя, пожалуй, обратно Фредди, — объявил Найджел. — Увидимся.

Фредди, танцуя с ней, напрочь отваливался своей передней частью, напоминавшей мятую подушку. Преаккуратная стрижка, отполированные до блеска туфли, а вот рука — вялая и липкая. Между тем букеты в вазах на столах между серебряными чашами с пуншем завяли и поредели, расхищенные или нечаянно поломанные. Тянулась и тянулась эта долгая ночь; изредка Фредерика разбавляла скуку походами в дамскую комнату и где-то раз на пятый увидела, как за высоким окном забрезжил серый рассвет. Потом — пожалуй, поздновато для ритуальной рассветной прогулки — они с Фредди уныло прошлись по кембриджским «задворкам» вдоль реки Кем, посмотрели на ивы в первых розово-золотистых лучах, да и вернулись в комнату Фредди

завтракать. Здоровая молодая зевота одолевала их за столом; завтрак был настоящий, добротный — яичница-болтунья с беконом, почки, грибы, кофе, тосты с маслом и мармеладом; эта трапеза — второе настоящее наслаждение за всю «ночь удовольствий», мрачно подумала Фредерика. А первое, конечно же, — довольное разглядывание себя в сером платье, ещё до бала, в зеркале.

На то, чтобы отойти от этого бала и подготовиться к следующему, в колледже Святого Михаила, у Фредерики было двадцать четыре часа. Двенадцать из них она проспала, словно кошка, а потом подскочила в панике — надо успеть отгладить и освежить единственное платье! Хоть в этот раз отражение в зеркале уже не так её порадовало (под глазами легли серые, в тон графитовому хлопку, тени), новый бал, напротив, удался.

В колледже Святой Троицы шатёр был зелёно-белый, а здесь — тёмно-розовый, отчего люди за столиками выглядели телесными и душевными. В сером танцевальном зале освещение тоже было розоватым: глубже становились оттенки деревянных панелей, и какой-то живой телесностью наполнялся весь сложный, призрачный веер сводов с тонкими косточками колонн. Танцевать с

Аланом джайв означало учтиво и двусмысленно касаться кончиками пальцев, совершать гармоничные движения на параллельных курсах, кружиться — в мирной отдельности друг от друга. Танцевать с ним — всё равно что с прохладным веерным сводом, с невесомой костяной колоннадой, воздухом пронизанной и светом. Касался он её сухонько и легко, самым минимальным образом.

Они сидели под шатром и ели копчёного цыплёнка.

— А Рафаэль Фабер ходит на майские балы?

— Сомневаюсь. Ты представляешь себе его танцующим?

— О да, причём изысканно танцующим. Если захочет.

— Но он не захочет. Он наверняка уехал. Куда-нибудь, где тихо и спокойно. Многие преподаватели в эту пору так делают.

— Куда, например?

— К матери и сёстрам.

— Проверим?

— Конечно, больше-то нам делать нечего.

Колледж Святого Михаила был небольшой и довольно приватный. Комнаты Рафаэля располагались на верхнем этаже одного из зданий, окна

которого выходили с одной стороны на мощёный дворик, с другой — на реку Кем. Поэтому отовсюду — из внутреннего дворика, с покатой лужайки, из обнесённого каменной стеной сада — виден был свет в его окне (если он был у себя). Появляясь здесь в пору репетиций, заходя к Хью, или Алану, или к Харви Органу, она всегда смотрела на верхний этаж — есть ли там этот светлый прямоугольничек. Сегодня свет горел — на серой стене, за белыми шторами, жёлтое пятнышко. Огонёк в окне учёного. Как же попасть в его жизнь?

— Поднимемся?

— А вдруг он не захочет нас видеть?

— Тогда он так и скажет.

Непонятно было, желал ли Рафаэль, как это принято в Кембридже, показать запертой наружной дверью, что его не следует беспокоить, — ибо эта дверь, массивная, деревянная, была приоткрыта лишь на самую малость. Алан отворил её пошире и постучал во вторую, внутреннюю дверь. Тишина. Постучал ещё раз и, судя по всему, услышав из комнаты какой-то ответ (неясный Фредерике), вошёл, за ним нерешительно Фредерика. Рафаэль, в сером свитере под горло и брюках, полёживал на диване. Не поворачиваясь, бросил несколько раздражённо:

— Кто там?

— Алан и Фредерика. Нам надоело веселиться, и мы решили заглянуть к вам. Прогоните нас, если заняты.

Снизу, из внутреннего дворика, сюда вихрем взлетала музыка — вернее, приглушённый ритмичный рокот.

— Да как можно вообще хоть что-то делать под такой шум? Хотите чаю или кофе? Я пытался читать Паскаля. Тщетно.

Он поднялся и направился в свою маленькую кухню. Фредерика погляделась в зеркало над камином, заправила выбившиеся прядки обратно в пучок. Алан подошёл, встал рядом. Рафаэль вернулся из кухни и пристроился сзади, между ними, перед тем же зеркалом: одной рукой обнял мужское плечо, скрытое чёрной тканью, другой — голое женское, с серебристой бретелькой. Итак, три лица: треугольное, чуть лукавое — Алана, над скосившейся бабочкой; её собственное, белое и бледное, жадное и упорное, над голыми плечами и притаившимися в серых чашечках, словно исподтишка что-то высматривающими грудями; и, наконец, третье, тёмное, Рафаэлево, глядевшее самому себе в глаза. Отражённые глаза Алана встретились с отражёнными Фреде-

рики, и оба улыбнулись тому, как напряжённо и внимательно Рафаэль смотрит на себя. Рафаэль впервые дотронулся до неё. Его шерстяное, свитерное прикосновение к голой её коже было невесомым, тонкие пальцы мельком провели по предплечью, нежно сжали — мимолётной щепоткой — кожу и упорхнули. Они сели и стали говорить, в основном о Паскале. Неспешный разговор, вкусный кофе, неизменный пряный пирог… Вот она — Кембриджа суть, музыка, балы, уединённые внутренние дворики, а над ними — умные, изящные беседы о Паскале… Когда они собирались уходить, Рафаэль вновь легко, но немного увереннее коснулся её руки, молвил:

— Заходите ещё как-нибудь, я всегда рад вас видеть. — Потом добавил: — Надеюсь, вы останетесь на большие летние каникулы здесь, в Кембридже.

Фредерика ответила радостно:

— Да. Конечно.

Фредерика поехала в Блесфорд на поезде с Эдмундом Уилки — у него были дела в новом университете. На станции Калверли её вдруг затошнило, закружилась голова, и Уилки преданно провёз её сквозь вокзал на багажной тележке. Дома семейный врач быстро поставил диагноз —

краснуха. «Отлично, юная леди, вы переболеете этим до того, как выйдете замуж и родите». Фредерика мотала саднящим, воспалённым лицом из стороны в сторону и не стала говорить, что не имеет — по крайней мере, пока — к замужеству и материнству охоты. Стефани с семьёй в гости не наведались, чтобы вдруг не заразиться. Фредерика отчасти даже была рада: Уильям и Мэри вызывали в ней смуту. Нянчить их ей не хотелось, однако мысль о том, что на земле теперь два новых, нечужих ей человечка, первобытно и приятно будоражила. Краснуха опасна для плода. Она вспомнила, как всякий раз семя устремлялось внутрь неё с противозачаточной пастой и как затем всё это неопрятно, обильно вытекало наружу, и подумала, что навряд ли так можно от кого-то понести. Она всегда верила в «удачу». Удача — не расплодиться раньше времени.

Уинифред приносила ей всякие утешительные блюда: куриный суп и мясной бульон, а вечером — «ломтики», кусочки черствоватого белого хлеба, размоченные в горячем молоке и посыпанные сверху сахаром, — с детства памятное постельное лакомство больного ребёнка. Уинифред не расспрашивала о Кембридже, сама Фредерика ничего не рассказывала. Мать лишь осведомлялась,

удобно ли дочери лежать, да взбивала подушки. Своё здесь присутствие Фредерика ощущала не то чтобы злом, но точно чем-то привычным и неизбежным. Уинифред умела заботливо ухаживать за людьми и попросту делала привычное для себя дело. Фредерика так никогда и не узнала ни в ту неделю, ни потом, что молчаливая женская фигура, сновавшая вокруг неё с подносом и салфетками, внутри пылала яростью и отчаянием. Со злостью и даже каким-то отвращением Уинифред смотрела на юно-взрослое, долголягое, разметавшееся по постели во влажной ночной сорочке создание, на эту наглую замену её дочери, её ребёнку. Уинифред стояла на кухне, и в ней разгоралось сухое, бескровное пламя обиды; лишь из гордости она заставляла себя обслуживать этого, самого своего малозависимого ребёнка. Дни, когда она растила детей, уже позади, больше ей не вынести. А это создание, с такими длинными ручищами и ножищами, что прямо-таки век бы не смотреть, лежит здесь как младенчик и словно нехотя принимает её услужение. Я как дерево без сока, думала про себя Уинифред, оставьте уж меня в покое. При этом она знала, как и сама Фредерика, что родной дом на Учительской улочке в этот раз плохо приветил свою питомицу.

Явился к Фредерике и Билл собственной персоной. Увидев, как она, вся красная и пылающая, горячечно ворочается в кровати, он расстроился и почувствовал неловкость. Он поздравил её с отличной сдачей первой части экзамена, тоном несколько будничным, будто меньшего от неё и не ждал, и поинтересовался, что спрашивали. Она сердито пожаловалась, что в дни подготовки заучила множество всего просто наизусть, целыми страницами, и прозу и стихи, даже никаких заметок себе не делая: куски из «Сказки бочки» Свифта, «Видение о Петре-пахаре» Ленгленда, «Смерть в пустыне» Браунинга, «Эмпедокл на Этне» Арнольда… А теперь с каждым днём всё меньше остаётся в голове. Какой же прок в такой памяти? На это Биллу было что ответить. Хорошая память, начал он, — бесценное сокровище, важнейшая часть человеческой культуры. Правда, тут же признался он своей измученной дочери, и сам он теперь всё чаще и чаще забывает имена и названия: «Почему же первыми из памяти уходят имена?» Я вчера долго пытался вспомнить, как зовут Лесли Стивена, запаниковал, заодно из головы выскользнули и дочь его Вирджиния, и «Национальный биографический словарь», который он издал. В итоге я как дурак сказал

мальчикам: «Выдающийся человек, отец автора удивительного женского романа „На маяк“»[181]. Форменный идиотизм! Хорошую память ты, как и все мои дети, унаследовала от меня. Берегите её. Тренируйте. Память — наше наследство, то, что связывает нас с равными и подобными.

Фредерика подумала, что вообще многое унаследовала именно в том виде, какой свойствен ему. Тяга к ученью, жажда знания, всяческих новых сведений достались ей от Билла с такой же очевидностью, как рыжие волосы, острота ума и то, что, обинуясь, можно назвать *недостатком выдержки*. Где заканчиваются врождённые свойства натуры и начинаются приобретённые? — не раз будет спрашивать она себя в последующие годы. Английская словесность живьём присутствовала в её составе, наравне с геном рыжеволосости или геном, заставлявшим задумчиво кривить рот и нервно перебирать в воздухе пальцами. У Билла научилась она толковать стихи, спорить аргументированно, различать формы мысли. Где же пролегает в нас граница между природой и культурой? Герард Вейннобел считал, что в мозгу есть готовые нейронные связи, материальная

[181] Примечания: 181
Роман Вирджинии Вулф (1927).

основа, языковая машинерия, которая позволяет всем человеческим существам распознавать определённые грамматические структуры; это так же верно, говорил он, как то, что человек обладает врождённой способностью, благодаря уже геометрической машинерии, организовывать свои пространственные впечатления, опознавать горизонтали и вертикали, круглое и квадратное. Вопрос: возможно ли унаследовать языковое чутьё так же, как, например, абсолютный слух или математическую интуицию? И значит ли это, что кому-то по наследству могут передаться словарный запас и ритмика Шекспира, задиристый слог Лоуренса, хитроумие и благая самоуверенность Мильтона?..

Поговорили они с Биллом и о Маркусе. Билл заметил:

— Кажется, он выправляется. Но для этого мне пришлось притвориться, будто я совсем не интересуюсь его делами.

— Разве в твоей хитрости тут дело? Просто он пытается выйти на свою собственную дорогу. Что вполне естественно.

— Вам всем нравится думать, — сказал Билл, — будто я верю, что наши дети рождаются на свет затем, чтобы заканчивать наши незавершённые

дела. Но я не таков. Хотя не стану скрывать, меня волнует преемственность. Передача ценностей.

— Ну, не знаю… — произнесла она с расстановкой. — Твоё настоящее и твоё будущее — в тебе. А моё настоящее и будущее — во мне. Наполеон сам себе династия.

В душе ей хотелось, чтоб Билл сказал: «*Ты* пошла в меня, ты продолжишь моё дело». Впрочем, скажи он это, она тут же принялась бы спорить. Хотя, вообще-то, только что сознательно сама отрезала ему путь к этой фразе. Как будто мало было отдаления Маркуса и схода с дистанции Стефани.

— У тебя всё сложится отлично, — молвил он, но не с былой горячей напористостью, а скорее с осторожной утвердительностью, словно от сказанных слов что-то может не сбыться.

Он задумчиво посмотрел на неё; возможно, увидел в ней, в её физиономии в завитках тёмно-розовой зернистой сыпи, невыносимое отражение себя. Фредерике казалось (и порою не нравилось), что Билл со всей вредительской, придирчивой пылкостью куда пристальнее следил за успехами и Стефани, и Маркуса, чем за её успехами, и жаловал их больше, чем неё. Какая-то часть его души, по-видимому, отзывалась на

тихую, покладистую женственность старшей дочери, обретённую им ещё в жене. Маркуса же он пытался направлять и пришпоривать, как самого себя. Словно бессмертие тела должно прийти к нему через дочь, а ума и духа — через сына. А она, Фредерика, — похожая на него больше всех, ну разве нет? — и как женское существо, и как существо умственное ему не столь мила.

Ум, сознание в течение этой болезни порой вытворяли с ней странные штуки. Смакуя «ломтики», она задумалась — не йоркширский ли это вариант прустовской «мадленки»[182]. Вкус у них, как бы это лучше сказать, какой-то «белый», что ли, и даже цвет их — разные оттенки белого, хлеба, блестящих кристалликов сахара, кремоватого молока. Она вспомнила себя, нескольких маленьких Фредерик, вот, одна из них, в годы войны, в тёмном доме (отключение электричества? затемнение?), лежит с больным горлом, Уинифред выхаживает её после коклюша, потчуя «ломтиками» с ложечки. Но никакого откровения от этого

[182] Примечания: 182

Благодаря «мадленкам» Марсель («В направлении Свана») переносится в прошлое, в безоблачное детство, с которым у него ассоциируется вкус этих бисквитных печений. «Мадленка Пруста» стало устойчивой метафорой, означающей не только «вкус детства», но и всякую простую вещь, которая возвращает нас к воспоминаниям о счастливых моментах прошлой жизни.

воспоминания на неё не снизошло — отчасти, как наверняка рассудил бы Пруст, потому, что она слишком уж осознанно желала его получить; отчасти же ещё и потому, что она не стремилась вернуть маленькое прошлое — она жаждала своего будущего, которое тянуло ей душу неизведанностью (как и необъятное предприятие по чтению «В поисках утраченного времени», предпринятое ради Рафаэля — и превосходящее её понимание романной формы).

В самые плохие дни она ни Пруста, ни вообще ничего не читала. Плыла по течению бреда, будто отделившись от самой себя, полагая, что кому-то другому в комнате горячо, влажно, неудобно. С некоторого расстояния она слышала себя, как вслух читает и читает мильтоновскую маску, без деления на роли, монотонным речитативом, почти пропевая слова и не меняя ни темпа, ни интонации, когда голос чтицы переходит с речи соблазнителя на ответный выпад, с объявления вседозволенности — на взывание к воздержанности. Всё перепуталось. Нежный щипок Рафаэля… танец без прикосновений с Аланом… розовое пылание Хью Роуза… ватага воздыхателей, по-свойски занявших ряды кресел… миловидный Мильтон, он же дева колледжа Христа… фран-

цузский язык Пруста… наполовину изученное стройное здание итальянской грамматики… И ко всему этому примешивалась двойственность её чувства к Кембриджу, желание быть допущенной в закрытые его дворики — и сознание опасности в колоннаде кайфа, в колдовских чертогах Комоса. Горячечно твердил пятистопники её голос, под мысли о молодых мужчинах, оживлённо-красивых, увлечённых, разборчивых, кичливых, похотливых, жарко дышащих, извергающих семя, неотвязных. (Впору б подумать также — любящих, ранимых, боязливых, — нет, куда там.) Рассуждения обманщика-искусителя о земной изобильности, которой следует пользоваться, у неё в голове слишком тесно связались с изобилием мужского Кембриджа, ни дать ни взять мильтоновское море, наполненное рыбами без счёта…

Затем молодые мужчины — или юноши? — вдруг ей стали мерещиться забавно пляшущими вкруг пустых стен её маленькой комнаты — такие орнаменты-силуэты, первобытный танец змейкой, вприскочку, она в детстве выреза́ла из чёрной бумаги… не понять, где тут руки, где лодыжки… если взять побледнее, то получится уже танец сатиров в опояску греческой вазы. И

вновь её сознание захватил язык, повёл за собой:

…Когда б мир целый,

Воздержан став, питался лишь стручками,

Пил воду из ручья, носил лишь пояс

На бёдрах, — то Дарителю всех благ

Не проявил бы сим неблагодарность?[183]

Так не слово ли «пояс» и вызвало у неё в голове — в *опояску* танцующую вереницу этих юношей, а на них уж дальше воображение нацепило-нарисовало всевозможные колоритные стручки или пенисы (которые вывела её интуиция, в виде *конкретных универсалий*, из фиговой рощи Рафаэля). К картине почему-то добавились — столь остро ощущаемая Маркусом — пыльца и прустовский сад — сад девушек в цвету, — который был одновременно садиком колледжа. Юноши танцевали среди розоватых чашечек-бутонов и высоких синеватых не то пестиков, не то колосьев. Избыток золотой пыльцы сыпался на мягкокрылых, снующих здесь же существ из Комосовой свиты. Они не отбрасывали тени, они сияли. Сияли,

[183] Примечания: 183
Дж. Мильтон. Комос.

отражая свет юношей в цвету. Как правильно будет по-французски этот свет? *Lumière, brillance, luisance?..* Созданьями земля загромоздится… От птичьих крыльев воздух потемнеет… Ей будет не снести свой вес тяжёлый, вес плодовитости своей напрасной…[184]

[184] Примечания: 184
Там же.

24
Двое мужчин

Почти все её знакомые на лето поразъехались из Кембриджа. Кто в Стратфорд-на-Эйвоне или на Оркнейские острова, кто в Бейзинстоук или Афины, кто в Дублин, Байройт или Перпиньян. Она видела Рафаэля в университетской библиотеке; он похваливал её за то, что она учит итальянский, читать Данте в оригинале; приглашал и на чай, то радушно, то более отстранённо, не устраивая, впрочем, из этого привычки. По оценке Фредерики, дело с Рафаэлем не шло на лад, хотя и не казалось настолько уж безнадёжным и глупым. Он рекомендовал ей книги, она их исправно читала; обсуждал с ней каждую новую порцию Пруста. Однажды у неё на пороге без предупреждения возник Найджел Ривер и пригласил прокатиться за городом.

— Вообще-то, я занимаюсь, — сказала она.

— Сегодня такая прекрасная погода. У меня новая машина. Можем выпить чаю, куда там все ездят, в Гранчестере. Ну или ещё где-нибудь.

Фредерика согласилась, её прельстила мысль

оказаться на время вне Кембриджа с его уставом и добровольным затворничеством. У Найджела была чёрная спортивная машина с откидным верхом. Фредерика устроилась на переднем сиденье, подставив лицо ветру, и не смотрела на Найджела, видела только, как его рука переключает передачи, а ноги уверенно то чуть прижмут, то вдавливают до упора педали газа, тормоза и сцепления. Повороты брал он резко, на скорости: у неё внутри ёкало, рукой приходилось опираться на сиденье, чтоб не завалиться. За неудобства эти он не извинялся. Они посидели за чашкой чая, но не в деревне Гранчестер, где от туристов яблоку негде упасть, а в городке Или, на веранде в тени собора. Найджел вежливо расспрашивал о жизни в Кембридже, её планах на каникулы. В какой-то момент Фредерика осведомилась, а чему, собственно, обязана сегодняшним приглашением? Он ответил: ему нравятся девушки, которые думают не только о том, как бы принарядиться да заарканить ближайшего мужчину. Фредерика чувствовала — его внимание сосредоточено не на разговоре, а на ней самой. Не понимая сути этого интереса, она не знала, как ей реагировать. Найджел немного рассказал о себе. Его отец, уже покойный, был полковником

в регулярной армии. Мать живёт в Херефорде. Есть две сестры. Ему достался в наследство там же, в графстве Херефордшир, старинный дом, включённый в список охраняемых культурных объектов. В тюдоровском стиле[185], с поздними добавлениями, конечно. Последовал подробный, сосредоточенный рассказ о здании и обо всей усадьбе. Передняя, гостиная, винтовые лестницы на второй этаж, галерея… Маслодельня, цветник, аптекарский садик, фруктовый сад (Найджел перечислил все сорта своих яблонь и слив). «Ещё старинный ров есть, — добавил он. — Хороший, настоящий. В нём не было воды, только ил да земляные глыбки. Но я его восстановил в лучшем виде». Фредерика представила себе уменьшенную копию Лонг-Ройстон-Холла, особняк, который хранит в себе скрытую от посторонних глаз историю многих поколений. С конюшнями пришлось повозиться, продолжал Найджел, но теперь там уже всё новенькое, хоть на смотр. А она, кстати, ездит верхом? Нет, ответила Фредерика, как-то не доводилось. Ничего, если попробовать, то обязательно получится,

[185] Примечания: 185

Архитектурный стиль поздней английской готики, соединивший элементы средневековой готики и Возрождения, развившийся в период правления династии Тюдоров (1485–1603).

заверил Найджел, тоном самым серьёзным, без тени насмешки; и она вновь заметила некую неправильность черт его лица, грубоватость нижней челюсти в густой, хоть и бритой щетине; а ещё были быстрые, уверенные руки; живой, проворный взгляд, всё помнящий и всегда готовый устремиться на что-то другое.

Они решили познакомиться с Илийским собором, и Найджел показал себя с неожиданной стороны (хотя позже Фредерика одёрнула себя — как можно говорить «неожиданный» о том, о ком ни сном ни духом не ведаешь?). Найджелу при осмотре достопримечательностей было свойственно изучать всё пристально, входя в мельчайшие подробности; он поднимал откидные сиденья, чтоб тщательно исследовать, глазами и руками, имевшиеся под ними мизерикордии — деревянные рельефы и горельефы, на которые позволено было опираться соответствующей частью во время долгой молитвы стоя. Сюжеты этих не вполне христианских изображений вызывали у него живой отклик: он засмеялся, увидев, как женщина лупит лису; присвистнул одобрительно — до чего живо передана в неживом дереве охотница-сова с мышью в клюве; провёл пальцем по вопиящей пасти демона; по-

гладил пузатенький жёлудь. При этом он ничего не говорил ни об истории, ни об искусстве, просто *наслаждался* этими изображениями. Фредерике вспомнилось, как Александр Уэддерберн провёл пальцами по плечам и бедру «Данаиды» Родена. А вот она не умела ласкать дерево и камень, форма должна была отозваться в ней словесно, как вот сейчас — «пузатенький», «вопиящая пасть». Найджел изъяснялся рудиментарно: «Нет, ну ты только посмотри на это… на эту… вот уж сделано так сделано!» Однако палец его чувствовал, судя по гримасе боли, мелькнувшей на его лице, мастерство средневекового художника и какую муку выражают кривой рот и взбухшие вены на горле.

Найджел повёл её в Кинотеатр художественного фильма[186] на «Семь самураев», полную режиссёрскую версию. Сначала Фредерика смотрела *по-кембриджски*, пытаясь выявить строение сюжета, повторяющиеся мотивы, нравственную подоплёку. Найджел, поглощённый фильмом, обратился в статую. Спустя короткое время на

[186] Примечания: 186

Arts Cinema, кинотеатр в Кембридже, открылся в 1927 г. и просуществовал до 1999 г. (ныне бар и ресторан). С 1947 г. специализировался на высокохудожественных лентах, был местом проведения Кембриджского кинофестиваля.

Фредерику сошло странное очарование, которое, будучи Фредерикой, она сразу отметила, но прогонять не стала. Она вдруг начала верить *буквально* в происходящее на экране, страдать, бояться, надеяться, любить и ненавидеть вместе с героями! Такого с ней не было с детских пор, когда проглатывались «Робин Гуд», «Дэвид Копперфильд», «Редгонтлет» и «Айвенго». (Возможно, именно ради того, чтобы длить и длить этот кольриджевский «временный и добровольный отказ от неверия»[187], такие, как Фредерика, и посвящают себя изучению литературы.) Когда фильм закончился, Найджел принялся с воодушевлением вспоминать, даже пересказывать отдельные кусочки, словно это были сцены из настоящей жизни, словно люди на экране были и вправду воинами, а не актёрами, не целлулоидными тенями в квадратике кадра, не винтиками сюжета. «…Это был самый напряжённый момент… — говорил он. — И так близко, отчётливо видишь этот кусочек травы, так и бывает в бою…» Или: «Это ж, чувствуется, такой человек, что любому может нанести увечье, без колебаний!»

[187] Примечания: 187

С. Т. Кольридж призывал при чтении поэзии «добровольно на время забыть о своём неверии», то есть принять её на условиях автора, обрести его зрение, только так можно постичь стихи.

И Фредерика, заворожённая поэтической верой, пронзённая мыслью о том, что от умствований как раз и гибнет невинность восприятия, нашла вдруг немудрёные речи Найджела самыми что ни на есть уместными, по своей прямоте, точности и чувству.

Ужинали не в Кембридже, в ресторане, о котором она слышала, но в котором не бывала. Изысканные блюда он выбирал с тем же отчётливым и пристальным удовольствием, с каким рассматривал вырезанную из дерева мышь и описывал свой фруктовый сад. «Позволь, я тебе закажу, — сказал он. — Я здесь часто бываю». Фредерика впервые попробовала мусс из копчёной форели, стейк в слоёном тесте и блинчик с яблоком; ничего из этого она бы выбрать не догадалась, а теперь понравилось, запомнила.

Он рассказал ей, как ездил в экспедицию к истоку Нила с пятью ребятами, с которыми прежде служил в одном полку. Рассказчик из него был не то чтобы умелый. У Фредерики не сложилось сколь-нибудь глубокого представления ни об одном из его товарищей: один — «в каком-то смысле сволочь», второй — «вполне себе славный малый», третий — «бес упёртый», четвёртый — «обжора ненасытный». Как не удалось ей и

в точности понять, что это за разборные лодки, как разбирают их и собирают. Не умела она вообразить из его рассказа ни ясных небес с яркими лучами звёзд над белыми песками, ни тёмной скудной растительности. Потому что Найджел сказал только: «Звёзды там близкие, ясные, кажется, рукой бы достал». Не могла она почувствовать, как лопается от жары грудная клетка, как кружится от обезвоживания голова, наливаются свинцовой тяжестью ноги. Как после сражения с бурлящей стремниной или после долгого карабканья вверх под палящим солнцем разливается вечером по натренированному мужскому телу усталь и нега. Всё, что сказал об этом Найджел: «Там путём всё было, в пустыне, не по-игрушечному. Сразу понятно, какой ты есть». И она ощутила, что он поведал ей некую истину, хоть и не поняла, какую именно. Когда он рассказывал ей эту историю, в сущности избитую, об испытании себя в чужом краю, в трудных условиях, он ей нравился. Затем несколько разонравился, когда вспомнил другую историю, из школьных лет, как однажды с одноклассниками в жуткий холод на целую ночь заперли одного незадачливого паренька на площадке для игры

в «пятёрки»[188], потому что он как-то странно оделся или себя повёл. «Вообще-то, довольно подло», — заметила Фредерика. «Да, сейчас я это понимаю, — ответил Найджел Ривер. — Но тогда было чертовски смешно, слушать, как он там заливается, кричит о помощи, ну чертовски смешно!» И он засмеялся, запрокинув голову, ни капельки не смущаясь, что Фредерика даже не улыбнулась.

Он высадил её у Ньюнэма. Уже стемнело. Она подставила лицо — в благодарность за день, из любопытства, по привычке. Он коснулся ладонью её щеки, как касался демона вопиящего, и быстро провёл сухими, тёплыми губами по скуле и переносице, и сказал: «Рановато пока», с некой вескостью, словно стояли за этим правила, ей неизвестные; впрочем, какие тут могут быть правила?..

Когда она в следующий раз пришла на чай к Рафаэлю, там был Винсент Ходжкисс. Винсент был частым гостем, но обычно, стоило ей прийти, сразу раскланивался. Она не знала точно (хотя после провала «Комоса» они перекинулись

---

[188] Примечания: 188

Английская спортивная игра, по правилам которой мячик рукой бросают об стены. Площадка для игры представляет собой три или четыре стены.

несколькими словами), помнит ли он, кто она такая и как они познакомились в Сент-Мари-де-ла-Мер на том давнем пикнике, на залитом солнцем пляже. Но сегодня он вдруг обратился к ней напрямую — значит, прекрасно помнит и её, и обстоятельства первой встречи.

— Надеюсь, мы увидим вас на казённом банкете, — сказал он, — по случаю открытия Северо-Йоркширского университета? Кроу жаждет снова собрать вместе всех актёров «Астреи». Весьма приятное мероприятие получится. Я вот пытаюсь убедить Рафаэля проявить интерес. Появилась возможность в корне изменить систему университетского преподавания. Им бы не помешал поэт, который знает много языков, да ещё и незаурядный эстетик. Но я полагаю, мои старания тщетны. Мне кажется, для Рафаэля оказаться за пределами Кембриджа просто невыносимо. Он и за стены этого чудесного колледжа не желает выбираться.

— Неправда, — ответил Рафаэль. — Я не так уж безнадёжно привязан к этому месту. Человек не должен испытывать слишком глубокую привязанность к своей обстановке.

— Ну вот и не испытывай. Поезжай на север, разомни своё воображение в новом мире, где

бетонные перекрытия на металлических фермах прекрасно уживаются с залом необычайной красоты в елизаветинском стиле. Давай, или тебе такое не под силу? Разомнёшь ноги в йоркширских пустошах. Там ведь такой бодрящий воздух, правда, Фредерика?

— Да, весьма…

— Мне бы очень хотелось поехать. Очень, но…

— Но ты не поедешь, — сказал Ходжкисс резковатым тоном. — Не так ли? В самый последний момент возникнет какая-нибудь причина, и ты останешься.

Мужчины уставились друг на друга. Молчаливый спор двух воль, причина и содержание которого ей неведомы. Она вежливо ждала.

— Ты мог бы остановиться у Кроу.

— Да, непременно с ним поговори об этом.

— А вот и поговорю! — ответил Ходжкисс, звучало это почти как угроза.

Затем он повернулся к Фредерике:

— Итак, я на вас рассчитываю.

Неясно было, о чём он просит: то ли чтобы она сама явилась на торжественное открытие, то ли убедила приехать Рафаэля.

Когда Ходжкисс ушёл, Рафаэль сделался беспокоен. Мерил комнату шагами, задавал Фредерике

отрывистые вопросы о севере, но ответов, казалось, даже не слушал. Спросил вдруг:

— Как ты думаешь, Кембридж делает человека неприспособленным к внешнему миру?

— Ну конечно. С одной стороны, Кембридж кажется более настоящим, чем всё остальное, с другой — менее…

— Малларме сюда приезжал. И потом написал статью «Клуатры»[189], об атмосфере Оксфорда и Кембриджа. Он говорит, что его демократической натуре отвратительна сама идея избранности, одинокие башни, устремлённые ввысь, примат древности… Правда, затем он прибавляет, что, быть может, все эти старинные учреждения — прообраз идеального *будущего*… Башни виделись ему стрелами, выметнувшимися из прошлого, сквозь наше время… но на самом деле ему всё это не нравилось. Чтобы размышлять и сочинять, говорил он, не нужно ничего, кроме уединения. Я пытался вплести его слова о башнях и отшельничестве в «Любекские колокола», но это оказалось выше моих сил. Не смог соединить мысль о здешнем отшельничестве, о благодатном убежище — с тем кошмаром, который мы — они — пережили

[189] Примечания: 189

«Cloîtres», из книги стихопрозы и статей «Блуждания» («Divagations», 1897).

в Европе. Кембридж — сказка. Винсент знает, что я не могу… знает, что мне… Зачем он так бесцеремонно…

— У меня такое чувство, — сказала Фредерика, — что в Кембридже человек либо приживается и затворяется навсегда… либо навсегда из Кембриджа выталкивается.

— Мне, по-моему, лучше затвориться. Совершенно не гожусь ни для какой другой жизни.

Фредерика протянула ему руку:

— Не может быть, чтоб за пределами Кембриджа не было тебе подобных…

Рафаэль взял её за руку и, стоя рядом с ней перед окном, выходящим на лужайку и реку, проговорил:

— Винсент прав, я действительно страшусь внешнего мира. Внутреннего тоже, вообще всего на свете боюсь, но внешнего — особенно. И пожалуй, он прав, даже мысль дойти до станции и поехать на поезде в этот новый университет вызывает у меня чуть ли не приступ паники…

— Ну нет, не надо так, *нельзя* так думать, — сказала Фредерика. — Послушай… на севере, в моих родных краях, очень красиво… и там, где новый университет, — красиво особенно. У нас всё тоже настоящее, тоже как в сказке, только другое…

Я даже не знаю, что б я отдала за то… чтоб ты поехал и всё это увидел! Ну, поедешь, согласен?..

С этими словами она положила руки ему на плечи.

— А, значит, тебе есть до меня дело… — ответил он, и медленно, как во сне, наклонился к ней, и, обняв за плечи, привлёк к себе, и поцеловал в губы.

Фредерика не была Марселем Прустом, который растворил поцелуй Альбертины во многих страницах перекрёстных психологических и эстетических отсылок, самокопаний, сравнений с другими поцелуями… У неё просто перехватило дыхание, она впитывала ощущения; прикоснулась пальцами к его тёмным волосам и обнаружила, что они жёстче, чем она представляла. Его поцелуй она описала про себя словом «чуточный» — тревожно и быстро, как птичка, он клюнул её в уста. Фредерика выдохнула: «Ну *пожалуйста…*» — и крепко стиснула его худое тело; и здесь неожиданность — он весь какой-то непрочный, кости его словно обмякли, руки холодные, неуверенные. Голова его вновь робко и порывисто, по-птичьи, склонилась к ней, веки стиснуты, как у святого мученика, — и снова тонкие, нервные губы в нерешительности, как-то

бесцельно, скользнули по её губам. Фредерика чуть было не сказала: «Я тебя люблю», но подумала, что это будет слишком, отпугнёт, поэтому просто назвала его по имени, собственный голос громко раздался в ушах: Рафаэль, Рафаэль…

— Нет, ничего не выйдет, — сказал он. — Я не могу…

Не могу что? Любить? Не могу связывать себя отношениями? Не владею любовными ухватками? Не интересуюсь женщинами (бывает ведь и такое!)?

— Ну пожалуйста, — взмолилась она, — пожалуйста, побудь со мной…

— Фредерика… — начал Рафаэль и повёл её к дивану (или она его повела — непонятно было, чьи ноги первыми зыбко шагнули в том направлении).

Они сели рядом, держась за руки. Лицо Рафаэля приняло задумчивое выражение.

— Ты чудесно выглядела в вечернем платье, в тот вечер, с Аланом. Ты, конечно, не красавица в классическом понимании, но когда я тебя увидел…

Это ты — красавец, хотелось сказать Фредерике. *Я люблю тебя.* Но такая прямота, пожалуй, сейчас опасна. Она погладила его руку, вяло лежа-

щую в её руке. Может, она и сумела бы пробудить его от сонной, тревожной застылости — будь она постарше, помудрее или не настолько влюблённой? С мужчинами, которые сами не знали, что делать, она никогда не умела обращаться. Вспомнила: на балу кто-то давеча похвалил её за то, что она не пытается вести в танце; ах да, всё тот же Найджел Ривер… Не лучше ли уйти? Она повернулась к Рафаэлю — на лице у него застыло страдальческое выражение — и поцеловала в уголок глаза, в уголок губ, — рот его вдруг дёрнулся — от чего? От сдерживаемого отвращения? От инертного удовольствия? Она поднялась:

— Мне пора. Можно я приду ещё?

— Конечно. Непременно. — Глаза закрыты. — Прости меня. У меня сегодня такой день…

— Пожалуйста, не извиняйся. Мне бы не хотелось… ты для меня — самое главное.

— Спасибо. — А сам не сдвинулся с места.

Она ретировалась.

25
Культура

Введение в должность проректора нового Северо-Йоркширского университета состоялось в сентябре (причём в ту же неделю, когда парламент созвали для обсуждения надвигающегося Суэцкого кризиса, когда была создана Ассоциация пользователей Суэцкого канала, а президент Эйзенхауэр заявил, что Соединённые Штаты не будут участвовать в войне на Ближнем Востоке). Новый университет, на тот момент состоявший из трёх уже достроенных зданий с будущим внутренним двором, находился поодаль от старинного особняка Мэттью Кроу и изрядно вдавался в вересковую пустошь. Добраться до новых зданий можно было по дорожке, частию окончательно замощённой, частию одетой временными мостками, наброшенными поверх вспахтанной грязи, кругом же было перекопанное поле. Было несколько подъездных дорог, по которым с грохотом проезжали грузовики и бетономешалки в пыли и струйках торфяной грязи. Строилось ещё с полдюжины одинаковых зданий из сборных

конструкций — в них студентов будут обучать и незамысловато-сытно кормить. Те три здания, что были уже готовы, представляли собой громоздкие шестиугольные башни из тёмных бетонных плит; между ними образовывался внутренний двор, выложенный голубоватой искусственной брусчаткой. У двух башен была общая стена-перегородка, третья стояла отдельно. По задумке они должны были навевать (и навевали) воспоминания о северных крепостных башнях из жернового песчаника, куда более древних, чем приятный, вдоль горизонта вытянутый невысокий фасад Лонг-Ройстона, однако же видом вышли и новее, и грубее, чем он. Освещение в башнях — по крайней мере, если смотреть снаружи — было задумано как-то странно. Оконное остекление было настолько обширным, что взор, с лёгкостью проникая внутрь, различал большие спиральные лестницы и некие пространства, чуть ли не во всю башню шириной, но слишком щедрые эти окна почему-то чередовались с глубоко утопленными узенькими бойничками. Архитектор, йоркширец Стэнли Маррен, утверждал, что вдохновлялся величественным, массивным фасадом Хардвик-Холла, в котором, как говорили, «больше

стекла, чем камня»[190].

Стефани и Фредерика добрались к Лонг-Ройстону по просёлкам, толкая перед собой прогулочные коляски с Уильямом и Мэри; они заглядывали в чёрные, заполненные водой ямы, посматривали украдкой в щели дощатых строительных ограждений. Ещё раньше, с нижнего просёлка, они отметили интересный вид на большую законченную башню: стоит на гребне пустоши, одинокая, с запропавшими в силуэте окнами, увенчанная бронзовитым куполом. В городской библиотеке Калверли и в Лонг-Ройстон-Холле выставлен полный набор архитектурных чертежей и видов нового университета: скопления шестиугольных башен разной высоты, которые словно наступают на ландшафт; эти группы башен соединены между собой крытыми переходами, внутри каждой группы — шестиугольный двор-клуатр. Медовые соты или модель сложной молекулы — вот что это напоминает. Фредерике проект понравился. Стефани же задумалась, что́ подобные здания проделают с особняком (превратят его в карлика) и с пустошью (вклинятся в неё самым бессовест-

[190] Примечания: 190

Имеется в виду Новый Хардвик-Холл, возведённый одной из богатейших дам Елизаветинской эпохи, графиней Бесс из Хардвика (строительство завершено в 1599 г.), известный памятник архитектуры.

ным образом).

Торжественная церемония проходила в театре, устроенном в отдельной башне так высоко, что в другом освещении, кроме как естественном, через стеклянную крышу, он не нуждался; впрочем, при желании этот световой фонарь заслонялся хитрыми механическими лепестками, наподобие купола в обсерватории. Сцену подковою окружали, плавно всходя по бетонным ярусам, ряды театральных кресел с обивкой полуночного фиолета. Стены, покрытые гладкой штукатуркой, не имели здесь ни окон, ни иных украшений. На высокой сцене устроено было ещё одно круглое и значительное, наподобие амвона, возвышение, где располагались два новеньких официального стиля кресла в скандинавском духе, с обивкой из светлой кожи, с вытисненным гербом университета. Пронзительно и ясно взыграли фанфары, и новоиспечённые профессора во главе с проректором прошествовали к своим местам и приветствовали принцессу, которая прибыла вручить университету королевскую грамоту. Одеяния профессоров имели капюшоны из шёлка и бархата, чьё нутро было алым, лазурным или даже меховым горностаевым, внушая приятные мысли о Средневековье. На представительнице

королевской фамилии были пальто цвета старого золота и восхитительно сочетавшаяся с ним задорная шляпка с перьями. Принцессу сопровождала фрейлина в шоколадно-коричневой и кремовой гамме. Их лакированные сумочки сверкали в столбе дневного света, спущенном в тёмный вертикальный цилиндр помещения. В самом центре светового круга на сцене стоял проректор, облачённый в чёрную шёлковую мантию с фиолетовым подбоем и фиолетовым капюшоном, — в меру роскошно. Фредерика видела Герарда Вейннобела впервые. И это зрелище её несколько озадачило: в обличье кабинетного учёного — необычайно высокий, статный, сильный на вид мужчина; разве он не должен был приобрести разные свойства и недостатки, связанные с сидячим образом жизни, — сутулиться, шаркать ногами; не стоило ли ему, при таком преизбытке тела, найти применение мышцам, зачем он сосредоточился только на умственной деятельности? Его аккуратно причёсанные тёмные волосы лишь на висках осенялись сединой. Он снял с головы шапочку с кисточкой, водрузил на нос изящные квадратные очки в серебристой оправе, профессионально постукал по серебристому микрофону, который издал в ответ не то покашливание, не

то вздох, эхом облетевший круглый театр. Идея университета, начал он, — это то, о чём всегда размышляли и будут размышлять учёные умы. Позвольте кратко обрисовать концепцию нового университета, вырастающего сегодня среди йоркширской почтенной старины. В чём состоял замысел основателей и мой собственный?.. Выговор у него был не вполне английский, но и совершенно точно не американский. В звуках не было чистоты *незаметной*, отличавшей Рафаэлев лекционный голос, который словно точился прозрачной водою. Голос Вейннобела был не водяной, а как бы слюдяной, кристаллический, и не тёк он, а простирался. Ничего излишне гортанного или взрывного, как у иных иностранцев, вообще ничего неправильного, — но там, где для Рафаэля и обычного англичанина естественно было стяжение, или проглатывание звуков, Вейннобел выговаривал всё целиком, с непреодолимой чёткостью.

Он заговорил об образовании всесторонне развитого человека. О том, что необходимо пробить жёсткие перегородки между изолированными областями знания, отдельными профессиями. Идея этого университета — в само́м его архитектурном проекте. Здания объединены в схожие,

но отнюдь не идентичные группы, а группы расположены на лучах дорожек, которые задают сложные и многообразные внутренние связи. История человеческой культуры, история жизни людей в зданиях, с одной стороны, и функциональная упорядоченность, единство наук, с другой, — вот какими категориями мыслили архитектор и попечительский совет.

Особый упор сегодня должен быть сделан на связи наук между собой. В девятнадцатом веке связь шла по линии истории: лучшие умы человечества искали тогда истоки происхождения — видов животных, различных языков, общественных установлений, даже умственных убеждений людей. Уже имевшиеся данные наук при этом приходилось переосмысливать заново, и, конечно же, история давала единство взгляда на вещи. Но в другое время были ведь и другие связующие науки. Например, физика: в эпоху Возрождения и художник и учёный изучали законы, по которым существует материальный мир. Леонардо полагал, что художник напрямую ощущает упорядоченность бытия: эта упорядоченность неизменна и вместе с тем динамична, бесконечно разнообразна. Кеплер открыл законы движения планет и испытал живейшее эстетическое насла-

ждение от того, насколько законы эти красивы, а также верил, что они связаны с пифагорейской и платоновской «музыкой сфер». Математики часто используют прилагательные «красивый» и «изящный», говоря о каком-нибудь доказательстве, оценивая его относительную весомость. Сам Эйнштейн считал, что душа человека во всех жизненных областях — искусстве, естественных науках, философии, любви — испытывает равную жажду к установлению закономерностей. Он говорил: «Человек по своей природе всегда стремился создать для себя простой, сводный образ окружающего мира. Построить картину того, что наш разум видит в природе. Все попытки подобной деятельности осуществляются посредством актов символизации»[191].

Символизация… Формы мышления… Как грамматист, продолжал Вейннобел, слегка улыбнувшись от упоминания родной отрасли знаний, я и сам некогда изучал одну из самых могущественных систем символов, доступных человечеству. Сейчас проводятся исследования, имеющие целью установить соотношение между естественными и искусственными языками, с

[191] Примечания: 191

Из предисловия А. Эйнштейна к книге М. Планка «Куда идёт наука?» (1932).

одной стороны, и видами мозговой деятельности, развитием нашего восприятия — с другой. В этой связи можно было бы поразмышлять о следующем любопытном факте: наша когнитивная способность позволяет получить представление об истине и реальности лишь в некоторых областях, а именно в тех, где можно оперировать числами и пространственными формами. Не потому ли и нашей науке столь очевидно недостаёт интеллектуальной глубины? Судите сами: на данный момент мы не в силах предложить теорию, которая бы объясняла естественное использование человеком языка или усвоение языковых форм. Также представляется вероятным, что существует некая биологическая преграда, мешающая человеку тщательно и всеобъемлюще исследовать функцию его собственной памяти.

Для познания, по-видимому, чрезвычайно важна картина реальности. Физик Макс Планк считал, что его изыскания были бы невозможны, не бери он за основу некое представление о реальном мире. Этого мира нам никогда не постичь во всей полноте, говорил великий физик, но мы не должны оставлять попыток понять его, составить его «карту». Планк постоянно употребляет выражение «картина мира» и отмечает «непре-

рывное уменьшение интуитивности её [картины мира] постижения и увеличение простоты её использования… Непосредственно переживаемые чувственные впечатления, эти первичные источники научного познания, вытесняются из картины мира, в которой зрение, слух и осязание уже не играют первостепенной роли»[192].

Возможно, сформировать картину того, как *формируется наша картина мира*, мы не способны, продолжал профессор Вейннобел. Ведь как бы много окон ни выходило из нашей комнаты, в них мы видим лишь мимолётные образы. Однако я, вслед за Планком, верю: внешний мир есть, он реален, и создавать его картину — наш долг, наша потребность и наше счастье. Вряд ли нам удастся ответить на вопрос: «Что есть человек?» — равно как и на ещё более сложный вопрос: «Что реально, что истинно?» Но множественность наших окон не должна становиться источником солипсического отчаяния, она как раз уберегает от него. Я твёрдо знаю, что деревья во дворе растут независимо от того, наблюдаемы они или нет. Знаю, что весной на них распускаются цветы, а осенью с них падают яблоки. Поэтому уверен:

[192] Примечания: 192

М. Планк, лекция «Смысл и пределы точных наук» (1941 г., опубл. в 1947 г.).

яблоки можно выращивать! Через дворик идёт девушка в жёлтом платье, её можно воспринимать с позиций оптики или медицины, или же как социологический объект… как амурный предмет, в конце концов. Она представляет собой физическую систему, обладающую массой и энергией; она кишит растущими и отмирающими клетками; она мотив для картины голландского художника или объект изучения в модернистском исследовании цвета и художественного зрения; она носительница нидерландского или английского языка; студентка, обучающаяся инженерному делу; член некоего общественного сословия; неповторимая личность; бессмертная душа! Оптические открытия Кеплера применил Вермеер, причём особенно ярким примером новаторской светописи и цветописи может служить полотно «Вид Делфта». А Марсель Пруст в романе «Пленница» из всего этого полотна выделил кусочек жёлтой стены, которым любуется его герой, умирая, — и таким образом навсегда — на все вообразимые времена — сделал этот жёлтый кусочек холста символом истины, гармонии и жизненности искусства. Великие умы с высокоразвитой интуицией — во всех областях знания — улавливают упорядоченность и

жизненную истину во всём, во всех многообразных и многоразличных движениях вселенной. Наши интуитивные поиски не всегда успешны, но человеческий разум настойчив. Университет — это модель вселенной и одновременно некая вселенная, сложно упорядоченная, славная поисками и озарениями. Подобно тому как отдельные свойства образуют единого человека, так и наши факультеты должны воспитывать целостную, многогранную личность, видя в ней один из образов будущего!..

Неизвестный даритель преподнёс университету две большие статуи скульптора Генри Мура. Местные жители обсуждали, не скрывался ли под маской анонима сам Мэттью Кроу. Подарок этот, на столь ранней стадии строительства, представлял некоторые неудобства, поскольку поставить его пока некуда: на месте будущих террас и внутренних двориков взрывали землю бульдозеры, грохотали тракторы. Стефани и Фредерика отправились поглядеть на статуи на их временном месте, взяли с собой Уильяма (ему исполнилось два; он был малоразговорчив и бегал повсюду мелкими семенящими шажками) и Мэри в складной прогулочной коляске. Пройдя по единственному готовому дворику и зайдя в

тыл единственной готовой башне, они направились по деревянным мосткам к сколоченной на скорую руку террасе с видом на вересковую пустошь. Здесь и расположились скульптуры, причём в «декорациях», роль которых играл неровно закруглённый кусочек бутафорской стены, внизу имевшей постамент и ступени, уходящие в вереск и пушицу.

Фигуры, мужчина и женщина. Женщина, массивная, широкая в бёдрах, но изящная в щиколотках и запястьях, веско и легко присела на ступеньки. Её центр тяжести — где-то ниже талии, там, где послойно располагаются, скрытые складками ткани, бёдра и таз. Голова у ней маленькая, с круглыми, распахнутыми, усердно выкаченными глазами: исполинская кукла? птица, высиживающая яйца на гнезде? Между колен ткань её одежд — каменная, но парадоксально тонкая на вид — не провисла, а полунатянулась, её складки — как задумчивые линии, что прилив, отступая, оставляет на песке. Сзади женщины стоит прямой, точно шахматный истукан, мужчина, в верхней части сложенный из пропорциональных кубов, впереди подан намёк на кирасу или, может быть, на квадратный щит? На тревожно воздетой голове — раздвоенный гребень, не то

шлем, не то птичий хохол; мужское существо зорко пялится вверх; может, именно в эту минуту происходит превращение в птицу рептилии, чей разинутый рот, чуткий гребень приспосабливаются к небесам.

Уильям на четвереньках облазил все ступени, прошерстил всё между статуями и вокруг них, вернулся с находками: камешек, раковина улитки, пёрышко. Сестры ощутили внезапный порыв женскую фигуру уменьшить. Стефани сказала, что статуя напоминает ей о том, как раздались после родов собственные бёдра. Фредерика заметила, что богиня плодородия с птичьими мозгами вряд ли способна вдохновить поколение новоиспечённых студенток на интеллектуальные свершения. Уильям метнулся горизонтально по ступеньке к статуе и цепко обхватил каменное женское колено — точно так же вот дома на кухне, когда Стефани что-нибудь жарила на плите или вытаскивала окорок из духовки, повисал он у неё на ноге, подвергая себя и мать опасности.

— Он понимает, что́ она такое, — сказала Стефани. — Воплощение земной устойчивости.

— Вот бы хоть иногда женщине оторваться от земли, побыть воздухом и огнём… — мечтательно молвила Фредерика.

— Увы, это возможно, лишь отходя в мир иной… — безмятежно ответила Стефани. — Если ты, конечно, имеешь в виду слова Клеопатры[193]. Но вообще-то, мы земля и вода, и это нам к лицу. — Она задумалась. — А что, земля мне нравится. Нравится быть причастной её дубам и камням[194].

Фредерика подхватила Уильяма, который пытался залезть на обширные, недристые каменные бёдра; ей вспомнились строки из «Комоса» о том, как Природа хранит в недрах всем желанную драгоценную руду, «чтоб было чем сынов своих украсить».

Откуда-то сверху их окликнули. К ним спускалась лонг-ройстонская компания: Мэттью Кроу, Александр Уэддерберн, Эдмунд Уилки, Винсент Ходжкисс и Томас Пул.

— Подарок поистине королевский, — похвалил Кроу, указывая широким жестом на скульптуру. — Доброе утро, дамы.

Фредерика всё ещё пыталась оттащить Уильяма от статуи. Александр спросил Стефани, как ей скульптура. Внушительная, ответила та, а Фре-

---

[193] Примечания: 193

У. Шекспир. Антоний и Клеопатра. Акт V, сц. 2, смерть Клеопатры.

[194] Примечания: 194

У. Вордсворт. Мой дух оделся странным сном.

дерика со ступенек прокричала, что женщина показалась им угрожающей.

— У мужчины, — заметил Уилки, — имеются устремления. Он будто сам себя ваяет из этой массы камня, рвётся из него вверх по хитроумной спирали. В отличие от женщины, в нём нет спокойствия и довольства.

Томас Пул восторгался малышкой. У него самого, рассказал он, маленький сынишка, почти такой же. Чудесный возраст — они всё вокруг замечают. Мэри широко растопырила руки и покрутила крохотными ладошками на пухлых запястьях, будто пытаясь пропустить через пальчики и схватить воздух. Ветерок с пустоши трепал мягкий рыжий шёлк её волос; она лепетала слоги: ба, ма, да. Маленькая ручка Уильяма, крепко сжатая в Фредерикиной, была сухой и тёплой. Он всё ещё пытался неуклюже высвободиться, как неугомонный волчок.

Александр вызвался повезти коляску с Мэри. Томас вставил, что в этом деле Александр мастер. Александр осторожно склонился к ручкам коляски, стараясь особенно не показываться девочке, чтоб не испугать, и впервые увидел на её лице то самое пятно, уже не вздутое и желеподобное, а будто тонко наведённое поверх едва различимой

светлой бровки — розово-коричневое с золотистыми крапинками.

— Говорят, оно уйдёт, — сказала Стефани.

Фредерика наблюдала, как Мэри подозрительно сморщила на Александра личико, а тот погладил её по щёчке осторожно и ласково, и малышка, хорошенько подумав, решила, что можно не вопить.

Все направились обратно под аккомпанемент речей Кроу — он красочно расписывал здания, которым в скором времени предстоит появиться. Только подумайте, вот здесь, на месте этой мокрой ямы, где сейчас хлюпают в грязи и песке сваи, будет башня факультета лингвистики! А там, за теми серыми щитовыми заборами, обвешанными замками и табличками с надписью «Опасно!», будет факультет биологических наук.

— А как же яблони профессора Вейннобела? — спросила Фредерика, всё ещё под впечатлением от точных образов в приветственной лекции проректора (окна, широкие и узкие, взгляд наружу и взгляд внутрь, девушка в жёлтом платье под сенью яблонь, парадоксальная картина мира Макса Планка, которая формируется не посредством чувственного познания — зрения, слуха, осязания, — а при помощи приборов, которые

трудно даже вообразить).

— Мой яблоневый сад остаётся при мне! — ответил Кроу. — Мои знаменитые желтовато-коричневые «рассеты», «апельсины Эллисона», ренеты и лакстоны… Не знаю, где именно проректор задумал свои яблони. Конечно, у него в скором времени появится здесь свой коттедж, с садом. Но пока что он проживает у меня в гостевых покоях в западном крыле. Сегодня я устраиваю для него ужин в моей старенькой башенке. Надеюсь, вы все присоединитесь к нам на кофе, будут и другие напитки. Обязательно приходите!

Фредерика пришла и слушала разговоры о будущем, сплетни о новых кафедрах, грядущих битвах мнений. Рафаэля не было. Она всё-таки спросила Ходжкисса, ещё в театральной башне, и он ответил: «Ему не хватило духу… Я так и знал. Все его перемещения — из колледжа Святого Михаила в библиотеку да обратно. Идеальная жизнь, пугающая в своём однообразии».

Не было и Стефани. К собственному немалому удивлению, она обнаружила, что ей очень страшно вот так выйти в люди, целый вечер светски беседовать в оранжерее Кроу. Ей теперь привычнее общество бормочущих себе под нос неприкаянных, скрипучие рассказы матери

Дэниела о собственной жизни, болтовня Уильяма, лепет Мэри… Она бы удивилась, узнав, что Александр с сожалением заметил её отсутствие. В голове его пронеслось смутно и мимолётно: вот бы кому рассказать о Саймоне Винсенте Пуле; Стефани умна, рассудительна, умеет слушать, не выпячивает себя. Но её не было, зато была Фредерика. С ней он поговорил о Винсенте Ван Гоге.

26
История

Последний год Фредерики в Кембридже начался с Суэцкого кризиса; это вторжение внешнего мира в её жизнь оказалось не единственным, были и другие, но своим противовесом все они имели её, Фредерики, вылазки во внешний мир. Позднее этот прощальный год начал символически представляться ей в виде странной картинки: городишко К. — горстка белокаменных колледжей с прозеленями заповедных лужаек — плывёт среди топкой равнины, в никуда, под нахмуренным небом; вот такое же грозное небо нависло над Толедо на холсте Эль Греко или воззрилось на крохотного Ганнибала, переходящего Альпы, у Тёрнера (грандиозная битва света и тьмы). От кого-то она узнала, что на всём пространстве между этим низменным куском Англии и Сибирью нет ни единой возвышенности, поэтому сибирские ветра — через холодное Северное море — прилетают сюда беспрепятственно. В год Суэцкого кризиса, который был также и годом Венгерского восстания, внешний мир заявлял

о себе не вялыми телеграфными сообщениями о том, что кто-то «выразил озабоченность», а живыми и страшными вестями о передвижениях войск, о потоплении судов, о количестве расстрелянных; у всех вдруг остро пробудились чувства национального самосознания, страха перед насилием, коллективной ответственности. Нельзя сказать, что предыдущие годы ничем подобным совсем не были отмечены, — просто Фредерика, равнодушная к политике, как и многие её современники, не ведала ни о волнениях в Восточном Берлине в пятьдесят третьем, ни о растущем возмущении в Польше. О Венгерском же восстании, так же как и о Суэцком кризисе, узнал буквально каждый. Людей поколения Фредерики (англичан нашего поколения) — Рафаэля Фабера и Мариуса Мочигембу, естественно, следует отсюда сразу же исключить — объединяет то, что мы, будучи детьми, в простодушном неведении миновали довольно бурный и отвратительный отрезок истории. Кого-то родители старались оградить от происходящих в мире зверств, другим посчитали нужным показать фотографии и документы из Берген-Бельзена и Освенцима, Хиросимы и Нагасаки — и, конечно, многие, увидев фото, испытали леденящий ужас перед

самой человеческой природой. В сознании Фредерики, впрочем, эти ужасные картины слились с мрачными представлениями, почерпнутыми не из жизни, а из литературы, — в результате у неё сложилось убеждение, что человеческая природа в принципе, вообще злобна, опасна, коварна. В «Короле Лире» мелкая злость и довольно обычное дочернее возмущение причудами властного родителя развёрнуты до целой вселенной, где царит бездумная жестокость, где не осталось никаких надежд. Доблесть и отвага в «Орестее» Эсхила сочетаются со слепой страстью и ненавистью — в итоге всё это выливается в ужас, безграничный и неописуемый. Фронтовое окопное товарищество, воспетое Уилфредом Оуэном, в жизни обернулось кровавой пеной из лёгких, отнятыми конечностями. Я привожу здесь эти всем известные образы *бесчеловечности*, потому что задаюсь вопросом, что же они значили для Фредерики — полученные из вторых рук, но исключительно сильные и неоспоримые. На самом деле представления, которые в ней поселились после знакомства со всеми этими вещами, соседствовали с полуразочарованной, полубуржуазной бездумной уверенностью, что в людях — и в обществе, и в отдельном человеке — возобладают тяга к удоб-

ству (в духе Пруфрока[195]) и старый добрый, хоть и приевшийся, здравый смысл. (Я употребляю слово «буржуазный» в том смысле и с тем осудительным оттенком, какой Фредерика усвоила из «La Nausée».) Короче говоря, на самом деле бороться нужно было со скукой — скукой, самодовольством и глупым зубоскальством, — а не с безрассудством и жестокостью в мировом масштабе. «Скуку, ужас и славное величие мира» — вот что, по мнению Элиота, надлежало узреть[196]. И не случайно в стенах Кембриджа тогда широко обсуждался грех *уныния*; это выражение попало в бессчётное множество студенческих статей и прочей беллетристики, вместе с такими нечёткими понятиями, отражающими душевное самоедство студенчества, как «малодушие», «слабая повестка» (интересно, какой могла быть «сильная повестка» в те аполитичные времена?). Когда в декабре в университет нагрянули первые венгерские беженцы и привезли с собой вести об

[195] Примечания: 195

Дж. Альфред Пруфрок — герой одноимённой поэмы Т. С. Элиота (1915), в которой показан конформизм среднего класса.

[196] Примечания: 196

«В правильном положении находится тот поэт, который видит своё назначение не в том, чтобы жить в красивом мире и его изображать, но в том, чтобы заглянуть за пределы прекрасного и уродливого, постичь скуку, и ужас, и славное величие мира» (Т. С. Элиот «Назначение поэзии и назначение критики», 1932).

уличных боях, о советских танках, о том, как угас единственный смелый глас на радио, внешний мир, словно захватническая армия, вторгся в тихие кембриджские обители. Многих молодых венгров звали Аттила, были и девушки по имени Ильдико[197], которые выглядели так, словно носились верхом по равнинам, продуваемым теми самыми сибирскими ветрами. (В географии Фредерика была не сильна.)

Впервые в жизни Фредерика стала свидетельницей бурных общественных страстей. Друзья, зачастую неожиданно, принимали в Суэцком вопросе разные стороны: кто-то считал, что британцы — «ответственный» народ, который волнуется, что последствия «приведения к миру» могут оказаться жестокими; другие видели в «мерах», предпринятых Великобританией, попытку цинично и беспринципно вернуть былую имперскую славу. Оуэн Гриффитс, Тони Уотсон и Алан Мелвилл получили извещения о том, что в случае необходимости они могут быть повторно призваны в армию, — к чему отнеслись со смесью издёвки и тревоги. Другие, в том числе Фредди, заявили, что готовы поступить добровольца-

[197] Примечания: 197

Германское женское имя; так звали последнюю из жён царя гуннов Аттилы.

ми. Можно было заключить, что поддержка или резкое осуждение действий правительства зависит от того, к какому классу человек принадлежит, — но не тут-то было. В чём заключается национальная честь? Какие шаги на международной арене экономически выгодны для страны, а какие нет? Следует ли терпеть в Англии некоторое количество иностранцев или лучше жить без них вовсе? Ответы на эти вопросы обнаруживали сшибку мнений в каждом из слоёв английского общества. В последующие годы Фредерика не раз задумывалась: как вообще вышло, что политика — запальчивые, принципиальные споры по любому поводу, разговоры о покушении на свободу, провозглашение чего-то делом жизни и смерти, дискуссии о финансировании Асуанской плотины, проблемы выживания государства Израиль, дебаты о будущем Венгрии как советского сателлита с однопартийной системой — оказалась в Великобритании непостижимо и неразделимо связана со *стилем культуры*. Даже её собственное мнение о событиях вокруг Суэцкого канала опиралось на стилистические предпочтения в не меньшей мере, чем на нравственные. Из «Путешествия в Индию» Э. М. Форстера ей давным-давно открылось, что Британская империя,

хоть и умела быть справедливой в частном где-то на местах, в целом была бесчувственна, самонадеянна и несправедлива — в силу отсутствия воображения и умной генеральной линии. Знала она и о том, что у Первой мировой на одной чаше — идеалы, честь, доблесть, патриотизм, а на другой — жестокая действительность, шрапнельные обстрелы, грязь, гибель необстрелянных юнцов. Что бы мы ни думали о Киплинге сейчас, одно время считалось, что он неважнецкий писатель и поэт, мыслит ограниченно из-за своего английского шовинизма и мальчишеской бесшабашности. Спортивные поля Итона[198] полагалось не восхвалять, а осмеивать. (Фредерика ненавидела спорт.) При таких умонастроениях как было не счесть Великобританию и Францию, вмешавшихся в дела Египта, какими-то мальчишками-задирами? Фредерика разделяла это мнение. Люди постарше, исходя из других установок, считали полковника Насера, демагога и националиста, очередным Гитлером, который хочет поработить соседние страны. Тогда как Фредерика и иже с ней видели в нём смелого, одухотворённого бунтаря, восставшего против дутых

[198] Примечания: 198

Выпускники Итона отличались военной выправкой, через спорт им прививали качества, присущие военным.

политических авторитетов и «школьной» дисциплины, насаждаемой «в ваших же интересах».

Но даже в ту пору (а с годами всё сильнее и сильнее) Фредерике претило принимать сторону безответственных критиканов и демагогов, подражавших Везунчику Джиму и «сердитому молодому» Джимми Портеру[199]; в этих литературных героях тоже была ребяческая отвага, но устремлённая к негодной цели. Они желали разрушить потомственные, «культурно-дутые» устои, власть «директора школы» и проделывали это — на страницах романов и на сцене — в духе весёлого подросткового скотства, при этом умудряясь с вполне мужской уже ловкостью отхватить покладистых директорских жён или дочек. (Не случайно некий польский политик сравнил бесплодные эскапады своих молодых и вроде бы неглупых сограждан, которым только такие штуки при их режиме и позволялись, — именно с проделками Везунчика Джима.) Столь странные попытки утвердить британскую мужественность не вызывали у Фредерики сочувствия.

В Кембриджском союзе, куда не допускали женщин, состоялись чрезвычайные дебаты. На

[199] Примечания: 199

Герой пьесы Дж. Осборна «Оглянись во гневе» (1956), после выхода которой возникло движение «сердитых молодых людей» в литературе.

них пошёл Оуэн Гриффитс и, явив вдруг валлийскую ораторскую натуру, не произнёс, а скорее певуче прокричал прекрасно составленную речь: хватит размахивать изорванными имперскими флагами, есть проблемы куда большей важности — грязный воздух и отсутствие равных возможностей в образовании! Был там и Тони Уотсон и рассказывал потом Алану и Фредерике с восторгом: дебаты оказались и правда *чрезвычайно* бурными, члены союза, все до одного прошедшие армейскую службу, в своих полупальто, напоминавших шинели, начали обмениваться мнениями-выкриками, стремясь перехватить друг у друга инициативу, словно мяч в регби. Если не вслушиваться, это звучало как громкие приказы, при отсутствии младших по званию, которые могли бы их исполнять!.. В самом Ньюнэме, насколько поняла Фредерика, запретили страстную пропаганду каких бы то ни было идей, кроме разве что идей евангелического Кембриджского межуниверситетского христианского союза; его члены-фанатики бесстрашно обращались к незнакомым людям, когда те пили кофе в столовой после обеда. Разумеется, не возбранялось агитировать и серьёзным последователям идеи Ливиса: английский язык и английская литера-

тура, в силу исключительности, должны стать в центр университетского образования и тем самым обеспечить преемственность национальных форм жизни и культуры! И всё же Фредерике довелось узреть в Ньюнэме ожесточённый публичный спор (а по форме кричальный матч). Впоследствии — опять-таки ретроспективно — она поняла, что в тот день впервые в жизни стала свидетелем настоящей политической баталии. Две женщины в мантиях забрались на столы в Зале собраний колледжа, расположились лицом к лицу; теперь уже не вспомнить, из-за чего был сыр-бор, все эти вопли. В памяти застряли отдельные выражения: «святая наивность», «мания величия», «преступная безответственность», «ребяческий ура-патриотизм»; слова свистели как пули над головами жадно внимавшей, хоть и робкой, аудитории из девушек, у которых в голове, казалось бы, должны быть — да и были — только любовь и замужество, свивание гнёздышка и лишь потом, может быть, туманные «карьерные перспективы».

Ещё у Фредерики состоялся короткий разговор с одной из изящных родственниц миляги Фредди — та вступила в комитет, члены которого за чаем в гостинице «Синий кабан» вершили будущее

венгерских беженцев, как обеспечить их жильём. Девушка эта, по имени Белинда… (фамилию не припомнить), чья прекрасная кожа просвечивала, как фарфор, до этого ни разу не изъявляла желания говорить с Фредерикой, они обменялись лишь парой фраз за салатом на майском балу. А теперь Белинда испрашивала поддержки в своём начинании; невольно наклонясь вперёд от переизбытка чувств и слегка покраснев, она призналась:

— Это занятие изменило мою жизнь, наполнило смыслом.

В глазах у неё стояли слёзы. Фредерика была потрясена и тронута. Она привыкла видеть ровесников, пресыщенных жизнью; а Белинда раньше излучала слишком тугую уверенность в том, что нет ничего тоньше, самоценнее и жизненнее, чем вечеринки со смотром невест. Фредерике подумалось: как же мало мы знаем о людях; как легко принять перетянутый лающий гласный и улыбку, которая не освещает глаз, за самодовольство. Но всё же, если вспомнить Билла, Александра, Рафаэля Фабера, Дэниела Ортона, то есть людей, наделённых жизненной целью, покажется немного абсурдным, что кому-то для осознания смысла жизни требуются революции в

Центральной Европе. Незадача самой Фредерики состояла в другом: у неё было слишком много целей, которые приходили друг с другом в противоречие.

Сказать, что Суэцкий кризис или события в Венгрии в тот год произвели какие-то глубокие перемены во внутренней жизни Фредерики, было бы совершенно неверно. Её скорее волновало, как возникшее тогда между Кембриджем и внешним миром напряжение отразится на её внешней жизни и планах. К тому же она была влюблена в Фабера. И отодвинула от себя чрезвычайно многое — в том числе перестала играть на сцене, а также заводить беспорядочные связи — то ли из-за Рафаэля, то ли из страха забеременеть, а может, просто-напросто поняла, что причиняет людям (мужчинам) напрасные страдания?

В будущем возможны были две гипотетические Фредерики: одна затворилась в университетской библиотеке, пишет что-то изящное и искусное о метафоре в религиозной литературе XVII века; другая — её она представляла себе более смутно — пребывает в Лондоне, пишет нечто совершенно другое: остроумные критические статьи для газет и журналов, может, даже новый городской роман вроде тех, что выходят из-под пера Айрис

Мёрдок. Беда, однако, в том, думала она порой, что эти две Фредерики уживаются в ней слишком уж *слиянно*. Фредерика, которая пишет докторскую диссертацию, зачахла бы от скуки, погибла бы от духовных усилий, не живи в ней одновременно её неугомонная, порывистая мирская сущность; а мирская Фредерика без внутренних богатств и поисков была бы словно глянцевый, но пустой карапакс. В воображаемом, гипотетическом будущем обе её половинки могли бы сосуществовать, поэтому она предприняла шаги, направленные к благу обеих. Она подала заявление в докторантуру. И одновременно, по совету Алана Мелвилла, участвовала в конкурсе талантов журнала «Вог»; написала в январе 1957 года и представила автобиографию на восемьсот слов и две небольшие статьи.

Одна из статей была о её путешествии в Прованс: вангоговские пейзажи, соус айоли, игра в шары, мистраль, ничуть не изменившаяся с визита художника рыбацкая деревня Сент-Мари-де-ла-Мер, изваянная из дерева темнокожая служанка Сара Кали. (Фредерике понравилось и запомнилось ничем не подкреплённое мифическое отождествление служанки Сары с богиней Кали-разрушительницей.) Вторую статью она

написала в форме списка «1956: Классно / Не-классно»; под «Классно» разместились Айрис Мёрдок, «В ожидании Годо», названия пронзительно-ярких расцветок туфель, новые голоса и мысли прибывших венгерских беженцев; под «Не-классно» — грубости в духе Джимми Портера, газетные заголовки о Суэцком кризисе, плиссированные юбки, которые мнутся, общественный спор о речи аристократии и среднего класса[200].

— Такое чувство, — сказала Фредерика Алану Мелвиллу, — что я пишу списки, как у Элиота в «Заметках к определению культуры», помнишь, там свёкла, английские борзые, музыка Элгара[201], шинкованная капуста… Почему идея списков так притягивает?

— Ну, у него-то список получился слабенький, он же американец, то есть иностранец, — ехидно проговорил Алан, шотландец-космополит. — И заметил он то, что прямо-таки бросается в глаза.

---

[200] Примечания: 200

Известный спор 1950-х гг., вращавшийся вокруг социолектов высшего общества и поднявшегося среднего класса; парадокс в том, что представители среднего класса предпочитали вычурные и модные слова, эвфемизмы и неологизмы, чтобы казаться более утончёнными, тогда как аристократы, не нуждаясь в подобном впечатлении, выбирали более простые традиционные слова, как бы народные.

[201] Примечания: 201

Эдгар Уильям Элгар (1857–1934) — английский композитор романтического направления.

Кстати, отварная капуста ничего не значит в культурном плане, это всего лишь отвратительная на вкус еда.

— Так уж ничего и не значит? Разве капуста не сообщает, что англичанам в принципе не до вкуса?

— Даже если учитывать, что у слова «вкус» здесь двоякий смысл, — сказал Алан, — разве это какая-то существенная характеристика? Для описания нашего национального характера лучше задаться парой вопросов. Почему мы, к примеру, терпеливо и кротко стоим в очереди на автобус, а на футбольных матчах горазды устраивать потасовки? Или почему мы думаем, что полиция состоит из гуманистов, я ведь из собственного загубленного детства знаю, что полицейские могут тебе и уши поотрывать, и выбить из тебя обратно твой завтрак, если он у тебя, конечно, имелся.

Она пришла посоветоваться с Рафаэлем Фабером по поводу докторской. Бумаги она подавала в ту же неделю, когда у него состоялся долгий и тягостный разговор с Винсентом Ходжкиссом об отношении к Израилю. Отношение Рафаэля к Израилю было сложным, двояким. С одной стороны, у него было ощущение, что он должен находиться там, вместе со своими чудом выжившими

собратьями, бороться за дальнейшее выживание еврейского народа, с другой — его пугает вступление в слишком тесное национальное сообщество, — и, кажется, потребность остаться тут, где он сейчас, мыслить так, как он привык — как европеец, космополит, интеллектуал, — берёт в нём верх… Но разговор этот не относится к сюжету нашего романа, Фредерике не ведомо было ни его содержание, ни то, что он вообще состоялся. Не знала она и историю Израиля, все её безобразия и триумфы; в Блесфордской женской школе увлечённый преподаватель Священного Писания дал им лишь скудную выжимку библейских событий и схематичную карту этих совершенно беззащитных (в военном плане) земель.

О конкурсе в журнале «Вог» Фредерика Рафаэлю не сообщила. Она была уверена, что его мнение об этом никчёмном жизненном направлении будет вполне определённое и ханжеское. «Ханжеское», а не «пуританское», потому что Рафаэль еврей. Ещё ей в голову пришло слово «щепетильное», но оно было явно слабоватым.

Как и многие другие исследования того времени, гипотетическая диссертация Фредерики имела отправной точкой взгляды Т. С. Элиота, в

данном случае — его мысль о пресловутой «диссоциации», разрыве единства мысли и чувства. Диссоциация, утверждал Элиот, приключилась в период между Шекспиром и Донном, которые ощущали свою мысль так же непосредственно, как запах розы, и Мильтоном, который такой способностью уже не обладал. В 1956 году не принимать этот «перелом» в поэзии было всё равно что не верить в идею ледниковых периодов или вкушения запретного плода. Или всё равно что отрицать фрейдовское бессознательное (пусть даже кто-то вроде Билла воспитал в тебе привычку проявлять ко всему скептицизм, чутко и упрямо сомневаться в любых утверждениях). Столь крепко укоренилась вера в этот разлад между словами и вещами, что практически невозможно было *не* считать, что в этом смысле поэзия Шекспира качественно отличается от поэзии Китса, или читать Теннисона без задней мысли, что до Джона Донна ему далеко. Читая Донна, Фредерика вновь и вновь, по-настоящему, непосредственно и остро *ощущала* каждую мысль — с Теннисоном такого не случалось. (По моему опыту, сейчас у студентов всё иначе: творения Донна для них — зашифрованные тексты, философия желания, вымысла; перед их умственным взором не рису-

ются ни браслет волос на костяном запястье[202], ни яркий воздух, одевающий ангелов[203], ни золото, отбитое в тончайшую сусаль[204]; их сердце не бьётся чаще при мысли о солнце, подглядывающем в опочивальню любимой[205], или о звезде, заточённой в склепе[206].)

И всё же, сказала Фредерика Рафаэлю, сидя рядом с ним на диване, омытая чистым, влажным кембриджским светом, она не уверена, что Элиот прав. Особенно в том, что касается Мильтона. В наш век его произвели прямо-таки в злодеи, но раньше-то считали главным мастером. Против него все ополчились, люди не знают меры, когда начинают кого-то или что-то рьяно отвергать.

Держа в своих изящных руках бланк с обоснованием темы, заполненный и сложенный Фредерикой, Рафаэль разгладил тонкими пальца-

---

[202] Примечания: 202
Дж. Донн. Реликвия.

[203] Примечания: 203
Дж. Донн. Воздух и ангелы.

[204] Примечания: 204
Дж. Донн. Прощанье, запрещающее скорбь.

[205] Примечания: 205
Дж. Донн. Восходящее солнце.

[206] Примечания: 206
О звезде, заточённой в склепе, впрочем, пишет не Дж. Донн, а Г. Воэн («В мир света навсегда они ушли»).

ми сгибы. Это слишком широкая тема, сказал он. Как она её сузит?

Есть два вида метафоры, отвечала Фредерика. Первая строится на сходстве двух чувственно воспринимаемых предметов — как камень на солнце у Вордсворта сравнивается с чудесным морским зверем[207]. Метафора второго вида основана на уподоблении отвлечённого представления — чувственно воспринимаемому: человек, много страдавший, подобен затупившемуся ножу[208], влюблённые души сродни двум ножкам циркуля[209], неисполнимое желание — частица праха, простёртая из рая в ад[210]. У поэтов-метафизиков XVII века были сложности с этим вторым видом метафоры, ведь чувственный мир считался миром падшим, и вот, чтобы описать добродетель и рай, приходилось создавать метафорические сравнения с чем-то сладким или светлым, каким бы двоедушным это ни казалось.

---

[207] Примечания: 207
У. Вордсворт. Решимость и независимость.

[208] Примечания: 208
Дж. Герберт. Страдание (I).

[209] Примечания: 209
Дж. Донн. Прощанье, запрещающее скорбь.

[210] Примечания: 210
Дж. Герберт. Настроение (I).

Где-то здесь и кроется истинное различие между новыми метафорами Мильтона и ветхими метафорами Марвелла. Потом остаётся ещё вопрос с метафорами Боговоплощения: «безмерность в лоне дорогом Твоём»[211] у Донна. Или в «Возвращённом рае» Мильтона, где Христос — *персонаж* и где, как она начала предполагать, весь мир произведения воздвигнут на одном огромном образе — безграничного всепонимания, запертого в границах бренной плоти. С мильтоновским Христом разлад между чувством и мыслью преодолевается, нет больше никакой диссоциации! Возможно. Ей предстоит это выяснить.

Рафаэль строго заметил, что она говорит о работе невообразимой научной сложности, работе всей жизни, к тому же со времени окончания войны докторской степени удостоились авторы только девяти работ по английской словесности. Фредерика отвечала, правда немного лукавя: она и хочет, чтобы это была работа всей жизни, как у Рафаэля, и ведь когда-то должна же быть десятая? Ещё она добавила: она надеется, что Рафаэль согласится руководить её диссертацией.

— Вряд ли, — ответил Рафаэль.

---

[211] Примечания: 211
Дж. Донн. Рождество.

Он поднялся и встал у камина, заложив руки за спину, и улыбнулся, глядя на неё сверху вниз. Он имел привычку улыбаться своим мыслям, когда готовился говорить резко. Улыбался он тогда не смущённо, а смело, как человек, который знает, что сейчас метнёт дротик точно в цель. Фредерика про себя называла эту улыбку ангельской, отчасти потому, что похожее выражение на лице у святого Михаила, который прижимает к земле дьявола на площади Сен-Мишель в Париже.

— Почему ж нет? — спросила она.

— Во-первых, это не моя специализация и не мой период. Тебе нужен теолог.

— От тебя я узнала больше, чем от всех других преподавателей, вместе взятых.

— Вполне возможно. Но от этого тема не становится ко мне ближе. Во-вторых, мы не сойдёмся характерами.

— Неправда! Почему?

— Ты очень своенравная девушка. Ты тяжело будешь принимать и моё руководство, и советы по тексту. Я предпочитаю руководить докторскими работами очень точно и очень конкретно. У англичан в чести филологическая любительщина, им лишь бы пробарахтаться из начала в конец. Хорошие работы можно по пальцам

пересчитать.

— Мне как раз и нужно, чтоб мной управляли.

Рафаэль снова улыбнулся:

— Ты не знаешь, что такое узда.

— Но я считаю тебя мудрым и талантливым. У такого человека поучиться не грех.

— Ты ко мне относишься слишком неравнодушно. А я не желаю испытывать никаких *наложений*, не поддающихся анализу.

Слово это, «наложение», больно кольнуло Фредерику. Она лихорадочно думала, как бы получше ответить. «Ничего, я умею держаться отдельно…» — ответ слабый. А если заявить, что, наоборот, чувство тут ни при чём, что для неё главное — наука, это может быть расценено как своенравие. Слово «своенравный», «своенравие» — Рафаэлевы словечки, в его устах они всегда звучали неодобрительно, причём нередко в случаях весьма неожиданных, когда кто-нибудь просто спокойно делал выбор, на который имел полное право. Ей вспомнилось, как одна знакомая сказала: «Разумеется, женщины постоянно навязываются к Рафаэлю со своими недалёкими идейками». А она ведь и сама пять минут назад протянула ему бланк с обоснованием темы с таким бойким фамильярным видом, будто того

и гляди разляжется у него на диване с голыми ногами, или будто только что вплыла к нему в комнату, как киношная продавщица сигарет с подносом на ремешке, что ловко пропущен между торчащей пышной грудью и оттопыренной попой. Рафаэль поправил воротник пиджака.

— В-третьих, а может, с этого надо было начинать, эта тема мне… внушает отвращение.

— Почему?!

— Я еврей. Еврей, которого воспитали так, что Мильтон мне и дорог и неприятен. Английскому меня учил лютеранский теолог, который считал религиозные взгляды Мильтона вполне приемлемыми, а его поэзию — могучей; он заставлял меня учить наизусть огромные отрывки, а я был ещё слишком мал, чтобы понимать смысл. И всё же, отчасти, я уважаю Мильтона за его замысел, честолюбивый замах. Как говорил Малларме, *tout existe pour aboutir à un livre*[212]. У Мильтона хватило дерзости попытаться переписать саму *изначальную* Книгу. Но при этом — вышло так тяжеловесно, так помпезно и нелепо. Всё, что следовало оставить таинственным и отвлечённым, например что касается Бога и ангельских чинов,

---

[212] Примечания: 212
Всё существует для того, чтобы оказаться в некой книге *(фр.)*.

он сделал ужасно конкретным и упрощённым.

— А я думала… он, наоборот, двигался от конкретики к отвлечённости! «Возвращённый рай» разительно отличается от более раннего «Комоса». От мира, который переполнен *вещами*, Мильтон пришёл к пустыне — аскетизму образов.

— Ну ещё бы. Ведь он знал отменно: не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и так далее[213]. Пуритане были иконоборцами, они уничтожали прекрасные иконы, которые ранняя Церковь собрала в изобилии, — изображения дев, святых и ангелов. Но, как мне видится, христианство само по себе — это одно сплошное бесцеремонное сотворение кумира. Боговоплощение кажется мне абсурдом. Да, ты и впрямь кое-что важное и интересное ухватила — невероятно трудно создать метафору вочеловеченного Христа как *персонажа.* Но уж позволь мне… отнестись здесь с некоторой опаской. По мне, так это и есть самый главный кумир…

Вдруг всё встало для неё на свои места: из-за второй заповеди — не сотвори кумира! — он не

---

[213] Примечания: 213
Исх. 20: 4–6.

сотворяет персонажей, не называет их именами. Из-за страха перед конкретным образом он одержим ускользающим цветком-идеей Малларме!

— Но я же никогда, ни на мгновение, не *верила* дословно…

— Все равно это твоё наследие, христианство, тебе и решать — принимать его или нет. Я-то тут при чём?..

Он заговорил о себе. Их разговоры — те, что складывались, — порою так и происходили. Сперва резко выразит несогласие, потом обмолвится невзначай о чём-то личном — буквально пара слов, с безопасного расстояния. Потом слегка приоткроет к себе дверцу. Он ненавидел, как ей казалось, прямые личные вопросы. (Правда, после интервью она и не осмеливалась их задавать.) Но время от времени он делился с ней кусочками своей жизни, которые она бережно прятала в копилку, в точности запоминала. Как-то однажды он ездил на праздники в Уэльс. Его сёстры читают всё, что он пишет, до единого слова. В детстве он боялся темноты и неоткрытых бутылок. Возможно, это было как-то связано с джиннами (или духами места, в римской мифологии). Сказал так, или это она сама присочинила, про мифологию? Ещё он работает — пишет — с

рассвета до десяти утра. Он терпеть не может Джордж Элиот. И сидр «Мерридаун». Перед нею были кусочки складной картинки… или не сшитые пока лоскутки домашнего одеяла: живые, милые, причудливые, в завитках и узорчиках, не совсем понятные, прихотливо разбросанные. Но ведь есть и другой Рафаэль, царящий в пространстве своих лекций о Малларме, пространстве красочном и сияющем, сложном, дерзко-пышном — и упорядоченном. Что же есть человек? Были ещё образы прикорневой поросли фикуса-баньяна из «Неисследованных краёв», которые его в какой-то степени обнажали; в краснушном бреду они вдруг коварно предстали перед ней в виде разнообразных мужских органов у *юношей в цвету* на воображаемом, в опояску стен комнаты, бумажном фризе. Так что же есть человек? Как нам это узнать?

— Ты мог бы научить меня, как истолковывать религиозное учение.

— Разве я могу передать моё понимание? Это должно быть в крови.

— Но мы же можем просто *говорить* о метафоре как два образованных человека. Мы ведь живём в одном мире.

Он улыбнулся немного благосклоннее:

— Конечно, мы можем говорить о метафорах. Мы и говорим.

— В Ветхом Завете есть метафоры, которые относятся к моей теме. Песнь песней.

— Ах вот как… — сказал Рафаэль.

— Тебе не нравится, — храбро начала Фредерика, — сотворять для вещей образ, давать имена вымышленным людям… Тебя отталкивает идея Боговоплощения… Но… эти метафоры в Песне песней такие конкретные!

— О да, — сказал Рафаэль. — Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твоё — ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои, как два козлёнка, двойни серны[214]. Скорее сравнения, чем метафоры.

Голос его, зачитывая по памяти строки, звенел чисто, ясно, музыкально; ничего педантического в этой манере, лишь щепетильность да лёгкая отчуждённость. На лице, однако, всё ещё поигрывала «ангельская» улыбка.

— Или вот описан мужчина, — продолжал он. — Руки его — золотые кругляки, усаженные топазами; живот его — как изваяние из слоно-

---

[214] Примечания: 214
Песн. 7: 3–4.

вой кости, обложенное сапфирами. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях; вид его подобен Ливану, величествен, как кедры[215].

Как чужды, подумала Фредерика испуганно, как чужды нам в своём чеканном великолепии эти сравнения. От «браслета волос на костяном запястье» мурашки бежали у неё по коже; странным холодком протянуло между лопаток и теперь — от этого незнакомого и потому опасного словесного чародейства.

— Мне нравятся простые строки между этими яркими конкретными сравнениями, — сказала она. — Как прекрасны ноги твои в сандалиях[216]. И — большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её. Если бы кто давал всё богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением[217]. Рафаэль… неужели это стихи тоже о Боге? Я всегда думала, что это о любви плотской, но теперь мне кажется…

— Ну конечно это о Боге! О невообразимой

---

[215] Примечания: 215
Песн. 5: 14–15.

[216] Примечания: 216
Песн. 7: 2.

[217] Примечания: 217
Песн. 8: 7.

любви и радости за гранью человеческого восприятия. Этот текст неминуемо окажется в центре твоей диссертации.

Его слова повисли в воздухе; живот-изваяние из слоновой кости абсурдно и пугающе засиял среди пенисных кущ, под сенью юношей. Изнемогаю от любви?[218] — думала Фредерика, и в то же время: среди всех этих минералов, всего этого животного изобилия и умножения (ну надо же: зубы как овцы, выходящие из купальни, у каждой по паре ягнят[219]) — уже и невозможно вообразить что-то на собственный манер! Она посмотрела на Рафаэля и рассмеялась.

— Для моего восприятия это слишком чуже-странно, слишком чувственно и притом, одновременно, слишком *холодно*, — призналась она.

— Для моего тоже, — согласился он, будто бы с грустью. — Мне больше нравятся смутные отголоски этих образов в видениях и миражах Малларме…

— Рафаэль, я… Я не пытаюсь навязываться… Я

---

[218] Примечания: 218

Песн. 2: 5.

[219] Примечания: 219

Песн. 4: 2: «Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними».

просто хочу…

— О, я знаю. — Он направился к ней, осиянный золотом и слоновой костью, среди мирровых пучков и цветников ароматных[220], в нежном, юном шёлковом облачке… Худой, темноволосый, в очень чистом, мягко сияющем вельветовом пиджаке. Подошёл и положил руку ей на плечо. — Я знаю. Ты просто хочешь *всё*! Ты бесподобная девушка, Фредерика.

— Но ты будешь хотя бы просто *разговаривать* со мной о диссертации?

Тень озабоченности вдруг пропала с его лица.

— Почему бы и нет? — сказал он почти весело. — Вряд ли мне удастся от тебя отвертеться. Будем сидеть рядышком год за годом, в уютном молчании, в читальном зале Андерсона, время от времени заведём спор на богословские или эстетические темы…

— Ты всегда можешь меня прогнать, если станет со мной скучно.

— Ну, такого не может случиться. — Рафаэль легонько коснулся губами её лба. — Что-что, а скучно с тобой не бывает. Но учти, я существо

---

[220] Примечания: 220

Песн. 1: 12: «Мирровый пучок — возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает». 5: 13: «Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений…»

очень пугливое. За границами моей крохотной естественной среды.

— Я хочу быть её частью.

— А разве ты уже не её часть? Сидишь у меня на диване, попиваешь моё вино, обсуждаешь со мной мои мысли. Выпей ещё бокальчик, а потом беги, нам обоим нужно поработать.

Найджел Ривер ворвался к ней, как венгерские всадники; плечи его почти зримо одевал воздух внешнего мира: не плащ-невидимка, а плащ-видимка! В день, когда он явился, Фредерика была прикована к постели. Она лежала под грудой одеял, свернувшись калачиком от известной напасти; сверху на ней был синий с бирюзовым отливом свитер, а ниже пояса — только трусы с прокладкой. Полоса злой боли, словно ножиком полоснули — по низу живота, по лобковой кости, а ещё нестерпимее хватает поясницу и тут же крутит спазмом в голове. В комнате царил кавардак: на стульях, на полу, на столе — опальные предметы одежды, раскрытые книжки, немытая посуда. Она пыталась читать — Пруста, Расина и Платона вперемежку, — вереницы слов цеплялись за накатывающие волны боли, будто полоски липучки за ответную, пришитую к простыне часть. Из прежнего опыта Фредерика

знала, что в этих обстоятельствах сосредоточиться можно, но как бы вспышками. Абзацы трёх книг сейчас начали переплетаться непостижимо удачным образом: вот мадам Берма играет Федру на фоне сине-зелёных морских декораций[221], и тут же сама Федра у Расина произносит речи о солнечном, жгучем огне в своей крови, об опостылевшем вдруг настоящем свете за шторами, и тут же раздаётся голос Сократа — платоновский миф о пещере, где тоже есть огонь, светит узникам в спины! И внизу живота у неё полыхает огонь, кровь там бурлит, закипает, вырывается наружу горячими сгустками. Над столом в окне раскачивались, кружились на невидимых ниточках стилизованные геометрические рыбки, изделие и подарок Мариуса Мочигембы…

Найджел постучался, и вошёл, и сказал:

— Эге, да у тебя тут как в теплице!

— Мне нездоровится. Когда мне плохо, мне нравится жариться, так комфортнее. Я тебя не ждала.

— Естественно. Я же был в Танжере. Вот вернулся, решил тебя повидать. Подумал, вдруг ты случайно на месте.

---

[221] Примечания: 221

М. Пруст, известная сцена романа «У Германтов».

— Я должна была пойти на встречу с куратором. Но я чувствую себя *отвратительно*. Ты застал меня только потому, что я умираю.

— От чего же?

— От месячных, — ответила Фредерика, всегда верившая, что надо называть вещи своими именами.

— Ну, это штука естественная, не должно болеть.

— Тебе-то откуда знать? Иногда болит, иногда — нет. В этот раз — адски.

— Где? — спросил Найджел, направляясь к ней через комнату.

На нём было длинное, солидное пальто из верблюжьей шерсти, в Кембридже таких не носили; на мгновение ей в этом наряде почудилось что-то пошловатое, хотя вещь дорогая и без вычур. Фредерика была в замешательстве. Какому-нибудь Алану, или Тони, или Мариусу, или даже Хью Роузу она бы предложила сесть рядом и поутешать её, или велела бы им не смущаться, сварить себе кофе, или просто идти на все четыре стороны. Но с Найджелом Ривером она была недостаточно знакома и никак не могла взять в толк его намерений. Уже к третьему году пребывания в Кембридже она стала догадываться, что жить

воображаемыми чувствами умеют не только женщины. Мужчины тоже мечтают и, более того, готовы уверовать, что с кем-то у них особые отношения, взаимопонимание, душевно-интеллектуальное родство, уверовать на достаточно хрупких основаниях, например лишь оттого, что кто-то оказался рядом в минуту откровенности. Детский обмен записками на лекции о Малларме — влюблённость готова. Если же ты с кем-то на прощание поцеловалась, по доброте и под хмельком, в благодарность за проводы из гостей, то могут последовать ещё более смелые выводы. Но вот как функционируют такие мужчины, как Найджел Ривер, она не знала. Это была новая для неё категория. Вероятно, подобные молодые люди в изобилии водятся в тех местах, о которых она не ведает или имеет смутное представление, в графствах, окружающих Лондон, или в центральных английских графствах; их немало, быть может, в армейских штабах, в лондонском Сити… Но все её нынешние знакомцы были кембриджские мужчины; кто-то из них чувствовал себя в университетской жизни как рыба в воде, кто-то едва для неё годился — но все носили её отпечаток.

— Где больно? — невозмутимо переспросил он,

подходя ближе.

— Везде. Внизу — весь живот, а ещё вся спина вместе с шеей прямо до головы. Ужасно себя чувствую. На твоём месте я б лучше поехала домой.

— Ну уж нет, я в такую даль приехал, чтоб тебя повидать. Я много разной боли могу вылечить. У меня хорошие руки. Давай попробую.

Он снял пальто и бережно повесил на крючок на двери. Под пальто у него была красная водолазка и чёрные коверкотовые брюки с мелкой светлой крапинкой. Он был широкоплеч, плотен, мускулист.

— Ну, давай? — Он протянул руки вперёд.

— Нет!

Она боялась. Не хотела, чтобы он приближался — к сладкому запаху крови, к смятым простыням, растрёпанным волосам, потной подушке. Она чувствовала себя русалкой, в своём полуодетом виде, это жаркое одеяло — как хвост, из которого могут выпростаться холодные голые ноги.

— Говорю же, нет, — ещё раз повторила она.

Он лишь улыбнулся, но не остановился. Улыбка была сумрачной, неширокой и чуть надменной, словно слово «нет» — не в счёт, могла б не трудиться его произносить. Он осторожно, ничего не сдвинув, переступил через её завалы, убрал

Пруста и Расина с подушки, присел у её плеча.

— Перевернись-ка на живот.

— Зачем?..

— Ну давай. Будь умницей.

Сказал, как будто она лошадь или овца, которая вот-вот оягнится. Она перевернулась. Кровь стукнула в виски. На мгновение прикрыла глаза. Найджел сложил руки вместе, потом, не разделяя запястий, развёл ладони в стороны — и чутко прильнул пальцами к её лопаткам, как какой-нибудь древний водоискатель.

— Не зажимайся так. Ну у тебя тут и узел! А ты ещё сильнее напрягаешь. Дай мне его разгладить. Расслабься.

У него и впрямь были хорошие руки. Фредерике в жизни не делали такой массаж. Он будто собрал всю сложную мышечную и нервную ткань с её узких плеч, размял, разгладил пальцами да и поместил обратно в неведомые тёплые футлярчики — всё снова благополучно соединилось друг с другом, в плечах сделалось мягко, благодатно, тепло.

— Неужели ты читаешь все эти книжки одновременно? — спросил он.

— Конечно. У меня через несколько месяцев экзамен на степень бакалавра с отличием. Я почти

уже приготовилась. Сдам как надо.

— А что потом?

Тёплое равномерное трение его пальцев о кожу, теперь шейные позвонки. В голову пришёл, машинально, самый ожидаемый ответ, и тогда она задумалась — хочется ли ей этого? Она закрыла глаза.

— Не знаю. Иногда думаю, что останусь здесь. Напишу докторскую. Тему уже выбрала. Подала документы. А ещё послала несколько статей в журнал «Вог», там конкурс проводят. Но это просто так, из интереса.

— Ну а в итоге ты чего хочешь?

— Не знаю, — ответила она. Никак не выговаривался тот ответ — «замуж»; не хотелось (а может, скорее, не получалось) вообразить себе без замужества убедительное будущее… — Ты просто чудеса творишь. Я даже не знала, что такое возможно…

— Что именно?

— Вот так вот избавиться от боли.

— Надо бы пройти и пониже лопаток, весь позвоночник.

— Ну нет.

— Собственно, почему?

— Нет, и всё тут.

— А может быть, да?

— Там всё потное. К тому же я не одета. Мне…

— Можно подумать, я ни разу не видел женщин. Меня интересует только твоя *спина*. В данном случае. Я многому научился у одного знакомого коновала. Он лошадке, бывало, проработает весь хребет, и делается это… примерно следующим образом… — Говоря так, Найджел аккуратно завернул простыню вниз. — Осторожно расслабляем все позвонки, а потом ребром ладони… — он взмахнул рукой в воздухе, показывая движение, но её спины не касаясь, — вот так постукнем… и глядишь, старая кобылка аж вздохнёт от облегчения. Щёлк, щёлк, все позвоночки-то и вправились. Давай, пока я не передумал!

— Я потная.

— Это не беда.

Он принялся за дело. Фредерика расслабилась, молчала. Ей чудилось, она источает жар — кожей, плотью, косточками.

Найджел сказал:

— Я бы на твоём месте здесь не оставался. Сколько учиться-то можно? Чего ты желаешь вообще от жизни? Тебе же, наверное, захочется замуж.

— Не знаю.

— Странно будет, если не захочется.

— Это моё дело. Может, за преподавателя выйду и останусь здесь.

— А как же настоящая жизнь?

— Эта тоже настоящая. Не менее настоящая, чем везде.

Руки у него уже сделались горячими и сухими. Он снова заговорил:

— Я был в Танжере у дяди. Он знал, что надвигается этот конфликт вокруг Суэцкого канала, — у него есть друзья в Израиле, а ещё в Иране, Омане, Египте. И обстряпал всё по-умному — зная, что Насер закроет Суэцкий канал. Успел продать целую флотилию мелких торговых судёнышек, которые ходили у него на подхвате в Персидском заливе. Да и на фондовой бирже куш сорвал. Он у нас почти как старый пират, дядя Хьюберт. Живёт в Танжере в роскоши. Отец сделал его распорядителем наших денег, и сестёр и моих, и он о нас заботится, на свой особый и забавный лад. Но дом — мой. Мне нужна будет жена, чтоб занималась этим домом.

— А может, ей не захочется за тебя выходить ради твоего дома.

— Жениться я буду не ради дома. А ради себя. Я знаю, чего хочу.

— И чего же? — лениво спросила она, убаю-

канная и *расправленная*; вся тросточка острых позвонков сделалась гибкая и живая.

— Я хочу женщину, которая была бы — самое главное — *не скучной*. Конечно, ещё она должна быть привлекательной, и ласковой, и доброй, но таких много. Просто многие из них при этом *скучные*.

— Может, им просто скучно с тобой?

— Возможно. Но не в этом суть. Ты-то как раз и не поймёшь, о чём я толкую. Тебе ж никогда не бывает скучно, и другим людям не скучно с тобой. По-моему, ты бы везде нашла себе дело по душе. Я прав?

Да, везде. Но не в Блесфорде.

— Конечно нашла бы. Из принципа.

— Так я и думал.

Она хотела сказать: не выйду за тебя, за тебя и твой дом, даже не надейся. Но он и не делал ей предложения, лишь говорил — гадательно — о том, что скука — не про неё; значит и думает об этом гадательно. Замуж он её не зовёт. И кстати, даже не объяснил ни почему запропал надолго, ни почему явился в такой уверенности, что его рады будут видеть.

— Ну вот, теперь тебе лучше, — сказал он ей, и она кротко согласилась, ведь и впрямь лучше.

Он предложил ей всё-таки встать и поехать с ним прокатиться куда-нибудь, подальше от Кембриджа. И на это она согласилась — в основном из-за машины, стремительно летящей, из-за возможности пересечь невидимый рубеж между внутренним садом и внешним миром. Благодаря своей невзгоде она чувствовала себя от Найджела в безопасности, хотя и в близости — жар его кончиков пальцев, казалось, ещё не остыл.

Они снова отправились в Или, в поездку по тому самому настоящему миру, который в здешней своей части состоял из сетки узких прямых дорог, прокинувшихся по насыпям, вдоль же насыпей была взрытая болотистая чёрная-пречёрная земля да дренажные канавы с их тёмным блеском воды. Реальность эта была тонкой и непотревоженной, одна и та же из деревни в деревню — везде обнищавшие домики у железнодорожных переездов, с общей бетонной дорогой, которая как заброшенная взлётная полоса. Эти деревеньки носили названия вроде «Ивовый лог», то есть имя у них живописнее и зеленее, чем все эти окрестности.

Когда вдалеке показалась возвышенность Или, Найджел вдруг заговорил о Хереварде (до этого в основном молчал).

— Здесь всё кажется меньше, чем я себе представлял в детстве, когда читал «Хереварда Бдительного»[222]. Знаешь, я прямо жил этой книгой. Потрясающая вещь. Хереварда, воин-берсерк. Сокрушитель черепов. Морской пират, лесной разбойник.

Он остановил машину. Уже почти стемнело; они смотрели вперёд на серую дорогу, на коричневую насыпь, поросшую папоротником и ежевикой, на таинственную чёрную воду. Она подумала, что, наверное, сейчас он попробует её поцеловать, но он сказал:

— Смотри.

Круглая и мягкая, грузная на вид, но лёгкая в бесшумном лёте, крупная белая птица медленно поднялась откуда-то в воздух и перевалила через насыпь.

— Это ещё не всё, — заверил Найджел.

Послышался сипловатый низкий звук, затем сдавленный дребезжащий крик, и вторая птица, которая на фоне меркнущего неба показалась уже кремовой, уплыла вслед за первой.

---

[222] Примечания: 222

Ч. Кингсли. Хереварда Бдительный, последний из англичан (1866). Хереварда — вождь народного англосаксонского сопротивления в период Нормандского завоевания Англии; согласно преданиям, возглавлял последний оплот англосаксов у Или.

— Амбарные совы, они же сипухи, — сказал Найджел. — Мне нравятся их короткие толстые кургузые хвосты и как они вертят своей большой головой, будто кривляются. Гилберт Уайт[223] описывает, какие у них на крыльях мягкие и гибкие перья — это чтоб сопротивление воздуха было меньше, когда они пикируют на добычу. Вот он-то точно отличный писатель! Я читал его книги в нашей домашней библиотеке. Ещё хорошо пишет священник Килверт, да Уильям Генри Хадсон[224]. Вот в таких книгах, на мой взгляд, есть смысл. Благодаря им лучше узнаёшь мир. Читала Хадсона?

— Нет.

— А зря, почитай. Слушай, я знаю первоклассную гостиницу в Хантингдоне. Поужинаешь там со мной?

— Неплохая мысль.

— У них прекрасная запечённая утка, не жирная, с хрустящей корочкой. И пирог с олениной. Если ты, конечно, голодная.

---

[223] Примечания: 223

Гилберт Уайт (1720–1793) — английский исследователь, священник-натуралист, орнитолог.

[224] Примечания: 224

Роберт Фрэнсис Килверт (1840–1879) — английский священник, автор дневников, описывающих сельскую жизнь. *Уильям Генри Хадсон* (1841–1922) — писатель, натуралист и орнитолог.

— Вообще-то, я должна быть вечером у кого-то на дне рождения в колледже Гонвилл-энд-Киз[225].

— Но тебе ж было плохо. Если б я тебя не исцелил, ты бы никуда не смогла двинуться.

— Тоже верно.

Гостиница и впрямь была хороша. Отведав на ужин вкусных английских блюд, потягивая бренди у пылающего камина в зале, где стены отделаны панелями старинного дерева, Фредерика почувствовала расположение к Найджелу Риверу. Он подарил ей день во внешнем мире, поправил спину, показал занятных сов и напомнил о том, как читались любимые книги в детстве. Ей живо представился задумчивый, сосредоточенный мальчик: вот он входит в библиотеку с такими же стенами в дубовых панелях, берёт книжку, садится на широкий сидячий подоконник, смотрит на просторную лужайку, на древний ров за ней. Потаённый в себе, молчаливый мальчик с живым воображением…

— Какая книга была у тебя любимая? — спросила она. — В твоей домашней библиотеке.

— Ты надо мной смеёшься?

---

[225] Примечания: 225
Один из старейших и богатейших колледжей Кембриджа.

— Нет, с чего ты взял?

— У тебя снисходительный, *добренький* тон. Я этого не люблю.

— Тебе показалось. Я просто вспомнила, как сама читала в детстве про Ланселота, а ещё «Пака с холмов» Киплинга, «Сказания Асгарда»…

— А Толкина читала? — спросил Найджел. — Толкин гений. На мой взгляд.

Толкина Фредерика не читала. Рафаэль как-то обмолвился, что это «никудышный прозаик»; Тони Уотсон считал, что взгляды этого писателя на развитие общества сводятся к упрощённым представлениям о добре и зле, в духе вагнеровских «Нибелунгов», а ещё там присутствует деление на господствующие и низшие расы, изображается в идеализированном виде английская сельская старина, радостные, выдуманные крестьяне. Найджел Ривер откинулся в кресле — на смуглом лице его заплясали огненные блики очага — и сказал, что, по его мнению, книги Толкина живые, как «Пак», потому что в них — настоящие сюжеты, о добре и зле, сражения на фоне величественной природы, никаких машин и механизмов, никакой политики и секса.

— Читая их, чувствуешь себя чище, — подытожил он. — Теперь можешь смеяться.

— С чего мне смеяться?

— Я как-то сказал одной девушке из Оксфорда, что считаю Толкина замечательным писателем, а она давай хохотать как ненормальная. Сказала, я безнадёжен. И сразу мне от ворот поворот.

— Тебе какая-то неправильная студентка Оксфорда попалась, — ответила Фредерика. — Они там все в основном уважают Толкина. Он ведь оксфордский профессор.

Слова о девушке из Оксфорда её заинтриговали. Скольких девушек в скольких гостиницах вот так же угощал он ужином, обсуждал с ними «Пака с холмов»? А между тем его итоговое рассуждение о Толкине — вполне проницательное, отнюдь не обывательское. Действительно, можно испытать острую, свежую радость от повествования, где люди за что-то сражаются, чего-то хотят, и при этом никакой тебе политики, секса, никаких машин и механизмов. Она исподтишка внимательно посмотрела на Найджела Ривера и обнаружила, что он и сам глядит на неё лукаво, словно что-то прикидывает. Найджел чем-то напоминал киплинговского эльфа Пака: тёмный, широкоплечий и коренастый, с большими ушами; в его английской практичности мерещилось что-то хитроватое, усмешливое и уклончивое. По

дороге обратно в Кембридж она задумалась о его имени. Имя Найджел ей поначалу не понравилось — так обычно звали прилежных мальчиков из почтенных семей, Фредерику такие мальчики не жаловали; у них ещё обязательно должны быть сёстры по имени Патрисия, Джиллиан или Джилл. Теперь всё вдруг представилось ей иначе: не из Вальтера ли Скотта это имя? Да и фамилия — Ривер — очень подходит для пирата или пограничного разбойника… Вордсворт же собирался назвать Риверами шайку разбойников в «Жителях пограничья»[226], разве нет?

— А фамилия твоего дяди тоже Ривер? — спросила она, чуть сонная от бренди.

— Да. А что?

— Ты говорил, он как пират. Всё у вас прямо-таки херевардское получается…

— Не совсем понимаю, о чём ты.

Найджел огромно маячил рядом в верблюжьем пальто, руки в кожаных перчатках уверенно сжимали руль.

Когда подъехали к Ньюнэму, он остановился в освещённом месте, повернулся к ней и сказал:

---

[226] Примечания: 226

Трагедия У. Вордсворта о жителях англо-шотландского пограничья, которые учиняли в XIII–XVI вв. разбойничьи набеги по обе стороны границы.

— Ну, что?..

Она не стала отодвигаться. Но ей вдруг стало немного страшно. Он потянулся к ней уверенно и твёрдо. Запах его щеки был тёплый и сухой, чем-то знакомый: хороший запах, не её собственный, но и не чужой.

— Не люблю разводить всякие поцелуи, — сказал он. — Но с тобой, однако…

Этот поцелуй — долгий — ещё больше испугал Фредерику. Почему так получилось, она не знала; в действительности же дело было в том, что за всё время приключений в Кембридже её ни разу не посетило настоящее желание, был лишь голод её собственной плоти (что бы она там порой себе ни воображала, как бы себя ни обманывала). Что же это делается? — спросила она себя. В руках и коленях она чувствовала непонятную слабость. Подумала, лучше пойти к себе в комнату, потом поняла, что на самом деле хочет, чтоб он обнял, прижал её к себе, пусть даже в своём несуразном толстом облачении. Он продолжал сидеть, не шевелясь, потом сказал:

— Ну так что?..

— Что «что»?

— В смысле, что дальше?

— Дальше?

— Ну да.

— Я не понимаю, о чём ты.

— Тебе разве не пора? — спросил он возмутительно невозмутимо.

Фредерика тут же гордо выбралась из машины. Когда обходила передний капот, он позвал:

— Подойди сюда, пожалуйста.

Она подошла к его окошку.

— Не надо кукситься. Мы отлично провели день, правда?

— Правда.

— Я обязательно ещё приеду.

Она не стала спрашивать когда.

— Ну, поцелуй меня на прощание, — сказал он.

Невыносимо хотелось ещё раз к нему прикоснуться. Она нагнулась, и они поцеловались, довольно чинно, через опущенное стекло машины.

— Я обязательно ещё приеду, — повторил он.

Она поплелась ко входу в колледж, сама не своя от странных, смутных ощущений и мыслей.

Персонажи книг — создания вымышленные, гадательные. То же можно сказать и о небольшой стопочке карточек-приглашений, сложенных на каминной полке в каждой кембриджской комнате. Если их просмотреть, то из будущего времени,

которое само по себе носит характер вымышленности (в следующую субботу, в пятницу через неделю, в среду в восемь), мы переместимся в нереальное прошлое, в категорию «могло бы, да не случилось». Взять хотя бы сборище в колледже Гонвилл-энд-Киз (по случаю двадцатиоднолетия некого Джереми Лода) — Фредерика на него не попала, так как отправилась с Найджелом Ривером в Или и Хантингдон. Ну а вот серьёзная встреча, под эгидой Клуба литературной критики, проходившая в комнатах Харви Органа, там обсуждали книгу Уильяма Эмпсона «Семь разновидностей неоднозначного»[227], — и сюда она не пошла, поскольку в тот вечер советовалась о теме своей докторской с Рафаэлем Фабером. Ещё карточка, на которой в стиле шаржа изображены трое: элегантный длинноволосый поэт с пером, ссутуленный журналист в очках и некто третий, непонятный, нахохленный, в дождевике с капюшоном, и текст приглашения, голубые стилизованные буквы, вроде мазков, — музыкальный вечер у трёх студентов английского отделения, которых она про себя называла *la petite bande*, маленькая шайка… Перебирая все

[227] Примечания: 227

«Seven types of ambiguity» (1930), одна из самых известных западных работ XX в., сыгравшая важную роль в становлении «новой критики».

эти карточки, отправляя под низ стопки, под спуд утраченное прошлое, *paradis perdu*, потерянный рай, вглядываясь в будущее с надеждою и тревогой, Фредерика всё-таки задумалась: что же ценного она могла пропустить в этом прошлом — очередной разговор с Харви о слове «образ», песни под гитару, похмелье, какое-нибудь новое знакомство?.. Лишь по чистой случайности, пишет Форстер в «Самом долгом путешествии», Рики не испытал отвращения, узрев, как Агнес и её любовник слились в объятиях. Но о том, что это случайность, судит не Рики, а Форстер. Ибо не герой, а романист предполагает, располагает и судит в своём романе. Вот и я сообщаю вам о том, что исключительно по чистой случайности Фредерике не удалось познакомиться с Ральфом Темпестом — ни на дне рождения у Джереми Лода, ни на вечере критики у Харви, ни на посиделках у Майка, Тони и Джолиона в прокуренной комнате с расклеенными на стенах шуточными жизненными девизами. Кто ж такой был этот Ральф Темпест? Ральф Темпест был застенчивый и глубокий парень. Разговоры давались ему нелегко, но, когда он всё же заговаривал, ему было что сказать. Он, подобно Фредерике, никак не мог взять в толк, оставаться в университете или

выбраться в большой мир; со временем он найдёт способ это соединить — будет преподавать и, в целях исследований, путешествовать. Он был антрополог, он умел лаконично выражать свои мысли, на досуге читал стихи. У него была интересная, неопределённая форма рта, но уже через пару лет этот рот станет твёрдым, решительным, сохранив, впрочем, толику мягкости, доброты. А ещё Ральф наделён был острым умом, который рождал незаурядные мысли, но делился он ими в 1957 году только со старым школьным приятелем в обширной переписке. (Он успел поучиться — благодаря счастливым стипендиям да причудам карьеры отца, из армии в рекламу, из рекламы в церковные сферы, — в престижной Манчестерской гимназии для мальчиков, потом — в Итонском колледже.) Ральф мало знал о сексе, не осмелился бы прикоснуться к Фредерике (он был для неё в тот момент слишком юн), но ему предстояло многому научиться в Триполи с плачущей женой профессора антропологии, которую ему суждено будет любить — коротко, нежно и безнадёжно. Он бы сделал Фредерику счастливой, с ним она сохранила бы свою внутреннюю свободу. Вот он задумчиво молчалив на встрече критиков у Харви Органа; вот танцует,

грациозный в своей неловкости, с одержимой венгерскими беженцами Белиндой, кузиной Фредди, на вечере Джереми Лода; а потом обнимает за талию, на кровати Майка Оукли в колледже Христа, девушку в платье тёмно-сине-зелёной парчи, с намечающимся вторым подбородком. Эта девушка, как и Фредерика, сочиняет эссе об образах крови и света в «Федре», но она не читала Пруста (не читал его и Ральф Темпест), и у неё есть свои собственные причины не оставаться в Кембридже писать докторскую диссертацию.

27
Имена злаков

В начале лета 1957 года Маркус сдавал выпускные экзамены, дававшие право поступления в университет, по следующим четырём предметам — математике, углублённой математике, химии и ботанике. (Столь причудливый набор, без биологии, отчасти был продиктован нежеланием Маркуса препарировать плоть. Но дело было ещё и в другом: руководство школы для мальчиков, обрадовавшись, что Маркус хоть чем-то увлёкся, придумало определить его в женскую школу, в класс с дополнительным изучением ботаники; это должно было утешить Билла и вернуть Маркуса в русло нормальности. В этом классе была Жаклин, но не Руфь.) В это же лето Фредерика сдавала выпускные экзамены в Кембридже; она писала в специальных тетрадях отличные экзаменационные работы со множеством ссылок и цитат, отвечая на вопросы о трагедии, литератур-

ной критике, Данте и английских моралистах[228] (к которым в то время почему-то относили ещё и Платона, Аристотеля, Блаженного Августина и, кусочками, Канта). Стефани заметила, что пятно на лбу у Мэри определённо побледнело и уже совсем не выпуклое. В трёхлетнем Уильяме проснулась страсть к книгам. Он знал алфавит и, когда проезжал на автобусе или в детском креслице маминого велосипеда мимо рекламных щитов, громко называл буквы, которые видел. «У» — это я, «С» — это мама, «п» — «папа», «М» — «Мэри». Стефани ему много читала — сказки братьев Гримм, английские народные сказки и потешки, баллады и волшебные заклинания. Телевизора в доме не было, соответственно, персонажи детских передач — вроде встающего на дыбки мула Кексика или двух человечков, Билла и Бена, сделанных из цветочных горшков, — здесь не водились. Зато Уильям питал привязанность к проказливому средневековому домовому по прозвищу Коричневый Шуршунчик родом из королевства Восточная Англия, да к ужасному морскому коню Наклáви с шотландских Оркней-

[228] Примечания: 228

Философы, которые формировали новую концепцию морали в рамках этики, не опирающейся на религиозные догмы (Ричард Камберленд, Фрэнсис Хатчисон, Энтони Эшли Купер и др.).

ских островов — скорее всего, благодаря особой ритмичности имён этих созданий. В сказках и стишках Уильяму очень нравились бесконечные повторы (у Дэниела же часто не хватало терпения их полностью зачитывать вслух). Красная Курочка всё спрашивает и спрашивает: кто поможет ей зернышки сажать, кто поможет ростки поливать, потом пшеницу жать, на мельницу носить, хлеб выпекать, — и несколько записных лентяев раз за разом, по очереди отказывают ей в помощи в совершенно одинаковых выражениях… Цыплёнок Цыпа без конца пересказывает разным легковерным встречным птицам и животным, как на него небо упало… Три поросёнка или три принца скачут по трём дорогам с тремя помощными зверями в три замка, чтобы победить трёх великанов и забрать с собой трёх невест разной степени красоты и добродетельности, которые в разной степени преуспели в ткачестве, а ведь надобно-то, шутка ль, выткать такую тонкую шёлковую ткань, чтоб проделась сквозь золотое колечко, или пуще того — суметь наткать из соломы золота!..

Сдавая выпускной экзамен по ботанике, Маркус впервые в жизни почувствовал довольство собой. Он написал исчерпывающий ответ на главный

вопрос билета: «Половое устройство и особенности размножения растений» — и перешёл к дополнительному вопросу, который выбрал для углублённого самостоятельного изучения, — «Семейство злаки». То, что в мире существует огромное разнообразие половых форм и полового поведения растений, гораздо больше помогло Маркусу отвлечься от предположения о своей гомосексуальности, чем всё, что когда-либо говорил или заставлял его самого сказать психиатр Ройс. (И конечно, это было не оттого, что Маркус наделял растения человеческими качествами; просто они были ему интересны, а активный, осознанный интерес к чему-то, в сущности к чему угодно, ведёт к морально-нравственному спокойствию.) Когда он писал в ответе об однодомных и двудомных деревьях, о необычайно хитром имитационном приспособлении офрис пчелоносной, он был совершенно умиротворён.

Охарактеризовал он и гермафродитные цветы, классифицируя их в соответствии с затейливыми способами, которыми они предотвращают самоопыление; приветствуется оно только в самом крайнем случае — лучше самооплодотворённое семя, чем никакое. Упомянул интересное поведение кобеи лазающей (вживую он это создание

никогда не видел): обычно растение опыляют летучие мыши, но если этого не происходит, то перед тем, как венчик опадает, оно оплодотворяет себя само последним содроганием тычинок. Ещё он описал клейстогамию — способ самоопыления цветов, которые никогда не раскрываются и «сочетаются закрытыми», — даже набросал бледные, но чёткие схемы. В Англии таким образом самооплодотворяются фиалка и кислица, если появляются в лесу слишком поздно и до них не доходит солнечный свет и не добираются опылители.

Когда он перечислял злаки поимённо и указывал, чем они друг от друга отличаются, он испытывал удовольствие, дополнявшее радость математики. Сколько он себя помнил, называние трав и вообще растений всегда было частью его жизни. Уинифред научила его, как называются наиболее распространённые полевые цветы; переносимая ветром пыльца злаков попадала на слизистую носа и горла и раздражала её; от этого непрошеного вторжения воспалённая плоть выделяла влагу, содрогалась и саднила. Теперь же он знал имена злаков, умел их классифицировать, мог ясно представить. Злаковые имеют «цветки либо с тычинками и пестиками, либо только с

тычинками или же только пестиками; могут быть и бесполые цветки, то есть без тычинок и пестиков; один, два или более цветков заключены в две плёнки или оболочки, именуемые чешуями, и образуют колосок». «Стебель злаков часто называют „соломина“; он имеет цилиндрическую или близкую к цилиндру форму (ни в коем случае не треугольное сечение), внутри полый, имеет узлы…»

Отчего написание таких текстов может приносить глубокое удовлетворение? Или даже ещё более простых, какие создавал Маркус, — списков, снабжённых рисунками:

Alopecurus — лисохвост;
Phalaris — канареечник;
Phleum — тимофеевка;
Lagurus — зайцехвост;
Milium — бор;
Gastridium — пузатик;
Polypogon — многобородник;
Aira — айра;
Arrhenatherum — райграс;
Hierochloe — зубровка;
Panicum — просо;
Poa — мятлик луговой;

Briza — трясунка;
Cynosurus — гребенник;
Triticum — пшеница;
Lolium — плевел;
Anthoxanthum — душистый колосок.

Этим летом мир вообразился Маркусу в виде сферы, не только опутанной огромной сеткой корней и текущих вод, не только отмеченной зыбучими песками и высокими горами, но и окружённой некой человеческой любовью; любовь эта не присваивала, не поглощала, даже не очеловечивала, а просто *называла* все многообразные вещи, открытые взору, чтобы можно было ещё яснее их разглядеть. Маркус лежал ночью в постели и видел этот шар, испещрённый бессчётным множеством сверкающих точек-*имён*; и видел себя, как идёт он всё дальше и дальше вглубь цветущего летнего луга. Этот луг — не море страшного, нерасчленённого света, и не место, где можно уговорить Руфь полежать с ним рядышком на траве, и не препятствие на пути, которое нужно преодолеть, а просто луг, луг сам по себе, со всеми полыми стеблями обретших имена злаков, что блестят переливчато в своей отдельной уникальности: *poa, panicum, arrhenatherum, anthoxanthum,*

phalaris. В этот миг он совершенно не понял бы экзистенциального ужаса Жана Поля Сартра перед бесформенной инакостью корня каштана; в своём умонастроении, в своём возрасте он ни за что бы не согласился с сартровским ощущением, что материя, дескать, ускользает от попыток её назвать, выпячивается за пределы имени, становится всепоглощающей, и поэтому бесполезно утверждать, что небо голубое, бесполезно считать каштаны и отличать их от платанов. Геометрия теперь жила для Маркуса в самом составе вещей: и в его сознании, и в стеблях злаков, цилиндрических (ни в коем случае не треугольного сечения). Было время, когда он едва спасался от ужаса при виде взрытой земли в игровом Дальнем поле, которое превращалось в смертоносное минное поле под Пашендейлем[229], — тогда он мысленно чертил спасительные проходы, соединяя старые, чуть живые меловые разметки со створками ворот. Теперь же он думал: маки растут на полях Фландрии так пышно и в таких больших количествах, может быть, потому, что в изрытой минами и снарядами земле семена больше подвержены воздействию солнечного света.

---

[229] Примечания: 229

Деревня в Западной Фландрии, близ которой произошло одно из крупнейших сражений Первой мировой войны — битва при Пашендейле.

Когда я начинала писать эту книгу, я задумала её как роман, *точно всё именующий*. Я хотела сочинять так, как, по мнению поэта У. К. Уильямса, должны слагаться стихи: «Не из идей слагайте — из самих вещей»[230]. Я даже думала попробовать писать без фигур речи, но от этого плана пришлось отказаться уже на начальном этапе. Хотя можно было попытаться называть вещи, не прибегая к метафоре, описывать просто и ясно, распределять по категориям, отличая один образчик от другого, вот *arrhenatherum*, а вот *les jeunes gens en fleur*. В этой гипотетической книге был бы упор на имена существительные, на называние как таковое, и, кроме того, думается, на прилагательные — эти никем не жалуемые классификаторы. В пору своих письменных экзаменов Маркус пребывал в таком состоянии, что его приводили в восторг не слияния зрительных образов, а ясные, отчётливые мысли. Ему нравилось перечислять *видовые* признаки, то есть признаки представителей определённого *вида*. А в мире Фредерики и её экзаменов всё было иначе. Она затейливо рассуждала о высказанной Т. С. Элиотом идее: поэт — катализатор

[230] Примечания: 230
Знаменитая строка программного стихотворения «A Sort of a Song».

в «химической реакции» между образами; о взглядах Кольриджа на природу символа (символ отражает общее в частном, видовое в родовом и одновременно универсальное в конкретном); о платоновской аллегории пещеры и огня-света; о тропах Расина — огонь в крови Федры, ставший ядом, потемневшее солнце. Среди филологов считалось почти неоспоримым, что строить образы на уподоблении вещей друг другу — значит обладать великой силой, быть своего рода богом в миниатюре, созидающим новые цельности. Приятели Фредерики уцепились бы за то, что Маркус, с занятными фактами в своей биографии, решил писать о клейстогамном цветке; они провели бы здесь аналогию и подумали бы, что поняли о Маркусе нечто важное. В действительности же такие мгновенные сопряжения разных вещей могут лишь мешать объективности взгляда.

Адам в Эдемском саду нарекал имена образцам флоры и фауны (а ещё, предположительно, камням — большим и маленьким; возможно, также газам и жидкостям, атомам и молекулам, протонам и электронам). Но, даже давая имена, мы не можем удержаться от метафор. Взять, например, те же злаки, так чётко отделённые друг от друга в языке. Что их имена, как не ма-

ленькие метафоры? *Gastridium* — пузатик, от греческого *gastridion* — небольшая припухлость, вздутие. *Aira* — айра, от греческого *airo* — разрушать (то есть «разрушительная трава»). *Panicum* — просо, от латинского *panis* — хлеб, потому что зёрна проса можно перемолоть и употребить в пищу. *Arrhenatherum* образовано от греческого *arrhen*, мужской, и *ather*, ость, — *мужская ость*. Поэтому-то мне и захотелось поместить это растение в пандан к *юношам в цвету, les jeunes gens en fleur.* Ещё вот, например, душистый колосок, *anthoxanthum: anthos* — цветок, *xanthos* — жёлтый, с ним рядом канареечник, *phalaris*, от греческого *phalos* — светящийся, — и не создаётся ли сразу картина полей, пронизанных светом?

В эпоху Возрождения было распространено представление о языке как о дарованной нам Богом системе символов, описывающих или называющих вещи (которые и сами своего рода язык); языковые символы — словно иероглифы, начертанные Создателем на поверхности вещей; так, например, названия «солнечных» цветов — подсолнуха и гелиотропа — символизировали духовную истину, которую познаёт душа, обратившись к Источнику света и жизни. При этом частью Божественного языка, Слова, одушевля-

ющего нерасчленённую материю, почитались и некоторые довольно произвольные соответствия слов и вещей, обусловленные узостью или излишней пристальностью нашего личного взгляда, а также гипотетические соответствия, изучаемые учёными в попытках установить законы роста, света, движения, тяготения. Но злаки, в названиях которых спрятаны эти маленькие метафоры, к такой материи явно не относятся: метафоры злаков возникли из-за простой и непреодолимой тяги человека к выявлению связей и сходства (лисохвост, зайцехвост, пузатик), — можно даже капризно отобразить их в зеркале поэзии (чем трясунка — не Трепет, *panicum* — не Смятение, *phalos* — не Сияние?). Как говорил Винсент Ван Гог, в нашем мире оливковые деревья — это прежде всего оливковые деревья и не должны становиться символами чего-то другого; то же можно сказать и о кипарисах, подсолнухах, пшенице, человеческой плоти. (Впрочем, Винсент не сумел отогнать от всех этих вещей культурные метафоры, которые подкрадываются и становятся неотделимы, словно тени, заменяя — чуть было не сказал он — прежние нимбы предметов.)

Маркус не находил в злаках ничего мистического или символического. Но его чрезвычайно

заинтересовала проблема природного *уподобления*, или того, что сам он назвал «имитационным приспособлением»: волевое ли это явление, и если да, то по чьей воле происходит? Вот, например, офрис пчелоносная, орхидея, чья губа имеет обличье самки пчёлы и приманивает возбуждённого самца одиночной пчелы: тот ищет совокупления, набрасывается на цветочную плоть, сотрясает её, проникает в неё своим особым удом, *эдеагусом*, а лепестки орхидеи в эти мгновения для надёжности даже как бы обхватывают его голову, чтоб он до поры до времени не вырвался и, содрогаясь, обеспечил оплодотворение цветка, — и так продолжается, пока цветок не завянет, но цель будет достигнута. Маркус, как и многие до него, был вынужден заключить, что подобное устройство скорее создано неким разумом, чем возникло по чистой случайности. Если на протяжении тысячелетий форма цветка всё точнее и точнее копировала форму мнимой пчелы и механизм взаимодействия пчёлы и цветка был доведён до совершенства, то мы, как носители интеллекта, не можем не предположить, что к этому причастен некий разум. Представить, что здесь сыграла роль какая-то случайность или случай, очень трудно; это ведь не может быть то, что мы

привыкли под случаем понимать — нежданный удар или подарок судьбы, орёл или решка, траектории бильярдных шаров, разлетающихся в разные стороны из «пирамиды». На протяжении веков мы верили, что наше сознание зеркально отражает порядок вещей и, следовательно, способно его постичь. У цветка нет глаз, которыми он смог бы оценить, насколько точно он изображает самку. Как же он об этом узнаёт — если узнаёт вообще? Ответ, судя по всему, находится за пределами нашего понимания… Так или иначе, благодаря офрис пчелоносной, благодаря этому волнующему, слишком уж точному *природному* тропу, *уподоблению* цветка пчеле (как сказал бы Кольридж, это «не копия, а подражание», «персик, изваянный из мрамора»[231]) — Бог муравьиных подземелий, открывшийся Маркусу в Центре полевых исследований, теперь превратился для него в некий всепроникающий, всеорганизующий разум. Себя Маркус пока видел от этого разума в отдельности. Он лишь думал (с некоторым трепетом): «Этот цветок задуман и сделан как имитация самки пчелы»… и становилось уже невозможно не верить, что существует Некто,

[231] Примечания: 231
С. Т. Кольридж. Biographia Literaria.

придумавший и осуществивший это всё.

Он сводил Руфь и Жаклин к своим вязам. Он не говорил с ними о свете или о внутренней схеме дерева, но показал, как равномерно, по правильной спирали растут ветки и сучья, при всех их индивидуальных особенностях.

Они лежали, втроём, на траве у подножия дерева, жевали яблоки и разговаривали о своём гипотетическом будущем. Руфь твёрдо намеревалась стать медсестрой. Жаклин и Маркус подавали документы на стипендию в Северо-Йоркширский университет: Маркус — потому что здесь можно заниматься и математикой и ботаникой, а Жаклин — потому что привязана к Северному Йоркширу. К тому же Маркус, хоть и чувствовал, что дом на него давит, всё же не слишком-то был расположен уезжать далеко. Жаклин обхватила одной рукой за плечо Маркуса, другой — за плечо Руфь, потянула их к себе. Руфь стала упираться, то ли в шутку, то ли не хотела, чтобы к ней прикасались (Маркус так и не понял). В результате все трое повалились-покатились по щетинистой траве, сталкиваясь коленками и ладонями, дыша друг другу в лицо. В ходе этой приятной возни Маркусу удалось как бы невзначай провести рукой по всей длине сияющей косы

Руфи; он почувствовал, как по спине под косой пробежала трепетная дрожь — от удовольствия? от неприятного потяга волос? Тёплые смуглые руки Жаклин сжали его за плечи, её подбородок мимолётно уткнулся в его щёку, а он опять потянулся к толстой косе, даже на жарком солнце прохладной. Руфь откатилась от них, села и стала одёргивать юбки. Жаклин с минуту полежала калачиком, прильнув к эфемерному Маркусу, потом тоже села и рассмеялась. Впервые на его памяти какие бы то ни было прикосновения оказались ему приятны. Им втроём было хорошо друг с другом.

Уильям был обладателем игрушечной железной дороги, это был подарок Уинифред. Дорога состояла из пересекающихся большой восьмёркой бледно-голубых пластмассовых рельсов со стрелочными переводами и поворотным кругом; части железнодорожного полотна соединялись друг с другом хитрым способом, как детали составной картинки. По петлям восьмёрки медленно катились ярко-красный паровоз, две жёлтые открытые платформы, зелёный вагон-цистерна и синий вагон караульной службы. Порою кошки — Стефани с Дэниелом решили оставить мамекошке бело-пятнистую дочку (теперь она уже

вытянулась, стала грациозной, как балеринка, и довольно хищной юной особой) — потрагивали вагончики лапкой, когда те ехали по кругу. Вагончики сходили с рельсов и переворачивались — Уильям впадал в бешенство, начинал топать ножками, кидаться в кошек кубиками и другими игрушками. Мэри тоже частенько прибредала, шатко покачиваясь, и плюхалась в жарких клеёнчатых трусиках с подгузником прямо на железнодорожные пути или хватала паровоз и радостно гукала. Стефани в такие минуты была на стороне Уильяма: она сама была в детстве старшим ребёнком, у которого всё отбирал настырный младший. Но её пугали сила и размах этого неистовства. Лицо Уильяма становилось пунцовым, зубы стискивались, лобик морщился и, казалось, надвигался на глаза. Его ярость была беспредельна. Он разламывал свою любимую железную дорогу и расшвыривал части по комнате, а также кусался — страдало не только пухленькое плечико Мэри, но и сочувственно протянутая рука Стефани, — порой мог он впиться зубами даже в собственную руку. Или он начинал биться лбом об нижнюю ступеньку лестницы, до фиолетовых синяков и кровавых ссадин. Стефани тяжело было с таким справляться. Для неё не составляло труда

петь заболевшему ребёнку колыбельные, покуда не уснёт, или прочитать сказку в двадцатый раз так же выразительно, как в первый, но вот ярость её совершенно обескураживала, подавляла. Когда на сына накатывало, она реагировала так же, как в своё время на гнев отца, — вяло и смиренно: сажала Мэри подальше, подбирала обрушенные на комнату снаряды, не подвергала Уильяма экзекуции, но и утешить не пыталась — утешения он не искал и не принял бы.

Как-то раз Уильям сердито пустил по полу в сторону Мэри ярко-красный паровоз, а мать Дэниела как на грех спускалась по лестнице из ванной. Паровозик замер у основания лестницы, и зашнурованный полуботинок с толстой, отёчной, нависшей над ним икрой опустился прямо на игрушку, которая, однако, тут же ловко из-под него выскользнула. Ноги миссис Ортон разъехались, и, вывернув тучное тело вбок, с треском нижней юбки и истошным воплем, она завалилась на пол. Лицо её исказила сливово-чёрная гримаса боли.

— Вот вы своего и добились! — завопила она во весь голос. — Никакого уважения к пожилому человеку! Никакого! Никакого!.. И как только не стыдно… — Вопли утихли и перешли во всхлипы и оханье.

Стефани бросилась на помощь, но пухлые руки отбивались от неё яростными ударами.

— Ну всё! Угробили-таки мою ногу. Чует моё сердце, опять перелом бедра, как в тот раз. Не трожь, сейчас скончаюсь от боли. Ну что стоишь, зови врача!

Все вопили и рыдали. Мэри — от страха, бабушка — от боли, а Уильям — от ужасного чувства вины и злости. Стефани вызвала «скорую»; мать Дэниела, мокролицую, кряхтящую, перевалили на носилки, завернули в ярко-красные одеяльца и понесли из дома. Стефани, подхватив на бедро лёгонькую Мэри — Уильям вцепился в другую руку, — вышла с детьми на дорогу к карете «скорой помощи».

Маленькие глазки свекрови искоса глянули на Стефани из толстых складок век, хитро и пронзительно.

— Ну что ж, — проговорила миссис Ортон сквозь зубы, с носилок. — Можешь теперь радоваться… — Она шумно вздохнула, всхлипнула и добавила уже более ровным голосом: — Теперь-то своего ты добилась. Тебе только радость от меня избавиться.

— Ну *зачем* вы так, — сказала Стефани.

Лицо с носилок, уже поднятых в машину, каза-

лось, заискрилось злобой.

— Не думай, будто я не знаю, что у тебя в голове, девонька. Вся из себя вежливая, но на самом деле я тебе сбоку припёка. Я для тебя крест, который приходится нести, лишняя забота на твою голову, и сбагрить бы меня поскорее с рук! Ни одного дурного слова мне не молвила, как я приехала, но и по-человечески, по-доброму ни разу не обратилась, ни разу! Тебе вообще нет дела, кто я да что я. Вроде как обязанность свою исполнила, а сверх того — ничего, рыбина ты холодная! Сижу из-за тебя целыми днями с твоими полоумными. Не жизнь, а *сказка*! Вы, господа медики, понятия не имеете, *что* я терплю в этом доме, какие тут порядочки…

— Поедем, бабушка, — сказали фельдшеры. — Болевой шок, — объяснили они Стефани, захлопывая белые дверцы. — Не принимайте на свой счёт.

Но как тут не принять? Правда в любых устах хороша. Стефани смирилась с присутствием матери Дэниела, обращалась к ней терпеливо, но не узнала толком как человека. Мэри громко выла. Уильям дёргал за руку:

— Они же *починят* бабулю, да? А ты починишь мою железную дорогу? Мэри её *хватала*. А ба-

бушка наступила. Её… сильно… *повредили*. — Он ловко обращался со словами.

Да, можно попробовать исправить…

И вот, впервые после приезда Маркуса (и последовавшего позднее приезда миссис Ортон), Стефани ужинала с мужем наедине. Сели они поздно, потому что Дэниел заходил к матери в больницу и к другим людям. Он сидел молча, в своём «собачьем ошейнике» и чёрном с отливом пасторском одеянии, густые волосы взъерошены, лицо тёмное от изрядной небритости; почему-то не переодевается в домашнее; вид имеет неряшливый, запущенный. Она смотрела на него как-то отстранённо, как на незнакомца, и совершенно не знала, что́ ему сказать. Не хотелось начинать разговор с привычных имён — Уильям, Мэри, мама или Маркус; не хотелось и с привычных тем — цены на электричество, благотворительные распродажи, неприкаянные, Фаррары. Она была женой этого жующего, нахмуренного толстяка. Его женой была *она*. В ней вдруг пробудилось что-то безумное — отчасти недопустимая радость оттого, что они одни, без злой старухи, отчасти её собственное подзабытое «я», которое, как онемевшая было конечность, вдруг начало болезненно обретать чувствительность. И, как бывает, всё

это приняло форму некоего раздражения.

— Мог бы и поговорить со мной. Нам не так часто удаётся посидеть вдвоём.

— О чём? Я не мастер водить беседы. И денёк выдался паршивый.

— Понимаю. Но мы вообще никогда не разговариваем.

— Можно мне ещё овощей? Вот эти маленькие бобы очень вкусные.

— Я тут думала. Мне тяжело оттого, что приходится использовать ограниченный словарный запас. Хочу я этого или нет. Как думаешь, сколько слов в среднем использует человек? Тысячу? Две? Уильям пока столько не знает, Мэри и подавно. А люди вокруг меня… в магазинах, например…

— И дома, моя бедная старая матушка…

— И твоя бедная старая матушка, — подхватила она. — И бóльшая часть людей в этом приходе… они не поняли бы многих слов, которые для меня действительно важны, если б я вот так, ни с того ни с сего их выпалила. И слова эти, невостребованные, становятся призраками у меня в голове. Преследуют меня, не дают покоя.

— Я б, может, тоже их не понял, — сказал Дэниел неприятным, чуть ворчливым тоном. — У меня у самого запас словесный поредел со времён

богословского колледжа. А также со времён моего сватовства.

— Вот и я об этом. Давай положу ещё бобов, — ответила Стефани (пусть от еды у него улучшится настроение). — Мы учимся размышлять, а слова, которыми размышляем, в повседневной речи использовать не можем…

— Какие такие слова, например?

— Ох, — вырвалось у неё головокружительно, отчаянно. — *Дискурсивный*. И вообще *дискурс* как разумное рассуждение, которого, как сказал Гамлет, лишены животные и которое есть у людей[232]. *Софистический. Идеальный* — в платоновском смысле. *Катализатор. Анаколуф. Двоедушный. Реализм*. Самое обидное, что есть среди них коварные слова, которые входят и в мой круг повседневных слов, но при этом теряют половину своих сложных значений. Скажем, «реальный» и «идеальный». Понимаешь, Дэниел?

— Понимаю, — ответил он. Отодвинул от себя тарелку. — Зря я тебя заставил за меня выйти замуж. Видит Бог, я думал, наша с тобой жизнь и будет главной *реальностью*.

— Конечно, так оно и есть! — поспешно под-

---

[232] Примечания: 232
У. Шекспир. Гамлет. Акт I, сц. 2.

твердила Стефани.

— Ага. А как же твой огромный неизрасходованный запас слов? Это ведь тоже реальность, как ни верти.

— Дэниел… это не беда. Я могу учить словам Уильяма и Мэри…

Стефани испугалась, ей уже хотелось пойти на попятный. Она ведь хотела сказать что-нибудь ласковое, вынуть из души кусочек — ему. Но что у него на уме сейчас? Что для него самое важное? Он очень хороший человек, человек дела! Она его любит. Конечно же.

— Не знаю, почему у нас так вышло. Я не думал, что всё получится именно вот таким образом… — Он обвёл рукой уютную, но тесную гостиную: в корзине для белья свалены вещи и игрушки Уильяма, вместе со злополучным красным паровозом; на бельевой верёвке у камина сохнут подгузники Мэри. Дэниел усмехнулся. — Не могу подобрать хорошее слово. Всё как-то… *приугасло*, что ли.

— Приугаснуть — отличное слово.

— Не надо со мной миндальничать, Стеф. Оставь этот поощрительный тон. Мне он неприятен.

— Дэниел, я же тебя люблю!

— Не иначе. Хоть и сделала, наверно, большую

глупость, что за меня пошла.

— Сердцу не прикажешь.

— Прямо никак-никак? А может, стоило бы… Я и не догадывался, что это так важно, слова да разговоры. Я в последнее время что-то терпеть не могу *языком молотить*. У Гидеона вон язык хорошо подвешен, он все эти дела говорильные легко проворачивает, обсуждения всякие проводит… Но это не моё… не о таком пути думал…

— Ты знал, какой путь выбирал, ещё до того, как женился на мне… Так что ты тоже кое-чем пожертвовал. Не менее существенным, чем мой словарный запас.

— Ага… — Он уставился в стол.

Ей подумалось, что самым надёжным, для её одинокого «я», сейчас было бы продолжать говорить, чтобы извлечь слова из *него*, чтобы он рассказал о своих невзгодах. Но что как не удастся? Она ведь и сама уже слишком отвыкла от слов, чтоб решиться словом вызвать слово. Поэтому она прибегла к другому надёжному средству: присела на пол возле его кресла, уронила светлую голову к нему на колени и сказала:

— Я правда тебя люблю. Мы сейчас *одни*.

Он погладил её по волосам, протянул к ней слепые руки, и сами они не заметили, как, в об-

нимку, медленно потянулись вверх по лестнице и ввалились в необъятность своей маленькой спальни. В постели они были счастливы, они знали друг друга, и любовь их была с ними. А слова, ненужные, неприкаянные, отлетели прочь. *Перипетия. Танталовы муки. Морфология.* Как беспределен человек в своих способностях. Как подобен некоему богу в постижении[233]. Люди умирали, и черви их ели, но было всё это не от любви[234] и не от сужения словарного запаса. Рука Дэниела, тяжело её обольнувшая, совсем не мешала спать, не тяготила.

[233] Примечания: 233
У. Шекспир. Гамлет. Акт II, сц. 2.

[234] Примечания: 234
У. Шекспир. Как вам это понравится. Акт IV, сц. 1.

28
Соломенный стул

Уилки протянул Фредерике свежий номер газеты «Манчестер гардиан». Они сидели и пили кофе в «Домике монаха», где кофеварка эспрессо была поновее, чем в «Александре». Здешний кофе имел более свежий, ядрёный вкус, его явно не разбодяживали, не цедили сквозь старую гущу. Пеночка тоже была что надо; да и корицу с шоколадной стружкой можно было попросить добавить.

«НОВАЯ ПЬЕСА В СТИХАХ АЛЕКСАНДРА УЭДДЕРБЕРНА. Драматург Александр Уэддерберн и режиссёр-постановщик Бенджамин Лодж, подарившие нам в год коронации „Астрею“, в этом сезоне решили порадовать нас новым спектаклем, в ином роде. Премьера драмы „Соломенный стул“ состоится в театре „Дельфин“. Это насыщенная, пронизанная клаустрофобией пьеса о бурных трагических событиях последних лет жизни Винсента Ван Гога. Главную роль — весьма трудную, учитывая лирический надрыв и дикие перепады настроения героя, — играет Пол Гринуэй, запомнившийся нам проникновенным

исполнением роли Д. Г. Лоуренса в телепостановке „Смотри! Мы справились!“[235] подающего надежды „сердитого молодого“ режиссёра Джима Кобба. Гарольд Бомберг, наиболее знакомый нам как Лаэрт в стратфордском „Гамлете“ и решивший передохнуть от Шекспира, сыграет в новом спектакле Гогена. Майкл Уиттер, прямиком со съёмок „Хорнблауэра на Балтике“[236], перевоплотится в Тео Ван Гога. Восходящая звезда, молодая актриса Дебби Мун появится на сцене в нескольких образах, в том числе проститутки Рашель, которой художник вручил своё отрезанное ухо. По словам драматурга, „контуры пьесы ясно означились“ перед ним, когда он отдыхал в Провансе, стоило лишь „погрузиться мыслями в страстные и опасные споры“ между Ван Гогом и Гогеном. Бенджамин Лодж отметил, что эта пьеса — великолепное поле для многопланового актёра, и Гринуэй с его уровнем игры блестяще справится с ролью».

Заметка сопровождалась фотографией Гри-

---

[235] Примечания: 235

Книга стихов Лоуренса, посвящённая его непростому браку с Фридой фон Рихтхофен («Look! We have come through», 1917).

[236] Примечания: 236

Горацио Хорнблауэр — герой морского историко-приключенческого цикла Сесила Скотта Форестера (1899–1966).

нуэя: буравящий взгляд поверх лоуренсовской клиновидной бородки; рядом — серо-белая репродукция последнего автопортрета Винсента в аквамариновых тонах, где он смотрит волком, сжав губы в тонкую линию; характерные вертикальные спиралевидные мазки фона практически неразличимы, подёрнутые вуалью из точек типографской краски.

— Их послушать, так ничего особенного, — разочарованно проговорила Фредерика.

— Вот станешь обозревателем мира искусства, — сказал Уилки (его она посвятила в тайну своего участия в конкурсе журнала «Вог»), — тогда и отыграешься. Когда у меня будет своя передача об искусстве на телевидении, сможешь приходить и говорить об Александре как о состоявшемся драматурге, не используя штампов — «насыщенная пьеса», «блестящий состав актёров», «проникновенное исполнение роли», — а также не сравнивая его с вездесущим Кристофером Фраем[237]. Ну что, поедем смотреть «Соломенный стул»? Соберём кембриджских ребят, возьмём напрокат автобус и поддержим премьеру? Помнишь, какой у тебя был ошарашен-

---

[237] Примечания: 237
Кристофер Фрай (1907–2005) — известный английский драматург.

ный вид той тёплой звёздной ночью в Авиньоне, когда мы с Александром спустились к тебе с крепостной стены, как падшие ангелы с небес? Твоё сердечко ещё трепещет при виде Александра? Я так и не понял, чем у вас всё закончилось?

Личные вопросы Фредерика оставила без ответа.

— Конечно, обязательно нужно взять автобус! Ты знаешь Рафаэля Фабера? Как думаешь, сможешь уговорить его поехать?

— Да, знаю и, наверное, уговорю. Его видели на спектакле «В ожидании Годо» в Лондоне, так что, очевидно, каким-то образом он туда выбирается. Но автобус, вероятно, ниже его достоинства. Для общества он человек потерянный, как ты уже, наверное, поняла.

— Потерянные люди в чём-то и удобны, — улыбнулась Фредерика. — Они настолько в себе, что не отнимают у других много времени.

— Тебе лучше было остаться со мной. Я бы занимал *совсем* не много времени — и исключительно приятными вещами.

— Нет, спасибо.

— Ну и кровищи было, — сказал Уилки. — Боже мой, столько кровищи! Но уж лучше я, чем милый Хью Роуз, согласна? Я парень более изоб-

ретательный.

— Я не сплю с Хью Роузом.

— Интересно, почему?

— Это вывело бы его из благого состояния.

— Так ты, оказывается, *добродетельная* девушка, — удивился Уилки.

— А кто-то в этом сомневался?! — возмущённо воскликнула Фредерика.

Уилки рассмеялся.

Как Александр уже давно понял, воплощение драматургического замысла на сцене всегда чревато маленькой смертью чего-то более главного, из чего пьеса произошла. Было, впрочем, во всём этом одно прекрасное пятно — осветительская репетиция с готовыми декорациями. «Дельфин», маленький, недавно отремонтированный театр, располагался в Сити, у реки, вдали от театрального квартала; здесь ставили новые экспериментальные пьесы, которые затем, если они имели у зрителей успех, попадали в театры побольше и поустойчивее. Художником-декоратором (который в этом спектакле также отвечал за освещение и визуальные эффекты) был лысеющий, в очках в стальной оправе, молодой человек по имени Чарльз Конинк. Он преподавал в Школе изящных искусств Феликса Слейда и сра-

зу же понял намерения и желания Александра, едва только Александр сказал: «Свет в этой пьесе должен работать вовсю». Сцену оформили так, что на протяжении всего спектакля она походила на коробку, как бы суженная, стиснутая с боков и уходящая вглубь от зрителя; задняя стенка «коробки», ярко освещённая и благодаря некоторым техническим ухищрениям казавшаяся нарочито маленькой и далёкой, служила задником. Предмета поставили три: жёлтый стул Винсента — незамысловатый, деревянный, с соломенным сиденьем; кресло Гогена — более вальяжное, с зелёным сиденьем, с красновато-коричневыми, цвета гончарной глины, гнутыми спинкой и подлокотниками, ярко подсвеченное сверху фиолетом; да мольберт с большим пустым холстом-экраном, на котором время от времени будут показывать увеличенные слайды различных работ: внушительную, в чёрных тонах Библию, принадлежавшую отцу Винсента[238], кипы парижских жёлтых книжек на переливчатом бело-розовом столе[239], натюрморт с синим обливным кофейником.

---

[238] Примечания: 238
«Натюрморт с Библией», 1885.

[239] Примечания: 239
«Натюрморт: французские романы», 1887.

Всего было три акта. В первом всё было чёрно-белое, тёмное с пятнами света, в духе голландского периода, по-зимнему холодное и неприветливое. Боковые декорации с помощью геометрического обмана уходили вглубь, в тесное пространство сцены. На этих панелях — условные, но узнаваемые изображения по мотивам ранних рисунков Ван Гога: ряды ив вдоль каналов; спутанные тонкие отростки на грубо обрезанных кронах; мёрзлые ветки в саду в Нюэнене, с прозрачно-льдистой сеткой штрихов за ними. Узловатые стволы и отростки крон — грубы и прекрасны, но напоминают вертикальные прутья тесной клетки. Задник окрасили в тона «Едоков картофеля» — чёрные землистые оттенки, тёмный свет, клаустрофобность. Во втором акте сцену наполнял настоящий свет. На заднике появлялся фиолетово-золотой «Сеятель». На левой кулисе, крупнее, чем пейзаж с сеятелем, — подсолнухи, светящиеся золотом круги на голубом. На правой — «Натюрморт: ваза с ирисами на жёлтом фоне», написанный в Сен-Реми. Это о нём Винсент писал Тео: «Другой, фиолетовый букет (доходящий до кармина и чистой прусской синей) выделяется

на ярчайшем лимонно-жёлтом фоне»[240]. Он (Винсент) называл эту картину ужасной, говорил, что боится её. Конинк, искавший в эффектах точности, придумал, как сделать эти цвета ещё более интенсивными: первое изображение картины усилить точно таким же дублем и попеременно заливать экран то золотым, то фиолетовым светом, чтобы картина источала золотое сияние или колыхалась пурпурными волнами.

В третьем акте картины с цветами оставались на боковых панелях и были в цветовом отношении неподвижны, но «Сеятель» на заднике сменялся «Жнецом», тёмно-золотое солнце — бледным белым золотом пшеничных снопов, похожих на языки пламени. Этот пейзаж художник увидел через зарешечённое окно в палате лечебницы, и Конинк умудрился тот же вид создать и для зрителей, время от времени проецируя прутья решётки поверх сияющего поля, в которое углубляется, удаляясь прочь от нас, Жнец (тогда как Сеятель прежде, наоборот, направлялся к нам, от солнца).

Я увидел тогда в этом смутно очерчен-

---

[240] Примечания: 240
Письмо Тео Ван Гогу, Сен-Реми, 11 мая 1890 г.

ном жнеце — что трудится как заведённый под палящим зноем, чтобы довести до конца своё тяжкое дело, — увидел в нём образ смерти, в том смысле, что человечество — это пшеница, которую смерть пожинает. Жнец, если угодно, является противоположностью сеятеля, которого я пробовал написать раньше. Но в этой смерти нет ничего печального — всё происходит средь бела дня, под солнцем, всё заливающим светом чистого золота. <…> Дорогой брат — вновь пишу тебе в перерыве между работой, — я тружусь как одержимый, никогда я ещё не испытывал такой жажды работы. <…> Картина, за исключением фиолетовой линии холмов, вся сплошь в жёлтом цвете, однако беловатом, бледном. Мне и самому кажется забавным, что я увидел всё таким через железные прутья решётки в окне палаты для буйных[241].

— Ну, как световое оформление? — осведомился Конинк у Александра. — Угодил я вам? Мне

---

[241] Примечания: 241
Письмо Тео Ван Гогу, Сен-Реми, 5–6 сентября 1889 г.

самому очень нравится.

— Я просто ошеломлён, — молвил Александр, вполне искренне. — Так темно и так светло!

— Ваш спектакль поставил передо мной ряд интересных задач, — сказал Конинк. — Я ещё хочу опробовать парочку хитростей с подсвечиванием актёров, наподобие тех, что делают в балете. Если направить на сцену красный прожектор и одновременно белый и поставить две фигуры так, чтобы каждая перекрывала только один из потоков света, то, казалось бы, можно рассчитывать, что на розовом полу мы получим красную тень и белую тень. Но наш глаз приспосабливается и вместо розового видит белый, поэтому загороженный красный свет видится нам как *белый минус красный*, то есть зеленовато-голубым. Соответственно, можно изобразить красивый танец красных и бирюзовых теней на белом фоне. Я пробовал получить подобным способом взаимно-дополнительные цвета, которые использовал Ван Гог, чтобы его и Гогена у нас сопровождали взаимно-дополнительные тени. Или, например, пустить две тени Ван Гога разного цвета на разные экраны. Неистовые красные и зелёные тона, которыми он выражал человеческие страсти, можно изобразить с помощью

основных цветов, подаваемых осветительными приборами. С фиолетовыми и золотыми оттенками потруднее, но я уже придумал, какие для этого должны пересекаться лучи. Мы можем разыграть целую драму, дополнительно работая светом только вокруг наших двух стульев: они будут прямо-таки пульсировать эмоциями. Мы можем сочетать взаимно-дополнительные цвета так, что они сольются в сплошную белизну. Можем окружать фигуры ореолом. Менять цвета одежды и фона нашего Ван Гога, как он сам менял их на разных автопортретах. В вашей пьесе не так много действия как такового, больше разговоров, поэтому мы восполним световым сюжетом. Зрителей это должно заинтриговать.

— Должно, — согласился Александр. — Но не слишком ли это будет «будоражить чувства»? Это, кстати, выражение самого Ван Гога, он немного опасался излишнего душевного волнения.

— Да. Но свет будет попеременно то будоражить, то умиротворять, — ответил Конинк. И, к удовольствию Александра, прибавил: — Люди, включая меня самого, как-то позабыли о величии этого художника. Замылили своё восприятие. Но когда начинаешь работать с трёхмерными изображениями, открываешь его для себя заново. Вы

ведь знаете, что художники теперь изучают цвета мастеров прошлого не по настоящим полотнам, а по цветным слайдам? Мы живём в мире световых проекций. В этом спектакле современное искусство света предстаёт в концентрированном, так сказать, виде. Свет проливается прямо в души зрителей. Как грёза, как наваждение!..

Публика на премьере «Соломенного стула», как и на любой другой премьере, была настроена необычайно доброжелательно, но при этом в любой момент готова позлобствовать или понадменничать. Александр, устроившись с Мартиной Сазерленд в сторонке, в боковой ложе, рассеянно улыбнулся Томасу и Элиноре Пул и вдруг заметил в середине первого ряда амфитеатра знакомую рыжую голову, остроносое лицо — Фредерика Поттер, сидит между Уилки и худым темноволосым мужчиной, которого он видит впервые. На самом деле весь этот первый ряд занимала та самая компания, которую Уилки хотел привезти на автобусе, но добрались они в итоге на поезде, в заранее заказанных купе, с бутылками белого вина и бутербродами с копчёным лососем. Среди них были Кэролайн (девушка Уилки), Энн Льюис, Алан Мелвилл и Тони Уотсон, Мариус Мочигемба и Хью Роуз, а по другую сторону от темноволо-

сого мужчины сидел Винсент Ходжкисс — его Александр вдруг узнал и нервно ему улыбнулся. Александр предпочитал не ведать, кто его зрители. Фредерика помахала ему, и он помахал в ответ. Поднялся занавес.

Критики впоследствии назовут пьесу статичной и, как ни парадоксально, сравнят её с другой статичной пьесой, «В ожидании Годо», не в пользу Александра; и это притом, что у Беккета не происходит совсем ничего, а в «Соломенном стуле» есть безумие, пагуба, смерть. Гринуэй на протяжении всего спектакля оставался на сцене, в окружении экранов, боковых декораций с их тюремными решётками из ив, сменявшимися затем подсолнухами и ирисами. Сначала он находился среди тёмного клаустрофобного свечения голландской юности, затем оказывался в полном, ослепительном свете своих французских и особенно арльских дней. Сцену также не покидал Майкл Уиттер в роли Тео Ван Гога, но пребывал он вне конструкции из декораций и экранов, на авансцене, у кулисы; почти всегда один, но ближе к концу к нему присоединилась его жена, Йоханна Ван Гог-Бонгер (Тео женился в 1889 году), с их сыном на руках, которого тоже нарекли Винсентом. В коробку света, где «оби-

тал» его старший брат, Тео вступал дважды: один раз во втором акте, после неистовой сцены, когда Винсент подошёл к кровати Гогена и молча угрожал ему бритвой, а потом, напуганный, умчался прочь и отрезал собственное ухо; второй раз — в конце третьего акта, после финального рокового увечья — тогда Тео прилёг рядом с умирающим братом, положил голову рядом с ним на подушку и прижался щекой к его щеке. «Вот так бы просто мне и уйти», — сказал Винсент в жизни и на сцене, — и умер. Остальные персонажи без текста — бородатый почтальон Рулен, два доктора, Рей и Гаше, разные женщины (все, как и Йоханна Бонгер, в исполнении Дебби Мун) — мелькали полупризраками между внутренними экранами и внешними границами сцены из проекций картин, освещённые вниманием Винсента и прожекторами Чарльза Конинка (сквозь специальную сетчатую ткань).

Внимание Александра большей частью сосредоточилось на изменениях, которые внёс в его пьесу режиссёр Лодж. Несколько изменений (и тонкие, и более грубые) направлены были на прояснение причин психического расстройства Ван Гога, и, конечно, оказывалось, что виной всему половая проблема. Лодж оставил «спасённую»

Винсентом проститутку Син (та же Дебби Мун) в голландском акте на сцене значительно дольше, чем задумывал Александр: она сидела молча, скорчившись, нагая — лишь наполовину прикрытая вуалью, — за экраном, Ван Гог делал с неё рисунок «Скорбь». И получилось, что брошенные художником слова о любви и одиночестве были обращены к этой странной, безучастной фигуре.

Во второй акт, где Гоген и Ван Гог жили вместе и ссорились, Лодж ввёл элементы балета. У Александра здесь была лишь одна женщина, безмолвная проститутка, которой и предстояло получить окровавленный кусочек плоти. У Лоджа было целое ночное кафе силуэтных продажных женщин, сразу заставлявших вспомнить рисунки Тулуз-Лотрека: Гоген в сине-зелёных перчатках демонстрировал им фехтовальные па; Винсент же в это время сидел на своём соломенном стуле дома, в «своей» части сцены, угрюмо вертел в руках опасную бритву. (Не случайно настоящий Винсент сравнил себя с волом, а Гогена — с быком.)

Лоджу нелегко было убедить Гринуэя, что Ван Гога нужно изобразить таким неприятным в общении (каким он, вероятно, и был). Александр привёл актёру слова Вейннобела: «Очень тяжё-

лый человек, постоянно на взводе. Если бы такой человек в кафе подсел к вам за столик, вы бы не отсели поспешно?» Гринуэй освоил неплохой приём: цеплялся к Гогену, донимал и поучал его, чуть ли не нависая над ним, говоря близко к его лицу, нарушая его личное пространство. Он плевался словами — *Делакруа, Гефсиманский сад*, — и они приземлялись брызгами слюны на одежду Бомберга, коротко сверкали и меркли в свете прожектора. Лодж процитировал Гринуэю слова Ван Гога, сравнившего создание картин с исполнением роли: «Работа и сухой расчёт, весь ты кипишь в напряжении чрезвычайном, ты — как актёр на подмостках, играющий трудную роль, ты должен думать о тысяче мелочей одновременно, и всё происходит за каких-нибудь полчаса…»[242]

Ни игра Гринуэя, ни стих Александра не передавали этой самой существенной стороны жизни художника — работы, сухого расчёта, напряжения всех душевных сил для осуществления картины. Если бы Александр не был такого высокого мнения об уме Ван Гога, ему удалось бы точнее показать, каким он был внешне неопрят-

---

[242] Примечания: 242
Письмо Тео Ван Гогу, Арль, ок. 1 июля 1888 г.

ным и отталкивающим. Но его интересовал в личности Ван Гога как раз его обособленный от всех, оригинальный ум. А Лоджа больше всего интересовало неумение художника общаться с людьми. Гринуэй выражал своей игрой как раз последнее. Слова Александра Гринуэй проглатывал, работая по известному американско-станиславскому «методу», во власти чувства, но то, как он нервно лез к Гогену и Тео, трогал их рукой и тут же резко отшатывался назад, чтобы разорвать возникший контакт, очень впечатляло и запоминалось. Александр чувствовал, что играет Гринуэй хорошо, но чего-то важного здесь не хватает (впрочем, это ощущение было ему уже привычно по прежним пьесам).

Уилки усердно наведывался за кулисы: поприветствовал Лоджа, перехватил между актами Александра — и каким-то образом добился для всей кембриджской компании приглашения на памятный премьерный ужин, который изначально задумывался лишь для актёров и работников сцены. Ужин был на верхнем этаже ресторана «Берторелли» на Шарлотт-стрит. Фредерика поехала туда в такси с Рафаэлем; тот ни словом не обмолвился о спектакле, только обеспокоенно твердил, что заявляться на приём, на который

его, в общем-то, не приглашали, может быть не комильфо, и несколько раз пытался развернуть такси в сторону Ливерпуль-стрит, к вокзалу, или хотя бы просто остановить, чтобы самому выскочить и отправить Фредерику на ужин одну. Фредерика же настаивала, что он *просто обязан* познакомиться с Александром, она так мечтала, чтоб они познакомились! Александр написал «Астрею», в которой она сыграла королеву Елизавету. Рафаэль об «Астрее» ничего не слышал и, казалось, заранее для себя определил, что это не стоит его мыслей и внимания. Мысль о Фредерике в роли королевы-девственницы, впрочем, его на миг позабавила, он с усмешкой спросил, был ли тот опыт таким же тяжким испытанием, как роль леди в «Комосе». Фредерика ответила:

— Я тогда была страшно влюблена в Александра.

— А он знал? — спросил Рафаэль тоном, ясно намекавшим: любя, не высказывают сердце, таятся от предмета воздыханий.

— Ну ещё бы. Я об этом позаботилась.

— Ах да. Это же ты.

— Но ничего не вышло, — поспешно добавила Фредерика. — Точнее, ничего хорошего, не хочу вспоминать.

— Вот и не надо, — сказал Рафаэль. — И всё-таки я *убеждён*, что нам не следует ехать на этот ужин.

Для ужина заказан был зал с четырьмя длинными столами, расставленными по стенам. Актёры сидели в одном конце зала, гости из Кембриджа и друзья автора — в другом, но Элинора Пул почему-то оказалась рядом с Полом Гринуэем, и он всё поглаживал на скатерти её руку. Поскольку Фредерике пришлось уговаривать Рафаэля поехать, они несколько припозднились, и им достались места рядом, лицом к стене, почти напротив Александра — тот расположился в углу и выглядел уставшим. Фредерика представила их друг другу:

— Александр, это Рафаэль Фабер. Он член колледжа Святого Михаила. Я хожу на его лекции о Малларме. Рафаэль — поэт.

Рядом с Александром сидела Мартина Сазерленд, он её представил. Темноволосые официантки в чёрных платьях и маленьких белых фартуках принесли мидий в белом вине, авокадо, фаршированные креветками, копчёного угря и паштет, и все принялись за трапезу. Фредерика пыталась сказать Александру, как тронула и впечатлила её игра света. Александр говорил мало,

а Рафаэль — и вовсе ничего. Наконец Мартина, окутанная мягким розовым свечением, наклонилась вперёд над своей тарелкой с креветками — в глубоком круглом вырезе её чёрного платья показалась тёмная ложбинка между веснушчатых грудей — и обратилась к Рафаэлю напрямую:

— Кстати, доктор Фабер, каково ваше мнение о пьесе?

Рафаэль смотрел в свою тарелку и, придерживая вилкой копчёную рыбу, отрезал ножом кусочки. Ответил голосом слегка сдавленным, не поднимая глаз:

— Винсент Ван Гог не вызывает у меня восхищения.

— Ну, это не столь важно. Пьесу-то это вам не мешает оценить по достоинству. А почему вам не нравится Ван Гог?

Мартина привыкла выспрашивать мнения — такая у неё работа. Александр знал: теперь она будет слушать чутким ухом профессионала, как Фабер построит фразу, улавливать повышение и понижение голоса. Она будет оценивать, насколько лаконично он выражает мысли, есть ли в них что-то новое, интересное, как много он «экает» и «мекает» — словом, не годится ли он на роль гостя очередной радиопередачи. У самого

Александра тоже почти выработалась подобная привычка, и примерно после пары фраз, сказанных Рафаэлем, он обращал больше внимания не на смысл, а на манеру речи.

Рафаэль, всё ещё не подымая глаз, аккуратно положил вилку и нож рядышком на стол.

— Мне кажется, Ван Гога нельзя отнести к числу величайших художников — быть может, из-за некоего присущего ему своенравия, навязчивого себялюбия, излишней *хара́ктерности*, что, безусловно, делает из него персонажа весьма привлекательного для драматурга. Рильке как-то заметил: гипнотичность и красноречивость писем Ван Гога в конечном счёте служат ему дурную службу, как будто нечто отбавляя от его искусства. Он всегда озабочен тем, чтобы всё оправдать — свои поступки, свою живопись, — словно без этого они неполноценны. Он постоянно из кожи вон лезет, чтобы кому-то что-то *доказать*. Рильке, кроме того, считает, что по сравнению с Сезанном, художником куда более выдающимся, Ван Гог — человек, одержимый теорией. Да, он открыл отношения взаимно-дополнительных цветов, но остановиться на этом не смог и, опять же из чистого своенравия, превратил новое знание в догму, в философскую схему. И конечно, полное

своеволие — создавать картины для «утешения». Тут уже говорит его остаточный проповеднический запал, одержимость верой. Не случайно он признавался, что хотел бы «писать мужчин или женщин с неким оттенком вечности, которой прежде символом был нимб»[243]. Он постхристианский романтик, живущий в мире, с порядками которого так и не сумел примириться. И во всём выводит на первый план *себя*. — Точёная верхняя губа Рафаэля изогнулась, превращая лицо в безупречную маску презрения. — Среди крупных художников у него один из самых *личных*, субъективных стилей. Для создания великого искусства ему недоставало окончательной ясности взгляда и отсутствия самолюбия. И как ещё удачно подметил Рильке в своём панегирике Сезанну: Сезанна можно уважать за то, что его картины говорят: «Вот такое оно есть». Ван Гог подобной высоты не достиг, пишет Рильке, его девиз — «Вот таким мне нравится это видеть». В пьесе это отлично, до отвратительности ясно показано.

Фредерика не знала, что и сказать. Мартина была опытнее и смелее; к тому же ей, может быть, хотелось оценить в Фабере навыки ведения

---

[243] Примечания: 243
Письмо Тео Ван Гогу, Арль, 3 сентября 1888 г.

дискуссии.

— Даже если мы согласимся с вашими словами, вряд ли возможно представить, что Александр напишет *пьесу* о том, что великое искусство должно быть обезличенным. Пьесу под названием «Вот такое оно есть». Пьесы пишутся как раз о личности, о личных устремлениях, на сцене необходим конфликт. Так каково же ваше мнение о самой пьесе?

Да, рассуждал Рафаэль ясно и твёрдо, совершенно не беря в расчёт чувства слушателей. Одна холодная фраза вела за собой другую. В его комнате в колледже Святого Михаила эта прохладная честность, красота мысли Фредерику восхищала. Здесь же, в «Берторелли», среди бокалов с вином, поубавившихся паштетов и горок пустых раковин мидий, эта манера уже не казалась ей славной.

— Я думаю, то интересное, что было в Ван Гоге, в пьесе вульгаризировано. Очень уж глянцево-фрейдистской она получилась. Всё в итоге сведено к матери, умершему в младенчестве брату, в честь которого его назвали Винсентом, и к симбиотической связи с Тео. Такие проблемы есть у очень многих, но от них не становятся значительными художниками. Между тем Мартин

Хайдеггер великолепно написал о сущности и значении запечатлённых Ван Гогом башмаков; у Антонена Арто есть блестящая работа, в которой он предполагает, что безумие Ван Гога — результат непонимания искусства обществом. Но все подобные богатые возможности в пьесе упущены. В ней не чувствуется сколько-нибудь серьёзного движения философской или культурной мысли — одни только личные отношения да игра света на сцене. Боюсь, что это чересчур *английское* произведение. В нём, как бы это сказать, словно сгустился свойственный английской натуре мистицизм, к которому я, не будучи англичанином и, возможно, обладая излишней предвзятостью, не могу присоединиться. Вы, англичане, с лёгкостью чрезвычайной присвоили себе Ван Гога, приспособили к своей традиции. В живописи эта английская традиция, как мне кажется, связана с Уильямом Блейком и Сэмюэлом Палмером, а в литературе — с романистами, которых, на мой взгляд, читать практически невозможно: с Джоном Каупером Поуисом[244] и, конечно, Дэвидом Гербертом Лоуренсом. Но Ван Гог не был англичанином. Он отменно знал Рембрандта и хорошо

[244] Примечания: 244

Джон Каупер Поуис (1872–1963) — британский философ, лектор, прозаик, литературный критик и поэт.

понимал французских импрессионистов. Англичане же потеяли моду бездумно восторгаться его пшеничными полями да цветущим миндалём, не видя при этом более широкой перспективы. Такое восприятие искусства — провинциально.

Он продолжал:

— И наконец, остаётся вопрос самого стиха. Хотелось бы заметить, что в наше время уже практически невозможно достойно писать стихом, в той или иной мере тяготеющим к пятистопному ямбу, и не тащить за собой разом весь шлейф романтических славословий поэтов-георгианцев. Форма стиха, подразумевающая пасторальный восторг, вряд ли способна выразить суть Ван Гога как художника, его роль в искусстве. Таково моё мнение, возможно, ошибочное.

— Что ж, — сказала Мартина, нервно вздохнув. И тут же, сухо: — Вы изложили свою позицию весьма красноречиво и убедительно.

Тогда Рафаэль поднял глаза с каким-то беспокойством, провёл рукою по лбу, будто отводя прядь волос, и повёл плечами, словно только что очнувшись. В это мгновение он походил на испуганного ребёнка, которого застигли за шалостью, но тут же лицо его вновь приняло выражение вдумчивой суровости, с каким он

произносил свою тираду. Фредерика наблюдала всё это, потом взглянула на Александра: тот встретил беспокойный, колючий взгляд Рафаэля как-то устало-терпеливо.

— Возможно, вы правы, — ответил он. — Мне трудно спорить сейчас, пьеса-то уже написана. У меня не было такого намерения… наделять пьесу всеми теми английскими свойствами, которые вы упомянули, но вполне возможно, что я это сделал невольно. А фрейдистские мотивы… в постановке на них почему-то сделался странный упор. Но неужели они прямо так выпятились? Я-то хотел всего лишь… — Он остановил фразу на половине. — Ладно, это не так уж и важно…

Мартина сочувственно накрыла его ладонь на скатерти своей ладонью и тихо пожала.

Потом Фредерика будет несколько недель анализировать свои чувства в ту минуту, когда её любимый мужчина раскритиковал другого её любимого мужчину. Надо отдать ей должное, она не допустила даже и мысли, что могла быть главной причиной этого столкновения. Тогда, за столом в ресторане, она с первую секунду ощутила беспокойство за Рафаэля: сейчас он поймёт, что нарушает правила приличия и гостеприимства, о которых так беспокоился в такси. Потом,

когда она увидела, как собственнически Мартина Сазерленд возложила ладонь на руку Александра, её поглотила чистая ревность. Она смотрела на Рафаэля (которому, в отличие от Александра, всегда охотно подчинялась) и пыталась унять в себе противоречивые чувства: желание защитить Рафаэля от случившегося конфуза — и порыв дать ему пощёчину, расцарапать физиономию. Но как же быть с Александром? Она приостановила неверие в его пьесу — пьесу, запечатлевшую сражение между солнечным светом и светом землисто-тёмным. Она сказала:

— Видишь ли, Рафаэль, если ты человек таких страстей, как Ван Гог, то прийти к «такое оно есть» можно не иначе как через «таким мне нравится это видеть». То есть прийти к объективности можно только через субъективность, обладание. Мы, обычные люди, не имеем права ставить себя на место Ван Гога, не имеем права его критиковать.

— Обычные люди не обязаны воздерживаться от суждений только потому, что перед ними гений, — ответил Рафаэль. — И вообще, откуда ты всё про Ван Гога знаешь, чтоб говорить с такой уверенностью?

— Отчасти как раз из пьесы! Для меня в этой

пьесе — правда.

— Ты великодушная натура, — сказал Рафаэль.

И именно из-за этих последних, бесчувственно-язвительных слов взгляд Фредерики возвратился к Александру: он улыбнулся. Без какого-либо стеснения или злости, просто устало и тепло, он *улыбнулся*! Фредерике захотелось крикнуть: «Я люблю тебя, Александр!» — но его рука была в руке Мартины, и не просто была — поглаживала кончики её пальцев.

Позднее, когда стали появляться рецензии на пьесу, она осмыслила всё происшедшее тщательнее. Критики из серьёзных изданий в основном были настроены враждебно по отношению к Александру, к Лоджу и Гринуэю — помягче. Были те, кто писал на волне новых «сердитых» настроений, раззадорясь от пьесы Джона Осборна «Комедиант», — они готовы были упрекнуть Александра в том, что темой его пьесы стало искусство, а не жизнь, прошлое, а не современность, индивид, а не общество. Да и сам Ван Гог, по их мнению, не сегодняшний театральный герой. Ван Гог — любимец обычных, заурядных людей. Тони Уотсон написал для «Кембриджского обозрения» в этом духе длинную залихватскую статью, разыскав и ловко использовав брошенные Рафа-

элем Фабером отсылки к Арто и Хайдеггеру.

Она обдумала ещё раз доводы Рафаэля. Не «вот таким мне нравится это видеть», а «вот такое оно есть» — привёл он слова Рильке, — и было в этом правильное, мудрое, то, что она в Рафаэле любила. Но что-то уже изменилось: под конец своего последнего года в Кембридже она всё чаще стала видеть Рафаэля не через призму влюблённости, а именно таким, какой он есть. Об Александре он рассудил, даже не попытавшись его понять, — и Фредерика, любившая до сих пор Рафаэля *безоговорочно*, готовая интересоваться и восхищаться им бесконечно, — теперь совлекла с Рафаэля нимб правоты. В мысленном с ним споре она язвительно цитировала ему из Нового Завета, который он не признавал священной книгой: «Не судите, да не судимы будете», или притчу о сучке и бревне: ага, сучок замечаешь в чужом глазу, а у себя не видишь бревна. Напустился на Ван Гога — мол, художник пребывал во власти теорий, — а сам разве не отдаёшь дань всяческим теориям? Высказался против «личного» в живописи и слове, а сам пишешь — о потаённом, глубоко личном, сокровенном! Эти мысли-споры могли длиться часами. Стоит только дать волю осуждению, и оно начинает копиться, без роздыха и пощады.

Одно из последствий этого душевного переворота: получив из журнала «Вог» приглашение на обед в гостинице «Гайд-парк» для двенадцати финалисток конкурса, Фредерика с радостью подтвердила, что будет.

Две или три недели после премьеры «Соломенного стула» она была влюблена в Александра, прямо как в былые времена. Но она перетерпела это, будто известную женскую невзгоду или приступ морской болезни — словом, как неизбежную напасть. Она слишком хорошо помнила, как сплелись на ресторанной скатерти пальцы… Когда пришло приглашение из журнала, она подумала: не написать ли заодно Александру, не предложить ли встретиться? И возможно, написала бы — не проезжай мимо Кембриджа вновь, в самый подходящий момент, Найджел Ривер и не пригласи он её: «Давай как-нибудь пошатаемся вместе по Лондону, если будешь там по делам». Договорившись с лондонской знакомой, что переночует у неё накануне обеда, Фредерика отправилась ближе к вечеру в Лондон на поезде, волнуясь о том, как бы успеть купить шляпку (наверняка положенную по этикету «Вог»!). Думала она со смутой и о предстоящей встрече с Найджелом Ривером. Александр вновь потускнел, запрятался

в одном из кармашков её души, как старинная, маленькая, но ценная монетка.

29
Лондон

Лондон поразил и восхитил Фредерику, хотя знала она его лишь малыми частями и по отдельности, не умея пока даже их соединить в мысленную карту. Будучи молодой, сильной, любопытной, жадной до жизненных впечатлений, она возликовала прежде всего от ощущения полного своего инкогнито — и от множества возможностей переноситься из одного района в другой. Ей нравилось мчаться в ярких коробах автобусов — среди бесконечно многоликих незнакомцев — из Кэмден-Тауна до пересечения Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, от Ливерпуль-стрит до Лестер-сквер и, после званого обеда финалисток, от Гайд-парка до собора Святого Павла в Сити, где её ожидал Найджел Ривер. Чем больше всяких различных пёстрых картин представало её взору, тем ей было приятнее. Переночевала она у Кэролайн, подруги Уилки, в квартире в Кэмден-Тауне; сам Уилки сюда наведывался, когда вёл переговоры с Би-би-си о своих будущих передачах. Квартира располага-

лась в первом этаже одного из викторианских домов, построенных вплотную друг к другу и составлявших таким образом сплошной ряд. Чтобы увеличить число квартир, устроена была перепланировка с новыми жидковатыми стенами-перегородками: из углов былой просторной спальни выкраивалась кухонька и ванная в придачу, пеналы же комнат получались угрюмо-высокими, не чистыми по своим пропорциям, мебель, особенно спальная, казалась ужасно низкой, прилёгшей к полу, и лишь хоть как-то это зрелище оживляли цветные скандинавские пледы да индийские тканые покрывала. По квартире бесшумно скользили приятельницы Кэролайн в эластичных брюках в обтяжку и балетках. Фредерика обрядилась в привезённое для званого обеда платье тёмно-синего поплина, которое благодаря пышным сборкам на талии имело вид не очень строгий, а благодаря отсутствию отложного пикейного воротничка уберегало от сходства с секретаршей. Затем отправилась на Оксфорд-стрит и купила в универмаге «Джон Льюис» простую, чуть «школьного» вида шляпу с полями. Шляпа была бежевого цвета — не совсем то, что она хотела, но все синие не попадали в тон её поплина, а все серые темнотой и тяжестью

оттенка слишком к поплину приближались. Беж шляпы имел правильный желтоватый оттенок. Она отхватила маникюрными ножницами ленту на тулье и повязала свою, тёмно-синюю, под цвет платья. Она понимала, что выглядит слегка по-студенчески, самодеятельно (платье для неё сшила знакомая, которая готовила костюмы для кембриджских театральных постановок). Но при этом выглядит аккуратно, собранно и, несмотря на худобу, обладает хорошей фигурой. Одним словом, какая уж есть.

Придя на званый обед с редакцией журнала «Вог», она словно очутилась в другом мире. Приглашённых было всего двенадцать, все — девушки; для мероприятия сняли залу вида почти бального — с окнами от пола до потолка и массивными люстрами; сидели по четверо, уютно, за круглыми столиками, покрытыми тяжёлыми розовыми скатертями и с букетиками розовых и белых гвоздик. К удивлению Фредерики, участницы конкурса являли собой разнородную картину: от спокойно-уверенных и дорого одетых — до тех, чьи наряды откровенно безвкусны и старомодны. Были поданы лосось и клубника. Сотрудницы редакции, в своих стильных нарядах, источая тонкие ароматы духов, перемещались от столика

к столику и, беседуя с финалистками, оценивали каждую примерно так, как Мартина Сазерленд оценивала Рафаэля Фабера: хорошо ли человек владеет речью, имеет ли интересные идеи, да и вообще, насколько интересен. Манера сотрудниц редакции — тактичная и притом цепкая, исключительно учтивая и вместе зорко-решительная — оказалась Фредерике по нраву. Когда пришёл её черёд, она стала увлечённо рассуждать о постановке «Соломенного стула». О том, что́ читателю нужно знать о спектакле или фильме, почему язвительные рецензии всегда интереснее читать, чем восторженные, и как можно поломать эту традицию. При этом в воображении она продолжала считать себя автором будущего исчерпывающего труда о религиозной метафорике в эпоху Возрождения и одновременно мысленно подмечала причуды шляпок и особенности речи других финалисток, чтобы потом доложить Алану и Тони. Финалисток поставили для памятного фотографирования в три ряда, как на школьном снимке, а ещё это напоминало разноцветные фрукты, сложенные в вазе. «Если решите у нас поработать, — говорила ей женщина в шапочке с пером, в кремовом льняном костюме (Фредерика и двадцати минут в таком бы не продержалась,

не заляпав), — то для начала мы вас, пожалуй, определим в отдел основных статей, готовить рукописи к изданию. Как вам такое?» Фредерика ответила, что это было бы очень интересно, сделала глоток холодного белого вина. Всё казалось ей ирреальным, словно навели слишком сильно на резкость, всё приятно поглаживало чувства и самолюбие. Объявили победителей. Фредерика заняла не первое, но почётное второе место. К ней подошли лично поговорить редакторы: они надеются, очень надеются, что она поработает у них этот год, — в журналистике её ждёт большое будущее! Её мысленному взгляду представилось аскетическое лицо Рафаэля, усталое лицо Александра… белокаменный городок Кембридж посреди топкой долины… лондонские улицы, такие разные, бурляще-яркие. «Я должна подумать, — ответила она. — Ваше предложение просто чудесное! Я подумаю». Ей хотелось просто жить, отвлечься от мыслей, чтобы что-то само произошло. А произойти здесь может — всё.

Найджел ждал её у собора Святого Павла. Сегодня он был в тёмном костюме и оттого казался ещё плотнее, внушительнее, ещё незнакомее. Серьёзно сообщил, что собирал для дяди сведения о корабельных перевозках; разговаривал он с

ней с чуть заметной церемонностью, взял под ручку и с лёгкими поклонами повёл на прогулку. Собор она уже видела, а вот на сам Сити никогда особого внимания не обращала; и теперь её удивило и даже — благодаря её готовности к новым впечатлениям — заинтриговало и восхитило, насколько люди на этих мрачноватых, увесистых улицах отличаются от прочих лондонцев. Никто не слонялся здесь без дела. Большинство, особенно молодые, каких было много, мужчины в тёмных костюмах и женщины в тёмных юбках и аккуратных блузках, куда-то спешили. Фредерика вдруг подумала, что она *понятия* не имеет, куда они торопятся, как живут, какая у них тут работа, и стала рассматривать каждого идущего навстречу молодого человека, словно надеясь угадать хоть что-то о его привычках, умонастроении. Но удалось ей только заметить, что дешёвый костюм в тех местах, где у человека гнутся руки и ноги, делается в мятую складку, а у шагающего рядом Найджела костюм приятно мягкий и гладкий, без заминочек в локтях и коленях. Найджел хотел показать ей старый город, исторический центр, горевший и перестроенный, который был ещё до

Шекспира и Дика Уиттингтона[245], вместилище купеческих гильдий и ростовщиков, гражданственности и раздоров. Узенькие переулки, куда вход через арку… Полупотаённые проходные дворы… Церкви разбомблённые и уцелевшие — сколько же церквей!.. Вот храм Святого Эгидия у ворот Криплгейт, пострадавший от бомбардировки в 1940 году, — тут венчался Оливер Кромвель и похоронен Джон Мильтон. Центр искусств Барбикан был тогда ещё только в планах, этакая утопия, которую мечтали воплотить в жизнь архитекторы и градостроители. Фредерика с Найджелом прошли по развалинам, оставшимся после бомбардировок: сквозь груды камня пробивались, пестрея розово-лиловым, кипрей и, горчично-жёлтым, — живучий крестовник. Запустение соседствовало с преуспеянием: позолоченными вывесками, стеклянными дверьми с тяжёлыми ручками.

Найджел повлёк её дальше, вниз, к реке. Шагая между складами, указал ей на шкуры и кожи, которых целые груды, сошпиленные кипы виднелись в чёрных от въевшейся грязи окнах. Потом неожиданно проговорил: «Ну-ка, стой-ка, послу-

[245] Примечания: 245

Ричард Уиттингтон (ок. 1354–1423) — английский купец, ставший прототипом персонажа народной сказки «Дик Уиттингтон и его кошка».

шай носом!» И они остановились плечом к плечу и повели, потянули носами, и вдруг — поверх рыбного, илистого запаха реки, поверх пыли и бензина, ещё нёсшихся сзади, — невесть откуда примчался на ветерке аромат пряностей или, может быть, даже скорее старинного корабельного дерева, пропитанного этими пряностями. Аромат, тонкий, сложный — корица, кассия, мускатный орех, гвоздика, — налетал отчётливыми мягкими волнами. Эти душистые волны навсегда связались в памяти Фредерики с тёмным, мягким одеянием спутника, облекающим его плотное тело, с мехами и пряностями, вестью о таинственных дальних странах…

— Мне нравится думать о кораблях да о лодках, — сказал Найджел. — По морю сюда везут товар со всего света. Обожаю наблюдать, как работают серьёзные негоцианты, которые занимаются чаем, кофе, перцем, какао-бобами. Ты когда-нибудь пробовала чистое какао, Фредерика? Я имею в виду, кусала эти бобы? Вкус у них мягко-горький, чёрный, богатый и одновременно чистый, лёгкий…

Они дошли до места, откуда узенький переулок спускался прямо к реке, обрываясь чёрной стенкой, а под стенкой — пристань с пришварто-

ванной баржей, накрытой брезентом. Найджел сел на стенку, свесил ноги, Фредерика пристроилась рядом. Посмотри на них кто-нибудь со стороны, подумал бы: до чего неподходящая пара, он — какой-то неподвижный, несуразный тюлень, с тёмной головою и телом, она — грациозная барышня, то и дело хватается за светлую шляпку, придерживает взметаемый ветром подол. Через несколько лет Энтони Армстронг-Джонс сфотографирует здесь же, рядом, на такой же затопляемой пристани, на ажурном, лишь наполовину выступающем над слоистой водой кресле, прекрасную, погружённую по щиколотки женщину, которая свою шляпку отпустила плавать корабликом[246]. Фредерика смотрела, как вода плещет в илистую стену, лижет железные столбики с их причальными кольцами, бьётся барже в борта, как в речном серединном течении отчего-то закипают мутные вихорьки.

— Скоро прилив, — сказал Найджел Ривер, — видишь, морская вода пробирается… Место это особенное. Здесь при римлянах был брод. Вообще,

---

[246] Примечания: 246

Энтони Армстронг-Джонс (лорд Сноудон; 1930–2017) — известный британский светский фотограф, в 1960–1978 гг. муж принцессы Маргарет (сестры королевы Елизаветы II). Упомянуто, судя по всему, известное фото «Темза у Ротерхайтских доков» (1959).

Темза бойкая, торговая река. Ещё в античные времена, потом в раннее Средневековье приходили сюда купцы. Что-то привозили на продажу, что-то увозили с собой. Люблю эту реку…

Никогда в жизни Фредерику не овевало разом столько несхожих, отовсюду налетающих запахов: заморские специи сейчас спорили с овощной робкой гнилью, чистейшая речная грязь толковала с куда менее чистым речным илом, дальний, тихо-едкий запах мездры был почти готов съесться солью подступающего прилива, — но всего, пожалуй, яснее был тонкий Найджелов запах, который ниоткуда не прилетел, просто был совсем рядом и слагался из солнцем нагретой добротной ткани, еле внятного оттенка лосьона «Олд спайс», ненастырной нотки пота и — человечьей тёплой кожи, не своей, но и не чужой. Она уже успела позабыть его запах, но вдруг поняла: он хочет, чтоб она всегда помнила, что, мол, есть такой Найджел.

— Я сюда прихожу один, — сказал он, — когда хочу умом пораскинуть.

— А теперь пришёл со мной, — сказала Фредерика.

— Да, теперь с тобой. С тобой хорошо.

Он поцеловал её, она схватилась за шляпку. Он

прижал коленом в чёрной штанине хлопающий по ветру поплин и стиснул её в объятиях. Он поправил воротник её платья, поправил ей шляпку и повёл обратно, сквозь тот же пряный ветерок, мимо пыльных кип мехов, стал ловить такси. Она вдруг подумала: он — флибустьер! И от этого слова в ней что-то романтически встрепенулось.

У Найджела была в Кенсингтоне[247] комнатка в двухэтажной квартире, где жили ещё несколько молодых биржевых маклеров и юристов; снаружи здание выглядело как изящный и дорогой семейный особняк, с огромными окнами и выкрашенными в белый цвет стенами. У подъезда Найджел с Фредерикой встретили двух молодых людей: аккуратно причёсанные, одетые с иголочки, те спускались с крыльца по длинной лестнице, ступая в ногу, стуча каблуком начищенных до блеска туфель. Увидев Найджела, они вежливо поздоровались с ним и многозначительно улыбнулись. Фредерику будто и не заметили.

— Досадно, — сказал Найджел. — Обычно в это время здесь никого не бывает. Дай-ка я на кухне поразведаю. Может, бутерброд тебе какой-нибудь соберу. Погоди здесь минутку. — Он исчез за две-

---

[247] Примечания: 247
Старинный престижный район Лондона.

рью и вернулся. — Всё спокойно, можешь идти.

Фредерика прошла за ним в кухню, одолеваемая смутным чувством обиды: почему Найджелу нужно скрывать её от соседей? Кухня её удивила, большая, отлично обставленная — и чудовищно грязная. Раковина завалена пригоревшими сковородками, на виниловом полу — пятна, не то от пролитого супа, не то от кофе. Над холодильником висел календарь с изображением блондинки, сидящей на чём-то вроде козлиной шкуры и одетой в прозрачную чёрную рубашку, которая, конечно же, не умела скрыть блестящие смутные бугорки грудей и ложбинку бюста, изгибы бёдер и выбритый лонный холм. На дверцах холодильника и шкафов приклеены были скотчем или приколоты кнопками записки. «Просьба засранцу, который истратил весь сахар Энди, ЖИВО КУПИТЬ НОВЫЙ». «НЕ ВЫСКРЕБАЙТЕ всё из маслёнки, если нет новой пачки». «Тодди должен Вику полбанки НЕСКАФЕ и немного молока». «Кто уволок моё песочное печенье?» Фредерика твёрдо рассудила, что не станет предлагать помощь с кухонными делами, и наблюдала, как Найджел — таким неуклюжим она его ещё не видела! — нарезает толстыми ломтями хлеб, кусочками — крошкий белый сыр.

— У кого-то, может, яблоко найдётся. Хочешь яблоко?

— Если ты уверен, что можно…

— В последний раз, когда я сюда приезжал, обнаружил, что кто-то опустошил мою бутылку коньяка на три четверти. Так что я имею право на парочку яблок. Пойдём наверх.

В его комнате на всём лежал слой пыли; обстановка была типичной для наёмного жилища: раскладной стол-тумба, хлипкий крашеный платяной шкаф, торшер с абажуром из веленевой бумаги. Постель не была заправлена, простыни сбиты, одеяло взметено причудливой горой. На каждом выступе — открытых дверцах шкафа, на спинке единственного кресла — развешена мужская одежда. Вдоль плинтусов выстроились ряды ботинок и штиблет; на спинке кровати красовалось множество полотенец. Найджел поднял одну из откидных столешниц, приставил два стареньких стула, и они сели рядом, принялись жевать бутерброды, запивая из стаканчиков красным вином, которое Найджел извлёк откуда-то из глубин шкафа. Их колени соприкоснулись. Фредерика знала, что́ неминуемо будет дальше, и довольно сильно (для себя) волновалась. Волновалась по двум причинам. Во-первых, она совсем

не понимала, что́, по мнению Найджела, между ними происходит или вот-вот произойдёт. Весёлая интрижка? Любовь на одну ночь? Прелюдия к предложению стать хозяйкой обнесённых рвом владений? Двое других обитателей квартиры словно её не заметили, и это наводило на мысль, что Найджел (как, возможно, и все они!) имеет обыкновение появляться здесь с неизвестными дамами. Во-вторых, она побаивалась его телесно. Всё это, подумала она с неопределённой тревогой, может оказаться «чересчур». Найджел спросил, не хочет ли она освежиться, посетить ванную. Посоветовал захватить с собой одно из комнатных полотенец: «Никогда там не оставляю, а то непременно стащат и будут ими туфли чистить или лужи на полу подтирать». Ванная, как и кухня, была превосходной во всех отношениях, но сплошь покрыта вековой грязью и пятнами. Край раковины обрамляло кольцо старой мыльной пены в волосках от бритья. Сама ванна была полна какими-то тряпками, в которых Фредерика, с минуту пристально вглядываясь с сиденья унитаза, распознала клубок спутанных голубых и белых рубашек в мутной воде. Кто-то усердно тёр воротник одной из них и сдался на полпути: на краю ванны лежала намыленная, засохшая

щётка для ногтей, сама рубашка так и осталась перекинутой через ванную полочку. Фредерика вдруг поняла, отчего запах в этой квартире показался ей знакомым. Пахло как в раздевалках школы Блесфорд-Райд — мужским потом, мужской мочой, старой мыльной пеной.

Когда она поднялась обратно наверх, Найджел уже успел — с замечательной умелостью, если вспомнить слабые навыки изготовления бутербродов, — застелить постель и на ней восседал. Они молча разделись, легли. Спустя время все прочие запахи заслонил запах близости, солёный, как будто морской… А ещё спустя время в беспокойной её голове перестали сновать и роиться — Александр, С. Т. Кольридж, любезные умные дамы из «Вог», Джон Мильтон, Рафаэль Фабер, мерцание Кембриджа, разлад восприятия в современной поэзии, — Найджел всё развеял. Да, она опасалась не напрасно… И последняя, хвостиком, её мысль, перед тем как погрузиться в беспробудный сон, головою не на подушке, а на этой незнакомой груди: вот, не знала, что тепло может, вниз спустившись по лесенкам-позвонкам двух спин, так сойтись в треугольнике — почему треугольнике? — беззащитном и нежном…

…«Перестань со мной воевать, ну, уймись же…»

— приговаривал он, не напористо, не с упрёком, а спокойно, меж тем бережно действуя то рукой, то бедром, то ещё кое-чем. Она ведь считала себя, бедная Фредерика, не способной полностью раствориться, забыться, и несколько раз за время их тёплого, терпеливого сражения испускала коротенькие ложные стоны, притворялась, что дрожит от восторга, но незнакомец всего этого в расчёт не брал, продолжал мягко, неотступно её исследовать, проводя там и сям своими чуткими пальцами, вызнавая о ней важное. Она всё не сдавалась ему, застывала и отстранялась, а он говорил: «Подожди, не спеши, моя умница, что-то ведь ещё будет». И в какую-то минуту, для себя неожиданно, она вдруг поддалась властной неге, потеряла себя, перестала быть отдельной Фредерикой, и простёрлась к нему, и впустила внутрь своего существа, и вскричала, услышав свой вскрик. И тогда он прошептал: «Да, да, вот! теперь!» — и, лицо отвернувши чуть на сторону, весь напрягся, как будто закостенел, а потом рухнул рядом. Заснула она как убитая, не помня, кто она такая, где находится, и очнулась лишь ближе к утру в смятении, ощутив внезапно щекой незнакомую кожу и как прямо под ухом бьётся, размеренно, в чужой чьей-то жилке, незнакомая

кровь незнакомого сердца.

И он снова притянул её к себе (теперь её жажда была под стать его напору); в голове у неё мелькнуло: «Боже, я умираю», и она вдруг поняла одну из древнейших метафор: «la petite mort», «маленькая смерть»…

Через несколько часов, когда они снова сидели за пыльным столом, ели то, что накромсал Найджел, она рассказала ему про конкурс журнала «Вог»:

— Поздравь меня. Мне сегодня работу предложили, год в редакции, если захочу, конечно.

Всё в ней словно гудело, она чувствовала, как горячая кровь приливает, покалывает иголочками в странных местах, в паху, подмышках, груди. Вместе с тем она ощущала непонятную расслабленность в коленях, лодыжках и ещё почему-то в запястьях, шейных позвонках, связках бёдер.

— Что ж, дело хорошее. Поздравляю.

Он улыбался. Она почти никогда ещё не видела его улыбающимся. Улыбался, но в глаза не смотрел. Будто вглядывался куда-то в даль, с видом вполне довольным, сквозь обои с узором из листиков, сквозь зеркало в разводах.

— Я не знаю, что мне делать. Остаться в Кем-

бридже или выбраться в большой мир, переехать в Лондон. Не уверена, что гожусь в журналистки.

— Ну конечно переселяйся. Будем приятно проводить время.

— Приятность не главное соображение.

— *Не главное соображение…* — сказал он, снова с удовольствием повторяя за ней слова, как делал это раньше. — Что ж, может, и не главное. Но всё же соображение, согласись.

Он удовлетворённо вздохнул. Он в себе был уверен.

Фредерика зыбко подхватила стаканчик с вином — и пролила. Найджел вытер лужицу своим белым носовым платком — настолько же безукоризненно чистым, насколько стол его был безукоризненно пыльным.

30
Единственный воробей

Была перед Рождеством суббота, которая выдалась особенно долгой. Стефани, как и каждый год, пыталась приготовить комплект костюмов для маленьких актёров рождественского представления: сидела, обложившись картонными коробками с махровой тканью, бортовкой, вискозой и таффетой. Она отыскала восточный тюрбан, который несколько лет назад скроила из своего старого палантина, некогда украшавшего её плечи на кембриджском майском балу; переливчато-синий с вкраплениями лимона, скреплённый пряжкой со стразами, тюрбан несколько запылился, а перья, которые она в прошлое Рождество вшила в складки ткани, погнулись и пообтрепались. Она их вытащила, охорошила и с помощью пары ловких стежков пристроила обратно. После чего водрузила это извивистое прихотливое изделие на головку Уильяма. Его тёмные глаза, из-под тюрбана, залучились серьёзной улыбкой. Погоди, сказала она, сейчас ещё мантию дам. Она накинула мантию

на его маленькие плечи и сцепила булавкой; он тут же ринулся к лестнице, стал карабкаться на второй этаж, чтобы посмотреться в зеркало. Мэри потянула её за юбку и сказала: «Мне, мне, мне тозе дать!» Сейчас-сейчас, дочка, ответила Стефани, орудуя иголкой.

Был день сбора Гидеоновых юных христиан; со времени своего создания это сообщество разрослось и бурлило жизнью. Собирались они в приходском общественном здании; юноши и девушки танцевали, пили сидр, а также пылко обсуждали вопросы современной жизни. У блесфордских юных христиан имелись собственные благотворительные начинания — например, красить стены у стариков в квартирах — и свои уже привычные совместные выезды, как правило в Центр полевых исследований, где на лоне природы можно побеседовать о трудностях отношений между людьми в миру. К удивлению Стефани, Маркус, ныне уже студент Северо-Йоркширского университета, поселившийся в Лонг-Ройстон-Холле в одной из мансард для прежней прислуги, где стены были отделаны неполированной сосновой доской, нередко участвовал в этих собраниях. Ещё он ходил на воскресную службу, сидел обычно с Жаклин и Руфью, среди прочих юных

христиан. Во времена своей «болезни» он бывал в церкви с Лукасом Симмонсом, а теперь вот в сопровождении девушек. Стефани понятия не имела, о чём он думает, во что верит. Чаще всего он разговаривает с благоразумной и энергичной Жаклин, которая тоже поступила в Лонг-Ройстон (так местные жители предпочитали называть, по старой памяти, новоиспечённый университет). Может, он в кого-то влюблён? Почему бы и нет — как вообще вышло, что она, Стефани, стала считать его человеком, навеки не способным к страсти? Не влюблён ли он в Жаклин? Гидеон Фаррар, несомненно, обладает огромным личным обаянием, но маловероятно, что Маркус ходит в церковь ради него (хотя как узнаешь, Маркус ведь всё делает молчком). Вообще, с тех пор как он перестал быть на попечении Стефани, он довольно сильно от неё отдалился. Это, впрочем, естественно: его независимость пока ещё шаткая, а Стефани — часть того, от чего он бежит, чего боится.

Поздним утром заглянул Дэниел, с ним была молодая женщина с рябым лицом и грязноватыми волосами, которую он поначалу даже никак не представил. Дэниел излучал невидимую ярость, — казалось, воздух вокруг него вот-вот

займётся в красном диапазоне. Спросил: не звонил ли, случайно, Гидеон? Гидеон в очередной раз испарился, ничего толком не предприняв по поводу рождественских служб и других «мероприятий». Мероприятия Гидеон придумывать горазд, вот только его вечно нет, когда он нужен! И сейчас ему, Дэниелу, приходится заниматься тем, что Гидеон должен был сделать ещё вчера, и времени уходит вдвое больше — потому что надо правильно поставить дело с самого начала, — и ведь никто даже спасибо не скажет!

У подножия Дэниела возник маленький Уильям, в своей шёлковой мантии и уборе:

— Папа, смотри!

— Отстань, — бросил Дэниел, грубовато отталкивая Уильяма. Тот завопил, вцепился в массивную, как колонна, ногу отца и стал бодать её головой, так что тюрбан помялся. — Сделала б, что ли, кофе, — обратился Дэниел к Стефани.

Стефани встала приготовить кофе, а Дэниелу сказала задрожавшим голосом:

— Не надо так с Уильямом. Он ничего дурного не сделал. Просто хотел тебе показать.

Дэниел сокрушённо, беззвучно стукнул кулаками друг в друга; он знал, как чувствительна она к злости, как пугает её повышенный тон,

бессмысленные выпады против кого-то или чего-то. Он подхватил было Уильяма на руки, но тот принялся сердито извиваться; тогда он взял Мэри, она поцеловала его.

— Стефани, это Анджела Мейсон, — сказал он вслед Стефани. — Анджела — соцработница, которая занимается Барбарой Берт. Барбара сбежала из гостиницы-общежития, куда её определили. Наверняка хочет найти твоего Джерри Берта. Я подумал, может, ты знаешь, где он обретается.

Стефани отозвалась с кухни:

— Он присылал открытку. Но давно уже, несколько месяцев назад. Из Лондона. Всего одна строчка: «Крипт церкви Святого Беннета — хорошее место с добрыми людьми. Если когда-нибудь будете в Лондон, ищите меня здесь». Да, ещё просил поцеловать от него Уильяма и Мэри.

Дэниел встретил её слова угрюмым молчанием. Анджела Мейсон сказала: возможно, священники церкви Святого Беннета помогут ей связаться с Джерри Бертом, она спросит, говорила ли с ним жена и не согласится ли он теперь с женой встретиться. Стефани возразила: скорее всего, в Лондон он уехал, чтобы как раз *не* встречаться с Барбарой, и лучше оставить всё как есть. Анджела прихлёбывала «Нескафе» и рассеянно

наставляла пальцы на Мэри, пытаясь затеять игру «Идёт коза рогатая» — малышка прятала личико (с еле-еле различимым розовым пятном) на груди у матери.

— Я думаю, нам определённо не следует настраиваться так пораженчески. Барбара была *серьёзно больна* и теперь жаждет обычного человеческого общения, чтобы хоть в какой-то мере вернуться к нормальной жизни. Она хочет увидеть мужа, объяснить ему, что была больна, невменяема, не в себе. Она человек слабый и зависит от оценки окружающих. Часто страдает от перепадов настроения. Я пыталась привлечь родителей, они ещё живы, но не желают сотрудничать в этом вопросе. Мать, правда, навестила её один раз.

— И что при этом было? — спросила Стефани.

Анджела Мейсон продолжила своим казённым тоном:

— Барбара старалась установить контакт, но, к сожалению, мать не выдержала и начала на неё нападать. Барбара разрыдалась. Видя, что её отвергли, она замкнулась в себе и замолчала. Она легко впадает в отчаяние, считает себя никчёмной и ненужной.

— Джерри тут не поможет, — сказала Стефани.

— Я бы предпочла сама поговорить с ним и

выяснить, — настаивала Анджела Мейсон. — Она ведь когда-то была для него дорогим человеком.

Решено было, что миссис Мейсон напишет в храм Святого Беннета. Дэниел ушёл, но Анджелу с собой не забрал; Стефани сварила ещё кофе и ещё добрых полчаса слушала правильный, гуманный отчёт об одиночестве и страхах Барбары Берт. Несмотря на давнишний сдавленный, сбивчивый рассказ Джерри о ней, о том, как ему звонили из больницы по поводу возможной выписки жены, несмотря на этот новый, пронизанный психологизмом рассказ об эмоциональных травмах и чувстве неполноценности Барбары («Понимаете, миссис Ортон, когда я увидела мать, я поняла, что Барбаре не давали возможности поверить в себя как в самостоятельную личность, дарили ночнушки с рюшами, но не учили женскому самоуважению!»), Стефани совершенно не представляла, что́ Барбара за человек. Она лишь предполагала смутно: доведись им когда-нибудь встретиться, её потянуло бы заглянуть в это чуждое, страшное зеркало, где в глубине колышется вроде бы человеческая, но уже какая-то нечеловеческая беда и погибель, бродят страхи неописуемые, мысли неназываемые, от которых Барбара плыла по волнам телесного ужаса к задушению малень-

кой Лорейн Берт в грязной кроватке… Барбара и так являлась ей пару раз в ночных кошмарах: существо с огненными струистыми волосами, в прозрачном неглиже с рюшами, помесь гневного Билла и первой миссис Рочестер; она склонялась над кроваткой Уильяма или Мэри, откидывала одеяла, обнажая сморщенные от холода детские тела, размахивала горящим факелом. Стефани понимала, что это малодушие, но ей, право слово, не хотелось воображать Барбару Берт воочию. Даже хорошо (хоть и раздражает), что Анджела Мейсон говорила мёртвыми, штампованными фразами, расхожими среди людей её профессии. Анджеле не удалось поселить в сознании Стефани реальную, живую женщину, которая затмила бы виновницу панического ужаса Джерри и собственные её, Стефани, кошмары, разросшиеся вокруг Джерриных рассказов. Стефани прижала к себе Мэри, чтобы успокоиться, и малышка размазала пережёванное печенье из ладошки по переду её платья (не впервой).

Следующей гостьей после Анджелы Мейсон стала Клеменс Фаррар, пожелавшая помочь с костюмами для представления. В прошлом году её сын Доминик, мальчик с почти чёрной кожей, играл Валтасара, облачённый в тот самый

шёлковый тюрбан и мантию; он последним из детей Фарраров недавно перешёл из начальной ступени в среднюю и учился теперь вместе с Джереми Фарраром в школе при церкви Святого Луки (Джереми, хоть и меньше Доминика ростом, был на два года его старше). От учителей, посещавших храм Дэниела, Стефани знала, что Доминик, не по годам крупный, имел репутацию задиры и нередко издевался над младшими учениками. Учителя спрашивали у Стефани, не сказать ли об этом Гидеону и Клеменс; останавливало их то, что Доминик — приёмный ребёнок и мулат. Видимо, пока всё же не сообщили: Клеменс начала разговор с того, как высоко ценят в школе Святого Луки актёрский талант Доминика; сейчас ему дали роль Трусливого Льва в многообещающей постановке «Чародея страны Оз». «Он прямо с головой окунается в своих персонажей, Стефани. В прошлом году мне показалось, что он и *есть* чернокожий волхв, так *величаво* он держался, такая была степень перевоплощения. Вы не находите?»

Стефани охотно согласилась, и приготовилась слушать о достижениях Дейзи, Тани и Джереми. Она сварила ещё кофе и начала делать смотр ангельских нимбов. Клеменс спросила:

— Вы не видели Гидеона?

— Нет. Дэниел тоже его искал. Разве сегодня вечером не собираются его юные христиане?

Клеменс кивнула. Уже продев золотую нить в иголку, она то наматывала на пластиковый ободок жёлтую ленту, то сматывала обратно, в какой-то рассеянности.

— Ваш брат ведь тоже туда ходит? Маркус. На встречи юных христиан.

— Да, ему там, кажется, нравится.

— Вот как? — Уильям протянул руку к цветным тряпицам, и Клеменс отвела её. — Стефани, дорогая, можно с вами поговорить?

— Конечно.

— Вы… что-нибудь странное слышали?..

— О чём?

— Ну, о юных христианах. О Гидеоне.

— Нет, — ответила Стефани, но тут же подумала: кое-что *видела*, сказать язык не повернётся.

— Не знаю, как объяснить. Мне поступили… жалобы. От женщины по имени миссис Бейнбридж.

— Матери Тома Бейнбриджа.

— И Милли Бейнбридж. Милли время от времени ходит. На встречи юных христиан. Миссис Бейнбридж утверждает, что Гидеон… к Милли прикасался.

— Миссис Бейнбридж — женщина очень неприятная, — быстро и не кривя душой сказала Стефани.

— Ну это ведь дела не меняет? — спросила Клеменс.

Стефани хорошо запомнила некий вечер. Она пошла в общественное приходское здание что-то забрать… Дэниел там забыл не то книгу, не то ноты… и нечаянно заглянула в кабинет, выгороженный в одном из углов зала. Свет не горел нигде, ни в основном помещении, ни в кабинете, но кто-то там, подумала она, не выключил газовый обогреватель — проступок довольно серьёзный, удар по карману церкви. Приотворив дверь, она увидела, как печёт раскалённый купол обогревателя, как призрачно колеблются сине-зелёные, красные, белые язычки, а потом заметила, в кресле перед столом, куда еле доставал газовый свет, двоих: Гидеон Фаррар, в расстёгнутой до пояса рубашке, и девушка, её рубашка тоже расстёгнута и спущена, оголяя плечи. Но была это не Милли Бейнбридж, воинственная шестиклассница из Блесфордской школы с волосами цвета гнедой лошадки. А одна из подруг Маркуса — та, что с бледной косой, молчаливая, тихоня, та, что учится на медсестру.

— Вы верите миссис Бейнбридж? — спросила Стефани у жены Гидеона, стараясь потянуть время.

— Думаю, да, — ответила Клеменс. — Наверное, не один раз это было, раз мать жалуется. Я смотрю, и вы не слишком удивлены. А ведь нас теперь могут в такой грязи извалять!

Она уставилась на Стефани с вызовом, будто это Стефани может или хочет их «извалять в грязи». Стефани вспомнила, что́ было в гостях у Фарраров, в день, когда Гидеон заступил на должность викария: как беседовал он с ней на кухне, как метнул взгляд за вырез её платья, как приобнимал за плечо, как сведущей рукой тянулся к талии. В тёмном приходском здании, впрочем, она поспешно прикрыла дверь причудливо освещённого газом кабинета, вернулась домой и никому ничего не сказала. С тех пор Гидеон её избегал. Клеменс, наверно, обратила на это внимание и сделала неправильные или, быть может, как раз правильные выводы.

— Я заметила, — осторожно начала Стефани, — что Гидеон любит выражать себя *физически*. Ему нравится танцевать, дружески прикасаться к людям, вообще устанавливать физический контакт. На этом во многом основан его успех.

— Это половое влечение и похоть.

— Половое влечение — и в хорошем, и в плохом его виде — источник человеческой энергии, — сказала Стефани, продолжая выдавливать из себя банальности. — Клеменс… вы думаете, Милли Бейнбридж… или кому-нибудь ещё… причиняется серьёзный вред?

Красивое личико Клеменс окаменело.

— Ну, этим глупым девицам… что им сделается. Они, поди, сами напрашиваются. Куда больший вред он причинит себе, если пойдут слухи. Ну а хуже всего от этого *мне*, понимаете, *мне*! Он мне омерзителен!..

Клеменс уронила голову на ворох воздушной ткани — сухие, безудержные рыдания душили и сотрясали её. Потом с губ начали срываться слова, о которых — Стефани была уверена — Клеменс непременно пожалеет, с её-то горделивостью и обожанием приличий:

— Он кобель. Я всегда это знала. После Джереми всё началось. Он сперва меня укорял, мол, никуда не годишься. Оно и правда, с тех пор как Джереми родился, от меня никакого проку. Так что поначалу я почти даже радовалась, что девчонки эти у него появились. Оставил меня в покое, перестал лезть днём и ночью, руки распускать,

навязываться силком. Тебе меня не понять! Ты счастливая. Я вижу, как у вас с Дэниелом. Ты — счастливая. А у нас всё наперекосяк. Хотя не всё: *карьера* Гидеона складывается удачно, если он, конечно, всё не испортит…

— А дети как же…

— Да они друг друга ненавидят. Доминик и Таня объединяются вдвоём против бедного Джереми, издеваются над ним. Доминик даже… трясёт в его сторону своей… своей *штукой* и говорит: с Джереми что-то не так, раз у него такой *заморыш.* А Гидеон знай смеётся, ему весело! Я забросила одно время Джереми, потому что двух других, приёмных, жизнь потрепала, им больше требовалось заботы да внимания… А теперь он меня ненавидит… он всех ненавидит, мой бедный мальчик. Мочится в постель, в школе плохо успевает… Простите, я болтаю лишнее.

Стефани попыталась перевести разговор в практическое русло:

— Вам следует поговорить с Гидеоном. Предупредить его. Если вы, конечно, в силах. Или мне лучше попросить Дэниела?

— Нет, Дэниела он боится. Ему кажется, что Дэниел его постоянно *судит*. Он с Дэниелом паясничает. Лучше поговорите с ним вы, Стефани.

— Я? Да как же я могу?

— Вас он не боится. И послушает. Хорошо бы вы и с миссис Бейнбридж поговорили…

«Да, выходя за мужчину, выходишь и за его работу, — подумала Стефани грустно, уже в который раз. — Особенно если он священник. Но это, пожалуй, чересчур…»

Тут белая кошка внесла в дом воробья.

Вообще, охотница она была не самая знаменитая. Был у неё период, когда она тащила из огорода всякую ползучую живность и выкладывала на коврике у камина: то мокрых розовых червей рядком, то молочно-коричневых слизняков кучкой, а однажды добыла двух особенных, огромных чёрных слизней, с горбом на спине, в крошечных леопардовых пятнышках. Уильям всегда выносил всех пленников обратно, заботливо усаживал внизу среди стеблей настурций, а маленьких — почему-то — на листья подсолнухов. «Вот, — приговаривал он, — холосая земля и листики, да?» А кошка тем же вечером приносила новых склизких жителей сада, возможно, тех же самых…

Воробей обмяк в мягком белом кошачьем ротике, повис безвольно, но вдруг забился что есть силы.

— Ой, бедняжка, ой, не могу! — запричитала Клеменс Фаррар.

— Мама, птичка, птичка! — закричал Уильям. — Возьми у кошки!

Стефани грозно надвинулась на кошку, кошка — иззелена-бледное пятно на ковре — с чрезвычайным мастерством уклонилась и, не расставаясь с добычей, шмыгнула под любимое кресло миссис Ортон. Стефани сунула туда руку, стала хватать кошку за что придётся — за заднюю лапу, за мечущийся хвост. Кошка, не оставаясь в долгу, поцарапала ей запястье; из-под кресла раздавалось низкое ворчание и птичий писк.

— Да пусти же, — говорила Стефани, сотрясая кресло.

— Пусти! — тщетно приказывал кошке Уильям, всё ещё в шёлковой мантии.

Кошка и воробей вдруг возникли из-под дальнего угла кресла по отдельности; воробей яростно бил крыльями почти у самого пола.

— Пошла вон! — сказала Стефани, замахиваясь на кошку руками и ногами. — Уходи, уходи, убирайся!

— *Плохая* кошка! — крикнул Уильям, тоже подступая к кошке.

— Не подходи, поцарапает, — сказала Клеменс.

Кошка вдруг, что-то такое себе надумав, скакнула во двор, в кошачью дверцу, подобно тому как грозный тигр в цирке прыгает в обруч. Стефани подпёрла дверцу угольным ведёрком. Уильям протянул руки к воробью, а тот внезапно пришёл в себя и взлетел на верхушку книжного шкафа.

— Оставь его пока… — проговорила запыхавшаяся Стефани. — Откроем окошки, он, глядишь, сам потом и вылетит.

— Можно птичку держать дома, — сказал Уильям.

— Нет, воробью это не понравится. Воробей птица дворовая, там ему и жить.

— Ну, мне, пожалуй, пора, — сказала Клеменс, успев за время схватки вернуть самообладание и подобающую жене викария манеру. — И всё-таки, Стефани… вы не могли бы… поговорить с Гидеоном?

— Может, вы всё же *сами*?

— Нет, не получится. Не станет он меня слушать. Или даже… Я его раздражаю, я только хуже сделаю.

— Тогда я сначала расскажу Дэниелу?

— Если без этого никак нельзя… Лучше бы не надо, но если необходимо…

Дэниел домой обедать не пришёл. Зато к ней

заглянули мамы, дети которых участвовали в представлении, немного пошили вместе. Ближе к вечеру Дэниел позвонил и сказал, что не успеет и к ужину, столько у него дел. Стефани приготовила макароны с сыром, покормила ими Уильяма и Мэри. Искупала детей, почитала Уильяму («Гензель и Гретель») и уложила их спать. Уильям дважды взмётывал к ней ручки из кроватки, спрашивал взволнованно:

— Мамочка, с птичкой всё будет хорошо?

Воробей по-прежнему сидел на шкафу. Пару часов назад Стефани, по настоянию Уильяма, забралась на шаткий стул и попыталась схватить гостя. Воробей принялся нарезать круги в воздухе, задевая карнизы и лампы, с каждым разом всё ниже и ниже, в какой-то миг с воинственным чириканьем приземлился на плиту. Но тут же снова взлетел на книжный шкаф. В гостиной было холодно: Стефани как можно шире открыла окно.

— Папа поможет воробью вылететь. Засыпай.

— Он же не ранен, нет?

— Был бы ранен, разве сумел бы так летать?

— А кошка же не *плохая*, да?

— Конечно не плохая. Просто, понимаешь, Уильям, такая у кошек природа. Кошки едят птиц. Но не у нас в доме, верно? Мы этого не допустим.

К утру воробей будет на свободе. А теперь засыпай-ка.

Дэниел всё не приходил, но около одиннадцати, после встречи Гидеоновых юных христиан, явился Маркус. Стефани сварила ему кофе и подумала, может, удастся из него вытянуть что-нибудь о проделках Гидеона? Маркус сегодня казался каким-то беспокойным, озабоченным. Сел в кресло Дэниела, угрюмо уставился в огонь.

— Как прошёл вечер?

— Ничего, нормально.

— Ты не очень весёлый. Что делали сегодня у Гидеона?

— Говорили о любви. О разных видах любви. Эрос и агапэ. Любовь-сострадание. Любовь в семье. Ну, в общем, всё как обычно.

— Много было людей?

— Да, довольно-таки. Много.

— И все… высказывались?

— Ну… ты же понимаешь, как это бывает. Он — Гидеон — любит нас разговорить, чтоб мы делились друг с другом случаями из жизни. Ну вот и делились. Рассказывали о любви, кому что довелось испытать. Он говорит, мы — общество, которое не умеет общаться. Мол, не делимся друг с другом важным. Вот все и давай докладывать.

— Ужасно. Вернее, ты так рассказываешь, что кажется ужасным, Маркус. А как оно было на самом деле?

— Трудно понять. Ты же знаешь Гидеона. У него дар такой, с ним всё кажется огромным… ну, важным, там… значимым.

— А ты что-нибудь рассказывал… про любовь?

— Как можно, нет, конечно! — ужаснулся Маркус. — Это вообще последнее дело. Любовь — вещь личная. По крайней мере, я так полагаю.

— А зачем ты ходишь, Маркус?

— Ну, мои подруги ходят. Жаклин, Руфь.

— А они там чем-то делятся?

— Иногда.

Он хотел рассказать кому-нибудь, кому-то не из юных христиан, что́ Руфь сказала о любви в ответ на вопрос Гидеона, а теперь вдруг передумал. Так он, чего доброго, выставил бы в глупом свете себя или Руфь… Возможно, даже Гидеона — в памяти Маркуса всё ещё стояла Гидеонова ободрительная улыбка, такая немного дьявольская, побуждающая Руфь продолжать говорить, не останавливаться… Снаружи у двери раздался скрогот когтей и вопль: кошка желала проникнуть внутрь. Поглощённый мыслями о *любви*, Маркус не заметил ни воробья на книжном шка-

фу, ни сквозняка в доме. Стефани указала на верх шкафа:

— Надо помочь ему выбраться в окно. Он может летать, я видела.

Воробей взмыл к потолку и полетел, но не в окно, а вглубь дома, в кухню. Стефани побежала за ним, погнала его с плиты: да улетай же наконец, глупое создание, окно открыто! Воробей, однако, прянул вверх, стукнулся в потолок, упал и, шаркнув крыльями по полу, забился под холодильник.

Стефани решительно потащила холодильник на себя (Маркус завис за ней в дверном проёме) и отодвинула от стены. Воробья не видать, не слыхать. Стефани опустилась на колени и попыталась сбоку заглянуть под заднюю часть агрегата, благо теперь была такая возможность. Кожух почему-то не доходил до низа, а загибался внутрь почти у пола, и там в глубине виднелся узенький металлический выступ, наподобие карнизика, всего сантиметра три глубиной. В этом-то углублении, в самом дальнем его уголке, и прятался, дрожа, воробей: из глубокой тени смотрел маленький, живой, блестящий глаз. Стефани прилегла на кухонный пол и, засучив рукав, вытянула руку вдоль этой щели, в дальнем

уголке выщупывая пальцами, где же этот комочек, как бы его ухватить.

И тут холодильник нанёс свой удар. Против воли дёрнулась, стиснулась на металле рука, через руку вскочила в тело неведомая боль, в голове сразу набрякло, и мысль туго мелькнула, вот, мол, и всё. Рука трясётся, горит, припеклась к металлу… два детских личика на подушке — что же с ними теперь будет?.. Вспышка слова «альтруизм», зачем? И — тёмная боль, разрастается, разрастается, ещё темнее…

Маркус не умел быть быстрым. Позднее он подумает: будь он Дэниелом, наверное, сразу сообразил бы отключить эту штуку, а не стоял бы, слыша запах горелой плоти и как сестра забилась, невнятно застучала ногами по полу, потом вдруг сипящий вздох, ноги вытянулись, и в тишине только ужасно, вольно *горит, беспрепятственно*. Он подошёл к двери, открыл её и крикнул наружу: «Помогите!» — но из пересохшего горла не вырвалось ни звука. Он вернулся обратно, потому что горелым пахло всё сильнее, и тогда, разумеется уже слишком поздно, выдернул из розетки шнур холодильника. Он не мог ни дотронуться до *неё*, ни смотреть, и жалко шагал туда-сюда между кухней и входной дверью, впустую тратя

время, потом наконец вспомнил о телефоне и сумел вызвать «скорую». Стал ждать, смотря на ногу Стефани, торчащую из дверного проёма кухни, в наполовину соскочившей туфле, и вдруг вспомнил про детей — спят наверху! — и его объял страх, что они могут проснуться, услышать, увидеть или почувствовать запах… могут начать просить его, Маркуса, что-то сделать… что?.. Совершенно необходимо найти Дэниела, но как? В голову ему пришло только, что о местонахождении Дэниела можно спросить Гидеона Фаррара; он заставил себя отыскать номер у Стефани на кухне, рядом с телефоном.

Трубку взяла Клеменс. Он снова не мог выдавить ни звука, попробовал откашляться.

— Ну, говорите!

— Это я. Маркус Поттер. Дэниел не у вас?

— Нет. Сейчас спрошу у Гидеона, может, он знает. — Тишина, затем: — Гидеон не знает. Что-нибудь произошло?

— Произошёл… случай. Несчастный. Кажется. Стефани, кажется…

— Маркус, что такое? Почему ты молчишь?

— …Кажется, она умерла.

Тогда, на другом конце провода, потрясение накрыло и Клеменс.

— С тобой там кто-нибудь есть?
— Нет. Я вызвал «скорую». А Дэниел…
— Подожди, мы сейчас придём!

Домик наполнился людьми. Фельдшеры перевернули Стефани — Маркус не смотрел, — попробовали делать искусственное дыхание. У Гидеона Фаррара была с собой бутылка бренди, он налил Маркусу немного в чайную чашку. Плохо дело, сказали фельдшеры. В больницу её отвезут, но дело худо. В передней двери повернулся ключ, вошёл Дэниел, хмурясь от удивления, подозрения, раздражения при виде Гидеона и Маркуса, а над головами у них вдруг проворно вылетел в ночь воробей.

31
Крошки света

На следующее утро Дэниел проснулся в спальне, полной света. Он стал перебирать в голове дела: причастие, утренняя служба… и вдруг свет показался ему чем-то ужасным, этого света не должно теперь *быть*, после того, что случилось. Занавески он, однако, задёргивать не стал, сияние лилось в комнату; он взглянул на свет твёрдо, оделся и пошёл будить детей. Клеменс Фаррар накануне попыталась забрать Уильяма и Мэри ночевать к себе и, когда он отказался, вызвалась остаться сама при детях, но он ей не позволил.

Он вспомнил… Когда-то приходится вспоминать впервые: память ещё ничего не сгладила, и картинка словно залита таким же резким, безжалостным светом.

Вспомнил, как она лежала на полу с обожжённой рукой, рот разинут, скорчен мукой. Бледные волосы мягко сияют, рассыпались по мёртвым плечам. Спереди на жёлтом домашнем платье знакомое беловатое пятно, рядом пятнышко

поменьше, новое, от печенюшки Мэри (что ему было невдомёк). Он с полувзгляда понял, что случилось непоправимое, но немедленно строго повторил себе, чтоб не заблуждаться: «Она умерла». Потрясение отозвалось в нём не слабостью, а, напротив, своего рода вспышкой умственной ясности и физической энергии, выбросом адреналина, будто ему предстояло начать забег на длинную дистанцию (а ведь, по сути, и предстояло). На одно долгое мгновение он ощутил силу, что в нём поднялась, словно седьмой вал, готовый разбиться о волнорез[248], и сразу же ему дано было почувствовать, что сила эта будет источником его страдания, что ему потребуется немало времени, чтобы постичь и пережить происшедшее, что он будет думать, и вспоминать, и воображать иное и что этого пути никак не одолеть быстрее. Вся дальнейшая его жизнь — жизнь *после* этого события. Он склонился и коротко коснулся её волос, тёплой прохлады руки — но не лица…

---

[248] Примечания: 248

В разных народных традициях существует убеждение, что каждая седьмая или каждая девятая волна — гораздо больше и опаснее предыдущих. В «Королевских идиллиях» А. Теннисона как самый мощный удар стихии упоминается девятый вал, последний, который настаёт в конце. Возможно, сила Дэниела сравнивается здесь с седьмым, а не с последним, девятым валом, поскольку ей ещё предстоит достигнуть апогея.

Он был человек дела. Её уносили, а он уже обдумывал, что́ необходимо сделать: ужасающая, неприложимая энергия искала выхода. Надо позвонить её родным, сказал он, и немедленно, без колебаний снял трубку, набрал номер Билла и Уинифред. Отчасти им двигало навязчивое ощущение, что, если Стефани теперь и вправду мертва, совершенно недопустимо, чтобы хоть кто-то оставался в том иллюзорном неведении, в каком он сам возвращался из паба, шёл по садовой дорожке к дому, поворачивал в замке ключ. Одной из самых неприятных обязанностей в его работе было утешать скорбящих, которые отказывались принимать факт смерти близких. «Это ошибка, такого не должно было быть!» — часто слышал он от вроде бы умудрённых и здравомыслящих людей. А вдовы сплошь и рядом говорили: «Я всё ещё жду, что он придёт домой с работы». И вот теперь он должен *сам быть чист от бредней*: никакой жалости к себе и другим, увиливаний, лжи, никакого утешения в фантазиях. Трубку взял Билл:

— Алло?

— Это Дэниел. — Он даже не смог подобрать хоть какую-нибудь смягчающую, подготовительную фразу, выдавить из себя несколько

полуправдивых слов, которые бы позволили Биллу помыслить о возможном печальном исходе, а не сразу узнать о смерти. — Я звоню вам сообщить, Стефани только что погибла в результате несчастного случая. На кухне. Холодильник оказался не заземлён.

Он пристально вслушивался в тишину на другом конце провода, оценивая, сколько силы в собеседнике. Билл переспросил странно ровным тоном:

— Стефани умерла?

— Да. — Тут полагалось прибавить — «Простите за ужасное известие», но это было бы совсем уж нелепо. — Я не хотел, чтобы вы не знали.

— Конечно. Правильно сделал. Можно мне минутку… это осмыслить?

Побежал ли адреналин по более старым венам Билла? Дэниел слушал тишину в трубке. Затем резкий, тонкий голос заговорил, чуть дрожа:

— Я сказал Уинифред. Она… она спрашивает, можем ли мы чем-то помочь. Прямо сейчас. Тебе и детям.

— Нет, спасибо. Я справлюсь.

Они молча слушали тишину друг друга. Потом Дэниел сказал:

— Всё, не могу больше говорить.

— Да, — ответил Билл. — Спокойной ночи, Дэниел.

Несколько времени он пытался дозвониться до Фредерики, но она не отвечала. У неё теперь была небольшая квартирка на юге Лондона, в Кеннингтоне; может, она где-то на вечеринке, с каким-нибудь мужчиной. Он окинул взглядом гостиную, испуганные бесформенные лица Фарраров и Маркуса. Тогда Клеменс и предложила забрать детей, а он отказался. Гидеон сказал:

— Ты уверен, Дэниел? Ты же знаешь, любому… нужно время, чтобы осознать случившееся. Мы не можем оставить тебя одного.

— Я прекрасно понимаю, что случилось. И понимаю, что позднее мне будет хуже. Но сейчас всё равно предпочёл бы остаться один. — Он снова обвёл глазами комнату, и взгляд его наткнулся на незаконченное шитьё — костюмы для рождественского представления. — Заберите это всё. Пожалуйста.

Он посмотрел на Маркуса: тот отхлёбывал маленькими глоточками бренди из чашки. Он хотел, чтобы Маркус тоже убрался из его дома. Маркус задрожал:

— Я… я должен был выдернуть из розетки. Я не сообразил, что происходит. Н-надо было выдер-

нуть вилку.

— Ей следовало помнить, что холодильник не заземлён, — сказал Дэниел. — А мне в своё время позаботиться о заземлении. Бывают несчастные случаи. Мы в них не виноваты, но нам трудно в это поверить. Нас пугает то, что нам неподвластно.

Клеменс спросила:

— Маркус, хочешь пойти к нам?

Маркус смотрел на Дэниела, тот мотал головой из стороны в сторону, словно истерзанный бык на арене.

— Я к себе, — ответил Маркус.

Утром Дэниел прошагал по коридору в комнату, где спали дети. Мэри — в детской кроватке с перилами, Уильям — уже на большой кровати. Мэри стояла, держась за перила, и таращила глазки; Дэниел взял её на руки, вдохнул её ночной запах, присыпки и детской мочи, затем подошёл к Уильяму. Ему он тоже хотел сказать правду кратко и ясно, без предисловий. Дэниелу навсегда запомнилось то мгновение, когда мальчик сонно улыбнулся и зашевелился, в неведении готовясь начать обычный день, а Дэниел воззрился на него из темницы своего знания. Он подумал, что надо бы прежде свести Уильяма вниз, накормить, ска-

зать что-нибудь — что? — мягкое, не пугающее. Но тут Уильям спросил:

— А где мамочка?

— С ней случилась беда. Её забрали в больницу.

— Они её полечат, как бабушку. Можно мы к ней поедем?

— Нет, Уильям. Эту беду не вылечишь. Она умерла.

Дэниел всё ещё прижимал к себе Мэри и через рубашку чувствовал, что она мокрая. Тёмными глазами Уильям вперился в его глаза, шумно вдохнул, и ещё, и ещё… Потом сказал только одно слово:

— Нет!

— Понадобится время, чтобы это осознать.

— Нет! — снова сказал Уильям и, уткнувшись лицом в подушку, натянул поверх темноволосого затылка одеяло. — Нет. Нет. Нет.

Это был ужасный день. Дэниелу удалось в конце концов уговорить Уильяма спуститься позавтракать, но больше ребёнок не вымолвил ни слова; Мэри, беспокойная, встревоженная, немного поклевала, но больше раскидала. Днём приходили люди, много людей: Билл и Уинифред, Фаррары, завсегдатаи-неприкаянные, церковный староста,

соседские жёны. Дэниел поймал себя на мысли, что проводит у себя дома какое-то нескончаемое чаепитие (от которого сам, впрочем, в стороне); гости то сидели молча, то оживлённо обсуждали дела житейские: предстоящее праздничное представление, Рождество, рецепты имбирной коврижки (кто-то принёс немного с собой).

С утра Дэниел отправился в церковь на службу (Уинифред взяла Уильяма и Мэри к себе). Возможно, лучше б ему было туда не ходить, ибо Гидеон Фаррар поднялся на амвон и произнёс речь:

— Сердце моё наполнено печалью, и трудно держать речь о том, о чём сегодня подобает. Многие из вас уже, наверно, слышали, что вчера вечером жена Дэниела Ортона, Стефани, стала жертвой несчастного случая и скоропостижно скончалась. Стефани была красивая и одарённая женщина и вместе с тем скромная, не отказывала в помощи никому, кто к ней обращался. Все мы очень любили её, и теперь мы должны поддержать её близких — её мужа, детей и родителей — в эти тяжёлые, скорбные дни…

В таком роде говорил Гидеон ещё несколько времени: его поминальные слова, добросердечно-обыденные, были как преждевременные комья земли, упавшие на Стефани и отделившие её ра-

зом от жизни, от живых. Дэниел, однако, нашёл в них урок правды: раз говорят о ней в прошедшем времени — *«она была»*, — значит теперь её здесь уже нет. Да, именно так. Иного не дано. До сих пор он — хоть вчера и задался целью повторять себе столько раз, сколько нужно, чтоб увериться, — возможно, по-настоящему не верил, что её не вернуть. Когда Гидеон дошёл до свежих преданий о том, сколь много пользы приносила Стефани приходу, Дэниел испытал укол горечи и стыда. Так как вспомнил сетования Стефани об оскудении словарного запаса… сетования смолкли и все слова отступили, когда, обнявшись, потянулись они вверх по лестнице, в спальню… усилием воли он запретил себе дальше вспоминать.

С беспокойной решимостью, свойственной ему в эту пору, Дэниел без промедления занялся вещами Стефани. Ловко и будто деловито опустошал он ящики её комода и шкафчики, складывал одежду и прятал в большие картонные коробки, чтобы отдать в Армию спасения. Брал в руки бельё, ночные сорочки, это было муторно; и неожиданно стеснилось в горле, едва вдруг вынырнуло из глубин большого шкафа розовое платье (в нём она была в жаркой комнатке Фелисити Уэллс, в доме прежнего викария, в тот самый день, когда

он впервые обнял её колени). Он строго приказал себе не киснуть, в интересах порядка… Но неделю спустя, в ванной, оказался вновь застигнут врасплох: опрометчиво открыл бельевую корзину, а там на дне, свившись клубком, бюстгальтер, трусики, нижняя юбка, — и к глазам подкатили слёзы. «Ах вот оно что! Вот оно что!.. — повторял он, в квадратных пальцах сжимая эти последние, призрачные остатки её телесности. — Может, будешь ещё и волком выть?»

Тем временем в Лондоне Александр Уэддерберн, размашисто шагая через сквер Рассела, налетел на шатко и неверно бредущую женскую фигуру, которую вначале принял за пьяную, затем узнал в ней Фредерику Поттер — лицо её было лилово-красно от плача, слёзы струились по щекам. «Стефани погибла! — вскричала она так громко, что голуби взметнулись вверх, а равнодушные прохожие повернули головы. — Ах, Александр, нет больше Стефани!..» Он отвёл её к себе на Грейт-Ормонд-стрит, сварил ей кофе, укутал в плед и узнал, что в час смерти сестры она «разгульничала», «была с мужчиной». «Мне кажется, я должна была *почувствовать*, должна была *знать*!» И она снова разрыдалась, и позволила Александру себя утешать очевидными

фразами: мол, она никак не могла заранее знать про злую участь Стефани, она ни в чём не виновата, это был ужасный, несчастный случай. Александр поедет с ней вместе в Блесфорд на похороны, если она, конечно, не возражает.

В памяти Александра она ожила такой, какой была в день своей свадьбы: мягко-округлая, в белом подвенечном наряде, она стояла тихо и безмятежно в гостиной домика на Учительской улочке (он же метался вверх-вниз по лестнице в поисках крошечных золотых английских булавок). Образ отозвался в нём болью почти физической, он почувствовал, что должен немедленно написать Дэниелу. Не могло быть, разумеется, речи о том, чтобы воскрешать в сочувственных словах эту удивительную Стефани: уж коли ему, не самому близкому, живое воспоминание причинило муку, то что же стало бы с Дэниелом? Письмо вышло короткое и мрачное, малоутешительное. Александр писал: хотя он не знает, как вообще возможно с таким свыкнуться, но надо жить дальше, как жили и живут люди, с которыми случалось подобное; Дэниел — человек сильный. Это письмо, в манере отвлечённой и как бы непричастной, почему-то сделало на Дэниела впечатление, какого не смогли произвести

иные, исполненные любви к Стефани, рисующие женщину, жену, мать. И он сохранил этот лондонский конверт с письмом, в отличие от прочих, на которые отвечал как можно скорее, после чего с чистой совестью выбрасывал.

Он сказал Гидеону, что берёт заупокойную службу на себя. Гидеон усомнился в разумности этого решения: Дэниел отлично держится, но не берёт ли на себя слишком много — дети, дом, и ещё похороны? Неужели он ни от кого не может принять утешение и поддержку? Дэниел вперил в него воинственный взгляд. Ему была невыносима, среди прочего, мысль, что Гидеон снова коснётся её своими глупыми словами, посмеет сказать ещё что-то о *ней, его жене, Стефани*. Имя её тоже становилось тяжело произносить и про себя, и вслух. Он предпочитал — «она» или «моя жена». В словах «моя жена» была связь с самим собой, с Дэниелом, которому нужно принять утрату и двигаться дальше. Ему теперь приходилось говорить людям: «Моя жена умерла» — так принято о себе сообщать. Но её имя принадлежало только ей, и произносить его означало трепыхаться на грани необходимости и невыносимости думать: она была *жива*, а теперь *умерла*, она делала то-то и то-то, боялась того и сего… Он ответил Гидеону,

что ему лучше, когда он занят делом, он чувствует себя нормально, ему нужно что-то делать.

Ещё он постановил, немало встревожив этим Уинифред, что Уильям должен присутствовать на похоронах. Он вспомнил те первые — почему-то сейчас против воли ярко очнувшиеся в голове — невыносимые дни после смерти отца, когда его отстранили, оторвали от происходящего, отправили «играть». Не надо отвлекать Уильяма играми, решил Дэниел, не надо запутывать, сын должен знать, что мама умерла. Уинифред окинула взглядом опустевшие комнаты — с каким же тщанием из этого места, где жила её дочь, убраны все следы её присутствия: со стен исчезли фотографии, письменный стол прибран и пуст, даже корзинка с садовыми принадлежностями пропала… Она попробовала отговорить Дэниела:

— Уильям может испугаться, в его возрасте очень страшно думать о человеческом теле под землёй, я по себе это знаю, а он ведь ещё совсем ребёнок.

Дэниел уставил на неё глаза, полные аспидного гнева (не вспышка ярости Билла, а другое), и, казалось, усилием воли напомнил себе, что она тоже как-никак потеряла дочь.

— Когда умер мой отец, — сказал он, — меня к

нему не пустили. Даже ничего не объяснили. Лишили возможности его оплакать. Причинив мне этим большой вред. Такова жизнь — люди уходят в землю и не возвращаются. В старые времена детям давали возможность это *понять*. Уильям — *понимает*. За Мэри присмотрит кто-нибудь из юных христиан Гидеона. Мэри тоже смекает, но не так, как Уильям. Уильям должен через это пройти.

— Не сорвать бы ему психику…

— Он почти всё время молчит… — Дэниел словно на мгновение усомнился. Затем вспомнил: — Он спрашивал, всё ли хорошо с *птичкой*. За воробья волновался.

— Если я могу чем-то помочь с Уильямом…

— Да, пусть он тогда в церкви посидит при вас.

Большинство из пришедших в церковь помнили Дэниела во время венчания: каким он был подвижным в своём увесистом теле, как всему вокруг улыбался — своему храму, своим прихожанам. Сегодня манера, в которой он начал эту службу, повергла паству в небольшое смятение. Безмолвный, весь в чёрном, он уже стоял в алтаре подле гроба; вдруг двери церкви открылись, и на задний ряд проскользнул последний, запоздалый прихожанин… Билл Поттер! В своё время Билл не

смог себя заставить прийти на венчание дочери с молодым куратом, чьи убеждения презирал и которого не мог принять как сына. Теперь взгляды их встретились над головами собравшихся: Фредерики и Александра, Гидеона и Клеменс, Маркуса и миссис Тоун, Уинифред и маленького Уильяма, вцепившегося в полочку церковной скамьи. Дэниел возговорил громко, яростно, почти свирепо:

— Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынесть из него. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно![249]

Слова, которые он сегодня избрал, были некой преградой между ним и могильной ямой. Они действовали подобающе и спасительно — не потому, что в слова более лёгкие и утешительные ему больше не верилось, но потому, что, мрачные и грозные, они говорили хотя бы частично о правде вещей. Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошёл, и как стража в ночи. Как только ты рассеиваешь их, они ровны,

[249] Примечания: 249

Начало чина отпевания согласно «Книге обиходных молитв» («Book of Common Prayer»): одно за другим произносятся 1 Тим. 6: 7; Иов. 1: 21.

как сон, и, как трава, внезапно засыхают[250].

По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мёртвые не воскресают?[251]

Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные: но иная слава небесных, иная земных…[252] Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба…[253]

А что, он думал, произойдёт? Думал, что слова эти его утешат, как утешал он ими других сам? Что хотя бы немного, смутно, поверится ему, что во мгновение ока всё изменится, мёртвые воскреснут; пшеничное зерно, взошедшее под

---

[250] Примечания: 250

Строки англиканского гимна композитора Ральфа Воэна Уильямса (1872–1958), восходящие к Пс. 90: 4–5 Библии короля Иакова (соответствует Пс. 89: 5–6 синодального издания: «Ты как наводнением уносишь их; они — как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветёт и зеленеет, вечером подсекается и засыхает…»).

[251] Примечания: 251

1 Кор. 15: 32.

[252] Примечания: 252

1 Кор. 15: 39–40.

[253] Примечания: 253

1 Кор. 15: 47.

звездой, которая явилась на востоке волхвам, и впрямь облечётся в нетление?[254] Он шёл рядом с её телом, упрятанным в ящик, к краю ямы, и в голове металась мысль: он ничему из этого не верит, ни единому слову, возможно, даже не верил никогда; ведь он, как *она* однажды, посмеиваясь, о нём сказала, — и есть человек из земли, *перстный*.

Человек, рождённый от женщины, имеет век краткий и пресыщен скорбями. Он, как цветок, прорастает и вянет; убегает, как тень, и не задерживается[255].

Он смотрел на землю, на нелепые кусочки искусственно выращенного газона, которые он забыл попросить не класть. На круглые, на колёса похожие, цветочные венки — осенние хризантемы, а к ним примешаны ещё какие-то ранние весенние белые цветки, принудительно

---

[254] Примечания: 254

Отсылка к знаменитому религиозно-мистическому пассажу англиканского священника, теолога, писателя Томаса Трáэрна (1636/1637–1674) «The corn was orient and immortal wheat».

[255] Примечания: 255

Литургическое речение из старинного издания «Книги обиходных молитв» («Book of Common Prayer», 1662), произносится как часть чина погребения, соответствует Иов. 14: 1–2, отличаясь по форме от Библии короля Иакова и синодального перевода: «Человек, рождённый женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок, он выходит, и опадает; убегает, как тень, и не останавливается».

выращенные, как это бывает зимой, в теплицах, — этакие кружочки, монетки неестественной вечности. Он продолжал вести погребальную службу, произносить, что надлежало; и всё это время смотрел в узко разверстую могилу, и думал — и старался не думать… Вот уж слова закончились, наступила тишина, а он всё стоял, не сходя с места, уразумевающе и оторопело вглядываясь в землю. Другие люди стали переминаться с ноги на ногу на высоких каблуках на галечной дорожке или потопывать холодными ботинками по глине.

Билл взял его за локоть и сказал:

— Пойдём, Дэниел, пойдём. Пора.

Под тисовым деревом Уинифред и Фредерика пытались удержать маленького, напуганного, сердитого мальчика: он выворачивался из рук, вопил и кусался.

Похороны, любил говорить Дэниел своим прихожанам, нужны для того, чтобы собрались вместе, сплотились живые, это обряд для живых; скорбящим следует отделиться от своих покойных, дать им покой. Теперь же он шёл рядом с Биллом (тот вперивался взглядом в брусчатку, будто заучивая каждый камень) и думал, что он

тогда совершенно не понимал, о чём говорил. О каком «сплочении» с этими людьми могла идти речь? Его место осталось там, позади — в темноте, в сырости да в холоде. Зимние деревья, надгробия, краешек церкви — всё виделось ему словно сквозь сажистую вуаль, на которой поплясывали особые крошки света; он почему-то понял, своей чуть кружащейся головой, что это слова, произнесённые им над могилой.

Билл заговорил:

— Ты замечал, что раньше на надгробьях писали: «Умер», а теперь не так: «Ушёл из жизни» или даже «Уснул вечным сном»? Не очень-то нам смерть по нутру.

— Знаю.

— На Ближнем Востоке люди посыпают голову пеплом, рвут на себе одежду, вопят и рыдают. А мы просто идём рядом чинно. Я мог бы сказать, прости, я неправильно к тебе относился, но что это в сравнении с тем, что случилось?..

— Ничто, — молвил Дэниел, продолжая путь через чёрный воздух.

Он даже не заметил, как Билл замедлил шаг и присоединился к остальным.

32
Скорбные страницы

Хороший тон для романиста — не предаваться описаниям скорби. В детективах люди умирают чуть ли не на каждой странице, смерть устилает текст густым слоем, подобно тому как листва устилает ложи ручьёв близ итальянской деревни Валломброза, о чём писал Вордсворт (обыгрывая строки «Потерянного рая», где листья — души сражённых падших ангелов)[256]. И заметьте, никто в детективе не онемеет от горя, все герои ведут себя так, будто ничего не случилось; если мы в разгаре увлекательного повествования, *in medias res*, то текст устремляется к следующей смерти; ну а если недалеко до развязки, то текст скоро подарит нам решение интеллектуальной головоломки, мы узнаем, *кто же убийца*. Детективы, подобно вере в первородный грех, примиряют людей с мыслью о собственной смертности, потому что оказывается, что у каждой смерти в мире — мире детективного романа — всегда *есть* виновник,

[256] Примечания: 256

У. Вордсворт. XVIII. В Валломброзе (из цикла «Память об итальянской поездке, 1837»).

и наша печаль по поводу смерти развеивается, едва совершается возмездие или искупление вины. Если же начать расписывать горе героев, то обнаружится неприятное последствие: они могут начать ощущать себя причиной беды и попутно угрызаться ещё чем-то. Так, Маркус не мог себе простить, что глупо замешкался с розеткой, и — уже совершенно иррационально — корил себя за то, что пожелал рассказать Стефани о своей любви к Руфи. Когда Маркус пришёл на поминальную трапезу к Фаррарам, он испытал неприятное потрясение: Руфь уже тут, как ни в чем не бывало, подаёт всем бокалы с вином и носит на руках малышку Мэри; та завладела сияющей, совершенно её заворожившей косой, цепко схватилась за неё одной ручкой, а в другой — бутерброд с курицей. Дэниел тоже терзался чувством вины, хотя разум его и восставал: он говорил себе, как и другим, что жизнь жены принадлежала ей самой, она *жила сама* и не стоит лишать её ответственности за собственную жизнь. И всё же позднее он будет, в разное время и подолгу, печально раздумывать: как вышло, что замужество за ним лишило её разговоров с Вордсвортом и Шекспиром; или что бы стоило ему в злополучный день вернуться хотя бы на час

раньше; зачем он оттолкнул в то утро Уильяма, одетого в остатки её яркого бального платья?.. В первые дни после её смерти он чувствовал себя виноватым лишь тем, что остался жить. Правда, это ощущение пришло вторым, после первой инстинктивной вспышки… — уместно ли тут сказать «радости»? — когда Дэниел ощутил, что *его-то жизнь не покинула*; из-за этого он впоследствии тоже виноватился.

Здесь возникает соблазн перескочить через следующую часть жизни героев, в особенности Дэниела, выказав такт, благородную сдержанность; право, это было бы очень по-английски — на время отвернуться, а потом возобновить повествование, когда будет о чём повествовать. В былые времена авторы романов заканчивали сюжет свадьбой — теперь же мы знаем, что не всё так просто, и неуклюже, нерешительно бредём в зыбучие пески и трясину семейной жизни; в конце книги ставим знак вопроса, возникает неопределённость, возможность разветвления — читатель может продолжить рассказ в собственном воображении так, как ему угодно. Смерть, однако, более финальна, чем свадьба. Смертью завершаются трагедии. Когда мы видим, чем всё кончается для ослепившего себя Эдипа,

как старый Лир в мучениях выкрикивает свои беспрерывные «навек», Корделия ушла навек… мы чувствуем — как верно подметил Аристотель — своего рода облегчение: слегка отпускают тяготящая душу жалость и давящий сердце ужас, и начинает проникать чистый свет. Но свет режет бессонные глаза скорбящего. Теннисон об этом знал: *Средь стогн пустых пустой займётся день*[257]. Пишу это, и мне вдруг пришло в голову, что Шекспиру удалось сообщить финалу трагедии новую болезненную силу. Самое страшное страдание в «Короле Лире» — в конце, когда уже после трагедийного разрешения происходит нечто совсем уж непоправимое, невыносимое. Лир подносит зеркало к устам Корделии… *Зачем живут пёс, крыса, конь, / Но нет* в тебе *дыханья*?![258] Из-за смерти Корделии — а воображение живо рисует нам не только Лира, но и Корделию — аристотелевский катарсис испытать уже не получится. Мы отпустили бы — пожалуй, даже со светлым чувством облегчения — несчастливца Лира, но не запечатлевшуюся в наших сердцах кроткую умницу Корделию! *Ушла и больше не*

[257] Примечания: 257
А. Теннисон. In Memoriam A.-Г. Х. (1850), VII.

[258] Примечания: 258
У. Шекспир. Король Лир. Акт V, сц. 3.

вернёшься[259]. Дэниел прочёл «Лира» — когда Билл едко намекнул ему на необразованность. Он собирался прочесть ещё много другого, чтобы суметь беседовать с женой о том, что ей интересно, но не одолел — из-за детей и «неприкаянных», из-за работы; или из боязни вдруг постичь ум Стефани и понять, сколь многое их разделяет? В «Гамлете» мы тоже находим развёрнутое изображение кручины; вялость действия, пассивное, бесцельное, продлённое страдание, разлитое в воздухе, — от чего оно, как не от скорби героя по отцу, которая, правда, возможно, связана с его подсознательными страхами и влечением к матери (всё это в человеке способно отлично уживаться и взаимодействовать). Гамлет поразительным образом оживает, когда погружается в мир смерти. Недаром на всех портретах актёров, игравших Гамлета в девятнадцатом веке, они неизменно изображены с черепом Йорика, у края могилы, в которую Гамлет прыгнет — а выйдет оттуда уже обретшей себя личностью. *Вот я иду, Датчанин Гамлет*[260]. Уже не принц, а король. И до конца — меньше акта.

---

[259] Примечания: 259
Там же.

[260] Примечания: 260
У. Шекспир. Гамлет. Акт V, сц. 1.

В этом смысле остаться в живых — отнюдь *не* разрешение трагедии. В следующие недели в сознании Дэниела прокручивался сюжет его жизни, ведущий из прошлого к ужасной минуте, а от этой минуты — вперёд, в будущее, страшной минутой всецело определённое. Вся его оставшаяся жизнь — жизнь после её смерти. Всё, что было *до*, сделалось теперь вдруг мучительным, зловеще, неестественно ярким — в той же мере, в какой изначально было *естественно ярким*, важным или просто счастливым. Воспоминания стали слишком острыми, пронзительными, наподобие света, режущего больные глаза. Вот они шагают под руку по изгрязна-жёлтому песчаному берегу в Файли, осыпанные брызгами, в рёве моря и ветра. Вот они в его маленькой комнатке в доме мистера Элленби, прильнули друг к другу, чтобы согреться. Вот она сидит на больничной кровати, на тумбочке — подаренные им ирисы… и она поднимает, поднимает Уильяма к кругу света от высоко висящей лампы для чтения, *смотри, это свет*. Но все эти картинки были отравлены и искажены тем, что из-под них сквозила та, последняя: задранная вверх губа, влажные оскаленные зубы, пряди волос на щеках, пятна на платье, сожжённая рука… Он всегда считал,

что проживёт жизнь своего рода отшельником, посвятит себя помощи нуждающимся, и полюбил-то он однажды, всего однажды… мягкий взгляд внимательных голубых глаз… полные груди, округлые бёдра… походка, все движения, полные мирной неги… вспоминать разрозненные части её облика было почти терпимо; но совсем уж невыносимо и опасно — потянуться к ней мыслями, вызвать в памяти её всю, назвать по имени — как живую. Ум его работал безостановочно, измышляя хитроумные манёвры и планы выживания, чтобы знать и одновременно *не* знать, что́ он потерял. (Вернее, *кого* потерял. Но *что* — меньше и спокойнее *кого*.) Он не мог просто стереть прошлое из памяти (по крайней мере, так он думал), поэтому нужно было осторожно перебрать его в голове, кусочек за кусочком, и рассмотреть целиком в этом новом жестоком свете, мол, по-другому быть просто не могло, не могло. И ни в коем случае нельзя выпускать из виду правду, ни на мгновение не позволять себе мечтать, желать, чтобы она оказалась рядом, проявила себя каким-то способом. Подобное желание, чувствовал он, ослабит его жизненную хватку, а держался он исключительно благодаря воле да биологической непрерывности действий,

к которой свелось его существование. Да, он должен продолжать вставать по утрам, кормить детей, работать.

Он себе приказал, что не должен даже грезить о её возвращении. Возможно, как утверждают некоторые критики, Лир умер, грезя, что Корделия ожила, вернулась — *Вы это видите? На губы ей взгляните!..*[261] — и сердце его разорвалось, как сердце Глостера, — улыбчиво, в надежде на *возвращение*. Дэниел безумно страшился, что и его одолеют такие мечты, и было от чего: на другом конце улицы вдруг возникали женщины, похожие на неё, — из-под шляпки или дождевого чепчика у них выбивались пряди светлых волос; или вдруг полотенце, висящее на двери ванной, обращалось в её ночную сорочку. Ему казалось, начни он мечтать, что она возвестила о себе или вернулась, он просто не сможет, очнувшись, жить дальше. Потому он не мечтал. Его сила воли умела проницать тень и прогонять грёзы. Если же они порою и случались, то такой глубокой ночью, в такой темноте, что не дотягивали до утра.

Впрочем, по утрам, помимо назойливого света,

---

[261] Примечания: 261
У. Шекспир. Король Лир. Акт V, сц. 3.

были и другие сложности. Опасным было полусознательное время на грани пробуждения: изо дня в день он вспоминал, повинуясь собственным приказам, что есть нечто ужасное, о чём он должен помнить, но *не в подробностях*, что нельзя просыпаться невнятно, неторопливо, надо сразу гнать замешательство и любые надежды. Если случалось так, что он об этом забывал, то всё вновь ослепительно начинало прокручиваться в голове: вот он идёт по садовой дорожке, поворачивает ключ в замке, что такое?.. почему тут Гидеон и Маркус?.. и тут же, очередной раз не миновать: мягкое сияние волос, обожжённая рука, соскочившая с ноги туфля, пятна на платье, *лицо*.

Благодаря своей пасторской работе он знал: многим людям не ведомо, что горе — очень медленная, изнурительная штука, что со временем оно не изживается, а, напротив, усиливается и терпеть его становится всё труднее и труднее. В самое первое время, когда весь он был сплошная, закаменелая воля, сосредоточен был на том, чтобы накрепко осознать случившееся и продраться сквозь эти ужасные дни, соседи наведывались часто: приносили цветы, всякие угощения, предлагали взять к себе на время детей, зазывали на

обеды, — он отказывался. Потом, позднее, когда он стал думать о ней — ещё не о *ней целиком*, а об отдельных чертах её облика — и ему делалось порой невмоготу в пустынных этих стенах, — его навещали с соболезнованиями куда реже, вероятно рассудив, что он вполне оправился. Люди, конечно, приходили, но приносили уже собственные печали и невзгоды: как всегда, одолевали их любовь и похоть, одиночество и бедность, — и он отвечал им так, словно и правда проникся их страданиями; но в мрачных мыслях усмехался над однообразием и ничтожностью их горестей, над их неведением в том, что всё направляется к неизбежному концу.

До чего же, до чего же быстро англичане перестают говорить о скорбной потере, думал он; упрёк этот, впрочем, был не вполне справедлив, ведь когда к нему являлись с утешениями, он терпеть не мог неуместных (а порою и диких) слов, что слетали с уст некоторых людей. Быть может, Господь забрал Стефани столь молодой и счастливой, сказала одна диакониса, чтобы Дэниел познал жизнь без такой любви? Корделия, как утверждают критики-христиане, была убита, чтобы совершить примирение Лира с небесами, искупить его грехи. Дэниел вспомнил с

ужасающей яркостью, как Стефани выезжала на велосипеде в предродовое отделение, тяжёлая, с тяжёлым томиком Вордсворта. У неё была *своя*, отдельная жизнь! Как вообще можно поверить в такого Бога, который погубил эту жизнь, чтобы научить Дэниела Ортона о страдании? Шекспир убил Корделию, вероятно желая показать, что в мире есть вещи более ужасные, чем вина и искупление вины, что мудрость Лира, доставшаяся ему столь болезненно и не слишком-то глубокая, утратила всякую важность рядом с тем воплем отчаяния и тоски. *Зачем живут пёс, крыса, конь*?.. Но даже и *такая* мысль, подумалось Дэниелу, несколько излишне эгоцентрична; излияния диаконисы он резко оборвал. Бывали минуты, когда он поражался, что вообще хоть *что-то* наделено жизнью: будь то крошечная зелёная тля или ранний нарцисс, который кто-то ему принёс; ему становилось страшно за эту зелёную, шелковистую, невесомую жизнь так же сильно, как за собственных детей.

Дети будут тебе большим утешением, говорили, твердили ему все. Да, он жил ради детей. Хотя бы это было ясно как день. Он мыл, и одевал, и кормил их, читал Уильяму; когда нужно было уйти из дома по долгу службы, просил соседских дево-

чек посидеть с ними или отводил к Уинифред, но не часто. Он, возможно, и сам надеялся, что дети будут утешением. Но они сделались источником страха. Он боялся за них и их боялся.

Готовил Дэниел медленно и неизобретательно, без полёта фантазии. Часто ели яичницу с беконом, много сосисок, банку за банкой поглощали консервированную фасоль. Придёт время, и он научится готовить, но не сейчас. Ему трудно было даже прикасаться к плите, *её* плите. Он старался не думать о том, как возня *у маминой* плиты выглядит в глазах детей. Печёнка получалась жёсткой и горчила, отбивные подгорали. Дети отодвигали тарелки с едой — Дэниел по мере возможности заставлял их есть. Сам он не ел почти ничего, пробавляясь остатками тостов и чаем, но никто этого не замечал.

Он страшился за них, как за мушек и других крохотных существ, но только сильнее, намного сильнее. Раньше он видел, как они растут, становятся самостоятельными: Уильям с его всё более богатой речью, Мэри с её ловкими, порхающими ручками, — дети так походили на него и на Стефани, но при этом были чудесно отдельными!.. Теперь же первое, что он в них ви-

дел, — это чудовищную незащищённость. Он не позволял Уильяму ни открывать дверь почтальону, ни даже забираться на садовый забор; как-то он стукнул мальчика за то, что тот попытался донести от раковины до стола кувшин горячей воды. Мэри он ещё не воспринимал во плоти отдельно от матери, и, когда брал малышку на руки, сердце сжималось — вспоминались *её* руки, головка Мэри у *неё* на плече, крохотные бойкие пальчики в *её* волосах. Мэри, прежде всегда тихая и мирная, теперь часто не хотела идти к нему на руки и решительно отталкивала его раскрытыми ладошками, тоненько и протяжно завывая. Но ещё хуже было, когда Уильям мрачно смотрел на Дэниела с другого конца стола; семья как будто перестала быть семьёй. Даже свет от верхней лампы казался сумрачным и угрюмым. В чёрном, исподлобом взгляде Уильяма — обвинение.

— Куда делась мамочка?

— Она с Богом, ей хорошо и спокойно. Бог о ней заботится.

— Она в деревянном ящике. Она выйдет из ящика?

— Там покоится лишь её тело. Сама она свободна. Она пребывает с Богом, Уильям.

— А Бог её не обижает?

— Бог заботится обо всех. Всех любит.

— Но не нас. Нас он не любит. — Буравящий взгляд.

— Уильям, ешь свои хлопья.

— Они мне не нравятся. У них странный вкус. Они неправильные.

— Других у нас нет. *Ешь давай.*

— А если она захочет выйти из ящика?

— Она не может… — Дэниел хотел было сказать то, что говорил в таких случаях прихожанам: там уже *не* она — не Стефани, не мамочка, но из-за того, что ему самому не слишком-то верилось в благое, не мог выдавить из себя этих слов. — Не болтай попусту, Уильям. Лучше ешь.

— А если она решит… решит к нам прийти обратно? Что тогда?

— Нет, Уильям. Она не может. Мёртвые не могут. Так уж всё устроено.

Уильям, небрежным движением сталкивая на пол несъеденный завтрак:

— Я хочу! Хочу, чтоб она пришла.

— У тебя есть я. Я буду стараться. Я научусь…

— Хочу, чтобы вернулась мамочка!

Нет, дети не были утешением. Кормить их, готовить им пищу было некоторым занятием, и он относился к нему серьёзно. И вслух он им

читал «Гензеля и Гретель», снова и снова; сказка вызывала у Уильяма одни и те же повторяющиеся вопросы, отвечать на которые Дэниелу не хотелось: уверять в очередной раз, что *всё было хорошо*, просто выше его сил! *У Гензеля и Гретель же всё было хорошо? Мама с папой оставили их в чаще леса, и ничего с ними такого не случилось, да? Их хотела съесть ведьма, а они убежали из леса и добрались до дома, да? И в лесу ведь с ними ничего плохого не случилось, всё было хорошо? Да, папа*?! Да, сынок, с ними всё было хорошо, ничего плохого не случилось, наконец отвечал Дэниел через силу, как из бочки, и пытался обнять Уильяма, но тот колотил в его чёрную волосатую грудь нелюбезными кулачками.

Вопрос с «ящиком» чрезвычайно волновал и самого Дэниела. Этим он, конечно, не мог поделиться с Уильямом, с другими же и подавно. Дэниел не обладал болезненным воображением, ему всегда нравилось, как в похоронном обряде сознание тленности плоти преодолевается более высшим чувством нетления Вечного света. И лишь теперь, когда речь была об *этой* плоти, которую он вспоминал частями, урывками: вот она отходит от него, спина играет позвонками, вот её лодыжки (крутит педали велосипеда),

вот бледно-золотые волосы у него на подушке, — лишь теперь он обнаружил, что не может выбросить из головы ужасную картину, как в могильном холоде и мраке плоть напитывается влагой, разрыхляется, размягчается, растекается… Так неужели, после того как подкожные черви источат моё тело, *Он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога*?[262] Дэниел любил своего сына — плоть от плоти его, плоть от плоти *её* — и чувствовал и себя, и эти свои мысли отвратными и опасными для Уильяма. Мальчик, должно быть, защищается от злых и тленных гримас бытия при помощи мрачных сказок братьев Гримм, в которых юные, исполненные надежд герои всегда, неизменно, благополучно возвращаются, из замков ли, из пещер ли, с золотым кольцом, с шелками или с невестой-жабой, что потом обернётся прелестной принцессой. Дэниелу же становилось дурно и тоскливо от каждой сказочной отрубленной головы, от каждого сражённого чудища, да что уж там — от любой раздавленной букашки, дохлой птахи под ногами в садике, подгоревших треугольничков печёнки на тарелке. Ему не сни-

[262] Примечания: 262
Иов. 19: 25–26.

лась Стефани, зато снилась ужаснейшая голова коня Фалады́ из сказки «Гусятница» — живая и окровавленная, она была прибита над воротами замка: тёплая на ощупь, но уже как бы слишком мягкая, разлезшаяся… Он попробовал читать им более жизнеутверждающую Энид Блайтон[263], но собственный сын его отчитал: «Маме эта книжка не нравится, мы такое не читаем! Мы вот эту читаем, *братьев*!»

Когда же он вдруг почувствовал, что всё-таки — в том смысле, в каком он на это рассчитывал, — ему, возможно, не выжить?.. Ещё вначале, в яркости первого ужасного дня, думая наперёд, он воображал и понимал, что *позднее* ему будет хуже, особенно когда настанет пора возвращаться к всегдашней жизни, разумно заниматься привычными делами, думать изнутри наружу, обращать мысли к людям. Он выделил себе, неплохо себя зная, исходя из своей нормальной, большой силы и энергии, неопределённое время на скорбь и кручину, хотя одновременно с этим какая-то часть его сознания, которая продолжала пребывать в *досмертельной* поре и составлять пасторские

[263] Примечания: 263

Энид Блайтон (1897–1968) — известная британская писательница, автор множества приключенческих произведений для детей и подростков.

планы, противилась перерыву в служении. Затем, переделывая своё восприятие прошлого, приноравливая и направляя его к опустевшему настоящему, он себя уверил, что сильная натура способна к более длительному *гореванию*, подобно тому как в сильном теле смертельная болезнь развивается медленнее. Поначалу, когда всё его существо было сотрясено, он, забываясь, безотчётно нырял мыслями то в спокойное прошлое, проживая странные безмятежные мгновения, то в неведомое грядущее, предчувствуя там всегдашнюю упорную осмысленность своих дел. Но затем ему стало представляться, что он плывёт, задыхаясь, в каком-то душном коричневом тоннеле, зыбко освещённом влажно дрожащими огоньками, — это перекочевали на глинистые стены давешние крошки света, слова погребальной службы. Проход сужается, со всех сторон грязь, жижа, он разгребает её сильными руками-лапами, как крот, в нём ещё много силы и упорства — вперёд, неизвестно куда, лишь бы вперёд (в этой норе даже нет боковой, безопасной камеры для короткого отдыха, передышки).

Должно быть, ему хотелось себя изнурить, чтоб горе потускнело. В былые времена, когда не ладилось у него с женой, когда накатывало

отчаяние и казалось, что ни в чём нет смысла, он выходил прогуляться по улицам (как правило, ночью), и собственные мерные шаги по мостовым успокаивали его. Теперь же, в долгие зимние вечера, когда, уложив детей, он сидел один, ему начинало казаться, что домик, который раньше виделся ему хлипкой хижиной под натиском бури, вдруг уплотнился, напрыгнул, навалился на него, словно это не дом уже, а груда кладбищенской земли, а сам он — на дне узкой могильной ямы. Он переводил взгляд со стула на стол, на дверь, затем задерживал его на кафельном полу, где она не раз поскальзывалась за эти годы, где в конце концов простёрлась ниц, нашаривая рукой за холодильником воробья, — и с трудом удерживался… удерживался от злых яростных воплей, от желания что-нибудь здесь искорёжить — чему дети ни при каких обстоятельствах не должны стать свидетелями! Он выскальзывал тогда на улицу, совершал марш-броски в церковь, на церковный двор, к каналу; но при этом его ни на миг не покидало тягостное беспокойство за детей, оплетало грудь и ноги — скорее, скорее назад, домой!..

В церкви он, конечно, пытался молиться. Не Христу, а старому, могучему, доипостасному

Богу, который удерживал на месте камни этого здания, неуловимо присутствовал в густом воздухе, под сводами, как грозовое электричество; действия этого Бога Дэниел ощущал редко, но был Ему подвластен. *Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «возвратитесь, сыны человеческие!»*[264] *Ушла и больше не вернёшься*, отзывался Лир. Впрочем, церковь, даже по-ночному пустая, не была необитаемой: как всегда, здесь работало, хлопотало нечто, дух общинности, который соединял вместе и одновременно истреблял отдельные, крошечные человеческие голоса, жалобно шептавшие и вздыхавшие в этих стенах. В мире есть что-то большее, а за его пределами — также что-то большее, чем люди и их мелкие заботы; Дэниел слышал звук, шум жизни, которая течёт где-то там, независимо от глухих ударов его, Дэниелова, сердца, независимо от его дыхания и сопения. Подумать только, людишки преклоняли здесь колена и молились об избавлении от постыдной угревой сыпи или о том, чтоб девушка из хора улыбнулась в чью-то сторону, чтоб получилось сдать экзамен, к которому недостаточно подготовился, чтобы викарий заметил

[264] Примечания: 264
Пс. 89: 4.

твою новую шляпку, вот *сейчас*, вот *сейчас*, ну или хотя бы теперь… Существуют особые законы для этих ничтожных существ, например: незаземлённый проводник образует с живым телом цепь, электричество пробегает по жилам с кровяной влагой, по костям, до мокрого кафельного пола. Но при этом не получится, стоя вот здесь, приказать-прокричать этим силам — поразить заодно и его, Дэниела, прямо на месте, — ни тем более отменить то, что случилось, *восставить её из праха.* Всё, о чём он мог эти силы попросить, он сам может и должен сделать, коли уцелел: прожить жизнь с пользой. Дело не в том, что Дэниел не верил в эти силы. Скорее, силы плохо верили в Дэниела. Установили для него законы. Христос сказал, что Отцу Небесному есть дело до того, упадёт воробей на землю или нет[265]. Христу, судя по всему, воробей тоже очень важен. Но вот важен *ли* для *сил* человек? Например, для силы тока. Она, по законам, знай наносит свой удар. У людей очень хрупкий череп, да и сердце — как оно ни совершенно, как ни качает, нежно и сильно, кровь — способно остановиться из-за крошечного пузырька воздуха. Образ распятой на

[265] Примечания: 265
Мф. 10: 29.

кресте фигуры — это людской вопль о том, чтобы всё было иначе, чтобы в центре всего стало человеческое страдание, чтобы человек сам отвечал за свою судьбу и чтобы мёртвые могли вернуться, восстать как трава, как пшеничное зерно апостола Павла, что сеется в тлении, а восстаёт в нетлении[266]. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мёртвые не воскресают?

Дэниелу не верилось, что мёртвые воскресают. Доведя свой страх до нестерпимого, он нёсся, спотыкаясь, сквозь холодный ночной воздух домой, ему мерещились хрупкие маленькие головки, задыхающиеся маленькие лёгкие, перед глазами вставала *та*, задранная вверх губа, обожжённая рука, мёртвая бледность золотых волос…

С визитом явились Гидеон и Клеменс. Дэниел не стал предлагать им кофе, но они всё равно не уходили. Клеменс, даже не спросив разрешения, сама отправилась на кухню, будто у себя дома, и сварила всем кофе. Развернула кулёк с принесённым домашним печеньем и сообщила Дэниелу, что он выглядит изможденным, буд-

[266] Примечания: 266
1 Кор. 15: 37–43.

то совсем ничего не ест. Выложила печенье на тарелку на пыльном столе; Дэниел отказался от угощения способом весьма простым — к нему не притронувшись. Уильям подошёл и схватил три печенья, одно за другим пихая в рот, будто неделю не ел. Клеменс сидела в кресле Стефани и ласково зазывала малышку: ну иди же сюда, маленькая, попробуй вот это печеньице с сахарной фиалкой. Мэри подошла, пососала печенье, прижалась розовой щёчкой к жёлтой льняной юбке Клеменс, запачкав её. Клеменс деловито вытерла пятно чистейшим платочком. В Дэниеле начала вздыматься ярость: комната у него в глазах слегка покачнулась, а оконная рама за головой Клеменс задрожала и словно раздвоилась. Гидеон сказал, что все волнуются за Дэниела: он держался, конечно, блестяще, но напряжение наверняка на нём сказывается. Может, ему куда-нибудь съездить, отдохнуть? А дети пока погостят у них с Клеменс, станут на время частью их большой семьи. И вот ещё: не стоит ли Дэниелу поговорить со *специалистом*, с кем-нибудь, кто помогает пережить горе…

— Нет, — сказал Дэниел.

— Я понимаю, — продолжал Гидеон, — вам трудно говорить о дорогой Стефани, но думаю,

это может помочь. Мы всегда слишком поспешно стремимся запрятать подальше наших усопших близких, вырвать их из головы и сердца. Я подумал, может, нам станет легче, если мы вспомним — прямо здесь, собравшись за этим столом, — самые дорогие сердцу мгновения её пребывания с нами, возблагодарим Господа за её жизнь, за жизнь её деток, за счастье, которое она стольким принесла…

— В день её смерти, — подхватила Клеменс почти не дрогнувшим голосом, — я пришла к ней с очень личным делом, весьма щекотливым, а она повела себя так *мудро*, так мягко и терпеливо… хотя дело было совсем не из приятных…

Не в этот ли миг Дэниел почувствовал, что ему уже совсем невмоготу, что он готов *совлечь с себя земную шелуху*?[267] В ушах поднялся вихрь, в глазах отпечаталась тёмная решётка камина, зловеще подсвеченная изнутри пламенем, — отпечаталась и странным образом легла на благообразное лицо Гидеона, деля его на пылающие квадраты: вот этот — с глазом, а вот здесь — жёлто-бородатый кусочек…

— Она принадлежала… — говорил Гидеон, —

---

[267] Примечания: 267

У. Шекспир. Гамлет. Акт III, сц. 1 («Быть или не быть»).

принадлежала нам всем. И мы все скорбим и хотим разделить с тобой твоё горе. Помолимся же о ней! Возлюбленный наш Отец, ведающий о скорби людской, отдавший Сына своего во искупление грехов наших…

— Убирайтесь, — сказал Дэниел. Он встал и указал на Клеменс: *она ещё смела повидать Стефани после него, и на неё растратились слова, которые…*

— Всё-таки тебе нужна *помощь*, — сказал Гидеон.

И тут Дэниел ударил его. Что-то Дэниелом овладело — его тяжёлый кулак с хрустом врезался в лицо Гидеона и отдёрнулся уже в крови. На мгновение он ощутил покой. Затем ярость снова взметнулась, ещё выше.

— Вон! — приказал он Клеменс. — Вон отсюда. Немедленно!

— Лучше было бы взять на время детей… — чуть слышно пролепетала она.

Его взгляд упал на юбку с пятном от печенья.

— Прочь. Уйдите!..

Мэри плакала, спрятавшись за креслом миссис Ортон. Уильям стоял в кухне, вжавшись в угол, прильнув щекой к прохладному белому боку холодильника, его личико побелело.

33
Три линии

В домике на Учительской улочке вновь собирались семьёй на чай. Большой коричневый заварной чайник на синей клетчатой скатерти светился мягким глянцем. В подставке стояли тосты, на английской фарфоровой тарелке с синими «китайскими» узорами лежали заранее поделённые на удобные кусочки бутерброды с маслом. Уинифред снова достала и выставляла на стол старую миску Маркуса с толстым ободком, на дне которой изображён сюжет стихотворения Александра Милна «Букингемский дворец»: выцветший Кристофер Робин с няней Элис наблюдают смену караула. Из этой миски ела Мэри, а Уильяму передали любимый детский набор Фредерики: чашку, тарелку и рюмку для яиц с кроликом Питером из сказки Беатрикс Поттер. Уинифред обжаривала в масле кусочки хлеба и нарезáла их для Уильяма тонкими полосками, чтобы он макал их внутрь яйца всмятку. Ещё они пекли имбирных пряничных человечков. Уильям раскатывал тесто и делал по трафарету плоские

звездообразные фигурки, а Уинифред брала Мэри на колени, к столу, и малышка вдавливала в них глаза-изюминки. Улыбки изготавливались из цукатов. Раньше Билл и Уинифред сидели в холодном молчании перед электрическим обогревателем с одной лишь работающей полоской; теперь она снова начала разводить настоящий дровяной огонь в очаге. Отсветы пламени играли на сияющих начищенных ложках и тёплом, хоть и обшарпанном дереве стенных панелей. На столе стоял букет хризантем, их бутоны — дивные шары из похожих на язычки пламени алых и золотых лепестков; Мэри тянула к букету ручки, их ласково отводили. Уинифред не могла сказать, что счастлива. Какое уж тут счастье? Но ей снова было ради чего вставать по утрам, и это вдохнуло в неё жизнь.

Месяца три назад вечером зазвонил телефон, она взяла трубку. Дэниел, отрывисто и быстро:

— Нужно, чтобы вы сейчас же приехали и забрали детей. Позаботьтесь о них, пусть пока поживут у вас. Вот *сейчас* вы мне нужны, вы поняли? Мне нужна ваша помощь!

— Что ты собираешься…

— Нет, никаких глупостей, это против моих убеждений. Но я не могу здесь дальше оставаться,

иначе кое-кого покалечу. Вы должны понять.

— Да, но я… но они…

— С вами им будет лучше. Я уезжаю. Мне *нужно* уехать. Вы их заберёте?

— Конечно.

— Прямо сейчас приедете, сию минуту. Обещайте.

— Обещаю.

— Я дам о себе знать.

Она взяла такси. Когда добралась до маленького коттеджа, дети уже лежали в постелях. Она собрала их вещи, и они вместе уехали обратно. С первых секунд звонка она знала, что возьмёт детей, но не догадывалась, как это её изменит.

Звонков больше не было. Но время от времени приходили открытки. Судя по всему, он пробирался на юг. На картинках — Хоэрт, Ноттингем, Поттерис, соборы, вересковые пустоши и живописные болота, да незнакомые, ничего ей не говорящие главные улицы городков, освещённые фонарями на бетонных столбах. Привет Уильяму и Мэри.

Как изменится с приездом детей Билл, она тоже не представляла. Сама она была терпеливой, немногословной матерью, а бабушкой стала

щедрой на объятия, ласковой, любила внуков баловать. Билл, в былые времена, в качестве отца, бушевал, бичевал, требовал, чтоб дети оправдывали его ожидания. Зато с внуками весело занимался, даже просто играл! Когда-то он пытался играть и с Маркусом — в игры, развивающие воображение и интеллект, считал с ним кубики для постройки башни, рассказывал о Беовульфе, Зигфриде, Ахилле, — предложил ребёнку свою культуру, но Маркус был не любитель мифов и легенд. Уильяму же нравились разные занятные истории — да и Билл утратил прежнюю тяжёлую напористость. Первое время только Мэри была славной и послушной, её легко было занять, а Уильям пребывал в мрачных раздумьях. Но постепенно он проникся к Биллу доверием, позволял себе читать, даже стихи, и задавал потом вопросы про «Флейтиста из Гаммельна» Браунинга и «Реймскую галку» из сборника «Легенды Инголдсби»[268], снова и снова просил балладу о Томасе-Рифмаче, которому пришлось переходить вброд реку, где кровь выше колен. Вечерами все

[268] Примечания: 268

Собрание мифов, легенд, историй о привидениях и стихов, написанных с оттенком юмора и пародии на Средневековье неким Томасом Инголдсби из поместья Тэппингтон (псевдоним английского священника Ричарда Харриса Бархэма), издано в 1837 г.

они, вчетвером, сиживали со своими чашками чая, озарённые светом каминного огня, и темнота не могла к ним подобраться.

Время от времени заходил Маркус: пристраивался где-нибудь с краю, недалеко от двери, ничего не говорил, но сидел; наблюдал за детьми, особенно за Уильямом, будто бы с опаской — не важно, дрались они в эту минуту подушками или, как порой случалось, принимались горько плакать от звука хлопнувшей двери.

После смерти сестры изменились отношения Маркуса с Руфью и Жаклин. Он теперь оказался в мире Руфи, где главное было нести горе терпеливо, с всепринимающей кротостью, — по крайней мере, так мыслила себе жизнь Руфь. Жаклин стала его побаиваться, сторониться. Зато Руфь навещала его в мансардной комнатке в общежитии Лонг-Ройстон-Холла: заключала в ласковые, прохладные объятия, лежала рядом с ним на кровати — о большем он не просил — и гладила его по волосам, приговаривая: всё пройдёт, всё забудется. Наверно, она и своим пациентам так говорит, думал он, кто-то и впрямь всё забывает, а кто-то нет, не всегда же получается в точности по её слову. Он никому не мог поведать — ни самой

Руфи, ни Жаклин, ни Уинифред, ни психиатру Ройсу, — о чём собирался поговорить тем вечером со Стефани: о Руфи, Гидеоне и любви. Сейчас он словно занемел и чувствовал себя ничтожным: Дэниел горевал слишком яростно, тем самым будто отбирая у Маркуса волю, право на собственное горе и собственную вину.

Домой он наведывался, потому что ему и приятно и больно было смотреть, как Билл и Уинифред играют с детьми; с ним они играть не умели. Уильям сидел у Билла на коленях, уютно свернувшись, как никогда не сворачивался Маркус, в изгибе этой жилистой руки, головка Уильяма под острым подбородком Билла была вскинута внимательно.

Билл прочёл, громко и с выражением, в основном для Уинифред, стихотворение Томаса Гарди, на которое наткнулся, когда искал, что бы ещё почитать Уильяму.

— Романист он был посредственный, зато — настоящий поэт, — сказал Билл. — Настоящий, несмотря на склонность к потёртым, подержанным фразам. Итак, стих, называется «Наследственность»:

Фамильное лицо —

Вот кто я; плоти — тлеть,
Мне — жить, собрать в кольцо
Все времена суметь,
Послать везде гонцов,
Забвенье одолеть.

Прибудет с ними весть —
Глаз блеск, величье лба.
Я в этом мире есть,
Я — глубже, чем судьба,
Раз смерти не унесть
И вечность мной жива.

Чтение он превратил в событие почти торжественное: собрал их вокруг себя, пристально заглядывал в глаза.

— Утешение слабое, — сказал он, — но какое-никакое?

Уинифред была тронута. Маркус — нет…

В маленькой библиотеке, которая раньше лишь представлялась её воображению, Фредерика устроилась — на длинной, потёртой гобеленовой подушке, на сидячем подоконнике — и смотрела в окно. Стриженые лужайки под весенним дождём… Кирпичный мостик через ров с водой…

Комната была красивая и чужая: старинная ухоженная мебель красного дерева, зелёные, приглушённо-золотистые и розовые тона обоев и драпировки, изящные китайские склянки с ароматической смесью из сухих цветочных лепестков. И конечно, множество книг, собрание для истинных джентльменов: письма лорда Честерфилда сыну, исторические труды Гиббона и Маколея[269], сочинения Сэмюэла Джонсона[270], Вальтера Скотта, Чарльза Кингсли[271], «Песни Древнего Рима» (также Маколея), — в некоторые из этих книг Найджел Ривер порою заглядывал ребёнком, в такие же вот ненастные дни, как эти дни её первого визита. Сёстры Найджела, Оливия и Розалинда (они не являются частью нашей истории и не ведают о предыдущих событиях), устроили торжественное чаепитие; сейчас перед ними, на невысоком столе, накрытом слегка на-

---

[269] Примечания: 269

Эдуард Гиббон (1737–1794) — британский историк и мемуарист, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). *Томас Бабингтон Маколей* (1800–1859) — британский государственный деятель, историк, поэт и прозаик Викторианской эпохи.

[270] Примечания: 270

Сэмюэл Джонсон (1709–1784) — влиятельный английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения.

[271] Примечания: 271

Чарльз Кингсли (1819–1875) — английский писатель и проповедник, один из основоположников христианского социализма.

крахмаленной дамастной скатертью, на большом тёмном подносе — предметы сервировки и остатки угощения: георгианский серебряный заварной чайник, отражающий пламя камина и туманный уличный свет, изысканные чашки фирмы «Споуд», блюдо с изящными бутербродами, половинка раскрошившегося шоколадного кекса. Ещё на столе серебряный сливочник и блюдце с полукруглыми дольками лимона, блестящими, пахучими. Обе сестры, одетые в твидовые юбки в мелкую рогожку и кашемировые свитеры, напоминают Найджела — такие же темноволосые, не слишком церемонные, немного угрюмые и полные телесной жизни.

Фредерика не совсем понимала, почему её пригласили в гости именно сейчас и почему она согласилась приехать. Найджел был единственным человеком, в присутствии которого она выходила из тоскливого оцепенения, с ним она могла громко заговаривать, кричать, разбиваясь волнами о скалу его мужского спокойствия. Но поместье Найджела не пришлось ей по нраву. В день приезда она была потрясена размером усадьбы: в отличие от знакомого ей особняка Мэттью Кроу, с его претензиями на пышность и с показушными надворными постройками, Брэн-Хаус

представлял собой вполне обычный обжитой дом; но тем более огромным, даже бесконечным казалось всё, что к поместью относилось, — маслодельни и оранжереи, сараи и конюшни и, конечно, рощи и поля. Они с Найджелом шли к семейной ферме, и Фредерика дивилась, что человеку вообще может *принадлежать* столько свободно растущих деревьев, столько диких лугов, *изрядная часть земной поверхности*. Но своего удивления она не выказала. Она постояла у вольера с фазанами: за проволочной сеткой важно вышагивали, наталкиваясь друг на друга, яркопёрые птицы, нелепые в своём заточении. На перекладине дальних ворот изгороди она разглядела свисающие на бечёвке, видимо для острастки, высохшие трупики вредителей, грачей и кротов.

Ей выделили симпатичную спальню, в которой стояла кровать под балдахином с белыми занавесями, с декоративными подушками в вязанных крючком хлопковых чехлах, тоже белых. Это напоминало картинку из романа. По ночам приходил Найджел, босой, молчаливый и сильный, с первого мгновенья и до последнего. В своё время Фредерика завидовала той определённости, которая связывала Стефани с Дэниелом:

Стефани, каким бы невероятным это ни казалось, желала именно толстяка Дэниела, тогда как Фредерика не хотела никакого конкретного мужчину. Наверное, вся любовная самозабвенность досталась Стефани, думала она когда-то, коли она, Фредерика, страшится терять над собой власть, а может, просто не умеет. Тук-тук, это я, частенько приговаривал Найджел, обращаясь к ней, такой отрешённой; но, если честно, порой она уже не сознавала, где заканчивалась она и начинался он, в каком-то смысле они сделались одним существом. *Этого* хотела для себя Стефани, *это* у неё было с Дэниелом? Мысли о сестре теперь всегда были чудовищными, потому что сводились к смерти. Порой Фредерике вспоминалось что-то хорошее — как катили бок о бок на велосипедах, как пили чай в универмаге «Уоллиш и Джонс», спорили о «Зимней сказке» Шекспира (Стефани её обожала, а Фредерика считала слишком неправдоподобной), — но воображаемая Стефани в какой-то миг прямо на глазах застывала и коченела, и Фредерика всякий раз содрогалась и начинала плакать. Ей не хватило духу приблизиться к гробу Стефани. Она всегда думала про себя, что не робкого десятка, или, как говорили, «бедовая», — но попрощаться

с сестрой она не смогла. Призналась она в этом только Найджелу — он понимающе кивнул, — она почувствовала, что слепой ужас, как, может быть, и слепая страсть, ему ведомы. Ближайшей ночью, когда он вновь принялся ходить в ней мерно и неудержимо, она вспомнила про Стефани и снова заплакала, глотая беззвучные слёзы, и он сжал её в объятиях, отгоняя мрак. В нём была жизненная сила. Его дом, его сёстры с их пристальным взглядом были ей чужими, но от него веяло жизненной силой. Ночью она крепко вцеплялась в него, а днём они гуляли под дождём по его владениям, вновь протаптывали его старинные детские тропки, подмечая признаки жизни: вот жужжат чьи-то зелёные крылышки, вот подскочил вспугнутый длинноухий заяц, а вот плавно подрагивает в небе ястреб…

Какое-то время спустя после описанных событий в Блесфорде и Херефордшире в квартиру Александра Уэддерберна в Лондоне, на Грейт-Ормонд-стрит, позвонили, и ему пришлось сбежать вниз по лестнице к двери парадного: кто-то упорно не отнимал палец от кнопки, оглашая подъезд звоном. Когда Александр открыл, на пороге оказался человек чёрный и грязный, бородатый и косматый, в старом дождевом плаще, в избитых,

облупленных ботинках. Александр отступил на шаг — и узнал в нём Дэниела: от былой полноты мало что осталось, даже под дождевиком было видно, как обвисла на нём чёрная одежда.

— Можно я к вам зайду ненадолго? Мне бы погреться. И побриться. И позвонить кое-куда. Я подумал о вас — вы мне хорошее письмо написали, вот поэтому. Можно?

Александр впустил его, набрал ему ванну, накрыл на стол. Он бы и одежду гостю предложил, но она была бы маловата, даже сейчас. Зато подал сытный завтрак: яичница из пяти яиц с ветчиной, грибы и помидоры, ломти ржаного хлеба, — всё это, горкой сложенное на большой тарелке, Дэниел поглотил, сидя за низким столиком перед камином. Борода у него была окладистая, но спутанная; в ванной он её лишь подстриг, не стал сбривать полностью. Говорил он быстро и урывками, прожевав очередной кусок. Квартира Александра, с высокими, изящными георгианскими окнами, в которые лился потоками свет, с мебелью светлых оттенков, с соломенными и золотистыми тонами ковров и занавесок, создавала приятное, мирное настроение. Александр сам вёл своё небольшое хозяйство, но делал мало или только самое необходимое, впрочем

какие-то вещи исполнял педантически. Он выращивал йогурт по примеру Элиноры и держал на письменном столе, рядом со своей маленькой репродукцией натюрморта с синим кофейником, вазу с ирисами.

— Я шёл пешком, — рассказал Дэниел. — Почти всё время. Иногда на автобусе ехал. Спал в поле. Да ещё, бывало, в хибарах придорожных, где водители дальних грузовиков ночуют. Не буду вас утомлять этими подробностями. Мне кажется, я сам толком не знал, куда иду, в мыслях было только, что надо себя доконать, измотать… как бы свести *в ничто*.

Да, объяснить это другому человеку трудно. Он боролся с собственной плотью, наказывал её, неделями ни с кем не разговаривал — знай шагал тяжёлой поступью, попирая асфальт, траву, песок, вереск… шёл безразлично, осознавая постепенно, что такое «бродяжничать». Он помнил, как переставлялись ноги и как монотонность шага помогала притупить живость мысли, живость ощущений, живость потери.

— Я ведь и впрямь чуть себя не ухайдакал. Столько пройти на своих двоих. И почти без пищи. В итоге добрался до лондонской церкви

Святого Беннета. Ну, вы, наверное, знаете, как у них там, — они вообще всех принимают: босяков, бродяг, самоубийц, пьяниц. У меня там был один знакомый, но не о нём сейчас речь. К тому моменту, как я туда явился, я как раз достиг соответствующего состояния и вида. Зарос грязью, получил воспаление лёгких, почти говорить разучился, не то от молчания челюсть свело, не то от столбняка. Помню, на второй день после бегства из Блесфорда снял с шеи колоратку, положил в карман… странно, что вообще в ней из дома ушёл, — как будто табличку на себя нацепил, вот, мол, кто я такой исходно, а дальше буду себя сводить в ничто… В общем, добрые люди из церкви Святого Беннета положили меня в больницу. Полежал, поболел — и выздоровел. И стал помогать там в храме понемногу. У меня есть опыт, как лучше распоряжаться пожертвованиями, я им подсказываю потихоньку. Но пора мне уже снова стать самим собой.

На стенах у Александра висели большие репродукции «Сеятеля» и «Жнеца», изготовленные для него Чарльзом Конинком. Размером они были больше оригинальных холстов и, может быть, поэтому казались фантастичными и особенно яркими — жёлтый и фиолетовый цвет так

и норовили выплеснуться за рамы. Александр отлично понимал, что случайный зритель, да и большинство его гостей сочтут, что картины здесь находятся с той целью, с какой их обычно и берут в дома буржуа, — оживить обстановку. Он также знал, что Ван Гог хотел создавать такие полотна, которые любой, абсолютно всякий, может повесить у себя в комнате и, глядя на них, возрадоваться духом. Взгляд Дэниела скользнул по картинам безразлично. Александр же впустил эти полотна в свою жизнь, потому что от них веяло грозными крайностями, которых он не понимал, а может, и не способен был понять. Он посмотрел на Дэниела: а ведь Дэниела он тоже не понимает. Что движет этим бородачом, что вело его к самоистреблению?..

— Какие же у вас дальше планы? — спросил Александр.

— К хозяйству, к домашним делам я вернуться не могу. Хотел одно время, но сейчас — уж не знаю. Надеюсь, мне разрешат остаться, приносить пользу при церкви Святого Беннета, пока что-нибудь другое не подвернётся. Хочу попробовать работать с теми, кто оказался у жизни за бортом. Но сначала надо подробно объясниться с епископом. В храме ведь ничего не знают про моё

прошлое, что я священник. Я подумал, опробую… опробую на вас своё настоящее «я»… надёжно ли оно склеилось?

— Ну и как?

— Вроде бы не разваливается.

— Замечательно, что вы пришли! — сказал Александр.

Убрав в сторону тарелку с объедками исполинского завтрака, он двинул к гостю золотистую керамическую чашку из Валлориса.

— Как насчёт кофе? Чтобы взбодриться.

— Ага. Спасибо вам за всё!

Александр потянулся за польским синим обливным кофейником.

Дэниел теребил что-то в руках, накручивал на квадратный палец. Это была колоратка, пасторский его воротничок.